

В этом номере размещаются подписки на следующие издания:

05
P-88

MA
168



LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY
OF ILLINOIS

057
RUB
1913
no.4

CENTRAL CIRCULATION BOOKSTACKS

The person charging this material is responsible for its return to the library from which it was borrowed on or before the **Latest Date** stamped below.

Theft, mutilation, and underlining of books are reasons for disciplinary action and may result in dismissal from the University.

TO RENEW CALL TELEPHONE CENTER, 333-8400

UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY AT URBANA-CHAMPAIGN

III 03 1993

JUN 21 1993

When renewing by phone, write new due date below previous due date.

L162



АПРѢЛЬ.

1913.

РУССКОЕ ПОЯТСТВО

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ, НАУЧНЫЙ И ПОЛИТИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ.

№ 4.

8657



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія СПБ. Акц. Общ. „СЛОВО“, ул. Жуковского, 21.
1913.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1913 годъ

(XXI-ый ГОДЪ ИЗДАНІЯ)

НА ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ, НАУЧНЫЙ и ПОЛИТИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЬ

РУССКОЕ БОГАТСТВО,

издаваемый Вл. Гал. КОРОЛЕНКО,

при ближайшемъ участіи: А. Г. Горнфельда, Діонео, С. Я. Елпатьевского, О. Д. Крюкова, Н. Е. Кудрина (Н. С. Русанова), П. В. Мокіевского, В. А. Мякотина, А. Б. Петрищева, А. В. Пѣшехонова и А. Е. Рѣдько.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА съ доставкою и пересылкою: на годъ—9 р., на 6 мѣс.—4 р. 50 к., на 4 мѣс.—3 р., на 1 мѣс.—75 к.

Безъ доставки: на годъ—8 р.; на 6 мѣс.—4 р.

Съ наложеннымъ платежомъ отдѣльная книжка 1 р. 10 к.

За границу: на годъ—12 р.; на 6 мѣс.—6 р., на 1 мѣс.—1 р.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:

Въ С.-Петербургѣ—въ конторѣ журнала,—*Баскова ул., 9.*

Въ Москвѣ—въ отдѣленіи конторы,—*Никитскій бульваръ 19.*

Въ Одессѣ—въ книжномъ магазинѣ Одесскія Новости—*Дерибасовская, 20**). Въ магазинѣ „Трудъ“—*Дерибасовская ул. д. № 25.*

Доставляющіе подписку КНИЖНЫЕ МАГАЗИНЫ, ЗЕМСКІЕ СКЛАДЫ, УПРАВЫ, ЧАСТНЫЯ и ОБЩЕСТВЕННЫЯ БИБЛИОТЕКИ, ПОТРЕБИТЕЛЬНЫЯ ОБЩЕСТВА, ГАЗЕТНЫЯ БЮРО, КОМИТЕТЫ ИЛИ АГЕНТЫ ПО ПРИЕМУ ПОДПИСКИ ВЪ РАЗНЫХЪ УЧРЕЖДЕНІЯХЪ могутъ удерживать за комиссію и пересылку денегъ по 40 коп. съ каждаго экземпляра, т. е. присылать вмѣсто 9 рублей 8 руб. 60 коп., ТОЛЬКО ПРИ ПЕРЕДАЧѢ СРАЗУ ПОЛНОЙ ГОДОВОЙ ПЛАТЫ.

Подписка въ разсрочку или не вполне оплаченная—8 р. 60—отъ нихъ НЕ ПРИНИМАЕТСЯ до полученія недостающихъ денегъ, какъ бы ни была мала удержанная сумма.

*) Здѣсь же продажа изданій „Русскаго Богатства“.

057
RUB
1913
no. 4

33
БИБЛИОТЕКА
В. В. О. П.

СОДЕРЖАНІЕ:

- ✓ 1. Въ мышинномъ царствѣ. *А. Серафимовича*. 1—43
- ✓ 2. **А. Пуанкарэ и его философія точныхъ наукъ.**
(Статья первая). *П. Юшкевича*. 44—65
- ✓ 3. **Монахъ. С. Кондуружкина**. 66—115
4. Въ поиски за древними христіанами. *Самарца*. . . 116—130
5. **Законодательство о стачкахъ въ Австраліи.**
П. Покровскаго. 131—157
6. **Стихотвореніе. Е. Федоровой**. 157
7. **Ребекка Эльканъ.** Новелла *Софіи Гехитеттеръ*.
Переводъ съ нѣмецкаго *З. Н. Журавской*. 158—182
8. **Стихотвореніе. Т. Ефименко**. 182
- ✓ 9. **Въ глубинѣ.** Очерки изъ жизни глухого уголка.
И. Гордѣева. 183—222
10. **Коза.** Разсказъ *Отто Эрнста*. Переводъ съ нѣ-
мецкаго *З. Н. Журавской*. 223—231
11. „**Неизбѣжный бѣлый человѣкъ**“. Разсказъ *Джэка*
Лондона. Переводъ съ англійскаго *В. Керженцева*. . . 232—240
12. **Вздѣхи изъ чужбины. I. Плющиха! II. Дѣвичье**
поле. (Стихотворенія). *И. Эренбурга*. 241—242
13. **Стихотвореніе. Е. Федоровой**. 242
14. **Изъ Англіи. Діонео**. 243—267
15. **Стефанъ Жеромскій и трагедія польской интелли-**
генціи. *Л. Козловскаго*. 267—291
16. **Обозрѣніе иностранной жизни.** 1. Политика и эконо-
мика Сѣверо-Американскихъ Штатовъ. Демок-
раты у власти.—2. Смерть Моргана и соціальная
мощь американскаго капитализма. — 3. Хаосъ
европейской политики. *Н. С. Русакова*. 291—314
17. **Новая фаза еврейскаго вопроса въ Польшѣ.** *В. Мя-*
котина. 315—332
18. **Хроника внутренней жизни.** 1. „Реформа“ меди-
цинской академіи.—2. Отмираніе государственныхъ
функций.—3. Изъ думскихъ осколковъ. *А. Пе-*
трищева. 332—364

UNIVERSITY OF
ILLINOIS LIBRARY

19. **Новыя книги.**

Р. Григорьевъ. На ущербѣ.—М. Д. Рывкинъ. Навѣтъ.—
В. Князевъ. Жизнь молодой деревни.—Александръ Амфи-
театровъ. Ау!—Максъ Нордау. Собраніе сочиненій, Т. I-II.—
Максимилианъ Волошинъ. О Рѣпинѣ. — Мемуары г-жи
де-Ремюза.—Г. Роосъ. Съ Наполеономъ въ Россію.—Го-
судари изъ Дома Романовыхъ.—Анри Бергсонъ. I) Психо-
физиологическій паралогизмъ. II) Сновидѣніе.—Борисъ Фро-
меттъ. Помощь школьнику—долгъ страны.—Новыя книги,
поступившія въ редакцію.

364—389

20. **Отчетъ конторы редакціи журнала „Русское Бо-
гатство“.**

389

21. **Письмо въ редакцію.**

389—392

22. **Объявленія.**

Въ мышиномъ царствѣ.

Было темно и въ темнотѣ стояло сонное дыханіе, всхрапываніе, иногда бормотаніе дѣтское.

Въ противоположность неподвижности и покою тяжелаго сна всюду стояло неуловимое бѣлое мельканіе. Порой, странно нарушая его беззвучность, носилось еле уловимое шущуканье, нѣжное и странное, не людское, и тоненькій, какъ стеклянный, сейчасъ же гаснущій пискъ. И опять бѣлое мельканіе, суетливое, торопливо-озабоченное, смутное и таинственное въ предразсвѣтной мглѣ.

Когда робко опсвѣтлѣлъ четверугольникъ низкаго окна, заваленнаго снаружи снѣгомъ, проступилъ сводчатый позеленѣлый потолокъ, сбоку выпятилась огромная печь, забѣлѣла посуда на полкахъ, и стало видно, что всюду безчисленно снуютъ бѣлыя мыши съ розовыми подвижными носиками, съ внимательно настроженными розово-просвѣчивающими ушками.

Они озабоченно мелькали по полу, взбирались на табуреты-скамьи, на столъ, становились столбиками, торопливо вытирали лапками мордочки или сбивались большимъ кипащимъ клубкомъ, перекатывались и разсыпались,—и опять озабоченное торопливо-бѣлое мельканіе всюду. Была въ этомъ своя, полная особенной значительности, нервно-торопливая безшумная жизнь, которую точно спѣшили закончить до людской.

Подъ окномъ стѣна влажная, бархатисто-зеленая, точно дорогой коверъ одѣваетъ. А возлѣ—огромная двуспальная скрипучая въ клопидныхъ пятнахъ кровать. И стоитъ богатырскій храпъ.

Подъ пестрымъ изъ кусочковъ одѣяломъ кухарка,—лицо клейкое, и два подбородка. Рядомъ на подушкѣ голова пожарнаго,—на гвоздикѣ блеститъ каска.

Это сегодня пожарнаго голова, а то либо сосѣдскаго дворника, либо городского, либо изъ мясной приказчика,—ужъ чья-нибудь голова въ пуху да похрапываетъ рядомъ на ситцевой въ разводахъ подушкѣ.

Въ глубинѣ въ трехъ мѣстахъ вмѣсто дверей темнѣютъ рваныя грязныя занавѣски, и изъ-за нихъ тяжелый удушливый храпъ, а въ одномъ мѣстѣ дѣтское сонное дыханіе.

Одна занавѣска дрогнула, отодвинулась, на минуту открывъ чернѣющее каменное углубленіе, смутно проступившую кровать и живой красный глазокъ лампадки. Вышелъ человѣкъ въ длинномъ кафтанѣ съ доброй сѣдѣющей бородой. На ротъ густо наросли корявые деревенскіе усы, а волосы гладко примазаны деревяннымъ масломъ.

Въ добрыхъ, чуть прищуренныхъ глазахъ стояло: „ничего... все по ладному“...

Провелъ шершавой ладонью, точно ночные сны снимая съ лица, и, вытянувъ шею, сталъ глядѣть въ темный уголъ, шепча и крѣпко прижимая сложенные мозолистые пальцы ко лбу, къ животу и плечамъ. Сталъ на колѣни, долго смотрѣлъ въ уголъ, все шепча, и, нагнувшись и упираясь по стариковски руками, такъ что сверху выступили лопатки, прижался къ каменному холодному полу. Мыши сзади любопытно становились столбиками, глядя на отвороченныя громадныя подошвы его сапогъ, или, играя, прыгали другъ черезъ дружку, или катались, свившись въ живой клубокъ. А, когда онъ сталъ подыматься, что есть духу понеслись, вытянувъ хвосты, въ дальній уголъ и, блеснувъ бѣлизной въ полумгнѣ, исчезли.

Человѣкъ съ доброй бородой поднялся, покрестился еще и ушелъ, надѣвая шапку и скрипнувъ дверью.

Опять тихо и неподвижно, только сонное дыханіе; мыши снова повывбрались, торопливо обнюхивая.

Совсѣмъ посвѣтлѣло; по угламъ ясно обвисла траурная бахрома паутины. У пожарнаго подушкой подмяло подъ щеку усы, и лицо отъ этого стало кургузое.

За другой занавѣской, такой же рваной и грязной, проснулось слабое чириканье. Кто-то сторожко и робко шуршалъ и возился, и опять чириканье и тоненькій, тоненькій голосокъ, а, можетъ быть, это только прозвенѣли упавшія капли.

Мыши, бѣлѣя, взапуски носились по полу.

Подошла снаружи къ окну кошка и, прислонившись усами къ стеклу, долго и неподвижно глядѣла на пожарнаго, поднявъ изъ талаго снѣга лапку и поводя кончикомъ хвоста. Потомъ, показавъ между усами красный ротъ и бѣлые зубы, жалобно промяукала и, отряхнувъ мокрую лапку, ушла.

Снова робкое чириканье: пи-пи-пи... тинньи... дзя-дзя... дзя... дзя!..

Потомъ шепелявщій голосокъ:

— Ой, не щипайся!.. а то укусю...

— Папа-анѣ скажу...

— Цыть!..

— Даяка!..

— На дво-оль...

Изъ-подъ занавѣски выльзаетъ въ одной распашонкѣ двухлѣтній мальчонокъ. Перегнувшись назадъ отъ большого, выставившагося, съ выльзшимъ пупкомъ, живота, съ трудомъ держа голомозую стариковскую съ отвислымъ блѣднымъ затылкомъ голову, онъ заковылялъ на кривыхъ ножкахъ, не управляя движеніемъ, точно полъ былъ покатый и онъ неудержимо катился въ одномъ направленіи, трясясь, какъ желе.

Доковылялъ до печки, толкнулся и, также трясясь, заковылялъ въ уголъ. Доковылялъ до угла, толкнулся, громко шлепнулъ пухлымъ задомъ о холодныя плиты и сталъ неловко мотать рученками, ловя мышенятъ, прыгавшихъ черезъ голыя стынуція ножонки.

— Пи-пи-пи-пи!..

И, подумавъ, добавилъ:

— Дзяка!

За нимъ изъ-за занавѣски вышла дѣвочка съ синими жилками на зеленовато-прозрачномъ личикѣ, съ широко открытыми спрашивающими глазками подъ безбровымъ лбомъ.

Она поджимала покраснѣвшія отъ каменнаго холода ножки, то одну, то другую. Вдругъ присѣла и стала ловить мелькавшихъ мимо мышей, заливаясь, точно тоненькій фольговый колокольчикъ, да вспомнила, перебѣжала, мелькая ножонками и стала у кровати на одну ножку, поджавъ другую.

Долго стояла и смотрѣла на храпѣвшаго пожарнаго, не спуская глазъ съ полуоткрытыхъ обсохшихъ губъ, за которыми бѣлѣли зубы: на подушку набѣжала тягучая слюна. Потрогала пальчикомъ рыжій завернувшійся подъ щеку усъ и испуганно отдернула, когда пожарный громко всхрапнулъ.

Поднялась на цыпочки, пожимая пальчиками на холодномъ полу, и подергала за рубашку:

— Дядя Сяватѣй, вставай, а то невѣсту пѣяспись... а то саѣки воѣта обдѣи...

Пожарный открываетъ красные, какъ мясо, глаза, не понимая, гдѣ онъ и что съ нимъ. Потомъ сразу спускаетъ мезолистныя съ изуродованными пальцами мохнатыя ноги и начинаетъ быстро натягивать штаны, сапоги.

— Ахъ, ѣдятъ те мухи съ комарами—опять проспалъ. Ты чего же раньше не разбудила? А эта храпѣтъ, ажъ стѣны трясутся. Гора іерихонская!

Онъ торопливо надѣваетъ форменную тужурку, туго подпоясывается кушакомъ, на голову—сіяющую каску, и застегиваетъ подъ подбородкомъ, отчего становится совсѣмъ другой, большой и страшный.

Дѣвочка съ заплетенной косичкой все стоитъ на холодномъ полу по гусиному на одной ножкѣ и не сводитъ глазъ: — Дядя Сяватѣй, у тея голева, какъ самавай.

Тотъ, какъ матерый гусь, охорашивается и оправляетъ мускулистую фигуру, тщательно расправивъ измятый усь.

— Какой самоваръ, а то и самовару далеко.

И, еще разъ оправившись и выправивъ изъ тугого воротника подбритую красную набѣгающую шею, уходитъ. Дѣвочка долго смотритъ, не мигая свѣтлыми, широко открытыми, точно испуганными глазами на дверь, поджимая ножонку. Потомъ, глянувъ на бѣгающихъ мышей, торопливо присѣдаетъ на корточки и начинаетъ ловить бѣлыхъ мышенятъ, которыя проворно, какъ масляные, проскальзываютъ, между пальцевъ. Въ полуподвалѣ посвѣтлѣло отъ тоненькаго дѣтскаго смѣха.

Показывается заспанный вихрастый мальчишка, съ курносымъ лицомъ; руки засунуты въ штаны и въ карманахъ играетъ пальцами. Слѣдомъ торопливо выполняетъ изъ-подъ занавѣски совсѣмъ маленькій въ завязанной на спинѣ узломъ рубашонкѣ и бойко подвигается, торопливо пересаживая по полу покраснѣвшій голенькій задъ, восторженно повиливая.

Мальчишка хмуро стоитъ, смотритъ, не видя, думаетъ о своемъ. Потомъ, глянувъ на ребятишекъ, какъ кобчикъ, съ лисьимъ проворствомъ, нагнувшись, шлепаетъ одного, другого и съ такой же скоростью и такъ же ловко потаскалъ за косичку дѣвчонку:

— Не трожьте мышей, не трожьте мышей, мокрохвостые!..

Дружно, точно сговорившись, всѣ трое заревѣли на разные, но всѣ на тоненькіе голоса.

Мальчишка хмуро стоитъ и смотритъ, запустивъ руки въ карманы и шевеля пальцами.

Кухарка шевельнулась, заскрипѣвъ кроватью, и сѣла, занявъ много мѣста.

— И когда васъ угомонъ возьметъ, пострѣлы, ни дня, ни ночью, ни покою, ни отдыха. Ги-ги, да гу-гу... Да эти мыши проклятыя, чтобъ онѣ передохли. Барыня и то ужъ говоритъ: Марфа, что у васъ судакъ по-польски мышами воняетъ? Да какъ же не канителиться, когда ни свѣтъ, ни заря содомъ подымутъ, ни проходу, ни проѣзду...

Изъ-за той же занавѣски проворно выскочилъ небольшой

мужичокъ съ ярославской ухваткой и, туго покраснѣвъ, закричалъ фистулой:

— Мыши понадобились!.. а чѣмъ они препятствуютъ, мыши? Божья скотинка... живутъ съ нихъ люди, чего вамъ надо?.. А то наберетъ меделяновъ цѣльный полкъ, ажныкъ кровать разваливается...

— Во какъ!—загремѣла кухарка и встала съ кровати,— ты что тутъ за антересантъ!.. я за тобой считаю, съ кѣмъ ты задъ трепешь? Вотъ возьму да выкину на улицу совсѣмъ съ мышами да съ щенъ твоими...

— Накось, выкуси!.. не доросла... господамъ плачу, не тебѣ...

И, чувствуя необходимость ослабить напряженіе, проговорилъ заботливо:

— Базаръ вонъ отошелъ... до свиньи полдень проклаждаетесь...

Марфа, все также понося злымъ голосомъ, взяла корзину, накинула платокъ и ушла, хлопнувъ дверью.

— А ты чего, стервецъ, дѣтей бьешь!.. — зашипѣлъ мужиченко на невозмутимо стоявшаго съ руками въ карманахъ мальчика. Ребятишки продолжали визжать.

— Кто ихъ бьетъ!.. мышей давятъ... — проговорилъ онъ нагло.

Отецъ поймалъ его за волосы и замоталъ голову изъ стороны въ сторону. Тотъ, не вынимая рукъ изъ кармановъ, нагнувъ голову, какъ баранъ, и такъ ловко завертѣлъ ею, что выдернулъ волосы, отошелъ къ печкѣ и сталъ обувать рваные сапоги.

— Опять побью, ежели будутъ хватать,—вызывающе пробубнилъ онъ.

А въ полуподвалѣ уже носились шлепки: шлепъ... шлепъ... шлепъ! Мужиченко звонко шлепалъ малышей.

— Цыцъ!.. чтобъ духу вашего не слышать!.. цыцъ!..

Дѣвочка съ косичкой и голоногій мальчикъ съ выпятившимся пупкомъ замолчали и стояли передъ отцомъ, только губенки судорожно и жалобно трепетали, да глаза были полны горькихъ слезъ.

За то маленькій, сидя въ лужѣ на холодныхъ плитахъ и запрокинувъ голову, оралъ во весь круглый, слюнявый, беззубый ротъ: „нате молъ, вотъ ору, и все!“

— Возьми Ванятку, выдра голенастая! — закричалъ мужикъ, топая ногами и мотая кулакомъ,—на мѣсто!..

Дѣвочка схватила маленькаго подъ животъ и, отогнувшись назадъ отъ тяжести, съ трудомъ понесла его, волоча ножонки, которыя оставляли по полу мокрый слѣдъ. А

малышъ съ большимъ пупкомъ самъ заковылялъ, все ускоря шажки, какъ подъ гору.

Отецъ поднялъ и прихватилъ рваную занавѣску. Въ темномъ каменномъ безъ окна углубленіи стояла широкая кровать, заваленная тряпьемъ, и несло прокисшими пеленками и давленными клопами.

Дѣвочка, часто дыша открытымъ пересохшимъ ртомъ, донесла маленькаго до кровати и, напрягшись, послѣднимъ усиліемъ взвалила на край, да не одолѣла, и онъ повисъ на краю, а она уперлась въ него колѣномъ, чтобъ не упалъ. Маленькій, выпучивъ глазенки, молчалъ, дожидаясь, такъ какъ зналъ, что это не наказаніе и не игра, а дѣло. И, когда отдохнула, онъ надулъ животикъ, чтобъ легче перекачаться, она его перекачала, посадила другого, влѣзла сама и они весело стали ползать, барахтаться, и играть по кровати, поминутно ссорясь, смѣясь, визжа и прыгая. Но головки ихъ постоянно были повернуты туда, гдѣ было свѣтло, просторно и бѣгали веселыя мыши.

Изъ-за другихъ занавѣсокъ вышли двѣ бабы. Одна коротенькая толстенькая, носъ пуговочкой и набѣгающія вокругъ рта, сорокалѣтнія морщины, но глаза были чудесные и лучились непотухающей добротой и лаской, въ которыхъ своя особая затаенная радость, и были они голубые.

Другая — костлявая, высокая, съ впалой грудью, съ запальными потускнѣлыми глазами, какъ у измученной, непоеной, ждущей отдыха лошади.

— Мирону Василичу почтеніе. Забеспокоились нонче рано.

— Вишь, мыши ей помѣшали... Да я те за мыши голову проломлю!.. ей Богу, вотъ проломлю, и никакихъ.

— Чего тамъ, всякаго рукомесо кормить.

— Слышь, Груня, будешь стирать, прихвати пеленки. Я тогда нито... не обижу.

— Нукъ что-жь, ладно, постираю,—проговорила Груня, и морщинки вокругъ глазъ ласково залучились.

— Васька!—злобно загремѣлъ Миронъ,—заснулъ? Возьми Машку, Хринуна да Пищуху. Итить надо, запозднились.

— У Пищухи пахалки распухли.

— О?!

Миронъ тревожно запустилъ руку въ ящикъ, гдѣ огромнымъ, теплымъ, живымъ клубкомъ кишѣли мыши, лаская пальцы нѣжной, какъ бархатъ, шерсткой; всѣ онѣ были бѣлы, какъ снѣгъ. Повозился, вытащилъ мышку, торопливо осмотрѣлъ, ощупалъ:

— Вѣрно, пахалки.

Онъ придержалъ ее и, слегка нажимая, нѣсколько разъ поводитъ согнутымъ пальцемъ подъ горломъ.

— На, отсади въ больницу.

Васька взялъ и посадилъ въ отдѣльный рѣшетчатый ящикъ, гдѣ сидѣло нѣсколько печальныхъ мышей.

— Возьми изъ голодавки.

Васька досталъ изъ третьяго ящика съ пятокъ мышей, посадилъ въ свою клѣтку и въ отцову. Мыши безпокойно бѣгали, торопливо нюхая воздухъ: ихъ не кормили,—на голодные зубы онѣ живѣе и послушнѣе.

Въ хозяйствѣ у Мирона было штукъ восемьдесятъ мышей. Каждую онъ зналъ, каждую называлъ по имени, у каждой помнилъ отмѣтину, всю родословную, съ каждой умѣлъ поговорить по-своему, были любимчики и такія, которыхъ онъ терпѣть не могъ. Онъ зналъ ихъ характеры, привычки и ухватки, болѣзни и нравъ, и его также ѣли заботы и тревоги по мышиному хозяйству, какъ его отца и дѣда заботило деревенское хозяйство.

Деревни онъ не зналъ и съ шестнадцати лѣтъ сдѣлался мышинымъ фабрикантомъ. Мышей выучивали самымъ разнообразнымъ штукамъ: онѣ бѣгали на заднихъ лапкахъ, держали передней лапкой хвостикъ, какъ шлейфъ, парами танцовали, свивались сразу по десять штукъ клубкомъ, и онъ каталъ, бросалъ и ловилъ этотъ живой клубокъ. Чтобъ выучить, держалъ мышей въ голодѣ, но умѣючи, не давая пить; цѣлыми часами лежа животомъ на холодныхъ плитахъ, училъ, колотъ горячей иглой, давилъ ногтями за хвосты, и онѣ становились послушны каждому его движенію.

Когда жена померла, все хозяйство легло на Аньку съ бѣлой косичкой. И теперь, уходя, онъ крикнулъ:

— Слышь, Анька, дѣтей заразы покорми. Хлѣбъ на гвоздѣ въ сумкѣ, а въ углу бутылочка съ молокомъ.

— Слѣю,—проговорила маленькая женщина.

Фабрикантъ съ Васькой ушли, а Груня и Глаша принялись за работу, одна за стирку, другая зажгла керосинку и стала варить.

— Твой спать, чай?—спросила Груня, точно освѣщая все радостью ласки и доброты.

— Спи-и-тъ. Когда встанетъ. Дай, Господи, къ четыремъ. Нонче до того захлинался, до того захлинался, всю ночь не спала.

— Чего такое у него?

— Вишь, доктора говорятъ, жиромъ залился весь, всю утробу жиромъ залило, и сердце и глотку, не продышетъ. Доктора въ одну душу говорятъ, чтобъ меньше ѣлъ, да больше ходилъ, да чтобъ нагибался, гимнастику, а куды тамъ! Жретъ

не въ проворотъ, только и знаетъ, что жреть за десятерыхъ, да пива, какъ въ бочку, въ себя льетъ, а ему нюхать нельзя, потому отъ пива весь обростетъ жиромъ, даже глаза заростутъ; докторъ сказываетъ, двадцать пять пудовъ будетъ вѣсить, земля перестанетъ держать. Да къ нему и на козѣ не подъѣдешь, развѣ послушается. Одно—заливаетъ глотку да жреть. А нонче ночью то храпитъ а то замолчить. Господи, думаю, что-жъ это!.. Чирну спичкой, лежитъ онъ горой, лицо съ подушку, и глазъ одинъ смотреть,—самъ спитъ, а глазъ смотреть... Страшно, милая.

Она заплакала, утираясь фартукомъ.

— Что-жъ, не соглашается?

— И-и, приступу нѣту. Роднѣ, а какая она тамъ родня: на десятой водѣ кисель; да на поминовеніе, да на школу, вотъ тебѣ и весь сказъ.

— А твоего труда нипочемъ?

— Да ужъ гдѣ тамъ! шестнадцать годовъ спину не разгинала, за нимъ смотрѣвши.

И полились бабьи жалобы. Глаша жила со швейцаромъ, толстымъ, жирнымъ, задыхающимся отъ ожирѣнія, и на книжкѣ у него было полторы тысячи. Приходилъ онъ со службы въ четыре утра и день спалъ.

Нанималъ темный тупичекъ за три рубля въ мѣсяцъ, выколачивая изъ каждого гроша, изъ каждой копѣйки, и держалъ еще жильца, благообразнаго мужичка съ доброй четырехугольной бородой, торговавшего свѣчами въ часовнѣ.

Груня жила съ Алексѣемъ Иванычемъ, печникомъ, въ третьемъ тупичкѣ. Она была старше, содержала его поденной работой, а онъ билъ ее и рѣдко выходилъ изъ дому.

— Эй, Груня!—послышалось изъ тупичка, и закашлялся, Алексѣй Иванычъ много курилъ,

— Батюшки, проснулся... Заразъ, заразъ!.. водки-то мало...—запелала она и торопливо закачалась на обѣ стороны,—ноги у нея были разбиты отъ сырости.

Мирона и Ваську съ мышами ослѣпилъ во дворѣ блескъ тающего снѣга; звенѣла веселая капель, и безъ удержу, какъ оглашенные, метались и щебетали воробы.

На крышахъ уже не было снѣгу, а по краямъ, нагнувшись и глядя внизъ, свисали длинныя сосульки, играя на солнцѣ сборчатымъ морщинистымъ льдомъ, съ нихъ торопливо капало, и иногда стекляно ломались и падали, мелко разсыпаясь. А надъ крышами играло голубое весеннее не по городскому небу.

Дворъ былъ просторный. Разбросанно стояло четыре льпихъ старыхъ дома, набитыхъ квартирантами; пятый

барскій съ бѣлыми колоннами особнякъ выходилъ палисадникомъ на улицу.

На заднемъ дворѣ тянулись конюшни и сарай извозо-промышленника; вкусно пахло навозомъ, и запряженная въ полкъ лошадь жевала у стѣны сѣно, оглядываясь черезъ дугу.

Посрединѣ двора чернѣло невѣдомо какъ уцѣлѣвшее старое, корявое дерево; подъ нимъ, разговаривая, рылись куры и сидѣла кошка.

Миронъ надулся, покраснѣлъ и, что есть духу, какъ пятнадцатилѣтній, погнался. Кошка поставила хвостъ трубой и поскакала, прыгая черезъ мокрыя мѣста. Миронъ пустилъ кирпичемъ и разбилъ окно.

— Ты что хулиганишь?—закричалъ дворникъ—по участку соскучился?

Миронъ еще больше надулся и покраснѣлъ.

— Потому—тварь: птицъ жретъ.

— Мышатникъ!...

— Мышиный фабрикантъ!.. мышиный фабрикантъ!..—кричали ребятишки, бѣгая босикомъ по талому снѣгу.

Только на улицѣ Миронъ радостно вздохнулъ и оттухъ,—тутъ онъ былъ у себя дома.

По расчищеннымъ и подметеннымъ уже панелямъ торопливо спѣшила въ обѣ стороны безконечная толпа.

„И откуда они только берутся“,—думалъ Миронъ, привычнымъ, наметаннымъ глазомъ ловя и различая въ толпѣ кліентовъ.

На минутку остановился и глянулъ по убѣгавшей далеко внизъ улицѣ. Внизу она терялась въ задернутой голубоватымъ утреннимъ туманомъ площади, на противоположной сторонѣ выбѣгала и ползла вверхъ, слабо бѣлѣя еще не сошедшимъ снѣгомъ и чернѣя зимними деревьями. Сіяя, блестѣлъ далекій куполь.

Подвывая легко и играючи, взбѣжалъ трамвай, полный виднѣвшихся сквозь стекла людей, на минутку остановился, выбросилъ двухъ и покатился дальше, уменьшаясь и съ удаляющимся воемъ роняя синія искры.

— Ступай кверху,—сказалъ Миронъ Васкѣ.

— Чего я тамъ не видалъ!.. я на площадь пойду.

— Тебѣ говорятъ, мозгля!..

Но Васька стоялъ, курносый и наглый, глядя на отца маленькими злыми щелочками. Мирона подмывало дать ему хорошаго раза по шеѣ, сбить шапку и вкусно потаскать за волосы, да публика шла кругомъ, отправять въ участокъ, день пропалъ.

— Ахъ ты!.. скучился?.. требуху выпущу... — и Миронъ густо покраснѣлъ.

Васька угрюмо подался:

— Н-ну?!

Миронъ почувствовалъ, не ударить, не только потому не ударить, что публика и въ участокъ, а еще потому, что выросла для обоихъ незамѣтно какая-то черта и Миронъ чувствовалъ, ее нельзя переступать.

Онъ давно видѣлъ, что у Васьки начинается своя жизнь свои интересы, начинается свое, и это приводило его въ ражъ. Васькино назначеніе было помогать отцу въ мышиномъ хозяйствѣ, помогать поднять остальныхъ дѣтей и онъ жестоко исправлялъ всякое Васькино уклоненіе.

Но время безпощадно: Миронъ старѣлся, Васька крѣпъ, и теперь они стояли другъ передъ другомъ, почти какъ равные, и Миронъ какъ будто первый разъ увидѣлъ Ваську.

Что было недопустимо, Васька и съ мышами плутовалъ. Всю мышиную науку онъ превосходно усвоилъ, но, когда издыхала мышь, и отецъ приказывалъ выкинуть, онъ ее пряталъ, замораживалъ, а въ подходящий моментъ доставалъ, оттаивалъ, чистилъ щеточкой шерстку, чтобъ свѣжѣе, и подбрасывалъ въ ящикъ, а живую мышь взамѣнъ продавалъ въ свою пользу. Удивлялся Миронъ, почему такъ правильно и периодически сталидохнуть мыши.

А, когда потеплѣло, Васька тайно завелъ свой мышинный заводъ въ углу конюшни и торговалъ больше своими мышами.

И теперь они стояли другъ передъ другомъ, не рѣшаясь переступить черту, которая и связывала, и раздѣляла ихъ.

— Ну?—сказалъ Миронъ.

— Не пойду...—сказалъ Васька, но... повернулся и пошелъ наверхъ, — торговля тамъ была хуже, чѣмъ на площади.

Миронъ весело зашагалъ внизъ. Спустился на кварталъ оглядѣлся на углу, нѣтъ ли городского, досталъ изъ клѣтки мышь и, вытянувъ руку, подержалъ ее на открытой ладони.

Мышка, бѣлая, торопливо понюхала розовымъ носикомъ ладонь, потомъ воздухъ, пробѣжала по рукѣ, по плечу, кругомъ шеи, вспрыгнула на шапку, на минутку постояла бѣлымъ столбикомъ, осматриваясь, опять сбѣжала и, усѣвшись на ладони поудобнѣе на заднихъ лапкахъ, передними стала умываться.

Публика останавливалась и смотрѣла.

— Ученая.

— Какъ человѣкъ руками.

— Это ненашенская, заграничная.

Миронъ, держа все также вытянутую руку, увѣренной скороговоркой артиста бойко выговаривалъ, не обращая вниманія на стоявшую публику:

— Индѣйская денная мышъ въ гимназїи образовалась, въ унѣрстетѣ воспиталась, ни истъ, ни пьеть, объ одномъ лишь тужить, какъ мужъ жену утѣжитъ, судьбу предскажетъ, тужить-горевать закажетъ... дѣвушкѣ жениха волосатаго, пьянаго, рогатаго... гимназисты наши запросили березовой каши... всѣмъ разскажетъ, никого не обяжетъ, кто не хочетъ, проходи, а кто слушаетъ, подходи, пятачокъ выкладывай, судьбу выгребай... Пожалте, господа почтенные, къ ученой мышѣ... Невидимое чудо двадцатаго вѣка...

Публика задерживалась около Мирона, какъ вода вокругъ камня.

Одни, постоявъ, уходятъ, другіе подходятъ и, вытянувъ шею и глядя на бѣлыхъ мышей, слушаютъ.

Приказчики, прислуга, дѣвочки изъ модныхъ мастерскихъ съ большими мѣшающими коробками, полотеры съ желтыми лицами и съ желтыми щетками. Стоять, смотреть на маленькій ящичекъ, въ которомъ плотно уложены конвертики съ судьбой. Смотрять внимательно,—у каждаго за равнодушно замкнутымъ лицомъ—горе, заботы, изломанная жизнь. И, быть можетъ, въ этомъ конвертикѣ неожиданно ломается судьба, ждетъ радость.

Останавливались и чистые господа.

Маленькій гимназистикъ съ нѣжными дѣтскими щеками стоитъ, сутулясь подъ ранцемъ на спинѣ, и все вздергиваетъ его на плечи. Онъ долго стоитъ и вдругъ говоритъ, самъ испугавшись своихъ словъ:

— Дайте мнѣ.

— Чего?

— Мышку... нѣтъ, судьбу.

— Пожалуйте пятачокъ.

Миронъ взялъ мышъ и, держа за хвостикъ, пустилъ по конвертикамъ въ ящичкѣ. Всѣ съ напряженіемъ слѣдили, какъ мышъ мордочкой и лапками суетливо перебирала конвертики. Миронъ незамѣтно придавилъ ногтемъ кончикъ хвоста, и мышъ испуганно выхватила зубами первый попавшійся конвертъ. Миронъ подаль гимназисту.

Тотъ осанисто сдѣлалъ себѣ двойной подбородокъ, распечаталъ и на маленькой сѣрой бумажкѣ прочелъ: „злые враги ваши будутъ посрамлены и скоро вы сочетаетесь законнымъ бракомъ съ любимой женщиной“.

Кругомъ засмѣялись, а гимназистъ, краснѣя и конфузясь, бросилъ бумажку, которую сейчасъ же бережно подобрали.

— Фу, глупости какія! И вовсе мышъ не можетъ узнавать судьбу,—и пошелъ въ гимназію, поддергивая и поправляя плечами ранецъ.

— А ну-кась дай-кась я,—проговорилъ съ добродушнымъ краснымъ лицомъ и какъ иголками истыканнымъ носомъ кучеръ съ полумѣшкомъ овса черезъ руку. Не переставая добродушно улыбаться и поднявъ выжидательно и немного какъ будто сконфуженно брови, онъ долго рылся въ плисовыхъ штанахъ и досталъ пятакъ.

Опять Миронъ пустилъ по конвертамъ бѣлую мышъ, держа за хвостикъ.

— Ну, ну, ты по всѣмъ пущай... нехай по всѣмъ конвертамъ побѣгаетъ... пущай хорошенько разнюхаетъ мою судьбу...

— На, на, мнѣ не жалко. Вишь, какъ вынюхиваетъ. Тутъ ужъ, братъ, безъ обману.

Мышъ вытащила конвертикъ. Кучеръ осторожно взялъ черными толстыми пальцами и сталъ вертѣть, все также поднявъ брови и улыбаясь.

— Распечатывай, ты чего,—говорили кругомъ съ нетерпѣніемъ.

Кучеръ неловко разорвалъ и долго вертѣлъ бумажку.

— Ну?

— Кто же ее знаетъ, неграмотный я.

— Дай-кась прочту.

Мальчишка изъ мясной, не ворочая головой, на которой лежала баранья нога, прочелъ, скосивъ глаза, по складамъ:

— „Вра-ги ва-ши по-гиб-нутъ. Васъ о-жи-да-етъ бо-гатство и сла-ва“.

Кучеръ, не справляясь съ развѣзжавшейся до ушей улыбкой и все также держа поднятыми вверхъ брови, торопливо взялъ бумажку и радостно покрутилъ головой:

— А?!... ѣшь-те съ хрѣномъ!... до чего вѣрно!... Нѣтъ, ты скажи... какъ въ аптекѣ... мать твоя кочерыжка!...

И онъ засмѣялся заразительнымъ дѣтскимъ смѣхомъ. И, все также улыбаясь и оглядываясь на всѣхъ, точно приглашая порадоваться своей радости, говорилъ тѣмъ, кто подходилъ:

— До чего заразъ мышъ вѣрно предсказала. Ну до чего вѣрно... диковина!... тварь, а судьбу чувствуетъ!

И, сколько ни подходило людей, онъ не уставалъ рассказывать про мышъ и про судьбу.

Цѣлый день ходилъ Миронъ по улицамъ, по площади и по трактирамъ, ходилъ съ сознаниемъ не забавы, которую онъ предлагалъ людямъ, а серьезнаго важнаго дѣла. Ибо зналъ, что у каждого, какъ и у него, за плечами горе, за-

бота и измученность, и хотя зналъ весь механизмъ предсказаній, страннымъ оборотомъ мысли эти предсказанія и въ его глазахъ принимали особую жизненную важность, правду и свое значеніе.

Торговля шла хорошо: штукъ десять конвертовъ продалъ, да двухъ мышей по тридцать копеекъ.

Закусилъ и выпилъ въ трактирѣ и съ веселыми глазами, когда уже цѣпочкой зажглись огни вдоль улицъ, шелъ домой съ баранками и конфетами для дѣтей.

Марфа дорожила, любила своихъ господъ—были они хорошаго роду, и блюла ихъ интересы не за страхъ, а за совѣсть.

А Антонъ Спиридонычъ пренебрежительно отзывался:

— Шелудивые господа... Знаю, ихній папаша гремѣлъ въ свое время на всю губернію. Бывало, столъ не накрывался меньше, какъ на двадцать пять, тридцать персонъ, а на именины ихнія и жены со всего уѣзду съѣзжались, и на триста кувертовъ не хватало. А лошади! на пять губерній кругомъ гремѣли,—огнедышающіе львы, и больше ничего. Было. А теперь я передъ ними фонтъ-баронъ. А у нихъ кромѣ собакъ ничего не осталось.

Дѣйствительно, отъ всего прошлаго остался лишь великолѣпный прононсъ, да удивительная порода какихъ-то необыкновенно маленькихъ болонокъ.

Братъ и сестра съ громкой когда-то дворянской фамиліей жили очень дружно, и обоемъ было за пятьдесятъ. Сестра—старая дѣва, братъ—бездѣтный вдовецъ. Она отдавала комнаты жильцамъ, возилась съ болонками и дѣлала гимнастику по Мюллеру, чтобъ сохранить бюстъ; онъ заботился о своемъ здоровьѣ, да выбиралъ, простаивая часами передъ витринами магазиновъ, мебель и бездѣлушки, которыя собирался купить, когда разбогатѣетъ. Такъ уходили дни, уходили годы.

Такъ какъ каждая копейка была на счету, то сдавались и тупички въ кухнѣ, только барыня строго-на-строго требовала отъ Марфы, чтобъ платили неослабно въ срокъ и чтобъ народъ былъ скромный, непьющій, богобоязненный и чистоплотный. Но на кухню сама никогда не спускалась и все, что тамъ ни дѣлалось, было такъ же далеко, какъ въ Китаѣ. Къ Марфѣ же относилась ласково и цѣнила ея преданность.

Жизнь на кухнѣ шла, какъ заведенная машина.

Цѣлый день несло жаромъ и запахомъ поджаренаго мяса отъ непотухающей плиты, около которой сердито распоржалась съ раскраснѣвшимся потнымъ лицомъ Марфа.

Сверху то и дѣло сбѣгала горничная за блюдами, то къ завтраку, то къ обѣду, то къ ужину, и плита переставала работать только часовъ въ двѣнадцать ночи. Для Марфы не было ни праздниковъ, ни свободныхъ дней. Оттого она была зла, всѣхъ ругала. Особенно была зла на дѣтей и на мышей. Мыши были погань, а дѣти все торчали у плиты и молча смотрѣли большими ожидающими глазами.

— У-у, несытия!.. ну, чего выстроились, какъ частоколь... Ступайте въ свою нору.

И сердито сунетъ въ ротъ одному пирожокъ, другому мяса, третьему ложку рису развареннаго и дастъ шлепка. У дѣтишекъ весело загорятся глазенки, и, торопливо прожеывая, побѣгутъ въ свою темную нору на вонючую кровать.

А за занавѣской печникъ, Алексѣй Иванычъ, уже бубнить пьянымъ голосомъ:

— На одну ногу, слышь; на одной ногѣ... тебѣ говорятъ... Нну!.. какъ раки ходять?.. нну!.. лѣзь подъ кровать, живо те говорятъ, задомъ напередъ... нну!...

Слышны глухіе удары.

— Вылазь... Перекатись черезъ себѣ... кланяйся въ землю... тебѣ говорятъ... ну, такъ. Разъ, два, три... девять, десять, одиннадцать... двадцать одинъ, двадцать два... Считай сама, а то замучился.

Слышенъ слабый притихающій, когда она кланяется, голосъ Груни:

— ...Тридцать пять... тридцать шесть... тридцать семь...

— Будя, замолчи, тебѣ говорятъ, спать не даешь. Стань мордой въ уголъ, стой, покада буду спать. Да на одной ногѣ стой... Тебѣ говорятъ!..

Черезъ нѣкоторое время слышно, храпитъ Алексѣй Иванычъ, но никто не выходитъ изъ-за занавѣски; Груня боится послушаться и стоитъ въ темнотѣ на одной ногѣ лицомъ въ сырой уголъ. Стоитъ часами.

Изъ своего тупика выходитъ Глаша.

— Опять?

— Да, опять окаянный измывается—ни сроку, ни отдыху не даетъ. Ну, доведись до меня, я бѣ его выучила, я бѣ ему показала мѣсто! Я бѣ изъ него узелокъ завязала!

Глядя на Марфу, Глаша думаетъ, что та справилась бы не съ однимъ Алексѣемъ Иванычемъ.

— И чего она отъ него не уйдетъ?

— Ну, вотъ любить пса.

Груню всё жалѣютъ и всё ею пользуются: на всѣхъ она стираетъ, бѣгаетъ на посылахъ, исполняетъ мелкія работы. Она безъ устали тянется въ работѣ по сырымъ прачешнымъ. Но и работать Алексѣй Ивановичъ не всегда пускаетъ, требуя въ то же время, чтобъ была ѣда и водка. И всегда она въ синякахъ, съ подбитыми глазами. Но подбитые глаза лучатся ласковостью и добротой.

Была когда-то Груня замужемъ за сапожникомъ. Прожили они три года, сапожникъ взявъ въ домъ любовницу, а ее выгналъ. Встрѣтившись съ Алексѣемъ Ивановичемъ, котораго была старше, прильпила къ нему, и вотъ онъ ее тиранитъ восьмой годъ.

Проспится Алексѣй Ивановичъ, зѣвнетъ и скажетъ:

— Грунь, а Грунь!

— Я тутъ, Алексѣй Ивановичъ,—еле ворочая губами, отвѣтается Груня, стоя на одной ногѣ.

— Будетъ тебѣ стоять-то, иди, може, куда надо.

Груня, съ трудомъ ступая отекавшими ногами, начинаетъ убирать тупичокъ.

А Алексѣй Ивановичъ выйдетъ въ жилеткѣ и выпущенной рубахѣ и похаживаетъ по кухнѣ. Онъ—красавецъ: черные кудрявые волосы, никогда нечесанные и отъ этого особенно красивые, цыганское лицо, и, когда говорить, изъ-подъ усовъ сверкаютъ бѣлые, какъ кипень, зубы.

Онъ ласковъ и обходителенъ.

— И какъ вы только понимаете на счетъ кушаньевъ, Марфа Ивановна.

— Неча заговаривать зубы-то. Груньку меньше-бъ тиранилъ. Что она, собака тебѣ?

— Да кто ее тиранитъ, Господи ты Боже мой!—искренно изумляется Алексѣй Ивановичъ—живемъ мы съ ней, какъ мужъ и жена, и все честно и благородно. Грунь, али ты недовольна на меня?

— Довольна, Алексѣй Ивановичъ, много довольна вами.

И глаза ея сіяютъ.

Часамъ къ четыремъ съ хрипѣніемъ, съ плеваніемъ, съ кашлемъ просыпается въ своемъ тупичкѣ Антонъ Спиридонычъ. Глаша испуганно и торопливо готовитъ пиво, чай и умыться.

Тотъ кашляетъ затычнымъ, съ генеральскими раскатами, кашлемъ, пока не откашляетъ, и съ налившимся лицомъ и глазами хрипитъ:

— Пива!

А Глаша уже все приготовила и льетъ въ пѣнящійся стаканъ. Потомъ, поднявъ занавѣску, начинаетъ убирать тупичокъ.

У Антона Спиридоныча въ тупичкѣ почище и нѣкоторый

комфортъ,—бумажные посѣрѣвшіе отъ пыли цвѣты, фотографическія карточки на стѣнѣ, и зеленымъ коленкоромъ задернуто повѣшенное на гвоздѣ платье. У Алексѣя Иваныча попроще, а къ Мирону не влѣзешь, грязь, тряпье, неубрано.

Пока въ тупичкѣ убираютъ, Антонъ Спиридонычъ сидитъ за пивомъ въ кухнѣ, осунувшись у стола огромнымъ изъ одного жиру тѣломъ, и тяжело съ хрипящей одышкой дышетъ.

— Вы вотъ задвохааетесь, Антонъ Спиридонычъ,—сердито переставляя обожженными руками на пышущей плитѣ кипящую кастрюлю, говоритъ Марфа,—а объ томъ не подумаете—Глашѣ авѣщаніе написать. Храни Богъ, не подыметесь, куда она? на улицу. Подъ заборомъ и сдохнетъ.

Онъ сидитъ, всѣмъ тѣломъ оплылъ табуретку, сопитъ, уставившись по одному направленію,—и тянетъ пиво, собирая языкомъ съ мокрыхъ усовъ пѣну.

— Не хорошо, Антонъ Спиридонычъ. Женщина она али нѣтъ?

— Знамо, не корова.

— Весь вѣкъ на васъ свой убила.

— А кормитъ кто?

— Да вѣдь мало-ли она на васъ бьется: и сготовитъ, и постираетъ, и приберетъ, и приласкаетъ...

— Фу-у, да на ней мяса совсѣмъ ничего.

— День деньской, погляжу, все округъ васъ возится да и на поденщину ходитъ.

— Даромъ кормитъ никто не станетъ.

И, посопѣвъ и обобравъ снова насѣвшую на усы, лопающуюся пѣну, сказалъ:

— Вонъ графъ Недоносковъ-Погоуляй, такъ у него три любовницы въ трехъ концахъ города. Дескать, куда ни поѣдетъ, вездѣ можетъ время пріятно провести. Поѣдетъ въ театръ, изъ театра тутъ недалеко, пожалуйста. Поѣдетъ на засѣданіе, здѣсь же возлѣ. Поѣдетъ за городъ, ворочается, заразы уже ждуть.

— Да какая она вамъ любовница? десятый годъ живете?

Но онъ сопѣлъ и не слушалъ.

— Эти полторы тыщи какъ мнѣ достались? со-окомъ-Тоже не на улицѣ нагрѣбъ. Вы думаете, швейцаръ, такъ галуны, да одна пріятность... стоитъ да пятіалтынные огребаетъ. А то положите, что свѣту божьяго окромя своей улицы его и не знаешь.

Онъ закашлялся и долго хрипло дышалъ:

— Такъ я непреклонно рѣшилъ: сто рублей роднѣ

братниной жены, какъ я одинокой, никого у меня не осталось. Сто рублей на церковь въ нашей деревнѣ. Сто рублей на похороны, поминальный обѣдъ и на вѣчное поминовение. А тысяча двѣсти рублей на школу, чтобъ училище образовали въ нашей деревнѣ.

— Да на какой лядъ вамъ училище? и кабы дѣти у васъ были.

— Нѣтъ, нельзя. Господа завсегда жертвуютъ и отписываютъ по духовному на университеты и другое высшее учение. Вотъ нашъ графъ Недоносковъ-Погуляй отписалъ десять тысячъ на стипендіи. Камеръ-юнкеръ Суздальскій основалъ школу рисованія. У всѣхъ господъ такъ, заведеніе такое, сколько я ни жилъ.

Вечеромъ, когда зажгутся огни приходитъ веселый и довольный Миронъ съ веселыми трактирными глазами и выкладываетъ ребятишкамъ на столъ баранки, пряничныхъ лошадей и леденцовъ. Дѣти визжатъ отъ радости, тянутся къ столу, а Марфа ворчитъ:

— То-то, недотепа. Безъ бабы дуракъ дуракомъ. Замѣсть, чтобъ накормить ребятъ, али бы принесъ чего изъ одежды, голыя вѣдъ, а онъ на голодное-то брюхо конфеты имъ пхаетъ. Мышиная голова.

— Марфа Ивановна, да напрасно,—Миронъ въ возбужденно веселомъ настроеніи,—моя скотинка обслужить, всего заработаетъ, и сыты, и обуты будемъ,—нонѣче на рубль на двадцать на пять наторговалъ.

Такъ тянется и заканчивается день.

Приходитъ и дядя Федоръ,—онъ торгуетъ свѣчами въ часовнѣ. Придетъ, всѣхъ попривѣтствуетъ, попьетъ кипяточку безъ чаю и безъ сахару, всѣмъ скажетъ по ласковому слову и къ себѣ въ тупичокъ. Платить онъ Антону Спиридонычу пятьдесятъ копеекъ въ мѣсяцъ, и за это спитъ у него на полу возлѣ кровати и держитъ подъ кроватью зеленый сундукъ. И каждый разъ, какъ ложиться спать, помолится Богу, пощупаетъ замочекъ у сундука,—цѣль.

Всю свою жизнь дядя Федоръ провелъ въ деревнѣ. И даже не въ деревнѣ, а въ лѣсу въ землянкѣ. Была у него жена и ребятишки. Ребятишки мѣрли, осталась одна дѣвочка. Затосковалась жена по дѣтямъ, надоѣло ей жить въ лѣсу она и сказала:

— Будь ты проклятъ, лѣсовикъ!—и ушла отъ него къ мѣщанамъ въ городъ. Такъ дядя Федоръ и не знаетъ, куда она дѣлась.

Выростилъ онъ дочку, перешелъ съ ней въ деревню жить. А въ деревнѣ лѣтомъ она нанялась къ господамъ,

которые жили на дачѣ. Потомъ уѣхала съ господами въ городъ и изрѣдка писала отцу, что живетъ по мѣстамъ и хорошо живетъ. Когда, случалось, рублишко пришлетъ, а то и два.

Такъ прошло два года. Заскучалъ дядя Федоръ. И пріѣхалъ въ городъ дочку повидать.

Городъ былъ громадный, такой громадный, что у дяди Федора отъ мельканія людей, отъ движенія, отъ безчисленныхъ огней, отъ шума цѣлый мѣсяцъ болѣла голова. Въ лѣсу онъ зналъ каждое дерево, а тутъ десять разъ проходилъ мимо своего дома, не узнавалъ и все спрашивалъ, какъ пройти.

Раза три сидѣлъ въ участкѣ за то, что Богу молился. Какъ увидитъ церковь, остановится, скинетъ шапку и давай молиться, а то поклонъ земной положить. На панели еще туда-сюда, публикѣ только мѣшаетъ, а если, случится, переходить рельсы, да увидитъ церковь, тутъ же снимаетъ шапку и бьетъ поклоны, не обращая вниманія на звонки. Изъ-за него приходится останавливать вагоны, вагоновожатые ругаются, зовутъ городского и дядю Федора съ дворникомъ отправляютъ въ участокъ.

Дочку онъ разыскалъ только на второй мѣсяцъ. Пришелъ повидать ее, а ему сказали, что ее можно видѣть только вечеромъ, днемъ она спитъ.

Удивился дядя Федоръ, но пришелъ вечеромъ. Долго ждалъ на кухнѣ, а потомъ его позвали, и въ переднюю вышла дочка, только онъ ее не узналъ: голыя руки и грудь, на лицѣ румянецъ, а на головѣ такая огромная шапка волосъ, что онъ удивлялся, какъ голова назадъ не отвалится, и сказалъ:

— Когда у тебя, дочка, волосевъ столькоросло?

А она все потирала пальчики въ кольцахъ, какъ будто ей было холодно, и все то засмѣется, то глядитъ на него большими круглыми глазами.

— Вы, папаша, приходите послѣ завтра... мнѣ хорошо живется... а только у насъ сегодня гостей видимо невид...

Да вдругъ упала къ нему на грудь и стали голыя плечики у нея вздрагивать. Ничего не понялъ дядя Федоръ, только почувствовалъ что-то страшное въ этомъ огромномъ, больше всякаго лѣса, городѣ.

Онъ только гладилъ шершавой рукой огромно навороченные, какъ копна, на ея головѣ чужіе волосы и приговаривалъ:

— Доченька... дочечка... доченька моя...

А она отняла голову отъ груди.

— Папаша, вы прическу испортите. Вы, папаша, сюда не ходите, а я васъ буду провѣдывать.

Тогда одна упорная мысль овладѣла дядей Федоромъ: отдать дочку замужъ. Поступилъ онъ продавать свѣчи въ часовню, тамъ ему платили съ пуда. Медленно, капля по каплѣ, зернышко по зернышку собиралъ онъ приданое въ зеленый сундукъ и жилъ постоянно впроголодь.

Лѣсъ и лѣсная жизнь научили дядю Федора неумирающему терпѣнію, но тяжелъ пудъ, долго тянется, и лишь нѣсколько копеекъ отъ него остается. „Ничего, все по ладному“,—говоритъ дядя Федоръ и начинаетъ читать молитвы на ночь. Уляжется на полу и все поворачивается, то одинъ бокъ согрѣетъ, то другой,—холодило съ полу-то.

Глаша спитъ возлѣ на кровати. Несется сонное дыханіе, и изъ кухни, и отъ Алексѣя Иваныча, и ребятишки у Мирона бормочутъ.

Заведетъ глаза дядя Федоръ, и сейчасъ одно и то же: будто онъ въ лѣсу и лѣзетъ на высокій старый осокорь. Не привыкать стать, цѣпляется руками и ногами, упирается въ вѣтки, а глянетъ внизъ—земля вотъ она; подыметъ голову—не видать верхушекъ. И будто непременно надо дядѣ Федору влѣзть и глянуть поверхъ деревьевъ. И знаетъ, увидитъ — только качаются верхушки, да вѣтеръ стонетъ, а надо лѣзть, надо глянуть, и страшно, и никакъ не долѣзаетъ.

Часу въ пятомъ, когда въ домѣ мертвое царство и съ потолка не доходятъ никакіе звуки, дядю Федора будитъ капель, хрипъ и сопѣніе — Антонъ Спиридоничъ пришелъ со службы. Сидитъ онъ красный, расплывшійся по кровати и хрипять:

— Пива!

А Глаша уже суетится, откупориваетъ приготовленную съ вечера бутылку.

— Извольте, Антонъ Спиридоничъ, кушайте, — и кланяется.

Намочить усы Антонъ Спиридоничъ, обереть пѣну языкомъ и начнетъ, хрипя и задыхаясь, рассказывать. Закроется, дескать, кинематографъ, разойдется публика, запрутъ двери, а тутъ самое и начинается настоящее по отдѣльнымъ кабинетамъ, которые при кинематографѣ какъ будто фойе,—дѣвицы, шампанское, веселье, деньги рѣкой, и ему, Антону Спиридоничу, хорошій доходъ, и полиція не трогаетъ.

Между каплемъ и одышкой Антонъ Спиридоничъ видимо всласть рассказываетъ такое, что дядя Федоръ, сидя на полу, только скребеть въ головѣ, да иной разъ сплунетъ

подъ кровать. Лечь бы уснуть, да не уснешь подъ эту хрипоту, и прислушивается онъ мимо рассказа къ своему привычному, — боръ шумитъ разноголосо и гнѣвливо и въ то же время однимъ ровнымъ, могучимъ голосомъ.

— О, Господи!..

— Вонъ, графъ Недоносковъ-Погоуляй почище насъ съ тобой, а бывало...

Антонъ Спиридонычъ чѣмъ дальше, тѣмъ больше распахляется.

— Чего морду-то воротишь? Не хуже насъ съ тобой, съ образованіемъ люди, понимаютъ...

Потомъ заваливается на кровать, Глаша тушитъ лампочку, тоже ложится, и при невѣрно мерцающемъ свѣтѣ лампадки на полу виднѣется дядя Федоръ на колѣняхъ. Онъ глядитъ, не отрываясь, на красный глазокъ лампадки, размашисто крестится, крѣпко прижимая, кладетъ земные поклоны и громко шепчетъ:

— „Господи, пріими и сокруши содѣянное“...

А на кровати хрипло сквозь одышку:

— Глиста... развѣ ты женщина?

— „...Господи, еже словомъ, еже вѣдѣніемъ и невѣдѣніемъ“...

— Иная баба... дѣйствительно, а ты что?

— Зачѣмъ вы меня, Антонъ Спиридонычъ?.. Господи чѣмъ же я виновата?..

— „...спаси и помилуй путешествующихъ, блудущихъ“...

— Да на кой ты лядъ кому сдалась... тьфу!.. отодвинься...

— Господи, да вѣдь упаду съ кровати...

Въ мерцающей мглѣ стоятъ слезы и все тотъ же неустанный громкій шопотъ молитвы.

Антонъ Спиридонычъ никакъ не отдышется, отъ одышки не можетъ уснуть. Онъ скашиваетъ глаза на припадающую къ полу темную фигуру на колѣняхъ.

Дядя Федоръ, отмолившись, ложится.

— И чего ты, дядя Федоръ, все поклоны отбиваешь? Не то во святые хочешь залѣзть, не то капиталъ пріобрѣсть у Господа!

— Не говорите такихъ словъ, Антонъ Спиридонычъ, не надо, не хорошо, не гоже...

— Я къ тому... не то что къ смѣху, нѣтъ, зачѣмъ, а только каждый молится за себя, а чтобъ за всѣхъ, на то рукополагаются особая должности, сирѣчь попы. На то у нихъ причтъ, ладаномъ кадятъ и за поборами ѣздютъ. Ну, а ты-то чего стараешься? Вѣдь тебѣ за это даже въ морду не плюнуть.

— И вотъ неправильно, Антонъ Спиридонычъ. Слыхали про Содомгомуру? Господь постановилъ по благости своей сжечь за беззаконіе. Сталь Лоть на колѣнки, просить за грѣшниковъ. А Господь смилостивился и сказываетъ: ежели девятеро праведниковъ найдется, помилую. Лоть туда, сюда—нѣту! Господи, а ежели хочь шесть? Ну, Господь грить: ладно, найдется и шесть, помилую. Лоть это опять кинулся, — нѣту, хошь, што ты хошь, дѣлай. Кинулся опять: Господи, ну, если хочь единъ! Господь подумалъ, подумалъ; жалко изъ-за одного да эва сколько содомцевъ миловать. Опять же и Лота жалко, просить, и говорить: ежели найдется хочь одинъ окромя тебя, помилую. А, сказать, и одного не нашлось; такъ и сгорѣли. Теперича я не къ тому, что противъ Лота себя ставлю, Боже упаси, ну, только спять, спить цѣльный городъ, и не чуютъ, что надъ ними. А, можетъ, бѣдствие обвисло. Можетъ, Божій гнѣвъ за стѣнами стоитъ...

— Такъ вѣдь не слыхать что-то, чтобъ Богъ города нонѣ палилъ.

Дядя Федоръ покрутилъ головой, посидѣлъ, потомъ легъ, натянулъ кафтанъ и завелъ глаза — скоро вставать къ часовнѣ.

Сталь засыпать и Антонъ Спиридонычъ, борясь съ удушьемъ, открывая и закрывая глаза, и трепетно мелькающимъ, воровливымъ свѣтомъ озаряетъ грудь его тѣла глядящій изъ угла красный глазокъ лампадки.

Случалось, по праздникамъ и барыня, и квартиранты уѣзжали на цѣлый вечеръ. Тогда въ Марфиномъ салонѣ собирались.

Отобѣдаютъ господа и горничная перестанетъ прибѣгать внизъ, Марфа приберется по кухнѣ, поставитъ самоваръ, накроетъ кухонный чисто выскребленный столъ штопанной скатертью, а на скатерть самоваръ и баранки, понемногу начинается собираться публика.

Вылѣзетъ изъ своей берлоги Антонъ Спиридонычъ, сопя и кряхтя.

— Садитесь, Антонъ Спиридонычъ,—скажетъ Марфа съ озабоченнымъ видомъ принимающей хозяйки.

— Что жъ, можно единую,—присаживается, и подъ нимъ, подаваясь, слегка трещить табуретъ.

— Миронъ Сергѣичъ, вы что же? Приходите, гостями будете. Глаша, иди. И вы, Алексѣй [Иванычъ. Груня, али тебя просить.

Гости приходятъ со своимъ сахаромъ, хлѣбомъ, а чай

Марфа завариваетъ отъ себя на всѣхъ. Впрочемъ, онъ ей ничего не стоитъ,—хозяйскіе опивки сушить. Передъ Антономъ Спиридонычемъ Глаша ставитъ бутылку пива, а передъ Алексѣемъ Ивановичемъ Груня полубутылку водки.

Гости безконечно пьютъ зеленую водицу, прикусывая сахаръ и отирая потъ. Ведутъ разговоры.

Прибѣгаетъ на минутку горничная.

— Садись, Маня,—говоритъ миролюбиво Марфа.

— Да вѣдь некогда, заразъ уѣзжаютъ.

— Ну, ну, чашечку.

Та хотя и брезгаетъ этой компаніей и наверху пьетъ вдоволь господскаго чая съ печеньями, которыя таскаетъ изъ буфета, присаживается на краешекъ табуретки, чтобъ не обматъ платья, и начинаетъ пить зеленоватую водицу.

— Далеко вы отъ меня сѣли... поближе,—хрипитъ Антонъ Спиридонычъ, и глазки у него маслянятся—пивка стаканчикъ.

— Нѣтъ, мерси-съ, не люблю, горькое.

— Такъ можно подсластить, хе-хе-хе...

— Было бы съ кѣмъ.

— А мы чѣмъ же не вышли въ порядкѣ?

— Пахнетъ у васъ тутъ нехорошо, прямо воняетъ.

Миронъ сейчасъ же настораживается, принимая на свой счетъ:

— Чѣмъ же нехорошо, Марья Александровна? обыкновенно человѣчиной.

— Мышами.

— А что жъ такое мышь! да отъ нея запахъ-то чище еще, какъ отъ человѣка. Мышь—звѣрь, а звѣрь чистоту свою самъ понимаетъ. Взять лошадь. Да многіе господа даже любятъ, какъ запахъ даетъ конскій навозъ, только чтобъ свѣжій, конечно. А ну-кась возьми человѣчій!..

— Ну, вы ужъ наразсказываете.

— Вы, Марья Александровна, подождите минуточку, — говоритъ галантно, хрипя и кашляя, Антонъ Спиридонычъ,—я вамъ сейчасъ за церковнымъ виномъ пошлю, красное и пріятное.

— И со святостью.

— Нѣтъ, благодарю, побѣгу,—и убѣгаетъ по лѣстницѣ, шелестя юбками.

Антонъ Спиридонычъ, хрипя и подымая дыханіемъ огромный животъ, глядитъ вслѣдъ говяжьими глазами:

— Аккуратненькая.

Миронъ сердито прихлебываетъ съ блюда на пальцахъ:

— Воняетъ. Да, можетъ, она, мышь, еще чище тебя. И корова те воняетъ, а какъ безъ коровы въ хозяйствѣ?

Марфа сердито вытерла потъ съ лица:

— Сказалъ: корова!.. то корова, а то мышъ. Что молоть-то!

— А по какому случаю разница? Только что энтой Богъ рога насадилъ. Такъ у многихъ коровъ рога спиливаютъ. А то есть комолыя совсѣмъ безъ роговъ отъ роду,—порода разная. Мышь, корова-ли, все одно домашнее животное. Опять же и мышъ разной породы. Есть мышъ длинная на манеръ таксы, и по хребту черная полоса, а есть круглая мышъ, а есть головастая. Есть земляная мышъ, есть водяная, есть полевая, есть потолочная, которая по чердакамъ. А то кладовая мышъ,—это особая статья. И до чего умная скотинка: лица теперича таскать надо въ нору. Ну, такъ катить, бьются. Такъ старая мышъ облапить яйцо, ляжетъ на спину, а другія, ухватютъ ее, кто за шкуру, кто за хвостъ. кто за ноги, и тянутъ ее, стало быть, волокомъ къ норѣ, а она лежитъ, и на пузѣ у ней яйцо. А то вотъ какъ молоко изъ кувшиновъ пьютъ. Кувшинъ высокій да узкій, молоко глубоко, туда не влѣзешь, утонешь. Такъ мыши обсядутъ край, спустятъ хвосты, поболтаютъ, поболтаютъ въ молоко-то, вытянутъ и обсосутъ хвосты и опять поболтаютъ и опять оближутъ. Такъ и напьются; все молоко вылакаютъ.

— Диковина!

— Тьфу, нечисть!.. пуцай только ко мнѣ залѣзутъ, и вамъ всѣмъ тошно станеть.

— А то есть поющая мышъ. Такъ эта „матушку голубушку“ до того-ли выводить, за сердце беретъ, ей Богу.

— Бреши больше.

— Да ей Богу, я, что-ли? ученые открыли; такъ и называется „поющая мышъ“. Чисто андельскимъ голоскомъ.

— Не грѣши.

— Сядетъ это на заднія лапки, сама столбикомъ, головку на бокъ и...

Миронъ вытянулъ заросшую шею, что есть силы, собралъ угломъ надъ переносицей брови, набравъ на лбу складки, округливъ шершавый ротъ и дикимъ голосомъ завопилъ, мотая головой:

—... Ма-а-ту-у-шка-а, го-о-лу-у-бу-уш-ка-а-а, со-о-лныш-ка-а ма-а-я-а-а...

Антонъ Спиридонъчъ недовольно засопѣлъ, затыгиваясь папирсой:

— Этакъ-то ангелы на небеси поютъ? сбѣжишь.

— Ну, до чего умирительно. Такъ и называется: поющая мышъ, фараонова. Фараоны при себѣ ихъ держутъ замѣсто хора.

— Это которые изъ особаго батальона?

— Нѣ, египетскіе цари, сказать, африканскіе.

— Что жъ ты не заведешь?

— Дорогія, приступу нѣтъ. Одна поющая мышъ, называемая фараонова, стоитъ пять тысячъ рублей.

— Цѣна!

— Да, чего вы рассказываете,—загремѣла Марфа—мышъ попадетъ въ кадку, заразъ святой водой надо кропить,—погань...

Миронъ весь покраснѣлъ, надулся и закричалъ фистулой:

— А почему такое въ алтарѣ кошекъ пускаютъ?

И, приподнявшись и осмотрѣвъ всѣхъ, отчеканилъ:

— Стало быть, мыши есть во святомъ мѣстѣ. А вы говорите, погань.

— Мышь въ церкви завсегда.

— Ну, то-то!

Антонъ Спиридонычъ запыхтѣлъ и сердито заворочилъ животомъ:

— Объ мышахъ,—разговору другого нѣту... стало быть, къ чаю закуска.

— Тьфу, прости Господи,—плюнула Марфа.

И, вдругъ сдѣлавшись совсѣмъ другою, проговорила, притихшая:

— Чтой-то Лѣни нѣту.

И, подождавъ и прислушавшись, вздохнула и покликкала:

— Дядя Федоръ, а дядя Федоръ, иди, съ нами чайку попьешь.

Изъ-за занавѣски:

— Ай?

— Иди, говорю, почаѣвничаешь съ нами.

— Ну-къ что жъ.

Дядя Федоръ выходитъ, отвѣшиваетъ поклонъ.

— Помогай вамъ Господи, чтобъ на пользу, на потребу.

— Садись, садись, вотъ сюды, вотъ хорошо. Ну, какъ, дядя Федоръ, шибко торгуете свѣчьми? Небось, на полъ сундука-то приданого набили?

Дядя Федоръ крестится, садится и начинаетъ терпѣливо чашка за чашкой пить чай, такъ же терпѣливо, какъ выработываетъ онъ на приданое съ пуда: „все поладному“...

— Лѣни чтой-то нѣту...

— За ваше драгоцѣнное,—говоритъ Алексѣй Иванычъ, запрокидываетъ черные кудлатые космы и опрокидываетъ подъ черные въощіеся усы рюмку.

Щекастое лицо Марфы зло наливается краской и густо лоснится:

— Драгоцѣнное! А чего Груньку лупишь, окаанный, каждый день, какъ сидорову козу.

— Ась?.. да кто ее этово?.. ништо-о!..

Онъ покрутилъ цыганской головой, облапилъ, паясничая, Груню и сталъ ласкать.

Та конфуэливо:

— Будя... ну, будя, Алексѣй Иванычъ...

— Еще притворяется, идолъ черномазый. А кто убиваетъ да измывается...

— Кто-о жъ это?!—изумленно блеснуль бѣлками Алексѣй Иванычъ,—али безъ меня?

— Ы-ы-ы... чтобъ тебя!—возмущается Марфа и сердито сморкается—доведись до меня, я бъ тебѣ показала Кузькину мать.

— Трудно нашему брату при ихней сестрѣ,—вдохнуль животомъ Капитонъ Спиридонычъ—Марфа-то Ивановна по три мужика на каждую руку, и глядѣтъ нечего. Покойнаго мужа, бывало, подыметъ за шиворотъ да и швырнетъ на постель. Онъ, какъ котенокъ, лежитъ на постели-то, дожидается. Герой женщина нашего времени.

— Ну, а то какъ же съ вами, съ кровопивцами.

Алексѣй Иванычъ, лохматый и черный, задумался, глядя на самоварный кранъ,—самоваръ тоненько и унывно пѣлъ. Потомъ скрутилъ и заломилъ собачью ножку, закурилъ и, наклоняясь къ Марфѣ, проговорилъ, показывая бѣлые, какъ кипень, изъ-подъ черныхъ усовъ зубы:

— Какая моя черезъ нее жизнь. Кабы не она, человѣкомъ бы я былъ... самъ объ себѣ помышлялъ...

— Не то въ босяки бы попалъ.

— А хошь и въ босяки. Пущай въ босяки! по крайности такъ бы и зналъ: босякъ. И люди бы знали: босякъ. На роду написано, босякъ, стало быть. По крайности званіе свое имѣлъ бы. А теперя я што? Вольный человѣкъ? Нѣтъ, все меня тянетъ въ свою нору. Женатый? нѣ-ѣтъ, какая она мнѣ жена. Холостой? опять же нѣтъ: съ Грушкой вотъ сколько годовъ вяжусь. И не работникъ я,—чего мнѣ работать, какъ она меня кормить, али дуракъ я? Опять же безъ работы скучно, пить надо. И выходитъ, потерянный я человѣкъ навѣчно.

Онъ быстро, торопливо втягивая черныя, какъ сапожный варъ, щеки, сталъ затягиваться и огонь сразу стѣлъ полъ собачьей ножки.

— Вотъ, одно—убить ее и больше ничего.

Марфа Ивановна замахала руками:

— У-у, цыганская обраина...

Прислушалась: снаружи скрипнула дверь.

— Лешенька!..

Лицо ея засвѣтилось такой безконечной ласковостью что за столомъ притихло.

По лѣстницѣ спустился молодой паренѣ лѣтъ двадцати двухъ, въ потертомъ пальто, съ втянутыми землистыми рабочими щеками. Онъ бросилъ на кровать картузъ, торопливо спѣша куда-то, скинулъ пальто и, также спѣша и торопясь, безпокойно пробѣжалъ по лицамъ большими карими глазами.

— Здравствуйте, мамаша. Антону Спиридоничу... Честной компаніи...

— Доброго здоровья... Здравствуйте, Алексѣй Матвѣичъ... Наше вамъ... — нестройно откликнулись изъ-за стола и любовно раздвинулись, давая мѣсто, — садитесь къ намъ, чайку.

Онъ былъ щуплый и торопливый той особенной нервной торопливостью, для которой дорога каждая свободная минутка и которая вырабатывается вѣчной, непрережающейся работой. Сѣлъ на табуретку, согнувшись, вдавивъ плоскую грудь, и взялъ рабочими, съ черно вѣвшимися желѣзомъ и масломъ, руками налитую матерью огромную пѣгую чашку съ чаемъ.

— Ну, какъ у васъ? — прохрипѣлъ Антонъ Спиридоничъ.

— Да что, — отозвался Алексѣй.

— Лешенька, ты бы съ крендельками.

Это была совсѣмъ другая Марфа Ивановна. Уже не было ни пожарныхъ, ни городскихъ, ни приказчиковъ изъ мясной, ни сосѣдскихъ дворниковъ, а были только материнскіе глаза, сіяющіе безконечной любовью, безконечной гордостью, безконечной, гдѣ-то глубоко запрятанной тревогой за сына, за единственнаго въ мірѣ. Она и вся какъ будто стала меньше, только глаза сіяютъ.

И кругомъ за столомъ какъ будто подчинялись этой материнской гордости. И Алексѣй Ивановичъ, докуривая собачью ножку, и Антонъ Спиридоничъ, нося животомъ, и Груня, и Глаша, и Миронъ точно слегка повернулись къ Алексѣю. Только дядя Федоръ терпѣливо пилъ чай, по прежнему безъ сахара, прихлебывая съ капельками пота на носу горячую воду, какъ бы разумѣя: „ну-къ что жъ... все по шадному“...

— А то, — заспѣшилъ, заговорилъ, смахнувъ жиденькіе, крысинные усы, Алексѣй, заспѣшилъ, какъ будто не видѣлъ, да и надобности въ нихъ не было, кто сидѣлъ, а принесъ свое тревожное, недоконченное, безпокойное, — а-а, молъ, такъ: тяпъ-ляпъ... нѣ-ѣтъ... нѣ-ѣтъ... — говорилъ онъ торопливо и торопливо вовсе не потому, что ему хотѣлось, пилъ изъ рябого блюда, обжигаясь и моргая безъ надобности, — ага... не въ этомъ штука... бездѣлица!..

— Ну, да, конечно, понимаемъ, — и Алексѣй Ивановичъ дружелюбно снова запрокинулъ кудлатую голову и влилъ подъ усами между бѣлыхъ зубовъ рюмку, — за насъ за бездомныхъ... ну, какъ же, понимаемъ...

— О Господи, Господи!.. да вѣдь... — да не докончила и вытерла вдругъ покраснѣвшіе глаза Марфа Ивановна.

И, хотя Антонъ Спиридонычъ былъ другого мнѣнія и какъ бы изъ другого царства, опустил животъ и сказалъ:

— Князь Грязной-Прокудинъ такъ-то сказалъ: отъ Питера до Москвы ихними висѣлицами уставишь бы; будь моя полная власть, и чтобъ воронье растаскали. Д-да, потому законъ, строгость.

Марфа Ивановна заплакала:

— Лешенька!..

Антонъ Спиридонычъ шумно выдохнулъ и, какъ бы снисходя и признавая законность материнскаго горя, подавляя кашель, прохрипѣлъ:

— Ему легко говорить: сто тысячъ десятинъ, да на Кавказѣ, да въ Азіи...

— Мыша есть гдѣ разводить,—вставилъ Миронъ.

Антонъ Спиридонычъ не удержался, закашлялся, трясся, весь огромный и красный.

Алексѣй, какъ ужаленный, заметался, безпокойный и не находя мѣста:

— Да развѣ въ этомъ штука?!.. а-а...

Въ двери, рѣзко и странно выдѣляясь, колебалась перьями огромная шляпа, а у горла краснѣлъ красный шелковый бантъ.

— Здравствуйте, папаша. Здравствуйте, Алексѣй Матвѣичъ.

Она подала руку, а остальнымъ кивнула головой и перья на шляпѣ затанцовали.

Никто не подвинулся, не глянулъ. Дядя Федоръ сказалъ:

— Ну-ну, садись, садись, чайку попьешь; я ужъ напил-ся... ничего...

Онъ налилъ, не всполаскивая, глиняную кружку.

У дѣвушки раздувались красиво вырѣзанныя ноздри, изъ-подъ тонкихъ бровей блестѣли глаза, а на худенькомъ личикѣ—крикливый румянецъ.

— Обождатель подвезъ, — сказала она, нагло оглядывая всѣхъ, лишь пропустивъ Алексѣя, — до страсти люблю на автомобилѣ; на извозчиковъ глядѣть не могу.

На ней было расшитое пальто, которое она не снимала, а на головѣ колебалась перьями шляпа...

Поискала глазами сахаръ, но у дяди Федора не было, а изъ тѣхъ никто не предложилъ, и стала пить, будто не замѣчая.

Марфа Ивановна громко прикусывала сахаръ.

Дѣвушка, также дѣлая наглые глаза,—начхать, дескать, мнѣ на васъ на всѣхъ, и щеголия развязностью, сказала:

— Ну, какъ, Миронъ Сергѣичъ, поживаютъ ваши мыши?

— Мышь тебя не касается,—сказалъ Миронъ, схлебывая съ блюда, и, склонивъ голову, налилъ изъ пузатой чашки—мышь себя блюдетъ, не то что...

— Въшалъ бы такихъ, будь моя власть!.. — сказалъ Аптонъ Спиридонъчъ, ни къ кому не обращаясь, но всѣ молчаливо поняли, къ кому это относится.

Алексѣя точно укололо. Онъ опять заметался, безпокойно бѣгая глазами, смахивая жидкіе усы, дергая плечомъ:

— Не въ томъ дѣло... Эка невидаль—тюрьма!.. да въ одинокѣ нашъ братъ отдохнетъ по крайности, а то нѣтъ? Да хоть вздернуть... ну, что!!.. намаешься, ну, усталъ, прямо ложись; помирай, задохся, все на тебя... невидаль!..

— Господи, Лешенька, перекстись!..

— Не въ томъ дѣло, говорю... нашъ братъ изъ десяти девять тюрьмы понюхали, не страшно... А вотъ...

Онъ уставился на нихъ глазами, поблѣднѣлъ и зашепталъ:

— Въ этомъ мѣсяцѣ... товарищъ у меня, просто другъ... одна чашка, одна ложка... сны одни видимъ... вдругъ скажутъ: продаетъ. Вскочилъ я: „Архипъ“?!—„Продаетъ“,—говорятъ. „Это—Архипъ“!—„Продаетъ“... Ухватилъ я ножичекъ, съ размаху въ ладонь себѣ... наскрозъ... кончикъ вышелъ...—онъ показалъ заструпившуюся съ обѣихъ сторонъ рану,—вотъ! когда кровь не пойдетъ изъ меня, тогда повѣрю... рѣжьте мясо съ костей... А они: ты, говорятъ, не прыгай; не меньше тебя другъ намъ, ты смотри на факты жизни. Первое, какъ сберемся, гдѣ онъ побываетъ, аресты на другой день, ужъ непремѣнно. Сходку назначимъ, ежели онъ знаетъ, полиція непремѣнно накроетъ. Онъ тебѣ другъ, это, говорятъ, понимаемъ, и намъ товарищъ, а дѣло впереди всего. Онъ тебѣ другъ, а страдаютъ тысячи народу. Ты за него, говорятъ, мясо съ себя рѣжешь; а за дѣло, говорятъ, и всю шкуру приходится снять. Не повѣрю, говорю, доказательства. Изволь, говорятъ, съ этого бы и начинать.

Стали слѣдить. Глядимъ, подъ вечеръ городовикъ къ нему. Товарищъ одинъ прокрался, — городовикъ прямо въ комнату къ Архипу... часа три у него пробылъ, потомъ ушелъ... эхъ т-ты-ы!..

Алексѣй завертѣлся, оскаливъ зубы, точно ему прихлопули палецъ дверьми.

— Что? — говорятъ. Ну, давайте, говорятъ, провѣримъ окончательно. Назначили сходку у Архипа въ десять вечера. А въ девять—къ нему никто не пошелъ, а разставили посты на улицѣ и стали караулить,—а въ девять къ нему

въ квартиру прошелъ приставъ и два околотка, а на улицѣ у воротъ городовика поставили. Ну, ясно?

Онъ измученно оглядѣлъ всѣхъ.

Дѣвушка сидѣла съ обвисшими перьями, съ горестно опущенными углами рта, съ изсиня помертвѣвшими, рѣзко очерченными на блѣдномъ лицѣ румянами, смотрѣла на Алексѣя глазами побитой собаки и все потирала маленькія въ кольцахъ руки, какъ будто ей было холодно.

— Ну что?—говорять—что?.. а-ха-ха-ха!..

Алексѣй засмѣялся и забѣгалъ глазами. Весь ссутулился и опять зашепталъ:

— Мнѣ его... то есть, Архипа... досталось... узелки тянули... Пойдемъ, говорю... ночью, часовъ двѣнадцать было... пойдемъ, говорю, пойдемъ... Удивился: ночью!.. Ну-къ что жъ, говорю, голова болитъ. Пошли. Улицы, какъ мертвыя. Фонари дымятся... кое-гдѣ... глаза протираю—дымятся!.. Веду его, Господи, веду его, друга своего. Долго шли, на кладбище пришли. Черно, памятники маячатъ. Сѣли на плиту. Онъ говоритъ: чудной ты нынче. А я... засмѣялся. Самъ не знаю, чего засмѣялся. Пощупалъ браунингъ въ карманѣ да говорю: давай, выпьемъ,—двѣ сотни у меня въ карманѣ, пусть, думаю, въ послѣдній разъ, а самъ сталъ считать до пятидесяти; думаю, досчитаю до пятидесяти и въ високъ... чтобъ не мучился... А онъ говоритъ: не хочу, завтра рано вставать.—Чего такъ?—На квартиру, говоритъ, новую перехожу...—Почему такое? (а у меня въ головѣ: двадцать три... двадцать пять... двадцать семь...).—Да, говоритъ, не нравится хозяйка, надоѣло, съ полиціей больно дружбу водить...—Ну? (двадцать девять... тридцать...).—На прошлой недѣлѣ именинница была, такъ пьянствовали до утра: приставъ, два околотка. Я ухватилъ за руку: какъ звать?—Да Марья же, двадцать второго іюля.—Это когда сходку назначили?—Ну-ну, самое. Хорошо, что не пришли. Мнѣ-то послать некого, а сбѣгать, кто-нибудь придетъ.—А зачѣмъ городовикъ у воротъ?—Да для посылокъ же, за виномъ въ магазины все съ задняго хода ходилъ; а Марья Васильевна ему водки все выносила.—А который къ тебѣ все городовикъ приходилъ?—Когда?—Да недѣли съ три назадъ.—Да Прощка же, братъ!.. Ахъ, ты!.. знаю же, Прощка же, двоюродный братъ его... на нелегальномъ. Бывало, пріѣдетъ, все городовикомъ одѣвался, безопаснѣй; какой околотокъ и спросить: съ порученіемъ, дескать, секретнымъ туда-то, ну, и ладно. Задалъ еще вопросовъ, все просто объясняется... Упалъ я, цѣлую ему колѣнки... Испужался онъ, поднялъ, повелъ, думалъ, съ ума я сошелъ...

Алексѣй поворачивалъ ко всѣмъ длинную шею и не то смѣялся, не то судорожно икалъ:

— Чтожжъ этто... чтожжъ этто!..

— Лешенька... родимый мой!..

Миронъ ушелъ въ уголъ возиться съ мышами.

Антонъ Спиридонъчъ сопѣлъ, затягиваясь толстой, какъ бревно, самодѣльной папирсой:

— Теперь вездѣ пошли фонари газовые, не могутъ коптѣть, прежде керосиновые, такъ коптѣли.

Дѣвушка все съ тѣми же собачьими глазами, также торопливо и нервно, какъ будто заразилась отъ Алексѣя или у нихъ было одно ремесло, дергалась, вздрагивая, оглядывалась и все потирала маленькія озябшія въ кольцахъ руки, насилуя перехватывавшія горло спазмы:

— Я все... все... Алексѣй Матвѣичъ... Господи!.. да развѣ...—и, судорожно схвативъ, поцѣловала Алексѣю руку, а тотъ залааялъ захлебы вающимися звуками, прижимая лицо къ столу.

— Лешенька, да Господь съ тобой... дай-ка я тебѣ чайку налью... умыть тебя съ глаза ужю... родимый ты мой!..

Алексѣй Иванычъ, разсолодѣлый отъ водки, говорилъ заплетаясь:

— Ошибка въ хвальшѣ не ставится... Вотъ, Грунька, такъ-то съ тобой... учись... Что ты и что я?!.. чтобъ духу твоего не было... хочешь жить?!.. па-аскуда!..

А у нея сіяли безконечной добротой и счастьемъ глаза:

— Вы бы легли, Алексѣй Иванычъ,—я вамъ постельку приготовила.

А около дяди Федора сидѣла совсѣмъ уже другая. Она гордо встряхнула заколыхавшимися на шляпѣ перьями; на щекахъ нагло кричалъ яркій румянецъ; презрительно сѣзнула глазки, не спѣша, умѣло надѣвала на маленькія руки съ кольцами длинныя перчатки.

— Я, папаша, пойду... Кавалеръ на автомобилѣ обѣщался,—не выношу извозчиковъ. Не хочу, чтобы сюда шофферъ зашелъ—воняетъ, и подвалъ совсѣмъ.

— Ну-къ что жъ... ладно.

У Марфы Ивановны густо надулись покраснѣвшія щеки:

— Скатертю дорога.

Дядя Федоръ пошелъ за дѣвушкой проводить, а она шла, презирая, какъ королева, шевеля перьями, и лишь кивнула Алексѣю.

Въ лѣтнее время ребятишкамъ рай. Чѣмъ свѣтъ Анька подхватываетъ маленькаго подъ животикъ и. перегнувшись

назадъ, какъ кошка котенка, вытаскиваетъ наружу, а онъ, весь обвиснувъ, выжидательно молчитъ. Сенька съ голымъ животомъ ковыляетъ вслѣдъ.

Старое корявое дерево, на памяти котораго, гдѣ теперь стоятъ покосившіеся уже дома, разстился когда-то пустырь, зеленѣетъ скудными листьями по разстопыреннымъ почернѣлымъ вѣтвямъ. Прилетаютъ воробьи, приходитъ, выгнувъ спину, кошка, и ребятишки безъ умолку чирикаютъ въ жидкой, слегка шевелящейся по землѣ тѣни.

У Мирона въ теплое время торговля идетъ отлично. Только случилась исторія съ Васькой.

Пришелъ какъ-то Васька вечеромъ и на вопросъ Мирона заложилъ руки въ карманы и нагло сказалъ:

— Нѣту денегъ... не торговля.

Миронъ ротъ разинулъ:

— А-а?..

Потомъ, придя въ себя и вытаращивъ глаза, спросилъ:

— А мыши?

— Полицейскій заарестовалъ.

Васька нагло не вынималъ рукъ изъ кармановъ. Миронъ подскочилъ, сунулъ къ Васькиному рту носъ, потянулъ: отъ Васьки густо несло водкой. Миронъ молча размахнулся и ударилъ по лицу. Васька, не вынимая рукъ, поддалъ ногой въ животъ. Они сцѣпились, повалились на полъ и Миронъ почувствовалъ, что сила у сына.

Ночью Васька ушелъ, захвативъ двадцать лучшихъ мышей, и ужъ больше не возвращался,—такъ и канулъ. Говорили, открылъ свою мышиную фабрику, а другіе говорили, что спознался съ хулиганами. Отецъ проклялъ, но изрѣдка, ворочаясь въ субботу вечеромъ, когда доносился сквозь уличный шумъ благовѣстъ ближайшей церкви, спрашивалъ:

— Не приходилъ Васька?

На что неизмѣнно и зло Марфа отвѣчала:

— Жди,—въ острогъ небось устроился.

А Миронъ, помолчавъ, съ гордостью говорилъ:

— Не пропадетъ: мышъ выручить... По крайности руко-
месло за плечъми.

Осенью, когда пришла сырость и на землю скудно валилъ мокрый, сейчасъ же таявшій снѣгъ, Богъ прибралъ у Мирона маленькаго, и всѣмъ въ кухнѣ стало недоставать этой вѣчно мокрой завязанной на спинкѣ узелкомъ рубашонки, и голенькаго посинѣлаго зада, торопливо пересаживавшагося на холодныхъ каменныхъ плитахъ. Прежде его какъ-то не замѣчали или сердились, когда онъ попадался

подъ ноги или дѣлалъ лужи на полу, а теперь точно подвалъ опустѣлъ, и кто-нибудь, нѣтъ, нѣтъ, и скажетъ:

— Ванятки-то нѣту.

Миронъ самъ несъ гробикъ, шагая по липкой грязи на мостовой, и вѣтеръ шевелилъ его волосы и охлаждалъ сухіе глаза. Посыпалась земля на маленькій тесовый гробикъ. Миронъ ударилъ шапкой о земь:

— Эхъ, Ванятка, не пришлось намъ съ тобой пожить, похозяйничать. А я бѣ ужъ тебѣ не пожалѣлъ, досталъ бы мыша настоящаго, фараонова... жилъ бы ты припѣваючи... сыночекъ ты мой!..—и заплакалъ.

А когда воротился, позвалъ Аньку и велѣлъ надѣть на Сеньку свои старые изорванные сапоги, обрѣзать и подшить, чтобъ не волочились, старые штаны.

— Будя ему голопузому бѣгать; отъ людей срамно.

И когда она подошла, поднялъ глаза, какъ въ свое время на Ваську, и увидѣлъ ее въ первый разъ.

Предъ нимъ—тоненькая, какъ лозинка, дѣвочка съ зеленымъ личикомъ, на которомъ не дѣтская усталость; отъ носа къ угламъ губъ, какъ иголкой, проведены морщинки; подъ глазами темная синева, а рѣсницы густыя и долги.

— Да тебя замужъ скоро отдавать, а ты рукоесла никакого не знаешь. Мышь—дѣло мушчинское, баба къ ней неспособна; это те не коровъ доить, тутъ ума положеніе. А тебѣ шить, знай иголку, и больше ничего.

Въ тотъ же вечеръ Миронъ отправился къ знакомому трактирщику и подарилъ ему клѣтку съ двумя мышами,—у трактирщика сестра содержала дамскую мастерскую. А на другое воскресенье отвелъ Аньку на мѣсто.

Рѣдко навѣдывалась Анька,—не пускали. А и придетъ, отца не видитъ,—если пустятъ, такъ только въ воскресенье, а въ воскресенье у Мирона самая торговля, и его цѣлый день нѣтъ дома.

— Ну, и растешь ты, дѣвка, ишь тянешься, какъ вербочка на мокромъ мѣстѣ. А все толку съ тебя нѣту: какъ была дохлая, такъ и посейчасъ. Ну, какъ?

И начнетъ Марфа спрашивать про житье, а сама сунетъ пирожокъ либо вчерашнюю котлету. Дѣвочка нехотя, не то застѣнчиво ѣстъ, и только и слышно отъ нея: „нѣтъ“... „такъ“... „ничего“... А на лицѣ не дѣтская усталость, и подъ глазами—глубокая синева не то отъ густыхъ рѣсницъ, не то отъ чего другого.

Сидитъ, смотритъ и молчитъ, и не хочется уходить отъ родимаго мѣста. Все знакомо до послѣдней пылинки. Та же разсѣвшаяся печь, тѣ же полки, посуда на нихъ, бархатисто зеленая плѣсень у кровати. Съ потолка смутно па-

даетъ знакомый гулъ,—должно быть, на рояли. Въ тупичкѣ дядя Федоръ истово крестится, доносится его привычный шопотъ, и глядитъ, не отвѣчая, красный глазокъ лампадки.

А у себя на кровати сидитъ Алексѣй Ивановичъ, лохматый; разстегнутый воротъ отвисъ, и грудь вся въ черныхъ космахъ.

Передъ нимъ—траурно коптящая лампочка, съ зазубреннымъ горлышкомъ недопитая полубутылка и Груня съ вздернутымъ носикомъ, съ голубыми глазами.

Алексѣй Ивановичъ качаетъ босой съ большими желваками ногой, и Аня слышитъ знакомое:

— Грунь, а Грунь, брось ты меня.

— Бросьте вы меня, Алексѣй Ивановичъ.

— А?.. какая моя жизнь?.. что я?.. пенъ обгорѣлый...

Груня стоитъ передъ нимъ толстенъкая, коротенькая, какъ тумбочка при панели, съ добрыми морщинками у глазъ, бесконечно сіяющихъ, въ которыхъ — незамутненное безъ пятнышка голубое небо.

Онъ глядитъ на нее, и глаза наливаются кровавой злобой.

— Брось!!!!..

И все тѣмъ же бесконечнымъ самоотверженіемъ и радостной готовностью слышится ея голосъ, который какъ бы продолженіе ея голубыхъ глазъ:

— Бросьте вы меня, Алексѣй Ивановичъ... За васъ всякая пойдетъ и съ деньгами... А я вамъ, Алексѣй Ивановичъ, буду помогать... на глаза не буду показываться, буду присылать...

Отливаетъ тугая волна отъ коротко и жутко бьющагося сердца и, передохнувъ, говоритъ Алексѣй Ивановичъ:

— Жалко мнѣ тебя, Грунь, вотъ жалко... и неизвѣстно почему... убилъ бы вотъ... однимъ махомъ... и больше никакихъ... пикнуть не успѣешь... цокнуть по башкѣ... сверху ррразъ!!!—онъ сжимаетъ туго огромный въ черныхъ мозоляхъ волосатый кулакъ, — одна шея останется, больше ничего... а вотъ жалко... бросить... Глянешь, и сердце отойдетъ, какъ растаетъ... Жалко бросить, и бить-то я тебя до дѣла не могу... а придетъ время, убью... быть мнѣ на ка-торгѣ...

Она стоитъ передъ нимъ съ сіяющими глазами.

— Убью я тебя когда ни то, Грунь...

У нея сіяютъ глаза.

Вечеромъ придетъ Миронъ, непременно спроситъ:

— Была Анька?

Марфа осерчаетъ:

— Ну, была. Замужъ тебѣ надо ее отдавать.

— А что жъ! это мы можемъ и даже съ превеликимъ.

Апрѣль. Отдѣлъ I.

Это мы оборудуемъ однимъ духомъ, была бы охота. Мышь, онъ не выдастъ. Приданое—изволь; обнова, али тамъ шляпку, али хвальшивую косу на голову—разъ плюнуть, потому она животное понимающая и съ образованіемъ.

По утрамъ, какъ всегда, Миронъ съ мышами выходитъ за ворота,—все то же, тѣ же дома, трактиры, улицы. А за улицами такія же знакомыя другія улицы, знакомыя площади, дома, магазины, трактиры.

Съ нѣкоторыхъ поръ его преслѣдуетъ, точить странная мысль о „веселомъ мѣстѣ“.

Веселое мѣсто!..

Онъ самъ не умѣетъ сказать себѣ, что это, и никогда не говоритъ объ этомъ вслухъ, потому что начнешь говорить словами, выходитъ чудно, но смутное ощущеніе, скорѣй ожиданіе никогда не гаснетъ, точить. Гдѣ оно? какое оно? и какъ къ нему пройти? И будто туда тѣсныя и узкіе переулки и со всѣхъ сторонъ высокія слѣпныя безъ оконъ стѣны...

Глянетъ Миронъ, по знакомымъ улицамъ снуютъ народъ, гудя, съ грохотомъ переходятъ на стрѣлкахъ и, роняя синія искры, бѣгутъ полные людей трамваи, гукаютъ проносящіеся автомобили. И надо торговать мышами, и никто не можетъ сказать, да и не спрашиваетъ онъ, да и знаетъ, нѣтъ такого мѣста.

Сталъ попивать Миронъ. Выпивалъ онъ и прежде, но прежде выпивалъ онъ весело, дѣловито — должность такая, съ хорошими людьми встрѣчался, зазовутъ въ трактиръ, угодять, отказаться нельзя.

Теперь же запивалъ тяжело—самому себѣ не въ радость.

Если приходилъ домой съ красными глазами, дико, до безчувствія поролъ Сеньку, неизвѣстно за что.

Если же насилу влѣзалъ, толкаясь о притолоки, выписывая мыслете, значить, былъ въ отличномъ расположеніи духа. Вытаскивалъ баранки, угощалъ орѣхами и поилъ Сеньку водкой. Цѣлую ночь пѣлъ пѣсни, а чтобъ не слышать было и чтобъ не серчала Марфа, ложился на кровать лицомъ въ армякъ, забиралъ армякъ въ зубы и пѣлъ глухимъ, давленнымъ голосомъ: „ма-а-ту-ушки го-о-лу-у-бушки-и...“, а Сенька спалъ, положивъ голову на столъ возлѣ бутылки.

Какъ-то Миронъ пропалъ. Сенька слонялся по кухнѣ, смотря, какъ умѣлъ, за мышами, и Марфа его подкармливала. Все-таки половина мышей подохла и разбѣжалась.

Подъ конецъ Сенька легъ на кровать, уткнулся въ тряпье и сталъ тянуть однообразно и тоскливо:

— Па-па-ня-а-а-а. — однообразно, тоскливо, какъ голодный волчонокъ на околицѣ.

Чернѣютъ занесенныя снѣгомъ избы; ни огонька, ни собачьяго лая. И оттого, что въ пустынномъ воздухѣ мертво, еще болѣе одиноко, заброшенно тянется, поднявъ усталую мордочку, брошенный волчонокъ.

— Па-па-ня-а-а-а!..... ы-ы-ы.....

Явился Миронъ черезъ недѣлю. Сенька глянулъ и завылъ пуще: Миронъ былъ въ опоркахъ вмѣсто сапогъ, а вмѣсто одежды лохмотья, и подъ глазами густые фанари.

— Ну, чего воешь, паршивый!.. — и ударилъ, но вяло, какъ будто усталъ.

Что бы ни случилось въ полуподвалѣ, какія ни приходили событія, казалось, все укладывается въ опредѣленный закономѣрный порядокъ,—такъ и слѣдуетъ тому быть. И продолжаютъ жить по прежнему, не останавливаясь, не оглядываясь, изо дня въ день.

Но случилось событіе, которое легло рубежомъ, которое переломило жизнь на-двое—до и послѣ, точно потемнѣло съ тѣхъ поръ. И все было просто.

Отворилась дверь, просунулся съ оттопырившейся сумкой и синимъ кантомъ почтальонъ и сказалъ строго:

— Марфѣ Ивановѣ Козыревой.

И, нащупавъ ногой, спустился по ступенямъ,—со свѣту темно въ полуподвалѣ.

— А? кого надо?

— Марфѣ Ивановѣ Козыревой.

— Я самая.

— Чего же молчите? Одна вы, что-ль, возитесь тутъ съ вами.

Подаль письмо и сердито ушелъ.

Повертѣла письмо Марфа Ивановна, поудивлялась, откуда бы это—не получала ни отъ кого писемъ,—сунула подъ подушку и опять продолжала возиться съ потнымъ лицомъ около пышущей плиты.

Только когда проснулся къ вечеру Антонъ Спиридонычъ, надѣлъ желѣзныя очки, долго смотрѣлъ и сказалъ, хрипло:

— Изъ тюрьмы.

Марфа обомлѣла, а онъ началъ читать:

— „Мамаша, судьба моя конченная, только вы не убивайтесь, потому снявши голову по волосамъ не плачутъ. Хотѣлъ васъ повидать, да не дають свиданія. Скоро меня

отсюда увезутъ, и вы себя даромъ не убивайте. Меня... (нѣсколько строкъ заляпано черной краской)... просилъ прокурора. Прощайте, мамаша. И до послѣдняго воздыханія буду объ васъ помнить. Любящій сынъ Алексѣй“.

Марфа обезумѣла и кинулась къ господамъ. Тамъ сказали, что ничего сдѣлать нельзя. Раза два ее отпускали, и она бѣгала по всѣмъ учрежденіямъ, гдѣ могла. Но всюду было чуждо, холодно и равнодушно. Никто ничего не зналъ, одни посылали къ другимъ, и всѣ явно старались сбыть ее съ рукъ съ ея горемъ, слезами и приставаніями,—у всѣхъ было свое.

Точно потемнѣло въ полуподвалѣ.

— Понимаемъ... за насъ за бездомныхъ...—говорилъ Алексѣй Иванычъ.

— Конечно, хочъ бы мышомъ позволяли заниматься, все-таки не такъ скучно, занятіе; да и, сказать, выйдетъ, руко-мелю, за плечъми не носить: съ завода выгнали, мышъ прокормить. Это какъ сказать...

— Жалко,—прохрипѣлъ Антонъ Спиридонычъ—конечно, противозаконно, нечего говорить, а жалко. И то сказать, сто тысячъ десятинъ, да на Кавказѣ, да въ Азіи, не всякому понравится. Д-да, для другихъ себя не жалѣлъ...

И не потому, что Марфа была на положеніи полухозяйки а болѣло у всѣхъ, гдѣ-то въ глубинѣ. Какимъ-то близкимъ и роднымъ чуялся этотъ парень, постоянно мучимый безпокойствомъ и торопливостью. Уже не придетъ, не сброситъ торопливо потертое пальто и засаленный картузь, не станетъ, обжигаясь, хлебать изъ пѣгой чашки, совсѣмъ не отдавая себѣ отчета, что дѣлаетъ, думая о своемъ, не принесетъ живыхъ, вчуужь странно волнующихъ рассказовъ съ воли.

Съ тѣхъ поръ не узнать Марфы. Уже забыла и думать о городскихъ, дворникахъ, приказчикахъ изъ мясной. Стала худѣть и сохнуть, и, какъ черничка, всегда въ черномъ. По прежнему торопливо возится у жаркой плиты съ блѣднымъ и потнымъ лицомъ, отдастъ горничной блюдо, урвется и торопливо и горько сердце разрывающими слезами поплачетъ, а тамъ опять кипящія кастрюли, дымящіяся, горячимъ масломъ обжигающія руки сковороды. И опять въ передышку поплачетъ.

И не къ кому пойти, некому обнадежить, сказать слово утѣшенія—у всякаго свое. Да и не ждетъ, и не думаетъ объ этомъ Марфа.

Но когда за занавѣской не бубнить пьяный голосъ: „стань на одну ногу... какъ раки ходютъ?“...—Марфа, поднявъ заплаканные глаза, неизмѣнно встрѣчаетъ радостно

сіяющіе печалью глаза Груни. И хотя нѣтъ такого утѣшенія и не высушить материнскихъ слезъ, все же съ благодарностью глядитъ Марфа на Груню, на ея вздернутый носикъ, на круглое чудное лицо цвѣта дубленой кожи, освѣщенное сіяніемъ чудесныхъ глазъ.

И ничего особеннаго она не скажетъ; скажетъ лишь:

— Марфа Ивановна, родная вы моя... ну, куда же дѣнешься... Господь оглянется, Его воля... и не ждешь, анъ счастье обернется, да ласка, да удача... Такъ-то и мой Алексѣй Ивановичъ: убью, да убью, а оглянешься, а онъ любить вотъ до чего...

И поплачуть обѣ.

И не въ словахъ дѣло, не въ томъ, что говоритъ Груня, а въ убѣжденности, крѣпкомъ ожиданіи, которое лучится отъ ея словъ, и отъ глазъ, отъ всей ея фигуры.

День за днемъ проходитъ, а для Марфы какъ будто все тотъ же страшный день, когда отворилъ дверь почтальонъ и, щупая ногой ступеньку, сказалъ громко и начальнически

— Марфа Ивановна Козырева здѣсь?

Днемъ перестали отпускать господъ Марфу,—нельзя же безъ обѣда сидѣть, а вечеромъ всѣ учрежденія закрыты, да и отовсюду стали ее гнать—надоѣла, а бросить мѣсто не въ силахъ—все здѣсь напоминаетъ Лешеньку и здѣсь она въ послѣдній разъ его видѣла. Какъ живой, онъ стоитъ передъ ней, торопливо сбрасываетъ пальто, картузь и торопливо, оглядываясь и не зная, куда дѣтъ, говоритъ, а щеки земли стны, ввалились, и носъ востренькій. И плачетъ Марфа Ивановна.

Одно утѣшеніе осталось у Марфы. Уберется съ обѣдомъ, съ посудой и потихоньку урвется изъ дома. Сядетъ на трамвай и проѣдетъ къ тюрьмѣ. А тюрьма стоитъ, какъ невѣста, вся бѣлая и въ огняхъ, и ослѣпительно все заливаютъ кругомъ электрическіе фонари.

Кругомъ спѣшитъ публика, звонятъ трамвайные звонки, несутся лихачи, спотыкаясь, спѣшатъ извозничьи лошаденки, а Марфа стоитъ одна, зажимая въ комочекъ свернутый платокъ и плачетъ, поминутно утираясь, и среди безчисленныхъ оконъ выискиваетъ одно дорогое окно. Ихъ множество, и всѣ они одинаково освѣщены, и ни въ одномъ никого не видно.

Она выберетъ какое-нибудь одно, и стоитъ, и ждетъ, и утираетъ неудержимыя слезы.

Въ городѣ много тюремъ, но ей кажется, что именно въ этой тюрьмѣ сынъ. Въ тюрьмѣ множество оконъ, и ей кажется—именно за этимъ окномъ сынъ. Долго стоитъ и смотритъ, потомъ уѣзжаетъ.

А дома достанетъ измятый, протертый по складкамъ листокъ, накрестъ промазанный чѣмъ-то желтымъ, и просить:

— Антонъ Спиридонъчъ, родной мой, почитай ты мнѣ.

— Да и читать-то тамъ нечего.

Все-таки надѣваетъ желѣзные очки, откашляется и хрипло начинаетъ;

— „Мамаша, судьба моя конченная... Любящій сынъ Алексѣй“.

Онъ снимаетъ очки, а она глотаетъ слезы и тщательно прячетъ письмо,—больше писемъ не приходило. И кажется ей прежняя жизнь такой, что счастливѣе и свѣтлѣе не бываетъ и въ хоромахъ.

Глаша спала усталая крѣпко и не могла проснуться, а по крышѣ кто-то гремѣлъ желѣзными листами, не переставая.

„Господи, чтой-то?! али Антону Спиридонъчу нужно пива?“—думала она и знала, что думаетъ во снѣ, но желѣзными листами такъ нестерпимо гремѣли, что необходимо было проснуться, а проснуться не могла, стала дрожать въ холодномъ поту и просить: „будетъ... ну будетъ“...

На крышѣ, не уставая, гремѣли желѣзомъ.

Она собрала всѣ силы, перестала дышать и... поднялась на локтѣ, дико глядя широко открытыми глазами: возлѣ горой лежалъ Антонъ Спиридонъчъ, неподвижной, страшной горой и, не переставая, лопоталъ: „лла-ла-лла-ллл“...

Дядя Федоръ клалъ на полу возлѣ кровати поклоны, глядя на красный глазокъ лампадки:

— ... Блудущихъ, путешествующихъ и всѣхъ православныхъ христіанъ спаси и помилуй!

— Господи-и!!..—пронзительно закричала Глаша.

Дядя Федоръ положилъ послѣдній поклонъ, поднялся и заглянулъ въ лицо Антону Спиридонъчу.

— Эхъ, сердешный!.. языкъ отнялся... надоть воды...

Глаша, не переставая, отчаянно кричала пронзительнымъ голосомъ.

— Да ты что раздираешься!—закричала Марфа,—господь побудишь.

Но глянула на Антона Спиридонъча и часто закрестилась:

— Святъ.. святъ... святъ...

Въ потолокъ равнодушно глядѣлъ изъ-подъ полуспущеннаго неподвижнаго вѣка остановившійся глазъ; другой глазъ безпокойно и торопливо моргалъ и все скашивался, ища Глашу.

А она кричала:

— Господи!.. ну, куда я теперь съ тобой, съ Иродомъ?.. Не написалъ духовнаго... побираться, что ли?.. да что я за несчастная!..

Она выла, а на Антона Спиридоныча лили воду, растирали, но все также равнодушно изъ-подъ мертваго вѣка глядѣлъ неподвижный глазъ, а другой торопливо, безпокойно моргалъ, и по небритой шетинистой съ просѣдью щекѣ ползла, цѣпляясь, тяжелая слеза, и стояло:

— ...Ллла-лла-лла-ллл...

Къ концу недѣли Антону Спиридонычу стало лучше. Съ помощью Глаши онъ могъ перейти до стола въ кухнѣ, все также глядя передъ собой неподвижно равнодушнымъ глазомъ, волоча ногу, и лѣвая рука висѣла, какъ плеть.

Теперь Глаша съ утра до вечера бѣгала на поденную, а, когда ворочалась вечеромъ, только и слышался ея крикливый голосъ:

— Идолъ толстый! корми его... Самъ и ходить не можетъ, а жретъ въ три утробы... Жизнь мою заѣлъ... не умѣлъ сдохнуть во время.

А онъ жалобно оправдывается:

— ... Ллла-лла-лла-ллл...

За кухоннымъ столомъ, покрытымъ штопанной скатертью, какъ и бывало, чаевничаютъ со своимъ чаемъ, сахаромъ.

Прихлебываетъ Миронъ съ горячаго блюда, и носъ у него красный. Тутъ же, шмыгая отцовскими сапогами, загоняетъ Сенька мышей въ ящикъ, — и всего-то ихъ съ деслятокъ. Только и осталось у Мирона, что Сенька да горсточка мышей.

Привела Глаша и Антона Спиридоныча. Онъ тащитъ ногу, рука виситъ, глазъ мертвенно неподвиженъ, а другой живой любовно ощупываетъ всѣхъ за столомъ и трудный, неслушающійся языкъ ласково и настойчиво лопочетъ:

— ...Ллл-лла-лла-ллл...

— Ну, садись, толстопузый Иродъ!.. и когда только оклѣбешь, окаянный, нѣтъ на тебѣ износу...

По обыкновенію чашка за чашкой терпѣливо пьетъ безъ сахара, отирая измокшее лицо, дядя Федоръ, какъ бы говоря всѣмъ своимъ видомъ: „ну-къ что жъ, ничего... ничего... почаевничаемъ, милые“, „всякъ злакъ на потребу“...

И дочка возлѣ. Она теперь часто навѣдывается, но безъ шляпы, въ платочкѣ, испитая и съ желтыми пятнами отухающихъ синяковъ. Уже не пріѣзжаетъ на автомобилѣ, а, когда приходитъ, проситъ, чтобъ другіе не слышали:

— Папаша, вы ужъ достаньте мнѣ еще чего-нибудь изъ сундука, а то обносила до того...

Дядя Федоръ почешетъ въ затылкѣ:

— Эхъ, доченька!

И лѣзетъ въ завѣтный сундукъ, а въ сундукѣ-то ужъ только на донышкѣ, не прибавляется, а убавляется,—все повыудила дочка. И хоть по привычкѣ въ нитку тянется дядя Федоръ, понимаетъ—не къ свадьбѣ дѣло.

Съ ласковыми, тихо сіяющими голубыми глазами пьетъ чай Груня почернѣлымъ отъ выбитыхъ зубовъ ртомъ, и одно опухшее вѣко у нея вывернуто.

Только Алексѣя Ивановича нѣтъ, пьянствуетъ и рѣдко заглядываетъ домой, а завернетъ,—страшно становится въ полуподвалѣ.

Тихонько прихлебываютъ горяченькую водицу, изрѣдка перекидываются словомъ, какъ будто сердцемъ все пережито и для словъ ничего не осталось.

— Ухи бычи ноньче какъ подорожали!

— Страсть...

— Варишь, варишь и нѣтъ ништо, какъ тряпки.

Сенька тихонько сидитъ въ углу на каменномъ полу и молча, запустивъ палецъ, ковыряетъ дыру надѣтаго отцовскаго сапога; мальчикъ умѣетъ молчать,—его голоса никогда не слышно.

Съ потолка глухо какъ дальній гулъ по мостовой падаетъ,—жиличка на фортепьянѣ обучаетъ ученицъ и этотъ глухой, тяжелый, неустанный гулъ наполняетъ кухню и тушечки, замирая въ толстыхъ стѣнахъ.

— Подъ музыку,—говоритъ Миронъ, громко схлебывая съ блюда.

Опять молча тянутъ, обжигаясь губами, и безъ конца подставляютъ подъ самоварный кранъ разныхъ мастей чашки, но всѣ до одной пузатыя.

И опять кто-нибудь скажетъ:

— Сказываютъ, домъ объ двадцати этажовъ супротивъ насъ будутъ строить.

— Какъ же на него лазить?

— Извѣстно, на машинѣ летать будутъ.

— Такъ господа летать будутъ, а прислуга?

Опять молчаливое схлебываніе. А Миронъ подумаетъ, вспомнитъ, допьетъ чашку и, пока набѣгаетъ изъ крана, скажетъ:

— Нѣ, острогъ будутъ строить, для осторожного помѣщенія.

Миронъ принимается за чашку, а ужъ изъ всѣхъ угловъ поползла темная, всегда таящаяся, неумирающая тоска.

— Господи, хотъ бы однимъ глазкомъ на него глянуть. Гдѣ-то онъ теперь, родимый?

И всхлипнетъ и утретъ краемъ фартука налившіеся слезами глаза. Не узнать Марфы Ивановны—худенькая, сухонькая стала.

И всѣмъ близка ея боль.

— Господь терпѣлъ и намъ велѣлъ,—говоритъ Миронъ, наливая девятую чашку,—уже потъ давно пробился и, какъ бисеромъ, осыпалъ красный носъ.

— Куды же терпѣть-то,—вскипаетъ Глаша,—ну, я терпѣла, терпѣла, вотъ дотерпѣлась себѣ на шею эту требуху; корми теперь его... Докуда же терпѣть-то?!

— Жалуются люди, а разѣ угадаешь. Вотъ бы на свѣтъ Божій не глядѣлъ, а вотъ солнышко выглянетъ, и-и ласковое!..

И поглядѣла Груня на всѣхъ голубыми глазами, застѣнчиво улыбаясь.

— А почему такое, Груняха, у тебя морда подбитая?—спросилъ Миронъ и пошевелилъ бровями, чтобъ не попасть потъ въ глаза.

Дядя Федоръ вытеръ зажатымъ рукавомъ лицо и, закинувъ руку, шею и затылокъ.

— Такъ-то пустынный одинъ жилъ въ лѣсу... обнаженно спасался. Да, святой жизни. Ну хорошо! Прозналъ бѣсъ про это дѣло. Вкинулось въ одну душу искусить.

— Эта ихъ самая занятія,—подтвердилъ Миронъ.

— Ну, хорошо.

Дядя Федоръ рассказывалъ, чужой и этому подвалу, и городскому шуму, сутолокѣ и бѣготнѣ. А шумѣлъ протяжно, мощно и глубоко боръ, скрипѣли старыя мшистыя сосны, и подъ ихъ мохнатыми лапами—избушка, вотъ какъ его сторожка, а въ избушкѣ пустынный. И всѣ подумали, что у пустытника такая же добрая борода, какъ у дяди Федора.

— По всякому искушалъ. Вотъ подкрадется и подкинетъ въ окошко дѣвкины башмачки, али монасты. Пустынный замѣтитъ, заразы шваркѣ объ земь! и закреститъ. Да. А то заснетъ пустынный, бѣсъ подкрадется, обернется молодухой и зачнетъ въ подмышки цѣловать. А морда-то косматая, пустыннику щекотно, ужъ онъ и такъ и сякъ, проснется, глядь, а это—бѣсъ. Онъ его хлясь по мордѣ! и закреститъ.

Всѣ повернули головы и слушали, а Марфа Ивановна сказала:

— Будь онъ проклятъ, черный!.. еще приснится,—и покрестилась маленькими крестиками.

— Ну, надоѣлъ, одно слово. Осерчалъ пустынный, сталъ подкарауливать и подкараулилъ разѣ: забрался бѣсъ въ рукомойничекъ и плескается. Обрадовался, нѣсть числа,

пустынникъ, подобрался ды крышкой хлопъ его! захлопнулъ и зачалъ крестить, и зачалъ крестить, и зачалъ крестить. Тутъ пришлось бѣсу, заклинается, а выскочить не можетъ, а энтотъ все крестить, а энтотъ все крестить...

Заразительно, ласково по-дѣтски засмѣялся дядя Федоръ, и добрыя незлобивыя лучинки побѣжали отъ глазъ. А на него глядѣли, и представлялся самъ бѣсъ добродушнымъ съ зелеными лохмами на козѣмъ задѣ.

— Ишь ты!

— Влопался, стало быть!

Повеселѣло въ подвалѣ.

— Не втерпежъ бѣсу. Взмолился: „ой, не жги меня!“ А энтотъ все крестить. „Не жги, выпусти, что хошь за это тебѣ сдѣлаю“. Ну, пустынникъ подумалъ, подумалъ, что съ бѣса возьмешь? Да и говорить: „спой мнѣ, говорить, райскую пѣсню. Споешь, ладно, выпущу, не споешь, до смерти закрепщу“.

Его слушали, не отрываясь.

— Возопилъ бѣсъ: „ой, на горе себѣ просишь...“ — „Не споешь, окончательно закрепщу“. — „Не знаешь, чего просишь,—залою райскую пѣсню, истаяешь ты“...—„Пой!“—и крышку поднялъ. Вылѣзъ бѣсъ, отряхается, глотка мохнатая, и запѣлъ, запѣлъ райскую пѣсню. И до чего запѣлъ! Всѣ ажъ вытянулись, слухаютъ. Хочъ бы хвоинка на соснѣ тронулась. Вершинки-то всѣ примолкли. Самъ Господь слушаетъ,—что такое? А на землѣ которые замучились, да холодные, да голодные, да по подваламъ, да безродные, да сирые...—у него сіяли глаза,—Господи, вздохнули всѣ: ай счастье людямъ есть?!

Какъ лѣсной осенній шелестъ, пронесся общій вздохъ.

— ...Ай на землѣ людямъ счастье будетъ!.. А пустынникъ слушаетъ, а самъ таетъ, таетъ, таетъ, истаялъ, какъ свѣчечка, свѣчечка воску яраго, одни косточки. Простилъ Господь бѣса за чудесное пѣніе людямъ, за райскую пѣсню, простилъ. Стали у него свѣтлыя крылья и самъ сталъ свѣтлый, какъ ангелъ, ухватилъ пустынника и поднялся съ нимъ на небо.

Груня глядѣла на него полными нето слезъ, не то сіяющаго счастья глазами.

Маша надала грудью на край стола, уронивъ лицо, и только дергались плечики, а дядя Федоръ, точно очнувшись и уже не слыша лѣсного шума, гладилъ по головѣ, на которой широко бѣлѣлъ проборъ:

— Ничего... ничего, доченька, ничего... ничего... Эхъ, доченька!.. ну, ничего...

Антонъ Спиридонъ держалъ Глашину руку, и мерт-

Вый глазъ равнодушно и нѣмо смотрѣлъ передъ собой, а другой живой, изъ котораго одиноко выползала слеза, съ безконечной нѣжностью, съ лаской и горемъ смотрѣлъ на измученное лицо Глаши. Держалъ ея руку и лопоталъ: „лла-лла-лла-лла...“ а губы у него тряслись.

Миронъ часто, часто потягивалъ краснымъ вспотѣвшимъ носомъ и сучилъ пальцами:

— Этого... фараонова мыша... называемая покая... не сравненіе!.. для трактира, для утробы, даромъ что пять тыщъ, а это... Господи, ты Боже мой, сколько народу бѣдствуетъ!.. а?!.. веселое мѣсто которое... что такое?!

Искалъ безпокойшее, какое-то больное, неназываемое слово, только языкъ не умѣлъ сказать, и крутилъ Миронъ головой.

А Марфа Ивановна давно, зажимая ротъ, вытащила истрепанный, протертый по складкамъ листокъ—и словъ ужъ не разберешь, и, не отрываясь, глядѣла на него, какъ на образокъ, въ беззвучно горестно-счастливыхъ рыданіяхъ.

— Тятя, истъ хочу,—сказалъ Сенька, стоя по колѣно въ отцовскихъ сапогахъ.

Въ углу пискнули мыши. Проступилъ низкій, давившій всѣхъ потолокъ.

Разошлись по своимъ тупичкамъ, и время потянулось всегдашнее. Но, не переставая, какимъ-то внутреннимъ слухомъ, все прислушивались, не запоетъ ли бѣсъ райскую пѣсню.

А надъ городомъ, залитымъ огнями, надъ огромнымъ городомъ пѣлъ бѣсъ пѣсню, не умолкая, день и ночь, пѣлъ, да не ту, видно.

А. Серафимовичъ.

А. Пуанкарэ и его философія точныхъ наукъ

(Статья первая.)

Платонъ утверждалъ, что государства начнутъ управляться хорошо лишь тогда, когда или цари станутъ философами, или философы сдѣлаются царями. Эта платоновская дилемма примѣнима въ извѣстномъ смыслѣ къ самой философіи (понимая ее, какъ теорію познанія): философія лишь тогда начнетъ дѣлать рѣшительные успѣхи, подобно другимъ наукамъ, когда или философы станутъ учеными, или ученые сдѣлаются философами. Во всякомъ случаѣ прежнее положеніе вещей, при которомъ философы, изслѣдуя основныя проблемы знанія, замыкались обыкновенно въ кругу своихъ спеціальныхъ методовъ и приѣмовъ работы, не можетъ уже далѣе продолжаться. Философія здѣсь переходила или въ своего рода филологію, въ нѣкоторый подвигъ эрудиціи, при которомъ отъ философа требовалась полная освѣдомленность на счетъ мнѣній жсѣхъ его предшественниковъ и выдающихся современниковъ по изучаемому имъ вопросу, но не знаніе того, какъ вопросъ этотъ ставится въ самой наукѣ,—или же, въ лучшемъ случаѣ, она превращалась въ какую-то энциклопедію наукъ, явно отдававшую дилеттантизмомъ и неизбѣжно страдавшую поверхностнымъ отношеніемъ къ дѣлу. И если философы грѣшили дилеттантизмомъ и недостаточнымъ знакомствомъ съ частными науками, раздражавшимъ специалистовъ точнаго знанія, то, въ свою очередь, многіе изъ представителей послѣдняго обнаруживали большую близорукость, не замѣчая, какъ разрабатываемыя ими проблемы вплотную подходятъ къ тѣмъ предѣльнымъ вопросамъ, которыми искони занимается философія.

Однако за послѣднее время въ этомъ отношеніи стали происходить какъ будто значительныя перемѣны. Начинаетъ замѣчаться все большая взаимная тяга между наукой и философіей. Растетъ число философовъ, являющихся дѣйствительно основательными знатоками науки или прямо учеными, и точно также растетъ число ученыхъ, оказывающихся въ то же время незаурядными

Во вторыхъ, *аксіоматически-интуитивная* теорія Канта, къ которой (въ измѣненномъ видѣ по отношенію къ характеру интуиціи) примыкаетъ и Пуанкарэ, рассматривая проблему чистаго анализа.

Въ третьихъ, *гипотетико-дедуктивная* концепція современныхъ логистовъ, согласно которой изъ нѣсколькихъ начальныхъ гипотезъ и условныхъ соглашеній получается по правиламъ формальной логики вся система дальнѣйшихъ истинъ.

Наконецъ, *гипотетико-интуитивная* теорія, которой по существу придерживается Пуанкарэ въ случаѣ геометріи: въ геометріи, согласно ему, конвенціонализмъ вполне правомѣренъ; если же формализмъ вытѣснилъ здѣсь геометрическую интуицію, то она замѣщена абсолютно достовѣрной интуиціей чистаго числа.

Я думаю, что гипотетико-интуитивная точка зрѣнія, сближающая математику съ другой разновидностью символическаго творчества, играми, единственно правильная. Благодаря интуиціи мы можемъ получать въ математикѣ новое, а не топтаться на одномъ мѣстѣ. Конвенціонализмъ же объясняетъ фактъ многообразія ариметическихъ и геометрическихъ системъ. Кромѣ того условный характеръ „аксіомъ“ объясняетъ ихъ особенную роль въ „дедуктивной“ системѣ: онѣ не какія-то привилегированныя истины, занимающія исключительное мѣсто въ іерархіи математическихъ сужденій, а условныя правила и соглашенія, осмысливающія первоначальный хаосъ интуиціи. Условный характеръ математики объясняетъ намъ также строгость математическихъ сужденій, которою они такъ отличаются отъ эмпирическихъ истинъ: вѣдъ сужденіе можетъ быть сезупречено строгимъ не только тогда, когда оно навязывается намъ бо стихійной силой врожденной идеи (реалистическое ученіе Декарта), но и тогда, когда мы его сами сдѣлали такимъ (номиналистическая концепція Гоббса): для этого намъ нужно только строго соблюдать установленныя нами въ началѣ соглашенія. Если я принялъ извѣстныя правила шахматной игры, то король и тура всегда и вездѣ дадутъ матъ вражескому королю: и черезъ миллионы лѣтъ, и на лунѣ, и на Марсѣ, и пр. Если я условился произносить: б-а черезъ ба, то гдѣ бы я ни встрѣтилъ комбинацію изъ буквъ б и а, я „а priori“ и непоколебимо буду знать, какъ прочесть ее. И т. д. и т. д.

Остается, конечно, сложнѣйшій вопросъ, или даже рядъ вопросовъ, о характерѣ той интуиціи, которая лежитъ въ основѣ нашего символическаго творчества. Но въ этомъ пунктѣ я воспользуюсь выговореннымъ себѣ въ началѣ статьи правомъ отказаться отъ отвѣта.

Вмѣсто какого-нибудь опредѣленнаго рѣшенія я могу предложить лишь смутныя предположенія и даже скорѣе предчувствія. И поэтому я предпочитаю здѣсь поставить точку.

П. Юшкевичъ.

М О Н А Х Ъ:

Сердце бы грезить не прочь,
Только печальна душа...

К. Фофановъ.

I.

Громыхнули буфера, зазвенѣли стиснутыя тормазами колеса. Поѣздъ уперся въ солнечную тишину маленькой степной станціи.

Кондукторъ торопливо побѣжалъ вдоль вагоновъ, выкрикая протяжно и въ одинъ тонъ:

— Станція Дубки! Поѣздъ стоитъ пять мину-уть!

Въ окнахъ и дверяхъ вагоновъ замелькали цвѣтные платки, эполеты, шляпы, клѣтчатые жилеты, скучающія лица. Пассажиры вышли на платформу, разсыпались по ней, ходять, покачиваясь, неувѣренными шагами. На маленькой степной станціи имъ ничего не нужно, кромѣ пятиминутной тишины и покоя.

Минуту тому назадъ непрерывно грохотали вагоны, плавали и кружились далекіе горизонты, бѣжали поля.

Здѣсь же все затихло и остановилось. И станціонное зданіе, и заборы, выкрашенные въ свѣтло-коричневую краску, и кусты акацій, и бородатые лица мужиковъ—во всемъ настроеніе радостной изумленности и давнишняго, можетъ быть, вѣкового покоя. По крайней мѣрѣ, такъ казалось всѣмъ гуляющимъ здѣсь пять минутъ пассажирамъ.

Вагоны третьяго класса остановились, не доходя станціи, среди хлѣбнаго поля. Мужики и солдаты съ чайниками прыгали глубоко внизъ, раскрыливались полами поддевокъ, пиджаковъ и мундировъ; отъ прыжка присѣдали и бѣжали къ станціи за кипяткомъ, соперничая въ рѣзвости. Какъ слизи по дереву, спускались по столбикамъ подножекъ струги.

Радостно волнуясь и, въ то же время, боязливо оглядываясь по сторонамъ, Дорожей Кистановъ осторожно спустился по крутой подножкѣ вагона, прыгнулъ на песчаный откосъ

насыпи и потащилъ съ площадки сундучекъ съ багажомъ. Сундучекъ тяжелый. Отъ усилій лицо Дороеея покраснѣло, длинныя, плоскія щеки перекосились и шея раздулась за ушами, какъ у жабы.

Покачиваясь на длинныхъ ногахъ, Дороеей перенесъ сундучекъ за уголъ станціи. Въ тѣни облегченно снялъ картузь, вынулъ изъ него захватанный, синій съ бѣлымъ горошкомъ платокъ и утерся. Боязливо вытянулъ изъ-за угла шею и оглядѣлъ публику.

И вдругъ разсердился на себя, вышелъ изъ тѣни и остановился посреди яркой залитой солнцемъ платформы.

Дескать,—вотъ онъ—я, Дороеей!

Стало ему обидно. Пріѣхалъ въ родныя мѣста и прячется. А если хорошенько спросить,—почему, Дороеей, прячешься?—и отвѣта нѣтъ. Такъ себѣ, вздоръ какой-то, одна застѣнчивость. Въ самомъ дѣлѣ, чего ему, Дороеею, бояться?!

И по привычкѣ онъ тотчасъ же вспомнилъ синеватое, безкровное лицо архіерея, маленькіе, каріе, злые глазки...

Дороеей любилъ вспоминать архіерея, привыкъ вспоминать за эти дни въ дорогѣ. Было ему пріятно мысленно представить себѣ мягкое, небольшое зальце, плюшевые, зеленые стулья и диваны, пестрый коверъ на полу, камышовыя занавѣски, разрисованныя цвѣтами. На диванѣ, за круглымъ столикомъ сидитъ архіерей, а передъ архіереемъ стоитъ онъ, Дороеей.

Архіерей призвалъ Дороеея на увѣщаніе. Какъ же! Четырнадцать лѣтъ Дороеей жилъ на Аeonѣ, малую схиму принялъ и вдругъ говорить:

„Не хочу больше!“

Ушелъ изъ монастыря, пріѣхалъ въ Одессу. Ёдетъ домой, въ свою Костычевку.

А Дороеей ужъ и волосы успѣлъ остричь, въ пиджакъ одѣлся. Увидѣлъ его такого архіерей, долго глядѣлъ. Глядитъ и губами жуесть. Какъ заяцъ на опушкѣ. И что онъ губами жуесть?

Потомъ спрашиваетъ Дороеея. Голосъ гнусавый.

— Это ты, схимонахъ Паисій?

— Былъ схимонахъ Паисій, владыка, да теперь весь вышелъ. А я—Дороеей Кистановъ!

— Прохвостъ ты, а не монахъ! П-шелъ вонъ!

Дороеею смѣшно стало. И самъ не знаетъ, почему смѣшно. Вотъ такъ и играетъ что-то подъ сердцемъ. Подошелъ къ архіерею поближе, распахнулъ новый пиджакъ изъ чертовой кожи, выставилъ ногу въ новыхъ штанахъ. „На, дескать, посмотри: вотъ они, новенькіе!“

И самъ Дороей знаетъ, что озоруетъ, а удержаться не можетъ. Уже очень вдругъ весело стало. Захлебываясь смѣхомъ, онъ наклонился къ лицу архіерея и шопотомъ протянулъ:

— Не лю-у-убишь? А! Не лю-убишь этого, старикъ?!

Въ карихъ глазахъ архіерея промелькнулъ испугъ. Онъ замахалъ руками и борода его затряслась. Закричалъ, а голосъ дрожить:

— Уходи, уходи, дьяволъ!.. Иннокентій! Иннокентій!..

Должно быть, это служба былъ Иннокентій. Дороей такъ и не узналъ, кто былъ такой Иннокентій. Не дожидаясь его прихода, онъ раскланялся съ архіереемъ, даже, кажется, каблуками стукнулъ, по-военному. Военное всегда правилось Дороеею. Неумѣло раскланялся; ну, такъ, вѣдь, еще не научился...

И уже когда Дороей изъ двери выходилъ, старикъ раздраженно закричалъ ему вслѣдъ:

— Пропашій ты человѣкъ! Все равно, Богъ тебя покараетъ. Уже покара-аетъ!..

„Покара-а-аетъ!“—насмѣшливо подумалъ Дороей. И пошелъ, разсыпая по лѣстницѣ горохъ частаго, неудержимаго и радостнаго смѣха.

Воспоминаніе это промелькнуло въ сознаніи Дороеея одной радостной картиной. Отъ Одессы до Дубковъ ѣхалъ онъ по желѣзной дорогѣ трое сутокъ. И, лежа въ вагонѣ на верхней лавочкѣ, подъ самымъ потолкомъ, думалъ объ этомъ часто. Потому могъ вспоминать всю сцену сразу со всѣми словами, движеніями и малѣйшими подробностями. Напримѣръ, онъ хорошо помнить, что на коврѣ, около его ногъ, лежало небольшое, круглое, солнечное пятно. Должно быть, камышовыя занавѣски гдѣ-нибудь порвались. А вотъ этотъ самый служба, Иннокентій, не доглядѣлъ, не починилъ. И что онъ дѣлаетъ? Спать, поди, цѣлыми днями, какъ сытый котъ! Смазать бы его хорошенько, стервеца, по рождѣ. Небось, проснулся бы тогда!..

Послѣ этого воспоминанія Дороеею всегда становилось весело. Въ душѣ рождалась подхватывающая радость и бодрая въ себѣ увѣренность. Уже если съ архіереемъ онъ могъ *такъ* разговаривать, значить, и все остальное можетъ. А впереди-то ему много предстоитъ, Дороей это смутно чувствовалъ.

Въ вагонѣ ему неоднократно хотѣлось объ этомъ своемъ поступкѣ рассказать. Кому-нибудь рассказать. Посмотрѣть бы, какъ взглянуть, что скажутъ? Но незнакомыя лица были равнодушны и строги. Онъ робѣлъ. Утѣшался тѣмъ, что

вотъ прѣдетъ домой, и первымъ долгомъ разскажетъ отцу, матери, братьямъ, всѣмъ роднымъ...

И заранѣе радостно волновался. Какъ они удивлятся начнутъ, ахаты!

Дороей медленно прошелся по горячему асфальту, вытянувъ впередъ длинную шею. Точно гусь на дозорѣ. Такъ и видно, что монахъ въ пиджакѣ. Кожа на шеѣ и вискахъ бѣлая: какъ была подъ монашескими волосами, такъ и осталась, еще не успѣла загорѣть. Кисти рукъ на груди висятъ, будто Дороей кого-то благословляетъ собирается. Походка ощупывающая. Со стороны могло казаться, что этотъ человѣкъ подкрадывается: не то украсть хочетъ, не то просто напугать знакомаго человѣка. Подойдетъ, закроетъ холодными, потными ладонями глаза и повиснетъ на плечахъ съ тихимъ смѣхомъ:

Дескать,—а ну-ка, узнай, кто такой?

Раздалось два четкихъ удара въ колоколъ: второй звонокъ. Дороей вздрогнулъ. Пассажиры заторопились. На ступенькахъ вагоновъ повисли дамы съ сумками, няньки съ дѣтьми.

Поперекъ платформы къ вагонамъ прошелъ оберъ-кондукторъ. Отвислый животъ его подхваченъ форменнымъ ремнемъ. Онъ принимаетъ молодежавый видъ, выкатилъ колесомъ грудь, закинулъ назадъ голову. Замѣтилъ Дороея, кричитъ ему:

— Ну, чего стоишь, парень? Слоновъ продаешь! Садись въ вагонъ. Слышишь, второй звонокъ!

— Ужъ я, господинъ кондукторъ, не маленькій. Самъ знаю, что дѣлаю...

Дороею бы просто отвѣтить: дескать, остаюсь на этой станціи. А онъ разсердился. Одну руку къ груди прижалъ, а другую вытянулъ ладонью внизъ.

— Вы *свое* дѣло знаете, я тоже *свое* дѣло знаю. Не хвались горохъ, не лучше бобовъ. Не учи...

И обрадовался, что такъ неожиданно и кстати вспомнилъ здѣшнюю поговорку. А на Аеонѣ онъ забылъ костычевскую рѣчь. Обрадовался, и раздраженіе его противъ кондуктора прошло. Онъ снялъ картузъ и поклонился.

— До свиданья, господинъ кондукторъ! Спасетъ Христосъ, довезли. А я здѣсь остаюсь. Счастливый путь!

Кондукторъ окинулъ его съ головы до ногъ недоумѣннымъ взглядомъ, усмѣхнулся, приложилъ къ козырьку толстые, ниточкой перетянутые въ суставахъ пальцы и пошелъ вдоль поѣзда, поблескивая на солнцѣ вычищенными сапогами.

На платформѣ осталась цвѣтная кучка людей. Женщины окружили господина среднихъ лѣтъ въ очкахъ, въ формен-

номъ сюртукъ съ зелеными кантами. Онъ снялъ картузъ и вертитъ лысой головой среди цвѣтныхъ шляпъ. Кого цѣлуетъ одинъ разъ, кого—три, мелькомъ и всасосъ, нѣкоторымъ жалъ, нѣкоторымъ цѣловалъ руки.

И Дороею казалось страннымъ, что при эдакой поспѣшности онъ, повидимому, не перепуталъ красивыхъ женщинъ, не поцѣловалъ вмѣсто родной чужую женщину, простую знакомую. Такъ бы пріятно цѣловать ихъ всѣхъ подрядъ, цѣловать долгими пьющими поцѣлуями..

И опять, на одинъ мигъ Дороей вспомнилъ картину—одно красочное пятно. Около Аэона стоитъ пароходъ. На немъ ѣдетъ русскій великій князь. По этому случаю на пароходъ изъ монастыря пришло много монаховъ. Даже одинъ отшельникъ пришелъ. Двадцать пять лѣтъ изъ кельи никуда не выходилъ, а великаго князя провожать пришелъ.

Почему? Что ему великій князь?

Много тогда по этому случаю разговоровъ было среди монаховъ. „Почему отшельникъ изъ кельи своей вышелъ и на пароходъ пришелъ?“ Думали—знаменье какое будетъ. Ну, только ничего такого не случилось. Просто, побывалъ отшельникъ на пароходѣ и опять въ келью ушелъ.

Идетъ отшельникъ съ другими монахами по палубѣ. Встрѣтилась ему горничная. Въ бѣломъ фартукѣ, въ синемъ платицѣ, румяная, чистенькая, ну, точно голубокъ молоденькій. Посторонилась передъ монахами, съ боку встала. Фартучекъ отъ смущенья по краямъ пальчиками расправляетъ. И отшельникъ остановился. На посохъ ладони положилъ, а на ладони подбородкомъ уперся и смотреть. Съ минуту такъ на нее глядѣлъ. Дѣвушка переконфузилась, зардѣлась. А монахи стоятъ и смотреть, ждутъ, что будетъ. Отшельникъ пошевелился, вздохнулъ, даже какъ будто съ сожалѣніемъ вздохнулъ и показываетъ на нее пальцемъ:

— Вотъ эдакаго, говорить, звѣря я, отцы мои, ужъ сорокъ лѣтъ не видалъ!..

И дальше пошелъ. А горничная даже заплакала отъ смущенья. Долго, говорятъ, бранилась потомъ.

— Противный, говорить, старичишка! Вылѣзъ, медвѣдь, изъ берлоги, да и выпялился на меня. Тфу, сатана!..

А почему—сатана? Это отшельникъ-то сатана? Ужъ, вѣрно, зчень огорчилась дѣвушка.

Дороей часто потомъ во снѣ ее видѣлъ...

Все это Дороею припомнилось въ одинъ мигъ, такъ что господинъ въ зеленыхъ кантахъ не успѣлъ еще со всѣми женщинами попрощаться. Вспыхнула въ мозгу далекая картина. Немного ихъ было памятныхъ и значительныхъ. Доро

сей всё помнить наизусть. Монашеская жизнь не богата событиями.

— Прощайте!

— Ну, ну, садитесь! Еще опоздаете.

— Папочка, пиши!

— Пріѣзжайте скорѣе!

Дороей стоялъ съ вытянутой шеей, смотрѣлъ на нарядныхъ дѣвушекъ и дамъ. Господинъ надѣлъ фуражку, поднялся на площадку вагона и, поблескивая на солнцѣ очками, кланялся оттуда и улыбался, посылая рукой поцѣлун.

Третій звонокъ. Оберъ-кондукторъ засвистѣлъ, какъ Соловей-разбойникъ, даже на носки приподнялся и съ лица покраснѣлъ.

Поѣздъ отошелъ. Закрутилась пыль за послѣднимъ вагономъ. Разорванные горячимъ вѣтромъ, на желтѣющія поля упали изъ трубы пласты черного дыма и исчезли, растаяли въ воздухѣ, точно просочились сквозь землю.

Дороею стало печально, какъ будто даже чего-то жалко.

Ну, вотъ и на родину пріѣхалъ. И до родной Костычевки только тридцать верстъ. Сегодня онъ будетъ дома.

Пять минутъ тому назадъ Дороей еще ѣхалъ. И только теперь, когда поѣздъ ушелъ, онъ ясно почувствовалъ, что пріѣхалъ. На сердцѣ у него захолонуло. Стало жутко.

— Али подождать ужъ, не ѣхать сегодня въ Костычевку!.. Переночевать ба на станціи, что ли?

Дороей прошелся по горячей платформѣ въ нерѣшительности. Асфальтъ нагрѣлся и размякъ. Сапоги слегка тонули въ смолистой массѣ, оставляя четкіе отпечатки слѣдовъ. Дороею припомнилось изъ житій: святныя ноги, оставляющія на камняхъ слѣды; ангелъ, пишущій перстомъ по камню, точно по воску...

Дороей уже не вѣрилъ въ эти легенды. Но было въ нихъ что-то трогательное, нѣжное и родное. И онъ съ удовольствіемъ ходилъ по асфальту, задерживалъ шаги, чтобы слѣды выходили яснѣе и глубже.

— А што, парень, ты тутъ безъ толку ходишь?

Дороей смутился, остановился. Смотритъ—станціонный сторожъ. Въ форменной блузѣ и фуражкѣ, а лицо — цѣлая деревня: рыжій, лохматый, колючій, какъ ячменный снопокъ. Это—костычевскій мужикъ, Семень Мохнатъ. Дороей сразу его узналъ. Какъ будто и обрадовался — своего односельца увидалъ, и испугался: не узналъ бы его Семень! Узнаетъ—удивляться станетъ. Подумаетъ — разстригли, прогнали. И не увѣришь никакъ.

Но Мохнатъ не узналъ. Напустилъ въ рыжее лицо стро-

гости, всталъ къ Дороею бокомъ. Залотошилъ. Вредословный мужикъ.

— Ходить тутъ нечего безъ дѣла. Ежели въ бухетъ угодно, какъ иные господа уважаютъ... Пообѣдать, али чаю выпить, такъ иди въ бухетъ. Ну, а ежели вы къ бухетамъ не привычны — вотъ черезъ эту дверь на постоянный дворъ и дорожка будетъ. А здѣсь безъ дѣла ходить начальство не дозволяетъ. Начальство тоже за этимъ слѣдить и съ насъ спрашиваетъ. Такъ-та!

— Да я по дѣлу, дядя Семенъ...

Мохначъ посмотрѣлъ недовѣрчиво. Удивился онъ, что тототъ нескладный человекъ назвалъ его по имени, но виду не подавъ: не такой ужъ дуракъ, чтобы удивляться! И строгости не отмѣнилъ.

— Какъ эта такъ—по дѣлу? Да ты откудашний будешь самъ-атъ?

— Здѣшній я,—неопредѣленно отвѣтилъ Дороей.—Въ Костычевку ба мнѣ сундучекъ свезти... Костычевскихъ нѣту здѣсь?

— Ты къ кому-жа въ Костычевку? Къ учительницѣ, што-ли? Не то къ дячку?

— Тамъ видно будетъ!—весело сказалъ Дороей.

Дороею стало весело, что не узналъ его Мохначъ. Значить, и другіе тоже не узнаютъ. Ходи себѣ, какъ въ шапкъ-невидимкѣ.

На постояломъ дворѣ ожидалъ изъ города водки для винной лавки костычевскій мужикъ, Кузьма Мякинъ. Онъ согласился привезти дороеевъ сундукъ въ Костычевку. И оба мужика, Мякинъ и Мохначъ, недоумѣнно смотрѣли въ слѣдъ длинноногому человекъ, который зашагалъ отъ нихъ по пыльной степной дорогѣ.

— И сколько эдакаго народу нынче развелось! — говорилъ Мякину Мохначъ.—Идетъ, а куда—и самъ не знаетъ. Гляди, Кузьма, въ Костычевкѣ сундучекъ-та старостѣ покажь. Смотри, не бонбы ли везешь? Тфу! Перемѣшался нынче народъ. Мечется народъ по землѣ, какъ рыба въ водѣ. Все ищетъ чего-та, такъ и выглядываетъ. И въ одиночку! И стаями! Ахъ, ты, Господи!

II.

У Дороея еще оставались деньги. Онъ могъ бы нанять ямщика и доѣхать въ Костычевку скоро и удобно. Но пошелъ пѣшкомъ. И не изъ бережливости, а по другимъ соображеніямъ.

Возвращался онъ въ родное село и какъ будто боялся

этого возвращенія. Зналъ онъ, что въ Костычевкѣ *будетъ*, чувствовалъ, что это неизбежно такъ же, какъ неизбежно долженъ скатиться съ ледяной горы до самаго низа тотъ, кто ужъ катится по уклону. Но все-таки ему хотѣлось при-держаться, помедлить, подумать.

Казалось ему, что во время пути, среди родныхъ полей онъ обдумаетъ нѣчто такое важное и нужное, что до сихъ поръ все еще лежитъ у него гдѣ-то въ дальнемъ углу души нетронутое и нерѣшенное.

Когда Дороеей уѣзжалъ на Аюунъ, здѣсь стояло только два дома: станціонное зданіе и постоялый дворъ. Да желѣзно-дорожное полотно тянулось по степи, обозначая свое направление отъ неба до неба телеграфными столбами да желтыми сторожевыми домиками. Широко и пусто между небомъ и степью.

А за эти четырнадцать лѣтъ станція Дубки разрослась. Нѣсколько постоянныхъ дворовъ, лавки; подальше—сельско-хозяйственная школа, громадныя дома, погреба, опытное поле, огороды.

Въ кучѣ сухого хвороста на задворкахъ Дороеей выломалъ себѣ кленовую палку, купилъ въ лавкѣ два фунта калача, разломилъ кусокъ пополамъ и положилъ въ карманы пиджака. Напился въ колодезь воды. И не хотѣлъ пить, но пилъ въ дорогу, потому что жарко. Вода пахла желѣзомъ, была солоновата на вкусъ и нестерпимо холодная; у Дороею даже въ вискахъ заломило и по кожѣ побѣжали муравьи.

Но въ степи ему скоро сдѣлалось опять тепло.

Дорога уходила вдаль по сѣрому выкошенному полю лѣнивыми загибинами. Точно по этому полю въ первый разъ съ незапамятныхъ временъ проѣхалъ пьяный человѣкъ, сдѣлалъ извилистый слѣдъ. А за нимъ такъ и до сихъ поръ ѣздить люди по кривой дорогѣ цѣлыя столѣтія.

По сторонамъ дороги — круглыя остроконечныя стога сѣна, точно татарскія шапки. А за ними свѣтлый горизонтъ полуденнаго неба.

Былъ конецъ іюня. Дождей давно не было. Дни стояли горячіе и пыльные. Дулъ сухой юговосточный вѣтеръ. Дорога по всей длинѣ курилась синей пылью, точно догорала и дымилась послѣ пожара. Жарко было и душно.

Но Дороеей не замѣчалъ ни жары, ни духоты. Онъ широко шагалъ и, вытягивая шею, съ наслажденіемъ вдыхалъ горячій воздухъ, насыщенный хмельнымъ запахомъ свѣжаго сѣна и тонкимъ ароматомъ дозрѣвающихъ хлѣбовъ.

И еще пахло чѣмъ-то роднымъ и милымъ, какъ пахнетъ

только въ родныхъ мѣстахъ. Отъ всѣхъ этихъ запаховъ Дороею захотѣлось пѣть пѣсни.

Но отъ родныхъ пѣсенъ онъ отвыкъ. Запѣлъ: „Нынѣ силы небесныя съ нами невидимо слу-у-ужать“. Остановился на дорогѣ и самъ давалъ себѣ тактъ длинной, вытянутой и здрагивающей ладонью. А глаза подернулись влагой умиленія.

Вспомнилъ Дороей Аeonъ и свое посвященіе въ монахи. Вспомнилъ слова изъ чина посвященія:

Вопросъ: „Что пришелъ еси, брате, припадая святому жертвеннику и святѣй дружинѣ сей?“

Отвѣтъ: „Желая житія постническаго, честный отче“.

Такъ когда-то, при посвященіи въ малую схиму, спросилъ его глухимъ баскомъ игуменъ Никаноръ. И такъ, по уставу, отвѣтилъ онъ, Дороей, радуясь величію обѣта своего.

Вопросъ: „Пребудеши ли въ монастырѣ и въ постничествѣ даже до послѣдняго издыханія твоего?“

И Дороей отвѣтилъ тогда готовно, вѣруя:

— Ей, честный отче!

„Житія постническаго“—повторилъ задумчиво вслухъ, какъ бы только теперь вникая въ смыслъ этихъ словъ, Дороей. Вдругъ размахнулся кленовой палкой и ударилъ ею по пыльной дорогѣ.

Пыль обвилась вокругъ палки липкими струями, какъ вода, взметнулась темнымъ клубкомъ и покатила облачкомъ надъ кошениной.

Закричалъ Дороей на вѣтеръ:

— Не хочу постническаго житія! Не хочу, отцы! Обманули, василиски!

И опасливо оглянулся кругомъ. Нѣтъ ли близко людей, не видно ли со станціи? Не замѣтилъ бы кто его страннаго порыва, не услыхалъ бы безумнаго крика!

— Подумають—юродивый,—сказалъ себѣ Дороей. Усмѣхнулся, снялъ картузь и вытеръ вспотѣвшій отъ усилія лобъ.

— Монахъ!—сказалъ онъ со злобою и пригрозилъ себѣ кулакомъ.—Сволочь!.. У... у!..

Стало ему обидно и зло на себя взяло. Вотъ сейчасъ запѣлъ „Нынѣ силы небесныя“... И даже плакалъ отъ умиленія. А хотѣлось-то ему веселаго. Плясовую бы запѣть...

Можетъ быть, онъ и плясать разучился? А вѣдь когда-то плясалъ въ Костычевкѣ.

Оглянувшись снова кругомъ, Дороей долго и съ усиліемъ плясалъ на пыльной дорогѣ. Пыль летѣла изъ подъ ногъ и тянулась надъ полемъ длиннымъ синимъ хвостомъ. А мгlistыя дали стеклянno-прозрачной пустотой со всѣхъ сторонъ закрывали отъ людскихъ взоровъ эту дикую пляску.

Длинный и нескладный, онъ прыгалъ по дорогѣ, ходилъ метелкой, рубилъ котлеты, шелъ въ присядку. Упирался въ топця бедра длинными руками, ходилъ пѣтухомъ около воображаемой женщины... Наконецъ, шатаясь, пошелъ дальше, изнемогающій и потный.

И снова, задыхаясь, со злобой сказалъ самому себѣ:

„Монахъ. У-у, гадина! Задушу сукина сына!..“

Вдали на дорогѣ показались двѣ громадныхъ женщины. Онѣ шли дружно, плечо въ плечо. Когда подошли поближе, Дороей увидѣлъ, что были это дѣвочки, лѣтъ по десять. Онѣ боязливо обошли его по кошенинѣ, вышли на дорогу и бросились бѣжать.

А Дороей нарочно и съ раздраженіемъ закричалъ на нихъ:

— Держи ихъ, держи-и-и! Хо-хо-хо-о!

Развѣ онъ, Дороей, страшный? Чего, дуры, испугались?

Близкое казалось далекимъ, маленькое—огромнымъ. Все струилось и отдалялось въ текущихъ волнахъ мглистаго, горячаго воздуха.

Въ другой разъ Дороей принялъ собаку за верблюда. Она бѣжала полемъ съ опущеннымъ внизъ хвостомъ, прыгала тяжело, всѣмъ тѣломъ, точно деревянная.

„Должно быть, бѣшеная“, — подумалъ Дороей. И радостно завопилъ ей въ слѣдъ:

— Улю-лю-у! Фить, Бобка! Фить, азы! Негорюйка! Улю-лю-у!

Онъ старался представить своихъ родныхъ: отца, мать, братьевъ, сестру. Старался заранѣе угадать, какъ его встрѣтятъ и какъ къ нему отнесутся въ Костычевкѣ?

Выходило по разному. Одинъ разъ казалось—все будетъ хорошо. Другой разъ думалъ—худо.

Изрѣдка Дороей посылалъ роднымъ съ Аеона письма. Два раза за четырнадцать лѣтъ онъ встрѣчалъ въ монастырѣ костычевскихъ богомольцевъ. Одинъ разъ тамъ былъ горбатый Федоръ, другой — Семенъ Жмакинъ. Оба кланялись Дороею отъ родныхъ, рассказывали по Костычевку. Конечно, и про него въ Костычевкѣ рассказали.

А тутъ—на, вотъ: былъ монахъ Паисій, а теперь снова явился Дороей Кистановъ. Много будетъ въ селѣ разговоровъ!..

III.

Почему Дороей изъ монаховъ ушелъ? Еслибы его спросили, онъ не могъ бы хорошо объяснить этого не только другимъ, даже самому себѣ. Человѣкъ онъ робкій, запуганный, покорный. Монашеское смиреніе его не особенно тяготило. И жить въ монахахъ было не худо. Сытно и безъ за-

боть. Хотя бы и опять въ монахи,—ничего. А все-таки онъ ушелъ и ушелъ потому, что *не могъ* больше жить.

Съ чего *это* началось?

Шелъ съ ведромъ по монастырскому корридору и задѣлъ нечаянно старца. А старецъ размахнулся и ударилъ Дороею по спинѣ клюкой. Такъ ему тогда обидно стало, что на глаза слезы навернулись. А роптать нельзя. Скажутъ—не смиряешься. И старецъ-то потомъ объяснялъ, что ударилъ не со злости, а испытать Дороеево смиреніе захотѣлъ: претерпитъ ли?

Но Дороей хорошо зналъ, что онъ—со злобы. Непріятный старичишка.

Однако не только одно это. Было что-то такое, чего и словами разказать нельзя. Неуловимое, ничтожное, а жить не давало. Съ чего началось? Даже припомнить трудно.

Гулкій каменный храмъ. Стройный церковный напѣвъ переливается подъ сводами:

Ны-нынъ си-илы небесныя съ на-ами..:

А у Дороея въ умѣ въ тотъ же самый голосъ вдругъ зазвучить другая пѣсня, даже какъ бы и не другая, а продолженіе первой:

Подуй, подуй, бурь погодушка,
Съ высокихъ горъ...

А потомъ еще веселѣе и забористѣе:

Ахъ, вы, Сашки-канашки мои-да,
Размѣняйте бумажки мои...

И откуда эти „Сашки-канашки“? Никогда Дороей и не пѣвалъ такой пѣсни. Развѣ что отъ другихъ слышалъ.

Совѣтовался съ монахами, старцами. Даже къ игумену ходилъ. Говорили ему:

„Это бѣсъ тебя смущаетъ. Молись“!

А Дороей-то ужъ знаетъ, что это не бѣсъ. Когда про другихъ монаховъ слышалъ или въ житіяхъ читалъ, что бѣсы искушаютъ—вѣрилъ. А теперь сразу и окончательно рѣшилъ, что бѣса тутъ нѣтъ, а есть только онъ одинъ, Дороей. И „Сашки-канашки“ это въ немъ самомъ, а не отъ бѣса.

Ну, вотъ и ушелъ!..

Такъ неужели только потому, что старецъ клюкой ударилъ и въ умѣ „Сашки-канашки“ появились?

Дороей всталъ на дорогѣ и оглянулся по свѣтлому горизонту.

— Было ли оно, это монашество? Можетъ быть — сонъ? Бываютъ такіе ясные и длительные сны,—цѣлый вѣкъ во снѣ проживешь.

Новый пиджакъ, сапоги, желѣзная дорога, станція Дубки... Нѣтъ, все это было, *дѣйствительно* было съ нимъ, Дорошеемъ. Вздохнулъ и пошелъ дальше.

Послѣ трехдневной тряски въ вагонѣ ходьба доставляла Дорошеему удовольствіе. Тѣло было легкимъ, летучимъ, и точно сами собой, независимо отъ туловища, двигались, мельтешили передъ глазами ноги. Разъ-два, разъ-два, по-военному. Дорошеемъ даже палку на плечо положилъ, воображая, что это—ружье. А онъ—солдатъ, со службы домой возвращается. Кажется, ружья-то не дають домой солдатамъ! Ну, да все равно... Дома ждетъ его красивая баба, солдатка,—его жена. Чай, ребенка нагуляла безъ него, подлая!

Но женатъ Дорошеемъ не былъ и ревности не почувствовалъ отъ воображаемой измѣны. Хотѣлъ обдумать — что же онъ станетъ дѣлать въ Костычевкѣ, какъ жить?

Двигались однообразно ноги и усыпляли мысль. Донимали воспоминанія.

Вспоминалъ Дорошеемъ дѣтство. Ярче всего въ его памяти рисовалась картина самого ранняго дѣтства, вродѣ соннаго видѣнія. Случай этотъ онъ совсѣмъ забылъ и теперь вспомнилъ черезъ тридцать лѣтъ впервые...

Кто знаетъ, какая существуетъ связь между событіями нашей жизни и знакомыми линіями далекаго горизонта, одинокимъ деревомъ въ открытомъ полѣ, откосомъ знакомой балки?.. Иное нигдѣ и ни въ какой связи не вспомнится на чужой сторонѣ. И только въ родныхъ мѣстахъ воспоминаніе вдругъ озаритъ душу, обрадуетъ, какъ драгоценная находка, утерянная, казалось, безвозвратно.

Вспомнился Дорошеему зимній вечеръ. Братъ Никита, старшая сестра Офимья и онъ, Дорошеемъ, маленькій шестилѣтній мальчикъ,—всѣ трое сидятъ съ матерью, грѣются на печкѣ. Мерзлое печное оконце горитъ въ отблескахъ морознаго заката. На полу подъ скамейки уже набился холодный и тяжелый мракъ. А по избѣ протянулись сѣрыя паутины вечерняго сумрака. Затихаетъ село. Звонитъ колоколъ, напоминая о вѣчномъ и загробномъ.

Дорошеему жутко. Въ его маленькой испуганной душѣ одиночество и предсмертная тоска. Онъ мучается, плачетъ и жмется къ матери. Мать утѣшаетъ.

— Молчи, Дорошенька, не плачь, милый. Ну, не плачь. Что ты, Христось съ тобой? Скажи, что ты.

Дорошеему кажется, что ему не выплакать никогда своего большого горя. Онъ мечется, бьется головой о горячую печку и, захлебываясь слезами, говоритъ:

— Не хочу одинъ умирать. Хочу съ тобой... Одному страшно... Ой, мама, страшно!

Сказалъ не то. Надо было сказать что-то другое, да не умѣлъ. Ревелъ дикимъ голосомъ. И самъ слышитъ, что реветъ не путемъ, а ничего не можетъ съ собой подѣлать. Сестренка Офимья побольше Дороеея, но отъ рева брата и ей стало страшно. Она всхлипываетъ:

— Дорошка, не реви!..

Мать не то смѣется, не то плачетъ надъ горемъ ребенка, прижимаетъ его къ груди.

— Молиться надо, Доронюшка. Молись! Все отъ Бога...

— Мама, я въ монахи пойду! Я замолю, мама...

Братъ и сестра смѣялись надъ Дороеемъ. Имъ стало весело.

— Вотъ дакъ монахъ!

Оба наперебой выдумываютъ смѣшное.

— Ты ночь-та не спи! На колѣняхъ молись!

— Молока-та не хлебай!

— Чаю не пей!..

А въ двадцать лѣтъ Дороеей сдѣлался монахомъ. Поѣхалъ-то онъ только на богомолье, да совѣмъ на Афонѣ и остался...

Такъ вотъ, значитъ, съ какихъ лѣтъ онъ — монахъ! Можетъ быть, онъ такъ ужъ и родился монахомъ?

Пораженный нахлынувшимъ на душу новымъ чувствомъ, Дороеей всталъ на дорогѣ, снялъ картузъ и бросилъ его на земь вмѣстѣ съ палкой. Сложилъ на груди молитвенно руки, вскинулъ къ небу длинное лицо съ острой, сошникомъ, бородкой и сквозь слезы зашепталъ:

— Господи! Вѣрую я въ Тебя, или нѣтъ? Скажи, Господи! Знаменье пошли, чудо соверши... Ну, хоть на ушко шепни только одно словечко: „Вѣруешь, молю, Дороеей, не скорби!“ Ахъ, Господи!..

Синій сверкающій куполъ далекаго неба сквозь кристаллы внезапныхъ слезъ ломался въ глазахъ Дороеея. Горячій вѣтеръ звенѣлъ въ ушахъ и томилъ пьяными ароматами выгорающихъ полей.

Дороеей поднялъ палку, надѣлъ картузъ и пошелъ дальше, сокрушенно мотая головой. А самъ думалъ:

„Еслибы кто-нибудь растолковалъ мнѣ: и что я такое есть за человѣкъ?!“

— Дорошка, кто ты такой?—спрашивалъ онъ самъ себя грубымъ, чужимъ голосомъ.

— Монахъ, дяденька,—отвѣчалъ голосомъ тоже чужимъ, но уже другимъ, тоненькимъ, пискливымъ и запуганнымъ.

— Мона-ахъ! Хмъ, ты, падалъ!.. Ну, а что ты можешь?

— Не знаю, дяденька.

— Украсть можешь?

— Не знаю, дяденька.

— Врешь, воришка. Можешь! Только много не сумѣешь, а по малости всегда украдешь. Гу-у-у, ты, морда! А изнасиловать хочешь? Вотъ этихъ двухъ дѣвочекъ, кои тебя испугались? Хочешь?

— Нѣту, дяденька.

— Хочешь, гадина, да только смѣлости не хватаетъ. А убить можешь?

— Что ты, дяденька, рази можно!..

— Замолчи, мокрица! Знаю, что не можешь. Не пиши гадина!..

И уже своимъ голосомъ вздохнулъ:

— О-ох-хо-хо!

IV.

Верстахъ въ пяти отъ Костычевки, въ долу запалъ небольшой лѣсокъ, Липовый Вражекъ. Въ верхнемъ концѣ Липова Вражка есть неглубокій родникъ—колодезь. До Костычевки рукой подать, даже мельницы видѣются. Но Дороевъ проголодался и усталъ. Вечерѣло. Свернулъ онъ въ лѣсъ опустился въ оврагъ и по старой памяти нашелъ знакомый родникъ.

Обомшлый, продолговатый и широкій, какъ двуспальная кровать, срубъ почти до краевъ налитъ прозрачной водой. Видно дно. Оно уходитъ въ глубину песчаной воронки. А на днѣ воронки, въ самомъ глазу родника, пересыпается крупный, чистый песокъ.

Изъ-подъ сруба черезъ дорогу въ оврагъ течетъ ручеекъ обозначая свой путь мшистыми кочками и кустами острой осоки.

Дороева охватило старое, мужицкое чувство радостнаго удивленія, даже религіознаго почитанія живой, родниковой воды. И онъ съ удивленіемъ затынулъ:

„Господь возгремѣлъ надъ водами мно-о-огими“...

Свернулъ ковшикомъ большой лопухъ и напился холодной, пахнущей лѣсными травами воды. Потомъ сѣлъ недалеко отъ колодца подъ березой и ѣлъ купленный въ Дубкахъ калачъ.

Отъ волненія въ ожиданіи предстоящей встрѣчи аппетита у Дороева не было. Ноги ныли, спина болѣла. Давно такъ далеко не ходилъ, разучился. Пожевалъ калача и съ наслажденіемъ вытянулся по мягкой настилкѣ изъ сгнившихъ листьевъ. Настилка осѣла, точно перина, дохнула запахомъ прѣлой, жирной земли.

Въ истомѣ тревожнаго забытья Дороеву казалось, что ѣлетъ онъ по морю на пароходѣ. Легонько качаетъ. Чуть-

чуть замираетъ сердце. А море ласково перекачиваетъ синія волны. Вдругъ качнуло сильно.

Ахъ!..

Дороеей очнулся. Отъ лѣсныхъ ароматовъ во рту чувствовалась пріятная горечь. Голова слегка кружилась, какъ отъ винограднаго вина. Вечерняя тишина лѣса охватывала его со всѣхъ сторонъ, какъ бы даже въ самый мозгъ проникала и нагоняла сонъ.

Тянутся длинной вереницей черные монахи. Идутъ другъ за другомъ, смотрять себѣ подъ ноги. Тянутся безъ конца. На Дороею не глядятъ, но—онъ чувствуетъ—видятъ его. И есть въ этомъ что-то безпокоящее и враждебное. Онъ чувствуетъ это враждебное въ ихъ покатыхъ плечахъ, въ текущихъ складкахъ рясы, въ напряженно прижатыхъ къ бокамъ локтяхъ.

Идутъ и не смотрять, но видятъ. Молчатъ, но думаютъ о немъ. Дороею трудно выносить это молчаніе. Онъ схватилъ одного монаха за локоть. Локоть неподатливо-враждебный, негибкій, какъ у мертваго.

— Скажи, отецъ, ну, скажи!.. Что молчишь?!

Молчить.

— Ну, хоть взгляни! Взгляни, мертвецъ! Взгляни сволочь, ну!

Монахъ перевелъ на Дороею каріе, злые глазки и жуетъ безкровными, мертвыми губами.

— Ты не монахъ, а прохвость!—Пшелъ вонъ!..

— Ахъ!..

Дороеей опять очнулся. И снова тишина лѣса ласково распахнула въ его душѣ жуткую тревогу кошмарныхъ сновъ. Косые солнечные лучи пронзили листву и увязли въ ней разной длины стрѣлами. Чуть-чуть шелестѣли на верхушкахъ деревьевъ листья.

А внизу уже настала безвѣтренная тишина. И холодѣющими парными потоками текло по землѣ лѣсное ароматное вино.

Звонко тарахтитъ въ лѣсу телѣга. Кто-то ѣдетъ съ пустой бочкой. Гулко фыркаетъ лошадь. Ласково и безъ всякой надобности, а такъ, для разговора, понукаетъ ее невидимый хозяинъ. Въ лѣсу мужики всегда ласковѣе съ животными.

— Но-о, ты, богова! Фырчи, дурочка! Ъзжай!..

Вотъ въ зеленой аркѣ вѣтвей показалась каряя голова лошади съ бѣлымъ пятномъ на лбу; дуга; въ телѣгѣ—мужикъ; стоитъ впереди, прислонясь спиной къ бочкѣ. Подъѣхалъ къ колодцу, сбросилъ на землю возжи и самъ слѣзъ.

— Вотъ мы съ тобой, Карюха, и водички нальемъ. Вода харрошая. Такъ-та, Карюха!

Дороеей приподнялся на локтѣ и кашлянулъ. Мужикъ быстро обернулся и нѣсколько минутъ смотрѣлъ на странную фигуру Дороеея. Глаза у мужика закруглились, а нечесанная борода ошетибилась.

— Откуда ты, лѣшака?

Дороеей узналъ мужика. Это Галкинъ Павелъ изъ сосѣдней Губановки. По ту сторону Липова Вражка губановское поле. Должно быть, Павелъ неподалеку убираетъ съ семьей сѣно.

— Съ Дубковъ я иду...

— Съ Дубко-о-овъ, — передразнилъ Дороеея Павелъ. — Чортъ васъ носить тутъ эдакихъ...

Въ голосѣ Павла все еще слышался испугъ. Онъ сердится, что незнакомый человѣкъ этотъ испугъ видѣлъ.

— Да ты по какимъ дѣламъ ходишь-та? Али по торговымъ?

Въ голосѣ Павла ясная насмѣшка. Дороеей отвѣтилъ неопредѣленно:

— Вродѣ того...

— День торгуешь, ночь воруешь, а какъ зима, такъ и въ тюрьму. Эдакъ что-ли?

Мужикъ усмѣхнулся и оправился. Тѣло его, одеревенѣвшее отъ неожиданности въ напряженной позѣ, стало по прежнему гибкимъ и упруго ловкимъ. Онъ вынулъ изъ бочки ведро и легко началъ черпать имъ изъ колодца и наливать въ бочку воду. Казалось, что ведро съ водой легкое и вскидывать его на бочку совсѣмъ не трудно. Когда Павелъ нагибался, было видно, что бордовая рубаха на его спинѣ побѣлѣла отъ потовой соли, затвердѣла лубкомъ. Вода лилась въ бочку со звономъ, и съ каждымъ ведромъ звуки повышались, точно кто-то пѣлъ въ бочкѣ гамму.

Изрѣдка мужикъ взглядывалъ на Дороеея быстрымъ, косымъ взглядомъ, глубже опускалъ въ колодезь ведро и съ шумомъ выдергивалъ его за перевесло, звонко колотъ прозрачный хрусталь воды. Дороеею была непріятна злоба Павла. Ему хотѣлось заговорить съ нимъ, расположить къ себѣ. Не выбирая разговора, онъ спросилъ Павла о самомъ близкомъ и родномъ:

— Запоздалъ ты съ покосомъ-та. Видать, — съ сѣномъ кончаешь?

Но Павелъ отвѣтилъ коротко и по прежнему насмѣшливо-враждебно:

— Ха! Чай не шатуны какіе! Своє дѣло знаемъ.

Апрѣль. Отдѣлъ I.

Дороею сдѣлалось тоскливо. Онъ смутно почувствовалъ, что въ деревню безъ него пришло что-то новое. Отъ этого и семья, и Костычевка заранѣе внушали тревогу, пугали.

Павель наливалъ воду. Закрывъ глаза, лошадь дремала и лѣниво отмахивалась жидкимъ хвостомъ отъ комаровъ, мухъ и слѣпней.

Вверху надъ деревьями еще свѣтло, а внизу уже сгущается сумракъ. Онъ выползаетъ изъ-подъ сгнившихъ листьевъ, изъ кустовъ папоротника и лопушника и зелено-сѣрыми мотками виснеть на сучьяхъ деревьевъ, ткеть вокругъ стволовъ ночныя одежды. Замолкають птицы. Только гдѣ-то въ верхушкахъ чирикаетъ пѣночка, какъ бы удивляясь, что всѣ замолкли и лишь она одна не спитъ.

Павель налилъ бочку, опустилъ въ нее ведро, но уѣзжать, повидимому, не собирался. Утомленному тяжелой дневной работой мужику было непріятно нараставшее въ сердцѣ раздраженіе къ долговязому парню. Онъ ощущалъ его въ груди, какъ ненужную тяжесть, которая неожиданно закатилась туда камнемъ, и онъ не знаетъ, какъ этотъ камень выбросить. Въ недоумѣніи обошелъ кругомъ лошади сердито толкнулъ ее въ бокъ колѣнкой.

— Ну, ты, проснись!..

Потомъ, заложивъ на поясицу мускулистыя руки, подошелъ къ Дороею. Дороей сидѣлъ на землѣ и, обнявъ руками колѣни, задумчиво смотрѣлъ на Павла. Павель мужикъ здоровый, работающій, хозяйственный. Дороей зналъ его съ дѣтства. За четырнадцать лѣтъ онъ измѣнился мало, только какъ будто пониже ростомъ сталъ, да лицо гуще заросло волосами.

— Вѣдь вотъ сколько васъ, эдакихъ бродягъ въ нашихъ краяхъ развелось—страсть! Шляетесь вы, да народъ смущаете. „Мы-ста, говорятъ, пострадали за народъ! По волчьему пачпорту ходимъ!.. И Бога, говорятъ, нѣтъ, и царя-ста не надо. Да чего-же вамъ, сукины дѣти, надо? А!? Ну, скажи ты мнѣ, лѣшакъ долговязый?!..

Павель самъ раздувалъ въ себѣ злобу. Дороей опасно приподнялся съ земли и взялъ въ руки свою палку.

— Вотъ, если задушить мнѣ тебя сейчасъ, такъ, думаю, что никакого отвѣту на мнѣ не будетъ!.. Ни Богъ, ни царь не спросятъ...

Павель стоялъ съ закинутыми на спину руками. Ноги его, обутыя въ лапти и перевитыя веревочками, слегка утонули въ травѣ и листьяхъ, были тонки, сухи и походили на ноги хищной птицы. А широкоплечее тѣло на этихъ тонкихъ ногахъ казалось особенно упругимъ и сильнымъ.

Плотныя баки дѣлали лицо его круглымъ и хищнымъ, какъ у рыси. Когда онъ молчалъ, то баки непріятно шевелились.

Тишина лѣса казалась Дороею зловѣщей, стала томить. Тѣло его затосковало отъ страха и облилось холоднымъ потомъ.

Дороей молча повернулся къ Павлу спиной и медленно зашагалъ по дорожкѣ къ выходу изъ лѣса, въ гору. Пошелъ нарочно медленно, чтобы показать, что онъ Павла не боится. И монашеское смиреніе было въ этомъ. Но сердце его замирало, дыханіе спиралось въ горлѣ, а во рту отъ страха стало холодно, точно послѣ мяты.

Дороей шелъ и видѣлъ все за своей спиной: и Павла, провожающаго его враждебнымъ, торжествующимъ взглядомъ, и лошадь, и телѣгу съ бочкой, и всѣ деревья надъ колодеземъ до послѣдняго листочка. Дороей и не зналъ, что иногда такъ ярко можно видѣть за своей спиной.

Но съ каждымъ шагомъ — онъ это чувствовалъ — сила переходила на его, Дороеву сторону. Павлу это уже стало непріятно. Онъ началъ браниться.

— Волчокъ проклятый! Попадешься ты мнѣ въ другой разъ, такъ ужъ смотри. Ужъ я тебя, стервеца, живымъ не выпущу. Ужъ я надъ тобой, бродягой, потѣшусь!

Отойдя шаговъ двадцать, Дороей успокоился и осмѣлѣлъ. Обернулся и хотѣлъ сказать Павлу что-то укоризненное. Но тотъ уже вывелъ лошадь на дорогу и осторожно сводилъ ее подъ гору. На заворотѣ и Павелъ оглянулся, угрожающе вскинулъ на Дороею рысѣе лицо и скрылся за вѣтвями калинника.

Долго слышно было, какъ немазаныя колеса звонко, крылато скрипѣли отъ тяжести, точно въ глубинѣ лѣса перекликались потревоженные гуси.

Солнце только что закатилось, и въ полѣ было еще свѣтло. Послѣ пережитаго остраго волненія Дороей во всемъ тѣлѣ чувствовалъ усталое спокойствіе. Онъ пошелъ медленно, наклоняясь впередъ, опирался на палку. Издали можно было подумать, что идетъ старикъ.

Межъ высокими хлѣбами уютной аллеей протянулась дорога. Передъ Дороеемъ бѣжалъ длинноногій тушканъ. Появился онъ внезапно и прыгалъ легко и безшумно, точно мимолетная тѣнь. Останавливался на дорогѣ, садился на заднія ноги, а передними короткими лапками что-то дѣлалъ около подвижной мордочки.

— Точно наговоры наговариваетъ, — подумалъ Дороей и бросилъ въ него палкой.

Дорога вспухла пыльнымъ облакомъ. Тушканъ исчезъ.

И ужъ въ слѣдующую минуту Дороеея взяло сомнѣніе: былъ тушканъ, или это померещилось ему отъ усталости.

Но спокоенъ Дороеей былъ недолго. Видны костычевскія гумна. Скоро родной домъ. И онъ опять заволновался волненіями радости и страха.

Да и въ недавней встрѣчѣ съ Галкинымъ Павломъ было что-то предостерегающее. Теперь вотъ Дороеей даже не понималъ, какъ могъ онъ хоть на одинъ мигъ повѣрить, что Павелъ его убьетъ. А между тѣмъ онъ повѣрилъ и испугался. Испугался смертнымъ страхомъ. Это особый страхъ, и Дороеей его испыталъ, когда около Аэона тонулъ въ морѣ, Этотъ страхъ холодитъ все тѣло, и оно какъ бы замираетъ. готовится къ смерти.

— И ты ушелъ, ничего ему не сказалъ?! Это съ палкой-та въ рукѣ? У-у,дохлый аэонецъ!—говорилъ онъ самъ себѣ, крутя передъ глазами кулакомъ.

V.

Дороеей вошелъ въ Костычевку вмѣстѣ съ послѣднимъ стадомъ, овечьимъ. И его охватили знакомыя чувства озабоченной вечерней деревенской суматохи. Стало ему радостно и грустно вмѣстѣ: давно не видалъ.

Въ облакѣ пахучей пыли по улицѣ медленно двигалось овечье озеро, растекалось по сторонамъ, вливалось шерстяными потоками въ открытыя ворота. Улица гомонила. Подъ ногами блеющихъ матерей съ нервно дрожащими хвостами путались кривоногіе ягнята. У воротъ съ подоткнутыми подолами, съ озабоченнымъ видомъ стояли хозяйки, кричали ласково-нетерпѣливыми голосами:

— Барашиныки, барашиныки! Баръ, баръ, баръ!

Лѣзли въ гущу стада и тащили за шерсть зазѣвавшихся овецъ.

Впереди стада пистолетными выстрѣлами раздавались удары кнута. Тамъ, окутанный пылью, шелъ невидимый пастухъ, шипѣлъ, чмокалъ и урчалъ, какъ токующій тетеревъ.

— Тр-р-ръ. Аш-ш-шь! Хопъ-тря! •

Позади стада съ разноголосымъ скрипомъ запирались ворота, и овечій гомонъ становился глуше, растекался по задворкамъ и хлѣвамъ.

Это былъ радостный и тревожный часъ деревенской жизни, когда изъ полей и лѣсовъ со всѣхъ сторонъ въ село вливаются нетерпѣливыя, возбужденныя и усталыя стада, приходятъ съ озера, съ рѣки гуси и утки. Приносятъ съ собой

запахъ поля, лѣса, воды и крѣпкаго пота. Дыханье ихъ пахнетъ молокомъ и лѣсными травами.

И все это коровье, овечье, свиное, лошадиное, гусиное еще долго пыхтитъ, реветъ, жуетъ, сопить, трется, гогочетъ по хлѣвамъ, по угламъ дворовъ, подъ сѣнями, на задворкахъ, постепенно утихаетъ, засыпаетъ.

Но и ночью бредить полями, рѣкой и зеленымъ лѣсомъ. Наливается новымъ молокомъ, жиромъ, одѣвается новымъ перомъ, пухомъ и шерстью.

Днемъ и ночью бродить могучее творило; на яву и во снѣ вздымается и киснетъ тѣсто новыхъ силъ и новой жизни.

Дороеей прошелъ по улицѣ почти никѣмъ не замѣченный. Было пыльно и сумеречно. Мужики — на дворахъ и гумнахъ, а бабы закружились съ безтолковой скотиной. Собаки тоже ошалѣли отъ суетни, пыли и множества смѣшанныхъ запаховъ; гдѣ тутъ отличить своего отъ чужого, — ни одна и не тявкнула. Только двѣ дѣвочки перебѣжали съ палочками поперекъ улицы и на бѣгу окинули Дороея изумленными взглядами.

— Глянь-ка, Васенка! Страннѣе. Должно — волчокъ.

Васенка дѣловито поглядѣла на Дороея и громко закричала, продолжая его разсматривать:

— Тпрусень, тпрусень! Пестра-авушка, Пестра-авушка!

Заботливый голосокъ ея протянулся надъ селомъ ищущій, хлопотливый и звонкій. Въ отвѣтъ ей за дворами откликнулась бѣгущая корова. Это слышно по голосу, что она бѣжитъ. Откликнулась обрадованнымъ, нетерпѣливымъ мычаньемъ. Дѣвочка прислушалась и запрыгала на одной ногѣ.

— Айда, Дуняшка! Вонъ Пестравка реветъ. Каждый день заблудится, шалаая. Пестра-авушка, Пестра-авушка!

Торопливо вывертывая босыми, жилистыми пятками, дѣвочки пошли, почти побѣжали дальше. Но Дороею все еще слышались разсудительные и нѣжные голоса десятилѣтнихъ бабъ:

— А у тетки Акулины вчарась двухъ курей украли.

— Говорятъ, — вотъ такіе жа волчки!

— Пестра-авушка! У-у, дурища эдакая!..

Послѣ Константинополя, Одессы и аеонскихъ монастырей родная Костычевка показалась Дороею убогой. Даже какъ-будто стала меньше, выросла за четырнадцать лѣтъ въ землю. А своя изба такъ и совсѣмъ постарѣла и покривилась.

Около калитки Дороеей приостановился. Сердце его тяжело переворачивалось въ груди. Онъ на минуту прислушался и малодушно подумалъ:

— Развѣ назадъ уйти?!

Не серьезно подумалъ. Онъ зналъ, что не уйдетъ, что идти ему некуда, что онъ даже не захочетъ уйти. Но появилась такая невозможная мысль сама собой, какъ и часто появляются мысли нелѣпыя и ненужныя.

Появилась мысль и повела за собой еще одно мимолетное воспоминаніе изъ житій святыхъ. Сынъ возвратился къ своимъ богатымъ родителямъ и никто его не узналъ. И такъ жилъ онъ около нихъ до смерти въ грязи, униженіи, въ ругищѣ. А родители тосковали по немъ и ждали его, своего сына, многіе годы. И только послѣ его смерти по родимому пятну на тѣлѣ они узнали, кто такъ долго жилъ около нихъ униженный и безвѣстный...

Это — житіе св. Алексѣя, человѣка Божія. И на Аеонѣ Дороеей не разъ примѣнялъ это житіе къ себѣ, мечталъ такъ же пойти и жить у своихъ родителей безвѣстнымъ до смерти... И плакалъ умиленными слезами надъ своей трогательной долей.

Припомнилъ онъ это въ одинъ короткій моментъ со всеми пережитыми чувствами. Но теперь разсердился. И вслухъ самъ себѣ сказалъ:

— Опять? Опять *ты* за старое?!

Чтобы сдѣлать себѣ больно, онъ ударился лбомъ, какъ баранъ, въ калитку и прошепталъ:

— Вотъ тебѣ, слюнявый монахъ!

Калитка распахнулась.

Подъ навѣсами сараевъ было темно. Но некрытый четырехугольникъ двора освѣщенъ свѣтлымъ небомъ. Около крыльца теленокъ пилъ изъ ушата помой. Онъ толкался въ ушатъ мордой, пускалъ носомъ пузыри, вертѣлъ отъ удовольствія хвостомъ, и все его тѣло изображало стремительность.

Съ змѣинымъ шипѣньемъ изъ-подъ сарая къ ногамъ Дороеея подкатился гусакъ. Пошипѣлъ и, оправляя на спинѣ крылья, грозно оглядываясь, съ достоинствомъ уползъ опять подъ сарай. Тамъ, подъ крыльями гусыни нѣжно люлюкали сонные гусенята.

На крылечкѣ съ подвязаннымъ на спинѣ подоломъ рубашки ползалъ, теръ кулачкомъ глаза и безнадежно плакалъ ребенокъ. Вѣроятно, онъ уже давно забылъ первоначальное огорченіе и теперь плакалъ по привычкѣ. Дороеей подсѣлъ къ нему и, чтобы забавить, раскинулъ вѣеромъ пальцы. Ребенокъ заинтересовался, умолкъ, схватилъ большой Дороеевъ палецъ и сталъ жадно сосать.

Въ темнотѣ сараевъ и по хлѣбамъ слышались вздохи коровъ и свиней. Чихали и кашляли овцы. Ходили люди. Сквозь плетни и подъ застрѣхами виднѣлись свѣтлыя пятна

закатнаго неба. Изрѣдка проплывала лохматая голова, закрывала поочередно свѣтлыя пятна и таинственно исчезала во мракѣ дальняго угла. Пахло свѣженакошенной травой, навозомъ. Слышались людскіе голоса. Скрипѣли двери, звонко стукнула ручка перевеса о ведро.

Звуки разрѣзали тишину засыпающаго двора. На мгновеніе становилось какъ бы свѣтлѣе, но тихій сумракъ заливалъ углы, стекалъ безшумными потоками съ соломенныхъ навѣсовъ на некрытый дворъ, забивался въ пазы межъ бревенъ, куталъ сѣрыми пологами калитку, ворота. И затихающая ночь разстилалась надъ домомъ, селомъ, надъ полями соннымъ, сумеречнымъ покоемъ.

Ребенокъ понялъ ошибку,—въ пальцѣ молока не оказалось, укусилъ Дороея атласистыми деснами и опять заплакалъ. Пока Дороей соображалъ, чѣмъ бы еще забавить ребенка, возлѣ него послышались осторожные шаги.

— Господи, Иисусъ Христе! Кто здѣсь?

— Мама! Это я, Дороей...

Старушка страдальчески-радостно охнула.

Такую радость и вмѣстѣ съ тѣмъ такую глубину пережитаго горя могутъ вложить въ первыя слова, въ одно первое восклицаніе только матери при встрѣчѣ своихъ давно невиданныхъ дѣтей. Охнеть тихо такъ, точно кто подкрался къ ней, неожиданно просунулъ руку подъ самыя ребра и схватилъ за сердце:

— Охъ, Господи!..

Она нагнулась, поставила на землю ведро съ молокомъ,—какъ бы не расплескать! Руки ея безпокойно забѣгали около тѣла, точно она что искала вокругъ себя; разглядывала изъ-подъ карниза платка долговязаго и по виду совсѣмъ чужого человѣка. Но сердцемъ уже почувяла, что это—свой, сынъ.

— Доронюшка! Правда-ли? Ты-ли?

Дороей нагнулся и цѣловалъ мать въ сморщенное лицо. За минуту передъ этимъ онъ и не предполагалъ, что въ сердцѣ его найдется такъ много нѣжности. Онъ обнялъ старушку и держалъ въ рукахъ вздрагивающее отъ тихихъ слезъ тѣло.

— Ну, мама, не плачь. Теперь вмѣстѣ будемъ жить...

— Какъ же ты, Дороня... Приѣхалъ, что-ли?

— Пришелъ изъ Дубковъ...

Онъ почувствовалъ, что мать хотѣла его спросить о томъ, есть ли что-нибудь съ нимъ. Неужели весь тутъ? Да постѣснилась. Дороей объяснилъ:

— А сундучекъ мой Мякинъ привезетъ.

Мать провела ласковой ладонью по плечу сына и внизъ по рукѣ. Склонивъ голову на бокъ, разглядывала его вскленъ

налитыми слезой глазами. И опять Дороеей почувствовалъ черезъ руку молчаливый и нѣжный вопросъ. Понялъ безъ словъ и тихо отвѣтилъ:

— Ушелъ я изъ монаховъ, мама... Потомъ я все тебѣ расскажу. Понимаешь, это трудно однимъ словомъ... А вкратцѣ сказать—не понравилось. Не нужно мнѣ это... Хочу на старую жизнь повернуть. Такъ, совсѣмъ по старому, какъ бы этого и не было совсѣмъ.

И съ нѣжной чуткостью мать ласково отстранила этотъ разговоръ.

— Шу, ну. Усталъ, поди?..

Подняла съ земли полное молокомъ ведро, захлопотала.

— Иди въ избу-та. Ахъ, Господи! Отецъ скоро съ гумна придетъ. Они съ Филькой токъ катаютъ. А Микита дома, Мики-и-ита! Подъ-ка сюда!.. Микитъ!

Неожиданно вокругъ Дороея появилось много народу. Точно всѣ стояли здѣсь, рядомъ, да только скрывались въ сумрачныхъ углахъ двора. Пришелъ изъ-подъ сарая съ лохматой головой братъ Никита. Двѣ невѣстки, одна съ ребенкомъ на рукахъ, съ тѣмъ самымъ, который сосалъ Дороею палецъ. Общее волненіе заинтересовало младенца. Онъ не плакалъ, смотрѣлъ круглыми глазами и радостно вскидывалъ руками. Изумленно перебѣгая съ одного мѣста на другое, тѣснилась къ Дороею дѣвочка лѣтъ семи. Стоялъ съ мочальнымъ кнутомъ въ рукѣ четырехлѣтній мальчикъ. Рубаха у него спереди была разорвана, виднѣлся круглый грязный, загорѣлый животъ. Всѣмъ видомъ своимъ онъ выражалъ спокойствіе и независимость.

Ахали, удивлялись. Протягивали корявыя ладони, немѣло цѣловались, вытягивая по-дѣтски губы.

— А я таки подумала утромъ, что намъ удивленіе будетъ. Во снѣ дѣвочекъ видала, и быдто платки бѣлые... Удивленіе и новости. Вотъ и удивились. Привелъ Господь...

Это говорить старшая невѣстка, Ульяна. Она уложила ребенка на локоть и выкатила ему изъ-подъ кофточкы бѣлую, налитую молокомъ грудь. Дороея смущало бѣлое пятно женской груди. Ребенокъ поймалъ сосокъ мягкимъ ищущимъ ртомъ; чтобы прочнѣе укрѣпить свое положеніе, ухватился за грудь рукой и свернулся около нея напряженнымъ жаднымъ комочкомъ.

— Проголодался, пострѣленышъ. Ишь, какъ сосетъ! Такъ и тянетъ. У-у-у!

Никита осторожно пощекоталъ ребенку по шеѣ большимъ и толстымъ, какъ копыто, чернымъ ногтемъ. Онъ неуклюже топтался на мѣстѣ, точно опоенная лошадь. Зачѣмъ-то прикрикнулъ шопотомъ на дѣвочку:

— Чего тутъ подъ ногами трешься, Васенка!?

Хихикалъ. Еще не зналъ, какъ отнестись къ брату.

И почему-то всё мало-по-малу съ полголоса перешли на шопотъ. Точно Дороеей принесъ съ собой такое, въ чемъ надо еще разобратъся, что нужно разсмотрѣть раньше, чѣмъ узнають сосѣди.

Дороеей и самъ цѣлый день скрывался, не выдавалъ себя. Мало ли что подумаютъ! Лучше, если все выяснится постепенно. Однако шопотъ родныхъ былъ ему непріятенъ. Этотъ шопотъ утверждалъ то, чего самъ Дороеей смутно боялся, но чему не было имени. Потому Дороеей нарочно заговорилъ громко: пусть услышатъ сосѣди. Ему, Дороею, нечего бояться. Если хочетъ, пусть боится кто-нибудь другой!

— Клѣтъ-та новую построили? И сарай, кажись, заново перекрыли?

Никита поглядѣлъ на брата съ недоумѣніемъ. Слишкомъ громко. А онъ вѣдь не глухой, совсѣмъ не глухой. Потомъ улыбнулся въ томъ смыслѣ, что вотъ, дескать, въ такую радостную минуту да про клѣтъ спрашиваешь. Отвѣтилъ мимоходомъ.

— Въ прошломъ году перекрыли... Идите-ка въ избу. А ты ба, Лукерья, за водой сходила. Самоваръ надо ставить. Я сейчасъ приду.

Никита куда-то заторопился. Лукерья, вторая невѣстка, загремѣла въ сѣняхъ ведрами, а Дороеей съ матерью, Ульяной и дѣтьми пошли въ избу.

VI.

Въ избѣ было темно. Засиженные мухами окна выдѣлялись сѣрыми четырехугольниками, но не освѣщали избы. За шумѣли потревоженные мухи, бились въ темнотѣ о лица, руки, путались въ волосахъ. Вошли, точно въ улей попали.

— Мора-тъ на васъ нѣтъ! Какая мухота!—сказала Ульяна, точно мухи появились въ домѣ вотъ именно сегодня и она удивляется — откуда онѣ. Это она извинялась передъ гостемъ.

Мать зажгла висячую надъ столомъ лампу. Но горѣлка наполнилась дохлыми мухами и стекло было черно; лампа не горѣла. Надо было все вымыть и вычистить.

— Лѣто. Знамо дѣло, сами-та давно не зажигали. Да вотъ Богъ гостечка послалъ, Дороею Игнатьича... Чай, ужъ отвыкъ отъ нашей жисти?..

Ласковый Ульянинъ голосъ слышался въ разныхъ мѣстахъ комнаты и дѣлалъ темноту уютной, даже огня не хо-

тѣлось. Ульяна—ласковая баба. Дороеей отвѣчалъ Ульянѣ охотно, даже рассказывать сталъ.

Отвыкъ? Нѣтъ, онъ не отвыкъ отъ здѣшней жизни. На Аѳонѣ тоже много мухъ. Одинъ монахъ въ трапезной спалъ съ открытымъ ртомъ, наглотался мухъ, чуть не померъ... Еще есть на Аѳонѣ москиты. Это такая маленькая мушка—глазомъ не видать. А кусаетъ—просто огнемъ палить,—вотъ какъ кусаетъ!..

Никита принесъ изъ шинка бутылку водки и поставилъ на столъ.

— Для гостя, какъ говорится... Нельзя, полагается...

Онъ былъ веселъ и, видимо, радъ не столько приходу брата,—это его смущало и онъ не зналъ, какъ къ Дороею относиться,—сколько возможности выпить.

— Ну, бабы, поскорѣ тамъ! Самоваръ и все такое...

Но приказывалъ онъ скорѣ просительно, извиняясь за водку. Ходилъ по избѣ, выходилъ въ сѣни. Видимо, ему хотѣлось выпить, да не зналъ какъ приступить.

Пришелъ отецъ. Его предупредили о приходѣ Дороея. Онъ вошелъ въ избу изумленный и даже какъ бы въ испугѣ. Отъ неожиданности началъ на образа молиться, точно пришелъ въ чужой домъ. Огонь лампы ослѣпилъ его. Глядя изъ-подъ ладони, онъ подходилъ къ Дороею бокомъ, спиной къ огню, чтобы хорошенько разглядѣть.

— Ты-ли, Дороеей? Здорово, сынокъ!

Поцѣловались. Старикъ всплакнулъ, храпнулъ носомъ, но мгновенно пересталъ плакать. Былъ онъ мужикъ чувствительный, скупой и жестокий, дѣтей и жену билъ. Въ семьѣ его боялись и никто не любилъ.

— На побывку, али какъ пришелъ, Дороеей?...

И подумавъ немного прибавилъ:—Игнатьичъ...

— Совсѣмъ пришелъ,—неохотно буркнулъ Дороеей.

— Ну, ну!—неопредѣленно сказалъ отецъ и засуетился:—Самоваръ ба тамъ!.. Мать! Лукерья!..

Мать цѣдила, разливая по горшкамъ, молоко. Выпячивая грудь, Лукерья пронесла ведро воды и свободной рукой на ходу утирала большой влажный ротъ. Дороею показалось, что она взглянула на него и улыбнулась. Чему она улыбнулась? Стукнула трубой, громыкнула самоваромъ. Запахло березовой лужиной.

Никита ударилъ бутылку донышкомъ о корявую ладонь, пробка выскочила, водка вспѣнилась, помутнѣла. Принесъ зеленый стаканчикъ, вытеръ большимъ пальцемъ, дунулъ въ него для окончательной очистки и налилъ водкой.

— Пей-ка, брательникъ! Со свиданьемъ.

— Не пью я,—отказался Дороеей.

— Ну, чай ужъ со свиданьемъ-та выпьешь!

Упрашиваетъ и дѣлаетъ усилія, чтобы не поднести стаканъ къ своему рту. И, когда Дороей опять отказался, Никита все-таки нашелъ въ себѣ силы угостить отца.

— Ну, инъ, ты, тятя, выпей.

Отецъ хмуро отвѣтилъ:

— Потомъ... Вотъ за столъ сядемъ.

Никитѣ ужъ не до намековъ, онъ ждать не можетъ. Запрокинулъ назадъ нечесанную голову, выпилъ водку медленно, сквозь зубы, какъ пьютъ всѣ мужики. Потомъ сморщился, замоталъ головой и вышелъ въ сѣни.

Пришелъ и младшій братъ, Филиппъ, мужъ Лукерьи. Мужикъ двадцати лѣтъ, высокій, сухощавый, но крѣпкій; длинныя обезьяньи руки, маленькая кошачья голова на длинной шеѣ, безбородый и безусый. Лицо у него лупилось отъ вѣтра и на носу торчали клочки сухой кожи. Онъ поздоровался, посидѣлъ молча, посмотрѣлъ на Дороея исподлобья и, глядя въ землю, спросилъ отца:

— Ъхать что-ли въ ночное?

— Да ужъ останься — нерѣшительно посоветовалъ отецъ. — Видишь, братка прѣхаль.

— Ну-къ што-жа, еще увидимся.

— Поѣзжай, коли такъ...

Изъ сѣней Филиппъ закричалъ на Лукерью:

— Лукерья! Гдѣ мой чапанъ?

Лукерья помолчала и отвѣтила изъ-за печки, громыхая самоварной трубой.

— Поищи, такъ и найдешь!

Голосъ у ней былъ грудной, низкій. Въ отвѣтъ слышалась спокойная насмѣшка. Было ясно, что такія отношенія вошли между мужемъ и женой въ привычку.

— Эхъ ты, чертово неудобіе! — закричалъ раздраженно Филиппъ и, выходя изъ сѣней, громко стукнулъ дверью.

— До свиданья, — насмѣшливо и про себя сказала Лукерья, подавая на столъ самоваръ.

Всѣ собрались къ столу. Принели соленыхъ огурцовъ съ капустой, тарелку малины. У Кистановыхъ былъ свой садъ. Игнатій взялъ каравай пшеничнаго хлѣба, перекрестилъ его въ воздухѣ лезвиемъ ножа и, прижавъ ребромъ къ груди, распахнулъ пополамъ. Потомъ началъ рѣзать половинки толстыми, ровными ломтями. Стали ѣсть и пить чай.

Никита съ отцомъ выпили по два стаканчика водки, опьянѣли. Движенія у нихъ стали широкими, голоса размякли. Отецъ даже еще разъ чуть-чуть всплакнулъ. Но

разговоръ не кленлся. Степанида ходила отъ печки къ столу и, подходя къ Дороею, тихо говорила:

— Ъшь, сыночекъ, ѡшь, родной!

И опять уходила на кухню, шаркая старыми ногами и утирая запономъ слезы. Плакала она отъ радости и смутной тревоги.

Только Лукерья была спокойна. Сидѣла она на концѣ скамейки, пила чай и глядѣла на всѣхъ простодушными, овечьими глазами. Изрѣдка взглядывала на Дороея. И Дороею казалось, что въ складкахъ ея широкаго рта пробѣгала усмѣшка.

Стало свободнѣе, когда пришелъ шаберъ, Данила Скрипунъ. При постороннихъ и разговоръ посторонній. Скрипунъ сѣдой, совсѣмъ бѣлый, а лицо румяное, почти молодое и зубы свѣжіе, полонъ ротъ. Напоминалъ онъ рождественскаго дѣда, какъ его рисуютъ на картинкахъ. Онъ молился, кланялся, встряхивалъ волосами и во время молитвы разглядывалъ гостя. Потомъ подошелъ къ столу и, щуря глаза, протянулъ руку съ кривыми концами пальцевъ.

— Никакъ Дороей Игнатьичъ? Давненько ли пожаловалъ? А слыхали мы, что ты въ монахахъ былъ, ангельскій чинъ принялъ! Оставилъ? Такъ просто взялъ да и оставилъ? Не понравилось, значить? Та-акъ!

Голосъ у Скрипуна крикливый, бабій. Онъ сѣлъ на лавку и опять протянулъ тонкимъ, какъ бы ехидненькимъ голосомъ.

— Та-акъ! Что-жа, тебѣ виднѣе...

И другіе сосѣди узнали о новости. Пришли еще два мужика. Бабы встали. Гостей пригласили за столъ.

Пришелъ больной Лифанъ. Еще въ сѣняхъ слышали его кашель и стукъ палки. Вошелъ онъ и, не молясь, тяжело сѣлъ на лавку. Отдышался и забасилъ:

— Здравствуй, Дороей! Услыхалъ я, что ты скинулъ... балахонъ-атъ. Вотъ и пришелъ. Здравствуй, другъ. А если ба ты монахомъ пришелъ, — я къ тебѣ ни ногой. Ты, чай знаешь мой обычай. Съ монахами, да съ попами я не дружу.

Лифанъ Тутушкинъ былъ извѣстенъ всему селу, какъ откровенный безбожникъ. Низенькаго роста, коренастый, съ большой головой и широкими плечами, а къ ногамъ тонкій, какъ игрушка-волчокъ. Онъ кашлялъ, моталъ головой и клалъ ее въ изнеможеніи на конецъ палки, закрытый широкими ладонями. И такъ, лежа на вискѣ, разговаривалъ.

— Вотъ, Дороей, издыхаю. Кахъ-кахъ! Уфъ, простудился, братяга... Знаешь, наша жистъ какая. Въ холодѣ, да въ голодѣ, какъ говорится. Ну вотъ, скоро и конецъ. Кахъ-кахъ! На удобренье земли. Ты еси навозъ и въ навозъ, какъ гово-

рится, отыдешь. Такъ, что ли, въ вашихъ книгахъ?.. Правильно сказано! А изъ монаховъ ты ушелъ — благодарю...

Лифанъ даже привсталъ и протянулъ Дороею четырехугольную и корявую, какъ заржавѣвшая желѣзная лопатка, ладонь. Дороей нерѣшительно подаль свою.

Скрипунъ не утерпѣлъ:

— Помирать будешь, небось--позовешь попа-та. Небось, за кишки-та схватить,—запоешь Господи помилуй!

— Не позову-у-у, Скрипунъ, не позову!..

Лифанъ застучалъ по полу палкой и закашлялся. Было жутко глядѣть на лохматого, озлобленнаго человѣка, который судорожно машетъ руками, топаютъ ногами, сгибаетъ колесомъ широкую спину въ затычномъ, нездоровомъ кашлѣ. Казалось, у него изъ горла тянется безконечная мокрая лента, хлюпаетъ во рту, но онъ не можетъ ее оборвать и выплюнуть.

— Уфъ! Такъ и выворачиваетъ наизнанку. Уфъ! Не позову, Скрипунъ. Сколько разъ говорилъ я вамъ, черти! Попъ крестилъ меня—малъ я былъ, ничего не смыслилъ. Вотъ и назвалъ меня, долгогривый чортъ, Вонифатіемъ. Ну, какая собака въ Костычевкѣ выговорить: Во-ни-фа-тій! Такъ всѣ и зовутъ меня Лифанъ. А что за Лифанъ,—никто не знаетъ! Женился я у попа,—это вѣрно. Такъ опять-жа потому, что глупъ былъ. Да и нельзя безъ этого у насъ: баба не поидетъ. Ну, а сдохну-та я одинъ. Тутъ моя полная воля, и безъ попа могу. Нѣ-этъ ужъ, шабашъ! Тутъ онъ около меня не потрется. А и потрется, такъ мохнатымъ не будетъ. Кахъ, кахъ!

Пили чай, хлюпали губами. Надъ столомъ темнымъ пологомъ колыхались и гудѣли мухи. Пришли еще мужики и бабы, молились, здоровались и, не сводя съ Дороея любопытныхъ глазъ, осторожно разсаживались по лавкамъ, нащупывая задами сидѣнье. Мужики спрашивали его про землю: не слыхалъ ли чего? Дороей не зналъ, гдѣ же монаху знать.

— Какъ-жа ты теперь, Дороей Игнатьичъ,—думаешь?.. Вообще, значитъ, жить гдѣ будешь?

— Да вѣдь въ Костычевку пришелъ! Гдѣ-жа мнѣ жить?—отвѣчалъ Дороей вопросомъ. И чувствовалъ, что при этомъ лица отца, брата, невѣстокъ и матери насторожились; насторожились по-разному.

— Знамо дѣло. Умный человѣкъ нигдѣ не пропадетъ...

Пришла старшая сестра Дороея, Офимья. Она стала старухой. Дороей съ Офимьей сидѣли рядомъ на лавкѣ. Запекшимися, слюнявыми губами она шептала ему на ухо свои жалобы на мужа, на бѣдность, на всю жизнь. И видно

было, что слезы стали ей привычны, даже необходимы; она не замѣчала ихъ, какъ не замѣчала своего дыханья.

Въ избѣ становилось шумно. Принесли еще водки. Никита, лохматый и радостно возбужденный, угощалъ мужиковъ и самъ пилъ. И въ пьяномъ восторгѣ подходилъ къ Дороеву цѣловаться.

— Дорошка! Братецъ! Пришелъ? Ну, инъ, ладно. Прокормимся, братъ, ничего. Домъ новый выстроимъ... Завоюемъ, брательникъ!

Изба наполнилась ровнымъ говоромъ. Уже заспорили о землѣ.

— Да ты что? Ты скажи мнѣ, на чемъ Расея основана?

Мужикъ радостно вскинулся, готовно всхлипнувъ ртомъ. Вопросъ съ перваго раза кажется ему яснымъ. А раздумался—въ тупикъ всталъ. И разговоръ замолкъ.

— Голова садовая! Расея основана на землѣ и на людяхъ. Вотъ какъ основана Расея!

Это говоритъ бывший солдатъ, Никифоровъ. Онъ любитъ говорить мудрено и за это въ селѣ его прозвали философомъ.

— Га-а! Ха!—слышится возгласъ несогласія и удивленья. Никифоровъ побѣдоносно продолжаетъ:

— А ты вотъ этого не знаешь, а рассуждаешь про начало...

Никифоровъ бросилъ на лавку картузъ, полѣзъ обѣими руками въ волоса. Отъ новой философской мысли корни волосъ у него на головѣ похолодѣли и зашевелились. Онъ вышелъ на середину избы, вытянулъ передъ собой руки и заигралъ пальцами, точно собиралъ ими въ воздухѣ туманныя мысли.

— Какъ тебѣ сказать... Тутъ надо все во вниманіе... Вотъ ты думаешь—начало! Такъ легко сказать — начало. А что такое начало? Сказку, что ли, съ начала рассказать?

Никифоровъ метнулъ глазами на Дороева,—одобряетъ ли? Слышится нерѣшительный смѣхъ мужиковъ. Не такіе ужъ они дураки, понимаютъ, что тутъ дѣло мудренѣе.

— Начало—это власть и отвѣтственность. Вотъ что такое начало! А что такое власть?.. Власть—это законъ и беззаконіе!.. И без-за-ко-ніе! А что такое отвѣтственность? Да тутъ, если съ мозгами въ эти слова зарыться, такъ и не выйдешь. Такъ-та, миляга!..

Никифоровъ сѣлъ на лавку, и въ знакъ того, что кончилъ, взялъ въ руки картузъ.

— А рассуждать на вѣтеръ, — знаешь поговорку: безъ голку молиться,—безъ числа согрѣшишь.

Настроеніе разбито. Разговоръ снова начался со вздоховъ, съ отдѣльных словъ.

А Офимья все еще жужжить Дороею на ухо, плачетъ и сморкается.

— Знаешь что, Офимья. Шла бы ты въ монастырь...

Офимья перестала плакать и смотреть на Дороея усталыми глазами. Дороей самъ себѣ не вѣритъ. Сказалъ нечаянно, а все же онъ готовъ повторить сестрѣ этотъ совѣтъ. А она ужъ опять зашептала:

— Была я недавно въ лавкѣ у дяди Семена. Такъ воблой тамъ у него пахнетъ. Стояла я въ лавкѣ и все нюхала. Иду домой да плачу. Господи, хоть бы вобляного духу понюхать! Такъ и духу-та нѣтъ, Доронюшка. Вотъ какъ живемъ!

Дороей далъ ей двугривенный. Она радостно взяла монету и перестала плакать.

За столомъ разговоръ опять сталъ шумнымъ. Женщины разошлись. Остались мужики, потные, встревоженные, озабоченные мыслями давнишними, надѣвшими день и ночь и неразрѣшимыми. И еслибы у нихъ не было смутной увѣренности въ томъ, что жизнь когда-нибудь и какъ-нибудь разрѣшитъ всѣ трудные вопросы, они, навѣрное, кусались бы и грызлись, какъ собаки, безсильные что-нибудь придумать.

VII.

Дороей вышелъ на улицу и прислонился къ теплому нагрѣтому за день углу избы.

Сумракъ залилъ переулки до самыхъ крышъ. А на широкой улицѣ свѣтлѣе. Вокругъ села тихо обходитъ немеркнувшая июньская заря и падаетъ на улицу свѣтло-сѣрой паутиной нѣжныхъ отсвѣтовъ.

Съ одной стороны села—сухая, звонкая степь. Съ другой—волжская поѣма, а за нею широкое, текучее, вздрагивающее на сотни верстъ отъ ударовъ пароходныхъ колесъ полотно Волги.

Эта текучесть чувствуется даже ночью. Съ Волги долетаютъ звуки плывучіе, растянутые, мягкіе, а изъ степи—четкіе, ясные, круглые.

Дороей стоялъ умиленный и радостный. Вотъ такъ же стоялъ онъ ночью на улицѣ четырнадцать лѣтъ тому назадъ, передъ отъѣздомъ на Аеонъ. Стоялъ и слушалъ, и прощался съ селомъ. Былъ Аеонъ, было монашество,—нѣтъ ни Аеона, ни монаха. Прежній Дороей Кистановъ. Перервалась нитка жизни, а теперь снова сплелась оборванными концами. Закружилось веретено, и стала нитка цѣлой... Нѣжно и сладостно было на душѣ у Дороея.

Только шумъ въ избѣ будилъ въ его душѣ смутную

тревогу. Что-то новое вошло безъ него въ деревню. Что — сразу и понять трудно, но новое есть. И это новое безпокойно и враждебно.

Заревѣлъ мірской быкъ, и отъ этого рева улицы стали звонкими, а небесная пустота надъ степью — безграничной.

Онъ ходитъ по селу, какъ воплощенное плодородіе, неистощимое сладострастіе, ходитъ безсонный, не знающій, куда дѣвать силы могучаго тѣла. Поднимаетъ широколобую голову и, оскаливъ зубы, нюхаетъ резиновымъ носомъ влажный воздухъ. Чуетъ запахъ соннаго коровьяго тѣла и реветъ громко, изступленно, потрясая неподвижный воздухъ и тихія улицы засыпающаго села.

Звякнуло перевесло. Въ свѣтломъ сумракѣ улицы проступило пятно человѣческой фигуры. Это идетъ Лукерья съ ведрами воды.

— Мірской быкъ гдѣ-то реветъ, — тихо сказалъ Дороей

Лукерья поставила ведра на землю и остановилась около Дороея, отозвалась на его слова:

— Ходитъ, какъ неприкаянный. Вишь, заливается! Встрѣтитъ кого, запрыгаетъ. Бѣда!

Помолчали. Лукерья стояла и разглядывала Дороея. Пахло отъ нея свѣжимъ ситцемъ. (Новую кофточку надѣла ради прихода Дороея). А отъ ведеръ колодезной воды захолонулъ теплый воздухъ, и въ лицо Дороею пахло сырой прохладой.

— Пьяные ужъ, поди, тамъ?.. (Лукерья мотнула головой на освѣщенное окно).

— Галдятъ, — тихо отвѣтилъ Дороей.

Лукерья сѣла на лавочку подъ окномъ, потянула на колѣни запонъ, откинулась къ стѣнѣ и засмѣялась.

— Уфъ, устала!

Когда Лукерья смѣялась, лицо ея становилось свѣтлѣе и виднѣе Дороею.

— Ты что, Лукерья, смѣешься?

— Такъ... А рясу ты съ собой привезъ?

— Рясы нѣтъ. Больше ужъ не надѣну.

— А я хотѣла ба поглядѣть, какой ты въ рясѣ. Въ рясѣ ты, чай, лучше?

И опять засмѣялась. Дороей тоже засмѣялся весело, искренно. И обрадовался, что не обидѣлся. Отъ радости ему захотѣлось быть откровеннымъ.

— А знаешь, Лукерья, что со мной въ дорогѣ случилось? Я отдыхалъ около колодца, въ Липовомъ Вражкѣ. А Галкинъ Павелъ изъ Губановки воду наливаль... Хотѣлъ меня убить. Говорить — волчокъ.

Лукерья отъ удивленья всплеснула руками.

— Уби-и-ть! Ха-ха-ха! За волчка принялъ?!

Она поглядѣла на Дороею, съ кѣмъ-то сравнивала.

— Такъ ты и въ самъ-дѣлѣ похожъ на волчка... Ну, и что-жа ты?

— Я—ушелъ... Да кто это такіе волчки?

— А песь ихъ знаетъ. Ходятъ тутъ такіе... несчастные. Какіе та пошли теперь ссыльные. Такъ, бродяжки. Вотъ ихъ и прозвали волчками... Прошлой осенью одинъ вотъ тутъ, нашимъ проулкомъ шель. Суртановы собаки его рвали. Вотъ рва-али! Онъ отъ нихъ. Куда куски, куда милостынка. Къ намъ забѣжалъ. Вотъ было смѣху-та! Пьянай. Съ нашимъ Микитой три дня пьянствовали, Вавилиной коровѣ хвостъ отрубили.

Мірской быкъ заревѣлъ совсѣмъ близко. Быка не видно но всѣмъ такъ хорошо извѣстны его привычки. Вотъ онъ остановился, гулко мурлычетъ, уткнулъ рогастую голову въ зольную яму и передними копытами швыряетъ выше себя золу и пыль... А въ горлѣ у него что-то весело перекачивается. Поднялъ голову и, раскрывъ слюнявый ротъ, испустилъ радостный возбужденный крикъ.

Ревъ этотъ крылъ село, полноувѣсный, густой и тягучій, какъ гудокъ морского парохода. Залилъ улицы. Гдѣ-то заблеяла спросонья овца. Фыркнула лошадь.

— Ну, идти надо! А то быкъ запрыгаетъ. Ты вѣдь не сладишь съ быкомъ-та?

Лукерьино лицо опять освѣтилось. Она встала и наклонилась надъ ведрами.

— А ты бы, Лукерья, не торопилась?—попросилъ Дороею.

— Да вѣдь спать надо... Вонъ и мужики загалдѣли, выходятъ.

Лукерья встала между ведрами, потянулась, закинувъ руки за голову. Грудь выкатилась круглая, упругая, къ Дороею совсѣмъ близко. Сильнѣе запахло новымъ ситцемъ.

— Знаешь что, Лукерья, ты никому несказывай, что Павелъ меня убить хотѣлъ. Будемъ только мы съ тобой знать. Ладно?

— Ладно, ладно!—ласково сказала Лукерья и подняла ведро. Дороею отнялъ у ней ведро и понесъ самъ.

Лукерья шла за нимъ и тихо смѣялась въ запонъ.

— Я—ровно барыня какая!..

На ходу Дороею вспомнилъ о братѣ Филиппѣ.

— Уѣхалъ Филипъ-та въ ночное?

И почувствовалъ смутную благодарность къ брату за то, что онъ уѣхалъ въ ночное.

— И не жалко,—быстро отвѣтила Лукерья. Голосъ ея

сталъ отчужденнымъ.—Ему только въ полѣ и спать, съ волками... Сюда давай ведра, не надо въ избу!..

По уходѣ гостей всѣ Кистановы торопливо разошлись спать: въ сѣни, на погребницу, на дворъ. Утомились отъ работы, разговоровъ и волненій неожиданной и странной встрѣчи. Разносили съ собой тревогу нерѣшенныхъ вопросовъ.

Только Степанида еще долго и тяжело шаркала по полу ногами, убирала со стола самоваръ, чашки. Изрѣдка останавливалась среди избы и прислушивалась къ тишинѣ дома, двора, улицы. Когда затушила лампу,—встала передъ иконами и долго молилась, задумчиво позѣвывая отъ усталости. Но и въ позѣвахъ, захлебываясь словами, не переставала читать какія-то, ей одной извѣстныя, длинныя молитвы. Слова были старинныя, испытанныя въ горѣ и радости долгой жизни, надежныя слова.

И ея текущій шопотъ задумчиво вился въ темной тишинѣ избы, точно никому неизвѣстный ручеекъ въ лѣсной чащѣ. Тихо позваниваетъ хрусталемъ чистой струи, шелеститъ травой, булькаетъ въ круглыхъ мшистыхъ водоросляхъ. Куда-нибудь да дотечетъ.

Дороей легъ подъ сараемъ на соломѣ въ саняхъ. И долго не могъ заснуть. Почему-то именно теперь вспомнилъ онъ монашку.

Дороей почти не зналъ въ жизни женщинъ. И только года два тому назадъ, въ Константинополѣ, въ монастырскомъ подворьѣ онъ соблазнилъ одну монашку. Неизвѣстно, впрочемъ, кто кого изъ нихъ соблазнилъ. Можетъ быть скорѣе—она его, ибо Дороей былъ съ женщинами стыдливъ и робокъ.

Онъ забылъ лицо и имя монашки. Да и то сказать, Дороей ея почти не зналъ: встрѣтились одинъ разъ въ жизни... Помнить только одну сладостную минуту, когда ея маленькое тѣло вздрагивало въ его жадныхъ рукахъ. Она прижималась къ нему и въ забвеніи сладкаго восторга шептала

— ...Диворадуйся... Милый ты мой!.. Ахъ, Господи! Грѣшница-то я!..

Монашка вырвалась изъ его рукъ и убѣжала по длинному полутемному монастырскому корридору на цыпочкахъ. А по его рукамъ, ногамъ и всему тѣлу потекло томительное вино. Вотъ и теперь это вино ходитъ въ разгоряченномъ тѣлѣ. Руки и ноги отяжелѣли, и въ ушахъ шелестятъ монашкины слова:

— Диворадуйся... Милый!..

И, уже засыпая, Дороей тревожно вспомнилъ, что никому не рассказалъ про то, какъ онъ былъ въ Одессѣ у архіерея. Вспомнилъ и пожалѣлъ, понялъ въ эту минуту,

что встрѣча съ родными была не такая, о какой онъ мечталъ. *Некому* было рассказать задушевное. И успокоенно подумалъ, что расскажетъ Лукерья.

— Лукерья можно. Только вотъ смѣется она...

И почему сказала: „ты вѣдь не сладишь съ быкомъ?“ Развѣ Доровей такой слабый? Онъ схватить этого быка за рога и свернетъ ему шею, — вотъ какая у него сила!

Засыпая, онъ, какъ въ дѣтствѣ, слушалъ мягкій токотъ далекихъ паровозныхъ колесъ на Волгѣ. Чувствовалъ ихъ и въ глубокомъ снѣ.

VIII.

Петровъ день—костычевскій храмовой праздникъ. Наканунѣ бабы цѣлый день мыли церковь, а мужики устилали полъ свѣжей травой, украшали иконостасъ зеленью.

Солнце въ Петровъ день поднялось на ясномъ горизонтѣ сразу горячее и полуденно яркое.

Отъ дыма печей широкія, солнечныя улицы, дома и люди казались перламутровыми.

Гудѣлъ праздничный колоколъ. Чутко вздрагивала отъ ударовъ горячая земля. А по рѣчкѣ Мочежинѣ доносились тихіе звонъ колоколовъ другихъ селъ: Змѣевки, Лебяжья, Растопыровки и Утѣвки.

Эти издалека и отовсюду несущіеся звонъ внушали смутныя мысли о далекомъ: о другихъ странахъ, неизвѣстныхъ людяхъ. Чего-то хотѣлось необыденнаго, не вчерашняго, не завтрашняго, но никто въ точности не могъ сказать, что именно это такое было.

Какъ мелкіе осколки чужого міра, появлялись въ селѣ чужіе нищіе. Гдѣ они скрывались до праздника и почему появлялись въ такомъ большомъ количествѣ въ Костычевкѣ въ праздничные дни, — трудно было сказать. Ходятъ отъ окна къ окну, сѣрые, сгорбленные, шепчущіе. Въ тѣняхъ избъ они и совсѣмъ незамѣтны, развѣ долго всматриваться. Тогда увидишь, какъ, вздыхая надъ костылемъ, стоитъ подъ окномъ человѣкъ и шепчетъ привычныя слова.

Ходитъ слѣпой Булыга. Это ежедневный, *свой* нищій. Онъ знаетъ село наизусть, ходитъ увѣренно и кланяется передъ окнами размашисто, всѣмъ туловищемъ, блестя гладкой лысиной. Начинаетъ съ присловья:

— Господи Иисусъ Христе, Сыне Божій, помилуй насъ.

Потомъ болѣе высокимъ и убѣдительнымъ голосомъ нараспѣвъ затянетъ самую просьбу:

— Батюшки-матушки, подайте Христа ради святую ми-

лостынку отъ своихъ трудовъ праведныхъ, для родителейъ своихъ поминающихъ...

И терпѣливо ждетъ, направивъ въ окно неподвижные бѣлки слѣпыхъ глазъ.

Голосъ у него особый, праздничный, не допускающій лишнихъ разговоровъ. Но, когда Дороеева мать, Степанида, высунула ему изъ окна кусокъ хлѣба, Булыга не утерпѣлъ и спросилъ обыкновеннымъ, будничнымъ голосомъ:

— А у васъ, слышать, сынокъ прибылъ, Дороей Игнатьичъ?

Въ вопросѣ слѣпого послышалось любопытство осведомленнаго челоуѣка. Булыга зналъ, что большого разговора въ эту минуту съ Степанидой быть не можетъ. Но ему интересно услышать только Степанидинъ голосъ.

Степанида коротко отвѣтила:

— Прибылъ!..

Отвернувшись и гроыхнула въ кухнѣ посудой. Слѣпой поклонился и вздохнулъ привычными словами:

— Господи помилуй, Господи помилуй!

Пошелъ къ дому Лифана, припоминая и взвѣсивая тонъ этого короткаго, неохотнаго слова „прибылъ“.

— Недовольна,—рѣшилъ онъ.

Около угла Лифановой избы имъ овладѣло безпокойство. Если Лифанъ дома или, еще хуже, сидитъ передъ окномъ, то лучше пройти мимо. По праздникамъ Лифанъ бываетъ особенно раздражителенъ. Ни за что изругаетъ и прогонитъ. Уйти бы отъ грѣха... А жена Лифана, Дарья, подаетъ... Тиранитъ ее Лифанъ. Извелась баба. Все плачетъ да жалуется. Чай, ужъ совсѣмъ старуха. А дѣвкой была—красавица, веселая. Булыга-то помнить ее, когда парнемъ былъ, да зрячимъ. Ахъ, какая дѣвка! Огонь... Господи помилуй, Господи помилуй!

Булыга крикнулъ, отгоняя давнишнія сладостныя воспоминанія. И вдругъ почувствовалъ, что къ его рукъ что-то приближается. Чуткіе, зрячіе мускулы дрогнули, рука упруго отстранилась, вскинулась кверху, нащупывая черезъ воздухъ встрѣчный предметъ. Ухватился слѣпой за палку и потянулъ ее къ себѣ. Кто-то потянулъ палку обратно и засмѣялся.

Лифанъ!

Онъ сидѣлъ передъ домомъ и, затаивъ хриплое дыханіе, ждалъ слѣпого. Отъ неожиданности Булыга испуганно забормоталъ:

— Да воскреснетъ Богъ! Господи помилуй!

— Скулишь?—насмѣшливо спросилъ Лифанъ, вырывая палку.

Булыга заторопился, заморгать толстыми, красными вѣками надъ неподвижными бѣлками. И слѣпые глаза были точно краснотубые рты, которыми Булыга заглатывалъ бѣлые камешки-голыши и не могъ проглотить.

— Ась! Ты что, Лифанъ Терентьичъ?!

— Скулишь, говорю, старый песъ! Въ амбарѣ полны сушки хлѣба, а ты ходишь подъ окнами, да скулишь во имя Христово. Распинаешь Христа-та, старый чортъ!

— Господь тебѣ простить, Лифанъ Терентьичъ,—забормоталъ обиженно Булыга, уходя скорѣе прочь.

И оттого, что тѣло слѣпое было испугано и раздражено, оно потеряло обычную чуткость. Уходилъ онъ бокомъ, растерянно ловилъ руками теплый солнечный воздухъ,—какъ бы на что не наткнуться! Откидывалъ назадъ лысую шишковатую голову, двигалъ мясистыми и большими ушами, обросшими по краямъ сѣдыми волосами.

У сосѣдней избы онъ снова переломился въ поясничѣ и праздничнымъ голосомъ затянулъ обычную просьбу. Но тѣло его все еще *видѣло* Лифана, и подвижное ухо чутко прислушивалось, какъ около своей избы хрипѣлъ, издѣвался и бранился скверными словами Лифанъ.

Съ утра въ домѣ Кистановыхъ установилось радостно-отъснительное настроеніе, какое приносить съ собой всякій, давно невиданный, родной гость. Не знали, какъ съ Дороеемъ обращаться. Изъ угловъ на Дороеея съ любопытствомъ выглядывали Оедька съ Васенкой, но подходить близко боялись. Игнатій надѣлъ поддевку, намазалъ волосы масломъ, зажегъ передъ образами свѣчку, лампадку и говорилъ по славянски: „свѣща, елей, аще“... Даже однажды „дондеже“ и „обращете“ сказалъ, да и самъ сконфузился. Отъ славянскихъ словъ, колокольнаго звона, праздничной хлопотни бабъ приходилъ въ умиленіе и всхрапывалъ носомъ, прогоняя внезапныя слезы.

Мякинъ пріѣхалъ ночью, привезъ съ вокзала сундучекъ. Дороеей разбиралъ вещи, давалъ всѣмъ подарки: неувядаемый цвѣтъ, масло, смертная плащаница, иконки, крестики, пальмовая вѣточка. Въ комнатѣ пахнуло прянымъ запахомъ кипариса и регальнаго масла. Прибили на стѣну большую картину Аеона. Скалы, одѣтыя яркой зеленью, а въ зелени бѣлыя полотна стѣнъ и голубыя главы монастырскихъ церквей. Въ избѣ стало просторнѣе и свѣтлѣе, точно прорубили въ стѣнѣ новое окно на солнечную улицу.

Всѣ ахали, изумлялись. Набрались въ избу старухи. Плакали о смертномъ часѣ и нюхали святой кипарисовый воздухъ. Завидовали Степанидѣ: къ смерти у ней готовъ аеонскій саванъ.

Когда отзвонили къ обѣднѣ, Дороей съ отцомъ пошли въ церковь. По улицамъ парами и въ одиночку шли костычевскіе старики въ черныхъ чапанахъ и поддевкахъ, въ толстыхъ шапкахъ и картузахъ съ блестящими на солнцѣ козырьками. Шли, покачиваясь, степенно и важно, не такъ, какъ ходили въ будни, а по иному, въ соответствии съ тѣмъ новымъ и значительнымъ, что было въ душѣ. Сучили руками, собирая упругія складки длинныхъ рукавовъ. Выпрямляли одеревенѣвшія спины и бережно ставили на пыльную дорогу смазанные дегтемъ сапоги.

Въ кубовыхъ рукавахъ и темныхъ платкахъ брели сгорбленные старушки. Въ церкви онѣ охотно кладутъ земные поклоны, стучаясь объ полъ теменемъ,—вотъ-вотъ покатаются колесомъ.

Яркими пятнами виднѣлись вдоль улицы голубые, красные, оранжевые платки дѣвокъ и молодыхъ бабъ.

Безъ шапки и босой, въ изорванной рубашкѣ ходилъ по улицѣ пьяный Андрюшка. Остановливался передъ мужиками, виновато кланялся въ землю:

— Простите меня Христа ради.

И долго возился въ пыли, не могъ встать.

Мужики смотрѣли мимо него невидящими глазами. Стоя на четверенькахъ, Андрюшка глядѣлъ между своими раскореяченными ногами и бранился.

— Не хочешь простить? Ну, какъ хочешь...

Послѣ аеонскихъ каменныхъ храмовъ костычевская церковь выглядѣла убогой. И пѣніе нестройное. Грубы были натруженные, привыкшіе къ сердитой брани со скотиной и людьми голоса пѣвчихъ. И этотъ попъ съ загорѣлымъ, облупившимся лицомъ, тотъ самый, котораго вчера видѣли на гумнѣ съ метлой въ рукахъ!..

Было Дороею чего-то жалко. Раньше, до Аеона, онъ вѣрилъ въ отшельниковъ, съѣдающихъ въ недѣлю по фунту хлѣба, спящихъ на камняхъ. Есть такіе отшельники, онъ видѣлъ ихъ. Но увидѣлъ и пересталъ вѣрить. Стали они ненужными.

И вотъ онъ долго и жадно стремился сюда, въ родную Костычевку. Надѣялся въ неприкосновенности найти на старомъ мѣстѣ оставленное съ юности что-то очень цѣнное. А этого цѣннаго не оказалось. Пропало. Было жаль этого стараго, и неизвѣстно, гдѣ его найти.

Дороей всталъ сзади, у самаго выхода, и по-монашески размахнулся пояснымъ поклономъ. Вспомнилъ и рассердился на себя. И всю обѣдню стоялъ, не крестясь. Ждалъ дѣтскаго, юношескаго, но оно не приходило. Казалось, что это пѣвчіе мѣшаютъ сырыми и хрипыми голосами.

Временами въ раскрытыя двери залеталъ клубками теплый вѣтеръ, качалъ блѣдныя огни свѣчей, шевелилъ надъ ликами святыхъ вѣтвями клена, березы и рябины. Листья кленовъ пожухли, свернулись, точно крылья летучей мыши. А березки стояли свѣжія и листья топорщились, какъ живые.

Съ полу поднимался густой запахъ растоптанной травы. Точно въ лѣсу собрался народъ и межъ вѣтвями деревьевъ мелькають мужскіе и женскіе, скорбные и удивленно-радостные лики святыхъ.

Только въ одномъ мѣстѣ службы Дороея охватили старыя чувства, какія онъ переживалъ въ дни поминовенія умершихъ. Во время эктении погъ съ подголоскомъ долго читали поминанія. Читали они невнятно, бормотали десятки, сотни именъ. Безчисленные, неразборчивыя имена умершихъ, какъ заросшія травой, опавшія, съ поломанными крестами могилы на костычевскомъ кладбищѣ. Здѣсь, въ эти минуты устанавливалась наивная деревенская связь между живыми и умершими. И странное дѣло, связь эта не была печальной. Дороей хорошо помнилъ еще съ дѣтства, что это чувство къ умершимъ было какъ бы даже радостнымъ. Надежныѣ казалась своя, костычевская жизнь, точно корнями вросла въ далекое прошлое, пускала отростки въ будущее. Хотѣлось съ благодарностью вспомнить всѣхъ этихъ безчисленныхъ умершихъ, съ благодарностью за то, что они когда-то жили.

Прошла мимо старуха, отломила кусочекъ просфоры и дала Дороею.

— Помяни, батюшка, раба Божія Петра...

Съ чувствомъ благодарности Дороей взялъ кусочекъ бѣлаго хлѣба. И ему захотѣлось узнать точно, какого именно Петра нужно помянуть, представить его себѣ ясно, съ бородой и рубахой.

— Какого, баушка, Петра?

Старуха подняла на него разрисованное квадратами морщинъ лицо, тусклые глаза. Начала объяснять готовно и сокрушенно радостно:

— Кума Петруху, свояка Лексѣя Митрича! Чай, помнишь, Варешкинъ-ать мужъ? Въ самый Успеневъ день и померъ онъ...

Жуя черствый хлѣбный мякишъ, Дороей вспоминалъ Козлякина Петра, его желтую бороду, блѣдые глаза и бормоталъ:

„Раба Твоего, Козлякина Петра, помяни Господи“...

„Аще Ты еси?“—подумалъ онъ ехидненько и внутренне заулыбался отъ радости своихъ новыхъ мыслей.

IX.

Послѣ обѣдни у Кистановыхъ толпился народъ. Праздникъ, престолъ, — приходили люди въ гости, а, главное, на Дороея всѣмъ взглянуть хотѣлось. Сначала сидѣли въ избѣ, а потомъ перешли въ садъ. У Кистановыхъ небольшой садъ, начинается прямо за дворомъ и спускается зеленой полосой подъ гору въ поѣму.

Пришелъ Кузьма Мякинъ и всѣмъ рассказывалъ, какъ онъ не узналъ Дороея въ Дубкахъ. Рассказывалъ веселый, радостный, точно въ томъ, что онъ не узналъ, заключалась его большая заслуга передъ Дороеемъ и даже передъ всѣми костычевцами. Точно Мякинъ *выдумалъ* Дороея. Не было Дороея и вотъ сталъ Дороей.

— Гляжу—человѣкъ подходитъ. Господинъ — не господинъ, а вродѣ какъ бы и не нашъ. „Сундучекъ, гритъ, довести надо въ Костычевку“. Что же, думаю, довести можно, только чего не вышла ба. Ну, и Мохначъ меня постращалъ малость. „Я, гритъ, подъ землей на три аршина вижу; наглядѣлся, гритъ, я на этихъ самыхъ людей... Мечется, гритъ, народъ по землѣ: все стаями, все стаями. А койъ, гритъ, отъ стаи отбился, тутъ ты за нимъ и поглядывай, тутъ его и остерегись: украдетъ, либа што... Я, гритъ, ужъ вижу!..“ Увидаль! Попалъ въ точку, чортъ мохнатый!..

И Мякинъ заливался счастливымъ смѣхомъ.

— А вѣдь ты меня, чать, сразу узналъ, Дороей Игнатьичъ?

— Конечно, узналъ...

И это доставляло Мякину удовольствіе. Онъ чувствовалъ себя героемъ дня. Улыбка свѣтилась на его волосатомъ лицѣ, просвѣчивала сквозь бороду и усы, какъ утренній разсвѣтъ сквозь частую осиную поросль. О случаѣ въ Дубкахъ онъ рассказывалъ всѣмъ входящимъ мужикамъ, даже бабамъ и дѣвкамъ, рассказывалъ съ разными неожиданными для него самого подробностями.

Онъ даже *объяснялъ* Дороея. Рассказывалъ про его аэонскую жизнь, хвалилъ. Онъ не могъ иначе, какъ хвалить. Вѣдь это былъ *его* Дороей, сундучекъ котораго онъ привезъ съ Дубковъ.

— Четырнадцать лѣтъ на Аэонѣ пробылъ... Игумномъ хотѣли выбрать, да онъ не захотѣлъ,—шепталъ тайно Мякинъ Горбачеву Федору. — Это голова! Не пропадетъ! Нѣтъ! Это ужъ, братяга, я тебѣ вѣрно говорю. Главное,—сразу видать человѣка!..

Въ саду собралось много народу: мужики, парни, дѣвки.

Пришли бывшіе товарищи Дороеея: Иванъ Крылокъ, Вавила Моргуновъ, Петруха Катюшинъ, Никудышный Савка. Пришла баба съ ребенкомъ на рукахъ. Ребенокъ плакалъ крикливо и болѣзненно. Ее отгоняли.

— Уйди ты, баба! Всѣмъ досаждаешь!

Но она не уходила. Только повернулась къ народу спиной и долго размашисто качалась всѣмъ тѣломъ, укачивала ребенка, пока онъ не затихъ.

Пили чай только родные и гости. Остальные стояли такъ, изъ любопытства. Подъ тѣнью яблони мѣста всѣмъ не хватало. Сидѣли и стояли на солнцѣ по садовой дорожкѣ, залѣзали въ кусты малинника. Лѣзли черезъ плетень мальчишки. Филиппъ бѣгалъ за ними, выгонялъ изъ сада, бранился, кричалъ и грозилъ большимъ, корявымъ кулакомъ.

Шушукались молодыя бабы и дѣвки съ Ульяной, тихо смѣялись. И это смущало Дороеея. Лукерья сидѣла за самоваромъ, молча разливала чай и сама пила много, сосредоточенно и старательно. Вытирала рукой выступавшій на губахъ свѣтлыми росинками потъ, прислушивалась къ разговорамъ и по своему, по-женски, оцѣнивала ихъ. Всѣмъ подливали въ чай регальнаго масла. Было горько, захватывало дыханіе, но пили, потому что оно было съ Авона.

Дороеевъ отецъ Игнатій угощалъ гостей, но будто и задбывалъ мужиковъ, какъ бы даже съ униженіемъ какимъ, точно на сходкѣ, когда просилъ о чемъ-нибудь міръ. Недоумѣвалъ и сердился самъ на себя за то, что потерялъ прежнее, спокойно увѣренное и слегка пренебрежительное отношеніе къ мужикамъ. Точно Дороеей провинился въ чемъ-то передъ міромъ и отецъ хотѣлъ расположить всѣхъ, заранѣе улестить, чтобы не взыскали.

Спрашивать слушатели не умѣли, оттого Дороеею было трудно и смущенно. Съ чего начать, о чемъ рассказывать?

Помогъ разговору Давыдъ Яминъ. Былъ онъ мужикъ бездомный, пьяница, хожалый, восторженный и умный. Пришелъ, зашумѣлъ, сѣлъ сразу за столъ, обрадовался поднесенному стакану водки.

— Эхъ, голова! Вѣдь давно не видались. Парнишкой ты ушелъ. А теперь гляди—какой сталъ... Ну, со свиданьемъ!

Поцѣловался съ Дороеемъ, выпилъ и прослезился отъ праздничнаго настроенія.

По тѣсной кучѣ мужиковъ и бабъ, по бородамъ, носамъ, картузамъ и платкамъ двигались свѣтлозеленныя солнечныя пятна. Вкусно пахло пирогомъ, малиной и регальнымъ масломъ. Въ красной кофточкѣ и оранжевомъ платкѣ раздражающе-яркимъ пятномъ сидѣла за самоваромъ Лукерья. Тишина и тепло подъ тѣнью яблони, три дня предстоящаго

праздника, выпивки и угощенья,—все это было радостно. Давыдъ почувствовалъ даже благодарность къ Дороеву.

— Спасибо тебѣ, Дороевъ Игнатьичъ, что пришелъ. Вотъ удружилъ. Хахъ, голова!.. А мы тутъ сидимъ въ Костычевкѣ, какъ бараны въ ямѣ...

Но чувствовалось, что костычевская яма Давыду не неприятна и про барановъ онъ заговорилъ для начала рѣчи чтобы выйдя оттѣнить другихъ людей, инныя страны.

— Ты, чай, много повидалъ вольнаго свѣту? А?

Желая сдѣлать удовольствіе отъ разговора полнымъ, Давидъ широко разложилъ по столу локти, точно очищалъ пространство для полета своей фантазіи въ дальнія страны, гдѣ жилъ Дороевъ.

Дороевъ рассказывалъ про каменный шпиль аеонской горы. А вокругъ этого шпиля даже въ самый ясный день облачко стоитъ. Отъ теплаго воспаренья моря и отъ холода каменнаго шпиля происходитъ это облако. Рассказалъ, какая на Аеонѣ зима, лѣто, какія деревья. Про монастыри и монаховъ. Что ѣдятъ, какъ живутъ монахи въ ихнемъ монастырѣ. Одинъ монахъ все дьяволовъ рисовалъ. Во всѣхъ видахъ: жабой, звѣремъ, женщиной, летучей мышью, монахомъ. „Во всякомъ, говорить, образѣ есть что-нибудь отъ дьявола“... Другой пять лѣтъ у себя въ кельѣ церковь строилъ изъ спичечныхъ коробочекъ. Колокола и купола вербочные. Ну, только немного не достроилъ, померъ. Позвалъ онъ передъ смертью своихъ товарищей-монаховъ, rozdalъ имъ свои вещи и говоритъ: „Вотъ умру скоро. А церковь достройте изъ коробочекъ. Да только пустыя коробки кладите, безъ спичекъ“. Легъ на койку, плюнулъ себѣ на ладонь и показываетъ: „Глядите, говорить, помираю“. Два раза икнулъ и померъ.

Слушали Дороева съ напряженіемъ. Бородатые рты раскрыты. Лица радостно-изумленные. Давыдъ умилился, многозначительно поднялъ вверхъ отмороженный въ пьяномъ видѣ, неразгибающійся палецъ и сказалъ:

— Достраивайте, говорить, церковь-та? Такъ и сказалъ „достраивайте“?

— Такъ и сказалъ, — недоумѣвая, подтвердилъ Дороевъ. Давыдъ вдохновился.

— А вѣдь, это онъ тебѣ, голова, пророчество... Вродѣ бы завѣщаніе сдѣлалъ,—церковь-та достроить?

— Нѣтъ, это такъ, пустой разговоръ,—раздраженно отвѣтилъ Дороевъ.

Лицо Давыда стало строгимъ. И съ видимой непослѣдовательностью, но во внутренней связи смутныхъ и давнишнихъ мыслей, онъ сказалъ, обличая невидимаго:

— А у насъ тутъ нацотъ Бога пошло разсужденіе. Говорятъ: „А гдѣ онъ Богъ-атъ?“ Сукины дѣти! Всякая тля, можно сказать, а тоже вникаетъ. „Гдѣ, говорятъ, они, святые-та!“ Да вотъ они гдѣ святые! Слушайте!..

Давыдъ строго оглядѣлъ толпу мужиковъ и бабъ, точно высматривалъ, нѣтъ ли и здѣсь сомнѣвающихся? Раздались успокоительные возгласы:

— Ну, знамо дѣло!

— Еще бы!

— Это тебѣ не Костычевка!

Ободренный Давыдъ со слезами на глазахъ билъ себя въ грудь, поднималъ кверху руки. И самъ радостно удивлялся, что все это у него выходитъ такъ убѣдительно и складно. Оттого еще больше умилился, кричалъ:

— Погрязли мы, другъ, во грѣхахъ! Дороеей Игнатъичъ. Всѣ мы здѣсь въ тинѣ, какъ говорится, грѣховной валяемся. Какъ свиньи! Раздоры, споры. Вотъ теперь изъ-за земли... И что такое выходитъ, Господь нашъ, Кормилецъ! Какъ насъ земля-матушка носить? Кабы вотъ такихъ молитвенниковъ не было, можетъ, мы ужъ давно ба въ тартарары провалились.

И какъ бы въ доказательство своей грѣховности съ восторгомъ предложилъ:

— Выпьемъ, голова, со свиданьемъ! Угощай, Игнатій, радость тебѣ Богъ послалъ!

Хотѣлъ Дороеей похулить Аѳонъ и монаховъ, а вышла хвала, какъ бы даже прославленіе. И кипарисы, и било вмѣсто колокола, и каменистая почва, и виноградники, и ядовитый вѣтеръ опой, и даже ослы, на которыхъ возятъ камни и ѣздятъ монахи, — все обыкновенное на Аѳонѣ, житейски простое, обыденное, здѣсь представилось сказочнымъ, святымъ, недостижимымъ, почти небеснымъ.

Дороеей чувствовалъ это смутно и тревожно. Сначала ему казалось, что виноватъ тутъ восторженный, плутоватый Давыдъ, что это онъ своими восклицаніями завелъ Дороею не туда, куда слѣдуетъ. И съ упорствомъ и раздраженіемъ старался высказать свое, то, чѣмъ онъ долго страдалъ.

— Не такъ ты, дядя Давыдъ. Вотъ ты говоришь—молитвенники, святые. А по-моему не нужно все это и заблужденіе... Вѣдь ты самъ не пойдешь въ монахи?

Давыдъ почти легъ грудью на столъ, протянулся весь къ Дороею, такъ что локти его острымъ изломомъ поднялись выше спины, какъ ноги саранчи, и голосомъ убѣждающимъ, скорбно-придушеннымъ, мокая бороду въ чашкѣ чаю, воскликнулъ:

— Дакъ грѣшенъ я! Другъ! Дороеей Игнатъичъ! Пьяни-

ца, вѣдь, я! Старики, такъ ли я говорю? Грѣшентъ, вѣдь? Пьяница?!

Давыдъ готовъ заплакать счастливыми слезами всенароднаго раскаянія.

— Ну, и тамъ такіе же люди живутъ. Еще хуже...

Дороей рассказывалъ, какъ ссорятся, пьянствуютъ, развратничаютъ монахи. И по бородатымъ, загорѣлымъ лицамъ поползло недоумѣніе. Точно легкимъ вѣтромъ утренній паръ надъ водой, сдуло очарованіе таинственнаго, святого. Лица стали здѣшними, костычевскими, скрытно-лукавыми. Какъ бы даже обрадовались тому, что монахи такіе же грѣшники, а, можетъ быть, и хуже костычевскихъ мужиковъ. Выкрикивали съ раздраженной радостью.

— Ну, вотъ! А мы-та думали!..

— Вотъ спасибо тебѣ, Дороей Игнатьичъ!—насмѣшливо кричитъ Иванъ Крылокъ.—А то бабы насъ заѣли. „Вы, говорятъ, пьяницы, вы лѣнтяи, такіе-сякіе“. А мы-та что! Мужики, какъ мужики—вывернулся онъ на стороны локтями и колѣнами, какъ бы показываясь всѣмъ:—Даже очень хорошіе мужики...—Ну, что скажешь?—подступалъ онъ насмѣшливо-грозно къ бабѣ съ ребенкомъ. — Ну-ка укуси! Коли звытые выпиваютъ, такъ мнѣ-та, несвятому, ради праздничка Господня ужъ и не выпить? А? Говори! Гдѣ мужъ-та? Загрызла мужа-та, въ погребъ посадила на праздники!..

Баба плотнѣе обхватила руками ребенка, окинула мужика презрительнымъ взглядомъ.

— Обрадовались! Въ примѣръ себѣ ухватили,—какъ пьянствуютъ! На это вы ловкачи! А какъ молятся, да добрыя дѣла творятъ,—тамъ нѣту васъ, продовъ! У-у-у!

Ребенокъ проснулся отъ крика матери, заплакалъ. Укачивая его, баба повернулась и пошла прочь.

— Не понравилось!

— Хе, накололась, небось!

— Ай да Крылокъ!..

Смѣхъ, шутки. Уходя, баба обернулась и еще разъ издали закричала, почти заплакала:

— Живоглоты, проклятые! Кровь-та пьетъ нашу женскую!

Раньше разговоръ казался глубокимъ, безконечнымъ, интереснымъ, какъ сказка. Теперь сталъ грубымъ, понятнымъ и сразу кончился. Бабы откачнулись, вышли изъ плотнаго кружка, завздохали, заговорили о своихъ дѣлахъ. Нѣкоторые поднялись уходить. Игнатій какъ бы сконфузился, удерживалъ гостей, угощалъ.

— Посиди-ите! Кумъ Петруха, свать Илья! Чай,—праздникъ! Куда торопитесь. Ужъ разъ-та въ годъ и намъ можно!..

Давыдъ неожиданно запѣлъ богородичный тропарь: „За-

ступница усердная, Мати Господа вышняго“. Пѣлъ онъ голосомъ заблудившагося барана, широко разѣвалъ бородатый ротъ, моргалъ заслезившимися глазами, покраснѣлъ отъ натуги одиночнаго пѣнія. Всѣмъ стало конфузно, никто не подтянулъ, только Ульяна присоединилась тихимъ и трогательнымъ голосомъ. Давыдъ покосился на нее благодарнымъ глазомъ, приободрился, и они вмѣстѣ допѣли тропарь въ знойной тишинѣ разогрѣтаго солнцемъ сада.

Уходили и приходили. Народъ толпился почти до самаго вечера. Спорили и спрашивали Дорооея. И чѣмъ больше спрашивали и спорили, тѣмъ меньше понимали Дорооея и его поступокъ. Даже недовольство наростало вокругъ него. Точно Костычевка посылала его зачѣмъ-то въ далекую страну, на сказочный Аеонъ. А онъ вернулся съ пустыми руками. Говорить,—ничего не принесъ, даже будто бы самой этой далекой и сказочной страны нѣтъ совсѣмъ и никогда не было.

Уходя отъ Кистановыхъ, Кузьма Мякинъ задумчиво говорилъ своему спутнику, Трофиму Радаеву:

— Шутъ его знаетъ. Чего-та мудренъ больно!..

Восторженность Кузьмы пропала. Заложивъ руки корявымъ узломъ на широкую поясницу, онъ шелъ нагнувшись, противъ солнца. Страхивалъ головою на глаза картузь и легонько приподнималъ его правой бровью со стороны Трофима.

— Да ужъ будешь мудренъ,—многозначительно и раздраженно отвѣчалъ Трофимъ.—Выкручиваться-та нада какъ-нибудь?!

Мякинъ молчалъ.

— Выкручиваться-та нада, говорю, ай нѣтъ?!—строго закричалъ на него снова Трофимъ.

— Да, вѣдь, извѣстно ужъ, какъ сказать... До кого ни доведись.

— Ну такъ чего-жа тутъ,—мудренъ, мудренъ!

Пошли по улицѣ. Мякинъ широкій, волосатый, русый, но выгорѣвшій на солнцѣ до желтаго цвѣта. Трофимъ маленький, сдавленный съ боковъ, сухой и черный, какъ жукъ. Оба сдѣлали видъ, что поняли другъ друга, понимаютъ и знаютъ гораздо больше того, что сказали. Не хотѣлось имъ много думать о чужомъ и непонятномъ. Слышали на селѣ пьяныя пѣсни и сами слегка покачивались, какъ будто тоже немного выпили и спьянились. Не притворялись, а было имъ пріятно идти, покачиваясь на широко разставленныхъ ногахъ. Отъ этого слегка кружилась голова, легче было идти. Грѣло солнце, влолъ улицы тянуло теплымъ вѣтромъ, ласкало лицо, шею, руки.

X.

Къ вечеру село развеселилось. По улицамъ и по надъ рѣчкой собирались дѣвки, парни. Ходили по селу подвыпившіе мужики и бабы съ молодоженами, ходили отъ родни къ роднѣ, останавливались на улицѣ, плясали. Слышались пѣсни и текучіе звуки гармоникъ. Но все веселье села нарушилъ случай странный и потому особенно жуткій. Утонулъ Иванъ Крылокъ.

Такъ, какъ утонулъ Крылокъ, не тонуть никогда не только люди, даже животныя. Утонулъ онъ на мелкомъ мѣстѣ, при сліяніи Мочежины съ Кривымъ Озеромъ.

Степь накатилась на волжскую поему высокимъ валомъ и упала въ Кривое Озеро крутымъ срѣзомъ глинистаго берега. А за Кривымъ Озеромъ—луга и поемный лѣсъ до самой Волги,

Въ Кривое Озеро, разсѣкая Костычевку надвое, впадаетъ рѣчка Мочежина. Только названіе одно—рѣчка. Весной она бурлитъ, пѣнится, шумитъ, какъ пьяный мужикъ на свадьбѣ. А лѣтомъ и нѣтъ ничего: пересохнетъ сармами, заростетъ по перекатамъ конскимъ щавелемъ, лопушникомъ, да осокой—вотъ и вся рѣчка.

При впаденіи Мочежины въ Кривое Озеро—широкая мель. Крылокъ пришелъ сюда подъ вечеръ купаться и утонулъ. На высокомъ берегу сидѣли дѣвки, молодыя бабы. Стоя въ водѣ, Крылокъ кричалъ имъ что-то о монахахъ и монашкахъ, Дорошеевы разговоры вспоминалъ, смѣшилъ. Не все было хорошо разслышано, да и мало ли, что наболтаетъ дѣвкамъ молодой подвыпившій мужикъ: всего не переслушаешь. Всѣ Крылковы слова припомнили потомъ, неразслышанное въ воспоминаніяхъ разслышали, *умомъ* разслышали, искали жуткаго смысла словъ предсмертныхъ. Ибо послѣднія-то слова человѣка всегда и долго живутъ особой, странной жизнью, приобрѣтаютъ смыслъ, отличный отъ своего повседневнаго, привычнаго смысла.

— Глядите, говоритъ, дѣвки: мырну здѣсь, а гдѣ вымырну? Я, говоритъ, не какъ Дорошка Кистановъ: гдѣ мырнулъ, тамъ и вымырнулъ. Я, говоритъ, подальше умырну.

Что-то про Аeonъ говорилъ. Зажалъ пальцами носъ и опустился въ воду. Дѣвки отвернулись и забыли объ Иванѣ. И, можетъ быть, только минутъ черезъ десять Дуня Радаева оглянулась на озеро и потревожила всѣхъ:

— А Крылка-та, дѣвоньки, нѣту!

— Вылѣзъ, чай, ушелъ.

— Да вѣдь сейчасъ кричалъ,

Дѣвки покричали мужиковъ изъ сосѣдней избы. Они сначала даже идти не хотѣли, не вѣрили. Полѣзли въ воду, а Крылокъ, гдѣ нырнулъ, тамъ и сидитъ подъ водой на днѣ, мертвый.

Село всполошилось; испугалось все сразу. Испугалось, еще въ точности не зная, что именно случилось. Бѣгутъ по улицамъ люди, всѣ въ одну сторону, значить, случилось несчастье.

Вмѣстѣ съ другими торопливо пошелъ къ Кривому Озеру и Дороеей. Мальчишки, парни, дѣвки бѣжали. Пожилые мужики шли той сдержанно-торопливой походкой, въ которой чувствуется затаенная рысь. Лифанъ тоже выбѣжалъ на улицу, но передъ домомъ и закашлялся. Махнулъ, въ отвѣтъ на приглашеніе Дороеея, рукой и присѣлъ на лавочку. Самъ Лифанъ сидѣлъ, но кашель его торопливо бѣжалъ вмѣстѣ со всѣми, испуганный, задыхающійся, хлюпающій.

Обогналъ Дороеея братъ Филиппъ. Онъ выбѣжалъ откуда-то съ задняго двора и, похрюкивая и повизгивая, какъ поросенокъ въ ненастье, бѣжалъ по улицѣ во всю прыть. Пробѣгая мимо Дороеея, онъ весело, какъ бы даже радостно закричалъ:

— Айда, братка! Утонулъ кто-та!

И понесся дальше, разсѣкая лѣвымъ плечомъ воздухъ. Улица налита розовымъ закатнымъ свѣтомъ. Филиппъ бѣжалъ передъ Дороееємъ прямо на солнце, трепался въ солнечномъ сіяньи темнымъ, тающимъ пятномъ.

Выбѣжалъ изъ калитки Семистѣнновъ Вавила съ мѣсилкой и ведромъ въ рукѣ. Сообразилъ, въ чемъ дѣло, прилипъ къ окну своей избы, что-то крикнулъ въ окошко, бросилъ ведро и мѣсилку на улицѣ и побѣжалъ вмѣстѣ съ другими, подпоясываясь на бѣгу веревочкой.

Дороеей зналъ этотъ общественный страхъ съ дѣтства. Пожаръ, убили кого, умеръ кто-нибудь одночасьемъ, сдохла корова, завалилась лошадь. Кто-то большой и всесильный распоряжается судьбой костычевскихъ людей, коровъ, лошадей, наноситъ грады и метели, посылаетъ пожары, моры и язвы. Сегодня покаралъ одного, завтра — другого. Живутъ костычевцы въ Костычевкѣ, какъ цыплята въ корзинкѣ: придетъ поваръ, спокойно засунетъ руку въ корзинку, поймаетъ одного, двоихъ, — сколько нужно, — свернетъ головы, а остальнымъ посылетъ пшена, нальетъ въ ящикъ водицы. И долго жутко цыкаютъ потревоженные, испуганные цыплята.

Уже около озера Дороеея обогнали на лошади староста съ писаремъ. У писаря красная борода, подъ мышкой большая книга. Староста стоитъ въ тарантасѣ, оперся кучеру на

плечи, показываетъ рукой, гдѣ остановиться, а самъ уже спрыгиваетъ на землю. Онъ безъ шапки и лысина его свѣтится на солнцѣ. Дойти пѣшкомъ было бы скорѣе, но при утопленникѣ староста долженъ исполнить много важныхъ и для начальства необходимыхъ формальностей. Первая изъ нихъ—нужно ѣхать, а не пѣшкомъ идти, и ѣхать на ямской лошади. Ёхать надо съ писаремъ, а у писаря должна непременно быть книга и перо съ чернильницей, у самого же старосты—мѣдный знакъ на груди... И староста долго дождался, пока ямщикъ запрягалъ лошадь, пока пришелъ писарь, хотя ему было жутко, интересно и подмывало бѣжать вмѣстѣ со всѣми.

Спрыгнувъ съ тарантаса, староста закричалъ:

— Расходись! Чать не свадьба! Расходись!

Его никто не послушался, да староста и самъ зналъ, что люди не разойдутся. Онъ только исполнялъ формальности. Протискался въ средину толпы, гдѣ нѣсколько мужиковъ подбрасывали и трясали большое нагое тѣло Ивана Крылка. Ухватился за уголь дерюги и, преодолевая холодную дрожь жуткаго чувства, ободряюще закричалъ:

— Дружнѣй, ребяташки! Ну, дружнѣе!

Подбросивъ раза три, онъ отстранился для исполненія другихъ, болѣе важныхъ обязанностей. Заоралъ на плотно сдвинувшуюся вокругъ мертваго тѣла толпу мужиковъ и бабъ:

— Отъ вѣтру не застыте! Отъ вѣтру отойдите, черти!

Это приказаніе было разумнымъ, и толпа гостовно распахнулась двумя стѣнками со стороны вѣтра.

Когда прихало начальство на ямской лошади, съ книгой, чернильницей и мѣдной бляхой, стало всѣмъ какъ бы спокойнѣе. Вѣрилось, что Крылокъ оживетъ. Уткнувъ въ грудь красную плотную бороду, съ книгой подъ мышкой, писарь стоялъ и смотрѣлъ, какъ качаютъ трупъ. Былъ онъ пьянъ но теперь почти отрезвѣлъ и съ жуткимъ удивленіемъ припоминалъ, какъ два часа тому назадъ, они съ Крылкомъ были въ гостяхъ у Данилы Тутушкина, Крылкова свояка. Иванъ пилъ водку, былъ веселъ, рассказывалъ про Дороева. И не вѣрилось писарю, чтобы Крылокъ умеръ. Просто пьянъ Крылокъ.

— Отойте-отъ,—увѣренно и радостно сказалъ писарь; передалъ въ толпу свою книгу и, раскорячившись, ухватился за край дерюги.

— Тряси веселѣй! Очне-отся!

Курчавая голова Ивана крутилась на плотной мускулистой шеѣ. Лице сине-землистое. Изъ полуоткрытаго рта по щекѣ струйкой текла кровяно-мутная жидкость. А тѣло

мягко и безвольно перекашивалось на широкой дерюгѣ и сами собой подкладывались подъ бока длинныя руки.

Всѣ жадно и съ ожиданіемъ смотрѣли на голое, красивое, совсѣмъ еще живое тѣло. Налѣзали другъ на друга, становились на цыпочки, задніе опирались переднимъ на плечи, вытягивали кверху напряженныя лица съ открытыми ртами, точно пьющія куры.

Сбѣгался народъ. Больше—молодежь. Старикамъ тоже интересно, но боятся идти. Еще попадешь въ свидѣтели,—мало-ли что случится!

Въ цвѣтной кучѣ дѣвокъ и бабъ стояла и плакала Крылова жена. Баба некрасивая, худая, высокая и большеротая. Что ротъ у ней огромный—особенно замѣтно теперь, потому что она реветъ животнымъ ревомъ: стоитъ, открыла ротъ и реветъ; и черная дыра рта виднѣется издали въ полѣ лица. Около нея двое дѣтей: дѣвочка лѣтъ десяти и пятилѣтній мальчикъ. Держатся матери за юбку, нервно топчутся на колючемъ, выгорѣвшемъ подорожникѣ, тоже режутъ. Кричать протяжно, нестройно, какъ телята на пожарѣ. Они ужъ не подходятъ близко къ мертвому тѣлу: видѣли, зачерпнули въ душу ужасовъ и режутъ. Недалеко отъ нихъ кучкой лежитъ одежда покойнаго. Даже заштопанные портки и дѣтская, веселымъ желтымъ горошкомъ по красному полю, рубашка Ивана Крылка стали значительными. Всѣ обходятъ эту кучку одежды со страхомъ, точно подъ ней притаилось что-то живое и опасное.

Дороей слыхалъ, какъ приводятъ въ чувство утопленниковъ. Плохо зналъ, какъ именно это дѣлается, но вѣдь спросить было не у кого. Принесли скамейку. Староста обрадовался Дороею.

— Вотъ, спасибо тебѣ, Дороей Игнатьичъ. Ужъ постарайся! Самъ знаешь: мужицкое дѣло: лѣто, рабочая пора. А тутъ начальство, то да сѣ... Бѣда!

И какъ бы вспомнивъ, что и самъ по себѣ Иванъ Крылокъ кому-то надобенъ, добавилъ:

— И жена-та убивается, сердяга. Ахъ, бѣда какая!

Чувства начальственной отвѣтственности и жалости боролись въ немъ. По человѣчеству онъ жалѣлъ Ивана Крылка и его семью, но, какъ староста, былъ очень недоволенъ имъ: Крылокъ произвелъ непорядокъ, утонулъ не во время, къ тому же такъ невѣроятно и глупо: на мелкомъ мѣстѣ. Даже не повѣрять.

— Думалъ ли?—сказалъ онъ про Ивана, качая жалостливо головой. И тотчасъ же вспомнилъ о томъ, что къ мертвому тѣлу надо поставить караулъ, ожидать начальниковъ,

ублажать ихъ, чтобы не придрались, не затынули... И раздражался. Въ видѣ назиданія, онъ сердито кричалъ въ толпу, ни къ кому особенно не обращаясь:

— Налакаются этого винища, зальютъ зѣнки-та, да и лѣзутъ, куда попало!.. А міру безпокойство!

Дороеей долго возился около Крылка. Поднималъ, закидывалъ за голову и опускалъ ему руки, вызывая дыханіе. Гибкое и еще теплое тѣло вытягивалось на лавкѣ, покачивалось, точно живое. Но лицо было землистое. И мертвая синевя подбородка просвѣчивала сквозь золотисто-рыжіе завитки веселой курчавой бородки.

Всѣ заинтересовались, что дѣлаетъ Дороеей. Писарь опять стоялъ около, разставилъ ноги и, уперевъ бороду въ грудь, увѣренно говорилъ:

— Очне-о-отся!..

Но было ясно, что Крылокъ померъ и не очнется. Вспотѣвшій и усталый Дороеей положилъ на грудь трупа мертвые руки. Онѣ соскользнули внизъ, свѣсились и раскинулись по обѣ стороны крестомъ, вывернувъ кверху костенющія плечи.

— Померъ,—сказалъ Дороеей, вытирая тыльной стороной руки со лба потъ.

Но именно потому, что Дороеей сказалъ то, что всѣ уже чувствовали и въ глубинѣ души признавали, именно поэтому староста разсердился и, какъ бы отстраняя Дороею, закричалъ мужикамъ:

— Ну-ка, давай, робята, качай еще! Чего тутъ выдумки разные. „Дыха-анія!“—передразнили онъ Дороею.—Какая у него дыханія, коли онъ теперь полонъ водой.

Снова качали, подбрасывали тѣло. Оно становилось уже не такимъ гибкимъ, какъ раньше. Холодѣло. Наконецъ, перестали, и, все еще не вѣря, что сдѣлать ничего нельзя, точно разспрашивая другъ друга, смущенно говорили:

— Померъ, должно?

— Знамо дѣло. Мертваго не воскресишь!..

Подвыпившій молодой парень въ красной рубахѣ съ вышитымъ воротомъ подошелъ къ трупу, подержалъ за руку и радостно закричалъ:

— Бьется! Жила бьется!

Староста ударилъ его по лицу и закричалъ:

— Я тебѣ, сукинъ сынъ, покажу, гдѣ бьется жила! Я тебѣ!..

Парень ходилъ въ толпѣ, плакалъ и упрямо твердилъ,

— Ударить-та всякій дуракъ можетъ... И я могу ударить. Даже и очень просто! А только мнѣ Крылка жалко. Бьется жила, я самъ слышалъ.

Порѣдѣлъ около трупа народъ. Пришли стада. Бабы разбѣжались по домамъ. Опустивъ нижнюю губу и закрывъ глаза, дремали въ оглобляхъ старый ямской меринъ. Подрагивалъ въ разныхъ мѣстахъ тѣла кожей, сгоняя мухъ. Все еще ревѣла пугливымъ голосомъ Иванова жена, ревѣла однообразно и безъ причитаній. И видно было, что минутами она совсѣмъ забывала, о чемъ плачетъ. Думала о томъ, что пора доить корову и не успѣла накормить на ночь куръ: навѣрное, полегли голодные. Думая о хозяйствѣ, чувствовала только, что въ душѣ тяжестью лежитъ отчаяніе и въ этомъ отчаяніи причина ея плача.

Староста ходилъ по берегу, бранилъ парня, который сказалъ, что у Крылка бьется жила; смутно чувствовалъ въ этомъ для себя какую-то опасность. Ругался, что мужики расходятся и онъ остается одинъ.

Наконецъ, какъ бы окончательно убѣдившись, что Крылокъ померъ, онъ распорядился положить трупъ въ ямщицкій тарантасъ и везти на кладбище въ ледникъ. Жена Крылка съ воемъ бросилась къ трупу мужа. Староста отстранялъ ее.

— Ну, довольно, довольно! Не вернешь слезами-та. Гляди, дѣти надрываются.

Пока Крылокъ былъ живъ, какое начальство имъ не интересовалось. Теперь же, когда онъ сталъ трупомъ, для него нужны понятые, свидѣтели, бумага за подписью; придетъ начальство: урядникъ, становой, докторъ. Имъ совсѣмъ не жалко ни утонувшаго, ни его семьи, ни потревоженнаго села, а требуется, чтобы около трупа былъ извѣстный порядокъ. Отъ этого трупъ Ивана Крылка какъ будто становился казенной вещью, за несохранность которой можно отвѣтить.

Отъ всѣхъ этихъ смутныхъ и тревожныхъ чувствъ староста былъ строгъ и прогонялъ отъ трупа даже жену и дѣтей Ивана.

— Домой иди, домой! Дѣтей-та веди! Вотъ хоронить будутъ—попрощаешься, наплачешься.

— Еще наплачешься!—кричалъ онъ ей даже издалика, шагая за тарантасомъ, точно въ этомъ общаніи для вдовы заключалось что-то очень утѣшительное.

С. Кондурушкинъ.

(Продолженіе слѣдуетъ.)

Въ поиски за древними христіанами.

I.

Не такъ давно судьба закинула меня въ городъ Чарджуй и устроила мнѣ тамъ любопытную встрѣчу.

Чарджуй раскинулся въ предѣлахъ Бухары на лѣвомъ берегу древняго Оксуса (Аму-Дарьи). Часть Чарджуя, расположившаяся въ углу между полотномъ желѣзной дороги и величественной рѣкой, носитъ названіе Уральской слободки, или въ просторѣчьи „Уралки“. Названіе это произошло отъ того, что первыми обитателями этого поселенія были уральскіе казаки, такъ называемые „уходцы“, переселившіеся лѣтъ двадцать тому назадъ изъ Аму-Дарьинскаго отдѣла Сыръ-Дарьинской области, куда они были посланы ¹⁾ въ административномъ порядкѣ въ 1874—1875 годахъ за недачу подписки на введеніе новаго положенія о воинской повинности войска. Впослѣдствіи въ Уральской слободкѣ стали селиться и разночинцы: мѣщане, желѣзнодорожные рабочіе, мелкіе торговцы въ скоромъ времени они превзошли числомъ казаковъ. Съ появленіемъ новыхъ насельниковъ строгій обликъ Уральской слободки сильно измѣнился: веселыя пѣсни и разухабистые звуки гармоники и балалайки замѣнили царившую прежде тишину, дѣвushки и парни гурьбами заходили по улицамъ, появились табашники, рѣкой полилась водка.

Такая же приблизительно метаморфоза произошла съ теченіемъ времени и въ другихъ поселеніяхъ уральскихъ казаковъ Туркестанскаго края: въ городахъ Казалинскѣ, или по-просту въ Казалѣ, Перовскѣ, Петро-Александровскѣ и Аулія-ата.

Все это, конечно, не можетъ нравиться уральцамъ-старообрядцамъ: опасаются они за нравственность своей молодежи, за крѣпость дѣдовскихъ устоевъ. Поэтому не разъ въ головѣ пожилыхъ уральцевъ мелькала мысль о томъ, нельзя ли найти такое укромное мѣсто, которое было бы далеко отъ мірскихъ соблазновъ. На

¹⁾ Подробности, касающіяся ссылки уральцевъ, можно найти въ статьяхъ В. Г. Короленко „У казаковъ“ и Сандера „Уходцы“, помѣщенныхъ на страницахъ „Русскаго Богатства“ въ прошлые годы.

эту же мысль наталкиваетъ уходцевъ и ихъ совершенно неопредѣленное до сихъ поръ правовое положеніе. И, быть можетъ, въ Чарджуѣ эта мысль назойливѣе всего даетъ о себѣ знатъ: здѣсь несутъ свои мутныя волны изъ манящей дали Аму-Дарья, въ верховьяхъ ея тянутся неизслѣдованные хребты и долины Памира и Гиндукуша, въ томъ же направленіи находятся таинственныя страны Афганистана и Индіи, вокругъ Аму-Дарьи витають туземныя воспоминанія и легенды о великомъ завоевателѣ Александрѣ Македонскомъ и объ его воннахъ.

II.

1-го апрѣля 1912 года служба загнала меня въ Чарджуй, а 2-го апрѣля вечеромъ извозчикъ уже ввозилъ меня въ главную улицу Уральской слободки. Туда меня влекло мое казачье происхожденіе. Хотѣлось посмотрѣть, какъ живутъ на чужбинѣ ссыльные уральцы, каковы ихъ чаянія и мысли.

По бокамъ широкой улицы тянулись низенькіе, съ маленькими окошечками домики изъ легкаго кирпича. Во дворахъ видѣлись скудныя древесныя насажденія. Казалось, что постройки эти возведены не для постоянного жилья, а на время, и ихъ обитатели готовы во всякій моментъ подняться и уйти. Дневныя работы въ это время были уже кончены, а южная темнота быстро вступала въ свои права. Люди сидѣли на заваленкахъ и крылечкахъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ весело брэнчала балалайка или мелодично звенѣли струны гитары. Но возлѣ нѣкоторыхъ домовъ царилъ тишина. Большею частью около такихъ домовъ были навѣсы, подъ которыми сидѣли люди, а насупротивъ навѣсовъ, на улицѣ лежали каюки и байдары. Это были лодочныя мастерскія, а люди, сидѣвшіе подлѣ нихъ,—уральцы.

Вблизи одного навѣса, около котораго вырисовывался остовъ особенно большаго каюка, я остановилъ извозчика и, выйдя изъ экипажа, подошелъ къ сидѣвшимъ людямъ. Хозяиномъ дома оказался Антонъ Анофріевичъ П—нъ—коренастый казакъ съ богатырской грудью, рябоватымъ широкимъ лицомъ и небольшою окладистой черной бородой съ просѣдью, съ сумрачно-серьезнымъ взоромъ черныхъ глазъ, въ помятой фуражкѣ съ малиновымъ околышемъ. На первый взглядъ онъ былъ угрюмъ и непривѣтливъ. Около него сидѣли два молодыхъ казака и двѣ женщины: старушка въ ношѣбномъ уральскомъ сарафанѣ съ позументами и сравнительно молодая женщина въ какомъ-то смѣшанномъ костюмѣ. По началу эта компанія приняла меня недовѣрчиво, и разговоръ нашъ не клеился.

Постепенно однако подлѣ навѣса стали входить другія любопытствующія личности, и между прочимъ подошелъ, мягко ступая по землѣ валеными сапогами, симпатичный, живой старичокъ—

Иванъ Ивановичъ П—въ. Привѣтливый, добродушный, онъ скоро завязалъ со мной разговоръ, узналъ болѣе или менѣе, кто я и зачѣмъ пожаловалъ. Иванъ Ивановичъ оказался изъ числа тѣхъ уходцевъ, которыхъ лично принуждали къ подпискѣ и затѣмъ силою отправили въ туркестанскія степи. Однако пережитыя испытанія не погубили души этого человѣка, не забили его природнаго ума и не очерствили его сердца.

Иванъ Ивановичъ замѣтно оживился, когда разговоръ зашелъ о ссылкѣ уральцевъ. Онъ весь отдался воспоминаніямъ. Собравшаяся молодежь почтительно и съ напряженнымъ вниманіемъ слушала давно, надо думать, знакомые ей отъ отцовъ и дѣдовъ рассказы, изрѣдка поддакивая словамъ Ивана Ивановича. Чувствовалось, что прошлыя страданія стариковъ глубоко переживаются молодыми сердцами. Страданія эти спалили уходцевъ въ одно; они питаютъ ихъ души, руководятъ ихъ дѣятельностью; они, какъ пружина, даютъ имъ силу и упругость. Благодаря имъ да старой вѣрѣ, ссыльные уральцы на чужбинѣ, среди многочисленныхъ народностей и людей разнообразныхъ вѣроисповѣданій, сохранили и сохраняютъ свой первобытный русско-казачій типъ.

— Неправда,—говорилъ, между прочимъ, Иванъ Ивановичъ— что мы не хотѣли служить. Мы говорили: выберите изъ насъ сколько угодно человѣкъ и пошлите служить; пойдемъ! И въ нашей станицѣ выбирали десять человѣкъ; попалъ въ число ихъ и я. Тутъ же на площади мы произвели по командѣ все ученіе.

— Ну, ладно,—вмѣшался какой-то внушительный голосъ со стороны— скажемъ, молодые служить не хотѣли, а стариковъ семидесяти, девяноста лѣтъ за что били? Имъ кака служба? Другого начнутъ бить или поведутъ въ тюрьму, а онъ Богу душу отдастъ!

— Дай имъ, вынь да выложь подписку,—продолжалъ Иванъ Ивановичъ— что будемъ безпрекословно исполнять, что впредь касаемо...

— Вишь ты,—заговорили тутъ съ тяжелыми вздохами голоса— что впредь касаемо!.. шутка сказать!

— Вычитали намъ бумагу,—разсказывалъ Иванъ Ивановичъ,— лишаетесь вы, дескать, казачьяго званія, правъ состоянія и всего прочаго и ссылаетесь въ Туркестанскій край...—Ну, хорошо! Пригнали насъ въ Казалинскъ. А здѣсь былъ майоръ Панцыревъ, свирѣпый человѣкъ. Фамилія-то у него одна какая страшная! Сильно билъ онъ насъ, у стариковъ бороды обрѣзалъ. И били такъ насъ до тѣхъ поръ, пока не узналъ объ этомъ краеначальникъ Кауфманъ, который воспретилъ насъ истязать. Много прошло съ тѣхъ поръ времени. Сколько прошеній было нами подаво, а все не выходитъ наше дѣло!

— Начальникъ, генералъ Черняевъ, ѣхалъ въ Петербургъ. Близко было принялъ онъ наше дѣло къ своему сердцу, общалъ похлопотать. Но сдѣлать ничего не могъ. Когда назадъ изъ Петер-

бурга возвращался, сказалъ намъ: „Здѣсь я—большой человѣкъ, а въ Питерѣ я—вотъ какой маненькій“, и указалъ на половину своего мизинца. „Ничего, старики,—говорить,—не могу сдѣлать“.

— Оно конечно,—опять раздался голоса:—въ Питерѣ графья да князья; противъ нихъ что могъ Черняевъ?

— Недавно одинъ краеначальникъ сказалъ нашей депутаціи,—продолжалъ прерванный рассказъ Иванъ Ивановичъ,—сойдите вы съ точки, все для васъ сдѣлаютъ! А съ какой точки,—не говорить, и мы не знаемъ. Жаловали насъ цари рѣкой Ураломъ, землей, казачьимъ положеніемъ, крестомъ и бородою, а мы за то обѣщались служить до послѣдней капли крови и своего обѣщанія никогда не нарушали. Бери насъ государь сейчасъ всѣхъ до одного на службу, посылай на войну—всѣ пойдемъ!

— Проѣзжалъ черезъ Чарджуй генераль Куропаткинъ,—мрачно началъ говорить хозяинъ дома Антонъ Анофріевичъ:—мы къ нему.—Вы—говорить—покайтесь только, повинитесь, и васъ устроить, какъ вы захотите. Вонъ отецъ другой разъ и напрасно побѣгъ или побранить сына; сынъ вѣдь долженъ попросить у отца прощенія, и тогда отецъ все сдѣлаетъ для сына, проститъ его. Вотъ и вы попросите прощенія.—Какъ-будто вѣдь генераль-то хорошо сказалъ, а? Да намъ-то неохота просить прощенія, когда мы не виноваты.

— Да, много мы просили. Каждый годъ просимъ,—опять началъ свою рѣчь словоохотливый Иванъ Ивановичъ.—Вотъ на дняхъ проѣхалъ военный министръ. Ему опять подали прошеніе. И почему-то все не выходитъ наше дѣло. Мы теперь ужъ такъ полагаемъ, что начальство тутъ не при чемъ. Пря идетъ у насъ какъ будто промежъ собой: между старымъ войскомъ, не давшимъ подписки, и новымъ войскомъ, давшимъ подписку и оставшимся на Уралѣ. Всѣ наши прошенія, должно, отсылаются изъ Петербурга въ Уральскъ, а оттуда имъ ходу не даютъ.

— Подбивали, значитъ, насъ другимъ путемъ добиться улучшенія своего положенія. Вѣдь мы сейчасъ живемъ, какъ птицы небесныя: у насъ ни земли, ни воды. Вотъ забастовщики и говорили намъ: „Идите съ нами! все получите!“ Но мы противъ законныхъ властей не пойдемъ, и сказали имъ: „Когда насъ били да мучали, вы гдѣ были? не съ нами? ну, и мы съ вами не пойдемъ!“

Упоминаніе о забастовочномъ времени пробудило въ слушателяхъ рядъ воспоминаній. Многіе молчавшіе до сихъ поръ заговорили, стали припоминать курьезныя положенія, въ которыхъ тогда очутились нѣкоторые начальствующие лица. Бесѣда оживилась, но потеряла свой торжественно-дѣловой характеръ. Тѣмъ временемъ густая тьма ночи окутала небо и землю. Я распростился съ уральцами и отправился къ себѣ на картиру.

III.

На другой день послѣ этого разговора Иванъ Ивановичъ со своимъ внукомъ Игнатіемъ Самойловичемъ пришли ко мнѣ какъ бы съ отвѣтнымъ визитомъ. Дѣло было въ полдень. Теперь я могъ внимательно осмотрѣть ихъ фигуры. Оба они были въ широкихъ и высокихъ сапогахъ (у дѣда изъ черной, а у внука изъ желтой кожи) и въ поношенныхъ фуражкахъ съ малиновымъ околышемъ. На Иванѣ Ивановичѣ былъ надѣтъ короткій изъ сѣрой матеріи азамъ, а на крупную фигуру Игнатія Самойловича былъ накинута коричневый халатикъ, застегнутый подъ подбородкомъ на единственную пуговицу. Лицо Ивана Ивановича, обрамленное длинной посѣдѣвшей бородой, свѣтилось старческимъ довольствомъ и добродушнымъ юморомъ. Внукъ его, Игнатій Самойловичъ, человѣкъ высокаго роста, съ длинной рыжеватой бородой, въ которой пробивалось нѣсколько сѣдыхъ волосъ, и съ кроткимъ, но серьезнымъ взглядомъ. Какой-то одухотворенностью, свѣжестью и пріятностью вѣяло отъ обоихъ казаковъ.

Нѣсколько минутъ разговоръ носилъ общій характеръ. Веченіе ихъ Иванъ Ивановичъ, бывавшій въ Оренбургѣ и его окрестностяхъ, припомнилъ даже внѣшній видъ дома моего дяди — болатого казака старообрядца. Обстоятельство это еще болѣе расположило ко мнѣ недовѣрчивыхъ уходцевъ. Бесѣда стала откровеннѣе. Разговоръ коснулся, между прочимъ, необходимости священства для спасенія.

— Вѣдь мы священства не отрицаемъ: оно нужно и будетъ существовать до второго Христова пришествія; такъ сказано въ писаніи. Но для спасенія нужно священство истинное, — сказалъ Иванъ Ивановичъ.

Я указалъ на Бѣлостокскую іерархію, какъ на старообрядческую и какъ-будто сохранившую апостольскую преемственность. Въ отвѣтъ на это Иванъ Ивановичъ возразилъ, что истинность этой іерархіи сомнительна потому, что греки не погружаютъ, а обливаютъ при крещеніи. На мое замѣчаніе, что греки при крещеніи погружаютъ, Иванъ Ивановичъ сказалъ: „Нашъ Барышниковъ былъ въ Греціи и видѣлъ, что, хотя тамъ и погружаютъ при крещеніи въ воду, но только до плечъ“. На мои слова, что хорошо было бы все-таки поискать гдѣ-либо священство, Иванъ Ивановичъ, немного помявшись, сказалъ:

— Вотъ мы сюда больше для того и пришли, чтобы посоветоваться: мы рѣшили ѣхать вверхъ по Аму-Дарѣ въ горы искать древнихъ христіанъ.

Изъ дальнѣйшаго разговора выяснилось, что мысль объ этомъ путешествіи у казаковъ возникла по слѣдующимъ основаніямъ.

Лѣтъ двадцать тому назадъ казаки-уходцы выгружали какъ-то

на берегу Аму-Дарьи близъ Чарджуя изъ каюка паровикъ. Въ это время къ нимъ подошелъ съ котомкой за плечами молодой путникъ, по имени Сильвестръ, и рассказалъ, что онъ идетъ спасаться въ высокія горы со снѣговыми вершинами. Идутъ ихъ туда двѣнадцать человѣкъ, но разными дорогами: кто одинъ, а кто по-двое. Больше всего съ этимъ Сильвестромъ бесѣдовалъ, въ сторонѣ отъ другихъ, казакъ Салминъ. Но затѣмъ, при выгрузкѣ паровика, послѣдній упалъ и задавилъ Салмина, который унесъ такимъ образомъ въ могилу подробности разговора съ Сильвестромъ. Послѣ того уральцы, проживающіе въ Пенджагентѣ, сказывали, что они видѣли странника Сильвестра, какъ онъ шелъ къ снѣжнымъ горамъ.

Затѣмъ года четыре тому назадъ ѣхалъ на пароходѣ по Аму-Дарьѣ инженеръ Кастальскій, живущій постоянно въ Самаркандѣ; онъ рассказывалъ своему брату, что нѣ югѣ Туркестана есть горы „Темиръ“ (Желѣзные горы) со снѣжными вершинами; въ тѣхъ горахъ лежитъ „Ольгина долина“, а на ней—большое озеро, вокругъ котораго живутъ старообрядцы. Разговоръ этотъ подслушалъ лопманъ парохода, уралецъ, и передалъ содержаніе его своимъ.

Кромѣ того, одинъ сартъ рассказывалъ казаку Антону Анофріевичу П—у, что въ горахъ въ верховьяхъ Аму-Дарьи живутъ люди, которые молятся, какъ русскіе: прилѣпять свѣчку и поклоняются огню. Другой сартъ, присутствовавшій при этомъ разговорѣ, переспросилъ рассказчика: „Къ чему прилѣпляютъ свѣчку-то? можетъ, къ сувратѣ?“¹⁾ „Ну-да, къ сувратѣ“, подтвердилъ тотъ. Этотъ рассказъ привелъ казаковъ къ предположенію, что въ горахъ живутъ остатки древнихъ христіанъ, укрывшихся въ долинахъ Памира или Гиндукуша.

Наконецъ, изъ священныхъ книгъ казаками было усмотрѣно, что Александръ Македонскій, подвизавшійся нѣкоторое время въ Средней Азіи и переправлявшійся черезъ Оксусъ, загналъ въ горы какіе-то особенные, неизвѣстные народы подъ названіемъ „гоги и магоги“. Отсюда зародилась мысль, не скрываются ли эти самые народы до сихъ поръ въ горныхъ дебряхъ и не исповѣдываютъ ли они христіанскую вѣру.

Сверхъ того, самое имя великаго македонскаго завоевателя—христіанское, а подъ урочищемъ Термезъ, говорятъ, есть мраморная гробница Термези—супруги Александра Македонскаго. Отсюда—новыя мысли: Александръ Великій и его воины были христіане; не остались ли потомки этихъ воиновъ и самого царя Александра въ горахъ, съ которыхъ течетъ Аму-Дарья?

На мои сомнѣнія Иванъ Ивановичъ убѣжденнымъ голосомъ сказалъ:

— Священство все-таки надо искать: оно нужно. Не найдемъ, Богъ

¹⁾ „Сувратъ“—божокъ, образъ.

насъ простить: искали, употребили на это всё усилія; не нашли—не наша вина. Мы поѣдемъ.

— Конечно, если смотрѣть на эту поѣздку какъ на подвигъ,—отвѣтилъ я Ивану Ивановичу—вамъ, дѣйствительно, надо ѣхать. Можетъ быть, на ваше счастье и найдете древнихъ православныхъ христіанъ: на свѣтѣ много случается открытій самыхъ невѣроятныхъ.

Игнатій Самойловичъ добавилъ, что кстати они еще посмотрятъ, нѣтъ ли въ горахъ какихъ-либо промысловъ или подходящихъ мѣстъ для поселенія, чтобы удалиться отъ соблазновъ міра. На мои слова, что мѣста въ верховьяхъ Аму-Дарьи пустынные, не хлѣбородныя и не удобныя для жительства, Игнатій Самойловичъ, указывая на свой халатикъ, возразилъ:

— Накормить и прикрыть свое тѣло не много нужно. Мы и на камнѣ проживемъ, только бы душу спасти.

А дѣдъ его къ этому добавилъ:

— Когда насъ гнали съ Урала, говорили: „Одинъ только черный хлѣбъ будете ѣсть въ Туркестанѣ!“ а мы его, чернаго-то хлѣба, и не видѣли здѣсь ¹⁾, да живемъ слава Богу. Наши нонче были на Уралѣ. Выдаютъ—сказываютъ—тамъ казакамъ пособіе отъ казны по случаю голода, а они его прошиваютъ; у нихъ мука—1 р. 80 к. пудъ, да голодаютъ, а у насъ она 5—6 рублей, а мы всячески живемъ, не жалуемся и не голодаемъ!

Изъ дальнѣйшаго разговора выяснилось, что Иванъ Ивановичъ живетъ постоянно въ Казалинскѣ; въ Чарджуй онъ пріѣхалъ погостить къ внуку Игнатію Самойловичу и съ той цѣлью, чтобы совместно съ другимъ внукомъ, извѣстнымъ уже Антономъ Анофріевичемъ П—нымъ и съ ожидающимся со дня на день изъ Перовска Григоріемъ Евстафьевичемъ Б—вымъ тронуться въ поиски за древними христіанами. Въ зависимости отъ обстоятельствъ предполагалось ѣхать до Термеза или на пароходѣ, или на верблюдахъ; въ Термезѣ купить лошадей и дальше слѣдовать верхомъ. Объ опасности путешествія казаки не думали: по ихъ словамъ, имъ придется ѣхать такими мѣстами, гдѣ живетъ „простая Азія“, которая не трогаетъ проѣзжающихъ и ихъ имущества.

IV.

Въ субботу 7 апрѣля подъ вечеръ я съ товарищемъ отправился въ Уральскую слободку. Тамъ мы стали искать домъ Игнатія Самойловича. Намъ указали низенькій домикъ съ геранью на окошкахъ, пріютившійся въ узкомъ переулочкѣ. Когда мы заглянули внутрь двора, то увидѣли тянувшійся вдоль маленькаго двора на-

¹⁾ Въ Туркестанѣ рожь не сѣется.

вѣсь, нѣсколько тощихъ ветелокъ и дѣвочку въ казачьемъ сарафанѣ, изумленно и испуганно смотрѣвшую на насъ. Вскорѣ изъ низкой двери домика появилась крупная фигура Игнатія Самойловича въ рыжемъ, полинявшемъ халатикѣ. Онъ тотчасъ же попросилъ насъ сѣсть на лавочку подъ навѣсомъ. На мои вопросы объ Иванѣ Ивановичѣ, Игнатій Самойловичъ объяснилъ, что дѣдушка молится въ боковушкѣ Богу, и, конфузясь, далъ намъ понять, что мы не совсѣмъ удачно избрали для бесѣды субботній вечеръ. Однако недолгѣ изъ боковушки появился Иванъ Ивановичъ въ красной съ бѣлыми горошинками рубашкѣ, подпоясанной тесьмяннымъ пояскомъ, и въ валенкахъ. Онъ на ходу кланялся намъ и просилъ садиться. Товарищъ мой, не зная обычаевъ старообрядцевъ, протянулъ было Ивану Ивановичу руку, но старикъ, не подавая руки, просилъ простить его, говоря: „Извините пожалуйста,—мы руки не подаемъ“. Затѣмъ онъ объяснилъ, что въ книгѣ „Сынъ церковный“ сказано: поклоненіе при здорованіи означаетъ паденіе человѣка, а поднятіе головы—возстаніе его; про подачу же руки писатель книги ничего не говоритъ, да такого обычая въ стародавнее время и не было.

Въ это время во дворъ вошелъ коренастый молодой казакъ съ вдумчивыми черными глазами и, поклонившись, сталъ вслушиваться въ разговоръ. Оказалось, что это и есть Григорій Евстафьевичъ Б—въ, пріѣхавшій изъ Перовска для участія въ экспедиціи по поискамъ древняго христіанства. Иванъ Ивановичъ повторилъ вкратцѣ для моего товарища печальную исторію ссылки уральцевъ въ Туркестанъ. Во время разговора, какъ и въ вечеръ моего перваго посѣщенія, насъ окружили другіе казаки, женщины и дѣти и, молча, съ напряженнымъ вниманіемъ слушали.

Мы попросили хозяина показать намъ внутреннее помѣщеніе дома. Игнатій Самойловичъ повелъ насъ одинъ въ свои чистенькіе, маленькіе покои; остальные остались подъ навѣсомъ. Въ задней комнатѣ на стѣнкѣ висѣлъ ставецъ, задернутый отъ любопытныхъ глазъ занавѣсочкой. На столѣ передъ ставцемъ лежало нѣсколько духовныхъ книгъ. Игнатій Самойловичъ отдернулъ занавѣску и нашимъ взорамъ представились ряды иконъ древняго письма; на одной полочкѣ лежали желтаго воска свѣчи, а на гвоздикѣ висѣли домашняго изготовленія лѣстовки ¹⁾. Одну изъ лѣстовокъ Игнатій Самойловичъ тутъ же подарилъ мнѣ, какъ болѣе или менѣе своему человѣку.

Выйдя изъ горницы наружу, я и товарищъ мой стали одѣлать дѣтей конфетами. „Ручку-то попросите, ручку попросите“,—говорилъ ласково дѣтямъ Игнатій Самойловичъ. Сначала мы, помня объясненія Ивана Ивановича относительно подачи руки, не понимали, что надо сдѣлать, а потомъ вывернули ладони своихъ рукъ:

¹⁾ „Лѣстовка“—четки.

и дѣти, подходя, прикладывали къ нимъ въ знакъ благодарности свои лобики. Хозяйка, Екатерина Тимоновна,—женщина небольшого роста и уже не молодая, въ казацкомъ сарафанѣ и съ груднымъ ребенкомъ на рукахъ,—вынесла намъ по стакану молока. Мы поблагодарили хозяевъ и, пообѣщавъ на завтра придти въ болѣе подходящее время, ушли изъ Уральской слободки.

V.

На слѣдующій день въ воскресенье меня съ товарищами приглашали на желѣзнодорожную станцію Фарабъ осматривать музей и опытный разсадникъ растений, укрѣпляющихъ пески, но желаніе побесѣдовать съ интересными и необычными въ нашъ вѣкъ людьми было въ насъ настолько велико, что мы отказались отъ любезнаго приглашенія и въ одиннадцать съ небольшимъ часовъ утра уже входили въ угрюмый съ виду дворъ Игнатія Самойловича. Едва мы расположились подъ навѣсомъ, какъ къ намъ вышли изъ дома привѣтливый Иванъ Ивановичъ, красивый и серьезный Григорій Евстафьевичъ и самъ хозяинъ дома. Послѣ краткихъ привѣтствій и поздравленій съ праздникомъ, мы попросили казаковъ показать намъ божественныя книги. Намъ повели въ боковушку. Это была маленькая комнатка съ высокими нарами, передъ которыми стоялъ столъ, а на немъ лежали толстыя книги въ почернѣвшихъ кожаныхъ переплетахъ. Въ углу комнаты висѣла небольшая икона. Единственное маленькое окно, выходившее въ проулокъ, было задернуто занавѣской. Всѣ мы размѣстились за столомъ на нарахъ и на принесенныхъ изъ-подъ навѣса скамейкахъ и Иванъ Ивановичъ началъ рассказъ на божественную тему, не имѣвший какъ будто никакого отношенія къ предъидущимъ нашимъ бесѣдамъ.

— Когда Господь изгналъ Адама и Еву изъ рая, у Евы родился первенецъ, сынъ Каинъ. Стала было Ева кормить его грудью, а у ребенка появилось двѣнадцать змѣиныхъ головъ, которые размѣстились на его груди, какъ ордена, въ одну линію и стали впитываться въ тѣло Евы, какъ только она подносила ребенка къ груди. Хорошо. Явился къ Адаму дьяволъ и говорить, что дѣло поправимо, заключимъ только условіе: „Ты возьми, заколи ягненка, омочи въ его крови обѣ свои руки и приложь ихъ, какъ печати, къ камню и при этомъ скажи: „Живые мнѣ, а мертвые тебѣ“. Подумалъ Адамъ, на что ему мертвые. Зарѣзалъ ягненка, омочилъ въ крови его руки, приложилъ ихъ къ камню и произнесъ: „живые мнѣ, а мертвые тебѣ“. Послѣ этого дьяволъ провелъ рукой по груди ребенка и снялъ змѣевы головы. Ишь, врачъ-то какой! Ева стала безъ помѣхи кормить Каина грудью, а дьяволъ взялъ ка-

мень съ отпечатками рукъ Адама и бросилъ его въ Иорданъ. Ну, хорошо. Вышло изъ всего этого то, что всякій человѣкъ по смерти сталъ попадать въ адъ. Для того, чтобы вывести людей изъ ада, понадобилось самому Господу Христу придти на землю. Когда Христосъ крестился во Иорданѣ, дьяволъ испугался, схватилъ камень съ отпечатками рукъ Адама со дна рѣки, взялъ да бросилъ его въ адъ. А когда Господь воскресъ, то Онъ спустился въ адъ и тутъ-то „согрѣшеній нашихъ рукописаніе раздери“.

— Вотъ она подписка-то, что значить,—послѣ нѣкотораго молчанія добавилъ Иванъ Ивановичъ и этими словами сразу освѣтилъ цѣль своего разсказа.

Въ это время въ боковушку взомель Антонъ Анофріевичъ. Размашисто, съ истовыми тремя поклонами, положилъ онъ передъ иконой „малый началъ“ и, поклонившись присутствующимъ, сѣлъ на лавку. Разговоръ зашелъ о городскихъ соблазнахъ, о необходимости ухотцамъ устроить свое положеніе. Заговорили и о послѣднихъ временахъ. Иванъ Ивановичъ велѣлъ внуку отыскать то мѣсто въ священномъ писаніи, гдѣ говорится о царствахъ. Антонъ Анофріевичъ съ угрюмымъ видомъ взялъ „Толковый апокалипсисъ“ и, перебравъ своими толстыми пальцами нѣсколько закладокъ, нашелъ требуемое мѣсто.—Читай!—сказали ему казаки. Антонъ Анофріевичъ прочиталъ о томъ, какъ было сначала царство ассирійское, потомъ вавилонское, затѣмъ стало мидійское, за нимъ персское, послѣ того—македонское, наконецъ, римское, по скончаніи котораго начнутся послѣднія времена. Такимъ образомъ выходило, что мы живемъ въ послѣднія времена. Книги же церковныя—пояснилъ Иванъ Ивановичъ—слѣдуетъ прилежно изучать и руководствоваться ими въ жизни, ничего не прибавляя къ написанному, но и ничего не убавляя, такъ какъ въ противномъ случаѣ самоумышленіе человѣка „мимо идетъ“.

— Сказано въ Писаніи,—заключилъ свое послѣднее разсужденіе Иванъ Ивановичъ:— „Кромѣ Божественныхъ Писаній отнюдь не смѣти учить ни мало, ни велико“. „Явленно отпаденіе вѣры есть и гордости оглаголаніе, еже отметати что отъ написанныхъ или приводити отъ ненаписанныхъ“.

Подъ конецъ я попросилъ казаковъ спѣть что-либо божественное. У всѣхъ собесѣдниковъ было такое хорошее настроеніе, что къ исполненію просьбы не встрѣтилось препятствій. Иванъ Ивановичъ запѣлъ дребезжащимъ голосомъ: „Отъ юности моя мнози борють мя страсти“. Другіе казаки не отстали отъ Ивана Ивановича. Послѣ этого были еще спѣты: „О всепѣтая Мати“ и „Съ нами Богъ“. Часъ обѣда давно минулъ, а мы все сидѣли въ боковушкѣ.

Наконецъ, мы съ товарищемъ собрались было уходить, какъ Иванъ Ивановичъ вспомнилъ еще что-то и, потребовавъ книгу „Альфа и Омега“, отыскалъ въ ней какое-то мѣсто. „Вотъ что,—

обратился онъ къ намъ,—прочтите это мѣсто и объясните, какъ вы понимаете его“. Мы взяли книгу и въ ней прочитали, что однажды нѣкій инокъ шелъ въ Антиохію. Подойдя къ городу, онъ увидѣлъ распростертаго надъ всей Антиохіей огромнаго змія съ „разжженнымъ“ чревомъ. Инокъ испугался этого видѣнія и вернулся назадъ. Въ горахъ онъ повстрѣчалъ святого отшельника, который объяснилъ, что змій надъ Антиохіей, это — бѣсъ объяденія, пьянства, блуда, прелюбодѣянія и многихъ другихъ пороковъ, почему инокъ очень хорошо сдѣлалъ, что не пошелъ въ этотъ грѣховный городъ. Прочитавъ рассказъ, я сказалъ, что, по моему мнѣнію, змій, распростертый надъ Антиохіей, означалъ массу пороковъ, въ какихъ погрязли жители этого города и главнѣйшіе пороки—роскошь и чревоугодіе, которыя погубили уже много царствъ и много народовъ.

— Такъ-то такъ,—сказалъ Иванъ Ивановичъ:—а вотъ „чрево-то разжжено“, что означаетъ? Мы такъ полагаемъ, что это самоваръ, внутри котораго разжигаются угли.

Когда вслѣдъ за тѣмъ я и товарищъ стали прощаться, Игнатій Самойловичъ незамѣтно сунулъ въ карманъ моего товарища лѣстовочку; этимъ онъ какъ бы засвидѣтельствовалъ, что товарищъ мой, до сихъ поръ бывший постороннимъ человѣкомъ, заслужилъ, какъ и я, полное довѣріе и симпатію суровыхъ казаковъ.

Разстались мы очень тепло и уговорились, что во вторникъ, 10-го апрѣля, рано утромъ встрѣтимся на пароходѣ, отходящемъ изъ Чарджуя на Керки и на Термезъ, такъ какъ казаки рѣшили ѣхать на пароходѣ и въ эту сторону по служебнымъ дѣламъ лежалъ и нашъ путь.

Вскорѣ по возвращеніи нашемъ на квартиру, пришелъ молодой казакъ и принесъ намъ въ подарокъ четырехъ „скоффингусовъ“—рѣдкую рыбу изъ породы стерлядей, водящуюся только въ Аму и Сырь-Дарьяхъ и Миссисипи.

VI.

Еще съ вечера 9-го апрѣля я съ товарищемъ помѣстился на пароходѣ „Царь“, долженствовавшемъ на утро двинуться въ путь съ баржей „Москва“.

Едва взошло солнце, начались приготовленія къ отплытію. Малороссъ капитанъ спокойно и дѣловито отдавалъ распоряженія. „Протрави буксиръ!.. Убирай кошки!..—слышалось то и дѣло съ капитанскаго мостика. Пассажиры съѣхались, размѣщались на палубѣ и баржѣ, а уральцевъ нашихъ не было. Наконецъ, какъ-то незамѣтно къ баржѣ подъѣхала телѣга, нагруженная дорожными вещами; въ ней сидѣли женщины и дѣти, а возлѣ нея шагало нѣсколько человѣкъ знакомыхъ намъ казаковъ. Иванъ Ивановичъ былъ одѣтъ въ свой аязмъ, Игнатій Самойловичъ въ халатикъ

Антонъ Анофріевичъ въ широкій черный пиджакъ. Головы дѣда и внука П-выхъ покрывали порывѣвшія войлочные шляпы съ полями; Антонъ Анофріевичъ и въ дальнюю невѣдомую дорогу отправлялся въ неизмѣнной фуражкѣ съ малиновымъ околышемъ. Не было видно только красиваго и молчаливаго Григорія Евстафіевича Б-ва.

„Шайтанъ-каюкъ“, какъ называютъ пароходъ туземцы, въ это время далъ первый гудокъ. Мы поспѣшили къ телѣгѣ и здѣсь узнали, что Григорій Евстафіевичъ вчера получилъ телеграмму изъ Перовска, которой его вызывали по какому-то случаю домой.

По третьему отчаянному гудку пароходъ и баржа медленно стали отдѣляться отъ берега. Солнце блестѣло ослѣпительно. На пароходѣ и на баржѣ толпилась разношерстная публика: сарты въ бѣлоснѣжныхъ тюрбанахъ, афганцы въ широчайшихъ штанахъ съ многочисленными складками, азіатскіе евреи, кавказцы, солдаты разныхъ частей. Провожавшіе пароходъ люди разбѣжались на извозчикахъ. Вдали была видна удалявшаяся отъ берега телѣга съ казачками. Пароходъ вышелъ на стремнину широкой Аму-Дарьи и медленно, съ большимъ трудомъ сталъ разсѣкать своей грудью быстро мчавшіяся ему на встрѣчу мутныя волны рѣки.

VII.

Отъ Чарджуя до Керки двѣсти съ чѣмъ-то верстъ, но пароходъ ихъ проходить въ пять, шесть, а иногда и болѣе сутокъ. Древняя старуха Аму-Дарья капризна: сердито роясь въ песчаномъ грунтѣ, она чуть-ли не ежегодно мѣняетъ свое русло. Благодаря этому плаваніе по ней очень трудно. Опытные, выросшіе на ея волнахъ лоцманы, хивинцы и уральскіе казаки-уходцы, не сходя ни на одну минуту съ пароходной рубки, зорко всматриваются въ очертаніе береговъ, въ цвѣтъ воды, въ рябь и гладь ея и, отгадывая такимъ образомъ фарватеръ, медленно ведутъ пароходъ. Но, тѣмъ не менѣе, часто пароходъ натывается на мель, и тогда приходится или, разогнавъ машину, прорываться черезъ перекать, или же давать задній ходъ и искать болѣе глубокаго мѣста. Почта, идущая въ Керки на верблюдахъ и ишакахъ ¹⁾, скорѣе парохода достигаетъ цѣли.

Передъ закатомъ солнца, едва пассажиры мусульмане успеютъ совершить вечерній намазъ, пароходъ и баржа пристають къ безлюдному берегу, бросаютъ якоря и останавливаются на ночлеги. Всѣ пассажиры высыпаютъ на берегъ. Южная ночь быстро окутываетъ окрестности. Небо загорается крупными, яркими звѣздами. Вдоль берега зажигаются костры. Матросы взбираются на вершины

¹⁾ „Ишакъ“—осель.

бархановъ, и глядь — оттуда уже несется пѣсня: „Черно море безъ проливу, море ходитъ бродежомъ“.

Въ одну изъ ближайшихъ остановокъ парохода на ночлегъ мы пошли на баржу повидать казаковъ. Оказалось, что они устроились очень удобно сравнительно съ другими пассажирами. На избранномъ по срединѣ баржи мѣстѣ между тюковъ и багажа они воздвигли изъ брезента наметъ. Въ углу его они поставили мѣдный крестъ съ распятиемъ, вдѣланный въ деревянную колодку, а около креста повѣсили торбочку съ завернутыми въ платочекъ священными книгами. При самомъ входѣ въ наметъ они положили доски для сидѣнія. Вокругъ казаковъ кое-какъ ютилась остальная палубная публика.

Уральцы пригласили насъ войти въ ихъ помѣщеніе. Мы охотно исполнили эту просьбу и сѣли рядомъ съ Игнатіемъ Самойловичемъ на доски. Иванъ Ивановичъ помѣстился въ глубинѣ намета на кафтанѣ. Антонъ Анофріевичъ присѣлъ было внѣ намета пѣсколько на отшибѣ. Но заинтересованные нашимъ приходомъ ближайшіе сосѣди стали вслушиваться въ нашъ разговоръ. Замѣтивъ это, Игнатій Самойловичъ тихо молвилъ Антону Анофріевичу: „Садись поближе, чтобы въ полѣ насъ кто не похитилъ!“

— А мы вотъ только что говорили о нашей поѣздкѣ, — началъ рассказывать Иванъ Ивановичъ. — Вспомнилось мнѣ одно событіе. Однажды святой Пахомій шелъ со своими учениками и заночевалъ въ полѣ. Подошелъ къ нимъ нѣкій инокъ и также остановился съ ними на ночлегъ. Развели костеръ. Дьяволъ и сталъ внушать св. Пахомію и иноку, чтобы они испытали силу и милость Божию. св. Пахомій осудилъ эту мысль, а инокъ прочиталъ „Отче нашъ“ и взошелъ на костеръ; огонь не опалилъ его. Инокъ возгордился этимъ. На утро Пахомій, его ученики и инокъ пошли въ баню. Здѣсь инокъ вновь задумалъ искушать милость Божию: войду дескать въ печь. Прочиталъ „Отче нашъ“; сунулся въ печь и сгорѣлъ... Вотъ я и говорю, какъ бы и намъ такого наставника не найти! — добавилъ, смѣясь, рассказчикъ.

Иванъ Ивановичъ вообще оказался человекомъ начитаннымъ въ божественномъ писаніи. На каждый вопросъ, на каждый случай у него былъ готовъ отвѣтъ. Остальные два казака внимательно слушали его рассказы и только изрѣдка поддакивали или выражали свои чувства словами: „Вонъ что!..“ „Ишь ты!!..“

Зашелъ у насъ разговоръ о безсвященнословныхъ бракахъ. Иванъ Ивановичъ полѣзъ въ торбочку и, вынувъ изъ нея небольшую рукописную книжечку, вычиталъ отвѣтъ 32-й посланія 6-го антиохійскаго патріарха Θεодора Валсамона къ патріарху александрійскому Марку, изъ котораго было видно, что бракъ и безъ церковнаго вѣнчанія, заключенный не менѣе какъ при трехъ свидѣтеляхъ, совершененъ и что вѣнчаніе въ церкви есть требованіе только гражданскаго закона.

Мы готовы были сидѣть съ искателями древняго христіанства и дольше, но насъ позвали на пароходъ ужинать. Прощаясь, я спросилъ казаковъ, что они сегодня будутъ варить на ужинъ.

— А мы сегодня варить не будемъ,—отвѣтилъ на мой вопросъ Иванъ Ивановичъ—вопъ вода въ Дарьѣ есть и ладно!

VIII.

Сечеромъ 14-го апрѣля пароходъ нашъ приблизился къ Керки. Видна была на берегу рѣки скала, на вершинѣ которой, подобно феодальному замку, гнѣздились сакли керкинскаго бека. Видѣлись церкви, циркъ. Изъ сада общественнаго собранія долетали до насъ звуки музыки. Но мы еще два дня потратили на то, чтобы переправиться съ праваго берега рѣки на лѣвый и подойти къ пристани. Производили промѣры, пароходъ сдѣлалъ нѣсколько отчаянныхъ попытокъ прорваться черезъ мель, но безуспѣшно. Многіе пассажиры сѣтовали, нѣкоторые нетерпѣливые переправились въ городъ на каюкахъ и байдарахъ, но я и товарищъ мой не рвались въ Керки: мы рады были, что намъ представлялась возможность еще нѣкоторое время наслаждаться бесѣдой съ интересными уральскими казаками.

Въ первый день нашего подневольнаго стоянія Антонъ Анофріевичъ сообщилъ мнѣ, что афганцы, ѣдущіе на баржѣ, не желаютъ съ ними разговаривать о жителяхъ Афганистана, но два туркмена изъ Афганистана сообщили ему, что въ этой странѣ лѣтъ пятнадцать тому назадъ были „кафиръ-чапошъ“¹⁾, но эмиръ Абдурахманъ насильственнымъ путемъ обратилъ ихъ въ мухамеданскую вѣру; эти „кафиръ-чапошъ“ одѣвались не въ обыкновенную одежду, а въ козлиныя шкуры; сохранились ли гдѣ-либо еще „кафиръ-чапошъ“, они не знаютъ.

Насталъ вечеръ 15-го апрѣля. Товарищъ мой и я отправились къ своимъ уральцамъ на баржу. Предчувствовали мы, что это послѣдній вечеръ: ужъ навѣрное, думали мы, завтра-то подойдемъ къ Керки. Въ этотъ вечеръ Иванъ Ивановичъ воодушевленно рассказывалъ, какъ святитель Никола хитроумнымъ вопросомъ изобличилъ вора, укравшаго хлѣбецъ, и о томъ, какъ нѣкій инокъ задумалъ превзойти премудрость Божью и какъ ангелъ открылъ этому иноку на примѣрахъ, что кажущееся человѣку безумнымъ на самомъ дѣлѣ является премудрымъ.

Когда же мы вышли на берегъ подъ куполъ высокаго звѣзднаго неба, разговоръ коснулся движенія земли и ея шарообразной формы, такъ какъ, по словамъ Ивана Ивановича, по этому вопросу

¹⁾ „Кафиръ-чапошъ“—невѣрные, христіане.

Апрѣль. Отдѣлъ I.

у него происходитъ постоянный споръ съ однимъ инженеромъ, проживающимъ въ „Казалѣ“. Основываясь на извѣстныхъ словахъ Іисуса Навина, обращенныхъ къ солнцу, Иванъ Ивановичъ оспаривалъ доводы инженера. Поговоривъ на эту тему нѣкоторое время, мы пришли къ одному убѣжденію, что, собственно, объ этомъ не стоитъ спорить, такъ какъ, во-первыхъ, Іисусъ Навинъ говорилъ о солнцѣ съ обыденной точки зрѣнія, а не съ научной, а, во-вторыхъ, свѣдѣнія эти совершенно не имѣютъ значенія для спасенія души.

Въ тотъ же вечеръ говорили и о страстномъ желаніи ухотцевъ устроиться гдѣ-либо на своей землѣ и служить на тѣхъ правахъ, какія они получили отъ прежнихъ владыкъ земли русской: чтобы были они вѣчно казаками, не ставили бы ихъ на молитву съ людьми другихъ мѣръ, на шапкахъ не было бы кокарды.

— А хотѣли бы вы,—спросилъ казакъ, между прочимъ, мой товарищъ,—ѣхать въ Палестину? Я бы съ вами поѣхалъ!

Игнатій Самойловичъ подумалъ и со вздохомъ сказалъ:

— Нѣтъ, у насъ своя „палестина“ еще не окончена...

Наша бесѣда затянулась до поздняго часа. На берегу потухли костры, а на пароходѣ стали тушить огни. Настала пора разставанья. „Простите насъ Христа ради!“—поклонившись, сказали уральцы. „Богъ проститъ! насъ простите!“—отвѣчали мы.

На другой день 16-го апрѣля, около 12 часовъ дня, пароходу нашему, дѣйствительно, удалось пристать къ Керки. На пристани встрѣчало пароходъ много народу, такъ какъ въ этомъ заброшенномъ на край свѣта городѣ прибытіе парохода—важнѣйшее событіе, цѣлый праздникъ. Пассажиры наперебой бросились высаживаться, расхватали извозчиковъ. Товарищъ мой и я также не дремали и спѣшили уѣхать въ городъ. Отѣзжая отъ парохода, мы видѣли на носу баржи „Москва“ три фигуры нашихъ путниковъ. Снявъ шапки, они привѣтливо кланялись намъ. „Счастливый путь!“—крикнули мы и въѣхали въ улицы города, гдѣ моментально погрязли въ тинѣ обыденщины.

Самарецъ.

Законодательство о стачкахъ въ Австраліи.

„Соціальная реформа... имѣть своею цѣлью не только дать рабочимъ лучшую пищу, лучшее жилище, болѣе досугъ и отдыхъ, но и возвысить ихъ нравственный и умственный уровень“.

(Herkner, „Die Arbriterfrage“).

I.

За послѣднее время взоры изслѣдователей соціальной жизни человѣчества все чаще и чаще обращаются къ далекой Австраліи¹⁾. Это и понятно. Въ австралійской соціально-правовой дѣятельности много такого, что должно привлекать къ себѣ вниманіе всякаго, кто серьезно и вдумчиво интересуется культурно-правовыми проблемами и, въ особенности, рабочимъ вопросомъ.

Интересенъ и поучителенъ уже самый фактъ поразительно быстрого возникновенія и роста австралійской культуры²⁾. Вся эта культура возникла и окрѣпла за какія-нибудь сто лѣтъ. Первое поселеніе бѣлыхъ на материкѣ имѣло мѣсто въ 1788 году. Эти „бѣлые“ были почти исключительно англійскіе каторжники, осужденные на ссылку въ Австралію, и солдаты, сопровождавшіе ихъ. Свободные

¹⁾ Въ дальнѣйшемъ изложеніи этимъ терминомъ мы будемъ пользоваться для совмѣстнаго обозначенія Австралійскаго материка и острововъ Тасманіи и Новой-Зеландіи. Съ соціально-правовой точки зрѣнія такое объединеніе вполне уместно и законно. Оно и общепринято, хотя въ иностранной (преимущественно англійской) литературѣ для указаннаго совмѣстнаго обозначенія двухъ острововъ и материка существуетъ также специальный терминъ—А в с т р а л а з і я. Мы думаемъ, что проще обойтись безъ этого, нѣсколько громоздкаго, наименованія, которое, кромѣ того, многими авторами употребляется и въ гораздо болѣе широкомъ смыслѣ, а именно для обозначенія всей совокупности островныхъ земель, тянущихся отъ юго-восточной оконечности Азіи далеко въ Тихій океанъ.

²⁾ Объ исторіи развитія Австралійскихъ колоній см., напр., Уокеръ, „Развитіе Австралійской демократіи“, СПб., 1901. Перев. Д. Сатурина; предисловіе, составленное переводчикомъ.—Мижусевъ, „Исторія колониальной имперіи и колониальной политики Англіи“,—СПБ., 1902, Пьеръ Леруа-Болье, „Новыя Англосаксонскія общества“,—СПБ., 1896.

поселенцы стали притекать значительно позже,—и сначала крайне медленно. Въ началѣ XIX столѣтія всего свободнаго населенія материка, включая отбывшихъ срокъ каторжанъ, было около шести тысячъ взрослыхъ мужчинъ (женщинъ было очень мало). Заселеніе Новой-Зеландіи начинается лишь въ тридцатыхъ годахъ прошлаго столѣтія. А вообще усиленное иммиграціонное движеніе въ Австралію возникаетъ въ 1851 году, когда на австралійскомъ материкѣ—въ колоніяхъ Новомъ Южномъ Уэльсѣ (Валлисѣ) и Викторіи—были открыты золотые прииски. Едва вѣсть объ австралійскомъ золотѣ разнеслась по земному шару, сюда со всѣхъ концовъ свѣта потянулись энергичные, предприимчивые люди. Какъ это отразилось на количествѣ населенія, можно судить по двумъ цифрамъ: въ колоніи Викторіи въ 1846 году (т. е. до открытія золота) было лишь 20 тысячъ жителей, а въ 1857 году (т. е. послѣ открытія) около 411.000. Золотая горячка дала энергическій толчокъ экономическому развитію всей страны. Золотонискатели нуждались въ жизненныхъ продуктахъ и сорили деньгами направо и налево. Спросъ на продукты земледѣлія, животноводства и обрабатывающей промышленности сразу увеличился во много разъ. Развились торговля и транспортное дѣло. Всѣ эти промыслы давали весьма высокій процентъ прибыли, обогащая предпринимателей. Поэтому изъ другихъ странъ, главнымъ образомъ, изъ Англіи, стали притекать широкой струей капиталы. Вслѣдъ за золотой горячкой въ Новомъ Южномъ Уэльсѣ и Викторіи, та же самая исторія повторилась и въ другихъ колоніяхъ. Тамъ тоже открывали золото. Разумѣется, періодъ возбужденія быстро проходилъ; золотая промышленность вступала въ обычныя рамки капиталистической эксплуатаціи съ широкой постановкой дѣла и дорого стоящими машинами, но люди и притекшіе извнѣ капиталы оставались, обуславливая все большее расширеніе экономической жизни страны.

Не смотря на золотыя и другія минеральныя богатства, центръ этой жизни лежалъ все-таки въ скотоводствѣ и земледѣліи. Чтобы развить ихъ, необходимо было заселить страну, планомерно распредѣлить въ ней пришлое населеніе, концентрировавшееся почти исключительно въ городахъ, а также создать пути сообщенія. Кромѣ того, были необходимы обширнѣйшія оросительныя и другія меліоративныя работы. Колоніальныя правительства энергично принялись за дѣло. Частные предприниматели конкурировали съ ними въ предпримчивости. Строились желѣзныя дороги, созидались мосты и цѣлыя системы водоснабженія; громадныя участки очищались изъ-подъ лѣса для пашни и окружались отъ кроликовъ изгородью; огораживались также и огромныя мѣста для пастбищъ. Словомъ, жизнь была ключемъ въ странѣ, распространяясь на недавно еще пустыя и безлюдныя мѣстности.

Все это дѣлалось въ надеждѣ на будущія блага, на то время, когда, наконецъ, страна заселится, земледѣліе расцвѣтетъ и всѣ

предпріятія съ лихвой вернуть вложенные въ нихъ иностранные капиталы. Мѣры не знали. Строили и улучшали, гдѣ нужно и гдѣ не нужно. Англійскіе капиталисты, также надѣявшіеся на будущее, давали капиталы очень охотно. Естественно, что въ концѣ концовъ такая экономическая политика привела къ жестокому кризису 1893 года и связанному съ послѣднимъ финансовому краху. Но до кризиса она создала повышенный спросъ на рабочія руки и такимъ образомъ поставила австралійскій рабочій классъ въ болѣе привилегированное положеніе, чѣмъ хотя бы положеніе европейскихъ рабочихъ.

Съ другой стороны, такому привилегированному положенію способствовалъ и самый составъ австралійскихъ рабочихъ. Какъ мы уже сказали, это были энергичные, мужественные люди и, преимущественно, англичане. На родинѣ многіе изъ нихъ принимали участіе въ чартистскомъ движеніи. Вмѣстѣ съ собою они перенесли въ Австралію принципы старой тредъ-юніонистской организаціи и тактики. Они принесли съ собою вѣру въ силу профессиональныхъ организацій и союзовъ. Имъ казалось возможнымъ добиться желаемыхъ условій работы, опираясь исключительно на себя, на свою готовность дружно бороться противъ капитала. Въ виду общаго напряженія государственной жизни, эта „боевая готовность“ рабочихъ еще больше усилила вліяніе внѣшнихъ благопріятныхъ условій и какъ будто доказала рабочимъ, что они — на правильной дорогѣ, что путь боевого тредъ-юніонизма единственно вѣрный путь къ благосостоянію рабочаго класса. Такое убѣжденіе царствовало среди нихъ вплоть до 1890 года.

Было бы, конечно, большою ошибкой утверждать, что рабочіе, увлекаясь подобной идеологіей, не принимали никакого участія въ общеполитической жизни страны. По мѣрѣ того, какъ парламенты перестраивались постепенно на новыхъ, демократическихъ началахъ, трудящіеся оказывали извѣстное давленіе на послѣдніе, заставляя ихъ принимать мѣры, клонящіяся на пользу рабочаго класса. Мало этого. Хотя статутами профессиональныхъ рабочихъ организацій часто прямо запрещалось вводить въ такія организаціи политическій элементъ, это нисколько не мѣшало рабочимъ, какъ членамъ организаціи, обращаться въ парламентъ съ петиціями по разнымъ поводамъ. Такъ было, напримѣръ, относительно одного изъ жгучихъ вопросовъ Австраліи, а именно запрещенія ввоза въ страну преступниковъ, китайцевъ и канаковъ (т. е. запрещенія дешеваго труда). И, однако, не политика, не петиціи и избирательное право были тогда главной надеждой рабочихъ. Все это казалось имъ дѣломъ второстепеннымъ, если и приносящимъ кое-какую пользу, то лишь при необходимомъ условіи собственной боевой готовности ежеминутно начать борьбу съ капиталомъ. Въ боевомъ тредъ-юніонизмѣ рабочіе видѣли свою главную защиту и опору. И потому вполне понятно, что почти всѣми своими пріобрѣтеніями, почти всѣми

улучшеніями условій труда въ періодъ трэдъ-юніонизма рабочіе обязаны не законодательству, а непосредственно самимъ себѣ. Въ 1856 году былъ введенъ въ Мельбурнѣ, можно сказать, явочнымъ порядкомъ 8-часовой рабочей "день"¹⁾, который постепенно, и съ нѣкоторыми ограниченіями въ сторону сверхурочной работы, распространился по всей Австраліи. Законодательству оставалось только санкціонировать установившійся обычай, что оно и сдѣлало, хотя не вездѣ и не всегда съ надлежащей полнотою. Достаточно полно государство оградилъ лишь дѣтскій и женскій трудъ.

Передъ 1890 годомъ трэдъ-юніоны достигли своего апогея. Они вѣрили въ свое могущество; крѣпко сплоченные и обладавшіе значительнымъ фондомъ на случай стачекъ, они были готовы испытать свою силу, вступивъ въ борьбу съ предпринимателями²⁾. Наконецъ въ 1890 году и произошло такое испытаніе путемъ большой стачки, охватившей почти всѣ отрасли промышленности. Стачка произошла по незначительному поводу, но не въ поводъ было дѣло. Въ сущности стачка была ходомъ „*va banque*“ со стороны трэдъ-юніоновъ, стремившихся доказать несокрушимую силу своихъ организацій.

Побѣдили однако предприниматели, и побѣдили потому, что сами въ свою очередь объединились подъ угрозой общей опасности. Былъ организован фондъ для помощи предпринимателямъ, пострадавшимъ отъ стачки, были выработаны другія правила взаимопомощи и въ отвѣтъ на стачку объявлено локаутъ. Трэдъ-юніоны, израсходовавъ всѣ свои средства, были разбиты, а вмѣстѣ съ ними была разбита прежняя тактика рабочего класса. Съ этого времени послѣдній, не оставляя заботы о трэдъ-юніонахъ, переноситъ центръ своего вниманія на политику, на парламентскую войну, и самые союзы изъ организацій на случай стачекъ превращаетъ въ организаціи, являющіяся въ значительной части мѣстными комитетами парламентской рабочей партіи³⁾. Идеальная революція произошла, разумѣется, не

¹⁾ Собственно не восьмичасовой день, а 48-часовая недѣля. Въ настоящее время количество рабочихъ часовъ приурочивается также къ недѣлѣ, равняясь 45—52 часамъ.

²⁾ Интересно отмѣтить для характеристики трэдъ-юніоновъ, что большинство ихъ, обладая значительными стачечными капиталами, совершенно не имѣло страховыхъ. Причиной этому было опасеніе, что иначе болѣе пожилые и обремененные семьей члены союзовъ, боясь уменьшить способность союзовъ къ помощи въ несчастныхъ случаяхъ, будутъ преслѣдовать консервативную политику и тѣмъ тормазить борьбу трэдъ-юніоновъ за условія труда и благосостояніе рабочего класса. Такая особенность, дѣлая союзы болѣе боевыми, лишила ихъ съ другой стороны одной изъ ихъ притягательныхъ сторонъ для новыхъ членовъ и тѣмъ стѣснила ихъ развитіе.

³⁾ Объ исторіи рабочего движенія въ Австраліи см. прекрасную статью: Morton Aldrich, „Die Arbeiterbewegung in Australien und Neuseeland“ въ „Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik“ (15 Band. 1898). — Clark „The Labour Movement in Australasia“ Vashington. 1907. Vigouroux, „L'évolution sociale en Australasie“, Paris, 1902, chap. X.

сразу, но она все же произошла... И суть ея заключается въ томъ, что рабочій классъ убѣдился въ необходимости не только уметь бороться за себя путемъ стачекъ, но и уметь занять подобающее мѣсто въ общемъ управленіи страной. Законодательство и правительство страны должны придти на пользу рабочему классу тамъ, гдѣ онъ, быть можетъ, и безсиленъ сдѣлать для себя что-либо собственными усиліями. Результатомъ такого измѣненія взглядовъ было возникновеніе „перваго въ мірѣ“ рабочего законодательства, интереснѣйшею и вполне оригинальною частью котораго являются законы, направленные къ мирному улаживанію классовыхъ конфликтовъ.

II).

Основнымъ принципомъ этихъ законовъ является идея о принудительномъ государственномъ вмѣшательствѣ. Государственная власть вмѣшивается въ отношенія между рабочими и предпринимателями, когда возникаетъ опасность междуклассоваго конфликта (или когда конфликтъ уже на лицо) и принудительнымъ образомъ предписываетъ сторонамъ опредѣленные условія, на какихъ должны основываться ихъ взаимныя отношенія. Въ случаѣ несоблюденія одною изъ сторонъ этихъ условій, государственная власть караетъ подобный проступокъ, какъ карало бы оно всякое иное нарушеніе закономѣрнаго предписанія. Здѣсь необходимо сдѣлать маленькое поясненіе. Поскольку дѣло идетъ о защитѣ имѣющихся на лицо и заключенныхъ въ законномъ порядкѣ договоровъ, вмѣшательство государства понятно само собою. Государственная

¹⁾ Литература объ австралійскихъ законодательныхъ экспериментахъ въ области рабочего вопроса достаточно велика. Оtmѣтимъ здѣсь лишь главныя сочиненія: На англійскомъ языкѣ Reeves (Puer), „State Experiments in Australia and New-Zeeland“, 2 тома, London, 1902.—Clark, ук. соч. На нѣмецкомъ языкѣ: Schahner, „Die sociale Frage in Australien und Neuseeland“, Iena, 1911 (Это сочиненіе Schachner'a служитъ вторымъ томомъ къ его же работѣ: „Australien in Politik, Wirtschaft und Kultur“, Iena, 1909). На французскомъ, A. Méti n, „Législation ouvrière et sociale en Australie et Nouvelle-Zelande“, Paris, 1901 (То же самое сочиненіе болѣе извѣстно подъ другимъ заглавіемъ „Le socialisme sans doctrines“, Paris, 1901).—Nogaro; „L'arbitrage obligatoire“, Paris, 1906.—Otmѣтимъ также: Vigouroux, ук. соч.; и Manes „Im Band der sozialen Wunder“, Berlin (Эта книга за три послѣдніе года выдержала три изданія; мы пользовались послѣднимъ, помѣченнымъ 1913 годомъ). Изъ сочиненій на русскомъ языкѣ можно указать на цитированный уже переводъ книги, нынѣ устарѣвшей по содержанію, Уокера и статьи А. Рыкачева — „Рабочій вопросъ въ Новой Зеландіи“ (Народное хозяйство“, 1904, кн. 4 и 5).—Книга П. Г. Мижужева, „Счастливая Австралія“, 1909, гдѣ нѣсколько главъ отведены рабочему законодательству Австраліи, страдаетъ нѣкоторой небрежностью, мы бы сказали, торопливостью изложенія. Источники, которыми пользовался авторъ, уже устарѣли немного. Освѣщеніе вопроса, дѣлаемое П. Г. Мижуевымъ, нѣсколько однобокое, преувеличенно оптимистическое и лишенное надлежащей социальной перспективы.

власть во всѣхъ странахъ защищаетъ правомѣрное соблюденіе договоровъ, къ какой бы сферѣ ни относились они по своему содержанию; защищаетъ она, слѣдовательно, соблюденіе и рабочихъ договоровъ. Если—скажемъ—въ коллективномъ, оформленномъ достойнымъ образомъ, договорѣ предприниматель обязуется выплачивать рабочимъ определенную плату втеченіе трехъ лѣтъ, а черезъ два года по заключеніи договора, безъ всякихъ законныхъ основаній, понизить эту плату, государственная власть обязана вмѣшаться и возстановить нарушенное договорное право рабочихъ. Это понятно само собою. Иное дѣло, если государство вмѣшивается въ отношенія между рабочими и предпринимателями, когда рѣчь идетъ о заключеніи новаго договора или объ измѣненіи въ ту или иную сторону существующихъ условій работы. И именно такое принудительное вмѣшательство государственной власти устанавливается австралійскими законами, о какихъ будетъ идти рѣчь.

Начнемъ съ изложенія законодательнаго механизма, организующаго принудительное государственное вмѣшательство въ условія рабочаго договора. Какъ извѣстно, австралійскій материкъ до 1 января 1901 г. былъ подѣленъ между пятью независимыми англійскими колоніями: Новымъ Южнымъ Уэльсомъ, Викторіей, Квинслендомъ, Южной Австраліей и Западной Австраліей. Съ 1901 г. эти пять колоній и Тасманія (островъ около южныхъ береговъ Австраліи) объединились въ федеративное цѣлое и получили особую федеративную конституцію. Новая-Зеландія до сихъ поръ не вошла въ составъ этой федераціи и сохранила полную самостоятельность, поскольку тому не препятствуютъ отношенія къ Англійской метрополіи. За исключеніемъ Тасманіи всѣ остальные части Австралійской федераціи, равно какъ и сама федерація въ ея цѣломъ и Новая Зеландія, имѣютъ законодательство, принявшее принципъ принудительнаго вмѣшательства государства въ условія рабочаго договора.

Вмѣшательство это выражается въ различныхъ формахъ: или въ формѣ обязательныхъ третейскихъ судовъ, или въ формѣ специальныхъ комитетовъ для регулированія заработной платы. Первая форма принята въ настоящее время федеративнымъ законодательствомъ (зак. 1904 г., добавл. 1910 г.), ново-зеландскимъ (прежній законъ 1894 г., нынѣ дѣйствующій — 1908 г. и новелла того же года); западно-австралійскимъ (зак. 1902 г.)

Главную цѣлью обязательныхъ третейскихъ судовъ является замѣна стачекъ и локаутовъ обязательнымъ судебнымъ разбирательствомъ. Для этого законодатель даетъ рабочимъ союзамъ право вмѣсто того, чтобы рѣшать назрѣвающий конфликтъ стачкой, передавать его на разсмотрѣніе особаго трибунала; при этомъ рѣшеніе послѣдняго обязательно даже въ томъ случаѣ, если предприниматели были противъ передачи. Чтобы обладать такимъ правомъ, рабо-

чій союзъ обязанъ занести себя въ особый регистръ ¹⁾. Съ другой стороны, и предприниматели имѣютъ право передавать свои конфликты съ зарегистрированными рабочими союзами на рѣшеніе суда безъ согласія послѣднихъ. Рѣшеніе суда обязательно для сторонъ, и несоблюденіе рѣшенія карается штрафами, иногда достаточно тяжелыми, чтобы сразу разрушить всю силу рабочаго союза или промышленнаго предпріятія. Такимъ образомъ, чтобы подчинить опредѣленную отрасль промышленности дѣйствию обязательной судебной юрисдикціи, требуется лишь одно: внесеніе профессиональнаго рабочаго союза въ регистръ. Разъ союзъ зарегистрированъ, онъ можетъ возбуждать дѣло о конфликтѣ, возникшемъ въ его профессіи, даже въ томъ случаѣ, если ни одинъ изъ членовъ союза не заинтересованъ и не затронутъ непосредственно конфликтомъ. Даже, если хозяинъ принципиально избѣгаетъ брать къ себѣ въ рабочіе членовъ союза, союзъ все равно можетъ привести его передъ трибуналь. Надо еще добавить, что, если по законамъ ново-зеландскому и западно-австралійскому для начатія дѣла необходимо заявленіе хотя бы одной стороны, то по федеративному законодательству не требуется и этого: здѣсь судъ самъ, по собственной инициативѣ, можетъ возбуждать дѣло ²⁾.

Таковъ общій принципъ обязательности третейскаго суда, являющійся типичнѣйшей чертой всего института. Второй характерной чертой его является его организующее начало: только рабочіе союзы могутъ потребовать третейскаго суда. „Отдѣльный неорганизованный рабочій не имѣетъ по закону права привлечь своего хозяина къ третейскому суду—говоритъ Ривсъ, авторъ ново-зеландскаго закона 1894 г. о третейскомъ судѣ—и это на томъ основаніи, что конфликты между отдѣльными рабочими и хозяиномъ не угрожаютъ національному благосостоянію, а потому не требуютъ національнаго вмѣшательства“. Но отдѣлъ первый закона 1894 г. устанавливалъ цѣлый рядъ льготъ и привилегій для всякой зарегистрированной рабочей организаціи. Благодаря этимъ привилегіямъ для ново-зеландскихъ рабочихъ представляется крайне выгоднымъ организоваться въ союзы. Предоставляя рабочимъ союзамъ всѣ права юридическихъ лицъ, ново-зеландскій законъ 1894 г. въ то же время не отнималъ у нихъ ни одного изъ правъ, которыми пользуются частныя лица. На основаніи Conspiracy Law Amendment (1894 г.), никакое дѣйствіе, совершенное организованнымъ

¹⁾ Въ регистраціи можетъ быть отказано, если въ данной отрасли промышленности уже имѣется на лицо одинъ зарегистрированный союзъ. Постановленіе это имѣетъ свою цѣлю воспрепятствовать возникновенію такъ называемыхъ желтыхъ синдикатовъ, дѣйствующихъ согласно волѣ предпринимателей.

²⁾ Федеративному обязательному суду подчинены всѣ промышленные конфликты, выходящіе за предѣлы одного государства, входящаго въ составъ федераціи.

обществомъ, не считается противозаконнымъ, если такое дѣйствіе не преслѣдуется закономъ въ случаѣ совершенія его отдѣльнымъ лицомъ. Изъ ново-зеландскаго законодательства 1894 г. данный организующій принципъ заимствованъ и новымъ закономъ 1908 г. этой колоніи, и федеративнымъ закономъ 1904 г., и закономъ Западной Австраліи 1902 г.¹⁾

Можно сказать, что въ федеративномъ законѣ и законѣ Западной Австраліи организующій принципъ получилъ еще болѣе законченное выраженіе, благодаря постановленію, что всякое дѣйствіе, подходящее по своему содержанію къ стачкѣ или локауту, является дѣйствіемъ запрещеннымъ и наказуемымъ. Въ Новой-Зеландіи стачки запрещены лишь зарегистрированнымъ союзамъ (эти союзы, надо добавить, могутъ перейти въ разрядъ нерегистрированныхъ или добровольно въ моментъ истеченія силы рѣшенія третейскаго суда, или въ видѣ наказанія по судебному приговору за несоблюденіе постановленій суда) и отнюдь не запрещены неорганизованнымъ рабочимъ, а также членамъ незарегистрированныхъ союзовъ; въ двухъ же вышеприведенныхъ законодательствахъ всякая стачка и всякій локаутъ являются дѣйствіями незаконными. Отсюда естественная тенденція у рабочихъ, за неимѣніемъ возможности защитить себя непосредственно, защититься хотя бы обращеніемъ въ третейскій судъ, т. е. регистраціей.

Третьей специфической чертой излагаемаго института является уравнительный принципъ. По законамъ Новой-Зеландіи и Западной Австраліи третейскій судъ можетъ опредѣлить, что рѣшеніе его, постановленное по частному дѣлу, имѣетъ обязательную силу для всѣхъ предпринимателей и всѣхъ организованныхъ рабочихъ опредѣленной отрасли промышленности въ опредѣленномъ округѣ. „Такимъ образомъ—писалъ Ривсъ—предприниматели, не имѣющіе никакой ссоры со своими рабочими, могутъ быть вынуждены подчиниться рѣшенію суда, постановленному по иску трэдъ-юніона, члены котораго работаютъ у другого предпринимателя. Достаточно немного подумать, чтобы понять, насколько важна эта статья закона. Безъ устанавливаемого ею единообразія, законъ врядъ ли могъ бы стать жизнеспособнымъ, такъ какъ наихудшій классъ светеровъ²⁾ избѣжалъ бы его дѣйствія (въ виду неорганизованности рабочихъ светера), а лучшіе хозяева были бы поставлены въ худшія условія,

1) Въ неполучившемъ осуществленія проектѣ третейскаго суда для Южной Австраліи, выработанномъ политическимъ дѣятелемъ этой колоніи Кингстономъ, организующій принципъ былъ выраженъ еще рѣзче: Кингстонъ проектировалъ обязательное образованіе союза, могущаго представлять опредѣленную отрасль промышленности передъ третейскимъ судомъ, въ каждой отрасли промышленности.

2) Светеръ—хозяинъ-кулакъ, стремящійся нажить деньги путемъ чрезмѣрной эксплуатаціи своихъ рабочихъ. Отсюда выраженіе—„Sweating-System“, по нѣмцки „Shwitzsystem“—„система выжиманія пота“.

чѣмъ свѣтеры“¹⁾. Надо добавить, что территоріальныя границы дѣйствія опредѣленнаго постановленія суда могутъ быть расширены и за предѣлы округа, непосредственно затронутаго судебнымъ рѣшеніемъ. Третейскій судъ, преслѣдуя уравнительный принципъ, можетъ распространить обязательную силу приговора не только на часть или на весь данный промышленный округъ, но и на предпріятія той же отрасли промышленности, находящіяся въ другихъ округахъ. Для этого необходимы слѣдующія условія: 1) чтобы продукты предпріятій изъ разныхъ округовъ конкурировали на какомъ-либо общемъ рынкѣ; 2) чтобы приговоръ охватывалъ большинство рабочихъ и предпринимателей каждаго изъ затронутыхъ округовъ; 3) чтобы предпринимателямъ иныхъ округовъ было дано право высказать передъ судомъ свои возраженія по поводу расширения приговора. Мало того. „Судъ можетъ также, по желанію одной изъ сторонъ, привлечь къ спорному дѣлу и обязать своимъ приговоромъ представителей какой-нибудь *соприкасающейся* отрасли, напр., по дѣлу о малярахъ сдѣлать обязательное постановленіе для каменщиковъ. Соприкасающимися отраслями признаются такія, которыя зависятъ другъ отъ друга въ условіяхъ производства. Губернаторъ и третейскій судъ имѣютъ власть объявлять тѣ или другія отрасли *соприкасающимися*“²⁾.

Наиболѣе широко и опредѣленно выражень уравнительный принципъ въ федеративномъ законѣ 1904 года. Статья 38 закона гласитъ, что третейскій федеративный судъ имѣетъ право „объявить путемъ приговора или приказа, что всякая метода, постановленіе, правило, обычай, опредѣленіе коллективнаго договора, рабочее условіе и вообще все, что находится въ опредѣленной связи съ промышленностью, явится *общимъ правиломъ* для всякой промышленности, соприкасающейся съ тою, въ области которой возникъ конфликтъ“.

Таковы три главныя специфическія черты третейскихъ судовъ: ихъ принудительность, ихъ организующее качество и ихъ уравнительный принципъ. Если перейти теперь къ изложенію тѣхъ сторонъ рабочаго договора, какіе суды могутъ нормировать своими обязательными приговорами, то надо сказать, что компетенція судовъ очень обширна. Въ эту компетенцію, согласно всѣмъ тремъ законодательствамъ, входятъ: урегулированіе заработной платы промышленныхъ рабочихъ; рѣшеніе вопроса о формѣ платы (повременная или поштучная плата); опредѣленіе количества рабочихъ часовъ (обычно въ недѣлю); вопросъ о праздничной и сверхурочной работахъ; вопросы, связанныя съ различіемъ рабочихъ по полу, возрасту, степени пригодности и работоспособности; вопросъ

¹⁾ Цитирую по дополненію къ 4-ой главѣ книги Уокера, сдѣланному Сатуринимъ, стр. 118.

²⁾ Цитир. по указ. статьѣ А. Рыкачева въ „Народномъ Хозяйствѣ“.

объ общихъ условіяхъ работы въ опредѣленной отрасли промышленности и вопросъ о работѣ малолѣтнихъ. Особо во всѣхъ законахъ отмѣчается право судовъ на установленіе минимума заработной платы и установленіе особой оплаты труда для рабочихъ, которые въ силу своихъ физическихъ качествъ не могутъ разсчитывать на полное вознагражденіе (напр., увѣчные, калѣки, престарѣлые)¹⁾.

Въ ново-зеландскомъ и федеративномъ законахъ въ сферу компетенціи третейскихъ судовъ входитъ еще право устанавливать за членами зарегистрированныхъ союзовъ преимущество въ случаѣ поисковъ работы. Это преимущество, установленное третейскимъ судомъ, даетъ рабочимъ союзамъ право требовать, чтобы предприниматели пополняли свой комплектъ рабочихъ преимущественно рабочими-юніонистами. Если, скажемъ, на мѣсто, открывшееся на фабрикѣ, есть два претендента: одинъ—членъ союза, другой—не членъ, и оба одинаково работоспособны и одинаково хорошо обучены профессіи, то предприниматель обязанъ взять члена союза. Въ случаѣ разсчета изъ-за сокращенія производства точно также въ первую очередь должны увольняться неорганизованные рабочіе. Законодательство Западной Австраліи не предоставило своему суду право устанавливать подобное преимущество за членами рабочихъ союзовъ, и не предоставило, какъ видно изъ текста закона, вполнѣ сознательно.

Мы оставляемъ въ сторонѣ другія болѣе мелкія правомочія, входящія въ компетенцію третейскихъ судовъ; оставляемъ въ сторонѣ также изложеніе того, какъ осуществляютъ суды свои правомочія, какими принципами руководятся они, разрѣшая тотъ или иной вопросъ, и съ какими затрудненіями сталкиваются, опредѣляя, на примѣръ, размѣръ поштучной платы за ботинки съ двойной подошвой или рѣшая, сколько можетъ быть учениковъ въ столярной мастерской съ двадцатью взрослыми рабочими... Даже изъ краткаго, сдѣланнаго нами перечня, видно, что законодательство, имѣющее свою цѣлью ограниченіе стачекъ и локаутовъ, приводитъ *de facto* къ полной, всесторонней государственной регламентаціи рабочаго договора. Первоначальная цѣль закона мѣняется, и въ жизни онъ служитъ иной, болѣе широкой цѣли²⁾. Цѣли этой третейскій судъ служитъ двумя путями: во-первыхъ, исполняя обычную роль судебного учрежденія, защищающаго силу и толкующаго значеніе существующихъ добровольно заключенныхъ коллективныхъ договоровъ; во-вторыхъ и главнымъ образомъ, устанавливая, въ случаяхъ отсутствія такого соглашенія, новыя условія труда³⁾.

1) Ср. Schachner, „Die sociale Frage“, S. 170.

2) Ср. Schachner, *ibid.*, s. 173 — Nogarо ук. соч., стр. 32, 45—46, 127.

3) Въ Новой Зеландіи и Западной Австраліи постановленія суда дѣйствительны максимумъ 3 года, постановленія федеративнаго суда дѣйствительны максимумъ 5 лѣтъ.

Нѣсколько словъ о виѣшной организаціи института. Предсѣдателемъ суда вездѣ является правительственный, назначенный губернаторомъ на опредѣленное число лѣтъ, судья¹⁾; онъ по своему положенію приравнивается къ членамъ высшаго судебного установленія своей страны. Въ федеративномъ судѣ судья этотъ рѣшаетъ единолично, въ новозеландскомъ и западно-австралійскомъ, кромѣ предсѣдательствующаго, въ составъ суда входятъ еще два члена, которые также назначаются губернаторомъ, но назначаются, согласно представленіямъ сторонъ, при чемъ каждая изъ сторонъ является представленной однимъ судьей. Приговоръ постановляется большинствомъ голосовъ; веденіе дѣла носитъ состязательный, но, по возможности, не формальный характеръ. Допускается апелліація въ общіе суды соотвѣтствующей страны, но въ тѣхъ лишь случаяхъ, когда приговоромъ третейскаго суда нарушено „общее право“ (напр., если судья вышелъ за предѣлы своей компетенціи).

Федеративный третейскій судъ можетъ передать поступившее къ нему дѣло на разрѣшеніе совѣщанія изъ представителей сторонъ или отослать его въ какое-либо мѣстное учрежденіе, предназначенное для разсмотрѣнія подобныхъ дѣлъ (напримѣръ, въ третейскій судъ отдѣльной колоніи). Въ Новой-Зеландіи и въ Западной Австраліи дѣла поступаютъ сначала въ особые примирительныя учрежденія: въ Западной Австраліи—въ примирительныя комитеты; въ Новой-Зеландіи—въ примирительныя совѣты (до 1908 года и въ Новой-Зеландіи были примирительныя комитеты). Примирительныя комитеты образуются изъ выборныхъ представителей сторонъ (въ одинаковомъ числѣ отъ каждой стороны), которые выбираютъ добавочнаго члена (третьяго, пятого, седьмого) въ качествѣ предсѣдателя. Если выборные не могутъ остановиться на одномъ предсѣдателѣ, послѣдній назначается губернаторомъ; стороны могутъ, минуя комитеты, обратиться прямо въ третейскій судъ. Такъ какъ рѣшенія выборныхъ комитетовъ не окончательныя и могутъ быть свободно обжалованы передъ третейскимъ судомъ, практическое значеніе ихъ весьма невелико. Комитеты прямо можно назвать мертвыми учрежденіями. Ново-зеландскіе примирительныя совѣты состоятъ или изъ постоянныхъ членовъ—профессіональных чиновниковъ,—или изъ лицъ, назначаемыхъ губернаторомъ специально для опредѣленнаго дѣла; къ нимъ могутъ быть присоединены выборные (въ равномъ числѣ) отъ сторонъ. Совѣты функціонируютъ слишкомъ недавно, чтобы можно было составить о нихъ опредѣленное мнѣніе, но новѣйшіе изслѣдователи вопроса, напр., Шахнеръ и Манесъ, считаютъ, что этотъ институтъ окажется куда болѣе жизнеспособнымъ и практичнымъ, чѣмъ институтъ комитетовъ. Отчетъ за 1909 г. о дѣятельности совѣтовъ показываетъ, что чиновники-члены ихъ въ очень многихъ случаяхъ

1) Федеративный судья назначается на 7 лѣтъ, прочіе на 3 года.

способствовали полному или частичному разрешенію спора, не доводя этого спора до третейскаго суда¹⁾.

За правильнымъ выполненіемъ предписаній суда надзираютъ сами стороны и судъ; но въ Новой-Зеландіи въ 1901 г. обязанность такого надзора возложена также на горныхъ и фабричныхъ правительственныхъ инспекторовъ²⁾.

Другая система принудительнаго государственнаго вмѣшательства, а именно комитеты для урегулированія рабочей платы, принята въ Викторіи (первый законъ 1896 г., нынѣ дѣйствующій 1906 г.), въ Новомъ Южномъ Уэльсѣ (зак. 1908 г.), въ Квинслэндѣ (зак. 1908 г.) и Южной Австраліи (нынѣ дѣйствующій законъ 1906 г.). Въ Новомъ Южномъ Уэльсѣ съ 1901 по 1908 годъ функционировала система третейскихъ судовъ, но въ 1908 г. реакціонное правительство замѣнило ее системой специальныхъ комитетовъ.

Непосредственной задачей „комитетовъ“ является принудительная нормировка рабочаго договора въ тѣхъ отрасляхъ промышленности, въ которыхъ обнаружена чрезмѣрная эксплуатація рабочихъ. Борьбой со стачками и локаутами комитеты прямо не задаются, но, устраняя главную причину стачекъ, они, несомнѣнно, служатъ средствомъ для ихъ предупрежденія и прекращенія. Съ этой главнымъ образомъ точки зрѣнія мы и рассмотримъ ихъ дѣятельность.

Дѣйствіе третейскихъ судовъ, какъ мы видѣли, можетъ быть распространено не только на всѣ отрасли промышленности, въ которыхъ имѣются зарегистрированные рабочіе союзы, но и на всѣ отрасли, соприкасающіяся съ ними. Дѣйствіе комитетовъ распространяется лишь на области, специально опредѣленные законодательствомъ (или резолюціями обѣихъ законодательныхъ палатъ, проводимыми въ жизнь правительствомъ; фактически этотъ порядокъ мало чѣмъ разнится отъ законодательнаго). Каждый новый комитетъ требуетъ особаго согласія законодательныхъ учреждений. Исключеніе представляетъ лишь порядокъ, принятый закономъ Новаго Южнаго Уэльса 1908 г., согласно которому организація новыхъ комитетовъ предоставлена правительству по почину рабочаго союза, или одного предпринимателя, или группы изъ 20 рабочихъ. Составляются регулирующие плату комитеты точно такъ же, какъ примирительные комитеты Западной Австраліи (до 1908 г. и Новой Зе-

¹⁾ Schachner, *ibid.*, стр. 178—179.

²⁾ Заканчивая изложеніе института третейскихъ судовъ, мы считаемъ нужнымъ добавить, что компетенція судовъ относительно рабочихъ, занятыхъ въ государственныхъ предпріятіяхъ (напр., на желѣзныхъ дорогахъ), ограничена, ибо многія изъ условій ихъ работы опредѣлены законодательнымъ путемъ. До 1910 г. компетенція федеративнаго суда не распространялась на сѣльско-хозяйственныхъ рабочихъ, а также рабочихъ, занятыхъ въ садахъ, винныхъ и молочныхъ производствахъ. Теперь это ограниченіе компетенціи уничтожено.

ландіи), изъ представителей обѣихъ сторонъ во главѣ съ выборнымъ или, въ случаѣ неудачи выборовъ, съ назначеннымъ председателемъ; въ Южной Австраліи председатель всегда по назначенію. Однако въ порядкѣ избранія имѣется существенное различіе. Члены примирительныхъ комитетовъ Западной Австраліи избираются рабочими союзами и, гдѣ они есть, союзами предпринимателей. Члены же комитетовъ по урегулированію заработной платы назначаются правительствомъ изъ лицъ, внесенныхъ въ особый списокъ непосредственно заинтересованными въ вопросѣ рабочими и предпринимателями. Въ томъ случаѣ, если пятая часть всѣхъ заинтересованныхъ рабочихъ или предпринимателей опротестуетъ назначенный составъ комитета, правительство во всѣхъ колоніяхъ кромѣ Новаго Южнаго Уэльса, обязано устроить выборы членовъ комитета. Въ этихъ выборахъ участвуютъ всѣ полноправные (граждански) рабочіе и всѣ предприниматели, какъ организованные, такъ и неорганизованные. Такъ образуется комитетъ. Мы видѣли, что въ Новой-Зеландіи и Западной Австраліи въ третейскихъ судахъ имѣются члены, назначенные губернаторомъ по представленію сторонъ (т. е. фактически избранные сторонами), но роль этихъ членовъ и членовъ комитетовъ для урегулированія заработной платы различна. Члены третейскихъ судовъ, назначенные по представленію сторонъ, все-таки прежде всего судьи. Спорящія стороны въ третейскихъ судахъ представлены не этими членами суда, а особыми довѣренными сторонъ. Выборные же (или назначенные изъ списковъ) члены „комитетовъ по урегулированію заработной платы“ непосредственно представляютъ спорящія стороны, и единственнымъ, такъ сказать, безпартійнымъ членомъ комитета (въ принципѣ) является председатель. Отсюда большая страстность засѣданій комитетовъ, по сравненію съ третейскими судами, и меньшая возможность добиться объективной (хотя бы чисто фактической) правды. Огромное значеніе председателя понятно само собою.

Ясно, что изъ трехъ специфическихъ чертъ института третейскихъ судовъ у института „комитетовъ“ совершенно отсутствуетъ черта организующая: „комитетская система“ вовсе не требуетъ организованности отъ рабочихъ для своего примѣненія. Принципъ уравнилельный имѣется, но выраженъ онъ не съ такой опредѣленностью, какъ въ институтѣ третейскихъ судовъ; его фактическое осуществленіе зависитъ отъ воли учредителей отдѣльныхъ комитетовъ (отъ того, какую сферу примѣненія и какую компетенцію они дадутъ комитетамъ). Наконецъ, принудительный характеръ одинаково присущъ, какъ третейскимъ судамъ, такъ и комитетамъ. Комитетскія постановленія имѣютъ такую же обязательную силу, какъ и приговоры третейскаго суда. Впрочемъ, обжалованіе ихъ согласно всѣмъ законодательствамъ, кромѣ квинслэндскаго, допускается не только по причинѣ „нарушенія права“, а и по той при-

чинѣ, что комитетское постановленіе нарушаетъ „интересы промышленности“ или вообще несправедливо по своему существу. Для такой апелляціи „по существу постановленія“ (право ея, кромѣ членовъ комитета, предоставлено еще правительству, а также 25% заинтересованныхъ рабочихъ или хозяевъ) во всѣхъ колоніяхъ, принявшихъ систему комитетовъ, кромѣ Квинслэнда, существуютъ особые апелляціонные суды (въ Новомъ Южномъ Уэльсѣ—*industrial court*; въ Викторіи и Южной Австраліи—*court of industrial appeals*). Суды эти состоятъ изъ судей чиновниковъ; выборный элементъ, если и допускается, то лишь съ совѣщательнымъ голосомъ. Рѣшенія этихъ апелляціонныхъ судовъ могутъ быть обжалованы въ соответствующее общее судебное установленіе лишь въ случаѣ „нарушенія права“. За исполненіемъ постановленій комитетовъ и апелляціонныхъ судовъ надзираетъ промышленная инспекція. Штрафы за нарушеніе постановленій достаточно суровы и простираются до полного закрытія предпріятій провинившихся хозяевъ. Въ законѣ Новаго Южнаго Уэльса имѣется снабженное тяжелой уголовной санкціей, запрещеніе стачекъ и локаутовъ; въ другихъ законахъ такого запрещенія не имѣется, ибо не борьба со стачками (какъ было уже отмѣчено) была прямой цѣлью законодательства¹⁾.

Переходя къ вопросу о компетенціи комитетовъ, надо сказать, что она значительно шире, чѣмъ можно было бы предполагать, судя по наименованію комитетовъ. Въ данномъ отношеніи различій между отдѣльными законодательствами больше, чѣмъ въ другихъ отношеніяхъ. Викторіанское законодательство относитъ къ компетенціи комитетовъ: вопросъ о заработной платѣ (ея минимумѣ, формѣ расплаты, разницѣ въ оплатѣ мужского и женскаго труда, труда взрослыхъ рабочихъ и подростковъ и т. д.); вопросъ о длинѣ рабочаго дня или рабочей недѣли; вопросъ о подмастерьяхъ (ихъ численное отношеніе къ числу полноправныхъ рабочихъ опредѣляется съ цѣлью противостоять вытѣсненію послѣднихъ подмастерьями); а также (по новеллѣ 1910 г.) вопросъ о началѣ и концѣ рабочаго дня и о сверхурочной и праздничной работѣ. Въ Южной Австраліи, кромѣ всего этого, къ компетенціи комитетовъ принадлежитъ вопросъ о продолжительности „ученичества“ для подростковъ рабочихъ. Въ Квинслэндѣ и Новомъ Южномъ Уэльсѣ комитеты могутъ опредѣлять численное отношеніе къ полноправнымъ рабочимъ не только подмастерьевъ, какъ въ Южной Австраліи,

¹⁾ Сходство организаціи системы комитетовъ въ разныхъ колоніяхъ объясняется тѣмъ простымъ обстоятельствомъ, что всѣ колоніи, позднѣе введшія у себя институтъ, достаточно слѣпо подражали викторіанскому законодательству. Отличіе закона Новаго Южнаго Уэльса (см. выше) объясняется, съ одной стороны, тѣмъ, что законъ этотъ сохранилъ нѣкоторыя черты замѣненнаго имъ закона о третейскомъ судѣ, съ другой — реакціонностью составителей закона.

но и учениковъ. Въ остальномъ оба законодательства повторяютъ постановленія викторіанскаго закона (исключая постановленія новеллы 1910 г.). Въ общемъ, и комитетамъ, стало быть, предложена возможность достаточно широко и всесторонне регламентировать принудительнымъ образомъ условія рабочаго договора.

III.

Обратимся теперь къ оцѣнкѣ результатовъ примѣненія разсмотрѣннаго законодательства. Если говорить о его вліяніи на стачечное движеніе, то здѣсь придется констатировать полное согласіе во взглядахъ, какъ у противниковъ института, такъ и у его сторонниковъ. Даже самые непримиримые враги принудительнаго государственнаго вмѣшательства признаютъ, что вліяніе третейскихъ судовъ и комитетовъ на промышленные конфликты—самое умнотворяющее.

Въ 1908 году (17 іюня) новозеландскій министръ юстиціи Файндлэй произнесъ большую рѣчь о законѣ о третейскомъ судѣ. Между прочимъ онъ сказалъ, что со времени введенія закона „въ Новой-Зеландіи было всего 18 стачекъ, и всѣ онѣ были кратковременны и небольшого размѣра; только 12 изъ нихъ противорѣчили закону; 6 же, находясь внѣ поля его дѣйствія, совершенно его не касались. Въ противозаконныхъ стачкахъ участвовало всего 740 человѣкъ, т. е. $\frac{1}{300}$ всѣхъ наемныхъ рабочихъ; присоединяя сюда участниковъ и остальныхъ 6 стачекъ, мы все-таки увидимъ, что всѣхъ стачечниковъ было лишь около 1200 человѣкъ, т. е. $\frac{1}{300}$ общаго числа рабочихъ (это число въ Новой-Зеландіи равно 250,000 человѣкъ). Время, потерянное для работы благодаря стачкамъ, ничтожно... Теперь сравните съ этими данными данныя, касающіяся всей Великобританіи, гдѣ за десятилѣтіе 1891-1900 годовъ были 7931 стачка, въ которыхъ участвовало 2,732,169 рабочихъ (т. е. свыше 20% всего числа рабочихъ), при чемъ было потеряно 106 милліоновъ рабочихъ дней“¹⁾.

Аналогичное свидѣтельство имѣется и относительно дѣйствія викторіанскаго закона о комитетахъ по урегулированію заработной платы и законовъ другихъ колоній. Одинъ изъ фабричныхъ инспекторовъ Викторіи называетъ законъ о комитетахъ „системой уничтоженія стачекъ“²⁾. Вообще статистика стачекъ въ Австраліи даетъ поразительно небольшія цифры: въ то время, какъ въ другихъ странахъ количество стачекъ измѣряется тысячами и десятками тысячъ, здѣсь оно измѣряется единицами и десятками. Боль-

¹⁾ Schachner, *ibid.*, стр. 198.

²⁾ *Ibid.*, 240. Ср. Clark, стр. 239 и слѣд.

Апрѣль. Отдѣлъ I.

нія стачки начала 90-х годовъ прошлаго столѣтія, которыя, какъ указано выше и были непосредственнымъ поводомъ ко введенію принудительнаго государственнаго вмѣшательства въ условія рабочаго договора, теперь отошли въ Австралію въ область преданій. Надо, впрочемъ, отмѣтить, что за самыя послѣдніе годы наблюдается опять нѣкоторый подъемъ стачечнаго движенія. Въ Новой-Зеландіи, напримѣръ, гдѣ институтъ третейскаго суда дѣйствуетъ съ 1894 г., первая стачка, нарушавшая законъ, была въ февралѣ 1907 г.; затѣмъ съ апрѣля 1908 г. по 31 марта 1909 г. было три противозаконныхъ стачки. Въ Западной Австраліи въ 1907 г. имѣла мѣсто также довольно большая стачка рабочихъ лѣсной промышленности. Нѣсколько противозаконныхъ стачекъ было за послѣдніе годы также въ Новомъ Южномъ Уэльсѣ ¹⁾. Но въ общемъ методъ открытой классовой борьбы въ Австраліи находить весьма незначительное примѣненіе.

Насколько однако выгодно припудительное вмѣшательство государства для всего общегітія и для сторонъ? Что касается предпринимателей, то они почти единодушны въ своемъ отрицательномъ отношеніи. Особенно много недовольства вызываетъ вмѣшательство государственныхъ властей въ формѣ третейскаго суда. Интересны результаты анкеты, произведенной въ концѣ прошлаго столѣтія по этому поводу въ Новой-Зеландіи. Отвѣтовъ отъ предпринимателей было получено болѣе 100; изъ нихъ болѣе или менѣе сочувственныхъ закону—5; нерѣшительныхъ голосовъ столько же; остальные предприниматели (болѣе 90) категорически высказались противъ вмѣшательства государства ²⁾. Еще опредѣленнѣе высказались предприниматели, на сей разъ по поводу только системы третейскаго суда, въ 1906 г. Въ этомъ году на конференціи предпринимательскихъ союзовъ всей Австраліи было единогласно постановлено рѣшеніе, выражающее протестъ противъ третейскаго суда. Интересно, что главнымъ мотивомъ, которымъ руководились предприниматели, выводя такое рѣшеніе, былъ тотъ, что система третейскаго суда чрезмѣрно усиливаетъ силу рабочихъ организацій и что, ничего не имѣя противъ профессиональныхъ союзовъ рабочихъ, предприниматели осуждаютъ ихъ превращеніе въ политическую машину ³⁾. Какъ будто предпринимательскіе союзы не играютъ роли политическихъ машинъ для консервативныхъ и умѣренно-либеральныхъ партій всюду, гдѣ союзы имѣются на лицо!..

¹⁾ Къ сожалѣнію, мы нигдѣ не нашли точныхъ статистическихъ данныхъ о размѣрахъ стачечнаго движенія и должны удовольствоваться лишь общими указаніями.

²⁾ См. А. Рыкачевъ, ук. стр.—Ср также Métin, „Législation etc“, стр 120—121.

³⁾ Schachner, стр. 201.

Нападки предпринимателей на систему комитетовъ нѣсколько слабѣе, чѣмъ на систему третейскаго суда, но и система комитетовъ находятъ у нихъ рѣшительное осужденіе. Каждый разъ, когда въ какой-нибудь колоніи вносятся извѣстные поправки или дополненія къ законодательству, предприниматели путемъ „своей“ прессы и „своей“ палаты ¹⁾ ведутъ кампанію противъ всего законодательства. При этомъ, если систему комитетовъ не упрекаютъ—да ее и нельзя упрекнуть—въ излишнемъ благопріятствованіи рабочимъ союзамъ, то всѣ остальные упреки, посылаемые по адресу третейскихъ судовъ, повторяются также и по адресу комитетовъ. Упреки эти весьма разнообразны и весьма многочисленны. Предприниматели говорятъ отъ своего собственнаго лица, и отъ лица всей австралійской промышленности и общихъ интересовъ, связанныхъ съ нею, и даже отъ лица рабочаго класса.

Прежде всего противники закона доказываютъ, что принудительное государственное вмѣшательство, удорожая производство, стѣсненное строгой и всесторонней регламентаціей, весьма плохо отзывается на промышленной жизни страны. Капиталы отливаются изъ страны въ иныя мѣста, гдѣ они могутъ найти себѣ лучшее примѣненіе; предприниматели вынуждены сокращать свои предпріятія; растетъ ввозъ въ страну продуктовъ чужой промышленности и уменьшается вывозъ изъ страны. Затѣмъ, въ силу повышенія зар. аботной платы, уменьшенія часовъ работы и пр. и пр. предприниматели должны отказываться отъ слабосильныхъ и неловкихъ рабочихъ, оставляя ихъ такимъ образомъ безъ куска хлѣба. А въ результатъ ничего будто бы не выигрываютъ даже сохранившіе работу рабочіе. Вздорожаніе производства повышаетъ цѣну продуктовъ, и рабочіе все, что они выигрываютъ, какъ производители, теряютъ, какъ потребители, уплачивая за продукты дороже, чѣмъ раньше. Указываютъ также на отрицательное вліяніе законодательнаго вмѣшательства на самую психологію рабочихъ, на то, что энергія послѣднихъ, направленная на самопомощь, ослабѣваетъ.

Насколько справедливы всѣ эти упреки? Такъ какъ предприниматели особенно энергично и горячо нападаютъ на институтъ третейскаго суда, то вотъ нѣсколько цифръ, характеризующихъ развитіе промышленности въ австралійскихъ колоніяхъ, принявшихъ этотъ институтъ (цифры взяты у Шахнера, стр. 205):

¹⁾ Верхней законодательной палаты. За исключеніемъ федеральнаго сената, всѣ остальные верхнія законодательныя палаты, т. е. палаты отдѣльных колоній, построены на цензовомъ избирательномъ правѣ и потому готовы поддержать капиталъ противъ труда.

	Годы.	Количество фабрикъ.	Число рабочихъ.	Стоимость продуктовъ.
Новый Южный Уэльсъ. (До 1906 года тамъ былъ, какъ указано, инстит. третейскаго суда)	1901	3.367	66.230	5.860.725
	1907	4.432	86.467	9.043.772 ф. стерл.
Западная Австралія.	1901	662	12.198	1.463.818
	1908	774	13.276	1.796.319
Новая-Зеландія.	1895	4.109	29.879	3.852.457 (1900 г.).
	1909	12.040	78.848	5.392.522 (1906 г.)

Говорить объ упадкѣ промышленности не приходится. Аналогичное впечатлѣніе даютъ цифровыя данныя и по другимъ колоніяхъ ¹⁾).

Совершенно необоснованнымъ является утвержденіе, что государственное вмѣшательство въ сферу рабочаго договора вызываетъ отливъ капиталовъ изъ страны. Кларкъ, особенно подробно анализирующій аргументы противниковъ законодательства, заявляетъ самымъ категорическимъ образомъ, что нѣтъ даже слѣда указаній на то, чтобы приливъ или отливъ капиталовъ изъ страны стоялъ въ какой-либо связи съ законодательствомъ. То же самое повторяютъ и Мэтэнъ, и Ногаро, и основательнѣйшій изслѣдователь австралійской соціальной жизни Шахнеръ.

Точно также голословно заявленіе противниковъ законодательства, что послѣднее лишаетъ куска хлѣба слабосильныхъ и неловкихъ рабочихъ. Конечно, предприниматели всегда стремятся избавиться отъ такихъ элементовъ въ своемъ рабочемъ составѣ. Но законодательство, предоставляя судамъ и комитетамъ право устанавливать пониженную таксу для подобныхъ элементовъ, наоборотъ, даже улучшаетъ ихъ положеніе ²⁾).

Въ одномъ, на первый взглядъ, статистическія цифры до извѣстной степени гармонируютъ съ доводами противниковъ законодательства: въ Новой-Зеландіи—родинѣ третейскихъ судовъ—повышеніе заработной платы, имѣвшее мѣсто за время дѣйствія послѣднихъ, не принесло фактически увеличенія бюджетныхъ средствъ рабочихъ, ибо соотвѣтственно повысилась и стоимость продуктовъ потребления. Нѣкоторые статистики даже преувеличивали ростъ стоимости послѣднихъ. Въ 1906 году одинъ изъ ново-зеландскихъ чиновниковъ, специалистовъ по рабочему вопросу, заявилъ, что въ то время, какъ за періодъ дѣйствія третейскаго суда заработная плата возросла на 8%, стоимость продуктовъ жизненной необходимости возросла на 15—20%. Въ 1907 году ново-зеландскій министръ Миллеръ заявилъ, что заработная плата за время дѣйствія третейскаго суда возросла на 8½%, а стоимость продуктовъ на 22%. Однако позднѣйшія, болѣе тщательныя изысканія показали, что въ Новой-Зеландіи съ 1895 по 1907 годъ заработная плата возросла на

¹⁾ Ср. Clark, стр. 219.

²⁾ Schachner, стр. 243.

23%, а стоимость продуктовъ жизненной необходимости на 22%¹⁾. Во всякомъ случаѣ получалось впечатлѣніе извѣстнаго параллелизма въ возрастаніи этихъ цифръ, и не мудрено, что противники принудительнаго государственнаго вмѣшательства въ сферу рабочаго договора энергично напирають на эти цифры. Надо сказать, что повышение цѣнъ на продукты жизненной необходимости произошло во всей Австралазіи, но на Австралійскомъ материкѣ мѣнѣе кричать о виновности въ данномъ случаѣ государственной регламентаціи рабочаго договора, чѣмъ въ Новой-Зеландіи.

Однако можно ли винить въ данномъ нежелательномъ явленіи эту регламентацію? Седдонъ — знаменитый ново-зеландскій дѣятель, ставшій во главѣ мѣстнаго правительства съ 1893 года, говоря о причинахъ повышения стоимости жизненныхъ продуктовъ, винилъ въ этомъ, прежде всего, земельную спекуляцію. „Вопреки повышенію заработной платы—писалъ этотъ государственный дѣятель — рабочимъ не живется лучше, чѣмъ раньше, такъ какъ слишкомъ уже растутъ цѣны на продукты жизненной необходимости. Выгоду получаютъ не рабочіе и не предприниматели, а субъекты, забирающіе себѣ повышающуюся цѣнность земли и тѣмъ лишающіе предпринимателей плодовъ ихъ дѣятельности, рабочихъ—платы за трудолюбіе“²⁾.

Чтобы понять причины повышения цѣнъ на продукты въ Австраліи, надо учесть и то обстоятельство, что за послѣдніе десятилѣтія Австралія, какъ производительница сырья, вовлечена въ мировую торговлю. Въ 1881 г. впервые былъ примѣненъ методъ замораживанія мяса для пересылки его на дальнія разстоянія. Лѣтъ десять этотъ методъ не получалъ большого развитія, но въ девяностыхъ годахъ, когда на лицо оказался надлежащій торговый флотъ (съ холодильниками), Австралія начинаетъ посылать за океанъ огромное количество замороженной говядины, свинины и особенно баранины. Раньше на овцеводство въ Австраліи глядѣли, какъ на способъ добычи шерсти; теперь начинаютъ глядѣть на него, какъ на способъ добыванія и мяса. Параллельно съ увеличеніемъ спроса за океаномъ на австралійское мясо увеличивается спросъ и на сыръ, яйца, масло и другіе продукты, вывозъ которыхъ также находится въ тѣсной зависимости отъ способовъ консервированія ихъ на продолжительное время (почему усовершенствованіе холодильнаго искусства и соотвѣтственное приспособленіе торговаго флота и здѣсь сыграло огромную роль). Параллельно же съ увеличеніемъ этого спроса шло развитіе желѣзнодорожной сѣти въ Австраліи, облег-

¹⁾ Schachner, стр. 217 и слѣд., ср. Nogaro стр. 99 и слѣд. Métin (стр. 179 и слѣд.) доказываетъ, на основаніи данныхъ 1878—1899 г., что происходитъ пониженіе, а не повышеніе цѣнъ на предметы первой необходимости. Однако данныя его опровергаются болѣе поздними свѣдѣніями. Впрочемъ, по сравненію съ 1878 г., цѣны на жизненные продукты сейчасъ упали (см. ниже).

²⁾ Schachner, стр. 219.

чавшее сношеніе между отдѣльными частями ея. Въ результатъ продукты, служившіе раньше лишь для удовлетворенія мѣстныхъ потребностей, теперь начинаютъ служить для удовлетворенія потребностей Лондона, Ливерпуля, Берлина и пр., и цѣны на эти продукты начинаютъ зависѣть отъ цѣнъ лондонскихъ и берлинскихъ.

Этимъ-то фактомъ--вовлеченіемъ Австраліи въ мировой обмѣнъ — и объясняется, главнымъ образомъ, повышение цѣнъ на многіе продукты. Вообще, съ развитіемъ и усовершенствованіемъ способовъ мировой торговли, цѣны на продукты этой торговли становятся въ зависимость не отъ тѣхъ или иныхъ частныхъ и мѣстныхъ условій, а прежде всего и больше всего отъ общихъ условій мирового рынка. А такой выводъ категорически опровергаетъ обвиненія, высказываемыя австралійскими предпринимателями противъ государственной принудительной нормировки условій рабочаго труда.

Переходя къ дальнѣйшимъ доводамъ противниковъ законовъ, надо сказать, что въ отдѣльныхъ случаяхъ принудительная регламентировка вызываетъ и сокращеніе производства, и даже закрытіе нѣкоторыхъ предпріятій... Но какихъ? Тѣхъ, существованіе которыхъ основывалось на чрезмѣрной эксплуатаціи рабочихъ, на выработкѣ мало доброкачественныхъ (благодаря утилизациі дешевой рабочей силы), плохо сдѣланныхъ продуктовъ и пр., и пр... Ногаро приводитъ въ своей, уже не разъ цитировавшейся нами, работѣ интересное сообщеніе, что болѣе сильныя экономическія предпріятія охотно соглашаются на подчиненіе условіямъ, весьма выгоднымъ для рабочихъ, но съ тѣмъ, чтобы эти условія стали общими для всѣхъ предпріятій опредѣленной промышленности. Въ результатъ мелкія предпріятія приходятъ въ упадокъ. Побѣждаютъ, по выраженію Ногаро, „лучшія“ предпріятія. „Рабочее законодательство ускоряетъ процессъ концентраціи производства, который совершается по всей землѣ“ ¹⁾.

Такимъ образомъ принудительная государственная регламентация рабочаго договора не даетъ тѣхъ печальныхъ результатовъ, въ какихъ ее обвиняють. Будучи невыгодной для всѣхъ предпріятій, которыя рассчитываютъ наживать барыши путемъ чрезмѣрной эксплуатаціи силъ рабочихъ или путемъ примѣненія дешеваго, но недостаточнодоброкачественнаго труда, стѣсняя далѣе „хозяйскую волю“ всѣхъ предпринимателей безъ исключенія, эта система, *по крайней мѣрѣ, въ ея примѣненіи въ Австраліи, не наноситъ никакого замѣтнаго ущерба хозяйственной жизни страны* ²⁾.

¹⁾ Ногаро, стр. 110. Schachner, стр. 200 и слѣд., стр. 240.

²⁾ Рѣзко выраженное отрицательное отношеніе всѣхъ австралійскихъ предпринимателей къ „рабочему законодательству“, надо думать, въ значительной части—не больше, какъ политическій маневръ. Дѣло идетъ, пожалуй, не столько о самомъ рабочемъ законодательствѣ, сколько о таможенной системѣ

Но если рабочее законодательство Австраліи не оказываетъ замѣтнаго отрицательнаго вліянія на соціально-экономическую дѣятельность, то оказываетъ ли оно положительное вліяніе? Отвѣчая на этотъ вопросъ, надо, конечно, имѣть въ виду прежде всего точку зрѣнія рабочихъ Австраліи, интересамъ которыхъ рабочее законодательство должно служить. И лучшимъ отвѣтомъ на этотъ вопросъ будетъ то, что до сихъ поръ рабочія партіи всѣхъ частей Австраліи въ числѣ своихъ программныхъ требованій выставляютъ требованіе сохраненія и развитія принудительнаго государственнаго вмѣшательства въ область рабочаго договора (форма третейскаго суда предпочитается въ общемъ формѣ комитетовъ).

Вмѣшательство это, по свидѣтельству представителей рабочихъ организаций, очень мало повліяло на повышеніе заработной платы. Среди австралійскихъ рабочихъ и ихъ вожаковъ многіе даже держатся того убѣжденія, что путемъ стачекъ и коллективныхъ договоровъ, заключенныхъ непосредственно съ предпринимателями (безъ участія государства), рабочіе въ иныхъ случаяхъ добились бы даже большей заработной платы, чѣмъ теперь ¹⁾. Но, не смотря на это, рабочій классъ Австраліи въ общемъ очень и очень сочувственно относится къ рабочему законодательству своей страны, какъ борющемуся съ системой выжиманія пота, уничтожающему систему „сверхурочной работы“, дающему рабочимъ куда больше увѣренности въ завтрашнемъ днѣ, чѣмъ безъ законодательства и государственнаго вмѣшательства.

Одинъ изъ самыхъ новѣйшихъ изслѣдователей соціальной дѣятельности Австраліи, Альфредъ Манесъ, такимъ образомъ резюмируетъ свои разсужденія о значеніи комитетовъ и третейскихъ судовъ для рабочаго класса:

„Прежде всего они служатъ гарантіей полученія достаточной (auskömmlich) минимальной заработной платы, Living wage, и соразмѣрнаго максимума рабочихъ часовъ. Но, кромѣ этого, изъ нихъ вытекаютъ слѣдующія выгоды для рабочихъ: они защищаютъ добпорядочныхъ, хорошо оплачивающихъ трудъ своихъ рабочихъ предпринимателей противъ такихъ, которые вслѣдствіе выматыванія рабочей силы изъ своихъ служащихъ, нечистой конкуренціей имѣютъ возможность продавать продукты по болѣе дешевой цѣнѣ; благодаря имъ, предприниматели могутъ также гораздо

Австраліи... Оглашая воздухъ криками о невыгодности, о раззорительности „рабочаго законодательства“, предприниматели, въ видѣ компенсаціи, настаиваютъ на сохраненіи системы „покровительственныхъ“ тарифовъ, позволяющей имъ не считаться съ заокеанскою конкуренціей. О таможенной политикѣ Австраліи см. соч. Schachner'a, „Australien in Politik, Wirtschaft und Kultur“, стр. 191—247. Очень интересныя данныя и соображенія о связи рабочаго вопроса съ вопросами таможенной политики въ Австраліи даетъ Шарль Дешаръ въ статьѣ „L'organisation du travail en Australie“ („Revue politique et parlementaire“, 1908, № 171, стр. 579—592).

¹⁾ Ср. Schacher, „Die sociale Frage“, стр. 213—214.

правильнѣе дѣлать свои промышленно-торговые расчеты, такъ какъ на определенное число лѣтъ впередъ устанавливаются определенная заработная плата и определенное рабочее время; едва-ли также можно сомнѣваться, что стачки и локауты возникаютъ куда рѣже, чѣмъ раньше, изъ-за незначительныхъ причинъ¹⁾.

Но и Манесъ, и Шахнеръ, и Ногаро, и всѣ другіе изслѣдователи принудительнаго государственнаго вмѣшательства въ условія рабочаго договора видятъ, наряду съ достоинствами попытокъ такого разрѣшенія классовыхъ конфликтовъ, и недостатки его²⁾. Какъ во всѣхъ почти другихъ вопросахъ, касающихся рабочаго Законодательства Австраліи, лучшее освѣщеніе этой стороны проблемы мы находимъ у Шахнера. Не вдаваясь въ детали изложенія, резюмируемъ просто выводы этого безвременно погибшаго австраловѣда³⁾. Шахнеръ отмѣчаетъ, прежде всего, что третейскіе правительственные судьи и представители комитетовъ далеко не всегда отвѣчаютъ требованіямъ строгой безпристрастности. Почти всегда по своему социальному положенію они принадлежатъ къ среднимъ классамъ или даже къ классу предпринимателей. И бываетъ, что рабочіе по вполне основательнымъ причинамъ оказываются недовольными ихъ рѣшеніями. Въ 1907 г. викторіанскіе пекари, недовольные рѣшеніемъ комитета, обжаловали рѣшеніе передъ апелляціонной инстанціей; когда ихъ жалоба была оставлена безъ послѣдствій, они объявили забастовку. И что же? Самъ правительственный фабричный инспекторъ былъ вынужденъ публично признаться, что виноватъ въ этой забастовкѣ исключительно комитетъ, постановившій несправедливое рѣшеніе⁴⁾. Такіе случаи несправедливыхъ (или не вполне справедливыхъ) приговоровъ въ общемъ нерѣдки.

Встрѣчаются сплошь да рядомъ жалобы и на то, что законы и постановленія комитетовъ и третейскихъ судовъ плохо исполняются; предприниматели умѣютъ находить способы для обхода закона. Особенно часты эти жалобы при комитетской системѣ, при которой рабочіе гораздо хуже организованы, чѣмъ при системѣ третейскаго суда.

Очень много жалобъ вызываетъ и медленность производства. Гдѣ нужно успокоить начинающееся обостреніе недовольства рабочихъ, надо дѣйствовать быстро и энергично; между тѣмъ проце-

¹⁾ А. Манесъ, стр. 269.

²⁾ Болѣе ранніе писатели, какъ Ривсъ, Мэтэнъ и др., меньше обращали вниманія на тѣневую сторону вопроса. Г. Мижуевъ въ своей оцѣнкѣ также забываетъ о тѣневой сторонѣ. Ср. подобранные имъ отзывы, на стр. 140 и слѣд.

³⁾ Шахнеръ скончался 1910 г., кажется, на 40-мъ году отъ роду. Онъ написалъ пятнадцать работъ, посвященныхъ социальной жизни Австраліи. Цитируемое нами такъ часто двухтомное изслѣдованіе представляетъ сводку всѣхъ этихъ работъ.

⁴⁾ Schachner, „Die sociale Frage“. стр. 241.

дура улаженія конфликта затягивается иногда на много мѣсяцевъ. Въ данномъ отношеніи особенно много нареканій вызываетъ система третейскаго суда, соединенная не съ примирительными совѣтами (какъ теперь въ Новой-Зеландіи), а съ примирительными комитетами (какъ раньше до 1908 года въ Новой-Зеландіи и какъ теперь въ Западной Австраліи). Наименѣе нареканій вызываетъ нынѣ дѣйствующая ново-зеландская система. Насколько примирительные комитеты (бывшіе до 1908 г.) тормазили дѣло, принося фактически очень мало пользы, настолько ускоряютъ дѣло примирительные совѣты. Стараніями ихъ членовъ-чиновниковъ, какъ было уже указано выше, улажено большое число конфликтовъ при чемъ, въ силу простоты процедуры и непосредственныхъ сношеній указанныхъ чиновниковъ со сторонами, улаживаніе происходило быстро ¹⁾).

Не смотря на всѣ эти недостатки, до извѣстной степени устранимые, до извѣстной степени органически связанные съ классовой структурой современнаго общества, рабочій классъ Австраліи въ общемъ, какъ уже сказано, относится сочувственно къ идеѣ „рабочаго законодательства“ и охотно предоставляетъ главную роль государственной власти.

IV.

Считаемъ необходимымъ сказать еще нѣсколько словъ о попыткахъ перенесенія особенностей австралійскаго рабочаго законодательства въ законодательства другихъ странъ. Эти попытки, какъ было сказано выше, пока или незначительны, или нерѣшительны. Кромѣ того, онѣ слишкомъ новы и результаты недостаточно опредѣлились. Все это избавляетъ отъ распространеннаго изложенія ихъ. Но вкратцѣ познакомить съ ними все же необходимо.

До извѣстной степени вліяніе австралійскаго законодательства отражаетъ въ себѣ канадскій „Industrial Disputes Investigation Act“, изданный въ 1907 г. Законъ этотъ требуетъ отъ рабочихъ и хозяевъ предпріятій, имѣющихъ важное общественное значеніе (желѣзныя дороги, телеграфы, рудники, газовыя и электрическія предпріятія), чтобы они сообщали о желаніи измѣнить заработную плату или рабочее время за 30 дней. Если другая сторона не согласна на измѣненіе, то учреждается особая коммиссія для изслѣдованія вопроса. Пока идетъ разслѣдованіе, стачки и локауты запрещены подъ угрозой лишенія свободы и большихъ денежныхъ штрафовъ. Но, когда коммиссія вынесетъ свое рѣшеніе и оно не будетъ принято сторонами, право на стачки и локауты возобновляется.

¹⁾ Schachner. стр. 178-179. Manes, стр. 267-268.

Здѣсь государственное принужденіе абсолютнаго характера распространяется лишь на опредѣленные въ законѣ предпріятія и, что еще существеннѣе, запрещаетъ стачки и локауты не совершенно, а лишь до конца слѣдственного производства. Составители и вдохновители закона, впрочемъ, надѣялись, что подъ давленіемъ общественнаго мнѣнія стороны въ громадномъ большинствѣ случаевъ откажутся идти противъ рѣшенія слѣдственной комиссіи ¹⁾.

Болѣе рѣшителенъ въ своей борьбѣ противъ стачекъ и локаутовъ женевскій законъ отъ 26 марта 1904 г. (замѣнилъ аналогичный законъ 10 февраля 1900). Законъ этотъ исходитъ изъ мысли, что въ томъ случаѣ, если между сторонами не состоится соглашения, условія работы должны быть опредѣлены согласно мѣстному обычному праву. Въ дѣйствительности же законъ предписываетъ въ такихъ случаяхъ издавать спеціальныя тарифы. Сначала необходимо попытаться установить эти тарифы путемъ примирительнаго процесса предъ Правительственнымъ Совѣтомъ (Regierungsrat); если же и этимъ путемъ соглашение не будетъ достигнуто, то дѣло рѣшается приговоромъ центральной комиссіи промышленнаго суда. Для введенія подобной тарифной системы въ опредѣленную отрасль промышленности необходимо, чтобы рабочій союзъ этой отрасли выполнилъ извѣстныя формальности (былъ занесенъ въ особый регистръ и обладалъ статутомъ, не содержащимъ ничего противозаконнаго). Отрасли промышленности, рабочіе которыхъ не организованы, также могутъ быть подчинены данной тарифной системѣ, при чемъ мѣсто союза замѣняетъ коллективъ изъ всѣхъ рабочихъ, пріобрѣвшихъ осѣдность въ Женевѣ раньше, чѣмъ за три мѣсяца до момента установленія тарифовъ. Тарифы заключаются на срокъ до 5 лѣтъ (не выше). Пока новый тарифъ не получитъ законной силы, дѣйствуетъ старый. Подъ угрозою наказанія запрещены локауты и стачки, имѣющіе цѣлью измѣнить существующій тарифъ ²⁾.

Таковъ законъ, результаты примѣненія котораго, по свѣдѣтельству освѣдомленныхъ лицъ, очень благопріятны. Онъ явно носитъ въ себѣ слѣды вліянія ново-зеландскаго законодательства. Стачки и локауты здѣсь, какъ и въ Новой-Зеландіи, возможны лишь въ тѣхъ отрасляхъ промышленности, гдѣ рабочіе союзы отказались подчиниться предусмотрѣнному закономъ формально-стямъ.

Наконецъ, мы должны здѣсь упомянуть билль о минимумѣ платы для англійскихъ горнорабочихъ, вотиrowанный англійскимъ парламентомъ въ 1912 г. Суть этого билля въ краткихъ чертахъ слѣдующая: 1) признается обязательнымъ уста-

¹⁾ Skelton, „Die kanadische Anti-Streikgesetzgebung“ въ „Dokumente des Vorschritts“. Berlin, 1908, стр. 551—553. Cp. Herkner, стр. 253—259.

²⁾ Weber, „Recht und Unrecht bei Arbeiterausständen“ („Zeitschrift für Strafrecht“, XIX, 3. Heft. Bern, 1906, стр. 277—294. Herkner, стр. 257.

новленіе извѣстнаго минимума заработной платы; минимумъ этотъ для различныхъ каменноугольныхъ районовъ можетъ быть различнымъ; 2) размѣры минимума въ каждомъ районѣ опредѣляются особыми камерами, въ составъ которыхъ входятъ представители сторонъ (поровну) и предсѣдатель, назначенный правительствомъ; 3) въ случаѣ разногласія между сторонами вопросъ рѣшается окончательно предсѣдателемъ.

Законъ этотъ, согласно заявленію самихъ составителей его, внушенъ викторіанскимъ законодательствомъ относительно комитетовъ о заработной платѣ. Полномочія англійскихъ камеръ значительно уже, чѣмъ викторіанскихъ комитетовъ. Къ тому же комитеты созданы лишь для одной рабочей профессіи... Взявши основаніе у викторіанскаго законодательства, англійское либеральное министерство менѣе рѣшительно воспользовалось этимъ основаніемъ, чѣмъ законодатели Викторіи. Но основаніе одно. И англійскій законъ такимъ образомъ не запрещаетъ прямо стачекъ, но, гарантируя рабочимъ опредѣленный минимумъ,—минимумъ, съ точки зрѣнія правительства, справедливый,—тѣмъ самымъ долженъ предупредить многіе конфликты, особенно мелкіе.

П. Покровский.

Пятна лунныхъ лучей на стѣнѣ
 Заплелись въ кружева. Я не сплю,
 Я уснуть не могу, но живу, какъ во снѣ...
 Грезны спутаны въ странный узоръ,—я люблю...
 Пятна лунныхъ лучей на стѣнѣ...
 Тѣни стройныхъ березъ... Я дрожу.
 Завтра встрѣчу тебя, подойду, какъ во снѣ,
 Но мечты затаю, ничего не скажу.
 Пятна лунныхъ лучей на стѣнѣ,
 Кружева и цвѣты... Я хочу,
 Чтобъ въ душѣ у меня, какъ въ хрустальной волнѣ,
 Ты читалъ и читалъ то, о чемъ я молчу...
 Я хочу, чтобъ безъ словъ, въ тишинѣ,
 Насъ окуталъ мечтами таинственный часъ
 И о нашей любви, о любви въ полуснѣ
 Безъ конца говорилъ, говорилъ бы за насъ...

Е. Федорова.

РЕБЕККА ЭЛКАНЪ.

Новелла Софіи Гештеттеръ.

Пер. съ нѣм. З. Н. Журавской.

Пегницъ — рѣка некрасивая, хоть она и протекаетъ черезъ старинный городъ Нюрнбергъ и въ былыя времена по имени ея даже былъ названъ цѣлый орденъ поэтовъ. Пегницъ клубится подъ каменными мостами, а потомъ катитъ свои невеселыя воды по уклону дальше, къ еврейскому городу Фюрту, гдѣ рѣка точно крадется мимо сѣрыхъ улицъ, подмачивая трухлявыя стѣны скучныхъ домовъ, въ которыхъ отъ этого заводится сырость, и избитыя ступени каменныхъ лѣстницъ.

Что-то жуткое, недоброе есть въ этой рѣкѣ; за городомъ она сливается съ другой рѣкой и обѣ онѣ, словно опозоривъ прежнія свои имена, принимаютъ третье, совсѣмъ новое имя.

Поднявшись отъ берега въ городъ, вы попадаете въ самую старинную часть его. Здѣсь стоятъ дома съ аристократическими фронтонами, выдавшіе лучшіе дни. Красивая синагога высится, словно шотландскій замокъ Тюдоровъ, окруженная дворами, пристройками и обнесенная высокой стѣной—твердыня вѣры, занесенная изъ далекой восточной страны. Ратуша, построенная въ стилѣ дворца Дожей, кажется такъ не у мѣста въ маленькомъ франконскомъ городкѣ. Одна изъ стѣнъ ея выходитъ на коротенькую, круто идущую въ гору улицу, которая зовется Бранденбургской, въ честь Гогенцоллерновъ, которые всего какихъ-нибудь сто лѣтъ тому назадъ владычествовали надъ этой страной.

Но довольно воспоминаній! Въ этомъ старинномъ еврейскомъ городкѣ немало слѣдовъ, дающихъ почувствовать ходъ культуры, исторіи новыхъ временъ и, когда вы впервые попадаете въ эти узкія улицы, съ скученными домами, вамъ кажется, что здѣсь судьба научилась не просто идти, а красться вдоль стѣнъ и никогда уже больше не выйдетъ гордой красавицей къ людямъ.

Желтый свѣтъ мартовскаго вечера уже погасъ на горизонтѣ и раннія сумерки окутали городъ.

На одномъ изъ оконъ дома сестеръ Эльканъ на Бранденбургской улицѣ, откуда открывался дивный видъ на палаццо Дожей, перенесенный въ еврейскій городокъ, висѣлъ билетикъ съ надписью печатными буквами: „Отдаются въ наймы меблированныя комнаты“. Внизу рукой было приписано: „Роскошная гостиная и спальня“. Передъ билетикомъ стоялъ въ нерѣшимости молодой человекъ, высокій, худой, весьма арійскаго типа. Онъ бросилъ еще одинъ взглядъ на палаццо Дожей и вошелъ въ домъ сестеръ Эльканъ. Комната, въ которую онъ попалъ, представляла собою нѣчто вродѣ конторы, однако тамъ сидѣла женщина и шила.

То была фрейлейнъ Сабина Эльканъ, одна изъ составныхъ частей фирмы „Сестры Эльканъ“. Ей было на видъ лѣтъ пятьдесятъ и на пришедшаго она произвела пріятное впечатлѣніе, такъ какъ у нея еще сохранились зубы и волосы.

Относительно комнатъ они скоро сговорились. Мебель въ нихъ была старинная, краснаго дерева сороковыхъ годовъ съ круглыми ножками, и диванъ въ видѣ раздвинутой въ ширину лиры, на которой вмѣсто струнъ натянута была зеленая репсовая обивка.

Фрейлейнъ Сабина Эльканъ, худоцавая, съ умными глазами и рѣзкими движеніями, освѣдомилась наконецъ у посѣтителя:

— А позвольте узнать, съ кѣмъ имѣю честь?..

— Фонъ-Розенкрейцъ,—былъ отвѣтъ.

Фрейлейнъ Сабина Эльканъ удивилась и обрадовалась этой частицѣ „фонъ“, но скрыла и радость, и изумленіе.

— Вы, по всей вѣроятности, нигдѣ не служите?—тонко спросила она.

Потому-ли, что господинъ фонъ-Розенкрейцъ не понималъ значенія этихъ словъ, потому-ли, что онъ хотѣлъ разъ навсегда положить конецъ разспросамъ, онъ отвѣтилъ:—Я ученый, изучаю исторію французскихъ эмигрантовъ въ Франконіи. Меня направили сюда изъ Эрлангена, такъ какъ отсюда всего удобнѣе посѣщать старинныя селенія. Я пресбуду здѣсь нѣсколько недѣль и часто буду уѣзжать. Плату за мѣсяцъ впередъ я готовъ внести хоть сейчасъ же.

Фрейлейнъ Сабина Эльканъ вначалѣ учтиво отнѣкивалась, но затѣмъ охотно взяла деньги. Они обмѣнялись еще нѣсколькими фразами, подсказанными положеніемъ, но она все не уходила. Ей хотѣлось сейчасъ же отплатить новому жильцу откровенностью на его откровенное заявленіе о времени и цѣли его пребыванія здѣсь.

— Извините, господинъ баронъ,—какъ это все удачно вышло!—къ намъ какъ разъ приходитъ обѣдать—я это дѣлаю

ради его покойной матери: ей бѣдняжкѣ-таки порядочно трудно было пробиваться на свѣтъ одинокой—одинъ молодой человѣкъ; онъ себѣ учится въ гимназіи; ну, тутъ нашлись добрые люди, которые платятъ за него. Его зовутъ Ренэсъ; онъ изъ Вильгельмсдорфа...

— А, изъ Вильгельмсдорфа! Значить, потомокъ французскихъ поселенцевъ.

— Вотъ-вотъ. Я это и хотѣла сказать господину барону. У Конрада гордость въ крови. Хотя—гордиться ему собственно нѣтъ причины. Отца у него не было вовсе, да и мать такая жалкая, Богъ съ ней! Ну, все-таки она кое-что скопила для Конрада. Онъ живетъ у г. учителя въ Бургфарнбахъ—тутъ нашлись люди, взяли мальчика на свое попеченіе. Мы тоже его жалѣемъ. Онъ способный, пробьетъ себѣ дорогу, если возьметъ себя въ руки. Я всегда говорю: отъ гордости пользы мало; нечего носъ драть передъ людьми. Но если г. баронъ приметъ его, онъ сумѣетъ оцѣнить эту честь.

— Я бы предпочелъ, чтобы это было попозже: денька черезъ два,—ласково сказалъ Розенкрейцъ.—Сейчасъ у меня много работы.

— У насъ домъ спокойный—я всегда говорю, что нашъ домъ самый спокойный въ Фюртѣ—у насъ тутъ тишина...

За окномъ заливался звонокъ электрическаго трамвая, но фрейлейнъ Сабина Эльканъ не видѣла въ этомъ никакого противорѣчія со своимъ утвержденіемъ.

* * *

Оставивъ новаго жильца, фрейлейнъ Сабина пошла въ одну изъ заднихъ комнатъ. Здѣсь сидѣли ея родственницы: тетка, фрау Сара Эльканъ, урожденная Шарлахъ, и племянница, семнадцатилѣтняя Ребекка Эльканъ.

Тетка, которой было далеко за шестьдесятъ, выполняла, хоть и неофициально, обязанности одной изъ плакальщицъ при мѣстной религіозной общинѣ. Ея почтенное призваніе состояло въ томъ, чтобы являться въ семьи, облачившіяся въ трауръ вслѣдствіе смерти кого-либо изъ ихъ членовъ, и помогать имъ читать молитвы надъ усопшимъ и изливать свою скорбь въ громкихъ жалобахъ и причитаніяхъ. У фрейлейнъ Сабины Эльканъ было свое занятіе: она мастерски шила „заргенесъ“—смертные саваны на всѣхъ членовъ общины, изъ первосортнаго, чудеснѣйшаго, нерѣдко шелкомъ отливающего полотна. Нельзя сказать, чтобы это была печальная работа, потому что саваны ей очень рѣдко заказывали для покойника. Добрый еврей, какъ только онъ переходитъ въ положеніе полноправнаго члена общины, спѣшитъ

заказать себѣ саванъ и надѣваетъ его каждое десятое число мѣсяца *тишири* (октября) на праздникъ очищенія. Точно также и каждая порядочная еврейка. Такъ что значеніе савана очень почетное. Онъ по большей части знаменуетъ собою наступленіе возмужалости и вступленіе въ бракъ.

А вотъ братъ ея, Гиршъ Эльканъ, тотъ занимался торговлей, скупалъ хлѣбъ и скотину, даже и на мѣстѣ, въ имѣніяхъ, если ему удавалось запоастъ какого-нибудь мужика. Въ конторѣ всегда висѣла табличка съ расписаніемъ дней аукціоновъ и сроковъ платежей по заложеннымъ недвижимостямъ его округа; и сама фрейлейнъ Сабина кое что смыслила въ этихъ дѣлахъ, такъ какъ ей приходилось помогать брату, который былъ все время въ разъѣздахъ по дѣламъ, то въ Гунценгаузенѣ, то въ Фейхтвангенѣ, Динкельсбюль, Трейхтлингенѣ, Роспталлѣ, Лейтерсгаузенѣ, Цирндорфѣ и какъ тамъ они еще называются, всѣ эти маленькіе торговые городки.

Итакъ, фрейлейнъ Сабина пошла къ своимъ родственникамъ и, такъ какъ она была женщина умная, то тетушкѣ разговоръ съ новымъ жильцомъ она для формы передала въ такомъ видѣ, какъ будто это дѣло было еще нерѣшенное. Ибо тетушка была обидчива и надо было, хотя для виду, обставлять все такъ, чтобъ окончательное рѣшеніе принадлежало ей.

— Ребеккочка,—сказала она—ты бы пошла себѣ немножко погулять. Можешь кстати захватить у Шиммеля пачку свѣчей за 75 пфенниговъ. Тебѣ надо побыть на воздухѣ, а у него свѣчи дешевле, чѣмъ у нашего сосѣда.

Ребекка Эльканъ послушно встала и поспѣшно вышла изъ комнаты. Она надѣла свободную синюю суконную кофточку и маленькую шапочку на голову.

Часы на башнѣ палаццо Дожей показывали уже больше шести.

Ребекка Эльканъ торопилась.

На окраинѣ стараго города, на улицѣ, которая ведетъ уже за городъ, въ Бургфарнбахъ, она остановилась. На мосту стоялъ, видимо дожидаясь ея, молодой человѣкъ съ велосипедомъ. Онъ все время вглядывался въ темноту и, какъ только показалась молодая дѣвушка, поспѣшилъ ей на встрѣчу. Они молча поздоровались и поцѣловались, какъ будто долго были въ разлукѣ, хотя разстались всего нѣсколько часовъ тому назадъ.

— Я зналъ, что ты придешь,—не безъ пафоса объявилъ молодой человѣкъ. — Видишь-ли, намъ никогда не удастся поговорить; мы остаемся наединѣ только урывками. И потому я изложилъ тебѣ письменно всѣ мои планы. Возьми съ

собой письмо, прочтешь его сегодня ночью. А на завтра ты отпросись у тетки. Я принесу тебѣ на завтра приглашеніе на кофе въ Бургфарнбахъ, отъ старушки Горндашъ. И я тоже буду. Мы уйдемъ пораньше, будто для того, чтобъ не опоздать на поѣздъ, и я провожу тебя пѣшкомъ домой. Тогда все и обсудимъ.

Ребекка Эльканъ безъ малѣйшихъ признаковъ удивленія взяла отъ него толстое письмо. Они часто писали другъ другу.

— Конни, а мнѣ все-таки что-то страшно,—выговорила она тихонько, глухимъ, какъ будто немного усталымъ, низкимъ голосомъ.

Конни Ренэсъ предусмотрительно оглядѣлся вокругъ, — нѣтъ ли людей. По близости никого не было. Онъ нагнулся и снова поцѣловалъ блѣдныя уста Ребекки Эльканъ.

Это была славная парочка,—оба молодые и красивые. Большіе голубые скорбные глаза Ребекки теперь свѣтились и сіяли. Она любила Конрада Ренэсъ. И юноша тянулся всей душой къ этой худенькой, замкнутой еврейской дѣвушкѣ. Но объ этомъ никому не надо было знать, потому что изъ христіанина и еврейки, по возрѣніямъ той среды, гдѣ они жили, никогда не можетъ выйти пары. И вообще молодому человѣку, который еще не кончилъ гимназіи, не время думать о дѣвушкахъ.

Конрадъ Ренэсъ нагнулся еще ниже къ Ребеккѣ. Сквозь его нѣжность теперь пробивалась страсть; поцѣлуи перемежались словами: „Потерпи немного... скоро, скоро... все будетъ иначе... совѣмъ по другому“...

* * *

Ребекка Эльканъ поспѣшила вернуться домой и, какъ всегда, сѣла ужинать вмѣстѣ съ теткой и бабушкой. И за ужиномъ было все, какъ всегда. Ей казалось, что у нихъ въ домѣ всегда говорятъ одно и то же, хотя бы рѣчь шла о самыхъ различныхъ событіяхъ.

— Что скажутъ Фарнтроги? что подумаетъ г. Апфельбаумъ?

Ребекка сообразила наконецъ, что рѣчь идетъ о христіанинѣ-квартирантѣ, съ которымъ, противъ ожиданія, примирить тетю Сару оказалось не такъ то легко.

— Да вѣдь я же изъ-за Конрада. Вѣдь я же тебѣ говорила, что г. баронъ интересуется эмигрантами.

Сабина и тетя Сара переглянулись. Тайна, окутывавшая происхождение Конрада, была извѣстна только имъ. Онѣ-то знали, кто его отецъ — еврей, спутавшійся съ христіанкой, одинъ изъ Элькановъ, который потомъ уѣхалъ въ Америку

и пропалъ тамъ безъ вѣсти—потому-то въ домѣ Элькановъ и относились съ такимъ участіемъ къ судьбѣ Конрада.

У Ребекки Эльканъ была своя собственная маленькая комнатка, обособленная отъ всѣхъ прочихъ и помѣщавшаяся въ мансардѣ лицевого фасада. Въ этой мансардѣ, кромѣ Ребекки, спала еще только служанка-христіанка.

На башнѣ пробило уже полночь.

Теперь только могла Ребекка прочесть письмо Конрада Ренэса. Оно занимало много страницъ, такъ какъ буквы у Конрада были такія же требовательныя, какъ и самъ онъ: онѣ не хотѣли умѣщаться въ отведенномъ имъ тѣсномъ пространствѣ, но господствовали надъ нимъ, какъ мысли Конрада стремились господствовать надъ всѣмъ окружающимъ.

* * *

„Ребекка,—такъ начиналось письмо—моя любимая и мужественная Ребекка! Ты знаешь, что я не могу стерпѣть всего того, что со мною дѣлаютъ и намѣрены дѣлать. Ты сама презирала бы меня за безхарактерность и безволіе, еслибъ я покорился и позволилъ сдѣлать изъ себя мелкаго чиновника, который свою силу и молодость рабски отдаетъ на служеніе малымъ дѣламъ.

„Мой планъ—иной. Я хочу бѣжать во Францію, въ вольный край, который не только колыбель моихъ предковъ, но и мое духовное отечество. Тамъ, гдѣ могъ возникнуть Наполеонъ, гдѣ и сейчасъ еще человѣкъ изъ народа можетъ сдѣлаться министромъ, найдется мѣсто и для меня. Сынъ, не знающій отца, возвращается въ отеческій домъ. Франція въ наши дни—страна духовной свободы, первая въ Европѣ, если не въ цѣломъ мірѣ. Я сдѣлаюсь журналистомъ и, если тамъ, откуда я ухожу, будутъ издѣваться надо мной, то вѣдь издѣвались и надъ Генрихомъ Гейне.

„Обдумай все это, моя Ребекка, и пойми меня. Ты читала мою статью, которую я долженъ былъ отдать въ анархистскій журналъ, къ сожалѣнію, подъ всевдонимомъ. Ты знаешь, что свобода и самоопредѣленіе личности—великое дѣло. Мое мѣсто во Франціи. Языкомъ я владѣю. У меня не можетъ быть ни въ чемъ недостатка.

„А теперь слушай дальше: намъ придется разстаться. Но разлука не убиваетъ любви, наоборотъ, усиливаетъ ее. Мы будемъ тосковать, но такая тоска и создаетъ самое великое въ мірѣ, ибо всѣ великія дѣла на свѣтѣ творились во имя любви. Если я останусь здѣсь и не добуду славы, намъ придется ждать и ждать безъ конца. Будемъ храбры. Ребекка. Лучше перенести краткое, жгучее горе, чѣмъ дол-

ую жизнь врозь, какъ чужіе. Потому что вѣдь наша разлука не затянется, и я добьюсь возможности взять тебя къ себѣ.

„Ты знаешь, на Пасху—въ этомъ году она ранняя и почти совпадаетъ съ вашей, еврейской, — мой товарищъ по классу, Гюснеръ, пригласилъ меня погостить къ своимъ родителямъ, въ Вюрцбургъ. Здѣсь уже рѣшенный вопросъ, что я ѣду къ нему на всѣ двѣ недѣли. Но Гюснеру я обѣщалъ пробыть у него всего только одинъ день и, такъ какъ я не настолько друженъ съ нимъ, чтобы повѣрять ему мои тайны, сказалъ ему, что хочу постранствовать немного. Такъ что до начала занятій въ школѣ меня не хватятся, а когда хватятся, я уже давно буду въ Парижѣ. Денегъ у меня собрано достаточно, чтобы прожить тамъ, пока я не пристроюсь гдѣ-нибудь въ редакціи—что будетъ для меня первой ступенью. На счетъ того, куда я буду писать тебѣ до востребованія, мы еще условимся.

„До моего совершеннолѣтія остается еще больше года. Такъ долго я не выдержу. Я не могу больше выносить этого убогаго существованія. И для нашего будущаго это совершеннолѣтіе не имѣетъ значенія—оно ничего не принесетъ, кромѣ того же томительнаго ожиданія втеченіе нѣсколькихъ лѣтъ какого-то жалкаго мѣста канцелярскаго чиновника.

„А мы не хотимъ ничего будничнаго и банальнаго. Я хочу необычайнаго, ибо только это можетъ быть великимъ; я хочу этого для насъ.

„И электрическій токъ сужденной намъ рокомъ любви свяжетъ насъ неразрывнымъ союзомъ, которому не страшна будетъ и рана недолгой и необходимой разлуки. Я знаю, ты и вдали будешь чувствовать жаръ моей любви; будешь чувствовать меня, какъ и я буду чувствовать тебя, въ ожиданіи часа, который соединитъ насъ навсегда.

Конни.

Не забудь завтра надѣть твой шейный платочекъ, совершенно такой же, какъ у меня — мы помѣняемся ими“.

* * *

Ребекка Эльканъ сидѣла въ мансардѣ, выходившей окнами на палаццо Дожей. Было уже за полночь. Съ другого конца улицы, изъ пивныхъ „Бранденбургергофъ“ и „Три волхва“, еще доносился шумъ и пѣніе. Но мысли молодой дѣвушки были далеки отъ окружающей ее дѣйствительности.

Мысли ея были полны тѣмъ, у кого было такъ много

мужества, не только мужества гордыхъ словъ, о которыхъ Ребекка знала, что они его собственныя, — но и мужества смѣлыхъ поступковъ. Она была истой дочерью своего города, изъ котораго столько сыновъ его выселились въ Америку—правда, идя по проторенной дорогѣ, къ опредѣленной цѣли, съ рекомендательными письмами, связями и знакомствами. Поэтому ей не казалось неслыханнымъ и страннымъ, что человѣкъ хочетъ искать счастья и строить свою жизнь въ чужой странѣ, а не въ той, гдѣ онъ родился.

Самъ по себѣ, такой планъ былъ даже ближе ей, чѣмъ Конраду. Она даже не вполне сознавала, какъ онъ самъ ошеломленъ смѣлостью своего рѣшенія.

Семицы раньше созрѣваютъ, раньше становятся взрослыми и добытчиками. Ребеккѣ Эльканъ казалось вполне понятнымъ и естественнымъ, что Конни не хочется остаться въ ихъ городкѣ, довольствоваться тѣсными рамками жизни, вѣчной зависимости мелкаго чиновника. Вѣдь у него не было даже семьи, которая бы заботилась о немъ, сглаживала ему путь и поддерживала его. Чужіе люди—школьный учитель, доброжелательная старая дѣва—хлопотали о будущемъ Конрада, хотѣли втиснуть его въ узкія рамки, въ которыхъ ему было бы мучительно жить. Быть можетъ, они надѣялись, что найдутся стипендіи, благотворители,—и изъ него можетъ выйти пасторъ, проповѣдникъ слова Божія въ какой-нибудь старинной деревушкѣ, въ той странѣ, гдѣ нѣкогда нашли себѣ вторую родину выходцы изъ Франціи.

Ребекка была еврейка, и ей такія перспективы сулили только отреченіе.

Да, Конни надо ѣхать. Вѣдь онъ ѣдетъ въ Парижъ и, когда онъ называлъ Францію своимъ духовнымъ отечествомъ, слова эти находили какой-то откликъ въ ея душѣ.

Въ чердачную комнатку Ребекки Эльканъ вошла Судьба и поцѣловала ее въ блѣдныя уста. У Судьбы было мрачное, замкнутое лицо юнаго Ренэса, душа котораго была открыта только для Ребекки Эльканъ. И Ребекка тосковала по горячимъ губамъ своей Судьбы, и въ тревожныхъ грезахъ одинокой ночи представляла себѣ, какъ это будетъ, когда она пріѣдетъ въ огромный чужой городъ и онъ, такъ долго ждавшій, приметъ ее въ свои жаркія объятія.

Разбросанные по столу листки письма творили обѣты и смѣлые подвиги—стѣны маленькой комнатки раздвигались—и шумы стараго города влетали въ сонныя грезы Ребекки шумомъ большой рѣки, которой мы ввѣряемъ себя, чтобы плыть въ страну чудесъ.

* * *

Желтый свѣтъ мартовскаго вечера еще горѣлъ на горизонтѣ, когда Ребекка Эльканъ и Конрадъ Ренэсъ оставили позади себя селеніе Бургфарнбахъ и направились къ Фюрту. Юный авантюристъ, которому не исполнилось еще и двадцати лѣтъ, самъ упиваясь чарами своего голоса и своей красоты, говорилъ о гордыхъ планахъ на будущее.

Ребекка Эльканъ молча шла съ нимъ рядомъ. Она не владѣла, какъ онъ, даромъ слова.

Пока онъ говорилъ, она уходила мыслью и чувствомъ въ прошлое, къ тѣмъ днямъ, когда оба они впервые сознали, что они любятъ другъ друга. Она долго сердилась на Конни, на его властный тонъ и неуважительное къ ней отношеніе—пока случайно не убѣдилась, что онъ относится къ ней *такъ* только потому, что думаетъ, что она его не любить.

— Странно!—думала Ребекка. — Съ этого дня ни разу онъ не далъ ей почувствовать, что онъ—христіанинъ, иной вѣры, сынъ иного народа.

И всегда было въ ней такое чувство, какъ будто его и ея кровь давно уже пульсируютъ родственнымъ ритмомъ и оба они, чуждые всѣмъ другимъ людямъ, принадлежатъ одному и тому же міру.

Пока Конрадъ говорилъ, она смотрѣла на него со стороны. Что-то темное и необъяснимое сквозило порой въ его красивомъ лицѣ, немного римскаго типа. И осанка у него была гордая и свободная—казалось Ребеккѣ—не смотря на то, что жилъ онъ бѣдно и выросъ въ зависимости отъ другихъ. Онъ могъ носить неуклюжее платье, плохо сшитое деревенскимъ портнымъ, и какую попало шапку — это не вредило ему.

Дорога была безлюдна. Конни и Ребекка шли подъ руку. Вѣтеръ слегка развѣвалъ волосы молодой дѣвушки.

— Это мартовскій вѣтеръ, — говорилъ Конни—весенній вѣтеръ, опрокидывающій все устарѣлое; и мартовскій вѣтеръ мысли, анархистскій вѣтеръ индивидуальной свободы опрокинетъ когда-нибудь всѣ старые законы и глупые предрассудки.

Дѣвушка изъ старо-еврейской семьи, въ которой прочно укоренились всѣ эти предрассудки, немного испугалась такихъ словъ.

Но любящая дѣвушка сказала съ улыбкой, немного сверху внизъ:

— Ну, Конни, нашихъ старыхъ устоевъ, я думаю, не сдуть и мартовскому вѣтру.

Молодой человѣкъ схватилъ ее въ свои объятія и осыпалъ жаркими поцѣлуями.

Съ трудомъ переводя духъ, пошли они дальше.

Теперь вокругъ нихъ былъ мракъ узкихъ улицъ. Крутолюбые ночные дома стараго города въ своей недвижности, казалось, таили угрозу. И на Ребекку Эльканъ напалъ какъ бы страхъ передъ жизнью, страхъ передъ будущимъ, которое должно сойти съ рельсовъ привычнаго, безопаснаго, налаженнаго заранѣе...

Послѣдній кварталъ Ребекка прошла одна. Маленькой, едва замѣтной тѣнью скользила она по тротуару.

Дома она ждала упрековъ за позднее возвращеніе, но застала въ цѣломъ домѣ одну только служанку-христіанку, сообщившую, что и тетка, и бабушка ушли и неизвѣстно, когда вернуться, такъ какъ у Грюнталей „бабенка помираетъ“.

Ребекка Эльканъ больше ни о чемъ не спрашивала. Только кивнула головой. Она хорошо знала бабушку Грюнталь. Старуха часто бывала добра къ ней и ласкова, и вотъ, она умираетъ.

Мысль о смерти въ эту минуту не была чуждой для Ребекки Эльканъ. Вѣдь смерть и любовь—сестры, и, такъ какъ она любила, вѣсть о смерти не испугала ея,—скорѣе показала ей необходимой.

Сосредоточившись снова на себѣ, она даже обрадовалась, что передъ нею цѣлый вечеръ, который она проведетъ въ одиночествѣ, не слыша разговоровъ тетусекъ, и можетъ безъ помѣхи отдаться своимъ мыслямъ.

Еще взволнованная послѣднимъ разговоромъ съ Конни, она прошла въ большую комнату, выходившую окнами на улицу—въ „парадную комнату“, какъ ее называли. Тамъ стояла мебель и вещи, которыя тетуски не ставили въ комнатахъ для жильцовъ, но которыми онѣ и сами пользовались очень рѣдко.

Тамъ хранилась пасхальная посуда въ старомъ шкафу въ стилѣ барокко, который тетуски берегли, какъ драгоценность. Политура его блестѣла чуть-ли не ярче мѣдныхъ украшеній на немъ; по стѣнамъ развѣшаны были старинныя гравюры въ гладкихъ коричневыхъ рамкахъ; тутъ же стоялъ длинный диванъ съ кучей подушекъ, говорятъ, привезенный изъ Деберндорфскаго замка. Въ шкатулкѣ съ письменнымъ приборомъ, выдвижная стѣнка которой открывалась только, когда нажимали потайную пружину, тетки хранили свой семейный архивъ. Дядюшка входилъ въ эту комнату почти исключительно только на Пасху, когда здѣсь подавали праздничный обѣдъ, послѣ котораго онъ читалъ изъ „Книги“ объ исходѣ евреевъ изъ Египта.

При видѣ шкафа съ пасхальной посудой Ребекка Эль-

канъ вдругъ сообразила, что еврейская Пасха, а вмѣстѣ съ тѣмъ и христіанская, совпадавшая съ ней въ этомъ году, уже недалеки.

И испугалась. Вѣдь на Пасху Конни уѣдетъ.

До сихъ поръ она думала объ этомъ только, какъ о планѣ, осуществленіе котораго—дѣло будущаго, а это такъ близко...

Въ дверь постучали. Машинально и равнодушно Ребекка сказала: „Войдите!“

Передъ нею стоялъ высокій, незнакомый мужчина. Комната была до извѣстной степени освѣщена свѣтомъ газоваго фонаря на улицѣ.

— Фрейлейнъ Эльканъ?—спросилъ незнакомецъ.

— Да, я—Ребекка Эльканъ.

— А я—вашъ новый жилецъ. Нельзя ли мнѣ побесѣдовать съ вашей тетушкой?

Ребекка отвѣтила, что сегодня никакъ нельзя, но если г. фонъ-Розенкрейцу что-нибудь нужно, можетъ быть, она можетъ служить ему?

Г. фонъ-Розенкрейцъ, вниманіе котораго привлекъ кроткій голосъ Ребекки, съ интересомъ взглянулъ на нее и нашель, что это узкое личико, обрамленное изсиня-черными, слегка растрепавшимися теперь волосами, странно напоминаетъ юношескіе портреты Людвига Второго баварскаго. И подумалъ: „какъ попала сюда эта дѣвушка?“

Онъ сѣлъ на поданное ему кресло и началъ:—Ваша тетушка,—не правда-ли, вѣдь это ваша тетушка?—разсказывала мнѣ, что у васъ въ домѣ часто бываетъ молодой человѣкъ, который хорошо знаетъ здѣшнія окрестности и происходитъ отъ французскихъ *refugiés*.

Ребекка въ первый моментъ испугалась.

Но г. фонъ-Розенкрейцъ продолжалъ:—По словамъ вашей тетушки, это очень образованный молодой человѣкъ. Потому мнѣ и хотѣлось бы повидаться съ нимъ. Дѣло въ томъ, что я, по порученію французской Академіи, пишу исторію этихъ изгнанниковъ. Но въ сосѣднихъ деревняхъ я не нашель никого, кто могъ бы дать мнѣ какія-нибудь свѣдѣнія.

— Конрадъ Рензсъ, конечно, можетъ дать ихъ,—теперь уже безъ всякаго смущенія и даже съ нѣкоторой гордостью отвѣтила Ребекка Эльканъ.—Случайно мнѣ извѣстно, что онъ очень интересуется старинными родами. Одинъ разъ—давно уже—въ Вильгельмсдорфѣ былъ страшный пожаръ. И всѣ церковныя книги съ именами и записями сгорѣли. Но Конрадъ Рензсъ собралъ всѣ надписи на старыхъ могилахъ, разспрашивалъ старыхъ людей, и у матери его тоже было много записей...

— Это именно то, чего я ищу,—сказалъ обрадованный Розенкрейцъ. — И вы думаете, что г. Ренэсъ разрѣшитъ мнѣ заглянуть въ собранный имъ матеріалъ?

Ребеккѣ Эльканъ пришла новая мысль. — Что, еслибъ этотъ чужой господинъ, который говоритъ о французской Академіи и самъ, видимо, очень ученый и знатный, поговорилъ съ Конни о его планахъ? Можетъ быть, онъ могъ бы что-нибудь посовѣтовать?.. И она убѣжденно отвѣтила:

— Конрадъ Ренэсъ, разумѣется, будетъ очень счастливъ узнать, что и другіе интересуются вещами, которыя такъ близки его сердцу. Здѣсь никому уже нѣтъ дѣла до прошлаго. Изгнанники были бѣдны. Кормились тѣмъ, что вязали чулки и вышивали шелками. Можетъ быть, этому они научились уже на чужбинѣ. Но добиться чего-нибудь высшаго они не могли—вѣдь они все оставили тамъ, на родинѣ. И языкъ свой ихъ потомки забыли. Сохранились только отдѣльныя слова, галлицизмы, вродѣ, какъ евреи вставляютъ въ свою рѣчь слова изъ Талмуда.

Г. фонъ-Розенкрейцъ рѣшилъ, что она принимаетъ участіе въ юномъ Ренэсѣ и, быть можетъ, говоритъ немножко съ его словъ.

— Тогда, можетъ быть, вы разрѣшите Конраду Ренэсу придти къ вамъ завтра вечеромъ?—спросила Ребекка.

Фонъ-Розенкрейцъ съ благодарностью принялъ предложеніе.

— Г. Ренэсъ часто бываетъ у васъ?

Улыбка скользнула по блѣдному лицу Ребекки.

— Уже много лѣтъ. У него здѣсь нѣтъ никого близкаго—т. е. я хочу сказать: родныхъ. И онъ всегда былъ здѣсь не ко двору, хоть онъ и здѣшній уроженецъ.

Г. фонъ-Розенкрейцъ сталъ восхищаться мебелью. Ему хотѣлось еще немного побыть съ этой дѣвушкой, которая казалась ему до странности неподходящей къ этой обстановкѣ.

Онъ указалъ на готическій ларь и освѣдомился о его назначеніи.

Ребекка Эльканъ слегка покраснѣла. Въ этомъ ларѣ хранились „саваны“ тетки и бабушки. Въ „Судный день“ онѣ надѣвали ихъ и шли въ нихъ по улицѣ въ „школу“—въ синагогу, прикрывъ саваны длинными плащами, въ какихъ ходятъ въ театръ. Сосѣдскія ребятишки при этомъ хвостомъ бѣгали вслѣдъ за ними, такъ какъ въ ихъ городкѣ не часто можно было увидѣть такое курьезное зрѣлище, и почтенныя тетуски, помимо этого ничѣмъ не примѣчательныя, въ эти дни вызывали жадное любопытство.

— Здѣсь мы хранимъ пасхальную посуду и другія религиозныя вещи,—отвѣтила Ребекка.

Когда г. фонъ-Розенкрейцъ ушелъ къ себѣ, Ребекка почувствовала, что въ ея обычную жизнь вошло что-то новое. Она хотѣла радоваться—вѣдь это очень хорошо для Конни, что нашелся человекъ, который можетъ лучше понять его и умнѣе посовѣтовать ему, чѣмъ его друзья въ Бургфарнбахѣ, которые заботились о немъ. Этотъ господинъ пришелъ изъ далекаго „міра“, куда стремился Конни; въ сущности, онъ будетъ первымъ соприкосновеніемъ его съ этимъ далекимъ міромъ. Она хотѣла радоваться—и не могла. Какое-то смутное предчувствіе шептало ей, что изъ этой встрѣчи можетъ выйти для Конни недоброе. А между тѣмъ самъ г. фонъ-Розенкрейцъ казался ей и значительнымъ, и симпатичнымъ. Онъ былъ совсѣмъ иной, чѣмъ другіе мужчины, которыхъ она знала—кромѣ Конни. Какая-то доброта была въ немъ, хоть онъ и пришелъ къ ней съ просьбой. И манеры у него были иные, чѣмъ у всѣхъ окружающихъ, и утонченность ихъ, болѣе инстинктивно, чѣмъ сознательно, внушала довѣріе Ребеккѣ Эльканъ.

* *
*

На заднемъ планѣ жизни Ребекки Эльканъ въ эти дни шло медленное приближеніе къ смерти старушки Грюнталь, старой пріятельницы Элькановъ. И это умираніе гдѣ-то вдали, затянувшееся на много дней, эта цѣпкость отживающей, медлившей войти въ послѣднія врата, быть можетъ, вліяла на судьбу другихъ.

Умирающему надлежитъ думать о Богѣ и о вѣчности, и потому вѣрующіе по старинѣ евреи стараются отдалить отъ него близкихъ, чтобы уже земное не смущало души отходящаго.

И потому Сабина и старая фрау Эльканъ почти цѣлые дни проводили у Грюнталей. И по профессіи, и вслѣдствіе дружественнаго своего отношенія къ этой семьѣ, онѣ охотно оказывали бабушкѣ Грюнталь эту послѣднюю услугу—проводить ее изъ жизни и затѣмъ устроить плачъ по ней, который долженъ былъ продолжаться нѣсколько дней.

И потому онѣ проводили цѣлые дни далеко отъ маленькаго домика на Бранденбургской улицѣ, напротивъ палаццо Дожей—въ старомъ городѣ, въ домѣ съ причудливо расписаннымъ фронтономъ, въ стилѣ барокко. Только иногда фрейлейнъ Сабина забѣгала домой распорядиться дѣлами и по хозяйству, да изрѣдка пріѣзжалъ дядя Эльканъ, чтобы тотчасъ же вслѣдъ затѣмъ уѣхать въ Гунценгаузенъ, Дин-

кельсбюль, Гейльброннъ, Трейхтлингенъ, и какъ они тамъ еще называются—всѣ эти маленькіе торговые городки.

За то тѣмъ больше времени проводилъ въ домѣ Элькановъ Конни Ренэсъ. Онъ былъ гостемъ столько же Ребекки, сколько и господина фонъ-Розенкрейца, которому онъ дѣйствительно оказался полезнымъ и который заинтересовался живымъ, способнымъ и пылкимъ юношей. А за сценой медленно умирала старуха.

И ея медлительность передъ послѣдними вратами смерти быть можетъ, вліяла на судьбу другой женщины.

Потому что Ребекка Эльканъ теперь подолгу оставалась одна съ Конни Ренэсомъ и онъ проводилъ такъ много времени въ домикѣ на Бранденбургской улицѣ, лучшія комнаты котораго занималъ г. фонъ-Розенкрейцъ. Всего этого могло бы и не быть, еслибы старая бабушка Грюнталь не вздумала умереть въ это время.

* * *

Еврейскія лавки въ городѣ были закрыты. Рѣзкій апрѣльскій вѣтеръ начисто вымелъ улицы; колющее яркое солнце набѣло выбѣлило камни. Городокъ смотрѣлъ праздничнымъ и полнымъ ожиданія.

Гимназистовъ распустили на пасхальныя вакаціи — въ вербную пятницу. И съ этимъ роспускомъ совпалъ канунъ еврейской пасхи. Въ домикѣ на Бранденбургской улицѣ все было прибрано, вымыто, вычищено. Дядя Эльканъ сидѣлъ въ своей комнатѣ и молился. Никто не мѣшалъ ему молиться и онъ ни во что не вмѣшивался. Обособившись отъ всего внѣшняго міра, онъ сидѣлъ и бормоталъ старая, быть можетъ, и ему самому лишь наполовину понятныя слова молитвы.

Бабушка Грюнталь опочила въ мирѣ. Теперь тамъ „сидѣла“ фрау Эльканъ: обычай требовалъ, чтобы втеченіе недѣли послѣ смерти все время всѣ близкіе сидѣли на полу. А такъ какъ у евреевъ былъ праздникъ, покойнику нельзя было вынести изъ дому. Фрейленъ Сабина поспѣшила вернуться домой. На столѣ въ парадной комнатѣ стояла старинная пасхальная посуда, лежали груды *мацы*—опрѣснокъ. Свѣчи горѣли въ шабашевыхъ канделябрахъ, на кухнѣ жарился „агнецъ“ и по всему дому пахло горѣлымъ.

Ребекка Эльканъ стояла на лѣстницѣ. Вчера вечеромъ, тамъ внизу, у рѣки, въ тихомъ уныломъ мѣстечкѣ, гдѣ въ сумерки или же рано, чуть свѣтъ, когда сосѣди всѣ еще спятъ, мыли въ проточной водѣ пасхальную посуду, — она простилась съ Конни Ренэсомъ. Прощанье было тяжелое, страстное.

Теперь Конни сидѣлъ наверху у г. фонъ-Розенкрейца. Онъ принесъ ему еще какую-то записку. Г. фонъ-Розенкрейца не было дома; но Конни сказалъ, что онъ оставитъ ему записку. И Ребекка ждала его на лѣстницѣ. Завтра утромъ Конни уѣдетъ въ Вюрцбургъ. А сегодня вечеромъ, въ канунъ праздника, ей уже нельзя будетъ выйти изъ дому.

Нѣжное слово, мимолетный поцѣлуй тутъ же на лѣстницѣ будутъ послѣдними.

Она ждала. Сердце ея тяжело колотилось въ груди. Наконецъ пришелъ Конни. Онъ былъ такъ блѣденъ. И шелъ на цыпочкахъ—чтобъ никто не услышалъ его, не укралъ у нихъ послѣднихъ минутъ.

Конни шепнулъ ей:—Не говори никому, что я былъ здѣсь! Я лучше напишу ему объ этомъ изъ Вюрцбурга.

Ребекка кивнула головой, не понимая, зачѣмъ онъ проситъ объ этомъ. Ну, конечно, она не скажетъ теткамъ, что Конни приходилъ еще разъ прощаться.

Смуглое лицо юноши склонилось къ лицу Ребекки.

—Черезъ три дня я въ Парижѣ. Я напишу тебѣ до востребованія. Ты знаешь, куда. Въ главномъ почтамтѣ въ Нюрнбергѣ никто не обратитъ вниманія на это письмо. И ты никому не говори, гдѣ я, пока я не устроюсь. А когда я получу мѣсто, я самъ напишу органисту и нашему ректору. Ты и виду не показывай, что знаешь о моемъ отъѣздѣ. Органистъ ждетъ отъ меня только открытки съ извѣщеніемъ о пріѣздѣ. Это я пошлю ему. Въ моемъ распоряженіи двѣ недѣли. И до тѣхъ поръ ты не заикайся о моихъ планахъ.

Она волновалась не меньше его, но иначе. Разлука, какъ огнемъ, жгла ея сердце.

Наверху хлопнула дверь.

Конни Ренэсъ еще разъ поцѣловалъ дѣвушку въ губы, вырвался изъ ея объятій и, перебѣжавъ черезъ недлинныя сѣни, исчезъ въ сумеркахъ пасхальнаго вечера.

* * *

Наступила суббота. Послѣ ранняго обѣда всѣ пошли прогуляться. У дяди Элькана былъ на головѣ цилиндръ, слегка сдвинутый на затылокъ, на тетѣ Сабинѣ новое весеннее манто, сшитое совсѣмъ по-модному и Ребекка должна была пойти съ ними до старой крѣпости и обратно, и потомъ по Нюрнбергской дорогѣ, подъ окнами богатыхъ едновѣрцевъ, которые тоже „прогуливались“ по этой улицѣ и въ день субботній учтивѣе отвѣчали на поклонъ Гирша Элькана, чѣмъ въ будніе дни.

Ребекка машинально шла и машинально отвѣчала на вопросы. Ея близкіе всегда видѣли ее ласковой и почтитель-

ной. Такой же была она и теперь, хотя мысли ея блуждали далеко. Она еще не чувствовала пустоты въ сердцѣ вслѣдствіе отъѣзда Конни; ибо прощанье какъ-будто еще тѣснѣе сблизило ихъ. Она была твердо убѣждена, что Конни пробьется и достигнетъ желаемого. Ибо онъ былъ одной изъ тѣхъ натуръ, которыя внушаютъ довѣріе къ себѣ, вѣру въ способность постоять за себя. Что Конни, не смотря на всѣ свои разговоры, не изъ особенно щепетильныхъ—это хорошо было извѣстно Ребеккѣ. Но она не знала, какъ иногда поступаютъ нещепетильные люди. Да и откуда же это было знать такой молодецкой дѣвушкѣ?

Ребекка думала: „Когда-нибудь мы пріѣдемъ сюда. Изъ Парижа. Вмѣстѣ съ Конни пріѣдемъ опять въ этотъ городъ. И тогда теткі обрадуются, хотя до этого и будетъ многое, что не порадуешь ихъ.“

Вечерами Ребекка сидѣла одна. И тогда въ ней просыпалась тоска. И она начинала дрожать мелкой дрожью, вспоминая пережитое.

Она нѣсколько разъ пріппималась писать Конни. Но, такъ какъ у нея не было адреса и она боялась, какъ бы письмо случайно не попало въ чужія руки и посторонніе не узнали о бѣгствѣ Конни, она сжигала написанное. И, какъ сердце иной разъ превращается въ пепелъ, такъ ея слова любви превращались въ маленькія облачка сѣровой пыли.

* * *

Снова сидѣла Ребекка Эльканъ одна въ празднично убранной комнатѣ. Въ цѣломъ домѣ никого не было, кромѣ нея и г. фонъ-Розенкрейца.

Въ дверь постучали и вошелъ г. фонъ-Розенкрейцъ. Онъ спросилъ теткушку Эльканъ. Ребекка отвѣтила, что ея нѣтъ дома—обѣ старухи все еще справляли паники у Грюнталей.

— А г. Ренсъ уѣхалъ на праздники, не правда ли?—спросилъ г. фонъ-Розенкрейцъ.

— Развѣ онъ еще не написалъ вамъ?—въ свою очередь спросила Ребекка и сейчасъ же испугалась, вспомнивъ, что она обѣщала хранить въ тайнѣ все, что говорилъ ей на прощанье Конни.

Къ счастью, г. фонъ-Розенкрейцъ не придалъ значенія необдуманнѣмъ словамъ молодой дѣвушки. Онъ только спросилъ:

— Но завтра-то вѣдь, навѣрное, можно будетъ переговорить съ вашей теткушкой?

— Я могла бы и сейчасъ сходить за ней, если у васъ спѣшное дѣло,—отвѣтила Ребекка.

Г. фонъ-Розенкрейцъ стоялъ передъ дѣдовскимъ шкафомъ,

какъ бы въ задумчивости положивъ руку на одну изъ витыхъ колонокъ.—Я почти готовъ просить васъ объ этомъ,—сказалъ онъ—потому что мнѣ хотѣлось бы переговорить съ фрейлейнъ Эльканъ. А г-на Эльканъ тоже нѣтъ дома?

— Нѣтъ, дядюшка пробылъ дома только первый день праздника и сегодня уже уѣхалъ по дѣламъ.

Ребекка вышла изъ комнаты и послала служанку къ Грюнталямъ, за тетей Сабиной. Вернувшись, она нашла г. фонъ-Розенкрейцъ все у того же шкафа.—Не правда ли,—спросилъ онъ—на праздникахъ вѣдь у васъ въ домѣ или въ конторѣ не было никого чужихъ? И, во всякомъ случаѣ, никого чужого не было здѣсь, наверху?

— Здѣсь наверху? Нѣтъ! Были у насъ въ гостяхъ двое бѣдныхъ евреевъ, но они ночевали внизу, въ комнатѣ, что напротивъ конторы, тамъ они и кушали. Наверху, въ хорошія комнаты, тетушки ихъ не звали.

— Почему?—машинально спросилъ г. фонъ-Розенкрейцъ.

— Это чаще всего бываютъ польскіе евреи, а они неопрятные. Вѣдь они сюда заходятъ съ богомолья.

— Чтобы отпраздновать Пасху здѣсь въ городѣ? Это интересно! Расскажите мнѣ объ этомъ.

Ребекка преисполнилась важности. Евреи любятъ рассказывать о своихъ обычаяхъ. Они дорожатъ ими и радуются, когда иновѣрцы серьезно интересуются ими.

— Дядя часто вѣдь уѣзжаетъ въ сосѣдніе маленькіе городки по дѣламъ, и потому наша религіозная община нерѣдко бываетъ не въ полномъ составѣ. Чтобы отпраздновать въ школѣ Пасху или Судный День, нужно собрать десять взрослыхъ мужчинъ. А иной разъ бываетъ, что въ цѣломъ городѣ есть только пять-шесть мужчинъ и все же они хотятъ держать школу. Тогда на праздникъ вызываютъ евреевъ-богомольцевъ—это такіе старые люди, у которыхъ нѣтъ постоянного мѣста жительства; они себѣ бродятъ по всей странѣ. На Пасху и осенью кто-нибудь изъ нихъ всегда ужъ зайдетъ сюда къ дядѣ спросить, не понадобятся-ли они гдѣ-нибудь, потому что онъ ужъ знаетъ, гдѣ и что кому надо. Иной годъ ихъ приходитъ слишкомъ много, иной годъ слишкомъ мало. Въ нынѣшнемъ году оказалось двое такихъ, которыхъ некуда было дѣвать. Ну, мы и оставили ихъ у себя на праздники.

— И приходятъ всегда одни и тѣ-же?

— Этого я въ точности не знаю. Но, когда ихъ приходитъ слишкомъ много, дядя оставляетъ у себя такихъ, которыхъ онъ уже знаетъ. Теперь у насъ былъ Леви Виттельсгеферъ и мосье Максъ.

— Мосье Максъ?—Должно быть, это молодой человѣкъ, если вы называете его только по имени?

— Нѣтъ! Я просто не знаю, какъ его фамилія. Онъ всегда живетъ гдѣ-нибудь въ этихъ мѣстахъ и приходитъ помочь, когда падо. Онъ тоже кое-что смыслитъ въ древностяхъ. Дядя говоритъ, что ему нравится нашъ городъ, оттого онъ часто и приходитъ сюда.

Г. фонъ-Розенкрейцъ задумался.—О чемъ? Вѣдь не можетъ его интересовать мосье Максъ?—думала Ребекка.—Что можетъ быть банальнѣе мосье Макса? Онъ даже не похожъ на паломника, который скитается по разнымъ странамъ—на тѣхъ бездомныхъ всегда есть какая-то особенная печать, а въ мосье Максѣ нѣтъ и слѣда чего нибудь необычайнаго.

Въ комнату вошла тетя Сабина. Она торопилась, быстро шла и сейчасъ еще „отдувалась“, за что и извинялась усиленно передъ жильцомъ.

— Мнѣ жаль, что я васъ побезпокоилъ,—извинился въ свою очередь г. фонъ-Розенкрейцъ—но дѣло такое, что времени терять нельзя. Вы знаете, что утромъ въ канунъ вашей Пасхи я уѣхалъ въ Эрлангенъ и вернулся только сегодня. Вы мнѣ сказали, что въ мою комнату никто входить не будетъ, а запереть ее я не могъ, такъ какъ тогда у меня еще не было убрано. Скажите, за эти дни кто-нибудь чужой былъ въ моей комнатѣ?

Фрейлейнъ Сабина Эльканъ была смѣтлива и соображала быстро. Она сказала:—Дайте минутку подумать, г. баронъ... Нѣтъ, никого чужого не могло быть. Это я знаю навѣрное. У насъ было много работы по хозяйству—а гостей у насъ не было. Подъ вечеръ я сама заперла вашу комнату, послѣ того какъ дѣвушка убрала ее. И сама удостоверилась, что комодъ, письменный столъ и шкафъ заперты вами на ключъ. Ключъ отъ комнаты все время былъ у насъ. Ребекка только сегодня дала его служанкѣ, чтобъ она снесла вамъ въ спальню свѣжей воды.

Г. фонъ-Розенкрейцъ кивнулъ головой. Отвѣтъ былъ обдуманный и явно правдивый.—А въ пятницу? вѣдь я уѣхалъ въ 11 часовъ утра, а вы говорите, что дѣвушка убрала мою комнату и вы заперли ее только подъ вечеръ—въ пятницу днемъ у васъ въ домѣ не было никого чужого?

— Никого! Наши гости-богомольцы весь день провели у Апфельбаумовъ, тамъ и кушали, и только на ночь пришли къ намъ.

Ребекка Эльканъ подошла къ окну. Она знала, что Конни былъ наверху, что онъ входилъ ненадолго и въ комнату г. фонъ-Розенкрейца. Но сказать этого она не смѣла. Конни

настоятельно просилъ ее. Никто не долженъ знать, что онъ еще разъ приходилъ къ ней прощаться.

— Ребекхенъ!—услыхала она голосъ тетки,—ты же въ пятницу весь день была дома. Вѣдь къ намъ же не заходилъ никто чужой? И кто же могъ зайти? Передъ праздникомъ вѣдь евреи не дѣлаютъ никакихъ дѣлъ. Развѣ отъ знакомыхъ могла зайти служанка спросить на счетъ мацы. Такъ и то она зашла бы въ кухню, а не въ хорошія комнаты.—Фрейлейнъ Эльканъ невольно перешла на жаргонъ, какъ это всегда бывало съ ней, когда она говорила съ друзьями, или съ кѣмъ-нибудь изъ домашнихъ.

Ребекка Эльканъ чуть-чуть повернула голову къ ней и сказала:

— Никого чужого въ домѣ не было.—Въ буквальномъ смыслѣ она не лгала, такъ какъ Конни не былъ *чужимъ*, но знала, что, по существу, отвѣтъ ея все-таки лживъ, и взяла эту ложь на свою совѣсть.

Г. фонъ-Розенкрейцъ наконецъ объяснилъ:—Я спрашиваю не изъ любопытства. Прошу васъ, зайдите сами въ мою комнату. Въ правомъ ящикѣ письменнаго стола сломанъ замокъ; онъ былъ старый и еле держался. Должно быть, просунули въ щель стамеску и приподняли доску.

Фрейлейнъ Сабина Эльканъ вскрикнула отъ испуга и поспѣшила за г. фонъ-Розенкрейцемъ въ его комнату. Дѣйствительно, на политурѣ видны были слѣды ножа или стамески и верхняя доска стола была немного приподнята.

— У васъ чего-нибудь не хватаетъ, г. баронъ?

— Не хватаетъ моего паспорта, моего университетскаго диплома и еще не хватаетъ 300 марокъ.

— Боже правый!—это въ нашемъ-то домѣ!—съ ужасомъ воскликнула фрейлейнъ Сабина.

* * *

Фрейлейнъ Сабина Эльканъ заперлась у себя въ комнатѣ. Ей нужно было подумать въ тишинѣ и на досугѣ. Она еще разъ допросила Ребекку. Еще разъ допросила служанку, старую Ганну. Никого чужого въ домѣ не было. Можетъ быть, кто-нибудь влѣзъ въ окно? Но предположить, что въ Фюртѣ, на Бранденбургской улицѣ, ночью-ли, днемъ-ли, кто-нибудь могъ приставить лѣстницу къ окну и забраться во второй этажъ, не повредивъ запертыхъ ставень, было совершенно невозможно. Служанка-христіанка служила у нихъ ужъ шестнадцать лѣтъ. Заподозрить ее, набросить такую тѣнь на ея незапятнанную репутацію было по мнѣнію фрейлейнъ Сабинны, по меньшей мѣрѣ, подлостью. Она понимала, что это значитъ для стараго человѣка, который

весь вѣкъ жилъ въ чужихъ людяхъ, работалъ, не покладая рукъ, изъ-за куска хлѣба, и медленно, съ трудомъ, марку за маркой, копилъ себѣ деньгу на черный день. Старые слуги тоже дорожатъ своей честью. Фрейленъ Сабина устыдилась бы набросить даже тѣнь подозрѣнія на старую Ганну. Объ этомъ не могло быть и рѣчи. Мелькомъ она вспомнила о Конрадѣ—слава Богу, этотъ распрощался еще въ четвергъ и больше не показывался. Оставалось только двое захожихъ евреевъ: Виттельсгеферъ и мосье Максъ. Но развѣ правовѣрный еврей въ шабашъ, въ праздникъ Пасхи, дотронется до денегъ? Боже избави! Да еще не только дотронется, а еще и украдетъ! Что же осталось бы отъ старой вѣры, еслибъ такое могло случиться въ древнемъ еврейскомъ городѣ Фюртѣ? Послѣ этого нельзя было бы вѣрить, что есть еще на свѣтѣ правда и честь. Ни одна семья, ни одна община не запомнятъ, чтобы когда-нибудь еврей на Пасху взялъ деньги.

Мосье Максъ? Лицо фрейлейнъ Сабины омрачилось. Мосье Максъ вѣчно сидитъ безъ гроша. И вообще человѣкъ легкомысленный. Чего стоитъ уже одно его христіанское имя!—Нѣтъ, я несправедлива къ нему,—спохватилась она.—И, если даже такъ случилось, надо сдѣлать такъ, чтобы какъ будто этого не было—чтобы ни еврей, ни *гоимъ* не узнали никогда о такомъ позорѣ.

Фрейлейнъ Сабина высчитывала и прикидывала. Сколько савановъ надо ей сшить, чтобы заработать на нихъ триста марокъ—святые прадѣды сколько!—цѣлую уйму. Но, тѣмъ не менѣе въ сердцѣ фрейлейнъ Сабины зрѣло рѣшеніе и съ этимъ рѣшеніемъ она пришла къ г. фонъ-Розенкрейцу. Но онъ отклонилъ предложеніе. Онъ вовсе не желаетъ взыскивать эти деньги съ фрейлейнъ Сабины—чѣмъ же она виновата? Онъ и такъ видитъ, какъ ей непріятна вся эта исторія. Нѣтъ, если она такъ ужъ проситъ, онъ не станетъ заявлять въ полицію о пропажѣ. Но частнымъ образомъ онъ все-таки пригласитъ сыщика. Потому что паспортъ и дипломъ украсть можно только для того, чтобы использовать ихъ—мало ли для какихъ цѣлей.

Это на время успокоило фрейлейнъ Сабину. Потому что ни старику Виттельсгеферу, ни мосье Максу не могло и въ голову придти выдать себя за барона фонъ-Розенкрейца. Это совершенно немыслимо. Потомъ ей пришло въ голову, что воръ могъ впопыхахъ случайно захватить эти ненужныя ему бумаги, а потомъ бросить ихъ, какъ ни на что не годныя.

Въ тотъ же день изъ Нюрнберга явился хорошо одѣтый господинъ съ пріятными манерами, готовый разыграть въ

домъ Элькановъ Шерлока Холмса. Прежде всего онъ установилъ, что доска письменнаго стола была приподнята стамеской, притомъ стамеской, уже раньше бывшей въ употребленіи, такъ какъ поверхность ея была зазубрена. Онъ, какъ и фрейлейнъ Сабина, былъ того мнѣнія, что ни еврей-богомольцы, ни старая Ганна и никто изъ Элькановъ не стали бы выдавать себя за барона фонъ-Розенкрейцъ и красть съ этой цѣлью его паспортъ и университетскій дипломъ.

Въ кожаномъ портфелѣ г. фонъ-Розенкрейца, откуда были похищены деньги, было еще второе отдѣленіе, въ которомъ лежала чековая книжка и нѣсколько банковыхъ билетовъ. Очевидно, воръ не искалъ тамъ или не хотѣлъ искать. Триста марокъ лежали между паспортомъ, дипломомъ и другими, не имѣющими значенія бумагами. Сверху всего лежалъ паспортъ.

Очевидно, онъ-то и былъ всего нужнѣе вору; остальное онъ взялъ, не глядя, и деньги захватилъ на случай—могутъ, молъ, пригодиться.

— Кто у васъ здѣсь бывалъ въ гостяхъ?—допытывался сыщикъ.—Увѣрены ли вы, что въ пятницу утромъ паспортъ и деньги еще лежали въ столѣ?

Нѣтъ,—въ этомъ г. фонъ-Розенкрейцъ не могъ бы поклясться. А въ гостяхъ у него никто не бывалъ, кромѣ гимназиста Ренэсъ.

Сыщикъ записалъ это имя въ свою записную книжку. На другой день онъ узналъ, что гимназистъ Ренэсъ уѣхалъ на праздники къ товарищу въ Вюрцбургъ. И въ тотъ же вечеръ сыщикъ выѣхалъ въ Вюрцбургъ.

* * *

Душа Ребекки Эльканъ была далека отъ какихъ бы то ни было подозрѣній. Она ждала только удобнаго случая съѣздить въ Нюрнбергъ, чтобы взять на почтѣ письмо до востребованія отъ Конни. Но раньше завтрашняго дня письмо не можетъ прійти.

Уже два дня тетка ломаетъ себѣ голову, строя догадки, кто бы могъ украсть эти деньги.—Стоитъ ломать голову надъ этимъ?—думала Ребекка.—Очевидно, въ домъ съ вечера забрался воръ, переждалъ ночь на чердакѣ, а утромъ, улучивъ минуту, когда наверху никого не было, взломалъ замокъ и взялъ деньги. Въ газетахъ каждый день пишутъ о подобныхъ кражахъ—вольно не читать. Если ужъ въ Фюртѣ стало вдругъ такъ небезопасно, слѣдовало бы завести собачку,—думала Ребекка.

Хорошо одѣтый господинъ, профессія котораго остава-

лось Ребеккѣ неизвѣстной, снова посѣтилъ г-на фонъ-Розенкрейца. И привезъ ему новость, которая не была новостью для Ребекки, а именно—что юный Ренэсъ пробылъ только одинъ день въ гостяхъ у товарища въ Вюрцбургѣ, а затѣмъ уѣхалъ постранствовать. Ну, черезъ недѣлю въ гимназіи начнутся занятія—тамъ видно будетъ. Кромѣ того, хорошо одѣтый господинъ случайно узналъ отъ прачки, которая стирала на г-на фонъ-Розенкрейца—до сихъ поръ о прачкѣ никто и не вспомнилъ,—что въ эту самую пятницу, стоя на-супротивъ дома Элкановъ и болтая съ сосѣдкой, она видѣла, какъ изъ дому вышелъ молодой Ренэсъ. Какимъ образомъ онъ добрался до прачки и до ея наблюдений—это осталось тайной хорошо одѣтаго господина.

Случилось такъ, что г-ну фонъ-Розенкрейцу удалось-таки остаться на нѣсколько минутъ наединѣ съ Ребеккой, чего онъ искалъ все время со дня возвращенія хорошо одѣтаго господина изъ Вюрцбурга. Тетки все еще пропадали по полдня у Грюнталей.

Ребеккѣ поручено было тетками въ этотъ вечеръ непременно сходить на рѣку съ старою Ганной и вымыть пасхальную посуду. По Моисееву закону, посуду, которая употреблялась на Пасху, обязательно мыть въ проточной водѣ, и правовѣрный еврей никогда не смѣшаетъ рѣки съ водопроводомъ. Въ Фюртѣ это дѣлается обыкновенно рано утромъ или подъ покровомъ сумерекъ, чтобы не навлекать на себя насмѣшекъ *гоимъ* и уличныхъ мальчишекъ. Потому что Пегницъ—рѣка не изъ красивыхъ, и вода въ ней темная, мутная. Дома, понятное дѣло, приходится перемывать всю посуду сызнова. Ее накладываютъ горкою въ корзинку съ ручкой, подвѣшиваютъ корзину на желѣзный крюкъ, вбитый въ доску, и погружаютъ въ рѣку. А когда вода немного стечетъ, несутъ корзину обратно домой. Нести можетъ и служанка-христанка, но погружать въ воду долженъ еврей или еврейка. И это было поручено Ребеккѣ. Но передъ тѣмъ она хотѣла съѣздить въ Нюрнбергъ, гдѣ на почтѣ должно уже было лежать письмо отъ Конни. Если ѣхать по желѣзной дорогѣ, это возьметъ часа полтора, не больше. И, разумѣется, теткамъ незачѣмъ знать объ этомъ.

Г. фонъ-Розенкрейцъ сразу заговорилъ о пропажѣ. Ребекка немного волновалась—ей вѣдь надо было поѣхать въ Нюрнбергъ и теперь, послѣ обѣда, было самое удобное время: въ это время она часто уходила гулять, такъ что и старая Ганна не удивится ея отсутствію. Спокойно и внушительно г. фонъ-Розенкрейцъ говорилъ:—Я не придавалъ бы такого большого значенія этому случаю, еслибъ не думалъ

что онъ можетъ пасть огромной тяжестью на душу того, кто это сдѣлалъ. Бываетъ иногда, что человѣкъ поступить такъ по легкомыслію, а потомъ пойметъ, что сдѣлалъ, и стыдится, и ужъ не можетъ освободиться отъ сознанія своей вины. Такая случайность можетъ надолго отравить человѣку его душевное спокойствіе, если онъ не найдетъ въ себѣ мужества очистить свою совѣсть откровеннымъ сознаніемъ.

Говоря это, г. фонъ-Розенкрейцъ не смотрѣлъ на Ребекку Эльканъ. И, когда опять заговорилъ, тоже не глядѣлъ на нее.

— Вамъ, можетъ быть, покажется страннымъ, что я такъ говорю объ этомъ, но, право же, меня не столько занимаетъ моя пропaja, сколько душевное состояніе неизвѣстнаго мнѣ ея виновника. Въ большинствѣ случаевъ о такихъ поступкахъ судятъ слишкомъ строго. По моему, никогда нельзя знать, не сдѣлалъ ли этого человѣкъ случайно подъ вліяніемъ навязчивой мысли, какъ бы внушенія извнѣ, заставляющаго его сдѣлать то, что собственно вовсе не въ характерѣ. Такому человѣку слѣдовало бы облегчить свою душу, довѣрившись другому, или же другому человѣку, который знаетъ объ его проступкѣ, помочь ему высказаться.

Теперь г. фонъ-Розенкрейцъ смотрѣлъ въ лицо Ребеккѣ. Но въ ея чертахъ онъ ничего не могъ прочесть, кромѣ легкаго изумленія.

Она судила иначе: кража есть кража и воръ есть воръ. И находила, что г. фонъ-Розенкрейцъ, должно быть, очень добрый человѣкъ, если онъ судить съ такой непонятной снисходительностью, когда его же обокрали.

— Я такъ охотно сказалъ бы этому человѣку, что я готовъ все простить и забыть,—продолжалъ г. фонъ-Розенкрейцъ.—Онъ, навѣрное, сдѣлалъ это безъ умысла, помимо воли, и теперь мучается мыслью, что его считаютъ негодяемъ. Вѣдь есть люди, которые о такихъ вещахъ судятъ совсѣмъ иначе.

Ребекка Эльканъ не знала, что отвѣтить. И г. фонъ-Розенкрейцъ ушелъ. Ушелъ немного грустный.

* * *

Ребекка Эльканъ поѣхала въ Нюрнбергъ. Сперва по одной дорогѣ, потомъ пересѣла на другую и, наконецъ, съ бьющимся сердцемъ стала передъ окошечкомъ, у котораго выдавали письма до востребованія.

Послѣ тягостнаго ожиданія, во время котораго она увѣрена была, что всѣ, и ужъ навѣрное, почтовый чиновникъ, знаютъ, отъ кого и откуда она ждетъ письма, ей дали, на-

конецъ, письмо. Адресъ на конвертѣ былъ надписанъ измѣненнымъ почеркомъ и латинскими буквами.

Ребекка Эльканъ поѣхала домой. Она не могла распечатать письма на улицѣ. И въ вагонѣ тоже не могла. Для этого ей надо было сперва укрыться въ своей тихой дѣвичьей комнаткѣ.

* * *

Полубезумными глазами пробѣгала она страницы, исписанныя знакомымъ почеркомъ... Отдѣльныя слова врѣзывались въ мозгъ, но общій смыслъ оставался неуловимымъ „...Посчастливилось... оказать услугу въ пути знатной дамѣ... получилъ отъ нея приглашеніе... Полезное знакомство... взялъ, чтобы перебраться черезъ границу и здѣсь, для полиціи, нужно было... *c'est la guerre... the struggle for life...* положи незамѣтно въ его комнатѣ—между бумагами“...

Безумные глаза вглядывались въ эти строки. Рядомъ лежалъ паспортъ г-на фонъ-Розенкрейца. Университетскаго диплома и трехсотъ марокъ не было. Но за то были красивыя слова о великой любви, о великихъ планахъ и цѣляхъ.

Ребекка Эльканъ не плакала. И, какъ раньше у нея не было подозрѣній, такъ теперь не было сомнѣній. И, какъ раньше—нѣсколько часовъ тому назадъ—ей были непонятны снисходительность и гуманное отношеніе г-на фонъ-Розенкрейца, такъ и теперь она осталась при своемъ прежнемъ взглядѣ: для своихъ великихъ замысловъ и благородныхъ цѣлей Конни понадобилось украсть чужія деньги и документы. Что ему уже больше не нужно, то онъ прислалъ назадъ.

Можно простить врагу. Можно быть снисходительнымъ къ друзьямъ. И тотъ, кто долго жилъ и знаетъ жизнь, вообще не судитъ слабыхъ...

Но молодость не умѣетъ прощать. Когда молодое существо убѣждается, что тотъ, кто былъ для него полубогомъ,—только человѣкъ и даже слишкомъ человѣкъ, оно этого снести не можетъ.

Въ сумерки Ребекка Эльканъ снесла въ комнату жильца запечатанный конвертъ, въ которомъ лежалъ паспортъ и записка: „Остального у меня нѣтъ. Это несчастье. Ребекка Эльканъ“.

* * *

Какъ условлено было, Ребекка Эльканъ пошла, вмѣстѣ съ старой Ганной, въ старый городъ, за рѣку, мыть пасхальную посуду.

Пошла на мрачную площадку, подъ унылыми деревьями, на то самое мѣсто, гдѣ у нихъ съ Конни былъ послѣдній разговоръ передъ его отъѣздомъ—сюда пришла она, чтобы вымыть пасхальную посуду въ проточной водѣ, согласно предписаніямъ закона Моисеева.

Старая служанка поставила корзину на землю.

— Я сама снесу ее домой,—сказала Ребекка.

Старухѣ надо было еще въ городъ за покупками и она отвѣтила, что, если рано управится, зайдетъ сюда, за фрей-ленъ Ребеккой.

Оставшись одна, Ребекка Эльканъ повѣсила тяжелую корзину на желѣзный крюкъ, вбитый въ доску.

Темная вода булькала и плескалась о борта корзины.

Ребекка Эльканъ сѣла на доску. Она такъ устала, такъ озябла. Холодъ шелъ изнутри, какъ будто ей ужъ никогда не удастся согрѣться. Мыслей не было, никакихъ. Что-то умерло, разбилось, запачкалось и, послѣ этого, уже нельзя было вѣрить въ правду и красоту. Нѣтъ, никогда!

Ей хотѣлось разсказать объ этомъ Конни. Но связь между ними вдругъ порвалась. Все умерло. Ушло куда-то далеко. Черезъ такую пропасть нельзя перекинуть моста.

Для юнаго сердца Ребекки Эльканъ не могло быть объясненія нечестному поступку. Это было клеймо, котораго ничѣмъ нельзя изгладить.

И вдругъ Ребекка подумала: — Какъ же мнѣ вернуться домой? Вѣдь этотъ чужой господинъ теперь знаетъ. Какъ я посмотрю ему въ глаза?

Но сейчасъ же сообразила: — Онъ думаетъ, что это я украла. Моя записка такая, что онъ *долженъ* былъ это подумать.—И это ее успокоило. Ну, скажетъ: дрянная еврейская дѣвчонка. А это не такъ важно. Не такъ важно.

Нѣкоторое время она сидѣла тихо, почти успокоившись. На Конни не подумаютъ — кто же можетъ подумать на Конни.

Темнѣло. Ребекка Эльканъ вся дрожала, такъ ей было холодно.—Словно осенью,—думала она — когда послѣ Суднаго дня выходишь на улицу—поглядѣть на луну. Луны не было на небѣ въ этотъ предвесенній день. Вѣтеръ шумѣлъ въ вершинахъ деревьевъ и они шептались, какъ живыя.

Ребекка Эльканъ крѣпче стянула шейный платочекъ. Это былъ платочекъ Конни, который онъ носилъ на шеѣ. Безсознательно она погладила его рукою. Страхъ и уныніе медленно заползали въ ея душу, сковывали волю...

Какъ она вернется домой? Что она скажетъ? Ее спросятъ, откуда она взяла паспортъ? Придется солгать. А лгать

она не умѣетъ. И въ глаза людямъ взглянуть не можетъ. Нѣтъ, никогда больше она не сможетъ прямо смотрѣть людямъ въ глаза!

И страхъ передъ ближайшими часами и днями, передъ тѣми людьми, которыхъ она увидитъ прежде другихъ, овладѣвалъ ея душой. Рѣшенія въ ней еще не было. Было лишь тупое ожиданіе—вотъ-вотъ что-нибудь произойдетъ, что сниметъ съ ея души эту тяжесть.

Но ничего не случилось. Только показалась вдали, на откосѣ, фигура старой служанки.

И тутъ Ребеккѣ Эльканъ стало ясно, что она не сможетъ посмотреть въ глаза старой Ганнѣ — и не надо этого дѣлать. И эта мысль была какъ бы избавленіемъ. Она подошла къ самому краю доски, сняла съ крюка корзину, подняла ее и перегнулась корпусомъ впередъ...

И тяжелая корзина съ пасхальной посудой, которая уже успѣла наполниться водой, потянула за собой соскользнувшую съ доски маленькую фигурку въ темную воду рѣки.

* * *

Ее вытащили въ ту же ночь.

Когда г-нъ фонъ-Розенкрейцъ прочелъ ея бѣдныя строки, она была уже мертва.

Хорошо одѣтый господинъ привезъ г-ну фонъ-Розенкрейцъ вѣсть о бѣгствѣ за границу молодого Ренеса; но г-ну фонъ-Розенкранцъ уже не нужно было этого подтвержденія: изъ маленькой записочки Ребекки Эльканъ онъ уже зналъ, какая бѣда обрушилась на нее.

Онъ расплатился съ хорошо одѣтымъ господиномъ и сказалъ, что больше не нуждается въ его услугахъ.

Тетки плакались ему на свое несчастье — на то, что Ребекка, бѣдненькая, утонула, сляся удержать въ рукахъ тяжелую корзину съ пасхальной посудой, соскользнувшую съ крюка. И онъ слушалъ ихъ и сочувствовалъ. И тетя Сабина шила теперь саванъ для Ребекки, которая была еще такъ молода, что у нея даже не было „заргенесъ“.

Г. фонъ-Розенкрейцъ, подъ предлогомъ, что его призываютъ дѣла, съѣхалъ съ квартиры, хотя за нее было заплачено впередъ за мѣсяцъ.

Ему нестерпимо было оставаться въ домѣ, гдѣ бѣдная Ребекка пережила свое великое горе разбитаго юнаго счастья.

Но, когда хоронили Ребекку Эльканъ, г. фонъ-Розенкрейцъ былъ на кладбищѣ. Возлѣ несчетныхъ древнихъ высокихъ и однообразныхъ памятниковъ угасшихъ поколѣній

нашлось мѣстечко и для Ребекки Эльканъ. Старое еврейское кладбище въ Фюртѣ лежитъ на холмѣ, съ котораго открывается видъ на франконскіе луга.

У г-на фонъ-Розенкрейцъ были полны руки фіалокъ и онъ положилъ ихъ всѣ на могилу. Провожатые почему-то заволновались; потомъ подошелъ одинъ изъ мужчинъ и снялъ цвѣты. Какъ вѣжливый человѣкъ, онъ счелъ долгомъ подойти къ г-ну фонъ-Розенкрейцъ и шопотомъ пояснить, что правосѣрному еврею не полагается класть цвѣтовъ на могилу. Г. фонъ-Розенкрейцъ усмѣхнулся. Но усмѣшка была горькая. Да, на ея послѣднемъ пути не должно быть цвѣтовъ. Ребекка Эльканъ пошла крутымъ каменистымъ путемъ—взяла на себя чужую вину, и эта убогая чужая вина возвысилась до трагизма, потому что она взяла ее на себя и молча ушла изъ жизни.

Маленькая Ребекка умерла. Но одинъ изъ стоявшихъ у ея могилы зналъ, что душа у нея была не маленькая и что душа эта не могла пережить разочарованія въ любимомъ человѣкѣ.

Евреи монотонно бормотали надгробныя молитвы. Раввинъ сказалъ рѣчь.

Г. фонъ-Розенкрейцъ дрожалъ отъ холода. Онъ зналъ, что еще долго онъ будетъ думать о Ребеккѣ Эльканъ, которая не умѣла идти на компромиссы, какимъ постепенно научаемся всѣ мы, со стыдомъ и грустью, съ горькой усмѣшкой. Прошло уже нѣсколько лѣтъ со дня смерти дѣвушки, но еще долго онъ будетъ думать о Ребеккѣ Эльканъ.

* * *

Случайности, какъ бабочки весной;
Осенній домъ онѣ не посѣтятъ,
Гдѣ каждый часъ давно разсчитанъ мной,
Гдѣ и мечты подолгу не гостятъ.
Молчатъ ряды давно закрытыхъ книгъ,
Молчитъ печаль давно изжитыхъ мукъ:
Здѣсь все равно, что годъ, что часъ, что мигъ,
Здѣсь циферблатъ не недругъ и не другъ.

Т. Ефименко.

ВЪ ГЛУБИНѢ.

Очерки изъ жизни глухого уголка.

1. Потѣха.

Уголокъ тихій, неслышный, безвѣстный. На картѣ или глобусѣ онъ былъ бы меньше любой изъ тѣхъ безыменныхъ, таинственныхъ точекъ, которыми въ причудливомъ безпорядкѣ усѣяна бирюзовая ширь океана. Посмотрѣть—просто щепотки песку и пыли, а надпись гласитъ: *Полинезія, тѣмъ острововъ*. Въ пестромъ узорѣ россійскихъ селеній, густомъ и разбросанномъ, въ безпорядочной ихъ розсыпи, мой родной уголокъ — едва замѣтная, затерянная точка...

Жизнь тутъ не мечется въ безтолковой и оглушительной суето-локѣ, не кипитъ, не бурлитъ, не шумитъ... Течетъ ровнымъ, медленнымъ теченіемъ туда, куда направлень уклонъ, струится покорно, безшумно, съ чуть слышнымъ плескомъ и шорохомъ, порой—съ мелкой выбью, тихо и робко докатывается до своего устья и незамѣтно вливается въ широкую рѣку общенароднаго бытія. Порой тутъ, въ ласковыхъ, родныхъ нѣдрахъ этой нестѣпной жизни, туго мѣняющей привычный укладъ, старыя понятія и прочныя навыки, среди этихъ хатокъ, пахнущихъ кизячнымъ дымкомъ, и знакомыхъ зелено-сизыхъ вербовыхъ рощицъ, въ молчаньи сизаго степного кругозора, — почти не вѣрится, что гдѣ-то долженъ быть шумъ, „гремѣть витіи“, идетъ борьба, кипитъ волненіе... Кто-то ломаетъ голову надъ судьбами народовъ и нашего тихаго уголка... Кто-то собираетъ дани, кто-то расхищаетъ ихъ и еще кто-то помогаетъ сжигать ихъ въ огнѣ торопливо-жадной, безумной, чадной жизни...

Не вѣрится, ибо трудно представить себѣ это въ нашей степной тишинѣ, гдѣ такъ плавно катится по знакомому небу свѣтлое солнце, и ночь съ ласковыми звѣздами смѣняетъ хлопотливый день, и чередуется знакомый будничныи трудъ съ короткимъ праздничнымъ досугомъ, а медлительный бой часовъ на колокольнѣ изрѣдка (когда сторожъ Кузмичъ не проспитъ) освѣдомляетъ, что время не остановилось, идетъ все-таки своимъ порядкомъ и въ обычныхъ хлопотахъ мы незамѣтно дойдемъ до нѣмого кладбища съ похилившимся заборомъ и крестами...

Съ полночи дѣловито кричатъ кочета, на зарѣ мычатъ коровы, гуси перекликаются звонкимъ крикомъ, скрипятъ журавцы, знакомо звучатъ голоса людей и пестрый собачій лай. Свѣжо, по осеннему, пахнетъ опадающимъ листомъ, стелется туманъ надъ левадами, гумнами и въ концѣ улицы, и въ немъ неторопливо двигаются странно огромныя фигуры въ зипунахъ или въ какихъ-нибудь старыхъ, рваныхъ потитукахъ, по влажной землѣ звонко чмокають гигантскіе чирки, маячатъ старыя фуражки, похожія на сковороды, а изъ-подъ толстыхъ, закрученныхъ, завязанныхъ платковъ вылетаютъ звонкіе женскіе голоса, взмывающіе надъ протяжнымъ, разноголосымъ блеяніемъ овецъ:

— Кырь-кышь-кышь-кышь! Куда ты, кароста тебя задави! Кырь-кырь-кышь!..

Начинается трудовой день, и вѣковой порядокъ его всегда одинъ, всегда напередъ установленъ во всѣхъ подробностяхъ—вплоть до дружнаго многоголосаго чиликанья воробьевъ на соломѣ,—измѣненія лишь частичныя въ зависимости отъ времени года. И какія бы волны ни вставали тамъ, въ далекихъ шумныхъ центрахъ,—сюда не скоро донесется ихъ отголосокъ и, приглушенный разстояніемъ, онъ лишь слабо напомнитъ о связи тихаго, затеряннаго уголка съ какимъ-то огромнымъ цѣлымъ, со всей спутанной сѣтью человѣческихъ отношеній.

А когда зарядитъ осенній дождь, мелкій, тихій, долгій и упорный, и солонцоватый глиноземъ нашихъ степей обратится въ вязкую, невылазную соломату, — станица наша на недѣли и мѣсяцы обрываетъ слабыя нити общенія съ культурнымъ міромъ, теряетъ возможность знать не только то, что дѣлается на бѣломъ свѣтѣ, но и какая цѣна на пшеницу и просо въ Михайловкѣ, въ ближайшей слободѣ при желѣзной дорогѣ.

Тогда мы совѣмъ какъ островитяне—далеко отъ общей міровой жизни, отъ ея приливовъ и отливовъ, далеко отъ начальства, отъ его неусыпныхъ попеченій объ исправномъ выполненіи лежащихъ на насъ обязанностей. И чувствуется даже какое-то сиротство безъ этой вотъ именно связи, живой, привычной, ободряющей и понукающей... По инерціи мы дѣлаемъ усилія, чтобы не обмануть довѣрія, стараемся, всячески гонимъ мысли объ уклоненіи. Но все это какъ-то вяло, нехотя, безъ должнаго воодушевленія...

Однако—какимъ-то чудомъ—не погибаемъ, живемъ...

Въ восемь утра, въ сѣромъ полусвѣтѣ, сквозь тонкую, зыбкую сѣтку дождя я вижу: верхомъ на мокрыхъ тонконогихъ лошадакахъ съ острыми спинами подѣзжаютъ къ станичной школѣ оригинальные всадники — маленькіе, намокшіе, нахохленные, какъ озябіе воробы. Сидятъ они обыкновенно по-двое, иногда и по-трое на одной лошадакѣ — задній обнимаетъ подъ мышками передняго

у передняго въ рукахъ поводья. Маленькіе всадники вооружены: съ боку болтаются деревянныя пашки, самодѣльныя и потому весьма разнообразныхъ фасоновъ — и въ видѣ пѣхотнаго тесака, и на манеръ турецкаго ятагана, и казачьи. За спиной — деревянныя винтовки, за правымъ плечомъ на ремнѣ качается пика. У лѣваго бедра — сумки съ книжками и провіантомъ...

У воротъ школы всадники сползаютъ съ своихъ лошадокъ, заматываютъ имъ поводья вокругъ шеи и убѣгаютъ въ калитку. Лошадки нѣкоторое время стоятъ у школьнаго палисадника, иной разъ съ любопытствомъ заглядываютъ въ калитку, куда скрылись ихъ всадники, но, не усмотрѣвъ, вѣроятно, ничего знакомаго, ничего любопытнаго, разочарованно поворачиваютъ назадъ и трюкаютъ домой...

Къ низкому кирпичному домику, который стоитъ напротивъ, — въ немъ помѣщаются церковная сторожка и женская церковная школка, — въ эту же пору подѣзжаютъ телѣги съ плетеными плоскими кузовами, называемыя въ станицѣ *одрами*. Въ телѣгахъ биткомъ, слѣпившись въ мокрыя кучи, сидятъ маленькія, закутанныя дѣвочки съ сумками. У воротъ церковной ограды телѣга вытряхиваетъ такую кучу наземь, — дѣвочки бѣгутъ, проворныя, какъ перепелки, и скрываются въ церковной сторожкѣ...

Въ эту пору да въ часъ или два пополудни оживляется наша пустынная улица, съ широкими бурыми лужами, похожими на степныя озера, особенно когда по нимъ пробѣгаетъ мелкая зыбь или приходятъ поплавать ватаги гусей... Иной разъ сквозь разорванные облака глянетъ солнце, лужи блестятъ и весело улыбаются, отражая въ своей глубинѣ маленькіе домики съ обмазанными глиной, побѣленными стѣнами, мокрые сараи, плетни, журавцы колодезь, облетѣвшія вербы и черныя старыя 'груши станичныхъ садиновъ.

Иногда выпадаетъ совсѣмъ веселый денекъ, съ морозцемъ, съ яснымъ, глубокимъ небомъ, съ солнышкомъ. Лужи покрываются ледяной корой. Солонцеватый черноземъ улицъ пристываетъ и дѣлается проходимымъ. Вооруженные школьники доставляются въ школу уже не на коняхъ, а обычнымъ пѣшимъ порядкомъ. При этомъ они ведутъ непрерывный бой со всѣми дворнягами, которые вздумаютъ привѣтствовать ихъ своимъ zalivistymъ лаемъ, — пускаютъ въ ходъ пики и пашки, ширяютъ ими въ подворотни, въ дыры старыхъ плетней и заборовъ, — всюду, гдѣ только есть возможность подразнить захлебывающагося отъ злобы непріятеля...

Потомъ пробуютъ крѣпость льда на всѣхъ лужахъ, катаются, барахтаются, проваливаются и, набравши воды въ чирики, вспоминаютъ, наконецъ, что пора бѣжать и въ школу, — не даромъ старый Семенычъ уже въ третій разъ принимается звонить въ колокольчикъ.

Въ такіе дни отъ двѣнадцати до часу въ мирной тишинѣ ста-

ничной жизни, кромѣ задорнаго крика галокъ, далекаго кагаканья гусей и рѣдкаго лая собакъ, я слышу залиvistую кавалерійскую команду вахмистра Елисея Корнѣевича и звонкіе дѣтскіе голоса, дружнымъ хоромъ считающіе;

— Рразъ!..

— Рразъ—два-а!..

Передъ калиткой училища останавливаются проходящія бабы, старики въ зипунахъ, дѣвочки изъ церковной школы, выпущенныя на перемену. Стоять и долго глядятъ на школьный дворъ, откуда несутся эти веселые, дружно-звонкіе крики: идетъ обученіе нашихъ *потомковъ* гимнастическій и военному строю.

Къ кучкѣ любопытствующихъ зрителей присоединяюсь и я. Вахмистръ Корнѣевичъ, стройный, подтянутый, стоитъ передъ развернутымъ, очень длиннымъ и очень разномастнымъ фронтомъ. Его команда разнообразіемъ и фантастичностью своихъ одеждъ и вооруженія напоминаетъ *Большую армию* Наполеона послѣ перехода черезъ Березину. Пиджаки и женскія ватныя кофты, старенькія пальто офицерскаго покроя съ свѣтлыми пуговицами и рубахи цвѣта *хаки*, отцовскія, франтовскія когда-то, а теперь выцвѣтшія и порыжѣвшія тужурки и мужицкіе армяки... Чиріки и тяжелые, неуклюжіе сапоги... Казацкія фуражки, папахи, черныя „русскіе“ картузы, даже старыя студенческія фуражки, Богъ вѣсть какими путями пробравшіяся въ нашъ мало просвѣщенный, далекій уголокъ... Оружіе — самыхъ разнообразныхъ образцовъ: шашки форменныя, казацкаго образца, и кривыя *турецкія*, короткія — вродѣ финскихъ ножей... Винтовки, сдѣланныя, очевидно, родительскимъ топоромъ, пики—некрашенныя и крашенныя, черныя, голубыя, красныя, кривыя и тщательно оструганныя...

Войско пестрое, ибо обмундировано и вооружено, какъ и полагается иррегулярнымъ войскамъ, за собственный коштъ...

— Смир-но! — лихо, разливистымъ голосомъ, командуетъ Корнѣевичъ.

— Рразъ! — дружно и звонко откликается команда. Видно, что каждый изъ этихъ разнокалиберныхъ воиновъ старается выкрикнуть это *разъ* какъ можно громче, перекричать другихъ, и этотъ веселозвонкій счетъ, сопровождаемый короткимъ взмахомъ головы, повидимому, даже слегка грѣетъ озябшихъ...

— Глаза направо!

— Рразъ!..

— Короче! короче счетъ!.. не тянуть!.. Выровняться!.. Правило помни: „третьяго вижу, четвертаго не вижу“!.. Лѣвый флангъ! куда тамъ выперли? осадилъ назадъ!..

Лѣвый флангъ суетливо и безтолково отступаетъ назадъ, потомъ мечется опять впередъ, кое-какъ выравнивается, толпясь и ссорясь, и снова беретъ „глаза направо“.

— Голову выше! выше голову держи!.. Грудь разверни!..

Головенки въ разнокалиберныхъ уборахъ какъ будто и безъ того сдѣлали лихой поворотъ въ правую сторону, но Корнѣвичу онѣ, очевидно, кажется недостаточно боевымъ.

— Выше головы!..—И онѣ смѣшно—для посторонняго зрителя—задираются вверхъ, на прѣлую крышу дровяного училищнаго сарая...

Развернуть грудь уже труднѣе, и лѣвый флангъ вмѣсто этого просто выпячиваетъ животы и на нѣсколько мгновений застываетъ въ такомъ неестественномъ положеніи. Мой знакомый малышъ Моховъ, лѣвофланговый, должно быть, озябъ и танцуетъ ногами въ мокрыхъ чирикахъ,—одна штанина у него выпущена, другая забрана въ желтый, старый шерстяной чулокъ. Его сосѣдъ Поповъ, которому, повидимому, надобно держать глаза направо, даетъ ему въ спину пинка. Моховъ съ полной готовностью отвѣчаетъ тѣмъ же приемомъ. Повидимому, имъ, новичкамъ, не твердо еще втолковано положеніе, что *фронтъ—святое мѣсто...*

— Смирно!

— Ррразъ!..

Головы поворачиваются къ инструктору.

— Поздороваться со станичнымъ атаманомъ!.. Помни, ребята, говорить надо короче, не тянуть!..—„Здорово, молодчики!“..

— Здра... жла... вашбродь!..—отвѣчаетъ команда звонко, но не совсѣмъ стройно.

— Согласнѣй! Согласнѣй отвѣчать! Халатно дѣлаете!.. „Здорово, молодчики!“

— Здра-жла-ваш-бродь!..

— Еще короче! Не отставай! Какъ не можно короче!.. Чтобы не баранами счелъ начальникъ, а звѣрами... Здорово, звѣри!

— Ззздorra-жла-вашбродь!..

— Лихобабинъ подсигиваетъ тамъ! Смотри-и!.. Я тебя под-сигну, милый, я тебя такъ подсигну!..

— Теперь поздороваться съ инспекторомъ... Ребята, помни же!—вахмистръ поднялъ вверхъ указательный палецъ и на мгновение замеръ, упершись строгимъ взглядомъ въ свою безпокойную команду:—инспектору отвѣчать „здравія желаемъ, *ваше высокородіе*!“ Помни... „Здорово, дѣти!“

— „Здррра-жла-вашбродь!..

Рядомъ съ Лихобабинымъ и озябшій лѣво-фланговый Моховъ подпрыгиваетъ на мѣстѣ въ тактъ возгласу, грѣтся.

— Паршивая тварь!—горячится Корнѣвичъ:—сказано: „ваше *вы-со-ко-родіе*!“.. А вы что лопочете?..

Повторяютъ снова. И еще разъ пять. Какъ ни стараются, а все кто-нибудь отстанетъ или раньше выльзетъ, и вся гармонія испорчена...

— Бараны!—говоритъ Корнѣвичъ въ отчаяніи и дѣлаетъ долгую паузу. Потомъ откашливается и переходитъ въ новому номеру.

— А когда инспекторъ будетъ проходить по фронту, то прово-

жай его глазами!.. Вотъ я иду отсюда... съ лѣваго фланга... То вы головы поворачивайте въ мою сторону... Ключевъ! Я тебѣ, стерва, тамъ поверчусь!..

— Господинъ вахмистръ, тутъ Калашниковъ на спинѣ пишетъ мѣломъ...—изъ середины фронта доносится оправдывающійся голосъ.

— Я его не трогалъ, г. вахмистръ!..—тотчасъ же выскакиваетъ новый голосъ.

— Всю спину исписалъ!..

— Гдѣ у него мѣлъ?

— Въ карманѣ...

— Я тебя, мерзавецъ! Пошелъ вонъ изъ фронта! Къ забору!.. Помни же, ребята: вотъ я—инспекторъ, и иду по фронту, то провожай меня глазами... Моховъ! Поповъ! Гляди въ мою сторону!.. Тварь паршивая! Вертятся тамъ все время!

Безпокойный лѣвый флангъ нѣкоторое время провожаетъ глазами вахмистра, изображающаго въ данный моментъ какого-то инспектора. Ни Моховъ, ни Поповъ, ни ихъ ближайшіе сосѣди-первоклассники ни разу еще и въ глаза не видѣли инспектора и къ особѣ его они вполнѣ равнодушны. Скоро забываютъ требованія порядка и дисциплины, начинаютъ по прежнему толкаться и мѣняться пинками между собой.

Вахмистръ, кончивъ обходъ фронта, отходитъ на средину и съ привычной заливчатской отчетливостью командуетъ:

— Смир-но!

— Ррразъ!—тотчасъ же дружно, звонко и радостно отзывается команда.

Этотъ номеръ всегда выходитъ отчетливо, чисто и стройно, онъ уже приобрѣлъ всѣ свойства идеальной автоматической отдачи, и даже при ученіи „безъ счета“ нельзя отучить нашу потѣшную сотню отъ того, чтобы на команду „смирно!“ она не крикнула привычнаго „р-разъ“!..

— Слуша-ай!.. Шашк...

Сотня рукъ, голыхъ и въ перчаткахъ, всѣхъ цвѣтовъ — красныхъ, фіолетовыхъ, бѣлыхъ, синихъ, въ варежкахъ,—дружно хватается за эфесы своихъ разнокалиберныхъ сабель.

— ...Вонъ!—восторженно не выкрикиваетъ, а выстрѣливаетъ вахмистръ.

— Ррразъ!.. Два!..

Шашки дружно взметываются въ воздухъ и опускаются на плечо. Въ этомъ дружномъ одновременномъ взмахѣ, сопровождаемомъ звонкимъ крикомъ дѣтскихъ голосовъ, въ мельканіи деревянныхъ палашей, рядомъ съ смѣшнымъ, веселымъ, есть все-таки что-то дѣйствительно боевое, лихое...

— На кра-уль!..

— Ррразъ!..

— На пле-чо!

— Ррразъ!..

— Шашки въ нож-ны!..

— Рразъ!.. два!..

Все—какъ у большихъ—„по приемамъ“. Въ промежуткахъ Елисѣй Корнѣвичъ съ серьезнѣйшимъ видомъ излагаетъ передъ этой разномастной, смурывающей носами, мелкой сотней соответствующіе пункты строевого устава.

— Помни же, ребята! Приемы холоднымъ оружіемъ, чтобы правильность была, не забывай, какъ я говорилъ. Когда я командую: *шашки!*..

Вахмистръ выталкивалъ слово мгновенно и лихо, и хищное выраженіе пробѣгаетъ на мигъ по его лицу, точно онъ нацѣлился уку-силь кого-то...

— То—первымъ долгомъ—пропусти кисть правой руки между локтемъ лѣвой и бедромъ и обхвати рукоять всѣми пальцами!.. При командѣ *вонъ!* вынь клинокъ изъ ноженъ кверху, лезвіемъ влѣво—такъ, чтобы рукоять находилась выше головы... Ветютневъ! ты куда морду воротить тамъ?.. И—и, сволочь!.. Также и при командѣ „въ нож-ны!..“ Пошелъ вонъ изъ строя, Лобода!.. Къ забору!..

При командѣ „въ ножны“, какъ оказывается, недостаточно просто вложить клинокъ въ ножны, а надо соблюсти три приема, причемъ особенно эффектенъ послѣдній: надо придержать палашь съ такимъ расчетомъ, чтобы при командѣ *три* дружно щелкнуть эфесомъ объ ножны. И команда вся замираетъ передъ этимъ торжественнымъ моментомъ...

— Три!—командуетъ вахмистръ.

— Тррри!..—съ упоеніемъ повторяетъ команда, оглашая воздухъ воинственнымъ стукомъ своихъ сабель. И всѣ довольны. Смѣются...

Послѣ шашечныхъ приемовъ идутъ повороты и построения. Новички путаютъ еще правое и лѣвое плечо, ошибаются въ поворотахъ при командѣ *кругомъ*, поправляютъ другъ друга, пихаются и бодаются, какъ маленькіе козлята. Корнѣвичъ хоть и грозитъ имъ, но къ устрашающимъ мѣрамъ не прибѣгаетъ. Одинъ разъ, правда, подергалъ за ухо Жилкина, брыкавшего ногами сосѣдей, но Жилкинъ—уже не новичокъ. И, по совѣсти говоря, Корнѣвичъ—педагогъ не плохой. Фронтоникъ онъ вдохновенный и увлекательный, команда его, звучная, бодрая, лихая, заражаетъ восторгомъ его раз-го алиберную сотню, военное обученіе идетъ весело, легко и интересно...

— Помни лѣвую руку!—кричитъ онъ въ десятый, въ двадцатый разъ:—при командѣ *кругомъ* поворачивай налѣво... Быкадоровъ! халатно дѣлаешь! безъ вниманія!.. Кругомъ!..

— Ррразъ!.. два!..

— А Дурневъ опять направо повернулъ! Эхъ, ты! мужикъ!.. Сопли утри!.. Во фронтъ!

— Рразъ два!..

— На первый-второй-третій разсчитайся!

— Первъ!

— Втрой!..

— Треть!..

Голоса выскакиваютъ пестро-звонкими щелчками, коротко и мгновенно, какъ искорки изъ сухихъ лучинокъ. Голову при этомъ надо мотнуть влѣво, къ сосѣду, лихо, браво, грозно, чтобъ въ тотъ же моментъ встрепенулъ онъ и тѣмъ же жестомъ и отрывистымъ крикомъ передалъ счетъ слѣдующему.

Быстро бѣжить по фронту эта звонко-отрывистая трескотня и вдругъ словно натывается на препятствіе: кто-то зазѣвался и не успѣлъ крикнуть свой номеръ.

— Заснулъ!—негодующе кричитъ Корнѣевичъ:—спянтяй!..

— Второй!..

— Треть!..

— Перв!..

— Слуша-ай!.. Первые номера шесть шаговъ впередъ, вторые—три! Маршъ!.. Стой!..

— Ррразъ!.. два!..

— Со-коль-скій гим-нас-тикъ!..

Подъ воодушевляющую команду Корнѣевича, который и самъ весь ходуномъ ходитъ, начинаются стройные, ритмическіе, согласные приемы, вставляющіе бабъ рядомъ со мной охатъ, смѣяться и изумленно всплескивать руками:

— Сердешные мои дѣточки! то ходили вольно, а то Богъ знаетъ чего заставили...

Въ быстро смѣняющемся калейдоскопѣ движеній, подъ звуки команды, полной боевого увлеченія и порыва, возбуждающей и заражающей, отъ этихъ маленькихъ взмахивающихъ, выпадающихъ, присѣдающихъ фигурокъ получается впечатлѣніе стройнаго, гармоническаго дѣйствія.

— Руки врозь—ноги во-внѣри! разъ-два!.. Руки вверхъ—ноги въ переплетъ! три-четыре-е!.. Кругомъ! Помни: стать на правое колено! Р-разъ—два-а! Чище дѣлай, Котенякинъ! халатно дѣлаешь!.. Три-четыре!..

— Охъ, чтобъ-бъ васъ!—воскликаетъ восхищенный бабій голосъ изъ нашей группы. И мы смѣемся: въ самомъ дѣлѣ, забавно...

Я и бабы, стоящія рядомъ со мной, столяръ Жаровъ, который съ аршиномъ и листомъ стекла подъ мышкой шелъ куда-то по дѣлу, но примкнувъ къ нашей группѣ, заинтересовавшись потѣшнымъ ученіемъ, дѣвчата изъ церковной школы и сидѣлочный казакъ изъ станчнаго правленія,—все мы относимся къ этому зрѣлищу съ снисходительнымъ смѣшкомъ, и никому изъ насъ какъ-то нейдетъ въ голову, что передъ нами—осуществленіе задачи, предуказанной свыше, дѣло величайшей государственной важности, созиданіе фундамента будущаго російскаго могущества и

славы... Мы-то улыбаемся, а сколько важныхъ людей съ озабоченнымъ видомъ ходять около этого заданія: министры, архіереи, генералы, начальники дорогъ, жандармы, директора, инспектора—всѣ, кому дорога своя карьера! Ловкіе люди уже успѣли снять пѣнки съ этой потѣхи, взмыли даже черезъ нее на головокружительную высоту. Ихъ легкій и шумный успѣхъ смутилъ покой и рядовыхъ администраторовъ,—всѣ вдругъ сообразили, что надо догонять во что бы то ни стало,—дѣло серьезное... иначе на видѣ могутъ поставить нерадѣніе по службѣ...

Припомнились мнѣ газетныя статьи, въ серьезѣ трактовавшія потѣшный вопросъ. За ихъ патріотическимъ букетомъ и пафосомъ чувствовалось неприкрытое мазурничество, въ лучшихъ случаяхъ—ноздrevщина,—и какъ-то невольно думалось, что все это—*нарочно*, въ шутку, отнюдь не въ серьезѣ. Однако—оказывается—потѣха-то потѣхой, а кое-кому и не до смѣха...

Вонъ выходитъ на крыльцо Иванъ Самойлычъ, учитель, въ старой форменной фуражкѣ съ полинявшимъ околышемъ и въ ватномъ сѣромъ пиджакѣ. Какъ и полагается сельскому учителю—человѣкъ вида тощаго, поджараго и покорнаго судьбѣ...

Это—мой старый товарищъ по гимназіи. Курса въ ней онъ не кончилъ и въ книгѣ судебъ ему было опредѣлено педагогическое поприще на самой нижней ступени. Кажется, уже около двадцати лѣтъ онъ смиренно несетъ свой крестъ.

При встрѣчахъ мы рѣдко вспоминаемъ съ нимъ гимназію—не очень веселые были годы нашего отрочества и юности,—большей частью мы споримъ о безсмертіи души. Очень огорчаетъ Самойлыча, что я не совсѣмъ твердѣ въ христіанскомъ ученіи, и онъ настойчиво, какъ плотничья пила, зудитъ мнѣ въ уши:

— Душа сотворена Богомъ безсмертной—какія же тутъ могутъ быть сомнѣнія? Можетъ, вы и въ существованіе ангеловъ не вѣрите? Этакъ, пожалуй, все можно отрицать...

Сегодня, впрочемъ, онъ не подымаетъ обычнаго спора и, поздоровавшись—говоритъ просто и буднично:

— Баранину сейчасъ жарилъ на керосинкѣ... Все не клеится никакъ безъ жены... А жену выписать—съ кѣмъ дѣти тамъ останутся? Вѣдь трое ужъ въ гимназіи учатся! Вотъ умудритесь—ка изъ двадцати пяти пѣлковенькихъ-то въ мѣсяцъ и дѣтей просодержать, и самому пропитаться...

Онъ коротко дергаетъ головой, и этотъ скорбно-хвастливый жестъ мнѣ давно знакомъ, какъ давнымъ-давно я знаю всѣ его незavidныя—чисто учительскія—обстоятельства, но Иванъ Самойлычъ каждый разъ излагаетъ ихъ подробно, обстоятельно „съ чувствомъ, съ толкомъ, съ разстановкой“, какъ безнадежно хворый человѣкъ повѣствуетъ о любимой болѣзни...

— Въ прошлое воскресенье за полтора рубля нанялъ лошадей да съѣздили провѣдать... А раньше, пока погода была дозволительная,—пѣшечкомъ... Мопіонъ полезенъ. Двадцать семь верстъ туда, двадцать семь—обратно... Ноги, конечно, дня три гудуть послѣ такой прогулки... А все дѣтишекъ поглядѣть тянется... Инспекторъ обѣщаетъ дать мѣсто въ городѣ, да вотъ все вакансіи нѣтъ...

Съ минуту мы молчимъ и смотримъ на ружейные приемы потѣшной команды, слушаемъ звонкіе выкрики Корнѣевича:

— Ружья на изготовку! Сотня, п-ли!..

Мальчуганы, въ серьезъ разставивъ ноги, пригибаются головами къ лошадкамъ своихъ деревянныхъ винтовокъ, щурятъ глаза и при командѣ *п-ли*, не взирая на запрещеніе вахмистра, все-таки не могутъ удержаться, чтобы не крикнуть дѣтскими басами:—*п-цу!.. бу!.. ба-бахъ!..*

— Ну что, эта потѣха не очень мѣшаетъ вашимъ занятіямъ?—спрашиваю я у учителя.

— Воинскій духъ развивать надо,—не очень охотно, какъ-то уклончиво отвѣчаетъ онъ. Потомъ вздыхаетъ покорно и кротно.

— Въ прошломъ году циркуляръ былъ, строжайшій,—помолчавай, говоритъ онъ:—въ нынѣшнемъ—другой, еще строже. Предписано усвоить, проникнуться и неукоснительно выполнить... И все годъ отъ году строже и грознѣй... Выучишь, можно сказать, на зубокъ и всегда—будь увѣренъ—въ чемъ-нибудь да просыплешься...

Иванъ Самойлычъ—человѣкъ смирный, немножко какъ бы ушибленный, всего боится, даже роптать вслухъ не смѣетъ. Но я чувствую, что потребность облегчить душу жалобой все-таки одолеваетъ въ немъ привычное чувство опасенія передъ тѣмъ, какъ бы чего не вышло. Слегка понизивъ голосъ, съ дружески секретнымъ видомъ, онъ говоритъ:

— Помню вотъ, когда ждали приѣзда барона Таубе,—ужь такъ мы приготовились, такъ приготовились... думалъ, комаръ носа не подточить! Потому что было уже извѣстно, что генералъ серьезный, шутокъ не любитъ; кое-гдѣ ужь предупредилъ: „у меня веревочекъ много!..“ Холоду нагналъ... Ну, тутъ и предписанія были ужь соответствующія. Нашъ окружной генералъ разослалъ бумагу: „завѣдующіе училищами при встрѣчѣ его п—ства должны озаботиться сформированіемъ изъ учащихся почетныхъ карауловъ съ ординарцами и вѣстовыми. Напоминаю, что наказный атаманъ очень доброжелателенъ къ молодежи, которая при вѣздѣ въ поселеніе встрѣчаетъ его на коняхъ, а при отѣздѣ конвоируетъ на нѣкоторое разстояніе“...

— Думалъ-таки я: хорошо бы на коняхъ встрѣтить. Сунулся по родителямъ—нѣтъ: время рабочее, никто не даетъ лошадей ребятишкамъ. Ну, нечего, думаю, дѣлать: отшлифую ихъ получше въ пѣшемъ строю и въ словесности, ординарцевъ-то своихъ этихъ...

Ну, и приналежь на словесность. Всѣ имена и титулы на зубокъ заставилъ вызубрить! А это номеръ, я вамъ скажу, не изъ плѣвыхъ... Извольте-ка добиться, чтобы мальчугашка не вывихнулъ языка, безъ запинки выговорилъ на вопросъ:—кто у насъ войсковою наказный атаманъ?—„Его превосходительство генераль-лейтенантъ баронъ Фридрихъ Фридриховичъ фонъ-Таубе“... Въмѣсто „баронъ Фридрихъ Фридриховичъ“ онъ жарить себѣ *баронъ Фридриховичъ* и—никакихъ!.. Или не спотыкнись, напримѣръ, на архіереѣ; его *высокопреосвященство высокопреосвященнѣйшій Аванасій, архіепископъ донской и новочеркасскій?*.. Какъ это залпомъ-то?..

Иванъ Самойлычъ посмотрѣлъ на меня веселымъ, выжидающимъ взглядомъ.

— Вы говорите? а-а! А я достигъ!.. А вы что думали,—добился!..

Онъ мотнулъ головой сверху внизъ—обычный его хвастливый жестъ. Помолчалъ, поскребъ свою бородку тѣлеснаго цвѣта. Вздохнулъ.

— И все-таки просыпался...

Тонъ у него сталъ горестный, но почему-то хотѣлось смѣяться глядя на его сокрушенное, костлявое лицо, сдавленное съ боковъ.

— И срѣзался-то на пустякъ!.. Сперва все шло распрекрасно...— „Кто есть августѣйшій атаманъ всѣхъ казачьихъ войскъ“? „Кто у насъ военный министръ“? Рѣжутъ мои ребята безъ запинокъ, я—просто расту!..— „А кто у васъ поселковой атаманъ“?—у одного спрашиваетъ. — „Да кто? Трушка Рябенкій“... — „Что-о? Это о своемъ ближайшемъ начальникѣ такъ выражаться? Г. учитель! это что такое“?.. Ко мнѣ. Маленькій такой старичишка, ершистый, шипитъ, свиститъ, ногами сучить... Ну, тутъ ужъ я въ моментъ—ко дну... Хочу слово сказать, а у меня лишь челюсть прыгаетъ, а выговорить не могу ни звука... Поглядѣлъ онъ, поглядѣлъ на меня — не сталъ добивать: повернулся и пошелъ. И вся свита за нимъ... А я съ недѣлю пролежалъ послѣ такого потрясенія...

— Да... Вотъ пустякъ какъ будто: „Трушка Рябенкій“... Полагалось сказать: „урядникъ Трофимъ Спиридоновъ Желтоножкинъ“, а ученикъ ляпнулъ по-просту, по уличному... А я виновать...

Мы съ минуту помолчали. Хотѣлось мнѣ чѣмъ-нибудь выразить сочувствіе старому товарищу моего отрочества, но въ легкомысленномъ воображеніи прыгала его испуганная челюсть передъ шипящимъ генераломъ, и разбиралъ легкомысленный смѣхъ. И стыдно было, а ничего подѣлать не могъ.

— Вотъ вы смѣтаете, а нашему брату какъ?—сказалъ учитель и самъ засмѣялся смиреннымъ, грустно-покорнымъ смѣхомъ:—вотъ нынѣшній приказъ... самый свѣжій... Выучить-то я его выучилъ, проникъ, а какъ его выполнить? А вѣдь съ меня спросать?..

Онъ глядѣлъ на меня вопрошающими глазами, ожидая отвѣта.

— А какой именно приказъ?

Апрѣль. Отдѣлъ I.

— Какой? А вотъ-съ, извольте...

Иванъ Самойлычъ сдѣлалъ торжественное лицо и, какъ примѣрный ученикъ на экзаменѣ, прочиталъ наизусть быстро и съ щегольскою отчетливостью слѣдующее:

— „Главная задача казачьей школы состоитъ прежде всего въ сохраненіи въ молодомъ поколѣніи казаковъ воинскаго духа, унаслѣдованнаго отъ предковъ, утрата котораго была бы равносильна уничтоженію казачества. Средства, долженствующія содѣйствовать успѣшному выполненію указанной задачи, суть слѣдующія: необходимость развивать въ дѣтяхъ любовь къ воинскимъ упражненіямъ, верховой ѣздѣ и вообще ко всему, что потребуется отъ нихъ впоследствии на службѣ, и—второе—практически знакомить ихъ съ улучшенными приемами земледѣлія, такъ какъ отъ этого зависить ихъ будущее благосостояніе, а вмѣстѣ съ тѣмъ и исправное снаряженіе на службу“...

Онъ сдѣлалъ паузу, чтобы передохнуть, и въ бокъ поглядѣлъ на меня испытующимъ окомъ: каково, молъ?

— Къ концу приказа улучшенные способы земледѣлія, впрочемъ, забыты или намѣренно отброшены, — вродѣ какъ бы для краснаго словца были они вставлены, — а выдвинуты исключительно верховая ѣзда, строй и парады въ высокоторжественные дни. А главное: „пріучить дѣтей въ дисциплинѣ и развить въ нихъ уваженіе къ власти“...

Иванъ Самойлычъ снялъ свою потертую фуражку и слегка поскребъ затылокъ.

— Вы скажете: что же тутъ труднаго—развить уваженіе къ власти? Дѣло законнѣйшее, — я и самъ не какой-нибудь крамольникъ, понимаю. Человѣкъ я — вы сами знаете—смирнѣйшій, противъ власти рыднуть не смѣю, не то что... А вотъ тутъ, исполняя эти самые приказы, вышелъ какъ бы сказать, вродѣ узурпатора или подрывателя основъ... И все оттого, что многоначаліе пошло, смѣшеніе языковъ. Кому служить? кого слушать? на какую ногу хромать?—Господь вѣдаетъ... Съ введеніемъ этого самаго потѣшнаго дѣла надъ школой прибавилась новая власть—военная. И не только генералы и офицеры, но даже и простой урядникъ—взять хоть станичнаго атамана — полноправенъ прервать мои занятія, чтобы произвести съ ребятами репетицію предстоящаго парада...

— Вотъ съ такимъ-то парадомъ и я влѣзъ въ кашу. Взяли моихъ учениковъ въ одинъ табельный день, повели въ этотъ самый парадъ. Послѣ молебствія выхожу изъ церкви, гляжу: стоитъ моя школа, Корнѣвичъ на правомъ флангѣ, кругомъ—зрители: казаки, бабы, ребятишки... Зимнее дѣло, холодно, поозябли всѣ мои воины, носами всхлипываютъ, сапожонками сучать. Проходитъ десять минутъ, четверть часа—стоятъ... Никого изъ начальствующихъ нѣтъ—ни станичнаго атамана, ни его помощника. Корнѣвичъ подходитъ ко мнѣ:—„Примите парадъ, Иванъ Самойлычъ, а то ребята про-

дрогли".—Да вѣдь атаману это надо.—„Да, какъ видать, они въ отлучкѣ".—Ну ладно, приму... Застегнулъ пальто на всѣ пуговицы, подобралъ животъ, грудь выпятилъ.—Здравствуйте, дѣти!—„Здравія желаемъ, вашбродь"!—Съ праздникомъ васъ поздравляю, съ высокопраздничнымъ днемъ! — „Покорнѣйше благодаримъ, вашбродь!.."—все правильно такъ отвѣчаютъ, согласно. Однимъ словомъ—забавно, хорошо.—„Ну, за здравіе Государя Императора—ура"! Прокричали уру. Пропустили ихъ мимо себя церемоніальнымъ маршемъ и—по домамъ... Думалъ, что сдѣлалъ дѣло патріотическое, такъ сказать, укрѣпляющее уваженіе къ власти, однако оказалось совсѣмъ другое...

Учитель остановился, поглядѣлъ на Корнѣвича и его команду, дѣлавшую плавныя присѣданія, крикнулъ. Видно, непріятныя воспоминанія были еще слишкомъ свѣжи, чтобы можно было ворошить ихъ хладнокровно. Покрутилъ головой съ сердитой досадою.

— На другой день встрѣчаюсь съ станичнымъ атаманомъ — онъ съ придиркой ко мнѣ:—„вы на какомъ основаніи приняли парадъ"?—Какъ,—говорю,—на какомъ основаніи? Дѣтишки поозябли, нельзя же ихъ морозить безъ конца... Да наконецъ я — самъ коллежскій регистраторъ, кажется, имѣю право... — „Нѣтъ, не имѣете!..—Почему это?—„Парадъ только военная власть имѣетъ право принимать"...—Эка,—говорю,—важность!..—Онъ и ухватился за это слово: — „а-а, важность? хорошо, посмотримъ! доведу объ этомъ до свѣдѣнія генерала"...—Вотъ тѣ и фунтъ, думаю! Дойдетъ до инспектора, пожалуй—скверно выйдетъ... И за какимъ чортомъ я влѣзъ въ эту кашу? А я—видите ли—все о переводѣ въ городъ мечталъ и мечтаю... дѣтишки—сами знаете, а жалованья — четвертная въ мѣсяцъ... И инспекторъ общалъ первую же вакансію... И вотъ... Улыбнется, молъ, теперь и переводъ мой... вотъ тебѣ...

— Подумалъ-подумалъ, сѣлъ и написалъ инспектору, такъ сказать, контръ-объясненіе... Ну, черезъ недѣлю получаю бумажку: вызываетъ инспекторъ для душевнаго разговора. Ёду ни живъ, ни мертвъ. Однако—слава Богу — обошлось благополучно. Оказалось, атаманъ-то лишь покуражился, а протокола не сочинилъ... Напугалъ лишь, чортъ!.. А инспекторъ все-таки внушилъ:—„не трогайте вы ихъ! свое дѣло исполняйте, а въ это не суйтесь—лучше будетъ"!..

— Вольно, оправиться!—скомандовалъ вахмистръ Корнѣвичъ. И вся разномастная команда его разомъ сорвалась съ мѣста—съ шумомъ, гикомъ, свистомъ, начала свалку, борьбу, возню, вольную гимнастику. Нашлись акробаты, умѣвшіе стоять на головѣ, ходить на рукахъ. Въ одномъ мѣстѣ завязалась форменная драка; Меркуловъ досталъ изъ кармана обломокъ сухого кренделя и только было собрался полакомиться имъ, а Ключевъ не выдержалъ соблазна, выхватилъ изъ руки у Меркулова эту лакомую штуку и откусилъ

отъ нея изрядный-таки кусокъ... Правда, оставшуюся часть добровольно и немедленно возвратилъ, но принципъ собственности былъ грубо нарушенъ и Меркуловъ въ справедливомъ негодованіи заѣхалъ кулакомъ Ключеву въ ухо. Ключевъ пустилъ въ дѣло пашку, но Меркуловъ ловкой „подножкой“ свалилъ противника и сѣлъ на него верхомъ...

— Ну, довольно вамъ тамъ! — крикнулъ Иванъ Самойлычъ, лѣниво окидывая привычнымъ, равнодушнымъ взглядомъ звонко кипящую передъ нами кашу ребячьихъ головенокъ. — Да... такъ вотъ—„не суйтесь“, — оборачиваясь ко мнѣ, продолжалъ онъ:—и не сунулся бы, еслибы меня самого не терзали... А то распоряженіе за распоряженіемъ: „обязать имѣть поясные ремни!“ „приобрѣсть кокарды!“ „оружіе содержать въ исправности!“ Требуешь съ ребятъ, они—съ родителей, родители—ко мнѣ: „что это за мода пошла у васъ, Иванъ Самойлычъ? Чѣмъ бы учить ихъ азъ, буки, да рихметику—вы потѣху какую-то выстраиваете! Это они и послѣ узнаютъ—придетъ время“...—Не я требую, — начальство.—„Учи, свое знай: азъ! буки! рихметику! А поясные ремни да кокарды у насъ состоянія нѣтъ имъ справлять!.. Тутъ на одни кетрадки да на перья сколько расхода, а толковъ-то чуть“...

Учитель опять дернулъ головой — жестъ былъ на этотъ разъ упрекающій и скорбный.

— Ну вотъ что-жъ вы тутъ попишете?

Подоселъ вахмистръ Корнѣевичъ, приложилъ руку къ козырьку, почтительно прислушался къ нашему разговору.

— Теперь извольте войти въ мое положеніе, — продолжалъ Иванъ Самойлычъ, бросивъ на вахмистра сердитый взглядъ:—съ одной стороны программы увеличиваются. Ты тутъ за три года пройди съ ними и грамматику, и славянскій языкъ, и сочиненія научи ихъ писать, и ариметику, и улучшенные приемы земледѣлія... Да и за Законъ Божій ты же отвѣтственъ, съ тебя же спросятъ, если ученикъ молитву за царя не прочтетъ, а законоучитель ѣздитъ себѣ по станицѣ, собираетъ капусту да пироги—ему что!.. А мнѣ генералъ замѣчаніе сдѣлалъ. Вошелъ въ классъ—въ сентябрѣ дѣло было, только что учиться начали,—онъ новичка какого-то:—„ну-ка, молитву за царя читай“... А того не то молитву за царя,—говорить надо сперва научить, говорить не можетъ правильно...

— Совершенно справедливо, — почтительно замѣтилъ вахмистръ:—ему скажешь *медведь*, а онъ—*вядьмѣдь*...

— Да... А я оказался виноватъ, мнѣ выговоръ... И теперь вотъ опять, сверхъ всего прочаго, я же и за военный строй отвѣчай. Было одно начальство—инспекторъ, зналъ, передъ кѣмъ дрожать... А теперь еще сколько прибавилось: и окружной атаманъ, и штаб-офицеры какіе-то, и даже вотъ станичный атаманъ... урядникъ какой-нибудь, а храпить, куражится... можетъ прійти, прервать за-

нятія и увести учениковъ для репетиціи парада... Гдѣ же тутъ обученіи думать?..

Вахмистръ Корнѣевичъ, представитель военно-потѣшнаго вѣдомства, слушалъ въ почтительномъ молчаніи и на лицѣ его было непроницаемое выраженіе. Я знаю, что по отношенію къ учителю онъ не занимаетъ враждующей позиціи, очень предупредителенъ и услужливъ. Когда случаются у учителя гости, онъ подаетъ самоваръ, прислуживаетъ и въ то же время принимаетъ участіе въ компаніи. Съ удовольствіемъ возитъ на своей лошади Ивана Самойлыча—за плату, разумѣется—въ городъ. Словомъ, междувѣдомственныхъ треній никакихъ не существуетъ. Однако тутъ—мнѣ почему-то показалось—къ терзаніямъ учителя онъ относился съ равнодушіемъ, съ невозмутимымъ безразличіемъ.

— Ну, ваши какъ дѣла, Елисѣй Корнѣевичъ?—спрашиваю я у него.

Вахмистръ прикладываетъ руку къ козырьку фуражки и, любезно улыбаясь, отвѣчаетъ:

— Дѣла—слава Богу... Только вотъ—балуются...

Онъ дѣлаетъ жестъ въ сторону копошащейся и кипящей во-кругъ насъ его пестропѣтной команды.

— И что это такое?—недоумѣвающимъ тономъ говоритъ онъ:—годъ отъ году все хуже и хуже... баловство все больше и больше...

— Но вѣдь и раньше шалили?

Корнѣевичъ отмахиваетъ рукой:

— Ранѣе того и подумать не смѣли. А сейчасъ—бѣда!.. Никакъ не слушаютъ! Ты ему колъ на головѣ теши, — а онъ все—свое!.. Окружной генералъ собиралъ насъ въ августѣ, урядниковъ.— „Вы должны первымъ долгомъ дисциплину водворить!“ А какъ тутъ ее водворишь? Вдарить нельзя: запрещено. Одинъ урядникъ доложилъ ему: „ваше-ство! большого скорѣй научишь... ему и по шеѣ дать можно, и слово онъ скорѣй пойметъ, а малому—ему рази втолкуешь? Кабы ихъ бить можно было“...—Нѣтъ, бить нельзя...— „А бить нельзя, значить—у него страха нѣтъ... а страха нѣтъ—и памяти нѣтъ... въ одно ухо впустилъ, въ другое выпустилъ“...

— Вотъ видите! — торжествующимъ тономъ говоритъ Иванъ Самойлычъ, черезъ плечо тыкая пальцемъ въ сторону вахмистра:—разсужденіе педагога современной формаціи...

— Да вѣдь мы, Иванъ Самойлычъ, народы степные,—виноватымъ голосомъ отвѣчаетъ Корнѣевичъ:—какіе мы народы? малограмотные... Насъ позови расписаться...

— Собаку черезъ % напишете...

— Такъ точно!—радостно согласился вахмистръ.

— Я васъ и не обвиняю. Хотя, впрочемъ, — торопливо поправляется учитель:—я никого не имѣю права обвинять... Вы и не можете иначе разсуждать. Но на васъ вѣдь задача-то какая возложена!.. Книжонку одну предписано выписать намъ на авансо-

вия—вотъ объ этомъ самомъ потѣшномъ дѣлѣ. Виньетка въ старинномъ русскомъ стилѣ, портреты высочайшихъ особъ, мини-стровъ и безграмотное какое-то бормотаніе... Букетъ такой, знаете... Я вѣдь вотъ патріотъ, а и меня тошнить... А рекомендована въ руководство. И вотъ въ ней: „до сего времени, дескать, наши школьники долбили свои книжки, заучивали никому ненужныя и безполезныя свѣдѣнія, но за то быстро теряли и тѣ скудныя сѣмена нравственности, которыя были заложены въ нихъ въ родительскомъ домѣ. И въ дни революціи, дескать, такая молодежь тянулася за мятежной интеллигенціей... А нынѣ весьма хорошимъ разсадникомъ здоровыхъ и національныхъ понятій въ народѣ должна быть армія,—изъ ней уходятъ ежегодно сотни тысячъ молодыхъ людей, они и должны разносить по всѣмъ уголкамъ Россіи накопленный запасъ патріотическихъ чувствъ и священной преданности своему царю и отечеству“...

— Вотъ вѣдь куда васъ мѣтять-то!—обернулся Иванъ Самойлычъ къ вахмистру.

— Воля начальства, — покорно-виноватымъ тономъ сказалъ Корнѣевичъ.

Лично я знаю его, Корнѣевича, какъ человѣка мягкаго, полированного, и—конечно — педагогъ онъ не первосортный, но и не очень плохой, а въ своей средѣ—одинъ изъ лучшихъ. И когда онъ говоритъ объ ослабленіи дисциплины, въ немъ говоритъ огорченіе профессионала, которому хотѣлось бы представить порученную его обученію малолѣтнюю команду именно въ такомъ блескѣ и щеголеватости, какихъ онъ достигалъ когда-то въ полку,—но команда туго поддается серьезной шлифовкѣ... И помочь нечѣмъ. Отсюда — грустный тонъ...

— А требованія все усиливаются,—говоритъ, вздыхая, Корнѣевичъ:—генераль требуетъ, чтобы и словесность знали, и сокольскій гимнастикъ, и ружейные приемы, и ученье пѣшее по конному... И чтобы оружіе у всѣхъ было исправное. А какъ ихъ заставишь справить оружіе? Старикамъ на сборѣ сталъ атаманъ докладывать, чтобы на станичную сумму пики хоть справить, — зашумѣли всѣ: „Не надо! пуцай лучше учать азъ! буки! Большихъ, молъ, перестали учить, а съ малыми забавляются! не надо!“ Что же съ ними подѣлаешь? Рази нашимъ втолкуешь, что начальство требуетъ? Вотъ 2-го числа штабъ-офицеръ пріѣдетъ оружіе осматривать, а что я имъ покажу? Рази это оружіе?

Корнѣевичъ взялъ кривую пику изъ рукъ у мальчика Мохова, торчавшаго передъ нами вмѣстѣ съ группою любопытствующихъ своихъ сотоварищей. Вахмистръ пренебрежительно потрогалъ широкий ремень, болтавшійся на пикѣ. Моховъ, погромыхивая носомъ, сказалъ съ гордостью:

— Это служивскій ремень, г. вахмистръ. Папанька его со службы принесъ. А вотъ ножны у меня плохія... Папанька отъ

старыхъ саней отодралъ желѣзо, обиль, а она не держится... разорилась...

— Носъ-то высморкай!—сурово сказала Корнѣевичъ, возвращая пику своему лѣво-фланговому.

— Диковинное дѣло, что это такое! — продолжалъ онъ, обращаясь къ намъ: — большихъ, дѣйствительно, перестали учить, а маленькихъ вотъ... Говорять, Государь Императоръ даже смотрѣлъ?

— Смотрѣлъ.

— Диковинное дѣло!.. А большихъ вотъ въ лагерь теперь соберутъ,—они никакъ ничего... Слоняются, какъ неприкаянные...

Въ казачьихъ войскахъ существовалъ такъ называемый *приготовительный разрядъ*: казаки-малолѣтки, т. е. достигшіе 20-лѣтняго возраста, проходили краткій курсъ строевого ученія въ станицахъ, а затѣмъ въ майскомъ лагерномъ сборѣ, одновременно съ казаками второй и третьей очереди. Въ годы общественнаго движенія, когда и казаки, призванные къ усмирению, стали волноваться и роптать на тягость службы, власти пришлось сдѣлать уступки: подготовительный разрядъ упразднили, въ видахъ облегченія экономической тяготы, лежавшей на казакахъ въ связи съ „образомъ ихъ служенія“, осенніе и зимніе учебные сборы въ станицахъ отмѣнили. Но эти шесть недѣль—въ общей сложности—ничуть не облегчили казака: центръ тяготы какъ былъ, такъ и остался въ огромныхъ расходахъ на снаряженіе въ первоочередные полки, а расходы казака на этотъ предметъ не только не уменьшились, но замѣтно возросли—цѣны на строевыхъ лошадяхъ за послѣднее десятилѣтіе, напримѣръ, поднялись вдвое... Отмѣна же подготовительныхъ ученій отразилась замѣтнѣе всего лишь въ томъ, что молодые казаки смѣнныхъ командъ, за отсутствіемъ предварительной военной шлифовки, стали походить на мужиковъ—обстоятельство, огорчавшее не одного службиста Корнѣевича...

— Да, вотъ на этихъ сопляковъ теперь больше уповаютъ,—съ осторожной усмѣшкой говоритъ онъ, пренебрежительно кивая на свою команду:—войсковой наказный атаманъ приказъ по войску отдалъ... Такъ какъ войско наше всегда на первомъ самомъ планѣ состояло по службѣ и по дисциплинѣ, а сейчасъ военный духъ потеряли; въ другихъ мѣстахъ дѣтей уже на высочайшій смотръ представляютъ, а мы къ этому безъ вниманія и безъ заботъ, хотя и давно обучаемъ... Надо, чтобы и у насъ было не хуже другихъ: военный духъ не терять! и первымъ долгомъ внушать подчиненіе и дисциплину!

Корнѣевичъ строго поднялъ палецъ и посмотрѣлъ на насъ внушительнымъ взглядомъ.

— Что же, успѣхъ-то есть?

Корнѣевичъ не сразу отвѣтилъ.

— Внушать-то внушать, — сказалъ онъ въ невеселомъ раздумьи—все это очень прекрасно! А какъ имъ внушишь—вотъ это

вопросъ!.. Вотъ сейчасъ оружіе это у нихъ—и ужъ ни одной собаки они не пропустятъ, чтобы не подразнить! Ужъ они ее доймутъ да доймутъ... А то въ глаза ширять одинъ другому зачнутъ—того и гляди, искалѣчать кого-нибудь... А дѣвчонка ежели попадется изъ церковной школы,—давай за ней, съ пиками... И вѣдь какіе арнауты, с-ны дѣти: отъ земли не видать, а ужъ норовить подъ подоль... Кавалерія,—словомъ сказать!..

— Ну, вы вотъ что, Елисей Корѣевичъ—мягко перебилъ его учитель:—займитесь-ка съ ними еще минутъ двадцать тѣмъ... какъ это?.. взводнымъ ученіемъ... А тогда ужъ въ классъ...

— Слушаю.

Вахмистръ приложилъ руку къ козырьку и тотчасъ же крикнулъ своимъ разливистымъ голосомъ:

— Нну, смирно-о!.. стройсь...

Пестрая команда не сразу успокоилась и выровнялась. Человѣкъ двухъ пришлось вахмистру выхватить изъ фронта и поставить на колѣни у забора — тамъ земля была чуть-чуть посуше, чѣмъ среди двора. Минутъ черезъ пять снова перекатывалась зычная команда и звонкимъ стекломъ откликались дружные дѣтскіе голосишки.

— Шагъ на мѣстѣ!

— Р-разъ—два!.. Р-разъ—два!..

Мы смотрѣли, какъ двѣ сотни дѣтскихъ ногъ—въ чирекахъ, въ худыхъ, заплатанныхъ, покоробленныхъ сапожонкахъ — топтались на одномъ мѣстѣ, стараясь попасть въ тактъ. Укрѣплялось ли этимъ въ дѣтскихъ головахъ уваженіе къ порядку и власти, внѣдрялись ли воинственные навыки — Богъ вѣдаетъ. Но точно, подчиняясь налаженному, завораживающему ритму, смирная жизнь нашего уголка съ ея обыденнымъ трудомъ, заботами и терпѣніемъ, съ ея короткими радостями и долгими, прочными скорбями, топталась на мѣстѣ въ покорномъ и безбрежномъ молчаніи подъ какую-то далекую, невѣдомую, но властную команду...

Пусть это далеко отъ насъ — шумъ и гулъ бурно несущейся жизни, неустанныя заботы и попеченіе о славѣ и мощи какого-то отечества, какія-то сферы и борьба вліяній, теченій, кружковъ, лицъ, партій, собраніе даней и ихъ расточеніе,—отраженная ими зыбь черезъ топкія дороги, черезъ непроѣздные овраги и балки докатывается и въ наши нѣмыя степи—въ образъ предписаній и приказовъ. Предписано, чтобы у школьниковъ были шашки, пики и винтовки,—дѣлать нечего, надо исполнить: отдираетъ мой станичникъ отъ саней старую жестъ и изъ планоковъ мастерить ножи для деревянной, выструганной имъ шашки; отъ старыхъ граблей отрубаетъ держакъ и выстругиваетъ пику, а за изготовленіе винтовки несетъ четвертакъ столяру Жарову. Все это на алтарь будущей мощи и славы отечества...

— Разъ начальство требуетъ—пикуда не дѣнешься,—говорить отъ разсудительно покорнымъ тономъ: — такое ученье... а не учить—нельзя...

А 2-го числа—точно—приѣзжали штабъ-офицеры съ адъютантами. Произвели смотръ одновременно и нашимъ потѣшнымъ, и второй очереди казаковъ, ожидавшей со дня на день мобилизаціи. На тревожномъ порогѣ грядущихъ событій, которыя уже втягивали въ свое гигантское колесо и нашъ далекій, безвѣстный уголокъ, онъ былъ такимъ же смирнымъ, простымъ, тихимъ, чуждымъ шума и треска, равнодушнымъ къ грохочущей жизни центровъ, издали какой какъ будто большой и пугающе важной...

Игралъ трубачъ сборъ, и въ осеннемъ влажномъ и чуткомъ воздухѣ звуки трубы звенѣли нѣжнымъ серебромъ, бѣжали въ даль и въ высь, оживляли тихія, утопающія въ грязи улочки весело поющимъ, играющимъ зовомъ. На майданъ—станичную площадь—тянулись казаки въ шинеляхъ и папахъ, за ними на строевыхъ тоняхъ верхомъ безстрашно гарцовали по лужамъ ребяташки, ликующіе и счастливые, оттого, что дождались случая побывать въ роли большихъ. Бабы на маленькихъ тележкахъ везли аммуницію и военное снаряженіе своихъ супруговъ, въ домашней жизни не очень любившихъ обременять себя такими дѣлами, которыя и бабамъ подъ силу...

Вывелъ на смотръ свою потѣшную команду и вахмистръ Елисей Корнѣевичъ. Толстый, коротконогій офицеръ съ сѣдыми усами произвелъ повѣрочное ученье. Ребята съ звонкимъ счетомъ дѣлали шашечные и ружейные приемы, повороты, построения, осаживанія, примыканія. Офицеръ сучилъ ногами, указывая, какъ дѣлать *шагъ на мѣстѣ*. Командовалъ:

— Пики на ру-ку! Къ но-гѣ. Боевые круги!..

— Разъ-два! разъ-два! — звенѣли дѣтскіе голоса — немножко менѣ бойко и согласно, чѣмъ во дворѣ школы.

Стѣной стояла пестрая толпа въ шинеляхъ, въ тулупахъ, въ пальто, шубахъ и кофтахъ, въ папахъ съ красными верхами и въ платкахъ всѣхъ цвѣтовъ. Сотни лошадей топтались, ржали, чмокали копытами по грязи. Въ широкихъ лужахъ отражалось сѣрое осеннее небо, нахохлившіяся хатки съ бѣлыми, мокрыми стѣнами, журавцы, голыя вербы...

— Разъ! разъ! разъ! — слыло, но съ увлеченіемъ кричалъ полковникъ.

— Разъ-два! разъ-два! — какъ битое стекло, звенѣли дѣтскіе голоса.

Но были такъ нестрашны, такъ мало серьезны эти воинственные звуки подъ низенькимъ, сѣрымъ небомъ, среди растрепанныхъ хатокъ, на топкихъ берегахъ неоглядныхъ лужъ, въ мирной, забкой,

знакомо-будничной обстановкѣ. Бродила снисходительная усмѣшка по лицамъ пестрой, молчаливой толпы,—кажется, никто не думаетъ въ ней, что на этой потѣхѣ зиждется будущая военная мощь отечества... Иныя какія-то думы рѣяли надъ тихой этой жизнью, повинной вѣчной работѣ и сухотѣ,—смутныя думы на порогѣ большихъ, закутанныхъ тайной событій...

II. Слунба.

Военная потѣха, конечно, пустячки. Въ современномъ ея видѣ, какъ забава съ неумѣренными замыслами, устрашеніемъ и принудительностью, съ инструкціями, циркулярами и взысканіями, съ штабъ-офицерами, осматривающими игрушечное деревянное оружіе, съ парадами и смотрами,—у насъ, какъ и всюду, она—явленіе новое. Но въ болѣе естественныхъ, свободныхъ и менѣе досадныхъ своихъ формахъ—въ видѣ той же школьной гимнастики въ свободные часы, въ видѣ джигитовокъ и скачекъ на призы, всякихъ вольныхъ гимнастическихъ фокусовъ и—въ особенности въ образѣ традиціонныхъ кулачныхъ боевъ, гдѣ приходится отстаивать честь „родины“, т. е. своей половины станицы, причемъ рѣшительно исключаются всякія колебанія, диктуемыя чувствами дружбы, родства, свойства, гдѣ зять затѣживаетъ въ ухо тестю, если они раздѣлены территориально, дядя расквашиваетъ носъ племяннику, кумъ опрокидываетъ кума, полчанинъ—полчанина,—въ такомъ видѣ „потѣха“, какъ школа воспитанія воинскаго духа, живетъ у насъ съ незапамятныхъ временъ.

И съ очень давнихъ временъ обывательскія мысли нашего уголка прочно прикованы къ военной *службѣ*. Подготовка къ ней, т. е. забота о снаряженіи, о приобрѣтеніи коня, оружія, обмундированія также обыденна для нашего обывателя, какъ пахота, покосъ, молотьба, забота объ одеждѣ, обуви, о крестинахъ и похоронахъ. Это досталось ему въ удѣлъ отъ далекихъ прадѣдовъ, отъ дѣдовъ и отцовъ, и отъ него перейдетъ къ внукамъ и правнукамъ...

Тутъ нѣтъ возвышенныхъ словъ объ отечествѣ, нѣтъ выпирающихъ черезъ край патріотическихъ чувствъ. Тутъ—самыя будничныя—на посторонній взглядъ мелочныя, крохотныя вычисленія, соображенія и расчеты, какъ бы на смотре упросить принять поддержанное сѣдло, выгадать полтинникъ на чумбурѣ и треногѣ, подешевле приобрѣсть всеневный чекмень и шинель, а главное—коня, коня... Конь—чистое разореніе. Пока его примутъ различныя коммиссіи, придирчиво осматривающія не только ноги, спину, глаза, грудь, но даже хвостъ и гриву,—сколько волненій и страховъ приходится пережить: а ну-ка забракуютъ?..

И „справа“ виситъ надъ казацкой душой, надъ всѣми помыслами и заботами обывателя нашего тихаго уголка. Изъ самаго

скуднаго его хозяйства она беретъ не менѣе 300—400 рублей, потрясаетъ его съ верхушки до корня, иногда непоправимо раззоряетъ. Пока отецъ „справитъ“ сына въ полкъ, онъ ознакомится и съ станичной каталажкой—за недостаточное радѣніе, — ему и въ глаза наплюютъ всѣ начальники, начиная съ низшаго станичнаго атамана и кончая генераломъ. Стыдя за нестараніе, они говорятъ ему всѣ о военномъ долгѣ, о предкахъ, о царѣ и отечествѣ, но онъ знаетъ, что слова ихъ—мѣдь звенящая для нихъ самихъ, а на первомъ планѣ своя сухота: станичному атаману надо таянуться передъ окружнымъ, чтобы выслужиться и не быть прогнаннымъ съ доходнаго мѣста; окружной дрожитъ передъ наказнымъ, который требуетъ самаго лучшаго конскаго состава. Есть кто-то и надъ наказнымъ, передъ кѣмъ необходимо блеснуть и лошадьми и снаряженіемъ съ иголочки—чего бы это ни стоило, — ибо иначе возникнетъ сомнѣніе въ готовности, вѣрности и преданности, — и тогда прощай карьера!..

Поэтому—тянись, станичникъ, въ нитку, закладывая, продавая, занимай, но „справь“ сына, не подводи начальства...

И воинскіе интересы, заботы, военные разговоры у насъ—повседневное явленіе, даже помимо потѣшнаго строя. Потѣшный возрастъ отвлекаетъ къ себѣ самое крошечное вниманіе. Всѣ помыслы, тревоги и безпокойства—около того возраста, который только что вошелъ въ силу, укрѣпился, далъ семьѣ работника и кормильца и тутъ какъ разъ потребовался царю и отечеству, да не только самъ съ своей молодой силой и здоровьемъ, но и съ значительной частью трудового семейнаго достоянія, съ конемъ и съ дорогой справой...

Пришелъ Луканька Потаповъ. Такъ привыкли мы его звать—Луканькой—съ дѣтскихъ его лѣтъ, когда онъ былъ шаловливымъ карапузомъ, школьникомъ, забѣгавшимъ попросить тетрадку или карандашъ, ранней весной таскавшимъ намъ съ поля ярко-красные тюльпаны, а съ луга чибизовыя и утиныя яйца, которые онъ несравненный мастеръ былъ „снимать“ на зеленыхъ островкахъ и кочкахъ, залитыхъ весеннимъ половодьемъ...

Теперь онъ уже въ „совершенныхъ“ лѣтахъ, чернобровый, стройный казачекъ, женатъ, имѣетъ дочь, носить черныя усики и скоблить подбородокъ, а вотъ завтра выходить ему въ полкъ. Пришелъ попрощаться...

Какъ полагается по заведенному отъ дѣдовъ порядку, поочередно поклонился всѣмъ намъ въ ноги, облобызались троекратно. Сунули ему нѣкоторую субсидію на нуждишку, сказали обычное напутственное пожеланіе:

— Ну, Луканька, служи—не тужи...

Прослезились сестры мои,—нельзя безъ этого. Заморгалъ гла-

зами и Луканька, отвернулся въ смущеніи и высморкался двумя пальцами... Странно какъ-то почувствовалось: все время былъ Луканька, а тутъ точно въ первый разъ увидѣли мы его—настоящій казакъ, большой, серьезный, стоитъ на порогѣ пугающаго неизвестностью будущаго, долгой разлуки, похода въ чужую, неласковую сторону. Форменный коротенькій полушубокъ затянутъ желтымъ ремнемъ, суконныя шаровары съ красными лампасами, пашка... И грустные глаза...

— Вы, дяденька, пожалуйста завтра проводить.

Знаю, что въ этихъ случаяхъ не отказываются и придется принять участіе въ своеобразномъ торжествѣ казачьихъ проводовъ. Говорю Луканькѣ: непременно...

— Вы, пораньше, дяденька. Думаемъ, изъ утра выѣхать—дорога чижолая, восемьдесятъ верстъ до сборнаго. Пока съ возами дотюлюпаемъ—и ночь... А 2-го числа непременно быть на мѣстѣ,—приказъ...

Когда, на другой день — день праздничный и ярморочный у насъ—1-го января—пришелъ я къ Потаповымъ, провожающихъ—кромѣ ближайшаго родства—никого еще не было: пора была какъ разъ обѣденная,—по-деревенски,—скотину надо убирать, напоить, положить корму,—потомъ и въ гости...

Служивый—Луканька—чистилъ и вытиралъ, для лоска, тряпкой, смоченной керосиномъ, своего строевого коня, золотистаго Корсака. Вычистилъ, навѣсилъ торбу. Вымылъ руки снѣгомъ...

Отецъ—мой ровесникъ и товарищъ дѣтства,—рыжебородый, низенькій, тощій казакъ въ короткомъ сѣромъ зипунѣ, —увязывалъ возъ сѣна,—на сборномъ пунктѣ съ смотромъ и повѣркою предстала стоянка въ цѣлую недѣлю; чтобы не покупать фуража для лошадей, запасались имъ изъ дома.

Луканька сталъ помогать отцу. Видно было, что хотѣлось ему въ послѣдній день подольше побыть среди знакомыхъ запаховъ сѣна, соломы и навозу, среди этихъ хлѣвушковъ, сарайчиковъ и небольшихъ, на клѣтки похожихъ дворишковъ — „базковъ“... Тутъ протекло дѣтство и первая юность съ своимъ тономъ, пѣснями, бранью и дракой, со всѣми радостями и огорченіями. Тутъ была самая подлинная школа его жизни. Къ этому такъ приросло сердце, такъ прилѣпилась душа его... И вотъ черезъ часъ-другой онъ оставитъ эту родную стихію надолго, на цѣлые годы, для постылой чужой стороны...

Чужая сторона... Отъ младыхъ ногтѣй онъ слышалъ о ней рассказы, и пѣсни, и преданія,—еще отъ прадѣда своего, глухого Матвѣя Кузьмича, который воевалъ на Кавказѣ. А дѣдъ Аеанасій ходилъ за Дунай. Отецъ рассказывалъ про Польшу и прусскую границу. Чужую сторону всѣ знали въ станицѣ и бывалые люди много диловиннаго про нее рассказывали. Но во всѣхъ рассказахъ и

пѣспяхъ вставала она въ одинаково суровыхъ очертаніяхъ нужды, неволи и тоски по сторонѣ родимой...

Диковинныя земли, чудесные города, дворцы и богатства, выскія—до неба—снѣговые горы, лѣса съ невиданными звѣрями, моря неоглядныя... Духъ захватывало, бывало, у мальчика отъ трепетнаго любопытства, когда дѣдъ или прадѣдъ или кто изъ сосѣдей начнутъ живописать въ разговорахъ о нихъ, и мечта уносила къ чуднымъ этимъ сторонамъ, къ горамъ сахарнымъ, къ берегамъ кисельнымъ... А вотъ подошло время и—сразу ближе всего сталъ убогій, сѣренскій родной уголъ и ничего какъ будто нѣтъ на свѣтѣ краше сизой степи съ низкими холмами и буерачками, низкорослаго дубнячка по балкамъ и по мелкой рѣчкѣ Медвѣдицѣ, тощихъ родныхъ табуновъ, знакомыхъ низенькихъ куреней, пахнущихъ кизячнымъ дымкомъ, и облупленной станичной церкви...

Но дѣлать нечего, не миновать сушить сухари на чужбинѣ—такая доля казацья. Весь длинный рядъ предковъ его—отецъ, дѣды, прадѣды—искони садились на коней, оставляли станицу, родные курени, женъ, дѣтей, стариковъ и шли „на службу“... Кто вернулся, а кто и кости сложилъ на чужбинѣ...

Такъ, видно, надо. Почему надо, онъ не знаетъ и вопроса такого ни у кого изъ живущихъ съ нимъ и вокругъ него — нѣтъ: надо и все... Хотя и больно отрывать отъ сердца привычное, милое, родное, понятное... мѣнять знакомый укладъ жизни, радостный трудъ, всегда нужный и свой, потому — разнообразный, не надоѣдающій,—на иную полосу, подневольную, подначальственную, на занятія какъ будто и легкія, пустыя, но утомительныя своимъ однообразиемъ, обрыдлыя видимой безцѣльностью и въ то же время мелочно отвѣтственными.

Увязали возъ. Вывезли его на себѣ съ сѣнника. Отецъ взялъ грабли, чтобы подобрать оставшіеся клочки сѣна, и сказалъ ласковымъ—должно быть, непривычнымъ,—жалѣющимъ голосомъ:

— Ну, Лукаша, иди!.. Иди, мой сердечный, уберись. Пора. Придутъ сейчасъ люди... припарадиться надо. Иди, мой соколикъ...

Мы пошли съ база вмѣстѣ. Но Луканька сейчасъ же какъ-то пріотсталъ. Я оглянулся: онъ подошелъ къ игренему жеребенку съ отвислымъ лохматымъ животомъ, шлепнулъ его по крупу и сказалъ ласково:

— Ну, Игрешка, расти, другъ...

Игрешка прижалъ было уши, но, обернувшись, повеселѣлъ, потянулся къ Луканькѣ и мордой потерся объ его рукавъ.

— Прощай, другъ... — проговорилъ Луканька со вздохомъ и догналъ меня.

Въ чуланѣ курчавый братъ Луканьки—Кирюшка—съ зятемъ Потаповыхъ Тимоеемъ прочищали шомполомъ старое охотничье ружье-дробовикъ и дѣдовскій турецкій пистолетъ, — готовились

стрѣлять. Искони такъ ведется: провожая служивыхъ и встрѣчая ихъ со службы, салютуютъ имъ пальбой изъ ружей.

Въ избѣ-стряпкѣ, первой изъ чулана, пахло щами и угаромъ. Мать служиваго, Прасковья Ефимовна, сурово-печальная, съ опухшими отъ слезъ красными глазами, дѣловито хлопотала около печи. Въ слѣдующей—болѣе просторной избѣ, съ кроватью и полатями, за столомъ обѣдалъ цѣлый косякъ мелкоты—братья и сестры Луки, его жена Алена, замужняя сестра Лѣкса съ ребенкомъ. На столѣ стояла большая деревянная чашка со щами. Ребятишки дружно работали ложками, громко хлебали, пырסקали отъ смѣха—почему-то весело имъ было,—можетъ быть, потому, что некому было огрѣть ложкой по лбу, стариковъ за столомъ не было.

— Не дурить!—грозно крикнула отъ печи Ефимовна.

Неловко ей было, что я—посторонній человѣкъ—вижу ослабленіе чинности за столомъ. Но какъ разъ въ это время Никашка толкнулъ подъ локоть Аверькѣ, а Аверька расплескалъ щи на новую рубаху, въ первый разъ надѣтую, шумѣвшую новымъ, не стираннымъ ситцемъ. Огорченное лицо Аверьки было такъ забавно, что Танюшка фыркнула въ свою ложку и заразила всѣхъ неудержимымъ весельемъ. Алена, жена Луки, щелкнула кого-то ложкой по лбу, но отъ этого смѣхъ не только не унялся, но пуще пошелъ въ ширь и высь.

Лука ласково поглядѣлъ на тѣсную, веселую грудку обѣдающихъ, пощекоталъ подъ мышкой Никашку и сказалъ Танюшкѣ:

— Невѣста, а дуришь какъ маленькая...

И пошелъ черезъ большую горницу въ маленькую комнатку, отведенную „для молодыхъ“,—переодѣваться. Ефимовна засуетилась было около меня, стараясь занять разговоромъ, приглашая въ горницу. Но я не хотѣлъ мѣшать обѣду молодежи и вышелъ въ чуланъ, гдѣ готовились къ салюту Кирюшка и Тимошей.

— Вотъ, дяденька, орудія-то!—показывая дѣдовскій турецкій пистолетъ, съ ироническимъ хвастовствомъ сказалъ Кирюшка. Видимо, ему очень хотѣлось поскорѣй выстрѣлить, но было еще рано.

— Тимошей, ай стрѣльнуть?—робко вопрошающимъ голосомъ прибавилъ онъ.

— Ну, да ужъ пальни,—списходительно разрѣшилъ бѣлокурый, съ пушкомъ на подбородкѣ Тимошей, забывая пыжъ въ ружье.

Бухнулъ весело выстрѣлъ, перепугалъ коричневаго Дружка и озябшихъ куръ, которыя собрались кучкой возлѣ амбара. Въ воротахъ показались первые гости-проводимые,—я ихъ зналъ: франтоватый, недавно вернувшійся изъ полка урядникъ Осотовъ, въ сѣромъ пальто офицерскаго покроя, въ папахѣ, обшитой серебрянымъ позументомъ,—и два брата Рогачевы—Максимъ и Ларіонъ. Уже были всѣ трое въ подпитіи, какъ видно,—двигались тяжело

и неуверенно... Вышелъ Лукашка—въ форменной курткѣ „защитнаго“ цвѣта, въ форменныхъ сапогахъ и шароварахъ съ лампасами, затянутый поясомъ съ блестящимъ наборомъ, такой ловкій, тонкій, стройный, словно съ старой ватной поддежкой и валенками онъ скинулъ съ себя рабочую мѣшковатость фигуры и угловатость движеній.

Ларионъ Рогачевъ нелѣпо взмахнулъ длинными руками, какъ дрофа намокшими, отяжелѣвшими крыльями, и разслабленнымъ, умиленнымъ голосомъ воскликнулъ:

— Лукаша! не робѣй, милый мой... земля—наша, облака—божьи... не робѣй!..

Распушенные полы его дубленого тулупа тянулись по снѣгу; съ трудомъ двигались, заплетаясь, ноги въ огромныхъ сѣдыхъ валенкахъ, обшитыхъ кожей. На измятомъ, пьяномъ лицѣ съ жесткой, какъ щетина, эспальолкой и усталыми, безсильно опущенными вѣками, лежало скорбное, соболѣзнуюющее выраженіе.

Максимъ Рогачевъ, такой же длинный и нелѣпый, какъ братъ, въ такихъ же огромныхъ валенкахъ, но въ подпоясанномъ тулупѣ, помахивая правой рукой съ растопыренными пальцами, запѣлъ усталымъ осипшимъ голосомъ.

Ой да печалень былъ, кручинень я,
Кручинень добрый молодець...

Осотовъ, свѣже подбритый, съ напояженными волосами, нарядный—въ лакированныхъ сапогахъ и калошахъ, — взялъ Луку за руку и съ чувствомъ долго пожималъ и потряхивалъ ее, глядя на него пьяными, неподвижными глазами. Потомъ присоединился къ пѣснѣ, которую тяжело вели оба брата Рогачевы,—голосъ у него былъ рѣзкій и увѣренный:

А и горе мое, все кручинушка—
Никому она невѣстимая...

Трогательно и красиво лился печальный напѣвъ. Грустно слушало его низенькое зимнее небо, и бѣлая, запорошенная снѣгомъ земля съ тихими казацкими куренями, съ голыми, черными садочками, журавцами, четкимъ углемъ вырѣзанными въ бѣломъ небѣ, замороженная кроткой тишиной и вѣковымъ раздумьемъ... И проходила по сердцу щекощущая боль грусти, точно смычокъ тихо велъ по струнѣ. Слова были простыя, но какая-то особая выразительность, близкій и скорбный смыслъ звучали теперь въ нихъ и будили въ сердцахъ тихую тоску одиночества...

Да вѣстимо мое горе-кручинушка
Одному ретивому моему сердцу.
Никто меня, добра молодца,
Никто меня провожать нейдетъ...

Въ самомъ дѣлѣ, чувствовалось сиротство и брошенность, ког-

да, помахивая руками, пѣвцы говорили усталой, протяжной пѣсней о горькомъ часѣ разставанія...

...Ни братъ неидетъ, ни родная сестра...

—продолжая пѣть и обнимая служиваго, Ларіонъ въ промежуткахъ говорилъ горькимъ, кающимъ голосомъ:

— А мы нонѣ еще не почевали... Всю ночь пробродили,—дѣло праздничное, ярманка... Ой да провожали меня-а-о... добра мо-э-о-лод-ца... ахъ-хъ...

Провожали меня люди добрые...

Люди добрые, сосѣдушки ближніе...

И, горестно качая головой, онъ восклицалъ, точно ему было безконечно жаль несчастнаго Луку:

— Эхъ-хъ, ми-луй ты мой! купырь зеленый!.. куга ¹⁾!

Въ горницѣ Максимъ вынулъ изъ пазухи бутылку съ красной печатью и торжественно стукнулъ, ставя ее на столъ.

— Ларивонъ, распорядись!—кивнулъ онъ головой на посудину.

Ларіонъ, сохраняя на лицѣ скорбное, жалостливое выраженіе, взялъ бутылку, обмялъ сургучь толстымъ, зеленоватымъ ногтемъ, слегка шлепнулъ широкою ладонью по дну и вынулъ пробку.

— Смѣрочекъ!—сказалъ онъ Лукѣ, дѣлая бутылкой выразительный знакъ, что надо разлить.

Лука достала изъ поставца стаканчики и рюмки. Вошли въ горницу новые гости: Луканькинъ крестный Иванъ Марковичъ, у котораго борода начиналась изъ-подъ самыхъ глазъ, дядя Лукьянъ, длинный и тощій человекъ съ громкимъ голосомъ, дѣдъ со стороны матери—Ефимъ Аѳанасьичъ. Потомъ сосѣдъ Герасимовичъ съ зятемъ, нѣсколько бабъ. И стало сразу тѣсно и шумно, вся горница наполнилась говоромъ, восклицаніями, смѣхомъ. И отошла отъ сердца щемящая боль, которая всколыхнулась вмѣстѣ съ грустнымъ напѣвомъ старой пѣсни...

На дворѣ Кирюшка и Тимоеей, словно обрадовавшись случаю показать себя, разъ за разомъ палили изъ ружья и дѣдовскаго пистоleta.

— Вотъ бы кому служить-то!—покрывая голоса, говорилъ бородатый, высокій дядя Лукьянъ, похлопывая по сутулой спинѣ дѣда Ефима Аѳанасьича:—этотъ бы не подался!

— А что-жъ! — съ шутливымъ хвастовствомъ сказалъ дѣдъ Ефимъ, стараясь выпрямиться:—ежели въ деньшики—хочь сейчасъ пойду за Лукашку!..

— Къ какому-нибудь старенькому офицеру...

— Онъ и молодому угодить!—пьянымъ, льстивымъ голосомъ

¹⁾ „Куга“—мягкая болотная трава. „Кугой“ зовутъ молодыхъ неслужившихъ казаковъ казаки, отбывшіе службу.

закричалъ Ларіонъ Рогачевъ и ввернулъ безъ нужды крѣпкое слово.

Добродушно смѣялись всѣ надъ дѣдомъ, погнувшимся впередъ отъ трудовъ и заботъ, а онъ бойко дергалъ плечами и старался показать себя бодрымъ и стройнымъ.

Вошелъ отецъ со двора. Онъ былъ еще въ своемъ сѣромъ зипунишкѣ и валенкахъ, въ той рабочей, расхожей одеждѣ, въ которой убиралъ скотину, хлопоталъ на сѣнникѣ. Дѣдъ Ефимъ, по родительскому праву, сдѣлалъ ему замѣчаніе:

— Ты, Семень, сними ужъ этотъ епитрахиль-то... Одѣнься поприличнѣй...

— Я заразы, батюшка... Все неуправка,—вокругъ скотины ходатайствовалъ все. Я заразы... Я вотъ лишь того... распорядиться...

Онъ нырнулъ въ избу и, вернувшись, принесъ нѣсколько запечатанныхъ бутылокъ водки и вина. Прасковья Ефимовна принесла закуску: тарелку свинины, наръзанной мелкими кусочками, потомъ двѣ миски—съ лапшей и вишневымъ взваромъ, наръзанный ломти солёный арбузъ, чашку капусты, пироги.

— Господа предсѣдající, пожалуйста! — торжественно сказалъ Семень, указывая на столъ: — садитесь... Батенька, — обратился онъ къ дѣду Ефиму:—вы пожалуйста рядомъ съ служивымъ — въ передній уголъ... И вы, дяденька...

Сѣли. Служиваго втиснули въ самый уголъ, подъ иконы. Рядомъ съ нимъ, разглаживая бороду, сѣлъ дѣдъ, а за дѣдомъ я и весь заросшій бородой крестный Иванъ Марковичъ. Слѣва—богоданный родитель, тестъ Луки, чернобородый, красивый Павелъ Прокофьевичъ и дядя Лукьянъ. По лавкамъ и на кровати, покрытой пестрымъ одѣяломъ, размѣстились другіе гости,—они все прибывали—и родственники, и сосѣди, и пріятели. Не снимая шубъ, садились они тѣсно и на лавкахъ вдоль стѣны, и на кровати, и на скамьяхъ, внесенныхъ въ горницу. А кому не хватило мѣста,—стояли. Стояли и женщины. Лишь мать служиваго сидѣла на сундукѣ у поставца, возлѣ двери, а всѣ остальные тѣсно грудой стояли въ дверяхъ и въ черной избѣ. Проводы на службу—дѣло военное, и бабамъ полагается быть тутъ на заднемъ планѣ...

Видно было, что неловко и стѣснительно Луканькѣ сидѣть въ углу рядомъ съ дѣдомъ, чувствовать себя центромъ этого собранія, чувствовать на себѣ взгляды всѣхъ и особенно—скорбный, наполненный слезами взоръ матери...

Она сидѣла на сундукѣ, жалкая и некрасивая, съ опухшими глазами, съ краснымъ отъ слезъ носомъ, вся охваченная горькимъ горемъ своимъ. И когда вертѣлись около ея юбки малые ребятишки—Никашка или Оедяшка, которымъ любопытно было поглядѣть на большихъ, она, не глядя, шлепала ихъ по затылкамъ, выпроваживала изъ горницы въ избу, чтобы не мѣшали ей сосредото-

точить все свое горестное вниманіе на первомъ ея чадѣ, уходящемъ нынѣ отъ нея, первомъ ея птенцѣ изъ семерыхъ, первомъ помощникѣ...

Семень поставилъ на поднось рюмки и стаканчики. Онъ переодѣлся, т. е. смѣнилъ кургузую сермяжную поддевку на черный сюртукъ, но валенокъ не снялъ. Сюртукъ съ чужого плеча, купленный изъ старья на ярмаркѣ, сидѣлъ мѣшкомъ. Фалды сзади расходились, а рукава были длинны. И небольшая фигурка Семена, сухая и суетливая, въ этомъ нелѣпомъ костюмѣ, въ огромныхъ, запачканныхъ навозомъ валенкахъ, казалась чудной, но трогательной. Весь онъ ушелъ въ заботу, чтобы все было по хорошему, какъ надо, въ этотъ торжественный моментъ, когда онъ, казакъ Семень Потаповъ, отдаетъ въ жертву отечеству первую рабочую силу семьи вмѣстѣ съ значительной долей трудового, потомъ облитого имущества... чтобы никто не укорилъ, не подкололъ глазъ какимъ-нибудь попрекомъ въ нерадѣніи или скарденности...

Онъ налилъ рюмки и, съ нѣкоторымъ страхомъ держа жестяной, ярко раскрашенный поднось плохо разгибающимися, набухшими отъ работы пальцами, поднесъ его сперва дѣду Ефиму, потомъ служивому, а затѣмъ остальнымъ гостямъ, строго сообразуясь съ возрастомъ и значеніемъ cadaго.

Дѣдъ Ефимъ всталъ съ своей рюмкой и, обернувшись къ служивому, торжественно и громко, хотя не безъ запинокъ, сказалъ;

— Ну... Лукаша! дай Богъ послужить... того... въ добромъ здоровѣ и концы въ концовъ... вернуться благополучно!.. Голову, чадushка моя, не вѣшай! Ничего... Службы... того... не бойсь... ну, и за ней особо не гонись, концы въ концовъ... Какъ говорится, въ даль дюже далеко не пущайся, отъ берега не отбивайся... Да... послужи и—назадъ! Дай Богъ тебѣ благополучно вернуться, а намъ, старикамъ, чтобы дождаться тебя... вотъ и хорошо бы!..

Служивый, стоя въ полусогнутомъ положеніи, потому что въ углу за столомъ нельзя было выпрямиться, смущенно, съ потупленными глазами, выслушалъ дѣда и выпилъ съ нимъ. Потомъ говорилъ дядя Лукьянъ—наставительно и строго:

— Ну, Лука... пошли Богъ легкой службы... Гляди... Это вѣдъ самый переломъ жизни... Можетъ, будешь человѣкомъ, а можетъ... какъ Богъ дастъ!.. и поганцемъ выйдешь... Гляди аккуратно.

И дядю Лукьяна служивый выслушалъ стоя. Потомъ говорили другіе,—всѣ не очень складно, но доброжелательно. А отецъ старательно наливалъ и обносилъ. Когда очередь дошла до матери,—и она попыталась въ точности послѣдовать установленному порядку: взявъ толстыми рабочими пальцами съ подноса стаканчикъ съ виномъ, поклонилась и попробовала сказать что-то, но тотчасъ же глаза ея наполнились слезами и утонулъ въ общемъ говорѣ ея тихій, прерывающійся голосъ...

— Ну, будетъ слезокатить-то!.. пей...—сказалъ Семень, стояв-

пій передъ ней съ пустымъ подносомъ, сурово сожалѣющій и снисходительный къ ея материнской слабости.

Такъ ужъ полагается бабамъ—плакать, а материнское дѣло—и толковать нечего... И никто не задерживался вниманіемъ на этомъ. Жужжалъ громкій говоръ въ горницѣ и неслышно лились въ немъ слезы матери, слезы Алены, жены служиваго, женщинъ стоявшихъ тѣсною грудой въ дверяхъ и сочувственно хлюпавшихъ носами. Максимъ Рогачевъ кричалъ пьянымъ голосомъ о томъ, какъ онъ самъ служилъ. Разсудительно говорилъ басомъ дядя Лукьянъ съ тестемъ служиваго. Дѣдъ Ефимъ Аванасьичъ закричалъ на молодежь, сидѣвшую на скамьяхъ сзади, у печки:

— Ну, ребята! нечего молчать! пѣсни!.. играйте пѣсни! Урядникъ Осотовъ! зачинай военную!..

Осотовъ церемонно повелъ плечами, втянулъ подбородокъ.

— Пѣсни, конечно, въ нашихъ рукахъ, дѣдушка... Но вопросъ въ томъ: потную или простую?

Онъ какъ-то особенно растопырилъ пальцы правой руки и поддерживалъ ее на отлетѣ противъ уха. И невольно всѣ присутствовавшіе въ горницѣ почувствовали, какой это необыкновенно полированный человекъ.

— Не джое изъ модныхъ, а то ну-ка мы, старики, не подладимъ,—сказалъ тономъ извиненія Ефимъ Аванасьевичъ и, обернувшись къ молодежи, закричалъ:—Кирюшка! сядь возлѣ меня и шуми! Одно знай: шуми! Тебѣ тоже недолго осталось...

Осотовъ откашлялся и, поводя въ воздухѣ растопыренной ладонью, рѣзкимъ и увѣреннымъ голосомъ началъ одну изъ пѣсенъ, созданныхъ поэзіей казармы. Лихой мотивъ и вычурныя исковерканныя слова... Но и въ этой лихости, и въ смѣшномъ подборѣ риѣмъ порой, какъ мгновенныя искорки, вспыхивали и потухали и вновь загорались, чтобы тутъ же угаснуть, отзвуки печальнаго быта, подневольнаго, замкнутаго, живущаго мечтою о свободѣ и воспоминаніями о радостяхъ юныхъ лѣтъ въ краю родномъ...

А на встрѣчу молодой—
Я не знала, кто такой...

— пѣлъ, вдохновенно размахивая и суча руками Осотовъ, и вмѣстѣ съ нимъ дружно заливалась и звенѣла вся горница. Солидный дядя Лукьянъ басилъ, выдѣлывая въ тактъ пѣсни причудливыя фигуры пальцами:

Подъ нимъ коникъ вороной—
Весь уборикъ золотой..

— Кирюшка! шуми! шуми во всю!—кричалъ дѣдъ Ефимъ, подавая общему пѣсенному воодушевленію, и Кирюшка вилялъ подголоскомъ, выдѣлывая фантастическія фіоритурѣ и порой за-

бираясь на такіе верхи, что у меня въ ушахъ звенѣло. Ефимъ Аеанасьевичъ довольно крутилъ головой и говорилъ:

— Дастся же голосъ такому паршивцу...

Дядя Лукьянъ, скаля бѣлые зубы, поощрительно оглядывался вокругъ и, напрягая голосъ, четкимъ басомъ выговаривалъ:

Черна шляпочка смѣется,
Аполеты говорятъ...
Золотая при-ту-пея
Улыба-а-ется...

И покрывая голоса своимъ высокимъ „дишкѣнтомъ“ (теноромъ) Кирюшка подхватывалъ:

Молоденькій офицерикъ
Ус-мѣ-ха-а-ет-ся-а-о-о-о...

Семенъ суетился, наливалъ и обходилъ гостей съ подносомъ. Служивый, стоя за столомъ въ полусогнутомъ положеніи, выслушивалъ рѣчи, тосты, пожеланія. Ораторы повторялись. Но по мѣрѣ того, какъ пустѣли бутылки, тонъ рѣчей становился — съ одной стороны — все сердечнѣе и чувствительнѣе, съ другой — хвастливѣе: вспоминали о собственныхъ доблестяхъ говорившіе... Пространно и авторитетно, какъ человѣкъ, примѣрно отбывшій службу, украшенный урядничьими галунами, говорилъ Осотовъ, держа стаканчикъ у груди:

— Лука Семенычъ! послухай моего слова: служи порядкомъ!.. порядкомъ служи! — значительно повторилъ онъ, погрозивъ пальцемъ въ потолокъ: — надо служить — какъ?

Онъ посмотрѣлъ на Луку долгимъ, строгимъ взглядомъ.

— В-во пер-выхъ... по-ви-новаться начальству!.. по уставу чи-но-почитанія!.. Строго наблюдай, чтобы... На часы поставять, — смотри!..

— Не раздави? — не утерпѣлъ, ввернулъ слово плутоватый, смѣшливый Кирюшка. Дѣдъ шикнулъ на него.

— Чего? — строго оглянулся Осотовъ.

— Часы-то... — сказалъ Кирюшка, фыркнувъ въ плечо.

Осотовъ молча поглядѣлъ на него съ минуту. Этотъ пристально строгій взглядъ сконфузилъ Кирюшку.

— Молчи ты, паршивецъ! — крикнулъ на Кирюшку и дѣдъ Ефимъ, почтительно слушавшій Осотова: — не служилъ и не знаешь... Вотъ пойдешь самъ, тогда будешь знать...

— Да я ничаво... — смущенно сказалъ Кирюшка.

— Ничаво-о... Молодъ еще клинки подбивать подъ людьми... Слухатъ долженъ и понимать... Онъ, по крайней мѣрѣ, урядникъ — галуны заслужилъ...

— Это — не сова въ дровахъ... — почтительно воскликнулъ Максимъ Рогачевъ.

— И знай, Лука: за Богомъ молитва, за царемъ служба не про-

падетъ!—продолжалъ назидательно Осотовъ, но потонулъ его голосъ въ общемъ говорѣ. Среди пожеланій, добрыхъ и героическихъ, огорченныхъ и скорбныхъ, звучалъ смѣхъ, мѣшались и толклись пьяныя рѣчи, съ бессильными жестами, вздохами, горестнымъ кряканьемъ... Кричалъ голосъ дѣда Ефима:

— Ребята, не молчите! ребята, пѣсни играйте!.. Митрій Васильичъ: ты далеко сѣлъ, ты пересядь къ столу! Старше насъ съ тобой тутъ нѣтъ,—давай, имъ зачнемъ старинную...

Красивый смуглолицый старикъ съ бѣлыми кудрями и бѣлый бородой перешелъ къ столу. Я отодвинулся и очистилъ ему мѣсто рядомъ съ дѣдомъ Ефимомъ.

— Луканюшка! не вѣшай головку, мой сердешный,—казалъ онъ ласково служивому:—не горюй, соколикъ мой... Какую же?—нагнулся онъ къ дѣду Ефиму.

— Да ужъ тебѣ не подсказывать...

Митрій Васильевичъ задумался на минуту, словно пересматривая въ взволнованной памяти старинный репертуаръ. Потомъ откашлялся и, опустивъ глаза, мягкимъ стариковскимъ голосомъ началъ:

Ой да не думало вѣдь красное оно солнышко
На закатѣ оно рано быть...

Низкимъ, медлительнымъ звукомъ стараго гармоніума присоединился густой голосъ дѣда Ефима. Спелись въ одну извилистую, кудряво-пѣвучую струю, потекли рядомъ два голоса:

Да не чаяла родимая матушка
Свою чадушку избыть...

Они были старые, надтреснутые, съ стариковской осплостью, перерывами и передышками, но тѣмъ выразительнѣе звучала печаль старой пѣсни, противной и торжественной, говорящей о горькой тоскѣ разлуки...

И сталъ стихать жужжащій говоръ въ горницѣ. Влились новые голоса, густые и тонкіе, сдержанные и строгіе, ибо труденъ былъ старинный напѣвъ протяжный. И широкіе переливы наполнили низкія комнатки, растекались по всему куреню,—печальныя, какъ догорающій закатъ, думы всколыхнули въ сердца. Медленно слагались слова и глубоко ранили его своею красивой грустью, горькимъ рассказомъ неутѣшной жалобы...

Должно быть, волшебный былъ голосъ когда-то у Митрія Васильича—и сейчасъ онъ разливался рѣкой, дрожа, съ пропитанной жалостью выговаривая рѣчь горькой кручины материнской:

Избыла-то она, изжила его
Во единый скорый часъ,
Во единый скорый часочекъ,
Во минуточку одну...

И тряслись отъ беззвучныхъ рыданій плечи Прасковьи Ефимовны. Но были строги лица у поющихъ, никто не шелъ съ утѣшеніемъ: доля матери-казачки—плакать, плачь и ты, Прасковья Ефимовна... И теперь долго одного за другимъ будешь ты снаряжать и провожать въ чужую сторону, и въ заботахъ, въ сухотѣ этой дойдешь незамѣтно до старости, до сырой могилы...

Какъ будто недавно пришелъ со службы, съ постылой чужой стороны, мужъ ея, вотъ этотъ самый Семенъ въ нелѣпномъ сюртукѣ и разношенныхъ валенкахъ. И какъ-то быстро и незамѣтно промелькнули годы ихъ молодости, веселаго труда, праздничныхъ пѣсенъ, беззаботные и расточительные годы здоровья и силы. И вотъ ужъ выросъ и идетъ туда же, въ чужую сторону, первый ихъ помощникъ и кормилецъ...

Она такъ привыкла думать о немъ, какъ о маленькомъ, шаловливомъ парнишкѣ въ розовой рубашкѣ и розовыхъ порточкахъ, точно на этихъ еще дняхъ подсаживала его на лошадь и смѣялась надъ его растопыренными маленькими ножонками на отвисломъ животѣ старой кобылы, которую она сама водила въ поводу къ водопою, чтобы доставить удовольствіе Лукашкѣ проѣхаться верхомъ. Вела, оглядывалась и съ улыбкой думала:

— Помощникъ растетъ... кормилецъ...

И какъ будто вчера еще она шлепала его, бѣдокура, за то, что упрямо бросалъ букварь ради шашекъ, не берегъ одежды, по чужимъ садамъ лазилъ, заводилъ драки на улицѣ, шибался черепками и камнями... Не вчера ли это было?..

А вотъ ужъ выстрѣлы гремятъ на дворѣ, походъ возвѣщаютъ и, волнуясь, ржетъ рыжій Корсакъ, строевой конь... И онъ, Лука, — молодой казачекъ съ темнымъ пушкомъ на верхней губѣ и съ печальными глазами — сидитъ въ переднемъ углу... И звучить-лется старая пѣсня проводовъ и разставанія, скорбью ранящія слова выговариваетъ:

Ужъ ты справь же мнѣ, сударь-батюшка,

Червлень-новенькій корабль...

Отпусти меня, добра молодца,

По синю-мору гулять...

Отъ старыхъ, вѣрно, временъ идетъ она, эта пѣсня, отъ временъ широкой вольницы и удали, когда вольной волею рвались горячія молодяго головы къ разгулу широкому во чистомъ полѣ, на синемъ морѣ... Смутно слышала о тѣхъ временахъ Прасковья. А нынѣ не то уже гулянице, не вольной волею идутъ на него. Иной и червлень-новенькій корабль: строевой конь и воинское снаряженіе по формѣ, по установленному образцу... И сколькихъ заботъ, слезъ, какихъ усилій и напряженія стояла эта „справа“, хорошо знаетъ она, казачка-мать...

Она знаетъ каждую вещь казачьяго снаряженія, каждый ремешокъ, какой требуется представить на смотръ, и дѣну имъ слыш-

комъ хорошо знаетъ, потому что все оплатила своей трудовой, облитой потомъ и слезами копейкой. Знаетъ не просто, напимѣрь, сѣдло съ какимъ-то „приборомъ“, но и тѣ тринадцать предметовъ, которые нераздѣльны съ конемъ и вьюкомъ всадника: уздечка съ чумбуромъ, недоуздокъ, чемоданъ и шесть пряжекъ, саквы сухарныя, саквы фуражныя, попона съ трокомъ, торба, скребница, щетка, фуражирка, сѣтка, тренога и плеть...

А аммуниція? Для кого-нибудь это—простой, несложный звукъ, ну—что-то такое къ ружью, пашкѣ и пикѣ... Для нея это — не одинъ десятокъ вещей, стоящихъ не одинъ десятокъ рублей: портузья, темлякъ, патронташъ, поясной ремень, кушакъ, чушка, кобура, шнуры, чехоль на винтовку...

Знаетъ она, что и для обмундированія нужны чекмени и парадный, и всеневный, двое шароваръ, двѣ пары сапогъ—парадная и всеневная; кромѣ шинели, нуженъ еще полушубокъ, башлыкъ, гимнастическая рубаша, не говоря уже о комплектѣ бѣлья... Да всего и не перечислить... Подковы, сумка съ мелочью, бритва, юфть, иголки, нитки для починки... И все по установленному образцу, первосортное и неизмѣнно дорогое. А каждый грошъ облить потомъ, каждая копейка на счету...

Чуть держится хозяйство. Всякій экстренный расходъ—свадьба, похороны—вызываетъ рѣзкія колебанія въ его равновѣсіи. Но что потрясаетъ до корней—это „справа“. На службу царю и отечеству семья отдаетъ не только работника—она отдаетъ съ нимъ всѣ запасы и сбереженія, съ такимъ трудомъ собранные. Купить коня, выдержать, выкормить его, ночей не спать — уберечь отъ конокрада, дрожать, какъ бы въ комиссіяхъ не забраковали... на десятки лѣтъ старить эта сухота казачью семью...

Коня Луканькѣ хотѣли поставить своего, „природнаго“, — Буренькаго. Всѣмъ бы хорошъ конекъ: и густъ, и ноги крѣпкія, и на ходу легокъ, — всѣ статьи въ порядкѣ, но въ мѣру не вышелъ, двухъ осмыхъ не хватило до требуемаго роста. Пришлось продать Буренькаго и пару молодыхъ быковъ. На вырученные деньги купили за 180—Корсака. Разсчитывали: сѣдло отповское пригодится, — доброе еще сѣдельце. Но какъ разъ ввели сѣдло новаго образца, — какой-то генералъ придумалъ „продушину“ въ ленчикѣ и на семь рублей за это удорожили сѣдло. Продали корову и отдали за новое сѣдло 43 рубля...

— Ничего не уважили, ни копейки, — говоритъ Семень — на все такія. Иной старикъ вертитъ-вертитъ въ рукахъ какой-нибудь ремень, и такъ, и сакъ... шапку сниметъ, начнетъ просить офицера: „уважьте, вашбродь, сдѣлайте милость... не имѣю состоянія“... — Нѣтъ! хочешь бери, а не хочешь, иди, куда знаешь... А безъ нашего клейма, все равно, не примутъ... Придешь.

За это *клеймо*, за однообразіе формы, лоскъ и щеголеватость и идетъ трудовой грошъ. Въ недавніе еще годы около клейма грѣли

руки особые поставщики. Теперь ихъ смѣнили люди въ военныхъ мундирахъ изъ такъ называемыхъ военно-ремесленныхъ школъ. И мастера и начальники этихъ школъ какъ-то особенно волшебнo—при скромныхъ окладахъ—приобрѣтаютъ великолѣпные дома, выѣзды, достойную осанку, обростають жиромъ, — надо полагать, клеймо не дурно оплачивается трудовыми казацкими грошами...

Конечно, немножко смѣшно глядѣть, какъ корявые, плохо умытые, потомъ пахнущіе люди въ овчинныхъ тулупахъ и лохматыхъ шапкахъ съ красными верхами подолгу безнадежно бьются, раздражая офицера, завѣдующаго военнымъ магазиномъ, стараясь выторговать какой-нибудь гривенникъ, какъ ломають головы, прицѣниваются, чмокають языками, руками объ полы хлопають... А когда молодой казачекъ, на красивомъ, подобранномъ конѣ ѣдетъ улицей и блеститъ новая сбруя, ловко сидитъ на всадникѣ новенькій мундирчикъ, на бочокъ сбита краснойверхая папаха, — любуюсь, можно чувствовать патристическую гордость и забыть о томъ, во что обошелся этотъ блескъ военный, сколько бессонныхъ ночей, тяжкихъ вздоховъ и думъ неотвязныхъ связано съ нимъ у Прасковьи Потаповой... И не думать объ одинокой тоскѣ материнской, о которой поетъ пѣсня:

Вдоль по морюшку, вдоль по синему
Сѣра утица плыветь...
Вдоль по бережку, вдоль по крутому
Родимая матушка идетъ...
Все кричить-зоветъ, все зоветъ она
Громкимъ голосомъ своимъ:
Ты вернись, мое чадо милое,
Воротись—протись со мной...

Трясутся плечи отъ рыданій у Прасковьи Ефимовны. Вижу, и у Луканьки слезами наполняются глаза, какъ ни старается онѣ глядѣть бодрѣй. Можетъ быть, видитъ онѣ и море синее, и крутой бережокъ, и одинокую горестную фигуру родимой... Бѣжитъ она, въ отчаяніи протягиваетъ морщинистыя руки вслѣдъ уходящему кораблику, зоветъ свое чадо милое назадъ... О, святая скорбь материнская, неоцѣненные слезы!.. Забыть васъ не забудешь, но ни утишить, ни осушить васъ нечѣмъ:

Я бы радъ къ тебѣ вернуться—
Корабль волны понесли...
Корабельщики—парни молодые—
Разохотились—шибко гребутъ...

Поетъ - разливается голосъ Митрія Васильича, такой старчески-выразительный и яркій на пестро-слитномъ фонѣ тусклыхъ, неуверенно вторящихъ, тяжелыхъ голосовъ. И звучитъ въ немъ упоеніе скорбью и горечью жалобы тайной на подневольную службу царскую, на постылую чужую сторону... Полонить душу, растравляетъ онѣ старую, невысказанную кручину...

Кончилъ. И, наклоняясь въ сторону служиваго, лаская его своими прекрасными, молодыми глазами, сказалъ:

— Лукаша! не горюй, милый мой! ничего... не вѣшай головку!.. и-и, соколикъ ты мой ясный!..

— Лука Семенычъ! не робѣй, мой болѣзненный! — пьянымъ, умиленнымъ голосомъ закричалъ Максимъ Рогачевъ.

Крестный Иванъ Марковичъ, привыкшій смотрѣть на вещи практическими глазами, сказалъ въ утѣшеніе:

— Можетъ — Богъ дастъ — въ нестроевые перечислять... Все безъ коня-то полегче...

— Какому-нибудь пану будешь урыльничъ выносить, — съ усмѣшкой прибавилъ дядя Лукьянъ.

— Пану-то еще ни то, ни се, — сказалъ дѣдъ Ефимъ: — а вотъ ежели пани, вотъ ужъ обидно!.. Нѣтъ, ужъ держись строя... какъ дѣды, отцы...

— Лукаша! — кричалъ Осотовъ: — я тебѣ скажу, а ты слухай! Во вторую сотню попадешь, — вахмистръ тамъ служить Овечкинъ... Изъ сверхсрочныхъ... Ты ему гостинецъ повези, а то... знаешь... До полусмерти убиваетъ казаковъ...

— Изъ сверхсрочныхъ это ужъ самые кровопивцы, — вздохнулъ Митрій Васильичъ: — который человѣчества не понимаетъ, тотъ на сверхсрочную остается... Шкура, какъ говорится...

— Говорю: повези гостинецъ... Послухай меня...

И въ отрывочныхъ, случайныхъ, казавшихся безсвязными, рѣчахъ развертывались сѣрые, тяжелые будни, которые ждали служиваго тамъ, впереди, обозначалась та скрытая, незамѣтная драма казарменной жизни, гдѣ сурово дрессируется оторванная отъ плуга молодежь, съ трудомъ воспринимаящая тонкія и непонятныя подробности новой и тяжелой науки...

Длиннобородый Лукьянъ, наклоняясь черезъ столъ ко мнѣ и жестикулируя рукой, сжатой въ кулакъ, говорилъ громкимъ, басистымъ голосомъ:

— Такая ужъ наша планида казацкая — служи! въ одну душу — служи!.. А служить можно, да за что служить? У иного господина земли — глазомъ не окинешь, а у насъ? По четыре десятинки на пай, а вокругъ этого пая самъ-семой вертишься, какъ кобель на обрывкѣ... Тутъ не то справу справить, — правдаться нечѣмъ!

— Такія права, — сказалъ, вздыхая, дѣдъ Ефимъ.

— Зачѣмъ же они такія? — взыскательнымъ тономъ подвыпившаго человѣка закричалъ Лукьянъ.

— А ужъ такъ повелось... Есть у помѣщиковъ десятинъ по сколько тыщъ... Да вотъ мы въ первую службу въ Польшу ходили, — тамъ, куда ни глянь, вся земля господская.

— А у солдата мать нищая! — обличительно воскликнулъ Лукьянъ.

Митрій Васильичъ, осторожно наклонившись ко мнѣ, словно по секрету, сказалъ:

— У насъ тоже надысь про войну... Люди толкуютъ: солдаты врядъ на войну пойдутъ, придется казакамъ однимъ иттить. А казаки чего тамъ? сколько ихъ? Какъ муха пролетить...

— Это по правамъ? — кричалъ Лукьянъ, строго оглядываясь вокругъ: — нѣтъ, господа, это не по правамъ! У Сафона Никитина двѣсти десятинъ. Да ужъ не досадно бы, кабы заслужилъ, а то тетка отказала дѣдовскій участокъ...

— Видалъ я, какъ они заслуживаютъ! — закричалъ дѣдъ Ефимъ, какъ-то внезапно заражаясь негодованіемъ: — былъ я въ польскій мятежъ... Пошлютъ сотню куда, вахмистеръ ведетъ сотню, а сотинный командеръ ѣдетъ въ дрожкахъ... Вотъ схватка, — вахмистеръ командуетъ, а онъ гдѣ-нибудь въ корчмѣ... Прогнали банду, — командиру повышение чина, а вахмистру — спасибо да и все... Такъ и землю роздали...

Перешло время за полдень, — надо было выступать: до сборнаго пункта — 80 верстъ, а явиться предписано на завтрашнее число. Семенъ пошепталъ на ухо дѣду Ефиму, и дѣдъ громко сказалъ:

— Пора... Путь не близкій... Время Богу молиться. Иди, Лука, одѣвайся...

Служивый вышелъ изъ-за стола, надѣлъ коротенькій форменный полушубокъ, зацѣпилъ шашку.

— Шашка — вѣрная подруга, — сказалъ дядя Лукьянъ, — теперь ужъ нескоро ее симешь...

— Это ужъ — жена твоя теперь, — горькимъ голосомъ сказалъ Максимъ Рогачевъ.

Дѣдъ Ефимъ продолжалъ распоряжаться. Онъ громкимъ шопотомъ давалъ указанія Семену и Прасковѣ, какъ, что и въ какомъ порядкѣ надо дѣлать, гдѣ сѣсть, какъ держать икону, какъ благословлять. И оттого, что былъ такой знающій, авторитетный человекъ, который увѣренно командовалъ, передавалась и всѣмъ увѣренность, что все будетъ сдѣлано правильно, какъ требуютъ дѣдовскій обычай и польза дѣла.

— Ну, теперь садитесь! — торжественно сказалъ дѣдъ Ефимъ.

Всѣ сѣли. И стало тихо, точно опустѣла горница, точно не стоялъ здѣсь сейчасъ гомонъ голосовъ и пѣсенный шумъ. Лишь за окнами на дворѣ глухо звенѣлъ и дробился ребячій крикъ.

— Ну... Господи бослови... — проговорилъ дѣдъ Ефимъ, крестясь, и всталъ.

И всѣ встали. Широко и спѣшно начали креститься на иконы. Струился шелестъ движущихся рукъ, слышались вздохи, шопотъ, всхлипыванье, стукъ шашки о полъ, когда служивый кланялся въ землю. Долго молились, шептали, устремивъ глаза въ темный уголъ, гдѣ были иконы — и дѣдовскія, облупленные и потемнѣвшія,

и новыя — въ дешевенькихъ кіотахъ за стекломъ, и лубочныя изображенія Серафима, а рядомъ генералы: Стессель, Фокъ и Куропаткинъ. Тамъ, въ темномъ углу, въ темныхъ, чуть видныхъ ликахъ, неизмѣнныхъ свидѣтеляхъ труда, горя и слезъ нѣсколькихъ поколѣній, было единственное упованіе ихъ, этихъ плачущихъ и всхлипывающихъ людей...

— Ну, теперь садитесь, — сказалъ дѣдъ Ефимъ. — Семень! Прасковья! садитесь въ передній уголъ!

Послушные увѣренному указанію, родители заняли мѣста за столомъ, неумѣлые, жалко смущенные и растерянные.

— Идѣ иконка-то? Давай сюда! Берите такъ... вотъ: ты, Прасковья, правой рукой, ты, Семень, — лѣвой... Держите... Ну, Лукаша! — вздохнулъ дѣдъ, обернувшись къ служивому: — Кланяйся въ ноги родителямъ, проси благословенія... Благословеніе родительское — знаешь? — большое дѣло, концы въ концовъ... Безъ него нитюдь никуда... Говори: простите и благословите, батенька и маменька!..

Служивый перекрестился на родителей, сидѣвшихъ рядомъ въ напряженной позѣ и державшихся руками за небольшую мѣдную иконку — складень, старую, отъ дѣдовскихъ временъ уцѣлѣвшую. И, можетъ быть, въ первый разъ онъ разсмотрѣлъ это сухое, въ мелкихъ морщинкахъ, рыжебородое лицо отца и припнувшее отъ слезъ лицо матери, — жалкія и невыразимо дорогія ему эти родныя лица... Онъ стукнулъ лбомъ въ полъ и, трясаясь отъ слезъ, съ трудомъ выговорилъ:

— Батенька! Маменька! простите и благословите...

Задрожала рука матери, ручьемъ полились непослушныя слезы. Семень проговорилъ слабымъ, сиплымъ голосомъ:

— Богъ благословить, чадушка...

Но дѣдъ остановилъ его и сказалъ служивому:

— До трехъ разъ поклонись!

И, гремя пашкой, Лука вставалъ, встряхивая волосами, и снова валился въ ноги родителямъ, глухо повторяя: — простите и благословите, батенька и маменька!

— Мать, благословляй! — сказалъ дѣдъ.

Всхлипывая, Прасковья перекрестила сына иконкой и попыталась что-то сказать, но застряли слова въ рыданіяхъ, ничего не разобралъ никто.

— Перекрестись и поцѣлуй! — дѣловымъ голосомъ командовалъ дѣдъ: — такъ! Ну, теперь прибири... Глядай, не теряй...

— Не теряй, Лукаша! — горестнымъ, плачущимъ голосомъ сказалъ свади Максимъ Рогачевъ: — это такое дѣло... большое!.. Материно благословеніе... береги...

— Идѣ чехольчикъ-то? — озабоченнымъ голосомъ говорилъ дѣдъ Ефимъ. Самъ уложилъ иконку въ чехоль, замоталъ шнуркомъ, связалъ и, передавая внуку, коротко и строго сказалъ:

— Прибери хорошенько! На гайтанъ повѣсь!

Внимательно прослѣдилъ, какъ Луканька навѣсилъ сумочку на шнурокъ креста, какъ засунулъ въ пазуху за рубаху, какъ застегнулся. И чувствовалось всѣми, что то, что дѣлается подъ зоркимъ наблюденіемъ дѣда Ефима, есть нѣчто глубоко важное, нужное, спасительное... И даже горечь момента какъ-будто растворялась въ этихъ строгихъ подробностяхъ стараго обряда.

Потомъ дѣдъ сказалъ:

— Ну, теперь съ дѣдомъ прощайся...

Служивый поклонился въ ноги дѣду и троекратно, крестъ на крестъ, облобызался съ нимъ. Ефимъ Афанасьичъ вынулъ изъ пазухи кожаный, глянцевый отъ долгаго употребленія, словно отполированный, кисетъ, развязалъ его и, звякая мѣдяками, разыскалъ серебряный полтинникъ.

— Вотъ... это тебѣ на нуждишку... когда взгрустнется поѣсть... или выпьешь за мое здоровье... А теперь—богоданнымъ родителямъ кланяйся въ ноги, крестному... дяденькѣ... А потомъ прощайся со всѣми предсѣдщими, — друзьями и пріятелями... Теперь ужъ не скоро... того...

Служивый послушно слѣдовалъ указаніямъ дѣда — поочередно валился въ ноги старшимъ, троекратно цѣловался, смущенно говорилъ заученныя слова прощанія. Крестный Иванъ Марковичъ досталъ кошелекъ, долго и сосредоточенно перебиралъ въ немъ пальцами. Вынулъ рубль и, подумавъ надъ нимъ, сказалъ:

— Дай-ка мнѣ полтинникъ сдачи...

— Да ты бы ужъ всѣ давалъ!—доброжелательнымъ голосомъ сказалъ Максимъ Рогачевъ.

— Всѣ—много... Ну, такъ и быть, давай тридцать сдачи... Пущай моихъ семь гривенъ идетъ...

Служивый изъ бывшихъ у него въ карманѣ денегъ очень обстоятельно отсчиталъ тридцать копеекъ и передалъ ихъ крестному.

Митрій Васильичъ, прощаясь, горько заплакалъ:

— А мнѣ ужъ вотъ некого ни провожать, ни встрѣчать... Одинъ остался, какъ перстъ... Пятеро сыночковъ было,—всѣхъ прибралъ Господь...

Людей было много, и долго обходилъ ихъ Луканька. Всѣхъ обошелъ, не миновалъ и малышей, со всѣми попрощался. Всѣ были близки, всѣ стали дороги, какъ родные, въ эту послѣднюю минуту пребыванія въ родномъ углу. Съ иными браниться случалось... Вотъ Алешка Коваль, — съ нимъ не разъ дрался... А рядомъ съ нимъ чернобровая Маришка, — за ней бѣгаль когда-то женихомъ, вечерами ловилъ ее на улицѣ, шепталъ безсвязныя признанія, а она съ размаху давала ему раза по спинѣ... И одинаково сейчасъ сердцу близки и Коваль, и Маришка... Были обиды, ругань, мелкіе, но бурные счеты... Но какъ мякину отвѣялъ вѣтеръ и осталось одно зерно, полноцѣнное и цѣнное,—забылось все мелкое, раздорное,

осталось трогательное сердечное сознаніе крѣпкой связи съ этими родными стѣнами, родной землей и людьми, на ней живущими. И было невыразимо больно сердцу отрывать корни, которыми связано оно было съ этимъ міромъ...

Слышно ржаніе Корсака. Гремятъ выстрѣлы. Пора... Мягкій голосъ Митрія Васильича уже со двора доносится. Знакомая пѣсня прощанія:

Закаталось красное солнышко
За темные за лѣса...

Обнимаетъ, рыдаетъ мать, плачутъ сестры, жена. Аверька въ рваной шубенкѣ, подпоясанной бѣлымъ вязанымъ кушачишкомъ, громко навзрыдь рыдаетъ: жалко брата, который хоть и за ухо трепалъ, но бралъ съ собой въ поле, сажалъ на лошадь, давалъ возжи — править... И такъ горючи эти слезы, такъ властны надъ сердцемъ...

Стояли воза у воротъ: буланый Киргизъ, на которомъ мать и жена поѣдутъ до Скурихи — проводить, и старая рыжая кобыла которой досталось везти сѣно. За ея возомъ былъ привязанъ Корсакъ, гладкій, вычищенный, подобранный, нервно озирающійся вокругъ...

Какъ требовалъ обычай, блюстителемъ котораго былъ дѣдъ Ефимъ, служивый сѣлъ на Корсака, выѣхалъ за ворота, обернулся къ родному двору и — въ знакъ послѣдняго прощанія — выстрѣлилъ изъ ружья, которое подаль ему Кирюшка. Запрыгалъ, заплясалъ Корсакъ, осыпая кругомъ брызгами обледенѣлаго снѣга. Тронулись воза. Народъ двинулся вслѣдъ, и снова пѣсня занялась впереди:

За горою за крутою огонь горитъ дымно...
Пошли наши казаченки — чуть шапочки видно...

Тихая улица съ хатками, запущенными снѣгомъ, съ плетнями и кучками жердей, съ узорчатой полосой вербъ въ концѣ, обычно безлюдная, оживилась пестрымъ движеніемъ, говоромъ, звуками пѣсенъ и выстрѣловъ. Выходили изъ всѣхъ воротъ старые и малые — взглянуть на служиваго, попрощаться, сказать слово привѣта и ласки передъ долгой разлукой. И ко всѣмъ подходилъ онъ, цѣловался и бормоталъ одни и тѣ же слова прощанія...

Звенить пѣсня. Вѣтеръ подхватываетъ ее, треплетъ, уноситъ за кровли куруней. Пестро движется толпа, шатаются и прыгаютъ воза на ухабахъ, озирается и пляшетъ Корсакъ. Идетъ рядомъ съ Луканькой Максимъ Рогачевъ, волоча по снѣгу развернутыя полы тулупа. Глядитъ въ лицо умильными пьяно-влажными глазами, бормочетъ:

— Лошадь — что!.. Объ лошади плакать — чортъ съ ней!.. Она на могилу не придетъ плакать... А вотъ матерю родную жалко... ца... и сторону родную, идѣ, — говорится, — цунокъ рѣзанъ...

Бѣжить Аверька съ старой попонкой въ рукѣ,—отца догоняетъ: забыли попонку для кобылы. Бѣжить и въ голосъ плачетъ, — все еще не можетъ забыть горя разлуки,—и утирается рванными руками шубенки,—милый Аверька...

— Ну, чаво ты рывешь? — тономъ ласковаго увѣщанія, усмѣхаясь, говорить ему вслѣдъ Максимъ Рогачевъ:—самъ рывѣтъ, а самъ бягѣтъ!..

Уходить въ даль родной курень, кончается улица. Сейчасъ спустимся въ низину, въ левады, въ вербовые рощи съ голыми, красноватыми вѣтвями, и уже не будетъ Луканькѣ больше видно голубыхъ ставенъ на бѣлой стѣнѣ, знакомаго журавца въ бѣломъ небѣ и черныхъ вѣтокъ сада подъ нимъ...

Останавливаются казаки, садятся въ кругъ на дорогѣ, пьютъ, поютъ. Разслабленными, пьяными голосами повторяютъ прежнія пожеланія. Гремятъ выстрѣлы по станицѣ,—выѣхали и другіе служивые. Живописные, пестрые круги разсыпаны теперь по всѣмъ улицамъ, — оживилась станица, превозя въ дальнюю службу молоденькихъ сыновъ своихъ...

Вотъ и роща вербовая — знакомыя, тихія левады. Дальше и дальше уходятъ воза, запряженные шершавыми лошадками. Отдвигается назадъ родной уголъ... Мелькнули еще разъ изъ-за вербъ вѣтряки, гумна и церковка. Спустились въ логъ—все скрылось...

— Ну, прощай, Луканька!..

— Простите Христа ради, дяденька...

Слезы у него въ карихъ, красивыхъ глазахъ. Жалко мнѣ его... дрожить сердце, заплакать готово. И не знаемъ мы оба, зачѣмъ и почему и какая невѣдомая, властная сила отрываетъ отъ родного угла, отъ родного поля, отъ нужнаго, святаго труда юнаго, здороваго работника и бросаетъ его въ чужую, постылую сторону... Въ ухахъ лишь расслабленный, пьяный голосъ Максима Рогачева:

— Самъ рывѣтъ, а самъ бягѣтъ...

И. Гордѣевъ.

(Продолженіе слѣдуетъ).

К О З А.

Разсказъ Отто Эрнста.

Пер. съ нѣм. З. Н. Журавской.

Началось это очень невинно. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, какъ-то во время прогулки, Розита спросила меня:

— Папа, ты очень любишь козъ?

Не могу собственно утверждать, чтобы козы особенно восхищали меня; даже среди женщинъ тѣ, которыхъ зовутъ козами, — не самыя красивыя и не самыя привлекательныя. И потому я отвѣтилъ медленно, протяжно, безъ всякаго восторга:

— Гмъ—какъ сказать—смотря по тому—отчего же и нѣтъ?

— А я *страшно* люблю! — вздохнула Розита;—маленькія козочки, по-моему, прелесть.

„Да, когда онѣ еще маленькія. Вѣдь даже и люди бываютъ прелестны, когда они маленькіе“.—Это я подумалъ, но, разумѣется, не сказалъ.

Повидимому, тема была исчерпана.

Садъ у насъ былъ тогда совсѣмъ маленькій; въ немъ правда, росли два-три большихъ развѣсистыхъ дерева, но именно потому трава и кусты разрослись не могли...

Нѣсколько мѣсяцевъ спустя мы гуляли съ моей маленькой дочкой въ дивномъ, огромномъ, можно сказать, „царскомъ“ паркѣ, котораго не постыдился бы и самый богатый король. Этотъ паркъ былъ словно маленькое княжество: въ немъ были и холмы, и долины, и пруды, и храмы, и луга, и бесѣдки, обвитыя розами.

— Папа,—спрашивала Розита—еслибы человѣкъ, которому принадлежитъ этотъ паркъ, согласился продать его тебѣ—ты бы купилъ его?

— Нѣтъ,—отчеканилъ я, хорошо зная почему.

— А, еслибъ онъ его тебѣ подарилъ—ты бы взялъ?

— Да,—отвѣтилъ я еще опредѣленнѣе. Ложный стыдъ казался мнѣ здѣсь совсѣмъ не у мѣста.

— И я тоже!—съ торжествомъ вскричала Розита.—И знаешь, что бы я тогда сдѣлала?

— Гмъ?

— Я бы купила себѣ такую хорошенькую-хорошенькую маленькую козочку и пустила бы ее пастись на лугу. Вѣдь здѣсь ей было бы достаточно корму? Правда?

— Еще бы!

Наше вниманіе отвлекъ крикъ павлина, распутившаго колесомъ свой пышный хвостъ, и я не дѣлалъ никакихъ усилій вернуться къ прерванному разговору. И Розита, казалось, почувствовала, что на сегодня достаточно. Форсировать не слѣдуетъ.

Когда имѣешь дѣтей, надо очень внимательно слѣдить за тѣмъ, что они читаютъ. Я въ этомъ отношеніи сдѣлалъ промахъ, и Розитѣ попала въ руки книжка, въ которой говорилось про козу. Это была „Гейди“ Иоганны Спири—премилая исторія, еслибъ тамъ не говорилось про козу и еслибъ эта коза не называлась вдобавокъ „Снѣжинка“. Стоитъ дать имя мысли, чтобы фиксировать ее, прибить гвоздями къ нашей памяти. Теперь и у мечты Розиты было имя: „Снѣжинка“; и теперь эта мечта засѣла въ ней крѣпко.

— Когда я выйду замужъ, вѣдь тогда мнѣ можно будетъ дѣлать все, что я хочу, правда?

Мое молчаніе она приняла за утвердительный отвѣтъ.

— ... И если я выйду замужъ за Людвига, я себѣ куплю козочку, и ее буду звать „Снѣжинка“. Если я выйду замужъ за Фрица, тогда нельзя, потому что Фрицъ хочетъ, чтобъ у него было трое дѣтокъ; но если я выйду за Людвига—Людвигъ не хочетъ дѣтокъ, и тогда у насъ будетъ коза.

Съ теченіемъ времени срокъ приобрѣтенія козы постепенно приближался.

— Когда я вырасту большая, я куплю себѣ...—и т. д.

— Когда я не буду больше ходить въ школу и у меня весь день будетъ свободный, я куплю себѣ и т. д.

Старшая сестра Розиты, Герта, съ нѣкотораго времени зарабатываетъ деньги. Это вышло такъ: моя жена и я вполне согласны въ томъ, что даже сыгранная безъ ошибокъ Бетховенская соната и умѣнье говорить: *Comment vous portez-vous?* „I am very glad to see you“ и прочія слова, доказывающія вашу образованность, не вполне достаточны для женщины, чтобъ отвоевать свое мѣсто въ жизни. Поэтому каждая изъ нашихъ дочерей должна избрать себѣ опредѣленную профессію, и Герта выбрала домашнее хозяйство, которымъ она живо интересуется. Она поступила въ ученіе къ своей матери и должна была начать съ черной работы: съ

мытья половъ. Ее окрестили „Минной“, стали называть ее на „вы“ и платить ей жалованье 50 талеровъ въ годъ; и, помимо того, что она иной разъ позволяетъ себѣ фамильярничать съ „господами“ и даже иногда цѣловать „барина“, свои обязанности она выполняетъ вполне добросовѣстно.

— Когда я буду такая большая, какъ Герта,—говорила Розита,—я тоже буду служить у васъ и тоже буду зарабатывать деньги, и тогда я куплю себѣ козу. — Она, должно быть, думала, что коза стоитъ нѣсколько тысячъ марокъ, и мы всячески старались не разсѣивать этого благодѣтельного заблужденія.

Случалось, Розита мѣняла прямой методъ на косвенный и, обращаясь не къ родителямъ, а къ сестрамъ, начинала имъ рассказывать о козахъ, но, разумѣется, только въ тѣхъ случаяхъ, когда вблизи былъ кто-нибудь изъ родителей. Она въ живѣйшихъ краскахъ описывала жизнь и нравы козъ, ихъ повадки, прыжки, блеяніе — короче говоря: ихъ красоту и волшебную прелесть. Случалось, что при этомъ я подмѣчалъ иногда брошенный на меня снизу вверхъ испытующій взглядъ, который я, впрочемъ, видѣлъ и тогда, когда моя маленькая дочка не смотрѣла на меня, ловя его тѣми глазами, которые у насъ бываютъ на спинѣ.

Незадолго до Рождества у насъ вышла маленькая аванпостная стычка. Розиту спросили: что ей подарить?

— Разумѣется, мнѣ больше всего хочется имѣть козочку, но...

— Но, милочка моя,—воскликнула жена,—какъ же намъ въ городѣ держать козу? Если берешь въ домъ животное, надо же сдѣлать такъ, чтобъ ему было хорошо. А куда же мы его дѣнемъ?

— Гмъ,—задумчиво выговорила, Розита наморщивъ лобикъ,—въ кухнѣ ее, пожалуй, нельзя держать.

— Нѣтъ,—рѣшительно объявила жена—въ кухнѣ козу держать нельзя.

Такимъ образомъ пробный шаръ лопнулъ.

— Бѣдное животное чувствовало бы себя у насъ совсѣмъ нехорошо,—увѣряла жена моя.

Этимъ она попала въ самую точку—въ сердечко Розиты. Нѣтъ, если козѣ у насъ будетъ нехорошо, тогда, разумѣется, не надо ея покупать; это она поняла или, по крайней мѣрѣ, понимала втеченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ. Дольше вѣдь человѣческое благоразуміе рѣдко выдерживаетъ, потому что за это время успѣваетъ снова пышно разростись сахарный тростникъ желаній.

На несчастье ей попался въ руки „Робинзонъ“. У Гейди
Апрѣль. Отдѣлъ I.

была только одна коза, а у Робинзона полный островъ дикихъ козъ, изъ которыхъ онъ могъ выбирать себѣ любую. Я убѣжденъ, что бѣдный Робинзонъ, заброшенный судьбою на необитаемый островъ, казался ей изъ всѣхъ людей наиболѣе достойнымъ зависти, такъ какъ на счетъ козъ у него было раздолье.

А затѣмъ я купилъ себѣ дачу и еще прежде, чѣмъ намъ удалось переѣхать въ нее, мы ежедневно ѣздили туда подкрѣпиться видомъ свѣжей неприкрашенной природы, душистыхъ рощъ и изгородей и сочной зелени луговъ, на которыхъ паслись ничѣмъ не прикрытыя коровы. Наконецъ, мы вступили во владѣніе домою и довольно большимъ садомъ, въ которомъ были даже четыре болѣе или менѣе обширныхъ лужайки. Теперь, когда Розита говорила со своими сестрами о Гейди и Робинзонѣ, Полифемѣ и прочихъ баловняхъ судьбы, въ ея взглядахъ было что-то буравящее, прожигающее: они проникали сквозь сюртукъ и рубашку и проникали до кожи, какъ солнечные лучи, собранные въ фокусъ зажигательнаго стекла.

Чтобы положить этому конецъ, мы подарили ей таксу, которую называли „Мальчикомъ“. Для того, чтобы взять въ домъ собаку, ходить за нею и воспитывать ее, у насъ во всякомъ случаѣ достаточно было опыта и педагогическихъ талантовъ. Эта собака, наконецъ, вернула намъ покой. Это звучитъ почти противорѣчиво, но все же это правда—я говорю о душевномъ покоѣ.

Покой этотъ длился годъ и пять мѣсяцевъ. А затѣмъ намъ стало ясно и съ каждымъ днемъ все яснѣе, что это была только отсрочка и что собаки въ зачетъ за козъ идти не могутъ. Больше того: Розита видѣла въ „Мальчикѣ“ только уплату процентовъ; самый же вексель по прежнему оставался неоплаченнымъ.

И надо же было на бѣду одному злополучному парню на деревнѣ сказать ей, что онъ могъ бы продать ей молодую козочку за полторы марки.

Розита вихремъ примчалась домой.

— Палочка! мамочка! коза стоитъ всего только полторы марки! У меня цѣлыхъ пять марокъ въ копилкѣ — можно мнѣ купить козочку?

— Милая Розита, дѣло не въ томъ, сколько она стоитъ; полторы марки не жалко, но вѣдь козѣ нужно стойло, нуженъ хорошо устроенный хлѣвъ, а этого у насъ нѣтъ — не строить же его въ саду.

Такимъ образомъ и эта атака была отбита.

Недѣлю спустя на прогулкѣ она вдругъ заставила меня остановиться.

— Папочка, хотѣлось бы тебѣ имѣть этотъ домъ?

— Даромъ не возьму,—категорически отрѣзалъ я.

Это была такъ называемая „вилла“, въ ужасающемъ стилѣ.

— А мнѣ бы очень хотѣлось!—съ тоской вздохнула Розита.

— Да ну?—Я невольно еще разъ взглянулъ на это нелѣпое дѣтище фантазіи каменщика.—Почему?

— Тамъ позади есть хлѣвъ, — выговорила она почти съ благоговѣніемъ.

Рокъ творилъ свое дѣло, словно въ греческой трагедіи. Сосѣдскія дѣти, съ которыми иногда играла Розита, получили въ подарокъ козу.

Это имѣло свою хорошую сторону: когда Розиты не оказывалось ни въ комнатахъ, ни въ саду, мы теперь уже не тревожились: чтобы найти ее, стоило только пойти къ сосѣдской козѣ. Ее приходилось отрывать отъ козы для обѣда и ужина; ее приходилось силой отрывать отъ козы, чтобы тащить въ постель.

Однажды утромъ, за завтракомъ, она начала:

— Папа, а я что-то придумала. Тамъ внизу, въ погребѣ, вѣдь у насъ есть большущій ящикъ для книгъ, правда?

— Да.

— Ну, такъ вотъ: въ него надо только вставить дверь и выйдетъ стойло для козы.

Тутъ у меня лопнуло терпѣнье.

— Розита,—сказалъ я строго,—оставь меня, наконецъ, въ покоѣ съ своей козой; это мнѣ надоѣло. Не будетъ тебѣ козы и баста!

Этого послѣдняго слова мнѣ, пожалуй, не слѣдовало говорить: оно не достаточно серьезно для ультиматума.

Но отказъ послѣдовалъ. Розита не говорила теперь больше ни о стойлѣ, ни о козѣ, ни даже намекомъ, хотя бы съ сестрами. Она притихла, но не казалась ни подавленной, ни печальной, а лишь сосредоточенной въ самой себѣ, полной гордой силы самоотреченія, которое сносить неизбежное, потому что его надо нести, и вознаграждаетъ себя за утраченныя мірскія радости повышенной внутренней жизнью.

И, можетъ быть, это было и жестоко съ моей стороны, что я отказывалъ ей въ исполненіи ея завѣтнаго желанія. Но ни у жены моей, ни у меня нѣтъ ни склонности, ни привычки къ скотоводству и мы прямо-таки боялись посадить себѣ на шею такое животное. И потомъ, нельзя же исполнять всѣ желанія своихъ дѣтей. И безъ того мы ихъ слишкомъ балуемъ. Для нихъ совсѣмъ не вредно иной разъ съ

разбѣгу ткнуться носомъ въ запертую дверь. Жизнь вѣдь будетъ на каждомъ шагу подставлять имъ такія двери. Розита, вынужденная отказаться отъ своего желанія, стала какъ будто старше, степеннѣе; глаза и все ея личико казались теперь болѣе одухотворенными.

Вечеръ мы провели съ женой въ веселомъ обществѣ, вернулись поздно и только стали раздѣваться, чтобы лечь въ постель, какъ замѣтили на ночномъ столикѣ письмо. На конвертѣ было надписано: „Папусъ и Мамусъ“ рукой Розиты.

„Мои миленькіе, любименькіе, хорошіе папочка и мамочка, *очень-очень* прошу васъ, подарите вы мнѣ маленькую козочку мнѣ не надо тогда больше никакого подарка ни ко дню рожденія, ни къ Рождеству и я буду такъ страшно стараться по орфографіи, вотъ ты увидишь мамочка когда я вырасту большая я буду писать совсѣмъ безъ ошибокъ и стану добрая и умная и совсѣмъ не буду больше ни вспыльчивая, ни сердитая. Я васъ такъ страшно прошу подарите мнѣ козочку; когда мамочка занимается со мною я все время думаю о козѣ.

Тысячу билліоновъ поцѣлуетъ отъ вашей
Розиты“.

Ну, что тутъ дальше рассказывать—на слѣдующее утро мы ей разрѣшили купить козу. Результатъ получился совершенно неожиданный. Розита хотѣла было кинуться къ намъ, но неожиданно упала на стулъ и разрыдалась, да какъ!

Мы въ испугѣ бросились къ ней:—Что съ тобою? О чемъ ты плачешь, дѣтка?

— Угу-гу-гу-гу, я такъ рада—я такъ рада, угу-гу-гу-гу

Надо отдать ей должное—пока она добивалась козы, ни разу она даже не пробовала воздѣйствовать на меня слезами. И теперь всѣ накопившіяся слезы хлынули съ неудержимой силой.

Успокоившись, она тотчасъ же стала собираться въ дорогу—разыскивать парня, который обѣщалъ ей продать козу за полторы марки. Она разыскала его, и онъ далъ ей торжественное обѣщаніе завтра же привести козу. Если въ эту ночь ей снились луга, то ужъ, навѣрное, они были полнымъ-полны козъ.

Насталъ и слѣдующій день, но ни парня, ни козы не было и въ поминѣ. Розита терпѣливо дождалась, пока стемнѣло и тогда сказала:—Навѣрное ему некогда было прійти; онъ, должно быть, завтра придетъ; онъ мнѣ обѣщалъ навѣрное.

Но и на другой день обманщикъ-парень не пришелъ. Розита искала его по всей деревнѣ, нѣсколько часовъ подрядъ,

но искала напрасно: а гдѣ онъ живетъ, она впопыхахъ, на радостяхъ, не догадалась спросить. Молча улеглась она въ кровать; но, когда жена на другой день утромъ разбудила ее, вся ея подушка была мокра отъ слезъ.

— Дѣтка, ты плакала ночью?—спросила ее мать.

— Не знаю,—былъ отвѣтъ. Она, и въ самомъ дѣлѣ, не знала.

Тѣмъ временемъ дворникъ наскоро сколотилъ стойло и принесъ мнѣ вѣсть, что на деревнѣ есть мужикъ, у котораго можно купить козу. Герта, Розита и „Мальчикъ“, захвативъ съ собою небольшую телѣжку, отправились за козой—и нашли цѣлое козье царство. А полчаса спустя появился „Мальчикъ“ въ качествѣ гонца, бѣжавшій впереди, съ высунутымъ отъ усердія языкомъ, а за нимъ и обѣ дѣвочки, торжественно тащившія за собою въ телѣжкѣ *Снѣжокъ*, и мы торжественно привѣтствовали ея торжественное вступленіе въ домъ—вѣрнѣе: его вступленіе, такъ какъ *Снѣжинка* былъ козликъ и сталъ называться *Снѣжокъ*.

Долженъ сознаться, что вскорѣ я уже каялся въ своемъ долгомъ упорствѣ. Бѣлый, какъ снѣгъ, козликъ, дѣйствительно, оказался очаровательнымъ созданиемъ: Розита на дѣла ему на шейку давнымъ-давно уже приготовленный и отложенный про запасъ вышитый ошейничекъ съ крохотнымъ колокольчикомъ, и въ его забавныхъ прыжкахъ была вся очаровательная безпечность юности. И, когда Розита брала козленка къ себѣ на колѣни и поила его молокомъ изъ рожка, а „Мальчикъ“ подлизывалъ падавшія на полъ капли, то не только всѣ домашніе собирались смотрѣть на это священнодѣйствіе, но и прохожіе на улицѣ останавливались въ изумленіи и восклицали:—„Нѣтъ, до чего это очаровательно!“ И тогда сердечко Розиты прыгало совсѣмъ, какъ козликъ.

Когда же Снѣжокъ, подпрыгивая, разгуливалъ по улицамъ его сопровождала почетная свита изъ двадцати трехъ сосѣдскихъ дѣтей, точно какого-нибудь императора, или короля въ особенности декоративенъ былъ Петеръ Петерсенъ въ формѣ гвардейскихъ кирасиръ, въ шлемѣ и латахъ и съ пальцемъ во рту. Снѣжокъ былъ уличной сенсацией, гвоздемъ сезона, и вся коллегія дѣтвы изъ двадцати трехъ членовъ въ одинъ голосъ увѣряла, что Снѣжокъ гораздо красивѣе сосѣдской козы, которая тѣмъ временемъ успѣла состариться; и Розита чувствовала себя на вершинѣ счастья.

Однакоже Розитѣ некогда было подолгу играть съ Снѣжкомъ: ежедневно она три-четыре часа занималась съ матерью; кромѣ того она должна была играть на роялѣ, иногда ходить на уроки гимнастики и рисованія; да, и помимо того, ее часто

усылали изъ дому съ разными порученіями. Снѣжку, конечно, и во снѣ не снилось молча мириться съ этимъ: онъ нуждался въ обществѣ. Правда, Мальчикъ съ мудрой предусмотрительностью и добротою опытнаго педагога охотно посвящалъ ему все свое время; но Снѣжку нужно было дамское общество. И, какъ только его лишали этого общества, онъ тотчасъ же начиналъ каждыя четыре секунды блеять. Первые десять минутъ это казалось намъ страшно забавнымъ; вторыя десять минутъ скучнымъ, затѣмъ надоѣдливымъ и, наконецъ, нестерпимымъ. Снѣжокъ росъ, и вмѣстѣ съ нимъ росъ его голосъ. Съ хронометромъ въ рукахъ я установилъ, что онъ блеялъ по 15 разъ въ минуту, что составитъ въ часъ 900 разъ; въ день, если считать хотя бы по шести часовъ одиночества,—5.400, а въ недѣлю—37.800 разъ.

Уроки музыки пришлось прекратить: музицировать подъ такой аккомпаниментъ было, разумѣется, невозможно. Женѣ приходилось со своей ученицей спасаться въ погребъ, у котораго стѣны были такія толстыя, что ихъ не прошибешь и бомбой. Я уходилъ работать въ заднюю комнатку на башнѣ, но тщетно: если физически блеяніе козлика и не могло долетѣть до меня, то внутреннимъ слухомъ я аккуратно каждую четвертую секунду явственно слышалъ жалобное: —мэ-э-э! Три лирическихъ произведенія этой эпохи явились на свѣтъ мертворожденными; романъ вышелъ недоноскомъ, а драма умерла еще въ зародышѣ. Не всегда изъ козлиного блеянья можно спить трагедію — въ этомъ я убѣдился раньше, на современныхъ эротическихъ драмахъ.

Но это все была дѣтская забава въ сравненіи съ послѣдующимъ. Настоящее началось только, когда возмущились—и справедливо—сосѣди. Нашъ сосѣдъ слѣва снова вытащилъ грамофонъ, который онъ запаковалъ въ угоду мнѣ, поставилъ его у раскрытаго окна и по десять разъ въ часъ заставлялъ его играть все тотъ же маршъ. Другой сосѣдъ по вечерамъ усиленно палилъ изъ ружья, подготавливаясь къ этому цѣлыми днями. Третій, обладавшій младенцемъ съ необычайно развитыми голосовыми средствами, ставилъ дѣтскую колясочку у самаго забора моего сада. Младенецъ кричалъ нѣсколько разнообразнѣе козла, и это разнообразіе временно освѣжало, но постепенно все же пріѣдалось и становилось такимъ докучнымъ, что я въ отчаяніи говорилъ женѣ:

— Мы съ тобой радовались, что не слышимъ больше въ домѣ дѣтскаго крика; но, если все равно возлѣ насъ день-деньской оретъ младенецъ, лучше бы ужъ это былъ нашъ собственный.

— Да,—отвѣтила жена.

Я могъ бы, конечно, ночью завести куда-нибудь козлика и утромъ сказать, что онъ самъ убѣжалъ, но разыгрывать комедію передъ ребенкомъ тяжело и некрасиво. Да этого и не нужно было: Розита и сама понимала, что поведение Снѣжка дѣлаетъ его присутствіе въ нашемъ домѣ невозможнымъ. Одна изъ ея подругъ съ радостью изъявила полную готовность получить въ подарокъ Снѣжка—никогда въ жизни еще у меня не было такого прилива щедрости. Немедленно же мы отправили Снѣжка по желѣзной дорогѣ: кто спѣшитъ дать, даетъ вдвойнѣ.

Но, когда сквозь ноябрьскіе туманы вдали замерцала рождественская звѣзда, Розита написала на листкѣ, гдѣ ей предложено было записать свои желанія:

Калейдоскопъ.

Индѣйскій костюмъ.

* * * * * Обѣщаніе, что лѣтомъ мнѣ опять позволять на 14 дней взять козу.

Семь звѣздочекъ имѣли цѣлью особенно выдвинуть это желаніе.

* * *

Въ одномъ я безусловно увѣренъ: этотъ ребенокъ въ своей жизни чего-нибудь да добьется, хоть, можетъ быть, и никогда не научится писать безъ ошибокъ.

И еще одно для меня выяснилось: Розита—женщина. Не будь это само по себѣ установленный фактъ, меня убѣдила бы въ этомъ ея борьба за козу. Я даже колебался: не назвать ли мнѣ эту маленькую исторію такъ:

„Коза“ или „Женщина“.

Въ Розитѣ есть тѣ специально женскія черты, которыя присущи леди Макбетъ, сумѣвшей обойти и покорить своимъ желаніямъ суроваго воина, черты графини Терцкой, способной продырявить сердце Валленштейна, черты Кримгильды, подчинившей себѣ Атилу. Конечно, у Розиты доброе, мягкое сердечко, не способное подстрекать къ государственной измѣнѣ, къ убійству короля, или Бургундца; но, „формально“ говоря, она—та же леди Макбетъ. Разумѣется, ея женская натура еще не достигла полного развитія. Еслибъ ее спросили, она сразу искренно созналась бы, что ей страстно хотѣлось имѣть козу. Настоящей женщиной она станетъ только тогда, когда въ отвѣтъ на подобный же вопросъ она уставится на васъ широко раскрытыми глазами, словно онѣмѣвъ отъ изумленія, и черезъ десять секундъ воскликнетъ:

— Я хотѣла имѣть козу? Я?—Да что ты, голубчикъ? Съ чего ты взялъ? Какъ это могло придти тебѣ въ голову!..

„Неизбѣжный бѣлый человѣкъ“.

Разсказъ Джэка Лондона.

Перев. съ англ. В. Керженцева.

— Покуда чернокожій останется чернокожимъ, а бѣлый— бѣлымъ, чернокожій никогда не пойметъ бѣлаго и обратно— бѣлый не пойметъ чернокожаго.

Такъ говорилъ капитанъ Уудуордъ.

Мы сидѣли въ общей залѣ ресторанчика Карла Робертса въ Апіи и въ компаніи съ хозяиномъ потягивали „Абу-Гамедъ“. Этотъ напитокъ былъ изготовленъ упомянутымъ Карломъ Робертсомъ, который получилъ рецептъ отъ самого Стивенса. Стивенсъ, мучимый жаждой на берегу Нила, избрѣлъ „Абу-Гамедъ“, прославившій его имя. Это тотъ самый Стивенсъ, который выпустилъ книгу „Съ Китченеромъ въ Хартумъ“ и позднѣе умеръ при осадѣ Ледисмита.

Капитанъ Уудуордъ, пожилой, невысокій, коренастый человѣкъ, съ лицомъ, сорокъ лѣтъ палимымъ тропическимъ солнцемъ, и съ ясными темными глазами, прекраснѣе которыхъ я не встрѣчалъ у мужчинъ, сдѣлалъ указанное заявленіе, опираясь на свой обширный опытъ.

Шрамы на его голомъ черепѣ свидѣтельствовали о его близкомъ знакомствѣ съ боевымъ топоромъ чернокожихъ, и о такомъ же близкомъ знакомствѣ говорила еще не зажившая рана на правой сторонѣ шеи,—слѣдъ отъ вонзившейся и выдернутой стрѣлы. Капитанъ объяснилъ, что онъ очень торопился въ этотъ моментъ (стрѣла вынудила его обратиться въ бѣгство) и совершенно не имѣлъ времени какъ слѣдуетъ вытащить стрѣлу. Уудуордъ былъ теперь капитаномъ большого парохода „Совайи“, который набиралъ рабочихъ для германскихъ плантацій въ Самоа.

— Половиной безпокойства мы обязаны глупости бѣлыхъ, — сказалъ Робертсъ и, отпивъ глотокъ изъ своего стакана и добродушно обругавъ прислуживавшихъ въ ресторанчикѣ самоптянъ, продолжалъ:—Еслибы бѣлый человѣкъ далъ себѣ трудъ понять чернокожаго, можно было бы избѣжать большей части непріятностей.

— Мнѣ почти не доводилось встрѣчать людей, претендующихъ на то, что они понимаютъ негровъ,—замѣтилъ капитанъ Уудуордъ.—И этихъ немногихъ, по моимъ наблюденіямъ, всегда первыми съѣдали. Вспомните только миссію

неровъ Новой Гвиней, Ново-Гебридскихъ острововъ, мученическаго острова Эрроманга и другихъ. Вспомните австрійскую экспедицію, которая была изрублена въ куски въ кустахъ Гвадонканора, на Соломоновыхъ островахъ. Вспомните торговцевъ, послѣ многолѣтняго опыта хваставшихъ, что ни одинъ негръ ихъ не тронетъ — теперь ихъ головы украшаютъ крыши сарая для пирога. Я знавалъ стараго Джонни Симонса, который двадцать шесть лѣтъ провелъ на дикихъ берегахъ въ Меланезіи и который клятвенно увѣрялъ, что знаетъ негровъ, какъ свои пять пальцевъ, и что они его пальцемъ не тронутъ. Симонсъ чуть-чуть не отдалъ Богу душу въ Марово въ Новой Георгіи, не спаси его черная Марія и старый одноногій негръ (другую ногу онъ оставилъ въ пасти акулы въ то время, какъ нырять въ поискахъ за убитой динамитомъ рыбой). Былъ еще Билли Уотсъ, прославившійся своими избіеніями негровъ, — настоящій дьяволъ. Помню, стояли мы въ Новой Ирландіи, у Малаго Мыса, — знаете? — и вотъ негры украли полъ-ящика табаку, цѣной, эдакъ, въ три съ половиной доллара. Въ отместку Уотсъ вернулся назадъ, убилъ шестерыхъ негровъ, разломалъ ихъ военныя пироги и сжегъ двѣ деревни. Черезъ четыре года онъ явился на тотъ же мысъ съ пятьюдесятью молодцами изъ племени Буку для ловли трепанговъ. Въ пять минутъ онъ всѣхъ негровъ заставилъ попрыгать въ море. Всѣ потонули, кромѣ троихъ, спасшихся на лодкѣ. Не толкуйте мнѣ о томъ, что надо понимать негровъ. Миссія бѣлаго человѣка цивилизовать міръ; съ него и этой работы достаточно. Откуда же ему еще взять время, чтобы понимать негровъ?

— Совершенно вѣрно, — сказалъ Робертсъ. — Иной разъ понимать негровъ, въ сущности, совсѣмъ не къ чему. Чѣмъ глупѣе бѣлый человѣкъ, тѣмъ успѣшнѣе онъ завладѣваетъ міромъ и цивилизуетъ его...

— И тѣмъ скорѣе онъ вселяетъ въ сердца негровъ страхъ Господень, — прервалъ капитанъ Уудуордъ. — Да, вы, пожалуй, правы, Робертсъ: можетъ быть, глупость бѣлыхъ какъ разъ и есть источникъ ихъ успѣха. Неумѣніе понять негровъ — одинъ изъ видовъ этой глупости. Одно можно сказать съ увѣренностью: бѣлый человѣкъ долженъ преслѣдовать негровъ, все равно, понимаетъ ли онъ ихъ или нѣтъ. Это совершенно неизбѣжно. Таково уже велѣніе рока.

— Бѣлый человѣкъ, разумѣется, „неизбѣженъ“. Въ этомъ рокъ чернокожихъ, — сказалъ Робертсъ. — Скажи только бѣлему, что гдѣ-нибудь на лагунѣ, населенной десяткомъ тысячъ дикихъ каннибаловъ, встрѣчаются раковины съ жемчугомъ, и онъ тотчасъ же кинется туда со своимъ пяти-

тоннымъ суденышкомъ, который, какъ селедками, набить полдюжиной водолазовъ изъ племени „конака“ и гдѣ жестиной будильникъ служить хронометромъ. Шепни бѣлому, что на сѣверномъ полюсѣ открылись золотыя россыпи и это „неизбѣжное“ созданіе съ бѣлой кожей немедленно вооружится заступомъ и лопатой, свинымъ окорокомъ и патентованной промывательной машиной послѣдней модели, устремится на полюсъ и, больше того, окажется тамъ командиромъ. Только подмигни г. Бѣлому Человѣку о томъ, что въ до-красна накаленномъ аду обнаружены брилліанты, и онъ немедля осадитъ стѣны ада и даже самого стараго сатану заставить рыть и копать. Вотъ что значитъ быть глупымъ и „неизбѣжнымъ“.

— Меня интересуетъ, что же самъ чернокожій думаетъ объ этой... этой „неизбѣжности“,—замѣтилъ я.

Капитанъ усмѣхнулся. Въ его глазахъ блеснулъ лучъ воспоминанія.

— Меня тоже интересуетъ, что, напримѣръ, думали и думаютъ негры Малу объ одномъ „неизбѣжномъ“ бѣломъ человѣкѣ, который былъ съ нами на борту „Герцогини“.

Робертсъ приготовилъ еще три стакана „Абу-Гамеда“.

— Дѣло было лѣтъ двадцать тому назадъ. Имя этого человѣка было Саксторпѣ. По-истинѣ онъ былъ самый глупый человѣкъ, какого я когда-либо видѣлъ, но за то онъ былъ „неизбѣженъ“, какъ смерть. Этотъ парень умѣлъ дѣлать только одно на свѣтѣ — стрѣлять. Помню, я впервые столкнулся съ нимъ здѣсь, въ Апіи, двадцать лѣтъ тому назадъ. Это было еще до васъ, Робертсъ. Я жилъ въ отелѣ голландца Генри, тамъ, гдѣ теперь рынокъ. Кто только не зналъ Генри? Онъ здорово заработалъ, продавая контрабандой оружіе повстанцамъ, затѣмъ онъ спустилъ свой отель и ровно черезъ шесть недѣль послѣ этого былъ убитъ въ одной дракѣ въ Сиднеѣ.

Теперь о Саксторпѣ. Какъ-то ночью, только я сталъ засыпать, какъ на дворѣ начала распѣвать пара котовъ. Я вскочилъ съ постели, открылъ окно и взялся за кувшинъ съ водой. Но въ это же время я увидѣлъ, что сосѣднее окно тоже открылось. Раздалось два выстрѣла, затѣмъ окно закрылось. Вы не можете себѣ представить, какъ быстро все это произошло. Прошло всего какихъ-нибудь десять секундъ. Окно открылось, бацъ, бацъ, окно захлопнулось. Онъ никогда не интересовался посмотрѣть на результаты своихъ выстрѣловъ. Онъ и такъ зналъ ихъ. Вы слышите—онъ *зналъ*. Кошачій концертъ смолкъ. Утромъ я увидѣлъ двухъ разрушителей тишины и спокойствія убитыми наповалъ. Меня это поразило. Меня и теперь это удивляетъ. Во-первыхъ,

былатемная ночь, Саксторпъ стрѣлялъ, невидямушки; затѣмъ, онъ выстрѣлилъ такъ быстро, что оба выстрѣла слились въ одинъ; наконецъ, онъ, не глядя, зналъ, что попалъ въ цѣль.

Два дня спустя онъ пришелъ къ намъ на судно, чтобы повидаться со мной. Я былъ тогда штурманомъ на „Герцогинѣ“—большой полуторастотной шкунѣ, занимавшейся вербовкой чернокожихъ рабочихъ. А надо вамъ сказать, что тогда дѣло обстояло иначе, чѣмъ теперь. Тогда не было правительственныхъ инспекторовъ и правительственного покровительства *намъ*, и тѣмъ, и другимъ. Это была тяжелая работа, надо было заключать сдѣлки, возиться. Мы вербовали негровъ на всѣхъ островахъ Южнаго Океана, если они насъ только не прогоняли прочь. Но вотъ Саксторпъ явился на судно. Онъ называлъ себя Джономъ Саксторпомъ. Это былъ низенькій рыжій паренъ. Волоса у него были рыжіе, глаза были рыжіе и даже цвѣтъ лица былъ рыжій. Въ немъ не было ничего выдающагося. Его душа была такого же неопредѣленнаго оттѣнка, какъ и все въ немъ. Онъ заявилъ, что хочетъ наняться на шкуну. Онъ соглашался быть прислуживающимъ при каютахъ, поваромъ, судовымъ приказчикомъ или обыкновеннымъ матросомъ. Онъ ничего изъ всего этого дѣлать не умѣлъ, но сказалъ, что хочетъ всему научиться. Миѣ онъ былъ совсѣмъ не нуженъ, но его стрѣльба произвела на меня такое впечатлѣніе, что я нанялъ его простымъ матросомъ съ жалованіемъ въ три фунта въ мѣсяцъ.

Долженъ сказать, что онъ хотѣлъ какъ слѣдуетъ всему научиться, но былъ рѣшительно ни къ чему не способенъ. Онъ хуже разбирался въ компасѣ, чѣмъ я бы приготовлялъ напитки по системѣ нашего Робертса. А рулемъ онъ правилъ такъ, что заставилъ меня посѣдѣть. Я никогда не осмѣливался рискнуть и пустить его къ рулевому колесу, когда мы были въ открытомъ морѣ, гдѣ очень мудрено знать, надо ли ѣхать на всѣхъ парусахъ или убрать ихъ вовсе. Онъ никогда не могъ понять, чѣмъ отличаются шкоты отъ талей, ну, просто не могъ этого понять да и только! Бомъ-кливеръ и фокъ-стаксель были для него совершенно одно и то же. Прикажи ему убрать главный парусъ, и не успѣешь ты оглянуться, какъ онъ такъ передвинетъ бизань-рею, что шкуна заклюетъ носомъ. Три раза онъ срывался въ море, а онъ не умѣлъ плавать. Но при всемъ томъ онъ былъ очень старателенъ и никогда не страдалъ морской болѣзنیю. Я ни разу не встрѣчалъ человѣка съ болѣе сильнымъ характеромъ. Онъ былъ очень скрытный человѣкъ и никогда ничего не говорилъ о себѣ. Исторія его жизни, поскольку мы ее знали, началась съ того дня, какъ онъ поступилъ на „Герцогиню“. Одинъ Богъ вѣдаетъ, гдѣ онъ на-

учился стрѣлять. Онъ былъ янки—такъ мы могли заключить по его акценту. Только одно это мы и знали о немъ.

Теперь мы подходимъ къ самому интересному. На Ново-Гебридскихъ островахъ намъ не повезло — за пять недѣль мы набрали всего четырнадцать человѣкъ. Мы двинулись на востокъ, къ Соломоновымъ островамъ. Островъ Малаита, какъ теперь, такъ и тогда былъ очень хорошимъ мѣстомъ для найма чернокожихъ. Мы подошли къ нему съ сѣверо-запада. Тамъ весь берегъ въ рифахъ, да имѣется еще и внѣшній рифъ, такъ что пристать къ берегу чертовски хлопотливо. Но мы со всѣмъ этимъ справились и затѣмъ взорвали динамитъ, чтобы подать папуасамъ сигналъ собираться на берегъ и записываться въ рабочіе. За три дня къ намъ не явился ни одинъ. Цѣлыми сотнями черные шныряли кругомъ насъ въ своихъ пирогахъ, но, когда мы показывали имъ бусы, ситецъ и топоры и говорили о прелестяхъ работы на плантаціяхъ въ Самоа, они только смѣялись.

На четвертый день дѣло перемѣнилось. Къ намъ записалось свыше пятидесяти молодцовъ. Мы помѣстили ихъ въ трюмъ,—разумѣется, съ правомъ вылѣзть на палубу. Понятное дѣло, какъ теперь вспомнишь, что массовая запись была подозрительнаго характера, но тогда мы подумали, что просто какой-нибудь могущественный вождь разрѣшилъ чернымъ записываться. Утромъ на пятый день двѣ наши шлюпки поѣхали, по обыкновенію, къ берегу—одна защищала другую на случай какого-либо безпорядка. А папуасы по обыкновенію же находились на палубѣ. Они ротозѣйничали, болтали, курили, спали. На борту судна оставались лишь Саксторпъ, я и четверо матросовъ. Двумя шлюпками командовалъ Гильбертъ исландецъ. Въ одной шлюпкѣ находились капитанъ, судовой конторщикъ и вербовщикъ. Въ другой—посланной для охраны и остановившейся въ сотнѣ ярдовъ отъ берега—былъ второй штурманъ. Хотя мы и не ждали никакого возмущенія, но люди на обѣихъ шлюпкахъ были все-таки хорошо вооружены.

Четверо матросовъ, въ томъ числѣ и Саксторпъ, чистили перила на кормѣ. Пятый съ ружьемъ въ рукахъ стоялъ на часахъ около резервуара съ водой, какъ разъ передъ гротъ-мачтой. Я находился на носу. Только я сталъ искать, куда я положилъ свою трубку, какъ вдругъ съ берега послышался выстрѣлъ. Я вскочилъ, чтобы увидѣть, въ чемъ дѣло. Что-то ударило меня по затылку и, немного оглушивъ, свалило на палубу. Сперва я подумалъ, что, вѣроятно, что-нибудь сорвалось съ мачты. Но не успѣлъ я еще упасть, какъ услышалъ дьявольскую трескотню ружей на лодкахъ и, повернувшись, бросилъ взглядъ на матроса, стоявшаго на

часахъ. Два здоровенныхъ папуаса держали его за руки, а третій, находившійся сзади, билъ его по головѣ своимъ топоромъ.

Я какъ сейчасъ вижу—резервуаръ для воды, гротъ-мачту, папуасовъ, повиснувшихъ на матросѣ, и топоръ, вонзающійся въ затылокъ. Солнце ярко свѣтило. Меня поразилъ этотъ внезапно возставшій призракъ смерти. Мнѣ казалось, что топоръ ужасно медленно двигается, прежде чѣмъ коснуться черепа. Я видѣлъ, какъ онъ вонзается въ голову и ноги матроса подгибаются. Но черные насильно поддержали его за руки и третій ударилъ матроса еще раза два. Тутъ я и самъ получилъ два удара по головѣ и рѣшилъ, что мнѣ пришелъ конецъ. Негодяй, меня ударившій, рѣшилъ, что я убитъ. Я не могъ пошевелиться. Я лежалъ и смотрѣлъ, какъ папуасы рубили голову часовому. Долженъ сказать, что дѣлали они это мастерски. Они—ловкачи на такого рода дѣла.

Стрѣльба со шлюпокъ прекратилась. Я былъ увѣренъ, что съ ними со всѣми прикончили и что теперь всему — крышка! И придти и отрубить мнѣ голову было лишь вопросомъ времени. Очевидно, черные были теперь заняты именно отрубаніемъ головъ матросамъ. Головы—особенно головы бѣлыхъ—высоко цѣнятся на Малаитѣ. Имъ всегда отводится почетное мѣсто на туземныхъ сараяхъ для пирога. Въ чемъ видятъ дикари декоративный эффектъ такого своеобразнаго украшенія, я не знаю. Какъ бы тамъ ни было, но цѣнять они головы очень дорого.

У меня была слабая надежда на спасеніе. Я проползъ на четверенькахъ и сталъ на колѣни около лебедки. Тамъ я сдѣлалъ попытку подняться на ноги. Отсюда я могъ видѣть три головы на крышѣ каюты—три головы матросовъ, которыхъ я нанялъ нѣсколько мѣсяцевъ назадъ. Дикари, увидавъ, что я всталъ, бросились ко мнѣ. Я сталъ искать револьверъ, но увидалъ, что они отобрали его у меня. Не могу сказать, чтобы я струсилъ. Я нѣсколько разъ былъ на волосокъ отъ смерти, но никогда она не казалась мнѣ ближе, чѣмъ тогда. Я былъ наполовину оглушенъ и ничему не придавалъ особаго значенія.

Папуасъ, руководившій другими, вооружился кухоннымъ ножомъ и съ гримасами обезьяны приготовился изрубить меня въ куски. Но это ему сдѣлать не пришлось. Онъ, какъ снопъ, рухнулъ на палубу и кровь хлынула изъ его рта. Я смутно слышалъ выстрѣлы. Пальба продолжалась. Черный за чернымъ падали на палубу. Мои мысли стали проясняться; я замѣтилъ, что выстрѣлы были безъ промаха. Каждый разъ одинъ папуасъ падалъ. Я сѣлъ на

палубу, прислонившись къ лебедкѣ, и взглянулъ наверхъ. На реѣ сидѣлъ Саксторпъ. Я не могъ себѣ представить, какъ онъ ухитрился тамъ устроиться — онъ какимъ-то образомъ захватилъ съ собой два „винчестера“ и сколько-то патронташей. Теперь онъ дѣлалъ то, что онъ только и умѣлъ дѣлать на свѣтѣ.

Я видалъ на своемъ вѣку стрѣльбу и кровопролитіе, но я никогда не видалъ ничего подобнаго. Я сидѣлъ у лебедки и глядѣлъ. Я былъ очень слабъ и обезсиленъ; все происходящее казалось мнѣ сномъ. Бацъ, бацъ, бацъ — палило ружье. Хлопъ, хлопъ, хлопъ — падали папуасы на палубу. Изумительное было зрѣлище! При ихъ первой попыткѣ броситься на меня — свалилось на землю около полдюжины. Это ихъ, видимо, огорошило. А Саксторпъ все продолжалъ работать своимъ ружьемъ. Въ это время отъ берега подѣхали пироги и двѣ шлюпки. Папуасы были вооружены „винчестерами“ и „шнейдерами“, которые они захватили на шлюпкахъ. Они открыли по Саксторпу ужаснѣйшую пальбу. Къ его счастью, дикари были мастера лишь на рукопашную. Стрѣлая, они не упирали ружье въ плечо. Они наводили концомъ дула на Саксторпа и затѣмъ стрѣляли.

Саксторпъ брался за второе ружье, когда первое нагрѣвалось. Для этого именно онъ и захватилъ съ собой два „винчестера“. Меня поражала быстрота, съ какой онъ стрѣлялъ. Къ тому же, онъ никогда не давалъ промаха. Онъ былъ чѣмъ-то неизбѣжнымъ на этомъ свѣтѣ. Быстрота, съ какой онъ дѣйствовалъ, придавала избіенію особый ужасъ. Чернымъ некогда было оглянуться. Сообразивъ, наконецъ, въ чемъ дѣло, они бросились къ камышамъ, разумѣется побросавъ лодки. Вся вода была покрыта папуасами. А Саксторпъ не подпускалъ ихъ къ берегу и продолжалъ палить въ нихъ — бацъ! бацъ! Не было ни одного промаха. Я отчетливо слышалъ, какъ каждая пуля попадала въ человѣческое тѣло.

Дикари плыли, направляясь къ берегу. Вся вода пестрѣла головами, покачивающимися изъ стороны въ сторону. Я приподнялся и словно во снѣ глядѣлъ на все происходящее — на эти движущіяся головы и на головы, которыя перестали передвигаться. Нѣкоторые изъ выстрѣловъ были поразительные. Только одинъ человѣкъ добрался до камыша, но лишь только онъ всталъ, чтобы идти на берегъ, Саксторпъ попалъ въ него. Это былъ чудесный выстрѣлъ. А когда двое черныхъ бросились, чтобы вытащить товарища изъ воды, Саксторпъ подстрѣлилъ и этихъ.

Я думалъ, что теперь все уже кончено, но выстрѣлы раздались снова. Какой-то папуасъ вышелъ изъ каюты и пошелъ внизъ, на палубу. Вѣроятно, каюта была биткомъ набита

чернокожими. Я насчиталъ двадцать человѣкъ. Они выходили одинъ за другимъ и прыгали, стараясь перескочить черезъ борты. Но имъ это не удавалось. Это была словно ловушка. Черная фигура появлялась изъ каюты, ружье Саксторпа стрѣляло, и черное тѣло шлепалось внизъ. Разумѣется, тѣ, кто находился въ каютѣ, не знали, что дѣлается на палубѣ, и продолжали выбѣгать оттуда, пока Саксторпъ не прикончилъ ихъ всѣхъ.

Саксторпъ подождалъ нѣкоторое время, чтобы увѣриться, что больше никого нѣтъ, и затѣмъ спустился на палубу. Мы съ нимъ одни остались отъ всего экипажа „Герцогини“. Я чувствовалъ себя не совсѣмъ-то хорошо и онъ, покончивъ съ избіеніемъ, оказался совсѣмъ безпомощнымъ. По моимъ указаніямъ, онъ обмылъ мои раны на черепѣ и зашилъ ихъ. Здоровенная порція виски подкрѣпила меня и я попробовалъ приняться за дѣло. Больше ничего не оставалось дѣлать. Всѣ остальные были убиты. Мы попробовали поднять парусъ. Саксторпъ поднималъ, а я держалъ руль. Онъ еще разъ показалъ, какой онъ глупый увалень. Онъ не умѣлъ какъ слѣдуетъ справиться съ парусами. Я потерялъ сознаніе. Казалось, что дѣло совсѣмъ плохо.

Когда я очнулся, Саксторпъ безпомощно сидѣлъ на реѣ и ждалъ, пока я приду въ себя, чтобы спросить, что ему надо дѣлать. Я велѣлъ ему осмотрѣть раненныхъ, чтобы убѣдиться, нѣтъ ли среди нихъ людей, пригодныхъ для работы. Онъ отыскалъ шестерыхъ. Помню, у одного была сломана нога. Саксторпъ заявилъ, что за то его руки совсѣмъ здоровы. Я лежалъ въ тѣни, отгонялъ мухъ и руководилъ операціями, а Саксторпъ примѣнялъ свои медицинскія познанія. Затѣмъ онъ заставилъ бѣдныхъ дикарей лазить по всѣмъ веревкамъ и — ей Богу — только послѣ этого онъ отыскалъ фаль. Одинъ изъ нихъ, находившійся на серединѣ реи, выпустилъ веревку изъ рукъ и упалъ мертвымъ на палубу. Но Саксторпъ побоялся заставить остальныхъ работать. Когда передній и главный парусъ были поставлены, я велѣлъ ему перерубить якорную цѣпь, чтобы шкуна могла тронуться. Я самъ рѣшилъ помогать за рулевымъ колесомъ, гдѣ я кое-какъ могъ бы справиться... Однако, вмѣсто того, чтобы перерубить цѣпь, Саксторпъ какимъ-то образомъ ухитрился спустить и второй якорь. Теперь мы оказались вдвойнѣ прикованными.

Наконецъ, ему удалось перерубить обѣ цѣпи, поднять остальные паруса, и „Герцогиня“ двинулась прочь отъ бухты. Страшное зрѣлище открывалось на палубѣ. Повсюду валялись мертвые и умирающіе пауасы. Они забились въ самыя недоступныя мѣста. Каюта была полна ими. Они пропол-

зли по палубѣ и запрятались тамъ. Я приказалъ Саксторпу и его кладбищенской командѣ побросать всѣхъ за бортъ и они покидали всѣхъ, живыхъ и мертвыхъ. Въ тотъ день акуламъ досталась знатная пища. Понятно, и нашихъ четырехъ матросовъ мы отправили той же дорогой. Однако ихъ головы мы положили въ мѣшокъ съ тяжестью, чтобы они никоимъ образомъ не могли быть прибиты къ берегу и не попали въ руки дикарей.

Нашихъ пятерыхъ плѣнниковъ я хотѣлъ приспособить, какъ матросовъ, но они рѣшили иначе. Выждавъ удобную минуту, они бросились черезъ бортъ. Двухъ Саксторпъ убилъ „въ-летъ“ изъ револьвера. Но помѣшай я, онъ убилъ бы трехъ остальныхъ въ водѣ. Но мнѣ, знаете, уже опротивѣла эта бойня, да, къ тому же, эти папуасы помогли намъ пустить въ ходъ нашу шкуну.

Послѣ того, какъ мы благополучно миновали островъ, у меня началось воспаленіе мозга или что-то въ этомъ родѣ. Какъ бы то ни было, „Герцогиня“ недѣли три пролежала въ дрейфѣ. Только тогда я оправился, и мы съ ней добрались до Сиднея. Однимъ словомъ, черные Малу получили хорошій урокъ и навѣки запомнили, что не хорошо дразнить благаго человѣка. Въ этомъ случаѣ Саксторпъ былъ дѣйствительно „неизбѣженъ“.

Чарльсъ Робертсъ продолжительно свистнулъ и сказалъ:

— Да, я съ этимъ согласенъ. Но что же сдѣлалось съ Саксторпомъ?

— Онъ пустился въ охоту на тюленей... и сталъ лучшимъ охотникомъ. Шесть лѣтъ онъ славился среди флотовъ Санъ-Франциско и Викторіи. На седьмой его шкуна была захвачена въ Беринговомъ морѣ русскимъ крейсеромъ. Всѣ ребята, какъ прошелъ слухъ, были упрятаны въ сибирскіе рудники. Съ тѣхъ поръ я уже больше ничего о немъ не слыхалъ.

— Цивилизовать міръ...—пробормоталъ Робертсъ.—Цивилизовать міръ... Ну, понятно, кто-нибудь долженъ этимъ заниматься—я хочу сказать—дѣломъ цивилизаціи...

Капитанъ Уудуордъ провелъ рукой по шрамамъ на своей лысой головѣ и сказалъ:

— Я свою долю внесъ въ это дѣло. Вотъ уже сорокъ лѣтъ работаю. Это мое послѣднее странствіе. А затѣмъ я двинусь домой, на покой.

— Готовъ побиться о закладъ, что этого не будетъ,—заявилъ Робертсъ.—Вы умрете въ упряжкѣ, а не дома.

Капитанъ Уудуордъ охотно согласился на пари, но я думаю, что у Робертса больше шансовъ выиграть.

Вздохи изъ чужбины.

I.

Плющиха!

Значить, снова мечты о Россіи
Лишь напрасно приснившійся сонъ;
Значить, снова дороги чужія,
И по нимъ я идти обреченъ!..
И бродить у Вандомской колонны
Или въ плоскихъ садахъ Тюльери,
Гдѣ надъ лужами вечеръ влюбленный
Разсыпаетъ, дрожа, фонари,
Гдѣ, какъ будто веселыя птицы,
Выбѣгаютъ въ двѣнадцать часовъ
Изъ раскрытыхъ домовъ мастерицы,
И у каждой букетикъ цвѣтовъ.
О, бродить и вздыхать о Плющихѣ,
Гдѣ, разбуженный лаемъ собакъ,
Одинокій, печальный и тихій
Изъ сирени глядитъ особнякъ,
Гдѣ, кочуя по хилымъ березкамъ,
Воробьи затѣваютъ балы
И гдѣ пахнутъ натертые воскомъ
И нагрѣтые солнцемъ полы...

II.

Дѣвичье поле.

Ужь слеза за слезою
Пробирается съ крышъ,
И неловкой ногою
По дорожкѣ скользишь.
И милѣй и коварнѣй
Пооттаявшій ледъ,
И фабричные парни
Задѣваютъ народъ.

А пойдешь отъ гуляній—
 Вдалекѣ монастырь,
 И извощичьи сани
 Улетаютъ въ пустырь.
 Скоро снѣгъ этотъ слабый
 И отсюда уйдетъ,
 И веселыя бабы
 Налетятъ въ огородъ.
 И отъ бабьяго гама,
 И отъ крика грачей,
 И отъ грѣющихъ прямо
 Подобрѣвшихъ лучей
 Станетъ нѣжно-зеленымъ
 Этотъ снѣжный пустырь,
 И откликнется звономъ,
 Загудитъ монастырь.

И. Эренбургъ.

Мартъ, 1913 г.

На старомъ кладбищѣ, гдѣ тихій сонъ и лѣнь
 Нѣмые тополи, какъ стражи, охраняютъ,
 На старомъ кладбищѣ смолкаетъ шумный день,
 Смолкаетъ шумный день, стихаетъ...
 Смотри, онъ блѣденъ вновь, онъ смылъ слѣды румянъ,
 Поблекшій и печальный бродитъ сонно,
 Смотри, онъ блѣденъ вновь, и призрачный туманъ,
 Туманъ ползетъ за нимъ влюбленно.
 И я готовъ простить, и я готовъ забыть
 Весь жгучій ядъ, въ больную душу влитый.
 И я готовъ простить, и я хочу грустить,
 Грустить, склоняясь на каменные плиты.

Е. Федорова.

ИЗЪ АНГЛІИ¹⁾.

I.

Въ природныхъ кристаллахъ многихъ драгоценныхъ камней можно замѣтить полосы и ряды крапинокъ другихъ цвѣтовъ, чѣмъ минералъ. Таковы золотистыя крапинки въ лазоревомъ камнѣ, желтыя полосы въ хризопразѣ, кровавыя жилки геліотропа, свѣтлыя морщинки турмалина и т. д. Иногда эти крапинки и жилки объясняются просто присутствіемъ чужого минерала, напр., колчедана въ лазоревомъ камнѣ; но большею частью сущность мутныхъ полосокъ трудно объяснить.

Въ умственномъ отношеніи англійское общество отчасти напоминаетъ природные кристаллы драгоценныхъ камней. Крапинки „колчедана“ и жилки „діопсида“, это — тѣ эксцентричныя, всегда слабыя умственныя теченія, которыя сильно отличаются отъ всего „минерала“. Въ зависимости отъ времени эти „жилки“ носили разные названія. Въ восьмидесятихъ годахъ, напр., то былъ „эстетизмъ“, созданный юнымъ гениемъ, желавшимъ школьничать, и перенятый обезьянами. Молодой геній, которому пришла охота школьничать, „носилъ тогда такъ называемый эстетическій костюмъ“, — говоритъ авторъ только что вышедшей книги объ Оскарѣ Уайльдѣ. — Этотъ костюмъ состоялъ изъ бархатнаго сюртука, штановъ до коленъ, мягкой сорочки съ большими отложными воротничками, какіе носили „кавалеры“ въ XVII вѣкѣ (т. е. сторонники Карла I) и пышнаго галстука, цвѣта блѣдно-зеленаго или обожженной глины. Онъ выказывалъ особую любовь къ нѣкоторымъ цвѣтамъ, какъ напр., къ лиліямъ и подсолнечникамъ. Въ тѣ времена Оскаръ Уайльдъ иначе не показывался на Пиккадилли, какъ съ подсолнечникомъ въ рукахъ“²⁾. Школьничавшій геній „появлялся въ гостинныхъ, одѣтый въ бархатный фракъ травяного цвѣта, и сообщалъ глупымъ

¹⁾ John Galsworthy. Plays: „The Silver Box“, „Joy“, „Strife“, „The Eldest Son“, „The Little Dream“, „Justice“, „The Pigeon“. Полное собраніе сочиненій въ трехъ томахъ. London, 1910—1913.

²⁾ L. Gresswell Ingleby, „Some Reminiscences“, стр. 26.

дамам по секрету, что онъ только что имѣлъ интрижку съ одинокой асфоделіей или съ прелестной лиліей“; закативъ глаза, онъ томно увѣрялъ, что „умреть“, если не достанетъ фарфоровую китайскую тарелку извѣстнаго образца“. „Во времена эстетизма, при мнѣ—говорить Инглби—Оскара Уайльда спросили, какимъ образомъ онъ, такой поразительно умный человѣкъ, можетъ дѣлать изъ себя посмѣшище для дураковъ? Оскаръ Уайльдъ далъ такое объясненіе. „Я написалъ—сказалъ онъ—книгу стиховъ, которые считалъ превосходными. Напрасно я обивалъ пороги у издателей, умоляя ихъ взять рукопись. Никто не хотѣлъ издать ее, такъ какъ я былъ совершенно неизвѣстенъ. Тогда я понялъ, что необходимо прославиться чѣмъ-нибудь, чтобы найти издателя. И мнѣ пришелъ въ голову эстетизмъ. Обо мнѣ всѣ заговорили. Меня приглашали въ гости; я сталъ львомъ сезона. И я снова понесъ мою рукопись издателю. На этотъ разъ у меня купили стихи, не читая ихъ. Издатель просилъ дать ему еще книгу“¹⁾.

О томъ, какъ школьничалъ тогда молодой Оскаръ Уайльдъ, мы узнаемъ лучше всего по „Punch’у“ того времени. Юмористическій журналъ пишетъ, конечно, пародію; но, по согласному показанію всѣхъ, помнящихъ автора „Портрета Доріана Грея“ въ началѣ восьмидесятыхъ годовъ, карриатура удивительно похожа. „Оскаръ Уайльдъ стоялъ спиной къ зеленому камину, украшенному синими павлинами. Одну руку великій человѣкъ запустилъ въ свои длинные волосы, а другою подбоченился. На немъ былъ длинный до пятъ однобортный табачнаго цвѣта сюртукъ съ воротникомъ изъ тюленьей шкуры. Ensemble дополняли бѣлье со складками и оранжевый шелковый платокъ, намотанный вмѣсто галстука. Мы должны прибавить, что какъ каминъ, такъ и воротникъ изъ тюленьей шкуры представляютъ собственность Оскара Уайльда и будутъ демонстрированы публикѣ во время лекціи „Онаростаніи артистическаго вкуса въ Англіи“. Дальше „Punch“ передаетъ (и опять очень близко къ дѣйствительности) слова Оскара Уайльда. „Да. Признаться, меня удивило бы, еслибы ко мнѣ не явились для interview. Я чувствовалъ себя не совсѣмъ хорошо на пароходѣ Argosy въ продолженіе всего переѣзда въ Америку. Я боролся съ зеленокудрымъ Посейдономъ и страшился, что онъ похититъ меня. Да, да. Я былъ немогъ, совершенно немогъ. Чтобы выразиться точнѣе, я долженъ прибѣгнуть къ тривиальнымъ словамъ: я страдалъ морской болѣзнью. Теперь я боюсь, что чистыя линіи моихъ прекрасныхъ ногъ нѣсколько испортились вслѣдствіе болѣзни. Мнѣ все еще не по себѣ. Мои нервы дрожатъ, какъ натянутыя скрипичныя струны... Вы правы. Я первый, который на нѣжныхъ мозговыхъ струнахъ сталъ играть священные гимны подсолнечнику и оды нѣжному фарфору китайскаго чайника. Я былъ осыпанъ жасминомъ поэзіи съ дѣтства. Эоны лѣтъ тому назадъ, въ

¹⁾ Ib., стр. 30.

1878 году, студентомъ Оксфордскаго университета я выжалъ поэтическій виноградъ, собранный въ дѣтствѣ, и съ первыми мѣхами молодого вина пошелъ по тернистому пути“.

Великій писатель, поразившій міръ какъ своимъ талантомъ, такъ и несчастіями, тогда забавлялся; но явился цѣлый рядъ—большею частью, очень глупыхъ—подражателей, копировавшихъ эксцентричныя выходки Оскара Уайльда, какъ отвратительные ягу у Свифта копировали движенія Гулливера. Затѣмъ „эстетизмъ“ исчезъ. Въ настоящій моментъ мы видимъ новыя „прожилки“ на „природномъ кристаллѣ“ англійскаго общества. Въ Англіи представителей „новой прожилки“ называютъ теперь „intellectuals“ и сравниваютъ, хотя безъ достаточнаго основанія, съ французскими „intellectuels“ или даже съ русской интеллигенціей. „У насъ въ Англіи нарождаются умственные теченія, хорошо извѣстныя во Франціи и въ Россіи,—писали недавно въ передовой статьѣ Times.—Наше молодое поколѣніе свободно теперь отъ ненависти, питаемой англичанами къ отвлеченнымъ идеямъ. Точнѣе говоря, часть молодого поколѣнія увлекается теперь общими идеями, какъ отцы увлекались фактами. Англичанинъ всегда отличался необыкновенною смѣлостью, когда дѣло касалось только тѣла; но въ то же время эта отважность соединялась съ поразительною робостью ума. Англичанинъ, не думая о томъ, что можетъ случиться съ нимъ, смѣло отправлялся въ совершенно неизслѣдованную или въ неизвѣстную страну; но каждый разъ, при встрѣчѣ съ новой идеей, задается вопросомъ, куда она его можетъ привести“... Англичане очень гостепріимны, но не въ отношеніи новыхъ идей. Каждой новой мысли англичанинъ оказываетъ гостепріимство только послѣ того, когда узнаетъ доподлинно, откуда она, и каковы могутъ быть ея послѣдствія. „Морально наши поступки всегда безкорыстны, но въ интеллектуальномъ отношеніи мы матеріалисты“,—говоритъ „Times“.—Теперь intellectual измѣнилъ весь этотъ порядокъ. Intellectual смотритъ на новыя идеи, какъ на желанныхъ гостей, и находитъ особую прелесть въ поискахъ ума за приключеніями. Intellectual любитъ размышлять, не задаваясь каждый разъ вопросомъ: „каковы будутъ результаты примѣненія этой мысли на практикѣ“? Онъ вѣритъ въ идеи, и сила этой вѣры можетъ быть сравнена лишь съ его скептическимъ отношеніемъ къ учрежденіямъ. Въ глазахъ каждаго intellectual разрушеніе (теоретическое) не только не является чѣмъ-то неестественнымъ и непріятнымъ, а, напротивъ, представляетъ собою одну изъ радостей жизни. Теоретическимъ разрушеніемъ intellectual увлекается, какъ игрой. Онъ пытается смотрѣть на наше общество такъ, какъ будто бы явился съ другой планеты и какъ будто бы ему чужды всякія земныя связи и потребности. Intellectual старается увѣрить себя, что ему незнакомы „землей порожденные страсти“. Онъ пытается открыть нелѣпость и бессмысленность всего того, что намъ кажется вполне нормальнымъ и естественнымъ“.

„Times“ отмѣчаетъ, что intellectual неизмѣримо менѣе интересенъ, чѣмъ его собрать на континентѣ. „Англійскій intellectual стремится, прежде всего, поразить собесѣдника и скандализировать его, такъ какъ еще очень некультуренъ. Англійскій intellectual не столько увлекается новой идеей, сколько тѣмъ, что онъ думаетъ „не какъ всѣ“. Теоретически онъ „презираетъ“ общественное мнѣніе, но въ дѣйствительности даже очень интересуется имъ. Наши intellectuals слишкомъ страстные полемисты, чтобы дѣйствительно увлечься новою идеей ради нея только. Все стараніе intellectuals направлено на то, чтобы сразу „устрасить“ собесѣдника необыкновенною „смѣлостью“ мысли. Положеніе нѣсколько мѣняется, когда собесѣдникъ не „устрашается“ и, вмѣсто того, чтобы „негодовать“ и „ужасаться“, начинаетъ спокойно возражать. Англійскіе intellectuals напоминаютъ отчасти китайскихъ воиновъ недавняго прошлаго, которые надѣвали свирѣпыя, страшныя маски, чтобы сразу обратить непріятеля въ бѣгство. Войны эти не знали, что дѣлать, если непріятель не пугался и не обращался въ бѣгство“.

Живущіе теперь въ Англіи и наблюдающіе тотъ удивительный процессъ „революціи съ открытыми клапанами“, о которомъ я писалъ недавно, знаютъ, какъ совпадаютъ съ дѣйствительностью слова „Times'a“. Англійскій intellectual заботится, прежде всего, о томъ, чтобы „опшеломить“ Mrs. Grundy: онъ говоритъ поэтому прежде всего и больше всего о свободной любви, т. е. на тему страшно „новую“ и ужасно „революціонную“ для средняго класса. Третьяго дня, напр., весь цвѣтъ англійскихъ intellectuals собрался, чтобы посмотрѣть на „Графиню Мицци“ Шницлера. На обычную англійскую сцену такая пьеса не могла бы попасть, какъ слишкомъ фривольная, такъ что ее поставило Stage Society, т. е. „избранные для избранныхъ“. И во время антракта ко мнѣ подошелъ одинъ изъ директоровъ Stage Society, съ выраженіемъ чувства необыкновеннаго торжества на лицѣ. Такое выраженіе, вѣроятно, у воина, который, „побѣдивъ послѣ долгаго боя“, „мертвого топчетъ героя“.

— Mrs. Grundy had to-night a good „shocker“! (Грѣнди получила сегодня хорошій электрическій ударъ),—сказалъ мнѣ директоръ. Постановка „Графини Мицци“ была учтена, какъ ультра-революціонное выступленіе.

Затѣмъ англійскій intellectual непременно „футуристъ“ или „кубистъ“, потому что всѣ остальные, т. е. „филистимляне“, преклоняются предъ художественными авторитетами Альмы Тадемы, Бёрнъ-Джонса или Россети. На континентѣ интеллигентъ, конечно, поклонникъ политической свободы. Такъ какъ абсолютную необходимость гражданской свободы признаютъ въ Англіи всѣ „филистимляне“, всѣ „мѣщане“, то англійскій intellectual, чтобы не походить на всѣхъ, поклонникъ деспотизма и врагъ парламентаризма. Намъ, постороннимъ наблюдателямъ, забавно читать, какъ современное свѣ-

тило Хиллари Беллокъ въ „революціонномъ“ журналѣ „Eyewitness“, посвященномъ „новымъ идеямъ“, томится по властному деспоту. Въ то же время intellectual анархистъ и синдикалистъ. „Филистимляне“ стоятъ за науку. Изъ духа противорѣчія англійскій intellectual увлекается четвертымъ измѣреніемъ и „christian science“ „Филистимлянинъ“ доказываетъ свои взгляды, а англійскій intellectual предпочитаетъ афоризмы вродѣ слѣдующихъ: „Если вы спросите у потока, почему онъ шумитъ, то услышите въ отвѣтъ: „Злые камни рѣжутъ меня, какъ ножами. Я пою поэтому, чтобы не плакать“.—„Хотя солнце—богъ, но я люблю больше звѣзды. Если вы днемъ упадете въ глубокій колодезь, онъ улыбаются вамъ, тогда какъ солнце скрывается тогда“. (Въ значительной степени этотъ афоризмъ предвосхищенъ еще Козьмой Прутковымъ: „Если у тебя спрошено будетъ: что полезнѣе будетъ, солнце или мѣсяцъ?—отвѣтствуй: мѣсяцъ. Ибо солнце свѣтитъ днемъ, когда и безъ того свѣтло; а мѣсяцъ—ночью“).

„Еслибы Господь сказалъ мнѣ: „Ты можешь снова возвратиться на землю. Чѣмъ ты желаешь быть?“

„— Цвѣткомъ, заснувшимъ на зеркальной поверхности озера,— отвѣтилъ бы я.

„Но, еслибы Господь сказалъ: „Ты долженъ возвратиться къ дѣятельной жизни“, я отвѣтилъ бы: „Сотвори меня мельничнымъ колесомъ, пѣнящимъ потокъ“¹⁾.

Эстеты восьмидесятыхъ годовъ, передразнивавшіе школьничавшаго великаго писателя, которому не было тогда еще 25 лѣтъ, принадлежали къ высшему или къ выше-среднимъ классамъ. Intellectuals вышли изъ среднихъ классовъ, т. е. это опять вполнѣ обеспеченные люди, которыхъ „наслѣдье богатыхъ отцовъ освободило отъ тяжкихъ трудовъ“. Настоящій „интеллектуалистъ“ (слово „интеллигентъ“, какъ читатель видѣлъ, совершенно не подходитъ) долженъ, конечно, испытывать „la vieille volupté de rêver à la mort“ (извѣчное сладострастье мечтать о смерти); но въ то же время онъ никогда не забудетъ увѣдомить своего банкира продать или купить во время цѣнныя бумаги. Чеховскій адвокат Лысевичъ („Бабье царство“)—великій эстетъ и тонкій цѣнитель прекраснаго; но онъ не забываетъ напомнить Аннѣ Акимовнѣ, что его „оштрафовали“, т. е. оставили къ празднику безъ наградныхъ.

II.

Но „интеллектуалисты“ это только „прожилки“ на „природномъ кристаллѣ“ англійскаго общества. Мнѣ припоминается удивительная легенда, которую я вычиталъ въ старинномъ англійскомъ сборникѣ XVII вѣка. Передаю только общій духъ ея, но не форму. Въ

¹⁾ „Rhythm“, February, 1913. Стр. 409—410.

незапамятные времена тамъ, гдѣ теперь ирландская провинція Мѣнстеръ, шумѣло море, а на немъ лежали два острова, Зеленый и Черный. Населенію Зеленаго острова вѣдомы были всѣ страданія, всѣ заботы и всѣ горести нынѣшняго человѣчества. Тѣ „четыре женщины въ сѣромъ“, которыя такъ пугали Фауста, повидимому, постоянно жили на Зеленомъ островѣ. Кромѣ того, къ берегамъ его приплывали постоянно драконы и змѣи. Населеніе Зеленаго острова мучилось и мучило, болѣло, страдало, голодало, жило въ непрерывномъ страхѣ въ виду возможности появленія драконовъ; но въ одномъ отношеніи сильно отличалось отъ нынѣшняго человѣчества. Помните ли, какъ въ Фаустѣ „женщины въ сѣромъ“ видятъ приближеніе своего страшнаго брата?

Es ziehen die Wolken, es schwinden die Sterne!
Dahinten, dahinten! von ferne, von ferne,
Da kommt er, der Bruder, da kommt er, der... Tod.

(„Бѣгутъ облака, тускнѣютъ звѣзды. Позади, позади, тамъ, далеко, далеко, идетъ нашъ братъ-смерть“). Прибытія этого „брата“ населеніе Зеленаго острова никогда не видѣло: оно было безсмертно. „Братъ“ жилъ на сосѣднемъ, Черномъ островѣ, крутые, обрывистые берега котораго смутно вырисовывались въ погожій день, когда небо было совершенно ясно. Покуда жители Зеленаго острова были молоды, они страшились даже подойти къ тому берегу, съ котораго видны были очертанія Чернаго острова. Потомъ, когда проходили годы; когда плечи сгибались подъ тяжестью лѣтъ; когда сердце уставало отъ непрерывныхъ разочарованій, люди не только переставали бояться Чернаго острова, но начинали испытывать особенную радость въ созерцаніи его береговъ. Людей все больше и больше тянула та скованная тишина, которая, повидимому, была на Черномъ островѣ. И когда страданія людей нарастали; когда разочарованія накапливались съ годами, оставляя въ сердцѣ раны, которыя не только не заживали, но еще углублялись съ теченіемъ времени, — наиболѣе уставшіе принимались строить бригантину для поѣздки на Черный островъ. Не утомленные еще борьбой смотрѣли съ ужасомъ на этихъ людей, снаряжающихся въ плаваніе; но строящіе бригантину (тутъ были старики и молодые) становились все веселѣе и веселѣе по мѣрѣ того, какъ спорилась работа. И, когда бригантина бывала готова и оснащена, строившіе ее съ радостными пѣснями поднимали паруса и плыли къ обрывистымъ берегамъ Чернаго острова, на которые другіе (и сами корабельщики когда-то) страшились даже взглянуть.

И прошло много вѣковъ. И появились люди, утомленные съ молодыхъ лѣтъ уже борьбой съ страданіями и драконами. Они отказывались дѣлать что-нибудь, тяготились своимъ безсмертіемъ и цѣлые дни проводили на томъ берегу, съ котораго видны были скалы Чернаго острова. Здѣсь эти утрачившіеся страданій и жизни или сидѣли: молча, или складывали жалобныя пѣсни, содержаніе которыхъ было

„Горе всѣмъ живущимъ, горе!“ Любопытнѣ всего было то, что они страшились также сѣсть на бригантину, отправляющуюся время отъ времени къ берегамъ Чернаго острова. И видъ этихъ испуганныхъ, лѣнивыхъ, безвольныхъ людей, не спускавшихъ глазъ съ острова смерти и страшившихся его, людей, тянувшихъ: „горе намъ, горе!“—повергалъ остальное населеніе въ еще большее уныніе, чѣмъ страданіе, болѣзни и драконы.

И вотъ разъ въ осеннюю бурю у береговъ Зеленаго острова разбились два корабля, но всѣ люди на нихъ спаслись. То были рослые, сильные, мужественные жители сѣвера, бороздившіе моря въ поискахъ за счастливою страной. И черезъ нѣсколько недѣль, когда сѣверяне осмотрѣлись на островѣ, они созвали большой сходъ.

— Мы искали страну обѣтованную, земной рай, и нашли его,—началь вождь.

Жители Зеленаго острова разсмѣялись, потому что они вспомнили про драконовъ, про болѣзни и про страданія.

— Я знаю, что разсмѣшило васъ,—продолжалъ вождь—но вы не умѣете жить. Страданія Зеленаго острова устранимы. Осушите болота—и исчезнутъ болѣзни. Проведите оросительные каналы—и солончакъ превратится въ землю, пригодную для хлѣбопашества. Если принять еще мѣры, чтобы немногіе не захватывали того, что необходимо всѣмъ,—то не станетъ голода. Съ драконами и змѣями надо бороться, а не ждать, покуда они сами уплывутъ. Огонь и сталь—болѣе пригодныя средства въ данномъ случаѣ, чѣмъ рабское терпѣніе. И, когда всѣ преодолимыя бѣдствія будутъ уничтожены, Зеленый островъ превратится въ земной рай. Тогда къ поѣздкѣ на Черный островъ будутъ готовиться только преклонные старики, утомленные не страданіями, а радостями жизни. Самый веселый и самый роскошный пиръ утомляетъ въ концѣ концовъ. Когда губы нацѣловались; когда слухъ утомленъ музыкой; когда самая веселая шутка не вызываетъ уже смѣха; когда самыя вкусныя блюда не порождаютъ уже голода и нѣтъ охоты пить даже южныя вина, представляющіе собою сгущенные солнечные лучи,—тогда хочется покоя. Тогда люди будутъ стремиться на бригантину, отправляющуюся къ берегамъ Чернаго острова.

Такова сущность старинной легенды. Потерпѣвшіе крушеніе у береговъ Зеленаго острова и призывающіе къ энергичной борьбѣ съ преодолимыми препятствіями—типичные англичане; вѣра въ необходимость и целесообразность такой борьбы представляетъ, такъ сказать, основной цвѣтъ природнаго кристалла, о „прожилкахъ“ котораго я говорилъ уже.

Англійская новая драма, народившаяся за послѣднія семь-восемь лѣтъ, ничто иное, какъ анализъ преодолимыхъ препятствій и призывъ къ борьбѣ съ ними. Правда, новые драматурги констатируютъ серьезные дефекты въ самомъ общественномъ зданіи. Пе-

рестройки, которыя надо сдѣлать, грандіозны, но онѣ вполнѣ въ предѣлахъ человѣческой возможности.

Наиболѣе типичнымъ и самымъ крупнымъ драматургомъ этого рода является теперь Джонъ Голсуорти. Ему теперь сорокъ пять лѣтъ; пишетъ онъ лѣтъ пятнадцать, но его долго не признавали и не печатали. Только семь лѣтъ тому назадъ онъ нашелъ издателя для своего романа „The Man of Property“, который сразу далъ автору имя. За первымъ произведеніемъ послѣдовали другіе романы „The Country House“, „Fraternity“, „The Island Pharisees“ и „The Patrician“, поставившіе Голсуорти на ряду съ лучшими современными англійскими писателями. Но славу себѣ Голсуорти создалъ не романами, а драмами, начавшими появляться три года тому назадъ. Представленіе нѣкоторыхъ драмъ, какъ „Silver Box“ или „Justice“ составляло въ Англии событіе. Каждая пьеса Голсуорти вызываетъ много разговоровъ въ обществѣ и много статей въ печати, поэтому я собираюсь довольно подробно поговорить объ нихъ. Въ литературномъ отношеніи, т. е. по блеску, по оригинальности и по остроумію, пьесы Голсуорти уступаютъ драмамъ Бернарда Шоу, но впечатлѣніе, произведенное ими на англійскую публику, глубже и серьезнѣе. Голсуорти гораздо искреннѣе талантливаго и блестящаго автора „Man and Superman“. Голсуорти не можетъ сравниться по яркости языка съ Бернардомъ Шоу, но въ произведеніяхъ послѣдняго поэтический элементъ совершенно отсутствуетъ, тогда какъ у автора, съ которымъ я намѣренъ познакомить читателей, есть такіа изящныя пьесы, какъ „The Little Dream“ (см. дальше).

Бернардъ Шоу и Джонъ Голсуорти, во многихъ отношеніяхъ, единомышленники. Оба думаютъ, что перестройка общественнаго зданія должна быть выполнена по *одному* плану. Бернардъ Шоу доказываетъ, что всѣ *идеалы*, которыми живетъ нынѣшнее „приличное“ общество, изжиты; что теперь громкія слова прикрываютъ ложь, гниль и лицемеріе. Джонъ Голсуорти въ своихъ пьесахъ подходит къ *идоламъ* современнаго англійскаго общества. Мнѣ припоминается одно мѣсто въ трактатѣ Бэкона о достоинствѣ и усовершенствованіи наукъ. Великій философъ говоритъ тамъ о четырехъ группахъ идоловъ, которыя человѣчество должно непременно разрушить, если желаетъ достигнуть истиннаго знанія. Прежде всего это „идолы театра“, подъ которыми Бэконъ подразумѣваетъ предрасположеніе къ преклоненію передъ авторитетомъ традицій. Затѣмъ слѣдуютъ „идолы рынка“, подъ которыми подразумѣвается готовность принять слова за дѣло. Дальше Бэконъ говоритъ объ „идолахъ пещеры“, представляющихъ личные предразсудки, и, наконецъ, объ „идолахъ племени“, препятствующихъ дѣйствительному и серьезному изученію природы и заложенныхъ въ природѣ каждаго.

Бернардъ Шоу въ своихъ произведеніяхъ подходит къ ido-

ламъ „театра“ и „пещеры“. Голсуорти стремится кромѣ того, свергнуть еще „идоловъ рынка“.

Современное англійское общество — доказываетъ Голсуорти — создало себѣ рядъ идоловъ, служа которымъ, не злые въ сущности люди ломаютъ чужую жизнь и прибавляютъ новыя страданія къ тѣмъ, которыхъ уже и безъ того очень много. То, что захватчики и насильники для оправданія своихъ поступковъ придумали рядъ формулъ, будто бы имѣющихъ сверхъестественную санкцію, вполне понятно: лицемѣріе — основное качество человѣческаго характера, отличающее людей отъ другихъ животныхъ. Но совершенно непонятно, почему эти жестокія и несправедливыя формулы принимаются по лицевой стоимости людьми добрыми, сердечными и, во всякомъ случаѣ, не имѣющими ничего общаго съ захватчиками. Существованіе идоловъ вноситъ страшную ложь, глубокую несправедливость и разныя мѣрки для однихъ и тѣхъ же поступковъ. Такъ называемые „принципы“, которыми гордятся многіе, продиктованы всѣмъ, но только не убѣжденіями. Передъ нами, на примѣръ, богатый либераль и членъ парламента Джонъ Бортункъ (Silver Box). Онъ постоянно говоритъ о своихъ принципахъ и о томъ, какъ дороги интересы массы той партіи, къ которой онъ принадлежитъ. „Пустяки! нѣтъ у васъ никакихъ принциповъ, — восклицаетъ сердито жена. — Точнѣе, у васъ одинъ принципъ: страхъ передъ другими!“ Объ ужасахъ, творимыхъ во имя идоловъ и упомянутыхъ выше формулъ, мы читаемъ въ рядѣ драмъ.

III.

Передъ нами семья члена парламента, Джона Бортунка, того самаго, у котораго основной принципъ въ жизни — страхъ передъ тѣмъ, что скажутъ другіе. Бортункъ постоянно говоритъ о своихъ „либеральныхъ принципахъ“. Жена его не понимаетъ, какимъ образомъ представитель „лучшихъ классовъ“ можетъ стоять въ парламентѣ за кого-либо другого, кромѣ какъ за „своего“.

Бортункъ (хмурясь). — Для осуществленія какой-нибудь серьезной соціальной реформы необходимо, чтобы всѣ партіи были представлены въ парламентѣ.

Г-жа Бортункъ. — Терпѣнія нѣтъ слушать васъ, когда вы заводите рѣчь о реформахъ и о разныхъ тамъ глупыхъ соціальныхъ программахъ. Мы отлично знаемъ, чего рабочіе хотятъ. Они хотятъ забрать все себѣ. Всѣ эти социалисты и рабочіе представители въ парламентѣ страшные эгоисты. У нихъ нѣтъ понятія о патріотизмѣ, какъ у лучшихъ классовъ. Рабочіе просто хотятъ забрать себѣ то, что мы имѣемъ.

Бортункъ. — Хотятъ забрать, что мы имѣемъ? (*Смотритъ нѣкоторое время въ пространство*). Милая, о чемъ вы толкуете? (*Дѣла-*

етъ гримасу, какъ будто ему вырываютъ зубъ). Я не быю тревоги по каждому ничтожному поводу.

Г-жа Бортункъ.—Ужасный народъ! Подождите, они обложатъ новыми налогами наши сбереженія. Вотъ запомните мои слова: при первой возможности эти люди обложатъ рѣшительно все. Что имъ за дѣло до страны? Вы, либералы и консерваторы, совершенно одинаковы, такъ какъ не видите ни на дюймъ дальше своего носа. У васъ у всѣхъ нѣтъ совершенно воображенія. Ну, ни на грошъ его. Иначе вы всѣ соединились бы и растоптали бы почку, прежде чѣмъ она распустится.

Бортункъ.—Что за глупости! Какъ же это либералы могутъ соединиться съ консерваторами по вашему совѣту? Ваши слова показываютъ, какъ нелѣпо женщинамъ... гм! гм! Поймите же, что сущность либерализма заключается въ довѣріи къ народу.

Г-жа Бортункъ.—Вы, Джонъ, лучше ѣшьте... Разницы между либералами и консерваторами нѣтъ. У всѣхъ лучшихъ классовъ одни и тѣ же интересы, которые надо защищать, и одни и тѣ же принципы (*Совершенно спокойно*). Джонъ, вы сидите на вулканѣ¹⁾.

Мы видимъ дальше молодого сына Бортунка—Джэка, добродушнаго кутилу, не останавливающагося въ минуты безденежья передъ такими сомнительными операціями, какъ учетъ поддѣльнаго чека. Отецъ, конечно, говоритъ сыну о томъ, что онъ подрываетъ основы общества. „Ваше поведеніе рѣшительно ничѣмъ нельзя оправдать. Оно преступно,—ораторствуетъ мистеръ Бортункъ, послѣ того, какъ заплатилъ по поддѣльному чеку и замаялъ дѣло.—Поступи бѣдный клеркъ, какъ вы, ему не оказали бы снисхожденія. Вы нуждаетесь въ хорошемъ урокѣ. Вы и вамъ подобные (*горячится*) представляете собою общественную язву. Впередъ не просите моей помощи. Вы недостойны ея.

Джэкъ (Съ неожиданной яростью обращается къ отцу). Хорошо. Не нужно. Посмотримъ, что выйдетъ. Вы и теперь не помогли бы мнѣ, еслибы не боялись, что дѣло попадетъ въ газеты“.

Затѣмъ начинается совершенно спокойный семейный разговоръ.

Мы видимъ въ пьесѣ также тѣхъ, для кого придуманы формулы, имѣющія будто бы сверхъестественную санкцію. Прежде всего тутъ потерявшій работу грумъ Джонсъ, озлобленный нищетою, бесполезными поисками заработка и водкой. „Почему я съ утра до вечера долженъ вертѣться въ поискахъ за работой, какъ бѣлка въ колесѣ,—злобно говоритъ Джонсъ женѣ.—Съ утра до вечера я обхожу мастерскія и торговые дома. „Дайте какую-нибудь работу, сэръ. Возьмите меня. У меня жена и трое дѣтей“. Чортъ! Мнѣ постыло все это! Лучше ужъ буду лежать здѣсь, покуда издохну. Являются „наши“: „Джонсъ, присоединитесь къ демонстраціи. Идемъ! Вы будете носить флагъ, послушаете, что лопо-

¹⁾ „The Silver Box“, Act I, Sc. III.

четь краснорожій пузанъ о нашихъ правахъ, и вернетесь потомъ съ пустымъ брюхомъ домой“. Есть бараны, которымъ все это правится! Когда я хожу съ утра до вечера, выпрашивая работу, и когда вижу, какъ всѣ смотрятъ на меня, у меня въ груди какъ будто змѣиное гнѣздо. Я не хочу милостыни, подавитесь вы всѣ! Человѣкъ хочетъ работать, а ему не даютъ. (*Повернулся къ стѣнѣ*). Вы такъ смиренны! Вы не понимаете, что во мнѣ происходитъ!“ Жена Джонса дѣйствительно, „смирная“, ни разу не позволившая себѣ усомниться въ справедливости „формуль“, на которыхъ „держится общество“ ¹⁾.

Молодой гуляка Джэкъ, возвращаясь пьяный домой, не можетъ найти замочную скважину. Джонсъ, жена котораго служитъ судомойкой въ домѣ Бортунка, помогаетъ Джэку войти въ спящій домъ. Джэкъ въ пьяномъ видѣ, чтобы „проучить“ проститутку, у которой только что былъ, унесъ ея кошелекъ съ семью золотыми. Джэкъ угощаетъ Джонса, который и безъ того уже выпилъ, водкой и засыпаетъ тутъ же на софѣ. Джонсъ, какъ объясняетъ потомъ женѣ, „изъ ненависти“ уносить кошелекъ, отнятый Джэкомъ у проститутки, и лежащій на столѣ серебряный портсигаръ съ вензелемъ. На другой день пропажа портсигара замѣчена и подозрѣніе падаетъ на судомойку. Лицо мистера Бортунка принимаетъ глубоко-мысленное и довольное выраженіе, когда онъ собираетъ предварительныя справки относительно пропажи. Дѣло идетъ объ открытіи вора, т. е. нарушителя принципа собственности и врага цивилизованнаго общества. Каждый гражданинъ въ данномъ случаѣ долженъ помочь правосудію. Съ какимъ наслажденіемъ мистеръ Бортункъ говоритъ женѣ: „Я сейчасъ допрошу Mrs. Джонсъ (судомойку)! Предоставьте ужъ это дѣло мнѣ. И помните, что никто не долженъ считаться виновнымъ, покуда его вина не доказана“. Дѣло передается для разслѣдованія полиціи, которая производитъ обыскъ въ квартирѣ Джонса и находитъ портсигаръ. Арестуютъ Mrs. Джонсъ, а потомъ и ея мужа за то, что тотъ съ кулаками набросился на полицейскихъ сыщиковъ, не желавшихъ освободить жену, когда Джонсъ объявляетъ, что взялъ портсигаръ.

Но вотъ дѣло крайне осложняется для мистера Бортунка. Онъ узнаетъ, во-первыхъ, исторію кошелька съ семью золотыми, а, во-вторыхъ, то, что Джонса впустилъ въ домъ пьяный Джэкъ. Благоговѣніе передъ „священными принципами“ моментально вытѣсняется страхомъ передъ тѣмъ, что дѣло попадетъ въ газеты. Теперь у мистера Бортунка одна забота: какъ бы замаять дѣло съ портсигаромъ или, во всякомъ случаѣ, направить его такъ, чтобы на судѣ не выплылъ кошелекъ, отнятый Джэкомъ у проститутки (мистеръ Бортункъ возвратилъ ей семь золотыхъ). За все берется искусный адвокатъ Роперъ, въ совершенствѣ изучившій, какъ лавировать между подводными скалами правосудія. Послѣдній и са-

1) „The Silver Box“, Act II, Sc. I.

мый сильный актъ пьесы происходитъ въ камерѣ полицейскаго суда. Сперва разбираются другія „маленькія дѣла“, составляющія обыденное явленіе въ камерѣ магистрата. Полисменъ приводитъ двухъ маленькихъ бездомныхъ дѣвочекъ Терезу и Модъ Лайвенсъ, которыхъ полисменъ нашелъ ночью у дверей кабака. Мать бросила домъ, отецъ — безъ работы и ночуетъ въ ночлежкѣ. Вызываютъ перваго свидѣтеля, отца дѣтей, не молодого уже, смирнаго рабочаго.

— Почему вы не держите дѣтей дома? Какъ вы позволяете имъ ночью оставаться на улицѣ?—спрашиваетъ магистратъ.

Лайвенсъ. — У меня нѣтъ квартиры, ваша милость. Я живу случайнымъ заработкомъ. У меня нѣтъ работы и нѣтъ денегъ, чтобы кормить дѣтей.

Магистратъ.—Какъ же это такъ?

Лайвенсъ. (*Стыдится огласть показаніе*).—Моя жена ушла, заложивъ сперва все.

Магистратъ.—Почему вы позволили ей?

Лайвенсъ. — Я не могъ ее остановить, ваша милость. Она сдѣлала это, когда я искалъ работу.

Магистратъ.—Вы, быть можетъ, плохо обращались съ ней?

Лайвенсъ. (*Поспѣшно*). — Я никогда не тронулъ ее пальцемъ, ваша милость.

Магистратъ. — Что же? Она пьетъ?

Лайвенсъ.—Да, ваша милость.

Магистратъ.—Вела ли она безнравственную жизнь?

Лайвенсъ (*Чуть слышно*).—Да, ваша милость.

Магистратъ.—Хорошо... Такъ вы говорите, жена оставила васъ и бросила дѣтей. Что вы можете сдѣлать для нихъ? На видъ, вы здоровый человѣкъ.

Лайвенсъ.—Такъ оно и есть, ваша милость. Я хочу работать, но ничего не могу достать.

Магистратъ.—А вы пробовали?

Лайвенсъ.—Все, ваша милость. Будь только работа, я сдѣлалъ бы все для дѣтей. Но что я могу сдѣлать, ваша милость?.. Я сильный человѣкъ; но у меня былъ тифъ, и послѣ этого волосы посѣдѣли. Меня поэтому не хотятъ брать теперь.

Мистеръ Бортункъ, присутствующій въ камерѣ, находитъ нужнымъ сказать своему адвокату нѣсколько стереотипныхъ фразъ о важности социальныхъ реформъ. Адвокатъ Роперъ, памятуя, вѣроятно, что человѣку, явившемуся въ судъ съ спеціальной цѣлью выгородить сына, какъ-то не подходитъ говорить о социальныхъ реформахъ, отвѣчаетъ разсѣянно. И вотъ начинается разборъ дѣла Джонса. Оно излагается такъ, что Джэкъ забылъ въ наружныхъ дверяхъ ключъ. Этимъ воспользовался Джонсъ, вошелъ въ комнату и унесъ портсигаръ. О кошелькѣ ничего не упоминается. Каждый отвѣтъ Джэка, вызваннаго свидѣтелемъ, направляетъ ловкій, многоопытный адвокатъ.

У Джонса нѣтъ защитника, и каждый разъ, когда подсудимый желаетъ выяснитъ, что ему кажется крайне важнымъ, оказывается, что это не существенно и не относится къ дѣлу. У богини правосудія дѣйствительно завязаны глаза и въ рукахъ ея дѣйствительно вѣсы, какъ изображаютъ на рисункахъ, но поэтому именно богиня не замѣчаетъ, какъ ловкія руки надавливаютъ незамѣтно на одно плечо коромысла... Для Джонса основной вопросъ — дѣло о кошелкѣ. Портсигаръ онъ взялъ только „изъ ненависти“, не желая воспользоваться и не имѣя возможности воспользоваться имъ. Такой портсигаръ съ вензелемъ нельзя заложить. „Я собирался бросить портсигаръ въ сточную канаву“, — объясняетъ Джонсъ. Что касается семи золотыхъ, то Джонсъ дѣйствительно воспользовался ими, но онъ былъ пьянъ тогда. Этотъ же кошелекъ съ семью золотыми въ пьяномъ видѣ унесъ Джэкъ. И Джонсъ убѣждается на судѣ, что его незамѣтно отталкиваютъ отъ основного вопроса, какъ только онъ, подсудимый, подходитъ къ нему. Джэкъ даетъ свидѣтельскія показанія.

Джонсъ (Неистово).—Я сдѣлалъ не больше, чѣмъ онъ. Я бѣдный человекъ и не имѣю ни денегъ, ни заступниковъ. А онъ богачъ, поэтому можетъ сдѣлать, что захочетъ.

Магистратъ.—Тихе, тихе! Все это вамъ не поможетъ. Надо успокоиться. Вы признаете, что взяли портсигаръ? Почему вы это сдѣлали? Вамъ нужны были деньги?

Джонсъ.—Мнѣ всегда нужны деньги.

Магистратъ.—И вы поэтому взяли портсигаръ?

Джонсъ.—Нѣтъ.

Магистратъ. (Обращаясь къ полицейскому чиновнику, арестовавшему Джонса).—Нашли ли вы что-нибудь у обвиняемаго?

Чиновникъ.—Да, ваша милость. Семь золотыхъ и этотъ красный кошелекъ.

(*Мистеръ Бортункъ срывается съ мѣста, но сейчасъ же снова садится. Магистратъ разсматриваетъ кошелекъ.*)

Магистратъ.—Гм! У меня нѣтъ никакихъ заявленій относительно этого кошелка. Откуда у васъ эти деньги?

Джонсъ (послѣ долгой паузы).—Я не хочу сказать.

Магистратъ.—Но если у васъ были деньги, то что васъ побудило взять портсигаръ?

Джонсъ.—Я взялъ его изъ ненависти.

Магистратъ. (Слегка подсвистываетъ). Изъ ненависти? Вотъ какъ? Неужели вы думаете, что имѣете право ходить по городу и брать вещи „изъ ненависти?“

Джонсъ.—Еслибы вы вели такую жизнь, какъ я. Еслибы вы тоже бродили по городу въ поискахъ за работой...

Магистратъ.—Да, да. Знаю. Вы считаете все дозволеннымъ, потому что у васъ нѣтъ работы. *Джонсъ.* (Указываетъ на Джэка).—Спросите же его, что заставило его взять... *Реперъ.* (Спокойно).—

Надобны ли вашей милости еще свидѣтельскія показанія мистера Джона Бортунка? (т. е. Джэка). *Магистратъ. (Иронически)*—Пожалуй, нѣтъ. Отъ него врядъ ли можно узнать что-нибудь. (*Джэкъ оставляетъ мѣсто для свидѣтелей и, повѣсивъ голову, садится въ камерѣ рядомъ съ отцомъ*). Джонсъ.—Вы спросите у него, почему онъ взялъ у той лэди... (*Полисменъ, сидящій рядомъ съ подсудимымъ, останавливаетъ его*). Черезъ нѣкоторое время, послѣ допроса Mrs. Джонсъ, которую магистратъ освободилъ немедленно, Джонсъ еще разъ повторяетъ: „Я сдѣлалъ не хуже, чѣмъ онъ. Вы мнѣ скажите, что будетъ ему“.

Но подсудимому снова напоминаютъ, чтобы онъ не уклонялся въ сторону. Потомъ адвокатъ Роперъ заявляетъ, что пострадавшій, принимая во вниманіе бѣдственное положеніе подсудимаго, не настаиваетъ на преслѣдованіи его за похищеніе портсигара. „Быть можетъ, ваша милость поэтому оставитъ только ту часть обвиненія, гдѣ говорится объ избіеніи полисмена“. Джонсъ.—Я не хочу, чтобы дѣло заминали. Разбирайте его честно. Дайте мнѣ мои права. *Магистратъ. (Стучитъ по пюпитру)*.—Вы сказали все, что вамъ надобно. Теперь сидите спокойно и слушайте (*Совѣщается съ секретаремъ*). Женщину можно освободить окончательно (*Ласково говоритъ Mrs. Джонсъ, которая неподвижно стоитъ, скрестивъ руки*). Я знаю, какой ударъ для васъ поведеніе вашего мужа. Оно отразится тяжело не на немъ, а на васъ. Васъ дважды вызывали сюда. Вы потеряли работу. (*Искоса взглянулъ на Джонса*). И такъ всегда бываетъ. Ну, вы свободны. Мнѣ очень жаль, что васъ вообще потревожили. *Mrs. Джонсъ. (Кротко)*.—Спасибо, ваша милость (*Ушла, потомъ оглянулась на Джонса и молча заломила руки*).

Магистратъ затѣмъ спрашиваетъ у подсудимаго, желаетъ ли онъ, чтобы дѣло кончилось теперь, или же требуетъ суда присяжныхъ. „Не хочу присяжныхъ“—угрюмо отвѣчаетъ подсудимый. Его отправляютъ на мѣсяцъ въ тюрьму. Мягкость наказанія обуславливается тѣмъ, что это первое преступленіе обвиняемаго. Джонсъ. (*Кричитъ*).—„И это называется правосудіемъ! Что же сдѣлаютъ съ другимъ? Онъ напился, какъ я. Онъ взялъ кошелекъ. Онъ взялъ кошелекъ, но такъ какъ имѣетъ деньги, то выкрутился. Правосудіе!“—Джонса уводятъ. Пьеса кончается такъ. Смиренная, забытая Mrs. Джонсъ, когда мимо нея проходитъ мистеръ Бортункъ, больше взглядомъ, чѣмъ словами, проситъ опять работу, которую потеряла. „Бортункъ колеблется, но затѣмъ страхъ беретъ верхъ; онъ дѣлаетъ отрицательный жестъ и уходитъ изъ суда“.

Вотъ та пьеса Голсуорти, о которой особенно много говорили здѣсь. Читателямъ она покажется, вѣроятно, нѣсколько примитивной по конструкціи (на сценѣ она производитъ очень сильное впечатлѣніе), но это едва ли не самая типичная англійская драма послѣдняго времени. „Типично англійская“, это—конкретность,

автора, его увѣренность, что несчастья въ жизни зависать не отъ рока, не отъ силъ, лежащихъ внѣ контроля, а отъ условій, созданныхъ самимъ же обществомъ. Правда, всѣ свая, на которыхъ держится современное общество, подгнили, а частичныя починки только ухудшаютъ дѣло; но при энергіи, при желаніи и при пониманіи серьезности положенія можно замѣнить *все* свая новыми.

IV.

Тому Молоху, котораго люди называютъ правосудіемъ, Голсуорти посвящаетъ драму „Justice“, поставленную впервые въ 1910 году. „Законъ—величественное зданіе, дающее намъ всѣмъ пріютъ. Каждый камень его крѣпко связанъ съ другимъ“,—говоритъ судья. „Законъ печется объ интересахъ общества и охраняетъ ихъ“,—говоритъ другое дѣйствующее лицо. „Я слуга закона“—заявляетъ еще дѣйствующее лицо, объясняя свой поступокъ. И Молохъ этотъ безпощаденъ, когда дѣло идетъ о защитѣ собственности. Идолъ требуетъ, чтобы за мимолетную слабость дробилась, какъ молотомъ, жизнь; потому что, дѣйствительно, „кирпичи зданія“ крѣпко связаны. Если вынуть одинъ, распадется все зданіе. Молохъ выработалъ свою логику: „Fiat justitia, ruat coelum“. Въ нѣкоторыхъ странахъ, при извѣстномъ стеченіи обстоятельствъ наблюдается даже буквальное примѣненіе старинной формулы: „iudex damnatur cum nocens absolvitur“, оправданіе виновнаго—осужденіе судьи. Въ данномъ случаѣ, впрочемъ, дѣло идетъ о подсудимыхъ, посягающихъ не на собственность, а на политическую систему.

Чтобы спасти молодую замужнюю женщину, Руэ Хонейуилъ, отъ семейнаго ада, молодой, слабовольный клеркъ Вильямъ Фолдеръ, любящій Руэ, поддѣлываетъ чекъ своего хозяина-адвоката. Женщина прибѣжала къ Фолдеру, вырвавшись изъ рукъ грубаго пьянаго мужа, желавшаго задушить ее. Руэ въ отчаяніи заявляетъ, что у нея только одинъ выходъ—самоубійство. И, когда Фолдеръ, потрясенный происшествіемъ, является въ контору, хозяинъ посылаетъ его въ банкъ размѣнять чекъ на девять фунтовъ. Клеркъ прибавляетъ въ текстъ чека двѣ буквы (вмѣсто „nine“, т. е. девять, „ninety“, т. е. девяносто) и получаетъ девяносто фунтовъ. Съ этими деньгами Фолдеръ хочетъ уѣхать вмѣстѣ съ Руэю и ея дѣтьми въ Южную Америку, но подлогъ замѣченъ адвокатомъ. Нѣкоторое время клеркъ отрицаетъ вину, но адвокатъ изобличаетъ его. „Будете ли вы, Фолдеръ, и теперь еще отрицать, что поддѣляли какъ чекъ, такъ и корешокъ его?“ *Фолдеръ*.—Нѣтъ, сэръ. Нѣтъ, мистеръ Хау. Я это сдѣлалъ. *Коксонъ* ¹⁾.—Боже, Боже! Что вы сдѣлали? *Фолдеръ*.—Мнѣ необходимы были деньги. Я не зналъ, что дѣлалъ. *Коксонъ*.—Какъ вамъ могла придти въ голову такая

¹⁾ Пожилой клеркъ, защищавшій все воема Фолдера.
Апрѣль. Отдѣлъ II.

мысль? *Фолдеръ.* — Не знаю. То была минута безумія. *Джэмсъ* ¹⁾. — Минута эта однако долго продолжалась, *Фолдеръ.* (*Стучитъ пальцами по корешкамъ чековой книжки*). По крайней мѣрѣ, четыре дня. *Фолдеръ.* — Клянусь вамъ, сэръ, я не сознавалъ тогда, что дѣлалъ. Сознанье явилось потомъ. У меня не хватило смѣлости признаться. Простите, сэръ! Я возвращу всѣ деньги. — „Что дѣлать?“ — спрашиваетъ потомъ партнеръ *Джэмса* — *Уолтеръ.* „Передать дѣло суду“, — спокойно отвѣчаетъ *Джэмсъ.*

Уолтеръ. — То несомнѣнно было минутное искушеніе. У *Фолдера* не было потомъ времени исправить преступленіе. *Джэмсъ.* — Человѣкъ не поддается такъ легко минутному искушенію, если его умъ чистъ. Клеркъ этотъ — негодяй. У него глаза человѣка, приходящаго въ волненіе при видѣ денегъ. *Уолтеръ* (*Холодно*). — Раньше мы этого не замѣчали. *Джэмсъ.* (*Пропустилъ замѣчаніе мимо ушей*). — Я такихъ молодцовъ перевидалъ на вѣку. Съ ними ничего другого не остается дѣлать, какъ поставить ихъ къ невозможности причинить вредъ. Всѣ они съ червоточиной. *Уолтеръ.* — Клеркъ пойдетъ на каторгу. *Коксонъ.* — Тюрьма скверное дѣло. *Джэмсъ* (*Колеблетсѣ*). — Подожительно не вижу возможности спасти его. Въ конторѣ мы его больше держать не можемъ! Честность это — условіе sine qua non... Мы не имѣемъ также права допустить, чтобы другіе, не знающіе поведенія *Фолдера*, приняли его на службу. Надо имѣть въ виду интересы общества ²⁾.

И „интересы общества“ берутъ верхъ: *Джэмсъ* посылаетъ за полиціей. Клеркъ арестованъ и преданъ суду. Въ „Silver Box“ одно дѣйствіе происходитъ въ камерѣ магистрата, а въ „Justice“ — въ залѣ суда. Въ Англіи судебная процедура отличается отъ русской: адвокатъ „открываетъ дѣло“ и набрасываетъ общую картину его раньше, чѣмъ начинается допросъ свидѣтелей. Последніе даютъ свои показанія тоже не такъ, какъ у насъ. Въ Россіи судъ предлагаетъ свидѣтелю „разсказать все, что ему извѣстно по данному дѣлу“. Въ Англіи свидѣтель отвѣчаетъ только на рядъ вопросовъ, предложенныхъ ему защитникомъ и представителемъ интересовъ короны. „Я хочу показать вамъ, — говоритъ защитникъ *Фолдера*, открывая дѣло, — что подсудимый учинилъ подлогъ въ моментъ абераціи, равной почти временному помѣшательству, явившемуся результатомъ несчастій въ личной жизни. Я вызову свидѣтельницей женщину, которая разскажетъ вамъ объ обстоятельствахъ, заставившихъ подсудимаго совершить подлогъ. Она посвятитъ васъ въ свою горестную жизнь. Женщина эта крайне несчастна въ семейной жизни. Мужъ бьетъ ее и разъ покушался даже задушить ее. Я не стану, конечно, утверждать, что молодой человѣкъ имѣлъ право полюбить замужнюю или что его обязан-

¹⁾ Хозяинъ.

²⁾ „Justice“, Act I.

ностью было спасать ее отъ звѣроподобнаго супруга. Я не говорю ничего подобнаго. Но мы всѣ знаемъ, какое вліяніе имѣетъ чувство. И когда вы, господа присяжные, будете выслушивать показанія этой женщины, я прошу васъ помнить, что она не имѣла никакой возможности избавиться отъ свирѣпаго мужа. Одно жестокое обращеніе мужа не даетъ еще женѣ возможности получить разводъ. Требуется еще другой поводъ, а послѣдняго не было... Что женщинѣ оставалось дѣлать? Она должна была или жить съ мужемъ, пребывая въ вѣчномъ страхѣ за жизнь, или обратиться къ суду за правомъ на развѣздъ (*separation*). Но послѣдняя мѣра врядъ-ли дала бы женщинѣ достаточную защиту отъ такого мужа. Наконецъ, развѣздъ принудилъ бы свидѣтельницу пойти или въ рабочій домъ, или на улицу, потому что женщинѣ, не знающей никакого ремесла и не имѣющей профессіи, очень трудно найти заработокъ для себя и дѣтей.

Судья. — Вы значительно уклонились въ сторону, мистеръ Фромъ. *Защитникъ.* — Я сейчасъ подойду прямо къ цѣли, милордъ. *Судья.* — Будемъ надѣяться. *Защитникъ.* — Свидѣтельница покажетъ, что всѣ свои надежды на освобожденіе она возложила на подсудимаго. Она хотѣла отправиться съ нимъ въ далекую страну, чтобъ тамъ начать жизнь съ начала. То было, конечно, отчаянное и, какъ скажетъ, безъ сомнѣнія, мой другъ мистеръ Клэверъ ¹⁾, безнравственное рѣшеніе; но и свидѣтельница, и подсудимый остановились именно на этомъ планѣ... Для осуществленія рѣшенія необходимы были деньги, а ихъ не было" ²⁾. Допрашиваютъ потомъ Руеъ. *Защитникъ.* — Каковъ характеръ вашихъ отношеній къ подсудимому? *Рuaeъ.* — Мы друзья. *Судья.* — Друзья? *Рuaeъ (Просто).* — Возлюбленные, сэръ. *Судья (Строго).* — Въ какомъ смыслѣ вы употребили это слово? *Рuaeъ.* — Мы любимъ другъ друга. *Судья.* — Да, но... *Рuaeъ (Качая головой).* Нѣтъ, милордъ, пока еще нѣтъ. *Судья.* — Еще нѣтъ? Гм! Хорошо. Свидѣтельница показываетъ, что на подсудимаго произвелъ потрясающее впечатлѣніе разсказъ ея про то, какъ мужъ хотѣлъ ее убить. Непосредственно послѣ этого Фолдеръ поддѣлалъ чекъ. Служители Молоха не знаютъ человѣческихъ страстей или, во всякомъ случаѣ, не показываютъ вида, что знаютъ ихъ. *Защитникъ.* — Какъ долго вы знали свидѣтельницу? *Фолдеръ.* — Шесть мѣсяцевъ. *Защитникъ.* — Правильно ли изложены свидѣтельницей отношенія, существовавшія между вами и ею? *Фолдеръ.* — Правильно. *Защитникъ.* — Вы сильно привязались къ ней? *Фолдеръ.* — Да. *Судья.* — Хотя вы знали, что она замужняя женщина? *Фолдеръ.* — Я не былъ въ силахъ остановить себя, милордъ. *Судья.* — Не были въ силахъ? (*Слегка пожимаетъ плечами*). Подсудимый потомъ

¹⁾ Представитель интересовъ короны, т. е. обвинитель.

²⁾ „Justice“, Act II.

объясняетъ, что хотѣлъ изъ Южной Америки написать хозяину и выплатить всѣ деньги.

— Джентльмены,—говоритъ защитникъ въ послѣднемъ обращеніи къ присяжнымъ—ничего нѣтъ болѣе трагическаго въ жизни, какъ полная невозможность измѣнить то, что уже сдѣлано. Подъ впечатлѣніемъ момента подсудимый поддѣлалъ и размѣнялъ чекъ. Все это продолжалось четыре минуты, и за этотъ короткій промежутокъ времени молодой человѣкъ проскользнулъ черезъ полуоткрытыя двери въ ту просторную клѣтку, изъ которой не ускользаютъ; въ ту клѣтку, которой имя законъ. Защитникъ указываетъ, что ежедневно десятки такихъ молодыхъ людей приносятся въ жертву, вслѣдствіе отсутствія гуманности у остальныхъ. Люди не хотятъ видѣть, что передъ ними не преступникъ, а больной. „Правосудіе такая машина, которая продолжаетъ двигаться, разь ее толкнули. Неужели машина должна раздробить этого молодого человѣка за одинъ поступокъ, который, въ худшемъ случаѣ, надо объяснить слабостью? Неужели онъ станетъ однимъ изъ экипажа того мрачнаго корабля, которому названіе тюрьма?“ Адвокатъ проситъ человѣчнаго отношенія къ подсудимому. Представитель интересовъ короны, отвѣчая защитнику, указываетъ, что фактъ подлога не отрицается. Подсудимый не заслуживаетъ даже снисхожденія, потому что вмѣсто прямого сознанія онъ всячески старался вывернуться. Преступленіе, учиненное подсудимымъ,—одно изъ наиболѣе серьезныхъ дѣяній, извѣстныхъ закону. Присяжные должны имѣть прежде всего въ виду интересы общества.

Послѣ короткаго заключенія присяжные выносятъ обвинительный приговоръ. Важный и серьезный судья долго говоритъ объ обязанности передъ обществомъ и о величіи того зданія, которому имя законъ, передъ тѣмъ, какъ приговариваетъ подсудимаго къ трехгодичному заключенію въ каторжной тюрьмѣ. Третій актъ изображаетъ намъ процессъ „искупленія“. На сценѣ—внутренность каторжной тюрьмы, и съ момента поднятія занавѣса у зрителей постепенно нарастаетъ рядъ вопросовъ: „Соотвѣтствуетъ ли то, что сдѣлали заключенные обществу, тому, что общество дѣлаетъ имъ? И. если не соотвѣтствуетъ, то на чемъ основывается право общества дробить человѣческія жизни?“.

Передъ нами гуманная и усовершенствованная тюрьма, имѣющая цѣлью сокрушить только злую волю преступника. Вмѣсто этого тюрьма дробитъ всякую волю, вытраиваетъ индивидуальность и превращаетъ людей въ неврастениковъ, не обладающихъ никакими задерживающими центрами. Эти безвольные люди роковымъ образомъ обречены на то, чтобы снова попасть въ тюрьму, какъ только ихъ освободятъ, такъ какъ у нихъ уже нѣтъ характера для борьбы и нѣтъ „силы сопротивленія“ малѣйшимъ искушеніямъ. Чарльзъ Ридъ когда-то въ своемъ романѣ „Never too late to mend it“ возставалъ противъ суровыхъ условій заключенія пятьдесятъ лѣтъ

тому назадъ. Романистъ требовалъ, чтобы тюрьма была преобразована. Джонъ Голсуорти убѣжденъ, что слова „усовершенствованная тюрьма“ нелѣпость. Есть страшная аномалія въ томъ строѣ, который заставляетъ вообще людей строить клѣтки для себя подобныхъ. Какъ бы эти клѣтки ни были „усовершенствованы“, аномалія остается. Вопросъ не въ томъ, чтобы создать усовершенствованную клѣтку, а въ томъ, чтобы измѣненіе строя сдѣлало вообще всякія клѣтки излишними... Третій актъ драмы заканчивается необыкновенно сильной сценой, свидѣтельствующей о томъ, до какой степени парализована воля въ тюрьмѣ. Въ одной камерѣ каторжникъ О'Клери начинаетъ стучать въ двери. И тотчасъ же по громадному корридору прокатывается какъ громадная волна. Постепенно заключенный каждой камеры начинаетъ стучать, не зная почему. Самые смирные каторжники захвачены, какъ и самые буйные.

Полицейскій надзоръ, тоже дѣйствуя въ интересахъ общества доканчиваетъ дѣло всей системы. Теоретически англійская система наказанія проникнута человѣколюбіемъ. Преступникъ долженъ искупать свою вину опредѣленнымъ числомъ лѣтъ, проведенныхъ въ тюрьмѣ. Послѣ отбытія срока, теоретически, всѣ счеты между обществомъ и преступникомъ покрыты. Освобожденный является снова полноправнымъ членомъ общества. Тюрьма даетъ ему то, что англичане называютъ „a start“: его выпускаютъ съ небольшими деньгами; каторжникъ одѣтъ въ новое платье, какъ всѣ. Теоретически, никто не долженъ знать прошлаго человѣка, поплатившагося за свои грѣхи. Если этотъ человѣкъ совершитъ новое преступленіе, то о томъ, что онъ рецидивистъ, присяжные должны узнать только послѣ того, какъ ужъ приговоръ вынесенъ. Въ современной англійской тюрьмѣ каторжникъ, если не знаетъ ремесла, научается ему. Теоретически, гуманная система даетъ полную возможность освобожденному каторжнику „перевернуть новый листъ въ своей жизни“. На практикѣ получается иное. Усовершенствованная тюрьма, построенная на принципѣ сокрушенія злой воли преступника, вытраиваетъ въ немъ всякую волю. Затѣмъ полицейскій надзоръ доканчиваетъ остальное. Въ Англіи мы имѣемъ досрочное освобожденіе каторжниковъ. Освобожденный, покуда не истечетъ срокъ наказанія, находится подъ полицейскимъ надзоромъ. И появленіе сыщика, справляющагося объ освобожденномъ, сразу раскрываетъ его тайну. Хозяева обыкновенно немедленно рассчитываютъ каторжника. И человѣкъ, принявшій твердое рѣшеніе жить честно, лишенъ возможности найти работу. Полицейскій надзоръ надъ освобожденными досрочно, организованный въ интересахъ общества, создаетъ рецидивистовъ. Ticket of leave man, т. е. освобожденный досрочно, потерявъ нѣсколько мѣстъ, пробуетъ переѣхать въ другой городъ, чтобы, скрывшись отъ сыщиковъ, начать новую жизнь. Такое уклоненіе отъ надзора является

уже преступленіемъ, за которое освобожденнаго снова отправляютъ въ тюрьму до полного истеченія срока наказанія. Такъ случается съ Фолдеромъ, послѣ того, какъ его освобождаютъ. Когда клерка хотятъ арестовать за уклоненіе отъ полицейскаго надзора, Фолдеръ въ припадкѣ отчаянія выбрасывается изъ окна на мостовую.

V.

Самая искренняя попытка внести какую-нибудь частичную поправку въ „зданіе на подгнившихъ сваяхъ“ или поведетъ къ неудачѣ, или превратится въ карикатуру, — говоритъ Джонъ Голсуорти. Передъ нами пьеса „The Pigeon“, которую авторъ называетъ фантазіей. Поставлена она была въ январѣ 1912 года. „Pigeon“ это — пожилой, необыкновенно добрый художникъ Кристоферъ Уэллингъ, раздающій всѣ свои деньги на улицѣ. Если же у него въ карманахъ нѣтъ денегъ, то онъ вручаетъ оборванцамъ, которые тронули его, свою карточку и проситъ зайти. Въ мастерскую Уэллинга, къ великому отчаянію его дочери Эннъ, постоянно является необыкновенно пестрая и разношерстная коллекція бродягъ. Во всѣхъ пьесахъ Голсуорти типы очерчены очень сильно и умѣло. Бернардъ Шоу, какъ я сказалъ, обладаетъ большимъ литературнымъ талантомъ, чѣмъ Голсуорти; но авторъ пьесы „Man and Superman“ по преимуществу публицистъ. Читатель запоминаетъ блестящіе парадоксы и остроумныя сентенціи; но въ его памяти не остаются лица, произнесшія эти парадоксы. Точнѣе, всѣ дѣйствующія лица сливаются въ одно: въ индивидуальность Бернарда Шоу. Голсуорти въ своихъ социальныхъ драмахъ даетъ рядъ типовъ необыкновенно четкой и выпуклой лѣпки: супруги Бортункъ, сынъ ихъ Джэкъ, Джонсъ, Роперъ, Фолдеръ и др. Въ такой же степени выпуклы фигуры бродягъ, являющихся къ художнику. Тутъ распухшій отъ водки и пива бывшій кабменъ Тимсонъ, у котораго автомобиль отнялъ работу. „Въ отношеніи къ твердымъ тѣламъ Тимсонъ индивидуалистъ, но становится коммунистомъ, когда дѣло касается жидкихъ и *критическихъ* тѣлъ“. Тутъ молодая цвѣточница Гиневера Меганъ и мужъ ея „альфонсъ“; тутъ, наконецъ, философъ — бродяга французъ Ферранъ, волею судебъ очутившійся на лондонской мостовой. Ферранъ уже давно пришелъ къ заключенію, что въ современномъ обществѣ есть два типа людей: осѣдлая порода, домовитая, хозяйственная, съ сильно развитыми инстинктами накопленія; и бродячая порода, представляющая полный контрастъ съ „хозяйственными сурками“. Отношеніе общества къ бродячей породѣ находится въ прямой зависимости отъ того положенія, которое занимаютъ „бродячіе индивидуумы“. То, что въ однихъ признается артистическою лѣнью, аристократизмомъ и презрѣніемъ ко всему мѣщанскому, въ другихъ обличается почти какъ преступленіе.

Три пріятеля художника постоянно спорятъ по поводу того, какъ „возвратить обществу“, въ видѣ полезныхъ гражданъ, всѣхъ бродягъ второй категоріи. Священникъ Бертли убѣжденъ, что для этого необходимо развить религіозность въ массахъ. Все было бы хорошо, еслибы пустующія церкви наполнились и еслибы бродяги, вмѣсто безцѣльнаго слонянья по дорогамъ и паркамъ, согласились выслушивать ежедневно хотя бы коротенькія проповѣди (*sermonettes*, какъ выражается священникъ). Другой пріятель, мировой судья, сэръ Томасъ Хокстонъ, вѣритъ больше въ суровыя наказанія. Что же касается третьяго спорщика, профессора Альфреда Колуэя, то онъ настоятельно рекомендуетъ умѣренныя социальныя реформы. *Хокстонъ*.—Я повторяю вамъ еще разъ. Если общество согласится съ вами и приметъ за социальныя реформы,—оно погибнетъ. *Колуэй*.—Я слышалъ это уже раньше, сэръ Томасъ. Позвольте мнѣ еще разъ сказать, что ваша система „желѣзнаго режима“... *Хокстонъ*.—Онъ въ тысячу разъ лучше и цѣлесообразнѣе вашей системы сердечнаго попеченія, которая почему-то мнѣ напоминаетъ добродушную, беззубую бабушку. Бродягъ прежде всего необходима хорошая встряска. Гоняясь за вашимъ социалистическимъ призракомъ, вы забываете про индивидуума. *Колуэй*.—Да вы съ вашей политикой, формулируемой: „къ чорту отставшаго“! не имѣете представленія объ индивидуумѣ ¹⁾.

Необыкновенная доброта художника и готовность его отдать послѣднее не уменьшаетъ страданій. Но нисколько не лучшіе результаты получаютъ пріятели художника, пробующіе примѣнить свои системы для „возрожденія“ бродягъ. „Что стало съ молоденькой цвѣточницей, которую я рисовалъ на Рождествѣ?—спрашивается художникъ у своего пріятеля священника.—Вы дали ей мѣсто у себя?“ *Бертли*. „Нѣтъ не совсѣмъ такъ. Наши друзья взяли ее на службу; но, кромѣ печальнаго, ничего не могу сказать... Да, вышли тамъ осложненія съ кучеромъ“. По совѣту профессора Колуэя, цвѣточницу опредѣлили въ пріютъ Магдалины, откуда Меганъ убѣжала черезъ нѣсколько дней. „Теперь до насъ про нее дошли очень печальныя вѣсти,“—говоритъ священникъ.—„Надежды на возрожденіе нѣтъ никакой“. Пьяницу кэбмена профессоръ тоже опредѣлилъ въ специальный пріютъ для алкоголиковъ. „Тимсонъ не пилъ, куда находился тамъ“, потомъ опять запилъ. По рѣшительному мнѣнію сэра Томаса Хокстона, для всѣхъ бродягъ пригоденъ только одинъ пріютъ: камера для безболѣзненнаго удушенія. И точно такъ же, какъ въ *Кандидѣ*, герои Голсуорти, еще болѣе сильно побитые жизнью, собираются вмѣстѣ, чтобы поговорить о ней.

Итоги подводитъ Ферранъ, бродяга-французъ. „Во время моего послѣдняго бродяжества я заболѣлъ тифомъ. И, когда я лежалъ больной, мнѣ казалось, что я постигаю истину. Я никогда никому ни на

¹⁾ „The Pigeon“, Act II.

что не буду годенъ и никто мнѣ не будетъ пригоденъ. Все будетъ проходить мимо меня: слава, богатство, спокойствіе. Я не сумѣю даже обезпечить себѣ все необходимое для жизни (*Въ то время, какъ онъ говоритъ, въ комнату тихо входитъ цветочница Меганъ*). И я ясно понялъ, что буду бродягой до конца жизни и что околю, какъ собака. Я все это увидалъ въ бреду ясно, какъ вотъ этотъ огонь въ каминѣ. Для меня и мнѣ подобныхъ нѣтъ другого исхода, кромѣ смерти (*Художникъ беретъ руку француза и жметъ ее*). И мнѣ захотѣлось умереть. Я никому не сказалъ, что у меня тифъ. Я лежалъ на травѣ, хотя было очень холодно. Но сельскіе совѣтники не пожелали, чтобы я умеръ на одной изъ дорогъ ихъ прихода. Меня забрали въ госпиталь. Во время болѣзни я глядѣлъ людямъ, лечившимъ меня, въ глаза, и тамъ, такъ же ясно, какъ небо, было написано желаніе, чтобы я умеръ. И хотя люди эти желали, чтобы я умеръ, они все же лечили меня. И замѣтивъ это, я возродился духомъ. „Тѣмъ хуже для васъ—подумалъ я.—Въ такомъ случаѣ я буду жить“. Жизнь сладка. *Художникъ*.—Да, она сладка“. Послѣ этого французъ побывалъ въ трехъ пріютахъ. „Всѣ они похожи на дворцы. Чистота такая, что можно ѣсть на полу. Хотя призрѣваемые тамъ въ однои отношеніи отличаются отъ королей: они ѣдятъ слишкомъ много баланды (skilly). Въ этихъ дворцахъ недостаетъ только пустяка: пониманія человѣческаго сердца. Тамъ домашнія птицы общипываютъ перья дикимъ птицамъ... Monsieur, я бродяга, бездѣльникъ—и все почему? (*Съ горечью*). Мое единственное преступленіе—бѣдность. Будь я богатъ, меня считали бы только оригиналомъ, презирающимъ все мѣщанское. Мое стремленіе къ передвиженію признано было бы желаніемъ видѣть свѣтъ. А эта прелестная дѣвица! (*Указываетъ на цветочницу*). Всѣ признали бы, что она chic, будь она богата. „Кэбби“ Тимсъ, ненавидящій такъ иностранцевъ, былъ бы, по согласному приговору всѣхъ, признанъ „джентльменомъ стараго закала“, будь у него средства. Даже къ его пьянству относились бы добродушно. Eh bien! Что мы представляемъ собою теперь? Мы—паршивыя овцы, презираемыя всѣми. Такова жизнь“ ¹⁾).

Въ современномъ обществѣ рядомъ живутъ „домашнія“ птицы,—сытыя, домовитыя, запасливыя,—и „дикія“,—беззаботныя и бездомныя. Обѣ породы не понимаютъ другъ друга. Наклонности „дикихъ птицъ“ кажутся въ глазахъ хозяйственныхъ домашнихъ птицъ подозрительными и антисоціальными. На всякій случай домашнія птицы строятъ клѣтки для дикихъ птицъ или вырабатываютъ разныя болѣе или менѣе остроумныя теоріи, долженствующія превратить журавлей въ кохинхинскихъ куръ. Отъ этого непониманія происходитъ много зла. Художникъ или „Pigeon“ (французъ, вслѣдствіе недостаточнаго знанія англійскаго языка, употребляетъ

¹⁾ „The Pigeon“, Act III.

„pigeon“ вмѣсто „dove“; оба слова означаютъ „голубь“, но „pigeon“ имѣетъ конкретное значеніе, тогда какъ „dove“ будетъ голубь въ символическомъ смыслѣ) — одинъ изъ тѣхъ исключительныхъ людей, которые понимаютъ возможность существованія „дикихъ птицъ“. Этимъ пониманіемъ обуславливается его доброта. „Господа теоретики, какъ профессоръ, пасторъ или судья, — говорить въ другомъ мѣстѣ драматургъ — насъ не понимаютъ. Они думаютъ только о томъ, чтобы чистить насъ и сковать наши привычки. Нашего духа они не понимаютъ. А безъ такого пониманія всѣ теоріи сухи, какъ апельсиновая корка, пролежавшая все лѣто подъ палящимъ солнцемъ“.

Цвѣточница послѣ монолога Феррана пытается утопиться, но ее спасаетъ полисменъ. Ее приводятъ въ сознаніе въ мастерской художника. И послѣ того, какъ цвѣточница очнулась, добродушный полисменъ, только что спасшій женщину, собирается ее отвезти въ полицейскій участокъ. Жизнь этой женщины не нужна „домашнимъ птицамъ“; ее считаютъ „общественной язвой“, отъ которой необходимо избавиться всѣми средствами. Но, когда цвѣточница дѣйствительно желаетъ избавиться „домашнихъ птицъ“ отъ своего присутствія въ ихъ мірѣ, ей не позволяютъ сдѣлать это и хотятъ судить за покушеніе на самоубійство. „Все тутъ на выворотъ въ этомъ мірѣ! — восклицаетъ Pigeon. — Всѣ говорили, что самое лучшее, что эта женщина можетъ сдѣлать, это — умереть. И вотъ теперь, когда она пыталась сдѣлать какъ разъ то, чего всѣ желаютъ, ее ведутъ въ полицію“.

VI.

„Современная драма съ проблемой напоминаетъ мнѣ постоянно нервнаго, ерзающаго человѣка, только что надѣвшаго новую сорочку изъ грубаго суроваго полотна съ кострицей“, — говоритъ остроумный авторъ очень интересной книги, вышедшей недавно. Авторъ доказываетъ, что такая драма нелѣпость. Вмѣсто того, чтобы изображать жизнь; вмѣсто того, чтобы дѣйствующія лица говорили и поступали, какъ подсказываетъ и приказываетъ жизнь, — герои „драмы съ проблемой“ говорятъ и поступаютъ такъ, какъ необходимо автору для развитія его основной мысли. „Поставщикъ проблемъ (problem-monger) боится голоса жизни, потому что онъ, того и гляди, опровергнетъ купую теорію... Сила и слабость драмы заключаются въ томъ, что талантливый драматургъ можетъ придать отбѣнокъ правдоподобности какой угодно теоріи. Вотъ почему пользованіе драмой для доказательства какой-нибудь теоріи есть грѣхъ противъ Духа Святаго. Авторъ „драмы съ проблемой“ поддѣлываетъ предсказанія книги Сивиллы. Такой писатель исходитъ изъ ереси, что при помощи хирургической операціи и хорошей доли слабительнаго можно будто бы всякаго больного превратить въ здороваго, тогда какъ возродить жизнь можетъ только притокъ

новой жизни“¹⁾. Титтертонъ вообще противъ *всякихъ* „проблемъ“ въ искусствѣ и литературѣ. „Кто можетъ опредѣлить, зачѣмъ создана Венера Милосская или зачѣмъ написанъ король Лиръ? Какіе вопросы стояли передъ ваятелемъ и драматургомъ? Какіе вопросы они разрѣшили?“—спрашиваетъ Титтертонъ.

Вопросъ поставленъ нѣсколько своеобразно, поэтому прямо отвѣтить невозможно; но въ то же время анализъ величайшихъ художественныхъ произведеній, признаваемыхъ абсолютно всѣми, легко покажетъ намъ въ нихъ не только тенденціозность, но даже „публицистику“ и „полемику“. Я раскрываю XIX пѣсню „Ада“.

O Simon mago, o miseri seguaci,
Che le cose di Dio, che di bontate
Deon essere spose, voi rapaci
Per oro e per argento adulate.

(О, Симонъ-волхвъ! И вы, его послѣдователи, дерзающіе продавать за золото и серебро невѣсту Христову!) Стихи обращены къ духовенству, превратившему религію въ статью дохода. Тутъ пламенная публицистика. Читаемъ дальше описаніе третьяго круга, въ которомъ мучатся епископы, кардиналы и папы, зарытые внизъ головой до пояса въ могилы, такъ что ноги торчатъ вверхъ. Адское пламя, пробѣгающее по лѣсу ногъ, заставляетъ его трепетать въ судорогахъ. И Данте подходитъ къ одной могилѣ, изъ которой торчатъ ноги, особенно корчащіяся отъ боли, и спрашиваетъ, кто лежитъ тамъ?

E veramente fui figliuol dell' orsa,—

отвѣчаетъ грѣшникъ („я былъ сыномъ медвѣды“. Другими словами, тамъ лежитъ папа Николай III, изъ рода Орсини). Передъ нами полемика. Такихъ примѣровъ публицистики и полемики бы могъ привести много изъ *Божественной комедіи*. Беру другое великое художественное произведение, высоко опѣнываемое всѣми тѣми, которые строго осуждаютъ тенденціозность въ литературѣ: *Потерянный рай*. Теперь мы доподлинно знаемъ, что это произведение „публицистическое“, становящееся вполне понятнымъ только при изученіи гражданской войны и религіозныхъ диспутовъ, кипѣвшихъ въ то время. „Историческая важность *Потеряннаго рая* заключается въ томъ, что это эпическая поэма пуританства. Вся она построена на проблемахъ, толкнувшихъ пуританъ на долгую и упорную борьбу“. „Всѣ битвы, происшедшія на протяженіи двадцати лѣтъ, и всѣ религіозные споры отразились въ poemѣ“²⁾.

Въ *Потерянномъ раѣ* обсуждаются вопросы о первородномъ

¹⁾ W. R. Titterton, „From Theatre to Music Hall“. London, 1912, стр. 15—20.

²⁾ F. R. Green, „A Short History of the English People“, стр. 584—85.

грѣхѣ, объ искупленіи, о политической свободѣ. Публицистика идетъ рядомъ съ полемикой. Цѣлыя сцены въ *Фаустѣ* (Вальпургіева ночь, напр.), — полемика, ключъ къ которой отчасти утраченъ даже нѣмцами, до такой степени основательно забыты всѣ тѣ лица, которыхъ Гете удостоилъ чести окаррикатурить, давъ имъ такимъ образомъ поэтическое безсмертіе. Когда Леопарди обращается къ Италіи съ знаменитыми словами: „O patria mia“ и т. д., — это, собственно говоря, „публицистика“; но, въ то же время, высоко художественное произведеніе. *Атта Троль* и *Германія*, конечно, художественные перлы, но это „тенденціозныя“ произведенія, и т. д.

Каждое чувство, если оно сильно, искренно и если оно красиво выражено, представляетъ собою законное и равноцѣнное достояніе художественнаго произведенія, все равно, будетъ ли то стихотвореніе, драма или повѣсть. Любовь и ненависть, религіозный пылъ и ядъ сомнѣнія, стремленіе къ разрушенію и благоговѣніе передъ дорогими съ дѣтства традиціями, культъ Аполлона и Діониса — все это законное достояніе художественнаго произведенія. Основное требованіе отъ автора, это — искренность и глубокая убѣжденность. Въ такомъ случаѣ, не только индивидуальность художника или писателя будетъ выражена вполне; но и то, что выражаетъ художникъ, заразитъ своимъ настроеніемъ читателя.

Такимъ образомъ, то, что пьесы Голсуорти „тенденціозны“, не означаетъ еще, что онѣ „не художественны“. Англійскій драматургъ чувствуетъ глубоко, и это чувство заражаетъ читателей и зрителей, не смотря на длинноты пьесъ. Но разсмотримъ еще нѣсколько произведеній Голсуорти, прежде чѣмъ подвести итоги.

Діонео.

Стефанъ Жеромскій и трагедія польской интеллигенціи.

I.

Имя Стефана Жеромскаго довольно извѣстно и въ Россіи, большинство его произведеній, хотя и далеко не всѣ, переведено на русскій языкъ, и можно сказать, что онъ — одинъ изъ тѣхъ новѣйшихъ польскихъ писателей, которые пользуются симпатіями русскихъ читателей. Но русскій читатель и не подозреваетъ, до какой степени популяренъ Жеромскій въ Польшѣ, какую роль играютъ тамъ его произведенія. Почти каждая изъ болѣе крупныхъ его вещей („Бездомные“, „Пепель“, „Исторія грѣха“, „Роза“, „Сулковский“, „Краса жизни“) вызывали сенсацію въ обществѣ, порождали споры и толки, полемику въ печати. О Жеромскомъ на родинѣ су-

ществуетъ большая критическая литература и изъ современныхъ писателей ему, несомнѣнно, принадлежитъ наиболѣе видное мѣсто въ умственной жизни польской интеллигенціи. Сенкевичъ, правда, пользуется болѣе широкимъ распространеніемъ и болѣе славой, но Сенкевичъ популяренъ среди широкой массы; что касается интеллигенціи, то послѣдняя въ Польшѣ давно уже стала критически относиться къ автору „Безъ догмата“ и „Семьи Полавецкихъ“ и, признавая его крупное художественное дарованіе, отказалась отъ всякой солидарности съ его клерикально-дворянскими тенденціями; Жеромскій же—писатель интеллигенціи по преимуществу. Онъ съ болѣею силой, чѣмъ кто-либо другой, выразилъ душевную драму польской интеллигенціи.

Онъ — пѣвецъ польской „больной совѣсти“. Послѣдняя имѣетъ много общаго съ русской „больной совѣстью“, и русскій, заглянувъ въ душу польскаго интеллигента, найдетъ бы въ ней много близкаго, родного, понятнаго, но онъ увидѣлъ бы тамъ и нѣчто чуждое ему. Среди тѣхъ скорбей, которыми болѣетъ польская совѣсть, есть одна, русской интеллигентной душѣ, до сихъ поръ, по крайней мѣрѣ, чуждая: это—боль патріотическая, скорбь объ униженіи своей націи, и эта-то боль въ душѣ польскаго интеллигента разрастается порой до такихъ размѣровъ, что заставляетъ забывать о другихъ страданіяхъ, заслоняетъ весь остальной міръ.

Польскому интеллигенту знакомы и любовь къ *народу*, а не къ *націи*, народническая тяга къ „меньшому брату“ и чувство солидарности съ рабочимъ классомъ, и бунтъ противъ мѣщанства, и тоска по лучшимъ формамъ жизни, и чувство одиночества въ современномъ мірѣ, и мучительная дума о смыслѣ жизни вообще,— всѣ тѣ муки, думы и сомнѣнія, во власти которыхъ находится современный мыслящій и чуткій человѣкъ и который съ такой силой выражены въ русской литературѣ. Но ко всему этому въ душѣ польскаго интеллигента присоединяется неведомое русскому чувство обиды за униженіи своей націи. И это чувство особенно мучительно, когда оно вспыхиваетъ въ современной утонченной и сложной душѣ.

Въ душѣ тургеневскаго Инсарова, болгарскаго интеллигента-патріота, все было цѣльно, просто и ясно: его любовь къ родинѣ—это ненависть къ угнетателямъ - туркамъ, въ этой ненависти онъ сходится со всѣми болгарами и въ борьбѣ за освобожденіе родины видитъ и единственную задачу, объединяющую и всѣхъ другихъ болгаръ: того же, чего онъ хочетъ, „хочетъ каждый болгарскій крестьянинъ, послѣдній болгарскій нищій“. Этотъ цѣльный примитивный патріотизмъ, повидимому, сохранился въ Болгаріи и до сихъ поръ. Но въ Польшѣ, которая по пути культурнаго развитія и соціальной дифференціаціи ушла много дальше Болгаріи, такой примитивности уже не можетъ быть. Польская нація разслоилась, какъ и всѣ культурные народы: въ ней происходитъ напряженная

классовая борьба, есть социалистическое движение, борьба съ клерикализмомъ. Польскій интеллигентъ видитъ врага не только въ русской или германской государственной мощи, но и въ старомъ клерикально-шляхетскомъ польскомъ мірѣ, и въ новой польской буржуазіи. Онъ отлично понимаетъ, насколько патриотическая идеология, требующая объединенія всѣхъ вокругъ одного общаго патриотическаго знамени, на руку привилегированнымъ слоямъ общества и тормозитъ развитіе социальныхъ освободительныхъ идей, насколько она вообще суживаетъ умственный горизонтъ. Но въ то же время онъ постоянно чувствуетъ тотъ внѣшній обручъ, который сжимаетъ, хотя далеко не въ равной мѣрѣ, всѣ слои общества. Этотъ обручъ заставляеть въ Польшѣ становиться патриотами и націоналистами тѣхъ, кто при другихъ условіяхъ не только не былъ бы зараженъ патриотической идеологіей, но и боролся бы съ послѣдней. Нужно побывать въ Варшавѣ, чтобъ понять эту культурную трагедію польской жизни: большой современный городъ, центръ умственный и художественный, въ немъ кипитъ современная жизнь со всѣми ея контрастами—роскошью и нищетой, интенсивнымъ трудомъ и наслажденіями, но надъ всѣмъ этимъ нависла кака-то посторонняя внѣшняя сила, созданная не этой жизнью, говорящая на другомъ языкѣ. Здѣсь на каждомъ шагѣ чувствуешь, что находишься въ завоеванномъ городѣ, и хотя это завоеваніе совершилось десятки лѣтъ назадъ, но завоеванный городъ и завоевавшее его государство не срослись, не примирились: польская жизнь, на улицахъ польскій говоръ, польскія газеты и книги, польскіе театры,—и русскій офиціальный языкъ во всѣхъ учрежденіяхъ, на всѣхъ вывѣскахъ, русская полиція, вездѣсущая, всегда наготовѣ.

Жеромскій въ одномъ изъ раннихъ своихъ произведеній прекрасно выразилъ, какъ дѣйствуетъ на психику польскаго интеллигента это постоянное присутствіе посторонней враждебной силы, встрѣчаемое на каждомъ шагѣ, парализующее всякое дѣйствіе.

„Втеченіе нѣсколькихъ лѣтъ я совсѣмъ не выѣзжалъ изъ Варшавы,—говоритъ одинъ изъ его героев,—живя ея жизнью, я былъ „боленъ Россіей“, былъ боленъ странной болѣзнію, не поддающейся опредѣленію, но губящей, несомнѣнно, психическій организмъ тысячи людей. Она вызываетъ въ людяхъ особенную меланхолію, отвращеніе ко всякому начинанію и въ то же время болѣзненную и безпомощную сверхъ-впечатлительность ко всякому человѣческому горю, впечатлительность, которая терзаетъ ежедневно, ежечасно, всюду точитъ душу и можетъ сравниться съ непрерывнымъ вытягиваніемъ жилъ. Болѣзнь эта не сентиментальность, не шовинизмъ, не ненависть, не любовь: это по-просту—глухое и нѣмое отчаяніе умовъ. Она вскрываетъ тщету всѣхъ философскихъ системъ, идей, привязанностей, труда въ потѣ чела, нищету самопожертвованія среди оскорбленій и клеветы, тщету геройскихъ подвиговъ, совершае-

мыхъ тайкомъ, какъ преступленія, таинственныхъ жертвъ, — она учитъ, что есть одна только непогрѣшимая истина, одна цѣль, единый конецъ всего: „пожалуйте въ жандармскую“.

Въ такой атмосферѣ росла новая польская литература, возростали смена новыхъ социальныхъ теорій, философскихъ и художественныхъ идей. Неудивительно, что здѣсь всѣ идейныя теченія, начиная социализмомъ и кончая модернизмомъ, принимали своеобразный оттѣнокъ: ко всему примѣшивалось обостренное, постоянно оскорбляемое національное чувство. Чувство это здѣсь очень легко выливается въ форму шовинизма. Шовинистическое отношеніе ко всему русскому, въ томъ числѣ и къ русской идейной культурѣ и русской литературѣ, здѣсь явленіе естественное и понятное: русской литературы или русской интеллигенціи здѣсь не знаютъ, но знаютъ русскую полицію и навязанный въ школахъ и во всѣхъ учрежденіяхъ русскій языкъ.

Современная вспышка антисемитизма въ русской Польшѣ тоже отчасти объясняется политическими условіями, обостряющими національное чувство. Правда, польскій антисемитизмъ, призывающій къ бойкоту еврейской торговли, имѣетъ тотъ же постоянный источникъ, что и антисемитизмъ вѣнскій и всякій другой: конкуренцію своей, национальной, лавочки съ лавочкой еврейской. Но если это чисто мелко-мѣщанское движеніе теперь въ Польшѣ привлекло на свою сторону толпы молодежи и часть той же интеллигенціи, которая раньше боролась съ антисемитизмомъ и проповѣдывала гуманитарныя идеи (напр. Свентоховскаго), то это объясняется все тѣмъ же обостреннымъ національнымъ чувствомъ: въ послѣдніе годы въ Царство Польское изъ Западнаго края и изъ центра Россіи переселилось много евреевъ, усвоившихъ русскій языкъ, въ глазахъ поляковъ они явились орудіемъ обрусенія. Еврей, переѣхавшій изъ Москвы въ Варшаву, естественно продолжаетъ говорить по-русски, невольно вмѣшиваясь такимъ образомъ въ борьбу польскаго языка съ русскимъ. Русская рѣчь въ устахъ евреевъ дала новое оружіе въ руки антисемитовъ, — борьба съ евреями оказалась борьбой за польскій языкъ, за польскую національность.

Въ этой атмосферѣ неестественно обостренного національнаго чувства—что долженъ переживать человѣкъ съ утонченной культурной психикой, глубоко чувствующій неправду современной жизни вообще, понимающій историческія задачи нашего времени, презирающій мѣщанство, стоящій на сторонѣ міра труда? Онъ не можетъ не переживать тяжелой душевной драмы. И вотъ эта-то душевная драма нашла свое выраженіе въ творчествѣ Жеромскаго. Жеромскій—соціалистъ и патріотъ въ то же время—глубоко чувствуетъ и ненавидитъ социальную неправду жизни, и въ то же время проникнутъ тревожной думой о судьбѣ націи; онъ знаетъ, что польская буржуазія не лучше всякой другой, онъ презираетъ польское мѣщанство, какъ и всякое другое, и въ то же время ему до-

рога Польша въ цѣломъ—онъ хочетъ видѣть ее независимой и сильной, онъ страдаетъ при мысли объ униженіи польскаго народа.

Вотъ этими моментами и объясняется значеніе Жеромскаго для польской интеллигенціи: въ его произведеніяхъ—та боль, какою болѣетъ совѣсть мыслящей части польскаго общества вообще. Мнѣ кажется, что эта драма совѣсти, отраженная въ душѣ столь глубоко и тонко чувствующаго художника, какъ Жеромскій, представляетъ интересъ не для однихъ поляковъ только. Въ дальнѣйшемъ я хочу ввести русскаго читателя во внутренній міръ пѣвца польской „больной совѣсти“.

II.

Жеромскій (онъ родился въ 1864 г.) принадлежитъ къ тому поколѣнію польской интеллигенціи, которое пришло послѣ политической катастрофы 1863 г., поглотившей наиболѣе энергичную и дѣятельную часть польскаго образованнаго общества. Это было поколѣніе нервное и впечатлительное, оно росло въ атмосферѣ разочарованія въ смѣлыхъ героическихъ дѣйствіяхъ, росло, слушая проповѣдь трезваго отношенія къ дѣйствительности, умѣренности, „малыхъ дѣлъ“ (эпоха такъ называемаго „варшавскаго позитивизма“). Но, когда оно вступило въ сознательный возрастъ, періодъ ошеломленности уже прошелъ, въ Польшѣ нарастали новыя силы, выступалъ на сцену рабочій классъ, съ Запада явились социалистическія теоріи, молодежь въ лицѣ наиболѣе чуткихъ представителей своихъ увлекается этими теоріями. Жеромскій принадлежалъ къ этой молодежи, которая съ одной стороны рѣзко порывалась съ традиціями „варшавскихъ позитивистовъ“, проникалась враждой къ мѣщанству, симпатіями къ пролетаріату, мечтала о героической борьбѣ, а съ другой стороны страдала крайней впечатлительностью къ боли жизни, склонностью къ меланхоліи, пессимизму. Эта черта Жеромскаго очень ярко сказалась въ разсказѣ „Расключаютъ насъ вороны“. Мы видимъ здѣсь одного изъ послѣднихъ борцовъ возстанія 1863 г. Послѣ неудачнаго сраженія онъ плетется одинъ, усталый за возомъ, нагруженнымъ оружіемъ и запряженнымъ парой клячъ. Въ порванныхъ сапогахъ шлепаетъ онъ по Грязи проселочной дороги въ холодный осенній день, дождь хлещетъ, и вмѣстѣ съ холодомъ въ душу его просачивается чувство нищеты, отвращенія къ жизни, презрѣнія къ людямъ. „Все подло проиграно,—думаетъ онъ—потерино все, не только до послѣдней нитки, но до послѣдняго свободнаго вздоха. Вотъ когда появится на свѣтъ Божій страхъ съ большими глазами, съ волосами, дыбомъ вставшими, и выгонитъ изъ мышиныхъ норъ всѣхъ метафизиковъ реакціи, всѣхъ пророковъ мрака. Чего раньше никто не рѣшился бы на ухо шепнуть другъ другу, теперь будутъ это воспѣвать гек-

замеромъ... И подумать, что мы вызвали этотъ прогрессъ мнѣній благодаря тому, что проиграли“.

Во время этихъ мрачныхъ думъ его настигаетъ отрядъ казаковъ, его убиваютъ и бросаютъ трупъ на дорогѣ.

„Голова его образовала въ грязи ямку, въ которую стали стекать небольшіе ручейки, сливаясь въ большую лужу. Капли дождя хлестали ее и поднимали на ней вздувшіеся пузыри, которые лопались и исчезали съ такой же быстротой, какъ великія человѣческія иллюзіи“.

Жизнь, лишенная великихъ человѣческихъ иллюзій, и возмущеніе противъ такой жизни, острое сознаніе боли существованія— вотъ мотивы первыхъ произведеній Жеромскаго.

Жеромскому хорошо знакомы Карамазовскія муки, муки сознанія, которое не можетъ забыть ни одной слезинки замученнаго ребенка, онъ чувствуетъ боль, разлитую въ жизни, даже за предѣлами жизни человѣческой.

Въ „Бездомныхъ“ герой Жеромскаго слышитъ плачь „расколотой сосны“: „Онъ видѣлъ ея разорванный стволъ, истекающій кровавыми каплями смолы. Онъ смотрѣлъ долго, не отрываясь, на ея рану. Видѣлъ каждое волокно, каждый покровъ коры разорванной и страдающей. Слышалъ вокругъ себя плачь, одинокій плачь передъ лицомъ Бога“.

Уставшая отъ картины страданія душа писателя проситъ забвенія. Въ рассказѣ „Забвеніе“ (одинъ изъ первыхъ рассказовъ Жеромскаго) онъ завидуетъ всѣмъ тѣмъ, кому дано забыть пережитый ужасъ. Онъ завидуетъ мужику, избиваемому за кражу досокъ, которыя нужны ему на гробъ сыну, завидуетъ воронѣ, обезумѣвшей при видѣ разоряемаго гнѣзда и избиваемыхъ птенцовъ. „И тотъ, и другая забудутъ. Чѣмъ бы могли они утолить адскую, бездонную боль, какъ могли бы они провести ночь въ своихъ осиротѣвшихъ гнѣздахъ, еслибы не божественный, мудрый, лучшій изъ законовъ природы, законъ забвенія? Для нихъ жить значить забывать, и добрая природа позволяетъ имъ сейчасъ же забыть“...

А онъ никогда не забудетъ ни этого отвратительнаго, охрипшаго, обезсилѣвшаго голоса отчаянія, которымъ кричитъ несчастная мать птенцовъ, ни этого унижительнаго, страшнаго плача истязуемаго человѣка. Передъ его глазами будетъ вѣчно стоять разбитое въ кровь лицо мужика, и этотъ великолѣпный помѣщикъ, который, узнавъ, что мужикъ кралъ доски, чтобы сколотить гробъ для умершаго сына, восклицаетъ: „такъ ты даже на гробъ воруешь, ахъ, какой же ты негодяй!“

Съ этимъ помѣщикомъ онъ вмѣстѣ шелъ на охоту между высокими стѣнами пшеницы, осыпанные росой колосья били его по лицу, онъ вдыхалъ запахъ земли, пилъ глазами красоту пробуждающейся къ жизни природы. Но теперь эта земля расколота надвое.

Жеромский глубоко осознал и прочувствовал эту трещину, расколовшую современный мир на два лагеря. В его первых произведениях социальный вопрос заслоняет все другие, он хорошо изучил и знает быть низов нашего общества, он умеет чувствовать страшную обиду нищеты. Нищета именно с этой стороны его больше всего поражает: не физическими лишениями, а моральным унижением человека, оскорблением человеческого достоинства. Ему знакома ненависть социальная, приобретающая порой характер почти „расовой ненависти“. Вот эта-то „расовая ненависть“ и разъединяет в „Бездомных“ Юдыма и Иоасю. Юдым ненавидит богатых ненавистью пролетария; Иоася, хотя и принадлежит к интеллигентному пролетариату, как и Юдым, разделяет его идеал и сочувствует угнетенным, но она не вышла из этого класса, как Юдым, она не знает его страшной жизни по детским воспоминаниям, не связана с ним родственными узами, как Юдым.

И последнему кажется, что она не может быть подругой его жизни, в ее крови нет той ненависти, которою он пропитан, она из другой расы, и потому он отказывается от нее и от своего личного счастья.

— Видишь...—говорит он Иоасю—я из черни, я вышел из последней нищеты. Ты не можешь себя представить, какова чернь. Не можешь даже предчувствием далеким понять того, что лежит в ее сердцах. Ты из другой касты... Кто сам оттуда происходит, тот все знает... Здесь люди умирают на тридцатом году жизни, потому что уже старцами являются на свет. Дети их—это идиоты.

— Но какое же это к нам имеет отношение?

— Ведь я за все это ответствен!

— Ты... ответствен?

— Да! Я ответствен перед духом моим, который кричит во мне: я протестую!

И этот крик протеста заглушает в нем жажду личного счастья. Иоася полюбила Юдыма, всем существом стремится к нему, но он во имя другой любви и другой ненависти уходит от нее. Словами „Песни песней“ вписала Иоася в свой дневник свое первое любовное признание. Но в рыданиях ее смолкла эта песня любви.

В „Бездомных“ впервые сталкиваются у Жеромского идея личности с идеей общества, и последняя побеждает.

Но „Песня песней“, песня любви, заглушенная в „Бездомных“, вновь вырывается у Жеромского со страстной, порывистой силой в его исторической эпопеи „Пепел“ ¹⁾. Она несется сквозь бурю исто-

¹⁾ Русский перевод в „Русск. Богатств“ 1903 г. № 1—12.

Апрель. Отдѣл П.

рическихъ событій, проносящихся надъ польской землею; а если, въ концѣ концовъ, она и смолкаетъ въ рыданіяхъ и отъ чувства любви сгорѣвшей ничего не остается, кромѣ кучки пепла, то это потому, что все въ пепелъ обращается въ этомъ мірѣ, все проходитъ, разрушается, ничто не остается.

„Пепелъ“ Жеромскаго это — грандіозная картина разрушенія и возрожденія среди развалинъ, вѣчно изъ пепла возрождающейся жизни, вѣчнаго теченія ея.

Жеромскій ведетъ насъ въ Польшу конца 18 и начала 19 в. Страна разорвана на части, переходитъ изъ рукъ въ руки, въ развалины обращаются города, горятъ деревни, войска переливаются безконечными потоками, топчутъ поля, брать дерется съ братомъ, поляки, записанные въ австрійскіе полки, встрѣчаютъ штыками польскіе легіоны Наполеона. Эти послѣдніе, сформировавшіеся въ надеждѣ, что придется биться за польскую землю, отправляются съ Наполеономъ покорять Испанію и тамъ творятъ дѣло разрушенія, берутъ приступомъ испанскіе города, грабятъ монастыри, насилюютъ женщинъ.

Изъ-за этихъ картинъ насилія войны встаютъ картины насилія другого, которое творится изо-дня въ день въ мирной жизни.

Мы видимъ, какъ избиваютъ палками солдата Михтика, который подъ знаменами Костюшки боролся за свободу родины вмѣстѣ со своимъ господиномъ; послѣдній считаетъ его товарищемъ, признаетъ его человѣческое достоинство, но послѣ смерти его Михтикъ вмѣстѣ съ землею переходитъ въ собственность другого помѣщика, становится его крѣпостнымъ, и на глазахъ толпы народа его бьютъ палками за непочтительность. Мы видимъ, какъ мужики коченѣютъ отъ холода, идя по горло въ водѣ и переноса на рукахъ коляску, въ которой сидятъ ѣдущія веселиться дамы.

Но среди всѣхъ этихъ ужасовъ жизнь вѣчно идетъ своимъ чередомъ; люди дѣлаютъ свои дѣла, живутъ, работаютъ, веселятся. Жизнь не прекращается, потому что не прекращаетъ свѣтить солнце, каждый годъ новой весной зеленѣетъ земля, лѣтомъ колосъ зрѣетъ, новыя поколѣнія людей рождаются. Жизнь человѣка лишь волна въ великомъ потокѣ бытія. Человѣкъ живетъ такъ же стихійно, какъ все въ природѣ. Онъ умираетъ и снова рождается и размножается, а любовь такъ же стихійно расцвѣтаетъ въ душѣ, какъ весной зеленѣетъ трава.

И вотъ мы видимъ, какъ въ это жестокое время на польскихъ поляхъ расцвѣтаетъ чуднымъ цвѣткомъ любовь молодого шляхтича Рафала и юной дѣвушки изъ помѣщичьяго дома Елены.

Исторія этой любви, правдивая и обвѣянная чистой поэзіей, словно для того и рассказана, чтобы вскрыть всю призрачность счастья, всю хрупкость личной жизни среди историческихъ бурь. Сколько счастья, казалось бы, сулило свиданіе Рафала съ Еленой, свиданіе зимней ночью въ занесенномъ снѣгомъ саду.

Однажды ночью Рафаль, выждавъ, когда всѣ легли спать въ отцовскомъ домѣ, укравъ ключъ у отца, пробирается тайкомъ въ конюшню, сѣдлаетъ лошадь и мчится во весь опоръ въ сосѣднее имѣніе, гдѣ живетъ Елена, крадется садомъ по сугробамъ снѣга къ окну ея и стучить. Онъ исполнилъ свое обѣщаніе, данное годъ тому назадъ, когда онъ впервые встрѣтился съ Еленой и танцевалъ съ нею въ домѣ отца. А она, словно ждала его въ эту ночь, выходитъ на стукъ его, идетъ къ нему по занесеннымъ снѣгомъ ступенькамъ террасы, и губы ихъ сливаются въ „поцѣлуй вѣчности“. Но, не смотря на этотъ „поцѣлуй вѣчности“, они еще дѣти, и чисто дѣтскій разговоръ возникаетъ между влюбленными юношей и дѣвушкой.

- Вы, сударь, какимъ образомъ здѣсь очутились?
- Приѣхалъ.
- Верхомъ?
- Да.
- Значить, какъ вы обѣщали тогда, во время танцевъ?
- Да.
- Гдѣ же она? лошадь?
- Въ кузницѣ стоитъ при ясляхъ...
- Одна?
- Одна. Пойдемъ къ ней...
- Нѣтъ, я боюсь идти туда. Я очень боюсь...

Эта любовь, расцвѣтающая въ еще дѣтскихъ душахъ, оказывается грубо смятой родительской рукой. Продѣлка Рафала, загнавшего въ бѣшеную скачку лучшую лошадь, обрушивается на его голову гнѣвъ скупого отца. Рафала отсылаютъ изъ дому. Елену тоже увозятъ. Они теряютъ другъ друга изъ виду, и, когда встрѣчаются опять, Елена уже замужемъ за прусскимъ офицеромъ. Никогда не умиравшая любовь вспыхиваетъ съ новой силой. Елена бросаетъ мужа и сходитъ съ Рафаломъ.

Имъ, конечно, приходится бѣжать, и они бѣгутъ, какъ дѣти, совершенно не считаясь съ тѣмъ, что ждетъ ихъ, какъ они будутъ жить. Они поселяются въ Татрахъ, въ то время совсѣмъ еще дикихъ, почти незаселенныхъ горахъ. Здѣсь въ избушкѣ горца, среди живописной природы Татръ, живутъ они словно надъ жизнью, вдали отъ людей. Чуднымъ цвѣткомъ цвѣтетъ ихъ любовь среди другихъ цвѣтковъ, усѣявшихъ долины и склоны Татръ. Еленѣ кажется, что всѣ эти колокольчики и васильки привѣтствуютъ ее и говорятъ ей, что они ни для кого, а лишь для себя самихъ изъ вѣка въ вѣкъ цвѣтутъ, что прежде, чѣмъ она пришла сюда со своимъ возлюбленнымъ, весна смѣняла весну втеченіе ряда вѣковъ, которыхъ мысль человѣческая не объемлетъ. Они несли ей привѣтъ отъ той вѣчности, которая уже прошла, и кивали ей фіо-

летовыми, румяными и желтыми головками, и ей казалось, что она понимает ихъ тайную рѣчь...

И, слушая эту рѣчь, Елена проникается мудростью природы, мудростью этихъ цвѣтовъ, которые для самихъ себя цвѣли изъ вѣка въ вѣкъ и исчезали въ вѣчности: любовь ея—тотъ же цвѣтокъ, онъ расцвѣлъ и теперь можетъ умереть. Елена хочетъ вмѣстѣ со своимъ счастьемъ, которое достигло высшаго предѣла, исчезнуть въ вѣчности, и она предлагаетъ Рафалу умереть отъ избытка счастья, бросившись вмѣстѣ со скалы въ пропасть. Но Рафалъ не согласенъ.

— Смерть... Но вѣдь насъ больше не будетъ. Перестанемъ смотрѣть другъ на друга,—говорить онъ.

Она улыбнулась весело и ласково, какъ мать на наивныя слова ребенка.

— Тогда,—говоритъ она,—началась бы дѣйствительно вѣчность. Такъ, какъ теперь, навсегда, безъ измѣненія. Сонъ душъ, что спать, обнявшись...

— А если это не то?

— То! Большаго счастья уже не можетъ быть. Это граница. Ее видно, какъ вотъ эту венгерскую границу. Мы войдемъ въ страну блаженства...

Но они не умерли, захотѣлось продлить чудный сонъ жизни. И отъ этого сна они пробудились къ страшной дѣйствительности.

Однажды Рафалъ, проснувшись отъ ужаснаго крика Елены, увидѣлъ себя обезоруженнымъ и связаннымъ, а Елену въ рукахъ насильниковъ, которые вырывали ее другъ у друга. Сверхчеловѣческія усилія сорвать путы и броситься на помощь не ведутъ ни къ чему и обезумѣвшіе отъ ужаса глаза Рафала видятъ самое страшное, что могли увидѣть на землѣ...

Онъ вздохнулъ съ облегченіемъ, когда увидѣлъ, что Еленѣ, наконецъ, удалось вырваться изъ рукъ одного изъ негодяевъ и броситься въ пропасть.

Я не буду останавливаться на томъ, какъ вернулся къ жизни Рафалъ послѣ ужаса, пережитаго имъ, послѣ потери того, что составляло смыслъ его жизни. Послѣ двухъ лѣтъ полного равнодушія, послѣ цѣлаго ряда физическихъ лишеній Рафалъ—оживаетъ. Инстинктъ жизни просыпается въ немъ, и однажды осеннимъ утромъ, глядя на восходъ солнца, онъ почувствовалъ, какъ хорошо жить и сталъ размышлять о томъ, „какъ прекрасенъ міръ, какими великимъ и благословеннымъ чудомъ является жизнь, какими удивительными путями часъ скорби превращается въ богатство радости, охватывающей насъ при видѣ земли“.

Возвращаясь къ жизни, Рафалъ становится другимъ человекомъ, онъ выходитъ изъ рамокъ личнаго существованія, сливается со стихіей національной жизни, бросается въ потокъ историческихъ событій.

Рафаль захваченъ теченіемъ, увлекающимъ польскую молодежь въ польскіе легіоны, участвуетъ во многихъ походахъ и сраженіяхъ и, въ концѣ концовъ, превращается въ воина-профессіонала, находящаго наслажденіе въ томъ, чтобъ драться, рубить, стрѣлять. Когда Рафаль послѣ нѣсколькихъ лѣтъ своей военной жизни, проходя съ арміей, случайно попадаетъ снова въ Татры, гдѣ промелькнули такъ страшно обгорѣвшіе дни его счастья, онъ остается совершенно спокойнымъ при нахлынувшихъ на него воспоминаніяхъ. „Самыя тяжелыя событія прошлаго онъ усиленіемъ воли вызвалъ къ себѣ въ первый разъ за столько времени и на все смотрѣлъ въ лучахъ радостнаго спокойствія духа. Онъ рѣшился пойти въ знакомыя горы, пройти знакомыя дороги и на все смотрѣлъ съ улыбкой состраданія, смѣшаннаго съ ироніей.

Даже звукъ ея имени не потреясъ его души“.

„Что мнѣ до тебя, женщина?—спрашиваетъ жизнь съ ласковой мудростью:—Ты уже пепелъ. Не только какъ кровь и тѣло, не только какъ красота, не только какъ живое воспоминаніе красоты, но пепелъ, какъ чувство, а я молодость, сила и желаніе. Ничто не существуетъ вѣчно. Придетъ еще послѣдній вѣтеръ и въ ничто развѣетъ послѣднюю горсть пепла“.

Рафаль въ концѣ повѣсти совсѣмъ не тотъ, что въ началѣ, это совсѣмъ другой человѣкъ. „Человѣкъ подобенъ рѣкѣ. Какъ тамъ все новыя воды плывутъ въ томъ же руслѣ, такъ точно и въ немъ протекаютъ, если можно такъ выразиться, новыя души въ границахъ того же тѣла. Рѣка всегда та же рѣка, но кто же найдетъ въ ней ушедшую воду?“. Такъ поучаетъ Жеромскій въ „Исторіи грѣха“.

„Исторія грѣха“, слѣдующее крупное произведеніе Жеромскаго, проникнута еще большимъ пессимизмомъ, еще рѣзче вскрываетъ тщету человѣческой жизни, чѣмъ „Пепелъ“.

Отъ счастья осталась горсточка пепла, которую вѣтеръ развѣялъ, но этотъ „пепелъ“ былъ, по крайней мѣрѣ, послѣ великаго историческаго пожара. Теперь нѣтъ этого пожара, есть только медленное стораніе души человѣческой на слабомъ чадающемъ огнѣ среди будней жизни, среди унижительной нищеты. „Исторія грѣха“—соціальный романъ изъ современной жизни Варшавы, романъ, проникнутый тѣмъ же протестомъ противъ соціальной неправды, противъ несправедливости индивидуальной судьбы, что и „Бездомные“. Но „Исторія грѣха“ оставляетъ несравненно болѣе гнетущее впечатлѣніе, чѣмъ „Бездомные“. Въ „Бездомныхъ“ рушилось счастье, но остался героизмъ отказа отъ него, была красота порыва, не запятнанными, чистыми остались души. Въ „Исторіи грѣха“ душа, расцвѣтшая для счастья и любви, грубо смята и втоптана жизнью въ грязь.

Въ любви Евы къ Лукѣ Неполомскому снова звучитъ та „пѣсня пѣсней“, которая родилась и умерла въ душѣ Іоаса („Бездомные“).

которая такъ грубо была прервана въ исторіи Рафаѣла и Елены. Снова любовь расцвѣтаетъ, на этотъ разъ не среди полей, не въ саду, засыпанномъ снѣгомъ, не на склонахъ Татры, усыянныхъ цвѣтами, а на варшавской мостовой, въ прозаической обстановкѣ полунищенскаго существованія. Но любовь, какъ и весна, все можетъ украсить своими чарами. И чарами весны украшенъ тотъ городской садъ, гдѣ впервые сближаются Ева и Неполомскій.

Приближался вечеръ, а Ева не въ силахъ была подняться со скамейки сада. Глаза ея съ наслажденіемъ отдыхали на муравѣ парка, на березовыхъ прутьяхъ, уже покрытыхъ листочками, на вѣтвяхъ каштановъ, набухшихъ на концахъ своихъ. Она, не перетавая, отдается радостному изумленію при видѣ того, какъ голая земля, которую она зимой столько разъ видѣла, истоптанная, отвратительная, жалкая—стала обителью чудесныхъ жизней. Бѣлые листочки лѣзли изъ этой земли, раскрывали свои глаза и смотрѣли въ глаза человѣческіе съ выраженіемъ, для котораго не было словъ. Въ душѣ рождались смута и безпокойство, но онѣ лишь увеличивали сумму счастья... Взглядъ Евы переходилъ съ мѣста на мѣсто, слѣдя за весеннею мглой, что стелилась между деревьями... и въ этой весенней мглѣ она увидѣла Неполомскаго, и въ этой мглѣ родилась ея любовь, ставшая ея грѣхомъ.

Какимъ образомъ грѣхомъ могъ стать весенній гимнъ? Какимъ образомъ во мглѣ весенней могла зачатъся страшная исторія грѣха?

Весна, расцвѣтшая въ душѣ Евы и разукрасившая садъ городской, не измѣнила ея жалкаго, нищенскаго положенія, не сдѣлала богаче Неполомскаго. Исторія любви стала исторіей нищеты. Послѣ недолгаго сна-счастья страшная дѣйствительность заглянула въ глаза.

Неполомскій былъ въ тюрьмѣ, когда Ева, голодная, всѣми покинутая, рожала ребенка. Истощенная физически и нравственно, она въ полусознательномъ состояніи убиваетъ ребенка. Такъ начался грѣхъ, началось разложеніе души Евы. Ева постепенно опускается все ниже и ниже. Она бѣжитъ отъ пережитаго страданія, хочетъ забыть о своемъ преступленіи и своемъ счастьѣ, воспоминаніе о которомъ рождаетъ страшную муку; въ развратѣ она хочетъ забыть про любовь къ Лукѣ, и душа ея понемногу выгораетъ. „Мало-по-малу Лука сгоралъ въ ея душѣ, сгоралъ, какъ огонь:—тлѣлъ еще,—лежалъ, какъ горячій уголь въ щеплѣ... Вотъ истлѣлъ—уже нѣтъ его. Ева не чувствовала уже въ душѣ ни страшнаго наслажденія, — любви, — ни страха передъ совершенной измѣной. Спокойная пустота—ничего больше.

„Ева могла теперь смотрѣть въ пропасть своихъ грѣховъ. Не чувствовала къ нимъ отвращенія, какъ прежде. Зѣвала, созерцая ихъ. Понимала всю мерзость грѣха распутства, но не могла найти силъ, чтобъ вырваться изъ него.

„Надо всёмі царило одно желаніе; не пускать къ себѣ воспоминаній о любви, не дать имъ никогда воцариться въ душѣ. Не желать душой, не любить сердцемъ, не рыдать по исчезнувшей улыбкѣ дорогихъ устъ, по звуку голоса. Пребывать лишь въ покоѣ забвенія. Не чувствовать въ себѣ сердца, потому что безъ сердца хорошо, а съ сердцемъ ужасно“.

Съ сердцемъ ужасно, но и безъ сердца жизнь превращается въ сплошной ужасъ, тяжелый кошмаръ. Нѣкоторые читатели „Исторіи грѣха“ возмущались тѣмъ, что авторъ нагромоздилъ столько кошмарныхъ ужасовъ, преступленій и разврата въ исторіи Евы, которая становится орудіемъ въ рукахъ международной шайки шулеровъ и убійцъ, участвуетъ въ убійствѣ, доходитъ до положенія проститутки послѣдняго разряда, заражается сифилисомъ. Многіе находили неестественной, мало вѣроятной исторію Евы. Исторія такая, конечно, могла быть, въ этомъ насъ убѣждаютъ уголовные процессы. Но мы чувствуемъ, что авторъ сознательно нагромоздилъ столько ужасовъ: они нужны ему для того, чтобы показать, что, не смотря на всю внѣшнюю кажущуюся омертвлѣлость души, на днѣ ея можетъ сохраниться искра жизни. Эта искра тлѣетъ подъ пепломъ въ душѣ Евы. На днѣ ея живутъ страстное желаніе и надежда увидѣть Луку и рассказать ему все, какъ было, все, что выстрадала она, какъ она убила ребенка. Она надѣется снять съ души грѣхъ, и эта затаенная мечта сбывается. Ева умираетъ на рукахъ Неполомскаго.

„Она зардѣлась и сторѣла вся дѣвичьей, давно-давно забытой своей улыбкой и съ этой улыбкой неземного блаженства на устахъ умерла, ища въ сумеркахъ смерти его взгляда“.

Этотъ романтическій конецъ реалистическаго романа при всей своей неожиданности подкупаетъ красотой вложеннаго въ него смысла.

Смерть Евы на рукахъ Неполомскаго, смерть больной сифилисомъ проститутки съ дѣвической улыбкой счастья на лицѣ, это—смерть сестры Беатрисы, которая прошла сквозь ужасы нищеты и позора, совершила столько преступленій, что, кажется, „оскверняла самый грѣхъ“, и все же умираетъ чистой любимой дочерью Мадонны.

Да,—„Исторія грѣха“ и рассказываетъ, что было съ сестрой Беатрисой съ тѣхъ поръ, какъ она ушла изъ монастыря съ принцемъ Беллидоромъ, и до того, какъ она вернулась измученная умереть въ монастырѣ.

„Исторія грѣха“ и есть исторія позора и преступленія сестры Беатрисы въ условіяхъ современной жизни.

И, какъ драма Метерлинка, повѣсть Жеромскаго говоритъ, что нѣтъ грѣха, а есть только грязь, брошенная жизнью въ лицо души, что всякая грязь есть внѣшняя грязь, душа остается чистой и дѣственной.

Нѣтъ вины, а есть *обида*, нѣтъ грѣха, а есть несчастье.

Когда графъ Щербицъ приноситъ покинутой Евѣ якобы отъ Неполомскаго, а на самомъ дѣлѣ свои деньги, съ цѣлью соблазнить ее, а Ева съ чувствомъ стыда и обиды беретъ эти деньги, то, при взглядѣ его на Еву, насмѣшливая улыбка сбѣжала съ его губъ и онъ смутился.

Подъ вліяніемъ чувствъ, потрясшихъ Еву, она стала снова прекрасной. „Было что-то царственное и въ этой сломанной и обиженной красотѣ. Позорная *обида*, которая стелилась вокругъ ея личности безсильной и опозоренной, выступила теперь со всей очевидностью“. Да, нѣтъ грѣха, а есть обида, нѣтъ кары за грѣхъ, а есть невинное страданіе.

Иванъ Карамазовъ не мирился съ фактомъ страданія дѣтей, — пусть бы взрослые страдали, но дѣтскія, невинныя, чистыя слезы, — этихъ слезъ ничто оправдать не можетъ. Но вѣдь каждая душа была невинной, чистой душой и то, что она перестала быть чистой, это есть самая страшная обида, нанесенная жизнью душѣ. Грѣхъ есть несправедливость судьбы въ отношеніи къ человѣку, и несправедливость эта не можетъ служить оправданіемъ страданій. Но нѣтъ ли въ душѣ Евы чего-то, что, если не оправдываетъ, то объясняетъ ужасъ ея существованія? Можно ли это кошмарное существованіе отнести всецѣло на счетъ внѣшнихъ условій? Не приходится ли судьба Евы въ связи со строемъ ея души? Да, эта связь есть. Она въ пассивности души, въ ея безсиліи.

Душа это словно форма, въ которую жизнь вливаетъ содержаніе, а она лишь принимаетъ это содержаніе. Вотъ противъ этой-то пассивности и возстаетъ Жеромскій въ произведеніяхъ, написанныхъ послѣ „Исторіи грѣха“. Раньше онъ рисовалъ страданіе, и его собственная душа словно поглощена была пассивнымъ созерцаніемъ боли жизни.

Это чувство боли, разлитой въ жизни, несетъ опасность душѣ. Не станетъ ли она слишкомъ мягкой, женственной, способной лишь проливать слезы, но не способной къ мужественному дѣлу?

Жеромскій чувствуетъ эту опасность, опасность безграничнаго страданія, опасность безбрежности души, разливающейся, какъ рѣка, выступившая изъ береговъ, на долинахъ скорби.

„О, польская душа, не знающая предѣловъ, тебя боюсь!“ — восклицаетъ онъ въ „Думѣ о Гетманѣ“.

Эта безбрежность, отсутствіе границъ, — свойство не только польской, но и русской души.

Русская „болѣзнь совѣсти“, берущая на себя отвѣтственность за зло всего міра, трагедія героя „Краснаго цвѣтка“ Гаршина, слезы Успенскаго надъ травой, которую косятъ, непротивленіе злу наслѣдіемъ Толстого, женственная утонченность и мягкость души Чехова, все это — безбрежность русской души, разливающейся, какъ разливаются русскія рѣки, теряя воды свои вмѣсто того, чтобъ со-

брать ихъ всё и устремить по одному руслу. Этой безбрежности боится Жеромскій.

„Закуй себя въ броню желѣзную, душа молодая, весну несущая!“—говоритъ онъ въ пѣснѣ о Бандосѣ. Нужно найти въ себѣ силу, а не только жалость, отзывчивость и состраданіе. Этотъ мотивъ вообще звучитъ въ новѣйшей польской литературѣ. „Душа—это сила, которая можетъ быть тѣмъ, чѣмъ хочетъ, и не быть тѣмъ, чѣмъ она не хочетъ быть“,—восклицаетъ Выспанскій въ драматической поэмѣ „Освобожденіе“. Этотъ романтический лозунгъ, заставляющій вспомнить поэзію Мицкевича, Красинскаго и Словацкаго, начинаетъ звучать и въ произведеніяхъ Жеромскаго послѣдняго періода. Историческая трагедія „Сулковскій“, символическая драма „Роза“ и романъ изъ современной жизни „Краса жизни“, это романтическія и въ то же время патріотическія произведенія Жеромскаго. Отъ реализма къ романтизму и отъ социализма къ патріотизму—вотъ путь, пройденный Жеромскимъ.

Классовая идея, которой служилъ Юдымъ въ „Бездомныхъ“, не дала Жеромскому силы, какая нужна для того, чтобы вынести ужасъ жизни; эту силу онъ нашелъ для себя въ чувствѣ національномъ, въ идеѣ отечества. Посмотримъ, насколько убѣдительно писатель сумѣлъ воплотить свою мысль въ художественныхъ образахъ своихъ послѣднихъ произведеній.

III.

Проблема взаимоотношеній социализма и патріотизма поставлена во всей остротѣ въ драмѣ „Роза“. Это—рядъ полуреалистическихъ, полусимволическихъ сценъ изъ жизни Польши 1905 года. Революціонное движеніе, тюрьма, истязанія въ охранкѣ, все это проходитъ передъ глазами читателя; сверхчеловѣческія усилія выйти на волю изъ подземелья и торжество силы, разбивающей эти усилія. Во имя чего же ведется эта борьба?

„Мы не хотимъ переходить изъ русской тюрьмы въ польскую. Мы хотимъ изъ всѣхъ этихъ тюремъ выйти на волю, на вольный свѣтъ“,—слышимъ мы гимнъ рабочихъ. Но послѣдніе оказываются безсильными, и главный герой драмы Чаровицъ—аристократъ, ушедшій въ революцію, попадающій въ охранку, гдѣ сначала на его глазахъ истязаютъ знакомаго рабочаго, а затѣмъ избиваютъ до потери сознанія его самого,—считаетъ, что только нація, народъ въ цѣломъ можетъ найти въ себѣ силу освободиться и смыть пятно рабства съ польской земли. Онъ вѣритъ въ народъ, какъ великую и таинственную силу. Между нимъ и социаль-демократомъ Загоздой происходитъ такой діалогъ:

— Я не знаю, что такое нація,—говоритъ социалистъ.

— Нація,—отвѣчаетъ патріотъ Чаровицъ—это—то, что въ человѣческихъ скопленіяхъ на земномъ шарѣ есть наиболѣе истин-

наго, наиболѣе существеннаго. Бытіе націи—самая основная истина и самая глубокая тайна. Чувство любви къ своей націи непонятно и неистребимо, какъ любовь родителей къ дѣтямъ и дѣтей къ родителямъ. Подобно тому, какъ въ насъ живутъ нашъ отецъ, дѣдъ и прадѣдъ, точно также въ народѣ вѣчно живетъ и продолжается его прошлое, напрягаются силы, дѣйствія, желанія и идеи пращуровъ, вѣчно изъ мертвыхъ воскресающія. Подобно тому, какъ сердце дрожитъ при видѣ могилы родителей, дрожитъ сердце при мысли объ уходящемъ въ бездонную глубь прошломъ народа.

— Но скажи мнѣ,—возражаетъ Загода—подъ какимъ же знаменемъ объединиться мнѣ со станьчиками, угодовцами ¹⁾ и національ-демократами, которые попираютъ все, ради чего я жизнь свою обрекъ на столько страданій. Что, кромѣ языка, можетъ связывать меня съ ними?

— Судьба Польши,—отвѣчаетъ Чаровицъ.

— Я не признаю судьбы,—говоритъ социалистъ.—Я вѣчно сражаюсь... Я тащу плугъ къ невѣдомымъ нивамъ, которыя несчастный народъ не умѣетъ вспахивать... Я иду къ новому міру.

На чьей же сторонѣ самъ авторъ?

Патріотъ-социалистъ, онъ хотѣлъ бы соединить новый міръ, къ которому идетъ Загода, съ неумирающимъ прошлымъ, которое носитъ въ душѣ своей Чаровицъ. Въ грядущемъ ему грезятся невиданныя еще роскошныя нивы, но это—польскія поля съ дорогими польскому сердцу могилами. Онъ ненавидитъ и презираетъ настоящее, безсильное, мѣщанское, сѣрое, но онъ отрицаетъ его не только во имя красоты грядущаго, но и во имя величія прошлаго.

Вскорѣ послѣ первыхъ разсказовъ Жеромскаго, которые стали появляться въ началѣ девяностыхъ годовъ минувшаго вѣка въ еженедѣльникѣ „Голось“ (Głos), легальномъ органѣ съ социалистическими тенденціями,—разсказовъ, рисующихъ городскую и деревенскую нищету, проникнутыхъ острымъ чувствомъ протеста противъ социальной неправды,—появляется разсказъ Жеромскаго „Могила“ (1895), герой котораго—юноша-интеллигентъ—впервые почувствовалъ настоящую любовь къ родинѣ лишь тогда, когда очутился на великой могилѣ, на могилѣ борцовъ за свободу Польши, дравшихся подъ знаменами Костюшки.

Въ повѣсти „Лучъ“ (Promień) политическій ссыльный Радускій, вернувшись въ родной городъ, провинціальный городъ Царства Польскаго, проникается глубокимъ отвращеніемъ къ нищетѣ, грязи, пошлости этой провинціальной жизни: обыватели средняго класса, пошлые трусы, дѣльцы, проживающіе жизнь самымъ неинтерес-

¹⁾ „Станьчики“—польскіе консерваторы въ Галиціи, отстаивающіе интересы крупнаго землевладѣнія и заигрывающіе съ вѣнскимъ дворомъ, „угодовцы“—политики консервативнаго лагеря въ русской Польшѣ, проповѣдующіе примиреніе съ русской государственностью.

нымъ, сѣрымъ образомъ (здѣсь Жеромскій напоминаетъ Чехова), еврейская городская бѣднота живетъ въ умственной тѣмѣ, въ такую же тѣму погружено польское крестьянство. Фабрика своимъ стопудовымъ молотомъ дробить ремесла для того, чтобы продуктами труда оборванцевъ заливать „рынки“ безъ малѣйшей пользы для культуры мѣстной жизни...

Всюду чернь, нищета, грязь.

Когда Радускій, такъ размышляя, шелъ, спотыкаясь, по отвратительному тротуару родного города, онъ чувствовалъ, какъ со всѣхъ сторонъ просачивалось въ него *taedium vitae*. Уйти куда-нибудь, убѣжать, ничего не знать, окунуться и раствориться въ чемъ-либо безграничномъ и тепломъ, отдохнуть въ небытіи на вѣки, на вѣки.

„Но вдругъ за стѣнами домовъ, гдѣ-то въ глубинѣ города, раздался странный звукъ, прорѣзалъ воздухъ, затерялся среди облаковъ. Послѣ него взлетѣлъ другой, третій... Радускій остановился, словно вкопанный, и слушалъ. Гудѣлъ одинокій, большой, извѣчный колоколъ старой башни. Какимъ чудеснымъ казался его голосъ! Это не былъ просто звукъ. Это было слово. Радускій слышалъ его въ трепещущемъ сердцѣ своемъ, какъ онъ звалъ изъ тѣни ночи“...

Это—голосъ прошлаго... И этотъ голосъ, колоколъ старой башни польскаго города все сильнѣе начинаетъ звучать въ душѣ Жеромскаго, напоминаетъ ему однихъ славы, величія, геройскихъ битвъ и дикой воли. Подобно великимъ поэтамъ-романтикамъ Польши, онъ начинаетъ поэтизировать ея прошлое.

Соціалистъ протестуетъ въ душѣ его противъ этого поэтизированія, напоминаетъ ему о крѣпостничествѣ, безправіи, гнетѣ, онъ слышитъ жалобу косарей, которая изъ поколѣнія въ поколѣніе уносится вмѣстѣ съ утренней росой надъ польскими нивами, онъ слышитъ изъ-подъ земли стоны замученныхъ въ панской неволѣ... Но, не смотря на все это, что-то влечетъ его къ минувшему: патриоту-романтику дорогъ рыцарскій героическій духъ прошлаго. И вотъ этотъ-то духъ онъ хочетъ соединить съ задачами нашего времени, влить его въ борьбу за свободу и равенство, за всеобщее счастье на землѣ. Романтическая греза Словацкаго, по которому „сномъ золотымъ польскаго рыцарства былъ Новый Іерусалимъ, градъ Божій на землѣ“,—эта греза оживаетъ въ мечтахъ Жеромскаго. Въ исторической трагедіи „Сулковскій“ мы видимъ польскаго мечтателя-революціонера, который въ польскихъ легіонахъ Наполеона видитъ полки, призванные завоевать свободную Польшу, на острияхъ штыковъ своихъ нести туда строй равенства, свободы и братства. И ему грезится, что, когда придутъ въ польскую землю эти побѣдоносные полки, то, быть можетъ, даже не придется прибѣгать къ кровопролитію, не нужно будетъ, чтобы братъ брату рубилъ голову и багрялъ кровью руки, какъ дѣлалъ французскій народъ, чтобы вырвать изъ себя рабство. „Быть можетъ,—говоритъ офицеръ Сул-

ковскій польскимъ солдатамъ—при одномъ радостномъ звукѣ вашего голоса, отъ одного блеска вашихъ штыковъ радостно раскроется сердце брата... Быть можетъ, Польшѣ суждено быть этимъ единственнымъ въ мірѣ градомъ Іерусалимомъ, гдѣ справедливость не путемъ насилія, а путемъ любви водворится“.

— Ваша милость, мнѣ кажется, что этому не бывать,—отвѣчаетъ офицеру старый солдатъ въ драмѣ Жеромскаго. Въ этомъ частномъ вопросѣ Жеромскій, пожалуй, на сторонѣ стараго солдата, а не офицера, т. е., вѣроятно, онъ не думаетъ, чтобы въ Польшѣ, получившей политическую независимость, безъ борьбы, а силою любви, восторжествовала социальная справедливость. Но онъ вмѣстѣ съ Сулковскимъ идею социальную соединяетъ съ національнымъ дѣломъ. Польскій рабочий въ представленіи Жеромскаго борется не только за свои социальные права, но и за Польшу, онъ продолжаетъ жизнь польскаго народа... Современный борецъ за свободную и справедливую Польшу воплощаетъ въ себѣ и ея прошлое, и ея будущее.

„Нѣтъ прошлаго и нѣтъ легендъ!—воскликаетъ Сулковскій.

— Есть лишь то, что въ насъ есть и что мы созидаемъ... Все прошлое и все грядущее должно заключаться въ насъ самихъ... Отечество—это сама жизнь. Какъ кровь пульсируетъ въ жилахъ, какъ сердце бьется въ груди, какъ мысль протекаетъ въ мозгу,—такъ въ насъ живетъ отечество“.

Загадочная, необъяснимая, но неистребимая связь, соединяющая одно поколѣніе съ другимъ, это—идея, которую Жеромскій все болѣе настойчиво развиваетъ, которой старается придать все болѣе ясную форму.

Еще въ „Пеплѣ“ Жеромскій пытался дать образное выраженіе этой таинственной связи между отцомъ и сыномъ. Рафаль Ольбромскій, выгнанный отцомъ изъ дому, послѣ долгихъ лѣтъ бурной жизни, съ умиленіемъ и нѣжностью думаетъ о жестокомъ отцѣ, испортившемъ его юность, грубо смявшемъ его юношескую, счастье сулившую, любовь къ Еленѣ. Онъ видитъ мысленно отца и представляетъ себѣ, что переживалъ тотъ, думая о безвѣстно пропавшемъ сынѣ.

„Ему кажется, что это не онъ думаетъ объ отцѣ, но что самъ онъ—дряхлый старикъ Ольбромскій, что всѣ мысли отца, самые глубокіе корни мыслей, наиболѣе тонкія нити чувствованій отцовскихъ находятся въ немъ. Онъ чувствуетъ, какъ онъ роится, дрожать и страдать. Это не ему жалко, нѣтъ! Это старца гнететъ темное, безповоротное, бездонное движеніе чувства. Новая весна настала, поднялись яровныя, пробудили отъ сна каждую грудку земли, теплый вѣтеръ повѣялъ съ Вислы на Сандомірскую равнину. Всюду, куда глаза глядятъ, родится жизнь. Столько уже лѣтъ все та же жизнь родится... Только сынъ не вернется. Его уже нѣтъ. Онъ сталъ комкомъ глины, кучкой навоза, горсточкой пепла.

Ни одной кости отъ него не осталось. Хоть бы видѣть, что отъ него осталось! Хоть бы рукой пощупать! Еслибы онъ лежалъ на кладбищѣ, что виднѣется въ полѣ, онъ пошелъ бы теперь къ нему, когда никто не видитъ, и въ могилу ему передалъ бы свою отцовскую волю. Да... Какая это ужасная вещь пережить ребенка! Сердце старика сжимается, бьется въ судорогѣ, но уже ни одной слезы не можетъ пролить "...

Это, разумѣется, длится одно мгновенье, когда Рафалъ перевоплощается въ отца и начинаетъ чувствовать его чувствами, но это мгновенье открываетъ единство жизни, идущей отъ отца къ сыну, жизни рода. Инстинктъ этой жизни рода и заглушаетъ въ душѣ Рафала индивидуальную скорбь. Этотъ родовой инстинктъ служить связью съ той національной стихіей, въ которой растворяется Рафалъ и становится новымъ человѣкомъ. Когда читаешь „Пепель“, то все это кажется надуманнымъ, мы слѣдимъ за мыслями Рафала, но не чувствуемъ его переживаній, намъ не вѣрится, чтобы онъ дѣйствительно сталъ равнодушнымъ къ памяти Елены и чтобы отецъ ему сталъ такъ близокъ и дорогъ. Это попросту нужно автору для торжества его идеи: нужно показать, что въ стихіи рода можно найти спасеніе тамъ, гдѣ терпитъ крушеніе индивидуальное бытіе.

Эту мысль Жеромскій сдѣлалъ темой своего предпоследняго романа „Краса жизни“.

Романъ „Краса жизни“ (Uroda zycia), появившійся лѣтомъ прошлаго года, изъ всѣхъ произведеній Жеромскаго имѣлъ при своемъ появленіи едва-ли не самый шумный успѣхъ. Печать была наводнена статьями по поводу новаго романа, еженедѣльная „Правда“ посвятила ему цѣлый номеръ, и подавляющее большинство отзывовъ сводилось къ восторженнымъ похваламъ по адресу Жеромскаго. Успѣха этого никоимъ образомъ нельзя объяснить художественными достоинствами произведенія.

Въ художественномъ отношеніи „Краса жизни“ неизмѣримо ниже прежнихъ произведеній Жеромскаго—его первыхъ рассказовъ, „Бездомныхъ“, „Пепла“ и „Исторіи грѣха“. Въ „Красѣ жизни“ много неяснаго, психологически немотивированнаго, противорѣчиваго, схематическаго, блѣднаго. И еслибы Жеромскій вслѣдъ за этимъ романомъ не написалъ дѣйствительно художественной и сильной вещи („Вѣрная рѣка“), то можно было бы на основаніи „Красы жизни“ прійти къ грустнымъ мыслямъ объ упадкѣ дарованія Жеромскаго, объ ослабленіи его творческихъ силъ. Восторгъ, вызванный „Красой жизни“, объясняется всецѣло патріотической тенденціей этого произведенія. Патріотическія струны натянуты сейчасъ въ польскихъ сердцахъ сильнѣе, чѣмъ когда бы то ни было, и онѣ-то сочувственно зазвучали въ отвѣтъ на „Красу жизни“. Польскому читателю понравилось то, что новый герой Жеромскаго, русскій офицеръ польскаго происхожденія,

Петръ Розлуцкій возвращается къ польской національности. Читателямъ Жеромскаго уже и раньше была знакома фамилія Розлуцкаго. Въ разсказѣ „Лѣсные отзвуки“ (Echa lésne) мы встрѣчаемся съ генераломъ Розлуцкимъ, полякомъ по происхожденію, но преданнымъ русскому правительству: онъ былъ однимъ изъ усмирителей возстанія 1863 года и разстрѣлялъ родного племянника—молодого офицера, перешедшаго на сторону польскихъ повстанцевъ. Сынъ этого разстрѣляннаго офицера и является героемъ новаго романа Жеромскаго.

Воспитанный въ кадетскомъ корпусѣ въ духѣ русскаго патриотизма, послѣ окончанія ученія онъ ѣдетъ служить въ Польшу, совершенно не зная польскаго языка, враждебно настроенный въ отношеніи къ полякамъ. Но по мѣрѣ того, какъ знакомится онъ со своей забытой родиной, съ ея исторіей и современнымъ положеніемъ, отношеніе его измѣняется, начинается раздвоеніе, и въ концѣ концовъ онъ рѣшаетъ, что онъ—полякъ.

Рѣшительную роль въ этомъ переворотѣ въ душѣ Петра Розлуцкаго сыгралъ разсказъ его дяди про смерть отца Петра, разстрѣляннаго дѣдомъ его. Розлуцкій идетъ на могилу отца, похороненнаго въ лѣсу на томъ мѣстѣ, гдѣ былъ разстрѣлянъ. Одинокая плакучая береза стояла на томъ мѣстѣ, она нагнулась и почти касалась земли своими длинными вѣтвями. На березѣ этой висѣлъ большой крестъ, страннымъ образомъ къ ней прикрѣпленный. Крестъ, повидимому, былъ вкопанъ въ землю, основаніе его сгнило и онъ упалъ, но чья-то рука подняла его и укрѣпила межъ двухъ развѣтвляющихся стволовъ березы. Береза оплела крестъ своими вѣтвями и онъ словно сросся съ деревомъ. Эта береза съ выросшими въ нее крестомъ становится въ глазахъ Розлуцкаго символомъ его родины, могила, надъ которой растетъ эта береза, уже не выходитъ изъ его души, его постоянно тянетъ къ ней. Онъ хочетъ увѣриться воочию, что его отецъ дѣйствительно здѣсь похороненъ, что это не легенда, и однажды ночью онъ разрываетъ могилу, откапываетъ зарытыя въ ней кости, ласкаетъ ихъ съ безконечною нѣжностью.

А когда послѣ этого, простившись съ дорогими останками, онъ садится на лошадь и ѣдетъ домой, онъ чувствуетъ приливъ необычайной мощи.

„Почувствовавъ въ себѣ силу души, охватывающую небо и землю, всадникъ простеръ къ небу мощныя руки—это его руки, но въ нихъ словно отцовскія кости,—онъ протянулъ свои руки на встрѣчу своему безграничному труду. Онъ вырвался изъ всѣхъ узъ, поднялся выше самого себя, выше жизни и смерти, и улыбку силы духа утопилъ въ небесной улыбкѣ вѣчности“.

У читателя, знакомаго съ польской поэзіей, этотъ образъ неизбежно вызоветъ въ памяти „Фариса“ Милкевича, этого арабскаго всадника, который, выдержавъ въ пустынѣ борьбу съ ура-

ганомъ, съ чувствомъ безграничной свободы и мощи протягиваетъ руки къ чистому звѣздному небу и тонетъ душой въ небѣ.

Это не случайное сходство художественныхъ образовъ: Жеромскій возвращается здѣсь къ романтизму.

Розлуцкій, черезъ могилу отца нашедшій путь къ потерянной родинѣ, это уже не реальный человѣкъ современной жизни, какимъ онъ обрисованъ въ первыхъ главахъ, а настоящій романтический герой. Какъ Конрадъ Валленродъ, онъ личное счастье приноситъ въ жертву во имя любви къ родинѣ. Розлуцкій любитъ Татьяну, дочь русскаго генерала, но, сознавъ въ душѣ, что онъ полякъ, онъ уходитъ отъ нея, хоронитъ свою любовь. Какъ Конрадъ изъ поэмы Мицкевича „Dziady“, Розлуцкій—одинокій герой, преисполненный сознанія своей силы, считающій себя призваннымъ освободить родину, воплощающій въ себѣ цѣлый народъ. Критики, такъ восторженно привѣтствовавшіе „Красу жизни“, не обратили вниманія на то, что Розлуцкій послѣ перерожденія—не живой человѣкъ, а какой-то блѣдный призракъ, точно онъ дѣйствительно вышелъ изъ той могилы, въ которой зарыты кости его отца, не обратили вниманія на то, что герой Жеромскаго совершенно одинокъ въ обрѣтенной имъ родинѣ, не входитъ въ ея жизнь, не завязываетъ связей съ польскимъ обществомъ. Последнее Жеромскій, какъ и въ большинствѣ своихъ произведеній изъ современной жизни, изобразилъ въ отрицательныхъ, мрачныхъ краскахъ. „Краса жизни“ не открываетъ намъ творческихъ силъ въ польской дѣйствительности и Петръ Розлуцкій подъ обаяніемъ прошлаго (въ немъ просыпается геройскій духъ его отца), а не этой дѣйствительности, возвращается къ родинѣ. Это типичный романтикъ, одинокій мечтатель—герой, презирающій толпу, вѣрящій не въ массы, не въ коллективную творческую работу, а въ свои силы.

Лишенный связей съ реальной жизнью, Розлуцкій естественно долженъ жить въ мірѣ грезъ и фантастическихъ плановъ, какъ и Чаровицъ, герой „Розы“, или Сулковскій. Сулковскій вѣрилъ въ Наполеона, которымъ хотѣлъ воспользоваться для осуществленія своихъ идеаловъ. Теперь Наполеона нѣтъ, и современный романтикъ-патріотъ возлагаетъ свои надежды на какое-то геніальное изобрѣтеніе, которымъ удастся воспользоваться для цѣлей освобожденія. Воскресаетъ теорія геніевъ-изобрѣтателей, освободителей народа: „Единственная настоящая и несомнѣнная сила это—геній, и его функція—изобрѣтеніе. Техническое изобрѣтеніе становится цѣнностью духовной, если пробуждаетъ рабовъ отъ смерти души, сокрушаетъ въ ихъ груди скипетръ тирана. Подобно тому, какъ военныя суда и орудія смерти бросаютъ на души людскія тѣнь рабства и создаютъ его уродливый идеалъ, такъ точно требуется техническое изобрѣтеніе и для того, чтобы блескомъ идеала свободы освѣтить души людскія“.

Слѣдуя этой теоріи, Чаровицъ изобрѣтаетъ новое взрывчатое вещество, Розлуцкій—совершенствуетъ аэропланы. Освобожденіе человѣчества при помощи внѣшняго чудодѣйственнаго средства усиліями героя, стоящаго надъ толпой—вотъ мысль, къ которой пришелъ въ концѣ концовъ Жеромскій. Пришелъ онъ къ этой мысли логически неизбежно, пытаясь соединить патріотизмъ съ социализмомъ, идею классовую съ идеей отечества. Эта идеологія въ современномъ, разслоившемся на классы, обществѣ обрекаетъ человѣка на положеніе одинокаго мечтателя или не менѣе одинокаго борца-героя. Патріотическая идея не находитъ благоприятной почвы въ классовомъ сознаніи рабочихъ, социалистическій идеаль—въ патріотически настроенномъ мѣщанствѣ. И Жеромскій отлично видитъ, что патріотизмъ послѣдняго, чисто практическій, земной, ничего общаго не имѣетъ съ его патріотической грезой, съ романтическими мечтами о Новомъ Іерусалимѣ, сходящимъ съ неба на польскую землю. Подъ флагомъ патріотизма въ Польшѣ, какъ и всюду, ведется совсѣмъ не утопическая борьба съ социализмомъ, во имя единства національных интересовъ рабочіе приглашаются не наносить ущерба своимъ фабрикантамъ, не устраивать стачекъ, не бороться за свои интересы. Кто хоть разъ почувствовалъ такъ же сильно, какъ Жеромскій, трещину, расколовшую въ наше время весь земной шаръ на два міра, тотъ не можетъ не чувствовать лживости всякой націоналистической идеологіи, которая лишь въ заоблачныхъ высяхъ, на туманныхъ высотахъ идеалистической мысли можетъ казаться чистой, безобидной, гуманной, нереакціонной: лишь только она сходитъ съ этихъ высотъ на землю, она первымъ дѣломъ служитъ тому, чтобъ прикрыть социальную неправду, отвлечь отъ нея взоры и, слѣдовательно, продлить ея существованіе къ явной выгодѣ однихъ и столь же явной невыгодѣ другихъ, хотя тѣ и другіе стоятъ подъ однимъ и тѣмъ же національнымъ знаменемъ.

Глубоко реакціонный характеръ націоналистической идеологіи въ странахъ независимыхъ въ политическомъ отношеніи, у народовъ неугнетенныхъ слишкомъ очевиденъ; въ обществѣ, испытывающемъ гнетъ чуждой національности, этотъ социальный характеръ націоналистической идеологіи сильно затушевывается. Грань между возмущеніемъ противъ національнаго угнетенія, защитой своего языка, индивидуальной свободы и личнаго достоинства, съ одной стороны—и защитой социальныхъ привилегій подъ національнымъ флагомъ, съ другой—незамѣтно стирается. Идея національная въ такихъ условіяхъ являетъ собою одновременно и нѣчто такое, чему не можетъ не сочувствовать чувствующій и мыслящій человѣкъ, и нѣчто иное, противъ чего этотъ же человѣкъ не можетъ не протестовать всей своей душой. Въ этомъ трагедія польской интеллигенціи. Трагедія эта тяготеетъ и надъ творчествомъ Жеромскаго. Столь чуткій ко всякой неправдѣ писатель, какъ онъ,

такъ ярко воссоздававшій язвы современнаго общества, такъ рѣзко протестовавшій устами Юдыма противъ соціальной неправды, не можетъ не видѣть и сознательнаго лицемерія, и наивнаго незнанія жизни, и умышленнаго закрыванія глазъ на дѣйствительность въ націоналистической идеологіи. И поэтому, создавая своихъ героев-патріотовъ, онъ долженъ брать ихъ не изъ жизни, долженъ уходить отъ дѣйствительности или въ глубь прошлаго, или въ мечту о будущемъ. И выходятъ эти герои не живыми людьми, а блѣдными фантастическими призраками, отвлеченными образами.

Тамъ, гдѣ Жеромскій не задается патріотической идеологіей, а даетъ лишь волю своей патріотической скорби и рисуетъ жизнь такую, какова она есть, тамъ онъ по прежнему большой художникъ. Онъ доказалъ это „Вѣрной Рѣкой“¹⁾.

Это глубоко поэтическая и трогательная исторія любви на фонѣ кровавыхъ событій 1863 г. Юная дѣвушка красавица, дочь эконома, укрываетъ и спасаетъ израненнаго повстанца, богатаго молодого аристократа. Она ухаживаетъ за нимъ, какъ сестра милосердія, съ огромнымъ рискомъ для себя укрываетъ его во время обысковъ. Она полюбила его и, не думая о послѣдствіяхъ, отдается ему, когда онъ выздоровѣлъ, она готова идти за нимъ на край свѣта, но вотъ пріѣзжаетъ мать юнаго повстанца, княгиня, и увозитъ его съ собой за-границу. Она очень благодарна дѣвушкѣ за то, что она спасла жизнь ея сыну, но допустить брака между ними, неравнаго брака, она не можетъ. Соціальные различія остаются различіями даже при высшемъ напряженіи патріотическихъ чувствъ. Національныя бури, потрясающія политическую жизнь народа, оставляютъ нетронутыми соціальныя перегородки. Жеромскій мастерски показалъ это въ своей послѣдней повѣсти. И это — чисто художественная вещь, въ которой есть страницы, не уступающія лучшимъ страницамъ первыхъ произведеній Жеромскаго, гдѣ онъ, не задаваясь патріотической идеологіей, воспѣвалъ красоту польской земли, тоску и страданія людей, живущихъ на этой землѣ.

Эти страницы останутся нетлѣнными въ польской литературѣ. Жеромскій — великій пѣвецъ польской земли, ея полей и лѣсовъ, горъ и луговъ. Читая его въ подлинникъ, видишь эту землю, чувствуешь ея запахъ: ароматъ цвѣтущихъ луговъ въ солнечный день и запахъ нивы, влажной отъ утренней росы, густое влажное дыханіе лѣса, смѣшанное изъ запаховъ земляники, перегнившей хвои и сосновой смолы; мы слышимъ всѣ звуки, которыми говоритъ эта земля: и шорохъ, который несется по хлѣбамъ, когда колосья во

¹⁾ „Wierna Rzeka“ — послѣдняя повѣсть Жеромскаго изъ эпохи возстанія 1863 г. Въ русскомъ переводѣ она появится въ фельетонахъ „Русскихъ Вѣдомостей“.

снѣ толкають другъ друга, и шумъ, передъ которымъ деревья склоняютъ свои головы въ лѣсу, и вѣчно загадочный говоръ воды...

Но онъ не просто описываетъ внѣшнія картины природы, онъ старается заглянуть въ ея глубь, почувствовать ея жизнь, и въ этихъ глубинахъ онъ видитъ страданіе, какъ и на днѣ души человеческой. Боль, разлитую въ жизни, — вотъ что лучше всего изображаетъ Жеромскій.

Въ „Пеплѣ“ есть рѣдкой красоты картина, — когда юный Рафаль на охотѣ, вслушиваясь въ таинственный шумъ лѣса, вспоминаетъ свое дѣтство. „Вставалъ забытый садъ на задахъ стараго помѣщичьяго дома. Развѣсистыя яблони со стволами, мѣстами суженными, какъ бутылки. Пучки, букеты розовыхъ цвѣтовъ... Крыжовникомъ и смородиной заросли всѣ дорожки. Надъ высокой травой, еще подернутой каплями росы, возвышаются бѣлоснѣжныя, дѣвственныя вишневые деревья. Кажется, что это весеннія тучки, утреннія облака забрели сюда съ далекаго неба и безпомощно разсѣлись между старыми тополями у стараго забора. Жужжатъ пчелы, осы, мухи, весь садъ наполняютъ говоромъ, а сердце тревогой и благоговѣніемъ, неизвѣстно почему. Охъ, какъ же хорошо, какъ радостно въ этомъ тѣнистомъ саду родного дома!..

„Маленькій мальчикъ, болтушка, здоровый и счастливый, напѣвая, бѣжитъ по дорожкамъ этого сада, прыгаетъ у ногъ отца, несущаго заряженное ружье, и заботится лишь о томъ, чтобы не замочить росой своихъ ногъ. Тутъ бросится ему въ глаза гусеница, ползущая по мокрому листу, тамъ — улитка чернѣетъ въ бѣлой росѣ; лучъ солнца упалъ на пурпурную чашу тюльпана, только расцвѣтшаго этимъ утромъ... Тишина... Въ листьѣ раздается сладостный и веселый, какъ сама весна, какъ дума ребенка, голосъ иволги. Вдругъ съ грохотомъ молніи падаетъ выстрѣлъ и гремитъ среди деревьевъ. Сердце цѣпенѣетъ и перестаетъ биться. Радостное тѣло все дрожить... съ верхушки вяза, растущаго въ углу сада, падаетъ, трепыхаясь крыльями, золотая иволга и кровью пачкаетъ влажную траву. Ахъ, еще виденъ ея раскрытый клювъ и страшные пронизывающіе глаза! Слышенъ ея шипящій сдвоенный свистъ, когда онъ протянулъ къ ней руку. И вдругъ испугъ. И не поддающаяся описанію дѣтская боль, заглушающая и испугъ, и радость, и месть. Бьется птица, съ боку на бокъ кидается. Встаетъ на ноги... Глаза ея потускнѣли, нѣсколько разъ еще раскрылись. Глядятъ. Чѣмъ-то задернулись, заволочились...

„Когда это было и гдѣ? Были ли на самомъ дѣлѣ, или только снились ему эти жестокіе, птичьи глаза, вбитые въ память, какъ гвозди, вбитые въ раны, еще въ началѣ жизни нанесенныя?“

Душа Жеромскаго, истерзанная всѣми скорбями, какія знаетъ каждый мыслящій человѣкъ нашего времени и еще одной, какой не знаютъ мыслящіе и чувствующие люди другихъ, болѣе счастли-

выхъ народовъ, эта душа словно пришла на свѣтъ уже съ этими гвоздями, „вбитыми въ раны, въ началѣ жизни нанесенныя“!

И вотъ тамъ, гдѣ онъ раскрываетъ эту израненную душу, тамъ онъ— настоящій и сильный художникъ: пѣвецъ польской „больной совѣсти“, пѣвецъ изстрадавшейся интеллигентской души.

Л. Козловскій.

Обозрѣніе иностранной жизни.

1. Политика и экономика Сѣверо-Американскихъ Штатовъ. Демократы у власти. — 2. Смерть Моргана и социальная мощь американскаго капитализма. — 3. Хаосъ европейской политики.

I.

Два событія американской жизни находятъ въ настоящее время широкій отголосокъ не только въ заатлантической прессѣ, но и въ печати всего міра. Это, съ одной стороны, вступленіе въ должность новаго президента Сѣверо-Американскихъ Штатовъ, Удро Вильсона. Это, съ другой, смерть одного изъ самыхъ типичныхъ милліардеровъ нашей эпохи, Джона Пирпонта Моргана. Одно изъ событий олицетворяетъ политику великой Заатлантической республики, другое—ея экономику. Можетъ быть, болѣе, чѣмъ гдѣ-нибудь, въ Сѣверо-Американскихъ Штатахъ эти двѣ сферы человеческой дѣятельности тѣсно связаны между собою, и въ настоящее время, въ силу извѣстныхъ историческихъ условій, именно экономика обладаетъ здѣсь особенной инициативностью, почти всегда ведя за собою политику. Говоря такъ, мы отнюдь не думаемъ лишь повторять ставшую банальной фразу о всемогуществѣ доллара. Преобладающая роль хозяйственныхъ интересовъ на родинѣ Вашингтона и Линкольна имѣетъ гораздо болѣе широкую, чисто социологическую сторону. Не входя въ подробности структуры американскаго общества, можно однако нѣсколькими словами охарактеризовать почву, на которой вырабатывалась эта мощь экономики.

Америка стала слагаться въ самостоятельное политическое цѣлое на почвѣ, очищенной отъ всякихъ традицій и пережитковъ стараго строя, за исключеніемъ развѣ тяги къ религіозному міровоззрѣнію. Эта особенность привлекала въ свое время нѣкоторыхъ очень крупныхъ выразителей европейской мысли. Достаточно вспомнить ту идеальную струну, которая звучитъ хотя бы въ обращеніи Гёте (въ 20-хъ годахъ прошлаго вѣка) къ далекой свободной странѣ, гдѣ нѣтъ ни „развалившихся замковъ“, ни „безполезныхъ воспоминаній“. Но и въ начальную эпоху американской исторіи находились уже европейцы, которые, послѣ краткаго увлеченія пер-

вобытной простотой тамошней жизни, съ удвоеннымъ раздраженіемъ принимались бичевать грубость новой республики, ея любовь къ золоту, „мѣшанину гордости и ничтожества, бичей и хартий, цѣпей и правъ, изнывающихъ въ рабской работѣ черныхъ и демократически-настроенныхъ бѣлыхъ“¹⁾).

Прошло еще нѣсколько десятковъ лѣтъ, и это человѣческое общество, основанное на широчайшей инициативѣ личности, на крайнемъ индивидуализмѣ мятущихся въ вихрѣ свободной конкуренціи атомовъ, выдвинуло на первый планъ мощь капитала. Оно рано дало возможность имущимъ слоямъ производить непропорціонально сильное давленіе на политическую жизнь страны, въ государственномъ строѣ которой преобладали центробѣжныя тенденціи и власть носила преимущественно мѣстный и частный характеръ. вмѣстѣ съ тѣмъ необыкновенная ширь перспективъ въ области эксплуатаціи естественныхъ силъ ослабляла стоимость человѣческой личности производителя, который также рассматривался всего чаще, какъ одинъ изъ элементовъ природныхъ богатствъ страны. Почти всѣ силы націи напрягались такимъ образомъ въ направленіи хозяйственного прогресса. И ни наука, ни литература, ни политика въ болѣе высокомъ значеніи этого слова, не могли привлекать къ себѣ такихъ умныхъ и энергичныхъ людей, какіе находились въ рядахъ великихъ „вождей промышленности“ (captains of industry), налагавшихъ отпечатокъ своей могучей индивидуальности на всѣ проявленія общественной жизни. Конечно, Америка, столь быстро развивающаяся по пути экономического прогресса, должна будетъ въ концѣ концовъ создать и такой же сравнительно вліятельный классъ интеллигенціи, какой мы видимъ въ Европѣ. Но пока такъ называемыя питательныя функціи общества, при томъ находящіяся въ распоряженіи класса геніальныхъ, но беззащитныхъ предпринимателей, естественно лежатъ во главѣ угла всей американской жизни. И отношенія лица къ лицу въ сферѣ частной дѣятельности, т. е. экономическая организація, идутъ впереди отношеній лица къ лицу въ общественной сферѣ, т. е. въ области политики.

Намъ неоднократно приходилось уже въ этихъ обзорѣніяхъ указывать, въ какой степени эти типичныя черты Сѣверной Америки сказываются и на всемогуществѣ магнатовъ капитала, и на сравнительной политической слабости массъ, и на наивности тѣхъ средствъ, которыя пускаются въ ходъ самыми могучими рабочими союзами для устраненія золъ капиталистическаго строя, все болѣе и болѣе тяготящаго на плечахъ трудящихся, и на томъ шарлатанскомъ характерѣ социальныхъ реформъ, которыя выдвигаются

¹⁾ Слова изъ неголующаго поэтического посланія Томаса Мура, посѣтившаго Америку въ 1803—1804, къ лорду Форбесу: „The medley mass of pride and misery“, и т. д.

политическими демагогами. Правда, такое положеніе длѣя начинается измѣняться къ лучшему. Но въ настоящее время великая республика страдаетъ всѣми болѣзнями странъ, находящихся въ переходномъ состояніи. Съ одной стороны, сравнительная легкость существованія, частая возможность съ низшихъ ступеней социаль-ной лѣстницы перейти на высшія, отсутствіе гнетущей государственной централизаціи, — всѣ эти особенности мало-по-малу исчезаютъ подъ давленіемъ все обостряющейся борьбы за существованіе. Но, съ другой стороны, еще не успѣли народиться ни ясныя представленія о причинахъ современной неурядицы, ни творческая общественная мысль, развертывающая планы серьезныхъ социальныхъ преобразованій, ни цѣлесообразное вмѣшательство организованной власти въ отношенія между трудомъ и владѣніемъ. И эти недостатки переходной эпохи начинаютъ ослабѣвать лишь въ самое послѣднее время, — правда, цѣною тѣхъ особенностей американской жизни, которыя еще сравнительно недавно позволяли экономистамъ либеральной школы рисовать Заатлантическую республику въ видѣ какого-то земного рая. Съ каждымъ днемъ все горьче и горьче становятся плоды съ того древа познанія добра и зла, которое вырастаетъ на почвѣ странъ, вступившихъ на путь крайней конкуренціи и напряженного капиталистическаго развитія.

Въ послѣднее время, какъ мы опять-таки видѣли въ нашихъ обозрѣніяхъ, Сѣверная Америка начинаетъ обнаруживать все болѣе опредѣленные симптомы того, что и на ея территоріи социальный вопросъ устремляется по такому же руслу, какое прорѣзала себѣ на почвѣ старой Европы борьба великихъ интересовъ. Неровными, колеблющимися шагами, но Соединенные Штаты начинаютъ идти по пути болѣе правильнаго рѣшенія величайшаго вопроса современности. Если до сихъ поръ въ Заатлантической республикѣ было сравнительно мало не только подлинныхъ выразителей міровоззрѣнія труда, но даже и тѣхъ социальныхъ реформаторовъ, которые принадлежатъ по происхожденію или положенію къ привилегированнымъ классамъ, то все же мы начинаемъ замѣчать здѣсь людей, уже прислушивающихся ко все растущему ропоту трудящихся массъ и пытающихся привлечь ихъ на свою сторону, предлагая въ ослабленной, зачастую карикатурной, формѣ тѣ средства противъ социальныхъ недуговъ, которыя раньше ихъ выдвигались послѣдовательными защитниками труда. Та борьба между демократами, республиканцами и отколовшимися отъ послѣднихъ прогрессистами, которая велась во время президентской кампаніи 1912 г. не только между личностями, но и между программами, показываетъ, что американская политическая жизнь вступила въ новый фазисъ развитія.

Выборы Удро Вильсона, который побѣдилъ какъ традиціоннаго республиканца Тафта, такъ и взбунтовавшагося противъ партійныхъ республиканскихъ традицій „прогрессиста“ Рузвельта, го-

ворять, во всякомъ случаѣ, о давно небываломъ оживленіи въ общественной жизни Америки. На программѣ восторжествовавшаго кандидата отражается результатъ борьбы не только съ демагогическо-программой Теодора Рузвельта, но и съ программой американскихъ социалистовъ, которая, кстати сказать, вдохновляла и предприимчиваго „Тедди“, въ его попыткахъ уловить душу избирателей. И, если въ программахъ боровшихся партій, цѣликомъ стоящихъ на почвѣ современнаго строя, все чаще и чаще слышались подъ вліяніемъ этой психологіи слова „управленіе народа народомъ“, „соціальная справедливость“, и т. п., то и въ столь официальной рѣчи, какъ президентское обращеніе къ народу въ день вступленія Вильсона въ должность, замѣчалось стремленіе болѣе серьезно отнестись къ политическимъ и социальнымъ вопросамъ современности, чѣмъ къ тому насъ приучили носители федеральной исполнительной власти.

Новый президентъ республики въ своей рѣчи, произнесенной 4 марта н. с. съ гигантской платформы, временно поставленной у Капитолія въ Вашингтонѣ, провелъ разницу между могучимъ развитіемъ производительныхъ силъ страны и расхищеніемъ участвующихъ въ этомъ процессѣ человеческихъ жизней, т. е. отказался, наконецъ, отъ силошного оптимизма официальныхъ представителей Сѣверо-Американскихъ Штатовъ: „Мы видимъ, что во многихъ отношеніяхъ наша жизнь по-истинѣ велика. Ея величіе, несравненное съ матеріальной точки зрѣнія, выражается въ общей массѣ богатствъ, въ разнообразіи и размахѣ ея энергіи, во всевозможныхъ отрасляхъ промышленности, созданныхъ и осуществленныхъ и геніемъ отдельныхъ лицъ, и безграничной предприимчивостью группъ. Эта жизнь велика также съ нравственной стороны. Нигдѣ въ свѣтѣ не было болѣе благородныхъ мужчинъ и благородныхъ женщинъ, которые бы въ болѣе яркой формѣ проявили красоту и силу симпатіи, активность и разумность своихъ усилій исправить зло, облегчить страданія и поставить слабыхъ на путь силы и надежды. Сверхъ того, мы создали великую систему правленія, которая выстояла втеченіе долгаго времени, какъ образецъ во многихъ отношеніяхъ для всѣхъ тѣхъ, кто ищетъ упрочить свободу на основахъ, могущихъ сопротивляться и внезапнымъ переменамъ, и случаю, и бурямъ.

„Но съ добромъ пришло и зло. И много чистаго золота было испорчено. вмѣстѣ съ богатствами пришло непростительное расхищеніе. Мы расточили большую часть того, что могли бы употребить въ дѣло... Мы гордились нашими промышленными успѣхами, но мы не останавливались достаточно вдумчиво надъ цѣнностью человеческой жизни, цѣнностью раздавленныхъ существованій, перегруженныхъ тягостями и разбитыхъ энергіей, страшнаго физическаго и духовнаго расхищенія силъ мужчинъ, и женщинъ, и дѣтей, на которыхъ мертвый вѣсъ и тяжесть всего этого нестроенія безжалостно давили цѣлыми годами. До нашихъ ушей еще не до-

стигли стоны и агонія страданій, звуки торжественнаго, трогательнаго голоса жизни, идущаго изъ рудниковъ и фабрикъ и изъ каждой семьи, гдѣ борьба за существованіе сидитъ упорно у самаго очага... Великая система правленія, которую мы такъ цѣнили, часто употреблялась нами для частныхъ и эгоистичныхъ цѣлей, и тѣ, кто держалъ власть въ рукахъ, забыли о народѣ... Было нѣчто жестокое, безсердечное и безчувственное въ той торопливости, съ какой мы отремилсь преуспѣвать и возвеличиваться. Нашей мыслью было: „Пусть каждый человѣкъ и каждое поколѣніе заботится только о себѣ“. И тѣмъ временемъ мы воздвигали гигантскій міръ машинъ, который сдѣлалъ какъ разъ невозможнымъ заботиться о себѣ никому, кромѣ тѣхъ, кто стоялъ у рычаговъ управленія...

„Мы не изучили и не усовершенствовали тѣхъ средствъ, при помощи которыхъ правительство могло бы посвятить себя служенію человѣчеству, охраняя здоровье націи... и права людей въ борьбѣ за существованіе. А, между тѣмъ, это отноше не долгъ какой-нибудь сантиментальности. Прочнымъ основаніемъ правительства является справедливость, а не состраданіе... Нѣтъ никакого равенства въ шансахъ успѣха, — этого перваго и существеннаго элемента справедливости въ политическомъ тѣлѣ,—если мужчины, женщины и дѣти не ограждены въ своемъ существованіи, въ самой жизненности своей отъ послѣдствій тѣхъ великихъ промышленныхъ и социальныхъ процессовъ, которые они не могутъ ни измѣнить, ни контролировать, ни преодолѣть. Общество должно позаботиться о томъ, чтобы не ослаблять и не разрушать себя и не портить свои составныя части... Законы, касающіеся санитарныхъ условій, здоровой пищи, законы, устанавлиющіе условія труда, установить которыхъ для себя личности безсильны, являются существенными элементами справедливости и активнаго законодательства“ ¹⁾.

Конечно, на основаніи однихъ этихъ словъ нельзя еще заключать, что американская политика уже претерпѣла существенное измѣненіе. Мы, разумѣется, не придираемся къ легко объяснимому американскимъ патріотизмомъ преувеличенію въ рѣчи Вильсона одѣтельности несоравненно „благородныхъ женщинъ и мужчинъ“ въ дѣлѣ помощи слабымъ. Но надо еще посмотрѣть, насколько удастся новому президенту сохранить свой реформаціонный пылъ подъ давленіемъ тѣхъ великихъ социальныхъ интересовъ, которые представлены въ Америкѣ группами необычайно богатыхъ и необычайно вліятельныхъ людей. Какъ извѣстно, полномочія исполнительной власти, находящейся въ рукахъ президента, очень значительны по американской конституціи. Но и они безсильны на добро, если найдутъ сопротивленіе въ конгрессѣ. Пока можно лишь

¹⁾ „The Outlook“, 15 марта 1913, стр. 554—555.

сказать, что у новаго президента доброй воли достаточно. По крайней мѣрѣ, и его сторонники, и даже его враги находятъ, что онъ на самыхъ первыхъ же шагахъ, а именно при составленіи кабинета, проявилъ желаніе считаться не только съ традиціонной тактикой награжденія должностями партійныхъ единомышленниковъ, но и съ дѣйствительными способностями лицъ. Вильсонъ искалъ прежде всего подходящихъ людей, которые могли бы надлежащимъ образомъ проводить политику, объединившую, во время выборной кампаніи, демократовъ и преимущественно прогрессивное ихъ крыло.

Какъ извѣстно, американскій кабинетъ не только нигдѣ не фигурируетъ въ федеральной конституціи въ качествѣ признаннаго закономъ единого цѣлаго,—это вѣрно и по отношенію къ англійскому, французскому, итальянскому кабинету и т. д.,—но онъ вмѣстѣ съ тѣмъ и фактически отнюдь не обладаетъ характеромъ извѣстныхъ намъ въ Европѣ парламентарныхъ министерствъ. Составляющіе его члены не связаны между собою солидарностью, въ цѣломъ же нисколько не являются исполнительнымъ комитетомъ парламента, или, точнѣе выражаясь, господствующей въ немъ партіи, но представляютъ собою скорѣе директоровъ различныхъ департаментовъ верховной администраціи, отвѣтственныхъ каждый въ отдѣльности передъ президентомъ. А послѣдній, пользуясь ихъ совѣтами, отнюдь однако не обязанъ непременно соглашаться съ ихъ мнѣніемъ ¹⁾).

Но обратимся къ составу кабинета. Замѣтимъ кстати, что къ существующимъ девяти министерствамъ (изъ нихъ послѣднимъ по времени было образованное въ 1903 г. министерство торговли и труда) присоединилось еще десятое, только что сформированное министерство труда, функціей котораго должно явиться все то, что касается specially условій жизни трудящихся массъ и социальнаго законодательства. Мѣсто наиболѣе виднаго члена кабинета, а именно статсъ-секретаря, или министра иностранныхъ дѣлъ, дано одному изъ самыхъ выдающихся вожаковъ лѣваго крыла демократической партіи, а именно Уильяму Брайену. Это—честный, способный, энергичный, краснорѣчивый, но отнюдь не чуждый полусознательнаго социальнаго знахарства политическій дѣятель, который неоднократно—въ 1896, въ 1900, въ 1908 г.—выдвигался своей партіей въ кандидаты на президентство и каждый разъ терпѣлъ поражение отъ республиканцевъ. Терпѣлъ отчасти потому, что не боялся идти противъ традиціонныхъ или только что формирующихся интересовъ гигантскаго капитализма Америки, напр., противъ трѣстовъ и поддерживаемыхъ ими высокихъ покровительственныхъ пошлинъ и вообще империализма, но отчасти и по-

¹⁾ Ср. небольшую, но хорошо и популярно написанную книжку: John Fiske, „Civil government in the United States“; Бостонъ-Нью-Йоркъ, 1890, стр. 236—237.

тому, что въ его планахъ не было недостатка въ фантастичныхъ и демагогическихъ элементахъ, которые жадно подхватывались и разносились дальше по странѣ столь распространенной въ Америкѣ разновидностью социальныхъ шарлатановъ. Вспомнимъ хотя бы агитацію Брайена въ пользу неограниченной чеканки серебра и вообще системы биметаллизма, прославленной имъ однажды почти въ комической фразѣ, доставившей ему однако большую популярность среди рядовыхъ избирателей Америки: „Вы не должны давить на чело труда терновымъ вѣнцомъ золота, не должны распинать человечество на золотомъ крестѣ“.

Во всякомъ случаѣ позволительно надѣяться, что Брайенъ будетъ полезенъ республикѣ во внѣшней политикѣ, гдѣ онъ можетъ хоть нѣсколько обломать острія все усиливающагося и становящагося все болѣе задорнымъ имперіализма янки. Вліяніе новаго статсъ-секретаря видимо уже проявилось въ признаніи Сѣверо-Американскими Штатами Китайской республики. И, какъ кажется, не безъ воздѣйствія Брайена одинъ банкирскій американскій домъ согласился дать послѣдней взаимны достаточную сумму денегъ, которая позволитъ Китаю отказаться отъ дорогого благодѣянія шестерной фінансовой коалиціи, составившейся, главнымъ образомъ, изъ капиталистовъ великихъ европейскихъ державъ и требовавшей отъ Срединной республики контроля надъ государственнымъ хозяйствомъ Китая.

Однако демократическій кабинетъ нельзя представлять себѣ и въ видѣ строго объединеннаго министерства послѣдовательныхъ социальныхъ реформаторовъ, которое сейчасъ же примется проводить въ жизнь радикальныя мѣры. Его составъ свидѣтельствуетъ о необходимости для американскаго президента, какъ-ни-какъ являющагося до сихъ поръ представителемъ наиболѣе вліятельныхъ группъ населенія, принимать въ расчетъ не только государственныя и административныя способности членовъ кабинета, но и желанія могущественныхъ слоевъ, выражающихъ интересы капитала и владѣнія и внутри демократической партіи. Любопытенъ, напр., уже тотъ фактъ, что второе по важности мѣсто въ кабинетѣ, а именно министра финансовъ, дано нѣкому Уильяму Мэкъ-Эду (Mc Adoo), который вначалѣ былъ адвокатомъ, но затѣмъ приобрѣлъ большую извѣстность, какъ строитель подводныхъ туннелей и желѣзныхъ дорогъ, соединяющихъ Нью-Йоркъ со штатомъ Нью-Джерси. Этотъ типичный американскій дѣлецъ видимо данъ какъ бы въ противовѣсъ Брайену, реформизмъ котораго пугаетъ людей банка и биржи. А Мэкъ-Эду—ихъ человекъ, и консервативные органы не безъ удовольствія упоминаютъ о его назначеніи, говоря, что, конечно, такой здравомыслящій финансистъ „никогда не придетъ въ ужасъ отъ той законной силы“, которую приобретаютъ въ Сѣверо-Американской республикѣ крупны капиталисты и ихъ различныя группировки.

Очень вліятельный постъ министра внутреннихъ дѣлъ данъ одной изъ знаменитостей демократической партіи, нѣкому Фрэнклину Лэну, который началъ свою карьеру съ газетной дѣятельности, затѣмъ, подобно большинству членовъ настоящаго кабинета, занимался адвокатурой и наконецъ цѣлкомъ погрузился въ политику демократической партіи. Онъ извѣстенъ своей борьбой противъ „злоупотребленій“ трѣстовъ; былъ назначенъ еще республиканскимъ президентомъ Рузвельтомъ въ междуштатную комиссію, рассматривающую желѣзнодорожные тарифы, но, конечно, не принадлежитъ къ числу рѣзкихъ противниковъ современнаго капитала. То же самое придется сказать и относительно министра юстиціи, или, какъ называютъ его американцы, генеральнаго прокурора, Джемса Рейнольдса. Онъ стяжалъ себѣ извѣстность въ качествѣ обвинителя табачнаго трѣста и общества такъ называемыхъ антрацитныхъ желѣзныхъ дорогъ. Однако и у этого человѣка нѣтъ принципиально отрицательнаго отношенія къ коалиціямъ капиталистовъ. А что касается до умѣренности его убѣжденій, то она достаточно обнаруживается въ той оппозиціи, которую онъ всегда оказывалъ взглядамъ и планамъ Брайена.

Недурной примѣръ взаимно нейтрализующейся пары элементовъ въ баттарей кабинета представляютъ министръ торговли, Рэдфильдъ, и глава новаго министерства труда, Уильямъ Вильсонъ. Рэдфильдъ имѣетъ за собою нѣкоторые положительные данныя въ качествѣ человѣка, который и устно, и письменно пропагандировалъ „экономическую справедливость“ и „гуманное обращеніе съ рабочими“, равно какъ усердно боролся съ высокимъ протекціонистскимъ тарифомъ. Но онъ самъ стоитъ во главѣ обширнаго литейнаго завода въ Бруклинѣ и недаромъ чуть ли не одинъ изъ всѣхъ членовъ кабинета противится эвакуаціи Филиппинскихъ острововъ. За то большія надежды возлагаются лѣвымъ крыломъ демократической партіи на министра труда, который началъ свою карьеру въ качествѣ шахтера, былъ одно время членомъ конгресса, но остался и до сихъ поръ въ составѣ тредъ-юніона углекоповъ. Имъ былъ подготовленъ и билль, создавшій новое министерство труда, и онъ, повидимому, наиболѣе пугаетъ консервативные элементы и республиканской, и демократической партіи. Недаромъ нью-йоркскій „Times“ съ огорченіемъ замѣчаетъ, что только что сформированное министерство будетъ не министерствомъ труда, а министерствомъ рабочихъ тредъ-юніоновъ, т. е. „вѣдомствомъ видимо и созданнымъ-то для того, чтобы служить интересамъ небольшого класса населенія. Вѣдь даже и одна десятая часть рабочихъ нашей страны не принадлежитъ къ тредъ-юніонамъ, а между тѣмъ члены этихъ союзовъ обыкновенно враждебны тѣмъ рабочимъ, которые не вошли въ ихъ организацію“.

Нѣкоторое любопытство съ европейской, и specially милитаристской, точки зрѣнія могутъ возбуждать еще, пожалуй, военный

министръ, Гаррисонъ, и морской министръ, Дэннелсъ, оба по профессіи типичные штатскіе, оба юристы, оба до сихъ поръ мало занимавшіеся вопросами бранной науки. Конечно, чисто парламентарныя страны сплошь и рядомъ ставятъ во главѣ своихъ министерствъ арміи и флота штатскихъ, что бываетъ во Франціи, Англіи, Бельгіи, Италіи и т. п., но что до сихъ поръ не безъ комическаго ужаса отвергается милитаристскими государствами, вродѣ Германіи, Австро-Венгріи, Японіи. Въ Америкѣ эта административная практика, впрочемъ, тѣмъ болѣе естественна, что, напр., во время великаго столкновенія между Сѣверомъ и Югомъ крупныя стратегическія таланты какъ-разъ были обнаружены вождями, сравнительно мало занимавшимися во время мира военными дѣлами, а инженерствомъ, фермерствомъ и т. п. По отношенію къ только что назначеннымъ министрамъ военнаго и морского вѣдомствъ газеты высказываютъ, вдобавокъ, то соображеніе, что, по крайней мѣрѣ, одинъ изъ нихъ, а именно Гаррисонъ, крайне способный администраторъ, который очень скоро будетъ прекрасно ориентироваться въ вопросахъ своей специальности, освѣдомляясь въ случаѣ необходимости у профессиональных военныхъ. И лишь надъ Дэннелсомъ пресса позволяетъ себѣ пронизировать, отрицая за новымъ министромъ самомалѣйшія знанія по части флота, хотя и признаетъ, что онъ принадлежитъ къ такимъ выдающимся дѣятелямъ демократической партіи, которыхъ невозможно было бы оставить безъ награды, въ особенности послѣ увѣличившихся успѣхомъ усилій, сдѣланныхъ имъ на президентскихъ выборахъ въ интересахъ Удро Вильсона.

Какъ бы то ни было, новый кабинетъ насчитываетъ едва мѣсяцъ существованія, а уже его друзья и враги,—первые съ одобреніемъ, вторые съ порицаніемъ,—отмѣчаютъ нѣкоторые шаги, которые свидѣтельствуютъ, что въ Америкѣ все же какъ будто намѣчается кое-что новое въ дѣятельности правительства. Большинство новыхъ министровъ, равно какъ и самъ новый президентъ, настроены, по крайней мѣрѣ, противъ того всеокушающаго, ничѣмъ не сдерживаемаго господства капитализма, которое въ области внѣшней политики обнаруживаетъ рѣзкія импералистскія и завоевательныя стремленія, а въ области внутренней политики всячески способствуетъ развитію и безъ того проникающихъ всю американскую жизнь трѣстовъ, упорно держась, напр., за столь любимыя этими гигантскими организаціями высокія таможенныя пошлины. Удро Вильсонъ и его сотрудники дѣйствительно, по видимому, намѣрены отказаться отъ того имперализма, который съ такимъ демагогическимъ искусствомъ пропагандировался Рузвельтомъ и продолжался и при его преемникѣ, Тафтѣ. Новое правительство не только намѣрено, напр., рѣшительно бороться съ планами присоединенія Кубы, которая въ 1909 г. высвободилась изъ-подъ протектората С.-Американскихъ Штатовъ, но составляетъ до

сихъ поръ предметъ вождельшій имперіалистовъ. Оно не желаетъ поощрять и тѣхъ способовъ скрытаго захвата острова американскими пиратами капитала, которые держатъ всю страну въ рукахъ при помощи основанныхъ ими на Кубѣ промышленныхъ и торговыхъ предпріятій (табакъ, сахаръ, кофе, желѣзо). Съ другой стороны,— вещь еще болѣе святотатственная въ глазахъ имперіалистовъ,— правительство Вильсона рѣшило эвакуировать Филиппинскіе острова, которые до сихъ поръ находятся подъ высшимъ управленіемъ Соединенныхъ Штатовъ въ лицѣ генералъ-губернатора, назначаемого президентомъ республики съ согласія сената, и тщетно добиваются независимости, не смотря на то, что эта политика дорого обходится самой Заатлантической республикѣ¹⁾.

Не менѣ отрицательное отношеніе демократическаго правительства къ политикѣ завоеваній обнаруживается и въ позиціи, какую оно заняло въ вопросѣ о вмѣшательствѣ въ мексиканскія дѣла, продолжающія оставаться крайне неопредѣленными и послѣ убійства президента Мадеро клеветами его преемника, Уэрты. Правда, уже Тафтъ отказался отъ такого вмѣшательства, хотя его и толкали на этотъ путь крупные спекуляторы, вложившіе значительныя средства въ желѣзныя дороги, работы по устроению портовъ, эксплуатацію рудъ Мексики. И поддерживавшіе Тафта республиканцы, понимая отвѣтственность, какая пала бы на ихъ партію въ случаѣ неудачной войны съ Мексикою (она можетъ потребовать, по мнѣнію специалистовъ, не менѣ 400.000 войска и пяти лѣтъ усерднаго „успокоенія“ страны), не настаивали до сихъ поръ на этой кампаніи. Но теперь, когда у власти очутились демократы, побѣжденная партія снова подняла агитацію, исходя изъ того соображенія, что въ случаѣ неудачи недовольство населенія обрушится на демократовъ, тогда какъ выгоды вмѣшательства достанутся крупнымъ республиканскимъ капиталистамъ. На эту удочку демократическое правительство однако не идетъ, опредѣленно заявляя, что его роль сводится къ защитѣ жизни и собственности находящихся на мексиканской территоріи иностранцевъ, но далека даже отъ косвеннаго подчиненія Мексики.

Очень дѣятельно принялось правительство за переработку крайне высокаго таможеннаго тарифа. Достаточно сказать, что въ настоящее время этотъ тарифъ отличается такимъ рѣзко протекціоннымъ характеромъ, что при 1653 милліонахъ долларовъ ввоза въ 1912 г. таможенныя пошлины выбирала съ потребителя 314^{1/2} милліоновъ, и система обложенія *ad valorem*, т. е. тарифа, считающагося лишь съ цѣною товаровъ, а не мѣрою и вѣсомъ, проводится

¹⁾ Одинъ мыслящій американецъ доказалъ недавно, что лишь съ 1898 по 1907 г., издержки по завладѣнію архипелага составили сумму до 300 милліоновъ долларовъ и каждый годъ съ тѣхъ поръ тратится на этотъ предметъ 14 милліоновъ. См. James Blount, „The american occupation of the Philippines 1898 to 1912“; Нью-Йоркъ, 1912.

въ Соединенныхъ Штатахъ съ неумолимою строгостію, къ вѣщему удовольствію крупныхъ капиталистовъ и въ особенности гигантскихъ трѣстовъ. Послѣдніе именно и вырастаютъ до своихъ удивительныхъ размѣровъ на почвѣ этого покровительственнаго тарифа, сводящаго почти на нѣтъ конкуренцію производителей и импортеровъ и обрушивающаго тяжесть переплатъ, идущихъ въ карманы капиталистовъ, на плечи потребителей. Въ настоящее время такъ называемая коммиссія Путей и Средствъ (committee of Ways and Means), конечно, въ соотвѣтствіи со взглядами демократическаго правительства, внесла въ палату представителей 7 апрѣля н. с. билль, имѣющій предметомъ серьезное пониженіе таможеннаго тарифа¹⁾. Законопроектъ предусматриваетъ, напр., беспошлинный ввозъ многихъ жизненныхъ припасовъ, предметовъ одѣянія, сырья и полусырья, немедленное пониженіе ставокъ на сахаръ до 25% и совершенную отмену пошлинъ на этотъ продуктъ черезъ 3 года, немедленное же уничтоженіе пошлинъ съ сырой шерсти, уменьшеніе ставокъ на шерстяныя издѣлія, и т. д. При этомъ предполагаемое паденіе таможеннаго поступленія въ размѣрѣ 100 милліоновъ долларовъ рѣшено покрыть суммами, которыя долженъ дать подоходный прогрессивный налогъ, берущій, согласно новому вносимому теперь же биллю, со всѣхъ доходовъ, превышающихъ 4000 долларовъ въ годъ, отъ 1% до 4%, смотря по размѣрамъ дохода.

II.

И однако всѣ эти предложенныя демократическимъ правительствомъ реформы вызываютъ къ себѣ скептическое отношеніе со стороны людей, хорошо знающихъ экономическую и социальную жизнь Америки и присутствовавшихъ при неоднократныхъ попыткахъ лучшихъ дѣятелей страны провести мѣры, которыя шли бы на пользу широкимъ массамъ. Въ перенасыщенной золотыми испареніями атмосферѣ Заатлантической республики всѣ эти планы серьезныхъ реформъ разбиваются о могучее сопротивленіе капитала, который образовалъ гигантскія скученія орудій производства и платежныхъ средствъ и дѣлаетъ изъ руководителей трѣстовъ истинныхъ владыкъ всей страны. Недавняя смерть одного изъ первѣйшихъ милліардеровъ Америки, Джона Пирпонта Моргана, умершаго въ Римѣ, 31 марта н. с., создала уже цѣлую газетную литературу, позволяющую мыслящему наблюдателю бросить общій взглядъ на современное положеніе вещей въ республикѣ. Охваченные тѣмъ обожаніемъ капитала, которое характеризуетъ современ-

¹⁾ По американской конституціи, законопроекты вносятся не правительствомъ, а парламентомъ, въ данномъ случаѣ коммиссіей Путей и Средствъ въ палатѣ представителей.

ную прессу, безчисленные органы европейской и американской печати посвятили самые восторженные некрологи личности и жизни колоссальнаго спекулятора. И именно изъ этихъ восторженныхъ до наивности отзывовъ и оцѣнокъ можно попытаться конструировать столь интересную фигуру „Наполеона финансовъ“.

Морганъ не былъ, пожалуй, вполне характернымъ представителемъ американскаго капитала лишь въ одномъ отношеніи: его милліарды не были цѣликомъ дѣломъ его рукъ и его гениальной финансовой головы, а въ своей зародышевой формѣ возникли изъ тѣхъ милліоновъ, которыми обладали еще его отецъ и его дѣдъ. Уже послѣдній былъ любопытнымъ типомъ американскаго героя спекуляціи, который, послѣ энергичной борьбы за независимость молодой республики противъ тиранніи метрополіи, опочилъ на лаврахъ мирной спекуляціи, захвативъ въ свои руки почти полную монополію омнибуснаго сообщенія въ штатѣ Коннэктикутъ. А его сынъ успѣлъ еще болѣе приумножить капиталы, начавъ съ мѣста одного изъ главныхъ клерковъ въ довольно извѣстномъ банкирскомъ домѣ Нью-Йорка, а затѣмъ переѣхавъ въ Англію и тамъ основавъ крупную фирму „Пибоди и Морганъ“. Въ этой-то фирмѣ и началъ свою стяжательную дѣятельность знаменитый только что умершій Пирпонтъ Морганъ, сынъ ловкаго финансиста и внукъ талантливаго владѣльца омнибусовъ.

Любопытно, что большинство біографовъ, съ энтузіазмомъ изображающихъ жизнь милліардера, — а въ особенности авторъ цѣлой книги, посвященной герою капитала, нѣкто Гёвэй (Hovey), — приписываютъ молодому Моргану тѣ самыя свойства внѣшней неловкости и даже нѣкоторой ограниченности, которыя часто, молъ, маскируютъ въ глазахъ непосвященныхъ истинную природу великихъ людей въ ихъ излюбленной области. Кому изъ насъ не приходилось, дѣйствительно, читать о томъ, какъ тотъ или другой гениальный ученый въ своей ранней юности поражалъ лѣнностью и апатіей ума? Такими же недостатками отличался и молодой Морганъ въ той самой сферѣ, которая впослѣдствіи была ареной его безчисленныхъ побѣдъ. Джонъ Пирпонтъ Морганъ родился въ 1837 г. въ Гартфордѣ (штатъ Коннэктикутъ), гдѣ жили его отецъ и дѣдъ, и получилъ тщательное воспитаніе, сначала въ одномъ изъ бостонскихъ колледжей, а затѣмъ въ Европѣ, и именно гёттингенскомъ университетѣ. Здѣсь молодой Морганъ занимался науками и искусствами, восхищался нѣмецкой поэзіей и основательно штудировалъ математику, скоро достигнувъ въ ней такихъ успѣховъ, что его старшій профессоръ прочилъ его въ преемники себѣ и усилленно упрощивалъ американскаго студента остаться въ Германіи для подготовки къ кафедрѣ. Но, хотя въ это время Морганъ ровно ничемъ не проявлялъ своихъ финансовыхъ способностей, онъ не принялъ предложенія профессора и отправился въ Лондонъ, къ своему отцу.

Чрезвычайно замкнутый, угрюмый, молчаливый, съ грубыми неприятными манерами и вѣчно погруженный въ свои мысли, молодой Морганъ не внушалъ никакой симпатіи окружающимъ. И даже самъ отецъ его въ разговорѣ съ близкими друзьями выражалъ крайне пессимистическіе взгляды относительно будущности своего сына. Въ концѣ 1857 г., 20-лѣтнимъ, по прежнему необщительнымъ юношей, Морганъ вернулся въ Америку и поступилъ на службу въ фирму Дѣнкэна, бывшаго нью-йоркскимъ корреспондентомъ его отца. Три года спустя онъ, впрочемъ, вышелъ изъ нея вслѣдствіе того, что его патронъ, не смотря на просьбы стараго Моргана, не согласился принять начинающаго финансиста въ участники предпріятія. Но еще четырьмя годами позже способности Джона проявились такъ ярко, что съ нимъ вступилъ въ товарищество банкиръ Дѣбнэ и ему же были переданы всѣ американскія дѣла его отцомъ изъ Англіи. Въ 1871 г. Дѣбнэ, по старости лѣтъ и нездоровью, удалился отъ дѣлъ и своимъ партнеромъ Морганъ выбралъ филадельфійскую фирму Дрекслей, при посредствѣ которой знаменитый англійскій домъ Беринговъ продѣлывалъ большую часть своихъ операцій въ Америкѣ. Съ этого момента дѣловая карьера Моргана начинаетъ развиваться все болѣе и болѣе быстрымъ темпомъ. Въ южной части Нью-Йорка, на углу знаменитой улицы банкировъ, извѣстной подъ именемъ Уоллстрита, и Бродстрита выросъ великолѣпный мраморный дворецъ въ стилѣ Ренессанса. Изъ этого-то палаццо распустившій, наконецъ, свои крылья могучій орелъ финансовъ сталъ кружить надъ міромъ международныхъ операцій и то тамъ, то здѣсь выхватывать изъ рукъ соперниковъ огромные куски добычи.

Американскіе біографы съ особымъ умиленіемъ описываютъ первую титаническую борьбу Моргана, стоявшаго во главѣ англо-американскихъ капиталистовъ, противъ еврейско-нѣмецкихъ банкировъ, Джея Кука и Ротшильда. Дѣло шло о томъ, чтобы пристроить часть французскаго займа, понадобившагося послѣ сѣданаго пораженія, а вмѣстѣ съ тѣмъ ссудить федеральному правительству сумму, достаточную для ликвидаціи неурядицы въ сферѣ кредита, выросшей изъ затруднительнаго положенія казначейства послѣ великой войны Сѣвера съ Югомъ. Борьба капиталистовъ продолжалась два года. Въ началѣ 1873 г. европейскіе противники рѣшились дать отступного могучему сопернику и раздѣлили съ нимъ колоссальную добычу, разверставъ поровну заемъ въ полтора миллиарда долларовъ. Ротшильдъ съ его американскимъ помощникомъ, Вельмонтомъ, выбрался невредимымъ изъ этого столкновенія. Но Джей Кукъ, словно коршунъ съ крыльями, переломанными страшнымъ клювомъ нью-йоркскаго орла, быстро пошелъ книзу, потерпѣлъ банкротство и сошелъ съ биржевой сцены.

Отнынѣ звѣзда Моргана становится все ярче и ярче и восходитъ къ зениту американскаго финансоваго неба. Неутомимый дѣлецъ отыскиваетъ себѣ новые пути для упражненія сво-

ихъ гигантскихъ способностей. Въ то время на почвѣ республики стали замѣчаться первыя проявленія огромныхъ группировокъ капиталовъ, которыя впоследствии получили столь популярное названіе трестовъ, а въ эту эпоху носили еще скромное имя соглашений или „комбинацій“. Центромъ своихъ операций Морганъ избралъ въ этотъ моментъ желѣзныя дороги. Надо ясно представить себѣ ту роль, какую эта отрасль промышленности играетъ въ національномъ хозяйствѣ страны ¹⁾. Въ Америкѣ линія желѣзной дороги, словно могучая кровеносная жила, несетъ съ собою въ данную мѣстность, смотря по обстоятельствамъ, или жизнь и здоровье, или смерть и разрушеніе. Вдоль рельсовъ вырастаютъ новые города, въ которыхъ будущія улицы и площади отмѣчаются пока лишь столбами съ надписью. Большинство крупныхъ центровъ въ Соединенныхъ Штатахъ возникло именно благодаря проведенію желѣзныхъ дорогъ. Отъ того или другого направленія рельсового пути зависитъ процвѣтаніе или захуданіе громадныхъ пространствъ. Не смотря на то, что въ Америкѣ желѣзная дорога, проходящая черезъ извѣстный штатъ, должна руководствоваться уставами, выработанными властью этого штата и только для его территоріи, желѣзно-дорожныя компаніи успѣваютъ совершенно вырваться изъ-подъ какого бы то ни было контроля законодательныхъ учреждений, противопоставляя интересы одного штата интересамъ другого.

Не раньше 1887 г. федеральное правительство пришло къ мысли выработать болѣе дѣйствительную обще-государственную систему надзора надъ желѣзнодорожными компаніями, создавъ такъ называемую междуштатную торговую комиссію, которая могла хоть до нѣкоторой степени парализовать беззастѣнчивые и очень разнообразные приемы эксплуатаціи различныхъ областей одной и той же желѣзной дорогой, смѣявшейся надъ попытками регламентаціи со стороны отдѣльныхъ штатовъ. Кстати сказать, лишь недавно, въ 1910 г., эта комиссія приобрѣла такія полномочія, которыя дали ей возможность оказывать довольно серьезное сопротивленіе капризамъ желѣзнодорожныхъ магнатовъ, распорядившихся по произволу рельсовыми путями, т. е. наиболѣе жизненными артеріями исполинской страны.

Уже четверть вѣка тому назадъ мыслящій наблюдатель американской жизни нарисовалъ поразительную картину могущества какого-нибудь желѣзнодорожнаго короля, который несетъ въ своемъ великолѣпномъ спальномъ вагонѣ по одной изъ пяти великихъ линій, прорѣзывающихъ съ востока на западъ весь континентъ Америки. А по пути его слѣдованія, на станціяхъ ему дѣла-

¹⁾ См. любопытную діаграмму № 51 во французскомъ изданіи статистическаго атласа Гикмана: A. L. Hickmann, „Atlas universel. Politique, statistique, commerce“; Вѣна, 1913, изд. 13-е. Между тѣмъ, какъ во всей Европѣ въ 1910 г. считалось 329.700 км. желѣзныхъ дорогъ, длина ихъ въ Соединенныхъ Штатахъ равнялась 387.590 км.

ются встрѣчи низко кланяющимися губернаторами штатовъ и территорій, толпятся делегаціи отъ законодательныхъ собраній, безчисленныя депутаціи большихъ и малыхъ городовъ заискиваютъ чести повергнуть къ стопамъ желѣзнодорожнаго самодержца свои просьбы, жалобы и благодарственныя привѣтствія. Онъ же мчится все дальше и дальше, окруженный ореоломъ власти, болѣе могущественной, чѣмъ власть президента республики, который какъ-ни-какъ избирается на 4 года, тогда какъ рельсовый король держитъ свой дѣйствительный скипетръ втеченіе цѣлой жизни...

И вотъ первымъ подвигомъ Моргана въ этой области была отчаянная битва съ милліардеромъ Джеемъ Гульдомъ изъ-за желѣзной дороги Бѣффало-Сѣскегэннэ, перешедшей въ концѣ концовъ въ руки Моргана. А въ 1879 г. самъ знаменитый Вандербильтъ призналъ мощь Моргана, уступивъ ему добровольно 250.000 акцій Нью-Йоркской центральной дороги за 6 милліон. фунт. стерлинговъ. Но лишь черезъ 10 лѣтъ имя Моргана, какъ центра, откуда расходились и куда сходились всѣ желѣзнодорожныя операціи, стало извѣстно большой публикѣ. Въ январѣ 1889 г. произошло славное въ лѣтописяхъ спекуляціи собраніе директоровъ всѣхъ американскихъ дорогъ въ мраморномъ палаццо Моргана. И велико было недомѣніе средняго обывателя, когда онъ вдругъ увидѣлъ столбцы безчисленныхъ газетъ заполненными внезапно вынырнувшимъ изъ узкаго круга специалистовъ на свѣтъ великой популярности именемъ Джона Пирпонта Моргана, нынѣ извѣстнаго каждому уличному мальчишкѣ Нью-Йорка подъ кличкой „Пипъ“.

Другимъ излюбленнымъ полемъ дѣятельности Моргана было составленіе гигантскаго стальнаго трѣста, т. е. распространеніе своего неограниченнаго вліянія на одну изъ самыхъ могучихъ отраслей сѣверо-американской промышленности, въ сферѣ которой Заантлантическая республика идетъ далеко впереди всѣхъ странъ свѣта. Въ 1910 г. изъ 60 милліоновъ тоннъ стали, вырабатываемой на всемъ земномъ шарѣ, Америка производила болѣе 26 милліоновъ и лишь далеко за нею ковыляла Германія, со своими 13 милліонами и Великобританія съ 6½, между тѣмъ какъ другія страны поставляли лишь сравнительно незначительныя количества. Первые годы дѣятельности Моргана были посвящены организаціи трѣстовъ въ области не первоначальнаго добыванія, а дальнѣйшей переработки стали. Такъ были имъ составлены общества для производства проволоки, для изготовленія частей мостовъ, для фабрикаціи различныхъ мелкихъ издѣлій, и т. п. Случилось, что другой знаменитый милліардеръ, Карнеги, который отливалъ и выковывалъ на своихъ циклопическихъ заводахъ въ Питсбѣргѣ громадныя количества стали для Моргана, въ одно прекрасное утро рѣшилъ самъ заняться дальнѣйшей обработкой изготавливаемого имъ металла. Съ молніеносною быстротою,—дѣло было на рубежѣ

XIX и XX вѣковъ,—Морганъ сообразилъ, что лучше сразу принести колоссальную жертву, подавивъ въ зародышѣ замыселъ Карнеги, чѣмъ вести въ продолженіе цѣлыхъ лѣтъ кровопролитную борьбу съ такимъ могучимъ соперникомъ. Онъ рѣшилъ заинтересовать Карнеги въ своемъ стальномъ трестѣ и предложилъ ему купить питсбѣргскіе заводы за такую колоссальную цифру, что она ослѣпила даже Карнеги, который согласился получить всю сумму въ видѣ облигацій треста.

Третьей ареной дѣятельности Моргана была реорганизация Международнаго общества морской торговли, чаще извѣстнаго подъ именемъ Атлантическаго пароходнаго треста. И здѣсь Морганъ добился поразительныхъ результатовъ, наладивъ соглашеніе между своими американскими предпріятіями и знаменитой англійской компаніей Бѣлой Звѣзды (White Star Line), къ которому, между прочимъ, принадлежалъ и затонувшій годъ тому назадъ „Титаникъ“. Къ этой „комбинаціи“ въ близкомъ отношеніи стоялъ и Сѣверо-Германскій Ллойдъ, который лишь недавно отдѣлился отъ американскаго треста.

Наконецъ, когда въ послѣднее время возникъ жгучій для Сѣверо-Американскихъ Штатовъ вопросъ о существованіи всемогущаго, но вмѣстѣ съ тѣмъ таинственнаго и неуловимаго денежнаго треста, который является господиномъ положенія въ сферѣ банка, биржи и кредитнаго обращенія, то и здѣсь анкета успѣла выяснить, что душою этой комбинаціи является Рокфеллеръ—и опять-таки Морганъ.

Ошеломленные колоссальными размѣрами предпріятій, которыя были организованы предпринимательскимъ талантомъ Моргана, газетчики съ трепетомъ энтузіазма перечисляли и выписывали цифры его колоссальнаго состоянія. Но при этомъ все время путались въ суммахъ, такъ какъ не схватывали путемъ разницы между безчисленными милліонами, принадлежащими лично Моргану, и еще болѣе грандіозными массами чужихъ цѣнностей, которыми двигала непреклонная воля Джона Пирпонта. Этимъ и объясняется поразительная разница въ вычисленіяхъ того капитала, который оставилъ послѣ себя Морганъ и который, на наши деньги, колеблется, по различнымъ источникамъ, между полмилліардомъ и 20 милліардами рублей. Дѣло въ томъ, что Моргану болѣе, чѣмъ кому-либо, удавалось отстоять противъ нападенія шермановскаго закона о трестахъ (2 іюля 1890 г.) ту форму этихъ комбинацій, которая остается въ рукахъ главнаго распорядителя, если можно такъ выразиться, не столько матеріальную, сколько духовную власть надъ громадной группировкой капитала. Законченная форма, какую принялъ современный трестъ въ Америкѣ и противъ которой особенно борется законодатель, состоитъ, дѣйствительно, въ томъ, что акціонеры различныхъ обществъ предоставляютъ всѣ свои капиталы въ распоряженіе директоровъ образующагося союза этихъ обществъ,

или такъ называемаго трѣста, при чемъ первоначальные владѣльцы цѣнныхъ бумагъ сохраняютъ ихъ у себя вмѣстѣ съ правомъ продавать, закладывать и вообще располагать ими, какъ хотятъ, но за то отдають безраздѣльно и безвозвратно соответствующее стоимости ихъ бумагъ право голоса на акціонерныхъ собраніяхъ въ руки распорядителей трѣста (an irrevocable power of attorney to vote the stock as they see fit, по выраженію Джэнкса ¹⁾). Владѣніе цѣнностями и возможность превращенія ихъ на рынкѣ въ соответствующую сумму денегъ остается въ рукахъ акціонеровъ отдѣльныхъ компаній. Но ихъ право голоса, ихъ, такъ сказать, душа предпринимателя и капиталиста переходитъ въ руки директоровъ трѣста, которые разъ навсегда составляютъ себѣ вотирующее, какъ одинъ человѣкъ, акціонерное большинство изъ своихъ ближайшихъ единомышленниковъ и такимъ образомъ сохраняютъ за своимъ маленькимъ комитетомъ право безконтрольно распоряжаться гигантскими чужими капиталами.

Во всѣхъ трѣстахъ, основанныхъ Морганомъ, его воля проявлялась до такой степени безгранично, что превращалась фактически въ велѣнія самодержца. И часто онъ втягивался въ азартную игру спекуляціи не изъ одной жажды наживы, а движимый тою горделивою идеею о своей безграничной и вмѣстѣ непогрѣшимой волѣ, которую онъ выражалъ своимъ любимымъ афоризмомъ: „Надо выучить ихъ вести дѣла, какъ слѣдуетъ“. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что элементъ наслажденія этою духовною властью былъ однимъ изъ самыхъ сильныхъ стимуловъ дѣятельности Моргана. Морганъ, по увѣренію его сторонниковъ, не принадлежалъ къ числу опустошителей и разрушителей биржи, т. е., проще сказать, игралъ по большей части не на пониженіе, а на повышеніе. Но кто можетъ сосчитать количество жертвъ въ противоположномъ лагерѣ, которыхъ онъ низвергалъ въ бездну банкротства однимъ сокрушительнымъ залпомъ золотой артиллеріи своихъ милліардовъ?

Его друзья любятъ цитировать тѣ крупныя услуги, которыя онъ оказывалъ и своему правительству, и общему кредиту во время биржевыхъ и банковыхъ кризисовъ; въ 1895 г. при Кливлэндѣ; въ 1899 г. при Макъ-Кинлеѣ; и, наконецъ, сравнительно недавно, въ 1907 г., при Рузвельтѣ. Но эти же друзья забываютъ прибавить, что каждая изъ такихъ оптимистическихъ кампаній шла прежде всего на пользу Моргана и показывала лишь вѣрность взгляда „Наполеона биржи“, умѣвшаго извлекать все новыя и новыя милліоны изъ гигантской алхимической реторты своихъ спекуляцій. Такъ за свою услугу въ 1907 г. онъ добился отъ Рузвельта не только временнаго прекращенія правительственной кампаніи

¹⁾ См. статью извѣстнаго американскаго „эксперта“ по международнымъ трѣстамъ: J. W. Jenks, „Trusts“, 27 т. послѣдняго, — 11-го (1911) — изданія „The Encyclopaedia Britannica“, стр. 337.

противъ трѣстовъ, но и позволенія слить со своимъ стальнымъ трѣстомъ колоссальное предпріятіе каменно-угольнаго товарищества въ Теннесси. Кстати сказать, когда въ прошломъ году, по поводу президентской кампаніи, борющіеся соперники стали мыть свое грязное бѣлье на улицѣ, и официальные коммисіи задались изслѣдованіемъ тѣхъ отношеній взаимопомощи, какія существуютъ между политическими вождями Америки и царями ея финансовъ, то обнаружилось, что нашъ милліардеръ бросалъ большія суммы во время кампаніи 1904 г. съ цѣлью избранія Рузвельта. Морганъ говорилъ, впрочемъ, о такихъ дѣйствіяхъ совершенно спокойно, какъ о любой изъ своихъ торговыхъ операций, тогда какъ сангвиническій Тэдди призывалъ во свидѣтели небо и землю, что онъ и не думалъ, чтобы во время его избирательной кампаніи кто-нибудь могъ поддерживать его шансы золотой рѣкой долларовъ (такого же рода отношеніе къ финансовымъ воспособленіямъ было, впрочемъ, констатировано и у демократовъ).

Вообще, когда рѣчь идетъ о Морганѣ, то не надо ни на минуту упускать изъ виду того обстоятельства, что всѣ эти подвиги, приводящіе въ умиленіе буржуазныхъ жизнеописателей, на каждомъ шагѣ нарушаютъ тѣ самыя основы нравственности, которыя съ такимъ усердіемъ защищаются этими господами въ примѣненіи къ мелкимъ мошенникамъ и ворешкамъ. Несомнѣнно, что сплошь и рядомъ операціи Моргана шли въ разрѣзъ съ заповѣдями „не укради“ и даже „не убій“. Во время борьбы за обладаніе желѣзнодорожными линіями преданные служащіе милліардера не останавливались передъ крушеніемъ поѣздовъ, чтобы дискредитировать соперничающія компаніи.

Когда всматриваешься въ психологію Моргана, то начинаешь понимать, какую роль для этихъ царей буржуазіи играетъ наслажденіе властью, не находящей себѣ почти сопротивленія. Ибо несомнѣнно, что для индивидуумовъ такого калибра наслажденія грубо матеріальнаго характера, въ видѣ возможности пріобрѣтать себѣ за деньги различныя блага міра сего, представляютъ второстепенную привлекательность. Второстепенную хотя бы уже потому, что безграничное вліяніе, заключающееся въ милліардахъ, позволяетъ ихъ обладателямъ удовлетворять громадное большинство своихъ желаній, какъ только они зарождаются, и лишаетъ такимъ образомъ эту категорію людей, служащихъ однако предметомъ всеобщей зависти, психологической основы наслажденія, вытекающаго изъ самой напряженности желанія. Жизнь Моргана—это жизнь вѣрнаго служителя, въ извѣстномъ смыслѣ аскета капитала, который прежде всего думалъ не столько о своемъ комфортѣ, сколько о пріумноженіи цѣнностей. Конечно, онъ не создавалъ для себя какихъ-либо фиктивныхъ лишеній, и все, что хотѣлось ему имѣть, пріобрѣталось имъ крайне легко. Но преобладающей страстью этого человѣка было наслажденіе финансовыми комбина-

ціямъ, конечно зачастую не считающимися съ нравственными соображеніями.

Любопытенъ самый образъ жизни Моргана. Онъ вставалъ довольно рано и шелъ въ методистскую церковь, однимъ изъ старостъ которой онъ былъ втеченіе долгаго времени. Не отличающаяся въ сущности ничѣмъ отъ англиканства въ сферѣ основныхъ догматовъ, эта секта имѣетъ своею особенностью развѣ только извѣстное подчеркиваніе религіознаго элемента и такъ называемой любви къ ближнему,—хотя послѣднее лишь у наиболѣе выдающихся людей отзывается на личномъ поведеніи. Въ церкви этой-то секты угрюмый, несообщительный Морганъ садился на скамью въ самомъ отдаленномъ, специально приготовленномъ для него уголкѣ и тамъ проводилъ немало времени—неизвѣстно, впрочемъ, въ чемъ: въ бесѣдѣ ли съ высшимъ существомъ въ его методистскомъ воплощеніи, или же—что едва ли не болѣе вѣроятно—въ обдумываніи всевозможныхъ финансовыхъ вопросовъ, которые онъ долженъ былъ разрѣшить въ этотъ день. По крайней мѣрѣ, когда онъ приходилъ послѣ сеанса въ церкви въ свою контору, то онъ видимо уже все обдумалъ: онъ поражалъ здѣсь всѣхъ не только молчаливостью, но удивительною внѣшнею апатіею и даже до нѣкоторой степени ребяческимъ характеромъ своихъ занятій. Онъ машинально переходилъ отъ стола одного служащаго къ другому, не говоря ни слова, бросалъ бѣглый и, казалось, разсѣянный взглядъ на финансовый бюллетень, столь же, по видимому, разсѣянно перелистывалъ копировальную книгу писемъ, и лишь нѣсколько оживлялся, когда принимался за корреспонденцію или отдавалъ приказы. Но его письма отличались необыкновенной краткостью, а его приказы безпримѣрной лаконичностью. Кстати сказать, Морганъ былъ такъ скупъ на писаніе, что почти никогда не ставилъ своей подписи на чекахъ, носившихъ обыкновенно подпись его повѣренныхъ.

Но подъ этой внѣшней безпечностью таились рѣдкія силы финансоваго предвидѣнія и воображенія. Подобно Наполеону, онъ не довѣрялъ мало-мальски крупнаго дѣла никому изъ своихъ финансовыхъ фельдмаршаловъ, очень рѣдко съ кѣмъ бы то ни было совѣтовался и любилъ самыя колоссальныя дѣла рѣшать молча и быстро. Извѣстна сенсаціонная исторія того восхищенія, которое охватило всѣхъ служащихъ его банка, когда втеченіе „одной минуты“ ихъ хозяинъ купилъ по телеграфу громадную желѣзнодорожную линію и тотчасъ же съ колоссальнымъ барышомъ перепродалъ ее по телефону другому лицу. Цитируютъ также другую исторію, когда Морганъ, заинтересовавшись за обѣдомъ въ отелѣ планомъ одного американскаго филантропа о дѣтскомъ приютѣ, тутъ же предложилъ дать ему пять милліоновъ рублей на осуществленіе предпріятія, но подъ условіемъ внести ихъ, лишь когда все будетъ приведено въ исполненіе, а пока „не надоѣдать“ ему де-

талями о реализаціи проекта. Такъ прошло почти четыре года, и когда затратившій крупныя суммы филантропъ явился къ Моргану, не безъ волненія ожидая этого свиданія, ибо великій миллиардеръ видѣлъ его только разъ и могъ совершенно забыть его, то Морганъ взглянулъ на него своими пронипательными глубоко впалыми глазами и, не говоря ни слова, подвелъ его къ одному изъ своихъ служащихъ и продиктовалъ: „чекъ на 2½ миллиона долларовъ съ процентами изъ 6 годовыхъ за 47 мѣсяцевъ такому-то. Пройдите въ кассу“!..

Кстати, и въ области филантропіи Морганъ былъ тѣмъ же деспотомъ, что и въ сферѣ своихъ финансовыхъ операций. Какъ онъ привыкъ произвольно распоряжаться за своихъ компаньоновъ въ дѣлахъ трѣста, такъ и въ области благотворительности онъ отдавалъ приказанія не только за себя, но и за своихъ товарищей. И нѣкоторые изъ его друзей считали честью для себя, если Морганъ, не предупредивши ихъ ни словомъ, бралъ за нихъ разныя обязательства. Да были ли у него, впрочемъ, настоящіе друзья? Сказываютъ, что, кромѣ случайныхъ знакомствъ во время его долгихъ путешествій по Европѣ, преимущественно въ Англіи, Франціи и особенно Италіи, у него врядъ-ли было и полсотни лицъ, съ которыми онъ разговаривалъ. Въ нью-йоркскомъ клубѣ „Юнионъ“, куда онъ приходилъ каждый вечеръ просмотрѣть газеты и выкурить великолѣпную гаванскую сигару (ему принадлежитъ на о-вѣ Кубѣ цѣлая провинція Санта-Клара, извѣстная своими первыми въ мірѣ табачными плантаціями, и, конечно, сигары Моргана, по увѣренію снобовъ, не имѣютъ себѣ соперницъ на всемъ свѣтѣ), онъ молча пробѣгалъ газетныя строки. И горе тому, кто подходилъ къ нему побесѣдовать, пока онъ отсиживалъ свое время на обыкновенъ мѣстѣ: миллиардеръ не отвѣчалъ ни слова, а въ случаѣ настойчивости, проявленной собесѣдникомъ, поднимался и уходилъ.

Морганъ, не смотря на эту замкнутость а, можетъ быть и по причинѣ ея, цѣлый день, и порою значительную часть ночного времени,—онъ въ послѣдніе годы страдалъ безсонницей, которую причиняли ему неврастенія, болѣзнь желудка, анемія мозга и страшная разѣдавшая все лицо его волчанка,—вѣчно былъ чѣмъ-нибудь занятъ. Живое удовольствіе, кромѣ финансовыхъ операций, бывшихъ нормальнымъ проявленіемъ его существованія, Моргану доставляло разведеніе лучшихъ породъ собакъ, устройство быстроходныхъ яхтъ, часто побѣждавшихъ на международныхъ состязаніяхъ, и, наконецъ, собраніе художественныхъ коллекцій. Надо сказать, что втеченіе долгихъ лѣтъ Морганъ не отличался въ этомъ отношеніи особымъ эстетическимъ вкусомъ и лишь мало-по-малу пріобрѣлъ чутье второстепеннаго любителя. Но, такъ какъ онъ не жалѣлъ и въ этомъ дѣлѣ миллионовъ, бросая по всему свѣту агентовъ-ищеекъ съ приказаніемъ пріобрѣтать всевозможныя артисти-

ческія вещи, не скупясь въ деньгахъ, то ему художественный міръ обязанъ необыкновеннымъ взвинчиваніемъ цѣнъ на предметы искусства.

Въ числѣ его пріобрѣтеній, составившихъ въ концѣ-концовъ громадныя коллекціи, одна пошла на съ которыхъ должна была бы составить десятки милліоновъ рублей при ввозѣ въ протекціонистскую Америку, и которыя поэтому были оставлены имъ пока въ Лондонѣ, цитируютъ массу рѣдкихъ книгъ, любопытныхъ автографовъ (между прочимъ, купленное имъ за 128.000 франковъ письмо Лютера къ Карлу V), миниатюрь, драгоценностей, артистическую коллекцію англійскаго социалиста-эстета Уильяма Морриса, картины Рафаэля, Рубенса, Рембрандта, Ванъ-Дейка, Веласкеза, Лоренса, Грёза, панно Фрагонара, одну изъ группъ Микель-Анджело и т. д. Но, въ общемъ, знатоки предполагаютъ, что эти коллекціи, не смотря на роскошные каталоги, составленные знаменитыми специалистами, и одинъ переплетъ которыхъ стоилъ Моргану въ Парижѣ десятки тысячъ франковъ, и не смотря на то, что онѣ обошлись владѣльцу въ сотни милліоновъ рублей, не могутъ сравниться по своему значенію ни съ одной изъ дѣйствительно великихъ художественныхъ коллекцій міра. Всѣ эти сокровища должны, повидимому, поступить въ городской музей Нью-Йорка, для котораго уже такъ много сдѣлалъ Морганъ. Страсть къ меценатству, впрочемъ, всегда была сильно развита у Моргана, который сдѣлалъ массу подарковъ художественному музею, Историческому Обществу и такъ называемому Куперовскому союзу (народному университету) Нью-Йорка, подарилъ манускрипты Бёрнса Ливерпульской публичной библіотекѣ, а замѣчательное собраніе алмазовъ — естественно-историческому музею Парижа, построилъ милліонныя госпитали въ Нью-Йоркѣ, въ Эксъ-лэ-Банъ, платитъ за освѣщеніе кафедральнаго собора св. Павла въ Лондонѣ, льетъ золотой дождь на соборъ св. Іоанна въ Нью-Йоркѣ, и на зданіе причта въ своей приходской церкви, на Гарвардскую медицинскую школу, на профессиональныя училища, санаторіи и тому подобныя учрежденія.

Является однако вопросъ, насколько вообще велико пониманіе Моргана и во всѣхъ этихъ вещахъ, которыя такъ или иначе затрагиваютъ чувства и интересы человѣческихъ существъ. Враги его говорятъ, что меценатствующій и филантропическій Морганъ въ сущности не любитъ и не понимаетъ живыхъ людей, а лишь тѣ комбинаціи, которыя рождаются у него въ мозгу для организаціи различныхъ художественныхъ и благотворительныхъ учреждений. Такъ, говорятъ, Наполеонъ давалъ порою битвы изъ любви къ искусству. Несомнѣнно, голова Моргана работаетъ по особому и поражаетъ такимъ своеобразнымъ дальтонизмомъ на явленія окружающей дѣйствительности, что инныя исторіи о немъ можно бы счесть прямымъ сочинительствомъ, не будь онѣ занесены

на страницы современной хроники. Какъ, въ самомъ дѣлѣ, понять діалогъ о социальномъ вопросѣ между Морганомъ и германскимъ императоромъ, когда послѣдній въ отвѣтъ на свой, по обыкновению, импульсивный вопросъ, что же Морганъ, которому приходится приводить въ движеніе такіа гигантскія массы человѣческаго труда, думаетъ о социализмѣ, получилъ отъ милліардера немедленную реплику: „Это меня не интересуетъ, ваше величество. Я объ этомъ никогда не думалъ“.

Вообще психологія такихъ личностей, какъ Морганъ, интересна и въ личномъ, и въ общественномъ отношеніи. Она интересна потому, что даетъ намъ возможность понять, какіе геніальные практическіе умы находятся еще до сихъ поръ въ рядахъ эксплуататоровъ. Эта психологія интересна и потому, что показываетъ намъ, до какой степени на почвѣ Америки матеріальные интересы, при посредствѣ исключительно одаренныхъ капиталистовъ и группъ капиталистовъ, управляютъ пока всѣмъ общественнымъ строемъ страны, брошенной въ адскій вихрь современной безграничной конкуренціи.

III.

Глядя на то, что происходитъ въ настоящее время въ Европѣ, вы не можете отдѣлаться отъ впечатлѣнія необыкновенной неурядицы, когда событія, настроенія массъ и эгоистическіе интересы личностей, поставленныхъ игрою судьбы въ центрѣ политическихъ силъ, переплетаются въ самыя причудливыя сочетанія. Такое явленіе, какъ балканская война, имѣвшая сначала, казалось бы, мѣстное значеніе, вызвала необыкновенное возбужденіе умовъ, движеніе партій, броженіе улицы, удесятерило аппетиты имущихъ и правящихъ во всемъ цивилизованномъ мірѣ. Офіціальная Германія въ лицѣ канцлера снова и снова съ трибуны парламента развиваетъ свою удивительную теорію приготовления мира путемъ ожесточенныхъ вооруженій. И если наиболѣе радикальные элементы буржуазіи и германская социаль-демократія (см. рѣчи Гаазе, Франка, Зюдекума въ рейхстагѣ) начинаютъ наконецъ-то высказывать оппозицію новымъ военнымъ законамъ, особенно въ Эльзасѣ-Лотарингіи, гдѣ населенію прежде всего придется терпѣть отъ столкновенія двухъ странъ, то все же законопроектъ будетъ, вѣроятно, вотированъ въ непродолжительномъ времени. Точно также, вѣроятно, пройдетъ — впрочемъ, повидимому, съ урѣзками и ограниченіями — законъ о трехлѣтней службѣ во Франціи, хотя новый кабинетъ Барту, смѣнившій министерство Бриана, какъ будто не намѣренъ проявлять такой стремительности въ проведеніи законопроекта, какую обнаруживалъ предшествующій кабинетъ. Тѣмъ болѣе, что теперь уже не одни социалисты и наиболѣе идейные изъ радикаловъ, а и такіа лица, какъ генералы, начинаютъ

высказывать свои сомнѣнія по поводу цѣлесообразности новаго закона на страницахъ большихъ журналовъ ¹⁾.

Съ другой стороны, взаимныя отношенія тройственнаго союза и тройственнаго соглашенія начинаютъ осложняться комбинаціями, свидѣтельствующими о томъ, что обѣ группы державъ далеко не во всемъ спѣлись и внутри себя. Такъ, предпринятая противъ Черногоріи морская демонстрація - блокада (между Анги-вари и устьемъ Дрима) великихъ державъ обнаружила, что къ этому шагу, горячо пропагандируемому Австро-Венгріей, офиціальная (но далеко не вся народная) Англія относится, пожалуй, едва ли не болѣе сочувственно, чѣмъ сама Германія, идущая за союзной двойственной монархіей больше по долгу. Франція втеченіе нѣсколькихъ дней колебалась между точкой зрѣнія Англіи, желающей оградить миръ, и точкой зрѣнія русскаго правительства. А послѣднее безпомощно качается между желаніемъ представить Россію благодѣтельницей и покровительницей балканскихъ народовъ, вплоть до минутнаго разрѣшенія „патріотическихъ“ процессій на улицахъ Петербурга и Кіева, и явною боязнью вступить въ рѣшительныя столкновенія съ тройственнымъ союзомъ, вплоть до горячей защиты независимой Албаніи и репримандовъ Черногоріи въ только что появившемся „сообщеніи“. Колеблется въ свою очередь и Италія, гдѣ радикальные элементы скорѣе сочувствуютъ Черногоріи и, во всякомъ случаѣ, не желаютъ вытаскивать каштаны для Австріи, агрессивная политика которой вызываетъ неудовольствіе и среди архи-лояльныхъ элементовъ населенія, интересующихся словами и жестами своей династіи и вспоминающихъ, что итальянская королева, уже просто въ качествѣ дочери короля Николая, не можетъ сочувствовать давленію на Черногорію.

Еще болѣе серьезное замѣшательство выдвигаетъ, повидимому, перспектива дѣлежа территоріальной добычи между членами греко-славянской лиги. Сербія и Черногорія не только недовольны тѣмъ клиномъ, который европейскія державы готовы вогнать въ тѣло балканскаго союза при посредствѣ независимой Албаніи, но они не менѣе враждебно смотрятъ и на своихъ восточныхъ сосѣдей въ Македоніи, — болгаръ, — и на южныхъ сосѣдей, — грековъ. Изъ того, что за отказъ отъ Скутари славяне вознаграждаются Ипекомъ (Печемъ), Дьяковымъ, Призрѣномъ, Диброй, еще не слѣдуетъ, что болгары легко размежуются съ сербами въ Битольскомъ вилайетѣ, напр., въ Дибрѣ, около Охридскаго озера, на верхнемъ Дѣволѣ (Се-

¹⁾ Напр., авторъ анонимной статьи: Général Z**, „La loi de trois ans“ въ „La Grande Revue“, 25 марта 1913, стр. 331—344. „Въ заключеніе—говоритъ военный специалистъ—будемъ избѣгать всякой чрезмѣрной растерянности и постараемся не злоупотреблять нервною страной, чтобы возложить на нее бремя, которое скоро окажется чрезчуръ тяжелымъ, потому что безцѣльнымъ“.

мени), или съ греками въ Солунскомъ вилайетѣ. А въ то же самое время на сѣверо-востокѣ Румыніи практикуетъ по отношенію къ Болгаріи то, что называется шантажемъ, требуя отъ нея рядъ мѣстностей, сосѣднихъ съ Добруджею, между черноморскимъ побережьемъ и Силистріей на Дунаѣ. И обстоятельные нѣмцы уже обсуждаютъ съ научной точки зрѣнія театръ новыхъ войнъ на Балканскомъ полуостровѣ, который могутъ возникнуть при раздѣлѣ территоріальныхъ приобрѣтеній ¹⁾).

Все это вмѣстѣ составляетъ такую картину хаоса, которая еще и еще подтверждаетъ ту мысль, что, пока въ массахъ не усилятся сознательное отношеніе къ дѣлу, не ослабнутъ расовые и національные предрасудки, такъ ловко подогрѣваемые шовинистами у власти и привилегированными классами, до тѣхъ поръ человѣчество будетъ зачастую находиться въ неустойчивомъ положеніи. И люди будутъ видѣть выраженіе высшей мудрости въ такомъ колоссальномъ и въ то же время избитомъ парадоксѣ, какъ въ необходимости обезпечивать миръ ожесточеннымъ приготовленіемъ къ войнѣ.

Н. С. Русановъ.

Р. С. Въ мое мартовское обзорѣніе вкрались, между прочимъ, слѣдующія опечатки и погрѣшности:

Напечатано:	Должно быть:
Стр. 282, строка 2 сверху: Ликмана	Гикмана
• 282, строка 17 сверху: 662 милл.	722 милл.
• 282, строка 18 сверху: 22%	24%
• 284, строка 4 снизу: анархистовъ	монархистовъ

Н. Р.

¹⁾ См., напр., начало обстоятельнаго этюда по военной географіи смежныхъ областей Румыніи и Болгаріи: Major O. v. Kreutzbruck, „Der bulgarisch-rumänische Kriegsschauplatz“ въ превосходныхъ по обыкновенію „Refermann's Mitteilungen“, 1913, январь, стр. 51—54.

Новая фаза еврейскаго вопроса въ Польшѣ.

Русскіе антисемиты могутъ ликовать,—у нихъ нашлись новые союзники. Конецъ минувшаго и начало настоящаго года принесли съ собою рѣзкое обостреніе отношеній между поляками и евреями въ Царствѣ Польскомъ. Эти отношенія постепенно обострялись уже втеченіе нѣсколькихъ лѣтъ, но именно въ послѣдніе мѣсяцы—на первый взглядъ, какъ будто даже неожиданно—польско-еврейская распря въ Царствѣ Польскомъ вспыхнула съ особенной силой и приняла настолько значительные размѣры, что предъ нею всѣ другіе вопросы польской общественной жизни оказались какъ бы отодвинутыми на задній планъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ эта распря повлекла за собою измѣненіе позиціи цѣлаго ряда группъ польскаго общества. Сравнительно еще недавно въ причастныхъ къ культурѣ слояхъ послѣдняго равноправіе евреевъ считалось входящимъ въ составъ политической азбуки и культурные поляки гордились тѣмъ, что на ихъ родинѣ, если и есть антисемиты, то во всякомъ случаѣ не существуетъ боевого антисемитизма, какъ широкаго и вліятельнаго общественнаго теченія. Теперь же—рядъ органовъ польской прессы объявляетъ евреевъ „гражданами второго сорта“ и проповѣдуетъ своего рода крестовый походъ противъ нихъ, причемъ въ такой проповѣди принимаютъ участіе не только открытые реакціонеры, но и люди, называющіе себя прогрессистами и долгое время пользовавшіеся соотвѣтственной репутаціей. И проповѣдь прессы не остается безрезультатной. Борьба съ „еврейской опасностью“, противодѣйствіе „еврейскому засилью“ приняты въ качествѣ очередной задачи немалою частью польскаго общества и противъ евреевъ въ Польшѣ уже въ настоящее время не только провозглашенъ, но и организованъ цѣлый походъ: ихъ вытѣсняютъ изъ общественныхъ учрежденій, нытаются лишить занимаемыхъ ими мѣстъ въ частныхъ предпріятіяхъ, стараются подорвать ихъ матеріальныя средства. Такимъ образомъ польско-еврейскія отношенія на нашихъ глазахъ вступаютъ въ новую фазу и къ ней стоитъ приглядѣться тѣмъ болѣе внимательно, что значеніе знаменующихъ эту фазу событій выходитъ далеко за предѣлы собственно польской жизни. Попробуемъ же разобраться въ этихъ событіяхъ и опредѣлить ихъ истинный смыслъ.

Поводъ къ обостренію польско-еврейскихъ отношеній—обостренію, дошедшему до открытой и ожесточенной распри, — созданъ былъ выборами въ четвертую Государственную Думу. Благодаря ряду ухищреній, введенныхъ въ положеніе 3 іюня и въ многочисленныя разъясненія къ нему, дѣло выборовъ въ Варшавѣ сло-

жилося такимъ образомъ, что въ коллегіи выборщиковъ, которымъ предстояло избрать депутата въ Думу отъ польскаго и еврейскаго населенія Варшавы, большинство оказалось въ рукахъ евреевъ. Какъ только это выяснилось съ достаточною очевидностью, польская національ-демократія, проводившая до того на выборахъ въ Варшавѣ своихъ кандидатовъ, поспѣшила занять непримиримо боевую позицію. Своимъ кандидатомъ національ-демократы выставили бывшего лидера „польскаго кола“ въ Думѣ, Романа Дмовскаго, а въ отвѣтъ на разговоры о необходимости какого-либо соглашенія между поляками и евреями проводили на созываемыхъ ими собраніяхъ резолюціи, приглашавшія считать „посягательствомъ на верховныя права поляковъ“ стремленіе евреевъ навязать Варшавѣ депутата, отвѣчающаго ихъ требованіямъ. Но національ-демократія—партія, насквозь пропитанная шовинистическимъ націонализмомъ и открыто перешедшая на путь антисемитскихъ выступленій,—при данныхъ условіяхъ, конечно, не могла одержать побѣды и, не смотря на весь производимый ею шумъ, ея кандидатъ въ ея собственныхъ глазахъ являлся заранѣе осужденнымъ на поражение. Рядомъ съ Дмовскимъ болѣе умѣренными національ-демократами, отдѣлившимися отъ ядра партіи и объединившимися съ остальными буржуазными партіями Варшавы въ особый блокъ, получившій названіе „національной концентраціи“, былъ выставленъ другой кандидатъ, Кухаржевскій. Евреи ждали, какъ выскажется этотъ кандидатъ по вопросамъ еврейской жизни въ Царствѣ Польскомъ, въ частности—какъ отнесется онъ къ проведенному третьей Думой при дѣятельномъ участіи „польскаго кола“ ограниченію правъ евреевъ въ городскомъ самоуправленіи Польши. И Кухаржевскій не замедлилъ откликнуться на эти ожиданія. Онъ заявилъ, что онъ является сторонникомъ направленныхъ противъ евреевъ вѣроисповѣдныхъ ограниченій правъ въ будущемъ городскомъ самоуправленіи и вмѣстѣ съ тѣмъ считаетъ необходимою экономическую борьбу польскаго населенія съ живущими въ Польшѣ евреями.

Варшавскіе евреи оказались такимъ образомъ въ трудномъ и даже нѣсколько странномъ положеніи. Случайности избирательной кампаніи поставили выборъ депутата отъ Варшавы въ полную зависимость отъ еврейскихъ голосовъ. Громадное большинство еврейскаго населенія Варшавы съ самаго начала склонно было отнестись къ этому факту именно какъ къ случайности, считая совершенно необходимымъ, чтобы представителемъ Варшавы въ четвертой Думѣ былъ полякъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ это большинство по своимъ традиціямъ, взглядамъ и убѣжденіямъ ближе всего примыкало къ буржуазнымъ партіямъ. Но польскія буржуазныя партіи предоставили ему выборъ лишь между двумя антисемитами, однимъ, болѣе прямымъ и рѣшительнымъ, другимъ, нѣсколько болѣе умѣреннымъ. Выбирая одного изъ нихъ, евреи должны

были собственными голосами подтвердить правильность проектируемыхъ для нихъ ограниченій, должны были сами признать, что они приносятъ вредъ тому краю, въ которомъ живутъ, и что съ этимъ вредомъ нужно всячески бороться. И всякая попытка евреевъ уклониться отъ такой постановки вопроса и поискать среди объединившихся вокругъ Кухаржевскаго поляковъ другого кандидата, который, являясь сторонникомъ равноправія евреевъ, заявилъ бы, что будетъ въ Думѣ отстаивать такое равноправіе какъ въ Польшѣ, такъ и во всей имперіи, встрѣчала какъ нельзя болѣе рѣшительный отпоръ со стороны большинства органовъ польской прессы. „Евреи—писалъ по этому поводу варшавскій „Goniec“—должны знать, что поляки не намѣреваются дѣлать никакихъ уступокъ. Поляки избрали Кухаржевскаго — и этимъ для насъ вопросъ исчерпанъ... Попытка дать евреямъ кандидата-прогрессиста изъ числа тѣхъ, которые вступили въ „концентрацію“, объединившись вокругъ имени Кухаржевскаго, была бы шантажемъ“. Другая варшавская газета, „Słowo“ шла еще дальше и находила, что требуемое евреями отъ польскаго кандидата заявленіе о необходимости ихъ равноправія въ лучшемъ случаѣ могло бы быть только „условною ложью“. „Гдѣ — спрашивала газета—осуществлено дѣйствительное равноправіе евреевъ — не на бумагѣ, а въ жизни? Напрасно вы станете искать такого еврейскаго Эльдорадо на географической картѣ міра. Повсюду, если не законъ, такъ правительство, если не правительство, такъ общество ставить преграды гражданскому равноправію евреевъ“. Польша, по мнѣнію газеты, не можетъ въ этомъ случаѣ составлять исключенія и варшавскіе евреи должны заранѣе примириться съ тѣмъ, что депутатъ отъ Варшавы будетъ стоять за ограниченіе ихъ правъ. Приблизительно въ такомъ же тонѣ высказывалось и большинство другихъ польскихъ газетъ.

Столкнувшись съ такимъ отношеніемъ, варшавскіе евреи все-таки не измѣнили первоначально занятой ими позиціи и еврейскіе выборщики обратились къ выборщикамъ-полякамъ съ особымъ воззваніемъ, въ которомъ опредѣляли и объясняли эту позицію.

„Мы желаемъ — говорили они въ этомъ воззваніи—держаться первоначальнаго рѣшенія, съ которымъ еврейское населеніе нашего города шло къ избирательнымъ урнамъ. Мы не желаемъ въ коллегіи выборщиковъ играть роли большинства, пользующагося, не взирая ни на что, своимъ численнымъ превосходствомъ. Мы не хотѣли бы самостоятельно рѣшить вопросъ о варшавскомъ мандатѣ,—мы желали бы дѣйствовать въ коллегіи совмѣстно съ меньшинствомъ выборщиковъ-христіанъ. Но мы не можемъ сойти съ позиціи, которую заняли наши избиратели по отношенію къ непріемлемой для нихъ кандидатурѣ Кухаржевскаго. Мы не согласимся также на молчаливое одобреніе политической программы, враждебной еврейскому населенію края, а въ своихъ послѣдствіяхъ вредной для всѣхъ. Глубоко проникнутые сознаніемъ необходимости солидарной работы всего населенія, мы хотимъ вѣрить, что „національная концентрація“ не захочетъ держаться гибельнаго взгляда: „все или ничего“. Только непримиримая позиція „концентраціи“ мо-

жать парализовать наши добрыя намѣренія и продиктовать намъ избраніе депутата по собственному нашему усмотрѣнію и на свою отвѣтственность".

Это воззваніе однако не достигло своей цѣли и не склонило выборщиковъ-поляковъ, принадлежавшихъ къ буржуазнымъ партіямъ, искать какого-либо соглашенія. Наоборотъ, оно скорѣе усилило и закрѣпило среди нихъ анти-еврейское настроеніе, такъ какъ свидѣтельствовало о готовности евреевъ не подчиниться обращеннымъ къ нимъ требованіямъ. И въ концѣ концовъ въ средѣ этихъ выборщиковъ евреямъ, не смотря на всѣ ихъ старанія, такъ и не удалось найти ни одного лица, которое согласилось бы принять депутатскій мандатъ съ обязательствомъ отстаивать еврейское равноправіе. Тогда, оставаясь вѣрными своей основной мысли, что депутатомъ отъ Варшавы въ четвертой Думѣ долженъ быть полякъ, но такой полякъ, который бы признавалъ и защищалъ равноправіе евреевъ, еврейскіе выборщики обратили свое вниманіе въ другую сторону — къ кандидату „лѣваго блока“, образованнаго по соглашенію польской социалистической партіи (P. P. S.) съ Бундомъ. Такимъ кандидатомъ былъ полякъ-рабочій Ягелло, который въ полномъ согласіи съ социалистической программой заявилъ, что онъ является сторонникомъ полного равноправія національностей, считая вдобавокъ необходимымъ особо гарантировать права національнаго меньшинства, и въ случаѣ своего избранія въ Думу при помощи еврейскихъ голосовъ сочтетъ себя обязаннымъ защищать интересы не еврейской буржуазіи, а всего еврейскаго населенія, лишеннаго полноты правъ. Ягелло и отдалъ свои голоса еврейскіе выборщики, благодаря чему онъ и оказался избраннымъ въ Думу.

Депутатомъ отъ Варшавы былъ такимъ образомъ избранъ полякъ, и притомъ полякъ, выставленный на эту роль представителями рабочихъ, т. е. наиболѣе многочисленной части польскаго населенія Варшавы. И тѣмъ не менѣе для широкихъ круговъ польскаго общества выборъ въ Думу Ягелло послужилъ сигналомъ къ открытію энергичной борьбы съ евреями въ формѣ экономическаго бойкота послѣднихъ. Польскія газеты запестрѣли плакатами, приглашавшими поляковъ покупать всѣ необходимые имъ продукты исключительно у христіанъ и бойкотировать еврейскіе магазины и лавки. На улицахъ Варшавы раздавались листки съ такими же призывами. Около еврейскихъ магазиновъ и лавокъ, около принадлежащихъ евреямъ базарныхъ ларей организовывалась своего рода пограничная стража, состоявшая изъ добровольцевъ, которые уговаривали покупателей обращаться къ польскимъ торговцамъ. И этотъ походъ, рассчитанный на разжиганіе націоналистическихъ страстей, на первыхъ же порахъ не остался безплоднымъ. „Къ намъ доходятъ — писала въ началѣ ноября національ-демократическая „Gazeta Poranna“ — добрыя вѣсти. Владѣльцы болѣе круп-

ныхъ магазиновъ не скрываютъ, что торговая дѣятельность въ польскихъ предпріятіяхъ въ послѣднее время значительно возросла, въ нѣкоторыхъ оборотъ увеличился въ пять разъ. Служащіе въ польскихъ магазинахъ работаютъ теперь до переутомленія, не успѣвая удовлетворить всѣхъ кліентовъ... Добрыя вѣсти доходятъ до насъ и съ базаровъ. Перекупщики и торговцы-евреи по цѣлымъ днямъ стоятъ безъ дѣла, торговля перешла къ торговцамъ и торговкамъ христіанскимъ“. „Въ христіанскихъ фирмахъ — отмѣчала около этого же времени другая варшавская газета —людно и шумно, въ еврейскихъ магазинахъ царитъ мертвая тишина“. И этотъ результатъ могъ быть достигнутъ тѣмъ успѣшнѣе, что открывшая пропаганду бойкота евреевъ пресса не ограничилась одной только общей проповѣдью его, а съ самаго начала придавала своимъ призывамъ и вполне конкретный характеръ, не останавливаясь передъ указаніями на отдѣльныя предпріятія и на отдѣльныхъ лицъ. Та же „Gazeta Poranna“ —дешевая національ-демократическая газетка, поставившая своей задачей пропаганду идей и лозунговъ польской національ-демократіи въ широкихъ массахъ, —завела у себя особый отдѣлъ подъ названіемъ: „Еврейскій маскарадъ“ и изо дня въ день печатала и печатаетъ въ этомъ отдѣлѣ адреса и фирмы тѣхъ торговыхъ, ремесленныхъ и фабричныхъ предпріятій, которые по именамъ своихъ владѣльцевъ могли бы быть приняты за польскія, тогда какъ на самомъ дѣлѣ они принадлежатъ евреямъ. Наряду съ этимъ въ прессѣ указывались польскія предпріятія, держація у себя на службѣ евреевъ, и владѣльцамъ этихъ предпріятій адресовались приглашенія уволить евреевъ и предоставить ихъ мѣста христіанамъ. И призывы прессы и въ этомъ случаѣ попали на благодарную почву и не остались безрезультатными. Образовавшійся въ Варшавѣ аптекарско-косметическій союзъ, въ который вошли всѣ большія и мелкія мѣстныя предпріятія, разослалъ русскимъ и заграничнымъ фирмамъ увѣдомленіе, что онъ желалъ бы получать продукты ихъ производства не отъ теперешнихъ ихъ представителей, среди которыхъ подавляющее большинство составляютъ евреи, а отъ своихъ людей. Союзъ польскихъ комми-вояжеровъ съ своей стороны особой резолюціей обязалъ своихъ членовъ во время объѣздовъ ими различныхъ мѣстностей повсюду пропагандировать бойкотъ евреевъ и стремиться къ тому, чтобы заказы польскимъ фирмамъ дѣлались помимо еврейскихъ посредниковъ или комми-вояжеровъ.

Такимъ образомъ увлекшіеся идеей еврейскаго бойкота круги польскаго общества пытаются привлечь къ дѣлу этого бойкота и другія національности и въ этихъ видахъ выдвигаютъ соотвѣтственные проекты. Не оказалось при этомъ удобномъ случаѣ недостатка и въ другихъ проектахъ, еще болѣе химеричныхъ и вмѣстѣ съ тѣмъ еще болѣе откровенныхъ по своимъ тенденціямъ. Такъ, все та же „Gazeta Poranna“, играющая вообще роль первой скрипки

въ быстро славившемся бойкотистскомъ оркестрѣ, выступила, между прочимъ, съ такого рода предложеніемъ: пусть всѣ поляки, ссужавшіе деньгами евреевъ-домовладѣльцевъ подъ залогъ ихъ недвижимостей, стоворятся и всѣ одновременно потребуютъ возврата долговъ отъ своихъ должниковъ, чтобы тѣмъ самымъ поставить послѣднихъ въ безвыходное положеніе. Тогда — заранѣе радовалась газета—еврейскіе дома перейдутъ почти-что за безцѣнокъ въ руки залогодателей-поляковъ и у евреевъ будетъ почти даромъ отнята одна изъ ихъ экономическихъ позицій въ Польшѣ. Другая варшавская газета, „Dzieln“, чрезвычайно серьезно занялась вопросомъ о томъ, могутъ ли польскіе литераторы писать въ издаваемыхъ евреями, хотя бы и на польскомъ языкѣ, органахъ прессы. Польское общество—заявляла газета—должно отвѣтить на этотъ вопросъ, и этому отвѣту должны подчиниться наши литераторы, если они желаютъ сохранить за собой доброе имя. Одновременно съ муссированіемъ такихъ и имъ подобныхъ проектовъ въ прессѣ въ дѣйствительной жизни принимаются уже нѣкоторыя мѣры къ реальному осуществленію проектовъ, по существу своему нисколько не менѣе чудовищныхъ. Членъ Государственной Думы Наконечный, принадлежащій къ національ-демократической партіи, проводя минувшіе Рождественскіе праздники у себя на родинѣ, въ гминѣ Гарбовъ, убѣдилъ своихъ односельчанъ принять резолюцію о выселеніи на основаніи сенатскихъ разъясненій всѣхъ евреевъ изъ данной гмины и обѣщалъ слѣдить въ Петербургѣ за тѣмъ, чтобы эта резолюція не осталась безъ практическихъ результатовъ. „Gazeta Warszawska“, являющаяся офиціозомъ „польскаго кола“, съ своей стороны съ похвалой отозвалась о дѣйствіяхъ г. Наконечнаго, а вслѣдъ за тѣмъ у послѣдняго нашлись и подражатели, подъ вліяніемъ которыхъ стали появляться новые приговоры отдѣльныхъ гминъ о выселеніи изъ ихъ предѣловъ всѣхъ евреевъ.

Переходъ всѣхъ еврейскихъ домовъ въ руки поляковъ, уходъ всѣхъ польскихъ писателей изъ органовъ прессы, издаваемыхъ евреями, полное изгнаніе всѣхъ евреевъ изъ польскихъ деревень—все это пока лишь мечты бойкотистовъ,—правда, мечты, весьма характерныя. Болѣе осуществимымъ оказалось установленіе ограниченій для евреевъ въ различныхъ частныхъ сферахъ польской общественной жизни и за послѣдніе мѣсяцы въ Польшѣ кое-что уже и сдѣлано въ этомъ направленіи. Когда въ третьей Государственной Думѣ обсуждался законопроектъ о городскомъ самоуправленіи въ Царствѣ Польскомъ, представитель „польскаго кола“, депутатъ Яронскій, выступивъ съ защитой ограниченія правъ евреевъ въ этомъ будущемъ самоуправленіи, вмѣстѣ съ тѣмъ счелъ все же нужнымъ оговориться, что онъ и его единомышленники признаютъ возможнымъ установленіе процентной нормы исключительно въ сферѣ городского самоуправления, и то лишь въ видѣ временнаго изъятія, долженствующаго существовать лишь до уничтоженія

черты осѣдлости для евреевъ. Послѣ выборовъ въ четвертую Думу всѣ такія оговорки были отброшены въ сторону и національ-демократы, найдя себѣ многочисленныхъ помощниковъ и союзниковъ среди другихъ буржуазныхъ партій, повели ожесточенную кампанію за ограниченіе евреямъ доступа въ разныя общественныя учрежденія. Первая атака была направлена на варшавское городское кредитное общество. По общему порядку домовладѣльцы-члены общества избираютъ изъ своей среды уполномоченныхъ, которые въ обычной жизни общества замѣняютъ собою общее собраніе его членовъ. Не смотря на то, что во многихъ польскихъ городахъ еврей-домовладѣльцы рѣшительно преобладаютъ надъ поляками, городскія кредитныя общества въ Польшѣ все же находятся въ рукахъ поляковъ и остаются чисто польскими учрежденіями. Такъ было и въ Варшавѣ, гдѣ даже изъ 214 человекъ уполномоченныхъ городского кредитнаго общества было всего 59 евреевъ, хотя еврейскіе домовладѣльцы и обладали полною возможностью провести въ уполномоченные значительно большее количество своихъ соплеменниковъ. И однакоже все это не помѣшало тому, что 1300 поляковъ-домовладѣльцевъ, у которыхъ послѣ выборовъ въ четвертую Думу раскрылись глаза на „еврейскую опасность“, внесли въ общество предложеніе ограничить на будущее время количество евреевъ въ составѣ уполномоченныхъ 20-процентной нормой. И послѣ страстной агитаціи, доходившей до того, что нѣкоторыя польскія газеты обѣщались напечатать списокъ всѣхъ наличныхъ уполномоченныхъ кредитнаго общества съ указаніемъ того, какъ каждый изъ нихъ голосовалъ въ данномъ вопросѣ, для того, чтобы польскій „народъ“ зналъ имена тѣхъ, кто явится „измѣнникомъ“ ему въ національномъ дѣлѣ,—упомянутое предложеніе было принято большинствомъ голосовъ общаго собранія уполномоченныхъ. А за Варшавой послѣдовала и провинція и въ кредитныя общества нѣкоторыхъ провинціальныхъ польскихъ городовъ были внесены аналогичныя предложенія, — фактъ, въ свою очередь нашедшій себѣ восторженную оцѣнку въ немалой части польской прессы. „Евреи должны понять,—воскликала по этому поводу одна изъ антисемитскихъ варшавскихъ газетъ—что борьба будетъ долгая и настойчивая, до тѣхъ поръ, пока она не приведетъ поляковъ къ экономической побѣдѣ. Дешевле и выгоднѣе для евреевъ заблаговременно подумать о массовой эмиграціи изъ «неблагодарной» страны“.

Одною экономическою сферой бойкотъ, поставившій себѣ такія цѣли, не могъ ограничиться. Очень скоро онъ захватилъ и другія области, въ частности—сферу чисто культурной работы. На этой почвѣ, между прочимъ, произошелъ рѣзкій расколъ въ одномъ изъ немногихъ крупныхъ просвѣтительныхъ учреждений, уцѣлѣвшихъ въ Польшѣ отъ разгрома послѣднихъ лѣтъ, въ „Обществѣ польской культуры“. Нѣкоторыя изъ отдѣленій этого общества, состоявшія

главнымъ образомъ изъ рабочихъ, выступили съ резолюціями, направленными противъ бойкота евреевъ. Другую часть общества эти резолюціи привели въ негодованіе и во главѣ негодующихъ стали извѣстные и въ Россіи писатели Свентоховскій и Нѣмцовскій, до послѣдняго времени пользовавшіеся репутаціей стойкихъ и послѣдовательныхъ прогрессистовъ. Руководимое ими правленіе общества внесло на сѣздъ его дѣателей предложенія, согласно которымъ отдѣленія общества лишались права проводить резолюціи, не утвержденныя правленіемъ, а право быть членами общества признавалось только за „поляками, независимо отъ ихъ происхожденія и вѣроисповѣданія“. Сѣздъ отклонилъ было эти предложенія, но тогда правленіе и его сторонники заявили о своей готовности выйти изъ общества, а на собравшемся вслѣдъ за тѣмъ второмъ сѣздѣ сторонники правленія оказались уже въ большинствѣ. Въ то же время въ прессѣ возникли проекты созданія для артистовъ-поляковъ особой организаціи, которая отдѣлила бы ихъ отъ польскихъ артистовъ-евреевъ, появились нападки на отдѣльныхъ польскихъ ученыхъ, по происхожденію своему евреевъ, благодаря которымъ „ожидовѣла“ польская наука, и т. п. Не пощадили, наконецъ, высоко поднявшіяся волны бойкотистскаго движенія и школы, даже школы средней, учениковъ которой организаторы движенія не задумались также призывать къ дѣятельному участию въ бойкотѣ еврейскихъ товаровъ и самихъ евреевъ. Правда, союзъ польскихъ учителей послѣшилъ заявить, что онъ не допуститъ внесенія бойкотистскихъ тенденцій въ польскія школы, но это не помѣшало содѣлательницамъ нѣсколькихъ женскихъ школъ въ Варшавѣ помѣстить въ газетахъ публикаціи, что впредь въ ихъ школы не будутъ приниматься еврейскія дѣвочки. Въ бойкотистской же прессѣ высказывались и мнѣнія о необходимости полного закрытія доступа въ польскія школы для еврейскихъ дѣтей.

Національный бойкотъ, проникшій въ школу и сѣющій разнь между дѣтьми, бойкотъ, направленный къ разъединенію дѣателей, занятыхъ мирной культурной борьбой, бойкотъ, преслѣдующій задачу исключенія изъ польскаго общества даже тѣхъ евреевъ, которые трудились надъ распространеніемъ и углубленіемъ польской культуры,—такого рода зрѣлище подчасъ озадачивало даже нѣкоторыхъ изъ людей, находившихъ необходимой борьбу съ „еврейскимъ засильемъ“ и въ принципѣ признававшихъ идею бойкота. Соотвѣственно этому повременамъ дѣлались и попытки сократить сферу примѣненія бойкота и ввести его въ болѣе узкія границы. Такъ, „Tygodnik Polski“, органъ болѣе умѣренныхъ національ-демократовъ, отколовшихся отъ ядра партіи, выступилъ съ статьей, въ которой рѣшительно протестовалъ противъ бойкота евреевъ въ сферѣ культурной жизни, находя, что бойкотъ можетъ и долженъ примѣняться исключительно въ сферѣ экономической. Утверждая, что такіе проекты, какъ предложеніе не допускать еврейскихъ дѣ-

тей въ польскія школы, могутъ быть порождены только „отсутствіемъ мысли“, названный журналъ напоминаетъ, что среди еврейской молодежи, рискующей попасть подъ такой запретъ, легко могутъ оказаться „дѣти тѣхъ, которые для Польши сдѣлали больше, чѣмъ наши извѣстнѣйшіе роды“.

Легко понять силу такого аргумента даже для націоналиста-поляка, если только онъ помнитъ прошлое своей родины и способенъ вдохновиться ею будущимъ. Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь польскіе евреи вмѣстѣ съ поляками переживали печальныя судьбы ихъ родины и немало жертвъ возложили на ея алтарь, немало силъ отдали на служеніе ей. И тѣмъ не менѣе нельзя не видѣть, что въ данныхъ условіяхъ всѣ подобные аргументы совершенно безсильны и что самая задача, преслѣдуемая ими,—задача ограниченія арены завязавшейся борьбы—совершенно фантастична. Разъ эта борьба вообще признается возможной и даже необходимой, то ограничить ее какою-либо одною сферой отношеній въ сущности уже нѣтъ возможности и каждая попытка такого ограниченія неизбѣжно будетъ отзываться глубокою внутреннею фальшью. Конечно, для поляка, сколько-нибудь дорожающаго знакомствомъ съ жизнью своей родины, должна бы представляться дикой нелѣпостью травля ученаго-еврея, успѣшно занимающагося исторіей Польши и своими трудами распространяющаго знаніе этой исторіи въ польскомъ обществѣ. Конечно, съ точки зрѣнія поляка, сколько-нибудь думающаго о нуждахъ своего отечества, должно бы казаться страннымъ закрывать двери польскихъ школъ передъ еврейскими дѣтьми, родители которыхъ трудились и трудятся на благо общей родины. Но вѣдь, казалось бы, насколько не менѣе странно, дико и нелѣпо раззорять самихъ этихъ родителей путемъ бойкота, примѣняемаго въ сферѣ экономическихъ отношеній. И, если можно примѣнять этотъ послѣдній видъ бойкота, отчего собственно не практиковать и другіе его виды? Дѣло не въ томъ, чтобы между этими видами бойкота не существовало совсѣмъ уже никакой разницы, а въ томъ, что послѣдній изъ нихъ возможенъ лишь въ такой атмосферѣ, въ какой за нимъ неизбѣжно слѣдуютъ и другіе виды и формы бойкота. Даже изъ того бѣглаго изложенія фактической стороны бойкота, которое дано на предъидущихъ страницахъ, не трудно, думается, видѣть, какой характеръ имѣетъ эта атмосфера. А для того, чтобы еще ближе уяснить себѣ ее, достаточно присмотрѣться къ двумъ-тремъ конкретнымъ случаямъ изъ практики бойкота. Вотъ для образца два такіе конкретные случая.

Въ Варшавѣ бойкотистскія газеты открыли кампанію противъ поляка-домовладѣльца Вивянека, обвиняя его въ томъ, что онъ сдалъ въ своемъ домѣ помѣщеніе подъ еврейскую прачешную. И названный домовладѣлецъ счелъ нужнымъ печатно оправдываться въ этомъ преступленіи, указывая, что онъ, конечно, предпочелъ бы сдать прачешную поляку, но охотниковъ - поляковъ на нее долгое

время не нашлось и поэтому онъ вынужденъ былъ отдать ее еврею. Не лучшіе эпизоды разыгрываются и въ провинціи. Въ Сосновцахъ редактора мѣстной газеты „Іска“, г. Монсіорскаго, подвергли печатному допросу, какъ онъ могъ сняться въ еврейской фотографіи бр. Альтманъ. И г. Монсіорскій, въ свою очередь, печатно же оправдывался, что онъ, дѣйствительно, снимался въ фотографіи Альтманъ, но еще до объявленія бойкота евреямъ. Это видно—доказывалъ онъ между прочимъ—уже изъ того, что на инериминируемой ему фотографической карточкѣ онъ снятъ остриженнымъ коротко, машинкой № 0, а въ настоящее время у него длинные волосы.

Въ обстановкѣ, въ которой возможны подобные допросы и отвѣты, въ которой служеніе національному дѣлу отождествляется съ безпощаднымъ гоненіемъ на людей другой національности и осуществляется путемъ приемовъ, близко напоминающихъ собою сыскъ и шантажъ, аргументы, имѣющіе въ виду апелляцію къ чувствамъ гуманности и благородства, очевидно, не могутъ имѣть успѣха и менѣе всего могутъ повести къ ограниченію арены борьбы. И главные руководители бойкотистской компаніи, несомнѣнно, проявляютъ извѣстную послѣдовательность, когда они заранее отмечаютъ всѣ такіе аргументы, утверждая, что имъ нѣтъ мѣста въ начатой борьбѣ—борьбѣ, которая должна повести къ ослабленію еврейскаго элемента въ польскихъ городахъ и возвращенію безусловнаго господства въ нихъ въ руки поляковъ. „Въ польскихъ городахъ—писала „Gazeta Poranna“ (№ отъ 9 декабря 1912 г.)—не можетъ быть двухъ господъ, двухъ хозяевъ, можетъ быть только одинъ: полякъ или еврей. У польскаго мѣщанства нѣтъ возможности выбора: или оно вступитъ въ борьбу съ евреями, проявитъ свои силы и организационныя способности, или погибнетъ. Борьба, которая начинается сейчасъ, — борьба не на жизнь, а на смерть, и это должно уяснить себѣ мѣщанство, равно какъ и все польское общество. Безъ здороваго, богатаго и культурнаго мѣщанства сейчасъ немислимо культурное общество. Еслибы мы въ настоящее время позволили удалить изъ социальнаго организма этотъ классъ и замѣнить его чужой социальной группой, то у насъ получилось бы вмѣсто жизнеспособнаго социальнаго организма странное созданіе неспособное жить и развиваться. И поэтому вопросъ объ образованіи и надлежащемъ развитіи польскаго мѣщанства является сейчасъ первостепеннымъ вопросомъ нашего національнаго существованія. Отсюда слѣдуетъ, что въ развитіи польскаго мѣщанства заинтересованы сейчасъ всѣ слои польскаго общества, что способствовать ему должны всѣ, кто сознаетъ наши національныя задачи. Это развитіе однако несовмѣстимо съ оставленіемъ въ рукахъ евреевъ тѣхъ позицій, которыя сейчасъ находятся въ ихъ рукахъ въ торговлѣ и промышленности. Тутъ нѣтъ выбора и не можетъ

быть и рѣчи о примиреніи діаметрально противоположныхъ интересовъ—евреевъ и польскаго мѣщанства“.

Безпощадная борьба, борьба не на жизнь, а на смерть, борьба, которая мотивируется невозможностью лишиться польскаго мѣщанства и которая на самомъ дѣлѣ ставитъ своею цѣлью уничтоженіе существующаго еврейскаго мѣщанства и замѣну его польскимъ,—вотъ такимъ образомъ задача бойкота, какъ ее опредѣляютъ его инициаторы и вдохновители. При такой задачѣ, конечно, вполне естественно руководиться исключительно соображеніями о томъ, гдѣ можно найти наиболѣе уязвимыя мѣста противника. И эти соображенія и опредѣлили собою тактику бойкотистовъ. „Прежде всего—заявлялъ по этому поводу органъ варшавскихъ націоналистовъ, „Goniec“ (№ отъ 5 декабря 1912 г.),—мы должны вступить въ энергичную борьбу съ мелкими еврейскими лавочками, такъ какъ онѣ прежде всего погибнутъ, а, кромѣ того, ихъ владѣльцы опаснѣе другихъ, ибо они слѣпо слушаются голоса еврейскихъ демагоговъ и темныхъ раввиновъ и падиговъ, которые приказываютъ евреямъ открыто бороться съ нами“. Названная газета старалась, по крайней мѣрѣ, найти за мелкими еврейскими лавочниками и специальную вину. Другіе органы присоединившейся къ бойкоту евреевъ польской прессы были еще болѣе откровенны. „Первый натискъ—писалъ въ декабрѣ минувшаго года ежемѣсячникъ „Biblioteka Warszawska“—долженъ быть направленъ и направляется противъ розничныхъ торговцевъ, которые въ значительной своей части представляютъ собой лойяльную массу, тогда какъ оптовики изъ Налевокъ (предмѣстье Варшавы) вербуются почти исключительно изъ націоналистовъ. Но что же дѣлать? Въ этой экономической борьбѣ, результатомъ которой безъ всякаго сомнѣнія будетъ промышленный и торговый подъемъ польскаго общества, въ первую очередь должны пасть жертвою менѣе виновные, пока можно будетъ добраться до дальнѣйшихъ позицій“. Въ этомъ разсужденіи нѣтъ уже недостатка въ опредѣленности. Война, такъ война! „Виновны“ передъ поляками еврейскіе націоналисты, но, такъ какъ до ихъ экономическихъ позицій трудно добраться, то пусть за нихъ отвѣчаетъ „лойяльная“ по отношенію къ польскому обществу масса мелкихъ еврейскихъ лавочниковъ и ремесленниковъ, обезсилить и разорить которую гораздо легче. Можно различно оцѣнивать своеобразную логику такого разсужденія, но для моральныхъ цѣнностей въ немъ, очевидно, нѣтъ мѣста.

И однакоже ту же самую по существу позицію занялъ и органъ примкнувшихъ къ бойкоту евреевъ польскихъ прогрессистовъ, „Prawda“. „Изъ глубины деревенской жизни — писалъ этотъ журналъ (№ отъ 7 декабря 1912 г.)—мы должны поднять большую національную волну и направить ее къ городу. Деревня должна двинуться на завоеваніе торговли и промышленности. На Западѣ Европы этотъ походъ совершенъ 500 лѣтъ назадъ; въ Польшѣ онъ

долженъ совершиться теперь — и притомъ какъ можно скорѣе; иначе деревня, отрѣзанная отъ города, зачахнетъ, ослабѣетъ и умретъ. Завоеваніе городовъ для польской культуры является для нашего народа жизненной необходимостью. Это для нашего народа — „быть или не быть“. Кто становится теперь намъ поперекъ дороги, стремясь отвратить эту большую волну и направить ее вспять, кто выступаетъ противъ насъ съ правоученіями на тему христіанской любви, тотъ лучше пусть велитъ лечь въ могилу польскому народу. Всѣ тѣ области промышленности и торговли, которыя теперь находятся въ рукахъ евреевъ, должны перейти въ польскія руки: вотъ нашъ девизъ въ XX вѣкѣ. Мы хотимъ ясной постановки вопроса. Кто хочетъ дѣятельно, посредствомъ кооперативовъ, банковъ, выкупа недвижимостей, организациі польской торговли, бойкота евреевъ и т. д., занять города для поляковъ и тѣмъ самымъ удалить оттуда евреевъ, тотъ долженъ также и на словахъ ясно ставить вопросъ. Не надо играть въ жмурки... „Мы знаемъ, — заявлялъ съ другой стороны радикальный „Союзъ равноправія женщинъ“ въ своей резолюціи, вынесенной послѣ того, какъ одна изъ видныхъ дѣятельницъ союза печатно выступила противъ бойкота евреевъ, — мы знаемъ, что женщинамъ грѣшно теперь ослаблять народное воодушевленіе абстрактными идеями или болѣзненными чувствами, защищая чужихъ и нанося вредъ своимъ близкимъ. Мы знаемъ, что намъ надлежитъ развернуть вліяніе свойственныхъ женщинамъ чувствъ человеколюбія, чтобы дѣло народной самозащиты не вышло изъ границъ человеколюбія и морали; но мы знаемъ также, что народный энтузіазмъ въ дѣлѣ самозащиты посредствомъ созидательной работы означаетъ великое стремленіе, приводящее къ возрожденію, а такіа стремленія, какъ вообще великія идеи, ведутъ честными путями къ свѣтлой будущности“. Но, если прогрессивная „Prawda“, обсуждая вопросъ о бойкотѣ евреевъ, рѣшительно протестовала противъ правоученій о христіанской любви, а радикальный „Союзъ равноправія женщинъ“ вооружился противъ „абстрактныхъ идей“ и „болѣзненныхъ чувствъ“, то съ другой стороны, не оказалось недостатка и въ такихъ проповѣдникахъ бойкота, которые нашли возможнымъ защищать его какъ разъ съ точки зрѣнія христіанской любви къ ближнему. Однимъ изъ такихъ проповѣдниковъ явился небезызвѣстный въ Польшѣ ксендзъ Годлевскій, глава и руководитель польскаго „христіанскаго рабочаго союза“. Борьба съ евреями — доказывалъ кс. Годлевскій въ специально посвященной имъ этому вопросу статьѣ — не только не противна ученію Христа, но, наоборотъ, является прямымъ его выполненіемъ. „Христосъ завѣщалъ прежде всего любить своихъ, что подтвердилъ и примѣромъ, когда, отвѣчая хананейнкѣ, сказалъ: „нехорошо брать сыновній хлѣбъ и бросать его собакамъ“. Поэтому „поддержка своихъ и оборона ихъ отъ засилія пришельцевъ является нашей святой обязанностью и

иначе поступать и мыслить можетъ развѣ только измѣнникъ“, измѣнникъ какъ отечеству, такъ и вѣрѣ отцовъ.

Національ-демократы и свободомыслящіе прогрессисты, радикальные поборники женскаго равноправія и клерикалы сошлись такимъ образомъ на одной и той же программѣ беспощадной борьбы съ евреями, борьбы, въ которой не должно быть мѣста гуманнымъ соображеніямъ по отношенію къ „чужимъ“ и конечную цѣль которой должно явиться изгнаніе этихъ „чужихъ“ изъ польскихъ городовъ и освобожденіе послѣднихъ отъ „засилья пришельцевъ“. Моральный аргументъ, предъявляемый противъ той или иной отдѣльной части такой программы, очевидно, или сможетъ быть расширенъ до предѣловъ общаго возраженія противъ всей программы въ полномъ ея объемѣ, или же, сохранивъ свой частный характеръ, будетъ нести въ себѣ глубокое внутреннее противорѣчіе. Но оставимъ пока въ сторонѣ моральную цѣнность данной программы и попробуемъ приглядѣться къ ней съ другой точки зрѣнія и прежде всего выяснитъ причины появленія и успѣха этой программы, объединившей вокругъ себя столь разнородные на первый взглядъ элементы польскаго общества.

Такого рода причиной, безспорно, не могли быть выборы отъ Варшавы въ четвертую Думу вмѣстѣ съ ихъ заключительнымъ актомъ—избраніемъ еврейскими голосами поляка-соціалиста Ягелло. Варшавскіе выборы, якобы открывшіе полякамъ глаза на „еврейскую опасность“, на дѣлѣ послужили лишь поводомъ для обнаруженія существовавшаго въ широкихъ кругахъ польскаго общества настроенія, по отношенію къ евреямъ, но не могли создать этого настроенія не могли по той простой причинѣ, что они застали его уже готовымъ. Больше того,—во время самыхъ этихъ выборовъ варшавскимъ евреямъ въ сущности приходилось уже считаться съ своеобразнымъ бойкотомъ по отношенію къ нимъ со стороны польскаго буржуазнаго общества или, по крайней мѣрѣ, той его части, которая принимала дѣятельное участіе въ выборахъ. Дѣйствительно, польскія буржуазныя партіи не только отрицали за варшавскими евреями право на какую бы то ни было самостоятельную роль въ дѣлѣ выбора варшавскаго депутата, не только настаивали на безпрекословномъ подчиненіи ихъ своей волѣ, но еще и требовали, чтобы они путемъ избранія соотвѣтственнаго депутата присоединились къ пожеланію ограниченія гражданскихъ правъ еврейскаго населенія и признали необходимость въ Польшѣ экономической борьбы противъ евреевъ. Лозунгъ борьбы съ евреями былъ такимъ образомъ провозглашенъ еще до выборовъ въ четвертую Думу и самые выборы явились однимъ изъ актовъ этой борьбы. Что касается „еврейскаго засилья“ въ Варшавѣ, якобы обнаружившагося во время выборовъ, то на практикѣ оно вѣдь проявилось въ томъ, что евреи провели въ Думу поляка, признающаго равноправіе евреевъ. Правда, такимъ полякомъ оказался

соціалистъ. Правда и то, что этихъ послѣднихъ обстоятельствъ для нѣкоторыхъ органовъ польской прессы оказалось достаточно, чтобы заявить, что данный депутатъ не существуетъ для польскаго общества и что въ настоящее время въ Думѣ имѣютъ своихъ представителей лишь два меньшинства варшавскаго населенія: русское и еврейское. Но такая постановка вопроса всецѣло зависитъ отъ настроенія соотвѣтственныхъ круговъ польскаго общества. И приходится во всякомъ случаѣ сказать, что обостреніе польско-еврейскихъ отношеній рѣзко проявилось въ исторіи варшавскихъ выборовъ, но не эти выборы создали такое обостреніе.

Нѣкоторые изъ польскихъ писателей и общественныхъ дѣятелей указываютъ другую—на ихъ взглядъ, болѣе глубокую—причину этого обостренія въ фактѣ появленія въ Польшѣ въ послѣднее время большого количества пришлаго еврейскаго населенія. Съ давнихъ поръ—указываютъ они—евреи пользовались въ Польшѣ полнымъ равноправіемъ, но прежде между ними и польскимъ населеніемъ не возникало никакихъ конфликтовъ на національной почвѣ. Положеніе измѣнилось, когда съ 90-хъ годовъ прошлаго столѣтія въ Польшу стали притекать массы евреевъ, выселявшихся русской администраціей изъ внутреннихъ губерній Россіи. Эти пришлые изъ Россіи евреи — „литваки“, какъ ихъ прозвали въ Польшѣ,—приносили съ собою успѣвшіе уже стать для нихъ привычными русскій языкъ и русскіе обычаи и удерживали ихъ въ своемъ домашнемъ, а отчасти и въ общественномъ, быту и на мѣстахъ новаго своего поселенія. Тѣмъ самымъ они возбуждали и возбуждаютъ недоброжелательство польскаго населенія, среди котораго раньше вовсе не было подходящаго элемента для обрусенія и которое теперь усматриваетъ въ этихъ пришельцахъ своего рода обрусителей, способствующихъ денаціонализаціи Польши, а отсюда уже разгорается и вообще вражда поляковъ къ евреямъ.

Врядъ-ли однако такое объясненіе можно признать удовлетворительнымъ. Легко представить себѣ, что при обостренномъ до болѣзненности національномъ чувствѣ поляковъ „литваки“ съ ихъ русскимъ языкомъ и русскими навыками могутъ вызывать инстинктивное недоброжелательство въ польскомъ обществѣ. Но, не говоря уже о томъ, что такое недоброжелательство въ претендующемъ на культурность обществѣ, казалось бы, не должно выходить за извѣстныя границы, видѣть въ немъ серьезную и чуть ли не исчерпывающую причину рѣзкаго обостренія польско-еврейскихъ отношеній во всякомъ случаѣ не приходится. Съ одной стороны, никто, думается, не рѣшится утверждать, будто нѣсколько десятковъ тысячъ литваковъ съ ихъ русскимъ языкомъ сами по себѣ представляютъ серьезную угрозу для національной польской культуры, настолько серьезную, чтобы для парирования ея стоило воздвигать цѣлое гоненіе на евреевъ. Съ другой стороны, вѣдь это гоненіе воздвигается не только противъ „литваковъ“, но и про-

тивъ коренныхъ польскихъ евреевъ, не повинныхъ ни въ знакомствѣ съ русскими обычаями, ни въ употребленіи русскаго языка, но тѣмъ не менѣ обвиняемыхъ въ недостаточномъ почтеніи къ „польскому національному дѣлу“. Еще недавно—писала по этому поводу одна изъ варшавскихъ націоналистскихъ газетъ („Dziś“, 1913 г., № 7)—поляки проводили рѣзкое разграниченіе между „литваками“ и польскими евреями: „литваки—вредное племя, но наши евреи идеальны, настоящія овечки, готовые отдать послѣднюю каплю крови за польское національное дѣло“. „Но—продолжала газета—отрезвленіе пришло наконецъ, варшавскіе выборы открыли всѣмъ глаза. Сейчасъ развѣ только слѣпой не видитъ, что еврей всегда останется евреемъ, т. е. заклятымъ врагомъ аріица“. На самомъ же дѣлѣ и до варшавскихъ выборовъ въ различныхъ мѣстностяхъ Польши, гдѣ вовсе не было „литваковъ“, практиковалась уже—правда, въ сравнительно деликатныхъ формахъ—борьба съ евреями, а со времени объявленія бойкота воздвигнуто откровенное гоненіе на всю массу польскихъ евреевъ. Наличностью въ Польшѣ „литваковъ“ объяснить такое гоненіе, очевидно, невозможно.

Настоящее объясненіе надо искать въ другомъ—въ фактѣ роста въ польскомъ обществѣ того воинствующаго націонализма, главной выразительницей котораго на аренѣ общественной жизни явилась партія польской національ-демократіи. Втеченіе ряда лѣтъ этотъ воинствующій націонализмъ нарасталъ въ Польшѣ, захватывая своимъ вліяніемъ все болѣе широкіе слои общества, и вотъ теперь, наконецъ, онъ завершаетъ логическій кругъ своего развитія. Онъ началъ съ обѣщаній разрѣшить серьезные вопросы польской народной жизни и заканчиваетъ откровенной націоналистической демагогіей и человѣконенавистнической проповѣдью, ни въ чемъ не уступающей проповѣдямъ „союза русскаго народа“. Сколько-нибудь серьезно улучшить состояніе польскаго народа, вопреки всѣмъ своимъ шумливымъ увѣреніямъ, онъ оказался неспособнымъ и безсильнымъ. И, пойдя по линіи наименьшаго сопротивленія, онъ пытается теперь серьезно ухудшить положеніе еврейскаго народа въ Польшѣ. Имѣя передъ собою въ Польшѣ массы евреевъ, онъ предъявляетъ къ нимъ требованіе, чтобы они немедленно стали не только польскими гражданами, какими они въ сущности были все время, но и поляками. И, понимая самъ неисполнимость этого послѣдняго требованія, невозможность ассимиляціи цѣлаго племени, успѣвшаго осознать свою особность, онъ переходитъ къ ограниченію гражданскихъ правъ еврейскаго населенія и къ разжиганію гоненій противъ него путемъ обостренія національной вражды, пытаясь этимъ способомъ добиться массоваго выселенія евреевъ изъ Польши. Та ненормальная атмосфера, въ которой живетъ современная Польша съ ея до крайности обостреннымъ національнымъ чувствомъ, не находящимъ себѣ правильного

выхода, представляет какъ нельзя болѣе благоприятныя условія для роста націонализма и въ результатъ это теченіе увлекло многихъ даже изъ тѣхъ людей, которые раньше исповѣдывали символъ вѣры, не допускавшій гоненія на ту или другую національность. Съ другой стороны, объявленіе „національнаго“ похода противъ еврейскихъ торговцевъ и промышленниковъ отвѣчало аппетитамъ польскихъ купцовъ и промышленниковъ, обѣщая имъ подъ флагомъ національной идеи дешевую побѣду надъ конкурентами и болѣе или менѣе богатую добычу.

Такъ—изъ смѣси націоналистической идеологіи и соображеній матеріальной выгоды—родилось движеніе, получившее названіе бойкота евреевъ. На какіе же результаты оно можетъ рассчитывать? Можно, конечно, при извѣстномъ напряженіи страстей массъ раззорить тысячи—быть можетъ, даже десятки тысячъ—мелкихъ еврейскихъ лавочниковъ и ремесленниковъ. Можно, пожалуй, упорно идя по этому пути, подорвать и нѣсколько болѣе или менѣе крупныхъ торговыхъ и промышленныхъ еврейскихъ предпріятій. Можно, наконецъ, на мѣсто разоренныхъ еврейскихъ лавочниковъ, ремесленниковъ и промышленниковъ выдвинуть такихъ же лавочниковъ, ремесленниковъ и промышленниковъ изъ среды поляковъ. Но что же дальше? Нѣтъ надобности, конечно, доказывать, что всѣ эти перемѣны нисколько не измѣняютъ общаго соціального положенія. Но онѣ не приведутъ и къ той ближайшей цѣли, къ какой путемъ ихъ стремятся придти,—къ удаленію евреевъ изъ Польши. Въдѣ въ Царствѣ Польскомъ въ настоящее время насчитывается около 1.800.000 евреевъ. Выбросить изъ страны сколько-нибудь значительную часть этой массы людей не такъ-то просто и, стало быть, полякамъ придется и въ будущемъ жить бокъ-о-бокъ съ евреями, но только съ евреями, разувѣрившимися въ наличности у поляковъ уваженія къ ихъ правамъ, на горькомъ опытѣ познавшими всю силу національной вражды и понявшими необходимость яростной борьбы за существованіе, тѣснѣ сплоченными этой борьбой.

Но это только одна сторона медали. У нея есть еще и другая въ видѣ иного рода результатовъ, неизбежно получающихся отъ той кампаніи, какая ведется воинствующими польскими націоналистами противъ евреевъ и создаетъ новую фазу еврейскаго вопроса въ Царствѣ Польскомъ. Такимъ результатомъ является моральное ослабленіе той позиціи, какую занимаютъ польскіе націоналисты при отстаиваніи національныхъ правъ польскаго народа. Угнетаемые и притѣсняемые въ сферѣ своей собственной національной жизни, они захотѣли сами стать угнетателями и не задумались заимствовать для этого аргументы изъ арсенала своихъ притѣснителей. Но эти аргументы, какъ и всякіе другіе, обязываютъ. Мудрено, сохраняя хотя бы видъ достоинства, открыто исповѣдывать готтентотскую мораль, согласно которой я въ своихъ дѣйствіяхъ называю нравственнымъ то самое, что въ поступкахъ дру-

того именую безнравственнымъ, — необходимо принять какую-нибудь общую мѣрку. И, если во имя „польскаго національнаго дѣла“ можно ограничивать гражданскія права евреевъ и воздвигать противъ нихъ тоженіе, то, очевидно, во имя „прусскаго національнаго дѣла“ или „русской національной задачи“ можно точно также ограничивать права поляковъ и подвергать ихъ различнымъ притѣсненіямъ... Только тотъ, кто самъ никого не притѣсняетъ и не собирается притѣснять, можетъ вести настоящую, полную нравственной красоты борьбу противъ притѣсненій и находить себѣ въ этой борьбѣ вѣрныхъ и надежныхъ союзниковъ.

Не всѣ, конечно, въ современномъ польскомъ обществѣ забыли эту простую истину. Цѣлый рядъ видныхъ польскихъ общественныхъ дѣятелей выступалъ и выступаетъ съ горячимъ протестомъ противъ той вакханаліи націонализма, какая нашла себѣ выраженіе въ бойкотѣ евреевъ. Такого рода протесты слышатся и изъ лагеря консерваторовъ, и изъ рядовъ либераловъ, — отъ послѣднихъ, впрочемъ, едва-ли не рѣже, чѣмъ отъ первыхъ. Но въ томъ и другомъ случаѣ одинаково съ протестами выступаютъ почти исключительно единичныя личности, явно представляющія собой меньшинство. И только на крайнемъ лѣвомъ флангѣ польскихъ общественныхъ силъ, въ рядахъ социалистовъ организаторы и вдохновители бойкота евреевъ встрѣтили организованный массовый отпоръ. Въ то время, какъ большинство польскихъ либераловъ не смогло противостоять націоналистическимъ увлеченіямъ и само было захвачено ихъ мутнымъ потокомъ, польскіе социалисты сохранили въ неприкосновенности принципъ равенства гражданъ и выступили его энергичными защитниками. Въ этомъ смыслѣ чрезвычайно характерна и симптоматична была исторія варшавскихъ выборовъ. Варшавскіе еврейскіе выборщики въ большинствѣ своемъ отъ всей души стремились къ союзу съ польской буржуазіей и искренно хотѣли вручить депутатскій мандатъ представителю буржуазныхъ партій, но такъ какъ условіемъ полученія этого мандата они ставили признаніе еврейскаго равноправія, то имъ въ концѣ концовъ пришлось остановить свой выборъ на социалистѣ. Старѣющій либерализмъ и въ Польшѣ, какъ видно, отказывается отъ защиты тѣхъ идеальныхъ цѣнностей, какія нѣкогда стояли на его знамени, и его миссію въ этомъ отношеніи перенимаетъ на себя молодая армія труда, связывающая ее съ болѣе широкими и плодотворными задачами. Съ протестомъ противъ бойкота евреевъ выступили и передовые слои польскаго крестьянства, объединенные въ ту организацию „зараняжей“, о которой недавно шла рѣчь на страницахъ „Р. Богатства“ въ статьѣ Л. Василевскаго. И если разыгрывающаяся сейчасъ въ Польшѣ трагедія еврейской жизни и способна оттолкнуть евреевъ отъ польской буржуазіи, то въ виду указанныхъ фактовъ можно все-таки надѣяться, что эта трагедія не создастъ отсужденія между трудовыми массами польскаго и еврей-

скаго народовъ, массами, одинаково ничего не выигрывающими и много теряющими отъ разгула шовинистическаго націонализма.

В. Мякотинъ.

Хроника внутренней жизни.

1. „Реформа“ медицинской академіи. — 2. Отмираніе государственныхъ функций. — 3. Изъ думскихъ осколковъ.

Въ лѣто отъ Рождества Христова 1913-ое въ Россійской имперіи упразднена медицинская академія. Она со славою существовала около 105 лѣтъ. Она подвергалась многимъ превратностямъ въ мрачные годы былыхъ реакцій. Но ее тогда все-таки щадили, и она жила. Нынѣшнее лихолѣтье пощады не знаетъ. И академіи ея питомцами пропѣта „вѣчная память“. Этотъ грустный обрядъ выполненъ на улицѣ возлѣ академическихъ зданій. Проходившіе во время него мимо обнажали головы. И многіе плакали. Въ академіи ко дню ея закрытія было 1007 студентовъ. Всѣ они уволены. Нѣкоторымъ членамъ Государственной Думы это напомнило Герострата.

Ближайшимъ поводомъ къ горестному событію послужилъ приказъ военнаго министра, обязавшій студентовъ покойной академіи отдавать „честь“ офицерамъ. Изъ-за этого приказа возникли многочисленные, въ отдѣльных случаяхъ сопровождавшіеся пролитіемъ студенческой крови, столкновенія. Они вызвали возбужденное состояніе не только въ академіи, но и во многихъ другихъ высшихъ школахъ по всей странѣ; поднялась волна студенческихъ забастовокъ, на сей разъ поддержанная возбужденнымъ состояніемъ всего общества, протестами даже такихъ дѣятелей, какъ А. И. Гучковъ, заявленіями и рѣшеніями даже такихъ организацій, какъ петербургская городская дума. Протесты студентовъ академіи и явились предлогомъ и поводомъ для рѣшительныхъ мѣръ: увольненія всѣхъ студентовъ, закрытія самой академіи, а затѣмъ такого „реформированія“ ея, которое фактически равносильно учрежденію школы иного типа. Такимъ образомъ сложилось впечатлѣніе, что авторы рокового приказа какъ бы первые поднесли спичку къ костру, зажгли огонь, испепелившій академію. Впечатлѣніе, какъ увидимъ ниже, не вполне основательное. Но съ нимъ нельзя было не считаться, — тѣмъ болѣе, что кое-кто, напримѣръ, изъ членовъ Думы находилъ умѣстнымъ терминъ: „провокація“. Въ виду всего этого главное управленіе генеральнаго штаба выступило съ официальными разъясненіями относительно авторскихъ правъ на злополучный приказъ.

Въ повременной печати и въ обществѣ распространяются слухи о томъ, что оданіе чести студентами императорской военно-медицинской академіи всѣмъ штабъ и оберъ-офицерамъ арміи и флота было установлено по инициативѣ главнаго управленія генеральнаго штаба. Въ дѣйствительности главное управленіе генеральнаго штаба такого вопроса не возбуждало и не предполагало возбуждать.

Наоборотъ, оно все время указывало „на необходимость отнестись къ названному вопросу съ особою осмотрительностью“, заранее предвидѣло, что „такая крупная реформа“, „въ особенности на первое время“, приведетъ къ весьма серьезнымъ по своимъ слѣдствіямъ столкновеніямъ между студентами и офицерами. На это и указывало главное управленіе тѣмъ профессорамъ академіи, которымъ въ данномъ вопросѣ принадлежитъ инициатива. Первый изъ нихъ—проф. Варлихъ. Исполняя обязанность начальника академіи, онъ рапортомъ отъ 16 іюля 1910 г. за № 4824 ходатайствовалъ о томъ, чтобы студентамъ академіи было приказано „отдавать честь не только штабъ и оберъ-офицерамъ, но и гражданскимъ чиновникамъ военнаго и морскаго вѣдомства“. Это ходатайство генеральный штабъ по указаннымъ соображеніямъ отклонилъ. Но затѣмъ 1 августа 1912 г. профессоръ Вельяминовъ въ качествѣ начальника академіи „вновь возбудилъ ходатайство о распространеніи правилъ воинскаго привѣтствія на студентовъ“. Отклонять вторичное ходатайство у генеральнаго штаба не нашлось оснований...

Безъ сомнѣнія, это—очень важная фактическая справка. Но послѣ нея совершенно непонятно, за что и по какимъ причинамъ наложена тяжкая кара на студентовъ и въ серединѣ учебнаго года прекращена дѣятельность академіи. Пусть профессора просили... Но высшее учрежденіе вѣдомства находило предлагаемую мѣру неосмотрительной, неосторожной, опасной. Изъ нѣкоторой деликатности оно уступило, согласилось. Но дѣйствительность полностью оправдала опасенія генеральнаго штаба. Естественный и единственный достойный выходъ заключался, очевидно, въ немедленной отмѣнѣ явно ошибочнаго приказа. Съ какой же стати министерство предпочло карать невинныхъ студентовъ (всѣхъ огуломъ, не разбирая ни правыхъ, ни виноватыхъ)? Какія были основанія за неумные рапорты двухъ профессоровъ подвергать катастрофѣ одно изъ старѣйшихъ въ Россіи ученыхъ учрежденій? Пресса высказала догадку: военное министерство спасало свой престижъ... Вполнѣ ясно однако, что ему представлялся случай поднять престижъ. Стоило лишь опубликовать переписку главнаго управленія съ профессорами и закончить: такъ какъ опасенія, высказанныя генеральнымъ штабомъ, полностью подтвердились, то мѣра, испрошенная начальникомъ академіи, отмѣняется... Или, быть можетъ, военное министерство щадило престижъ профессоровъ? Но, если даже забыть о томъ, насколько разумно потрясать академію изъ-за са-

моллюбя гг. Варлиха и Вельяминова, — генеральный штабъ въ своемъ официально опубликованномъ объясненіи отнюдь не щадитъ ихъ.

Во всякомъ случаѣ генеральный штабъ о приказѣ, объявленномъ отъ имени военного министра, даетъ отрицательный отзывъ, слагаетъ съ себя отвѣтственность и возлагаетъ ее на двоихъ поименно названныхъ профессоровъ,—имъ, стало быть, принадлежитъ героистатова слава, хотя и очевидно, что храмъ сожгли не они. Газетные сотрудники обратились къ первому изъ названныхъ, къ проф. К. В. Варлиху—съ вопросомъ, что онъ имѣетъ сказать по поводу официальныхъ объясненій генеральнаго штаба. Г. Варлихъ отвѣтилъ таинственными намеками и загадками:

Я предвидѣлъ, что на меня обрушатся нападки печати и гнѣвъ общества... Не считаю возможнымъ оправдываться. Я уже привыкъ, что на меня всегда вѣшаютъ собакъ... Быть можетъ, тогда (въ 1910 г.) только благодаря мнѣ академія была спасена... („Рѣчь“, 15, III).

Словомъ, сколько можно понять проф. Варлиха, онъ писалъ свой рапортъ со снорбью, единственно ради какой-то благой цѣли и, повидимому, для устранения какой-то опасности. Выказаться вразумительнѣе онъ „считаетъ неудобнымъ по многимъ причинамъ“. Выяснилось однако, что проф. Варлихомъ этотъ отвѣтственный рапортъ поданъ помимо вѣдома конференціи профессоровъ. У проф. Вельяминова газетные сотрудники также попросили объясненій. Оказалось, что и онъ въ данномъ вопросѣ дѣйствовалъ помимо вѣдома конференціи. А по существу дать объясненія уклончивыя, понятыя газетами такъ:

Н. А. Вельяминовъ возбудилъ ходатайство только „о распространеніи правилъ воинскаго привѣтствія и на студентовъ академіи“. А это далеко не то же самое, что приравненіе студентовъ къ нижнимъ чинамъ, находящимся на дѣйствительной службѣ. („Рѣчь“, 15, III).

Проф. Вельяминовъ во всякомъ случаѣ не одобряетъ распоряженія объ отданіи чести въ томъ видѣ, въ какомъ оно опубликовано. Генеральный штабъ опредѣленно осуждаетъ. А загадки проф. Варлиха отнюдь не похожи на попытку защитить это распоряженіе по существу. Передъ нами такимъ образомъ непостижимая странность. Состоялся приказъ, взбудоражившій все русское общество, вызвавшій большія волненія, повлекшій за собою многочисленныя жертвы, потрясшій до основанія цѣлый оплотъ культуры. И, оказывается, этотъ страшный по своему значенію документъ изданъ военнымъ министерствомъ, не смотря на возраженія самого министерства, помимо конференціи академіи и противъ дѣйствительныхъ намѣреній двухъ единственныхъ профессоровъ, которые формально просили ввести „отданіе чести“. Детали столь же непостижимы. 16 іюля 1910 года, въ каникулярный періодъ, г. Варлихъ, временно исполняя обязанности начальника академіи, како-

ВЫМЪ ВЪ ТО ВРЕМЯ БЫЛЪ ПРОФЕССОРЪ ДАНИЛЕВСКІЙ, ПОДАЕТЪ ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВАЖНЫЙ И КРАЙНЕ ОТВѢТСТВЕННЫЙ РАПОРТЪ. И ЭТО ОСТАЕТСЯ СЕКРЕТОМЪ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ КОНФЕРЕНЦІИ. ПРОФЕССОРЪ ДАНИЛЕВСКІЙ ПИСЬМОМЪ ВЪ РЕДАКЦІЮ „НОВАГО ВРЕМЕНИ“ ЗАЯВИЛЪ, ЧТО О ХОДАТАЙСТВѢ, ВОЗБУЖДЕННОМЪ ЕГО ВРЕМЕННЫМЪ ЗАМѢСТИТЕЛЕМЪ 16 ІЮЛЯ 1910 Г., ОНЪ УЗНАЛЪ ВПЕРВЫЕ ЛИШЬ ТОГДА, КОГДА ПРОЧИТАЛЪ ОПУБЛИКОВАННОЕ 15 МАРТА 1913 ГОДА ОФИЦІАЛЬНОЕ ОБЪЯСНЕНІЕ ГЛАВНАГО УПРАВЛЕНІЯ ГЕНЕРАЛЬНАГО ШТАБА...

НѢКОТОРЫЙ СВѢТЪ ВЪ ЭТО ЗАГАДОЧНОЕ СПЛЕТЕНІЕ СТРАННЫХЪ ОБСТОЯТЕЛЬСТВЪ ВНОСЯТЪ ОПУБЛИКОВАННЫЯ „РУССКИМЪ ИНВАЛИДОМЪ“ ИСТОРИЧЕСКІЯ СПРАВКИ. ИЗЪ НИХЪ ПРЕЖДЕ ВСЕГО УЗНАЕМЪ, ЧТО ВОПРОСЪ О РЕФОРМИРОВАНІИ АКАДЕМІИ ВЪ СМЫСЛѢ МИЛИТАРИЗАЦІИ ЕЯ СТРОИ ВОЗНИКЪ ДАВНО... ДОБАВИМЪ ОТЪ СЕБЯ: ЕЩЕ ВЪ ТО ВРЕМЯ, КОГДА АКАДЕМІЮ ПЕРЕИМЕНОВЫВАЛИ ИЗЪ МЕДИКО-ХИРУРГИЧЕСКОЙ ВЪ ВОЕШНО-МЕДИЦИНСКУЮ... НО ВОПРОСЪ НЕ ПОЛУЧАЛЪ ДВИЖЕНІЯ. А ПОСЛѢ ИЗДАВАНІЯ ВРЕМЕННЫХЪ ПРАВИЛЪ 27 АВГУСТА 1905 Г., РАСШИРИВШИХЪ ПРАВА СОВѢТСКИХЪ КОЛЛЕГІЙ ВЪ ВЫСШИХЪ ШКОЛАХЪ МИНИСТЕРСТВА НАРОДНАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ, МИЛИТАРИЗАЦІЯ И ВОСРЕ ЗАТОРМОЗИЛАСЯ. НАОБОРОТЪ, СО СТОРОНЫ ПРОФЕССОРОВЪ ПОСЛѢДОВАЛО ХОДАТАЙСТВО О РАСПРОСТРАНЕНІИ НАЧАЛЪ АВТОНОМІИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХЪ УНИВЕРСИТЕТАМЪ, НА ВОЕННО-МЕДИЦИНСКУЮ АКАДЕМІЮ. ХОДАТАЙСТВО ЭТО ВТЕЧЕНІЕ 2 — 3 ЛѢТЪ ИМѢЛО ГАДАТЕЛЬНУЮ СУДЬБУ. НО КЪ 1909 ГОДУ УСТОИ БЫЛИ УКРѢПЛЕНЫ. И НАЧАЛЬСТВО ВЕРНУЛОСЯ КЪ МИЛИТАРИЗАЦІИ. ВОЕННЫЙ МИНИСТРЪ ПРЕДАГАЛЪ КОНФЕРЕНЦІИ ВЫРАБОТАТЬ ПЛАНЪ РЕФОРМЫ НА НАЧАЛАХЪ „БОЛѢ БЛИЗКАГО И БОЛѢ ПОЛНАГО ОБСЛУЖИВАНІЯ АКАДЕМІЕЙ ПОТРЕБНОСТЕЙ РУССКОЙ АРМІИ“. ЭТА ТУМАННАЯ ФОРМУЛА МОЖЕТЪ БЫТЬ ИСТОЛКОВАНА КРАЙНЕ РАЗНООБРАЗНО. НЕ ВСТУПАЯ ВЪ ЛОГИЧЕСКОЕ ПРОТИВОРѢЧІЕ СЪ НЕЮ, КОЛЛЕГІЯ ПРОФЕССОРОВЪ АКАДЕМІИ ПРОДОЛЖАЛА НАСТАИВАТЬ НА НЕОБХОДИМОСТИ „НѢКОТОРЫХЪ НАЧАЛЪ АВТОНОМІИ“.

ОБѢ СТОРОНЫ—МИНИСТЕРСТВО И КОНФЕРЕНЦІЯ АКАДЕМІИ—ВСТУПИЛИ ТАКИМЪ ОБРАЗОМЪ ВЪ ПОЛОСУ ПРЕРЕКАНІЙ,—ВПРОЧЕМЪ, ОСТОРОЖНЫХЪ. ВЪ 1910 Г. МИНИСТЕРСТВО НАШЛО ПОДДЕРЖКУ ВЪ КОММИССІИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБОРОНЫ III ДУМЫ И ТУТЪ, ПО СПРАВКАМЪ „РУССКАГО ИНВАЛИДА“, ТУМАННАЯ МЫСЛЬ О КАКОМЪ-ТО „БЛИЗКОМЪ И ПОЛНОМЪ ОБСЛУЖИВАНІИ ПОТРЕБНОСТЕЙ АРМІИ“ ПОЛУЧИЛА БОЛѢ ОТЧЕТЛИВУЮ ФОРМУЛИРОВКУ. КОММИССІЯ ОБОРОНЫ ОСОБОЙ РЕЗОЛЮЦІЕЙ РЕКОМЕНДОВАЛА ВОЕННОМУ МИНИСТЕРСТВУ РАЗСМАТРИВАТЬ МЕДИЦИНСКУЮ АКАДЕМІЮ, КАКЪ „ВЫСШЕЕ ВОЕННО-УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНІЕ“, И ОРГАНИЗОВАТЬ ВЪ НЕЙ „ОБУЧЕНІЕ“ НА „ТАКИХЪ НАЧАЛАХЪ, ЧТОБЫ АКАДЕМІЯ ВПОЛНѢ СООТВѢТСТВОВАЛА ЦѢЛИ ОБСЛУЖИВАНІЯ АРМІИ И ФЛОТА, КАКЪ ВЪ МИРНОЕ, ТАКЪ И ВЪ ВОЕННОЕ ВРЕМЯ“... ПРИ ПОМОЩИ „СВОБОДНО ИЗБРАННЫХЪ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАРОДА“ РЕФОРМАТОРСКАЯ МЫСЛЬ СТАЛА ОТКРОВЕННѢЕ, БЛИЖЕ КЪ ТРАДИЦІОННОМУ „ФЕЛЬДФЕБЕЛЮ ВЪ ВОЛЬТЕРЫ ДАМЪ“. И ВСЕ-ТАКИ ОНА ОСТАВАЛАСЯ КРАЙНЕ ОБЩЕЙ, ВЫРАЖАЛА ЛИШЬ ТЕНДЕНЦІЮ, КОТОРУЮ ПРЕДСТОЯЛО ЕЩЕ ВОПЛОТИТЬ ВЪ ФОРМУ КОНКРЕТНЫХЪ, „ДѢЛОВЫХЪ“ ПРЕДЛОЖЕНІЙ. СЪ ЭТОЙ ТОЧКИ ЗРѢНІЯ ТАКІЕ ДОКУМЕНТЫ, КАКЪ РАПОРТЪ ПРОФ.

Варлиха, имѣють особо важное значеніе. По тактическимъ соображеніямъ ходатайство г. Варлиха признано неосмотрительнымъ, неосторожнымъ. Но оно удовлетворяло программнымъ желаніямъ. Въ развитіе общей тенденціи оно вносило нѣчто такое, что могло стать и дѣйствительно стало однимъ изъ параграфовъ въ дѣловой программѣ реформъ. По тактическимъ соображеніямъ аналогичное ходатайство проф. Вельяминова было также неосмотрительнымъ. Но оно опять-таки шло на встрѣчу желательному въ программномъ смыслѣ. Отсюда понятнѣе, почему оно не было отклонено. И можно бы прямо безъ оговорокъ признать за гг. Варлихомъ и Вельяминовымъ нѣкоторую долю правъ на геростратову славу. Но, во-первыхъ, эта доля во всякомъ случаѣ не больше той, какая по справедливости должна быть предоставлена, напр., руководимой г. Гучковымъ комиссіи государственной обороны III Думы. А, во-вторыхъ, нельзя полагаться только на официальные справки. Изъ нихъ явствуетъ, что именно гг. Варлихъ и Вельяминовъ предложили ввести обязательное отданіе чести студентами офицерамъ. Въ дѣйствительности, авторское право на это предложеніе принадлежит не имъ. Равнымъ образомъ, не имъ, не генеральному штабу и не комиссіи государственной обороны принадлежатъ авторскія права на многіе другіе параграфы въ планѣ „реформъ“, какимъ подвергнута медицинская академія. Чтобы въ этомъ убѣдиться, достаточно просмотрѣть комплекты „Русскаго Знамени“, начиная, примѣрно, со второй половины 1909 г. по 1 января 1911 г.

1909—1910 учебный годъ принадлежитъ къ числу достопримѣчательныхъ въ Россіи: во время него волею покойнаго Столыпина и при содѣйствіи гг. Пуришкевича, Дубровина, Маркова и К^о во всѣхъ высшихъ школахъ былъ насажденъ и сразу же приступилъ къ рѣшительнымъ дѣйствіямъ боевой академизмъ. Насадилъ его и въ медицинской академіи. Судьбѣ было угодно, чтобы на академію выпало счастье дать пріютъ одному изъ наиболѣе достопримѣчательныхъ академистовъ того времени—г. Сопотцкѣ. Въ отличіе отъ обыкновенныхъ академистовъ, которыхъ интересовала только матеріальная сторона ихъ положенія (темныя деньги, попойки, кутежи), г. Сопотцко имѣлъ желаніе служить нѣкоторой „идеѣ“ и возвѣщать ее. Естественно, на немъ сосредоточились особыя упованія реакціонныхъ верховъ. На сезонъ 1909—10 гг. онъ сталъ „пророкомъ“ этихъ верховъ, спеціально по учебной части. При поддержкѣ верховъ онъ сталъ—опять-таки на сезонъ 1909—10 гг.—персоной, внушавшей трепетъ сановникамъ и генераламъ. Между прочимъ, академія пережила много непріятностей, когда г. Сопотцко весною 1910 г. не выдержалъ переходныхъ экзаменовъ. По этому поводу профессора, опѣившіе познанія г. Сопотцки неудовлетворительнымъ баломъ, были заподозрѣны въ политической неблагонадежности. Производилось строгое и всестороннее разслѣдованіе.

Къ слову сказать, какъ разъ во время этихъ непріятностей профессоръ Варлихъ и подалъ свой рапортъ.

Академисты разбились по „патріотическимъ приходамъ“: одни приписались къ Маркову и Пуришкевичу, другіе къ Дубровину. Академисты медицинской академіи—опять-таки въ 1909—10 гг.—были „дубровинцами“. Подъ руководствомъ г. Дубровина они ревностно сотрудничали въ „Русскомъ Знамени“. Здѣсь поэтому и сосредоточились всѣ ихъ разоблаченія противъ академіи и предлагаемые ими проекты „реформъ“... Надо замѣтить, что въ медицинской академіи студентамъ-академистамъ по необходимости пришлось нести не совсѣмъ тѣ труды, какіе составляютъ ихъ удѣлъ въ учрежденіяхъ министерства народнаго просвѣщенія. Академія втеченіе 5—6 послѣднихъ лѣтъ оставалась до нѣкоторой степени въ сторонѣ отъ общестуденческихъ и, въ частности, забастовочныхъ движеній. Забастовокъ въ ней за эти годы почти не было, — слѣдовательно, не было и надобности срывать забастовки (задача, обычно выполняемая академистами). Точно такъ же почти не было иныхъ открытыхъ и важныхъ проявленій „крамолы“. При этихъ условіяхъ оправдывать свое призваніе академисты могли, лишь вгрызаясь въ мелочи, въ повседневную жизнь учрежденія. Этимъ они и занялись. Какъ и слѣдовало ожидать, съ особеннымъ усердіемъ они обслѣдовали медицинскую академію съ точки зрѣнія „еврейской опасности“. Оказалось, разумѣется, что въ академіи всѣми дѣлами управляетъ „еврейскій кагалъ“, и самъ начальникъ ея, академикъ Данилевскій,—еврей. Пусть и не въ буквальномъ смыслѣ еврей; пусть у него, быть можетъ, всего лишь бабушка была еврейка, да и та еще въ дѣвичество приняла православіе. По нынѣшнимъ временамъ, это — все равно. Академикъ Данилевскій не выдержалъ направленныхъ противъ него громовъ и по разстроенному здоровью былъ вынужденъ выйти въ отставку. Его преемникъ профессоръ Вельяминовъ также не удовлетворялъ академистовъ. Повидимому, они не нашли въ числѣ его предковъ еврея, но за то усмотрѣли въ его образѣ мыслей несомнѣнные признаки іудейства и объявили въ „Русскомъ Знамени“, что лейбъ-хирургъ Вельяминовъ — явный „шабесгой“, а это, какъ извѣстно, еще хуже, чѣмъ еврей... Только теперь, въ мартѣ 1913 г., „Русскій Инвалидъ“ огласилъ во всеобщее свѣдѣніе характерную подробность: труды студентовъ-академистовъ по раскрытію и искорененію „еврейской опасности“ находили оцѣнку и поддержку со стороны комиссіи государственной обороны въ III Думѣ. Въ 1910 г. комиссія формально высказала пожеланіе, чтобы въ военно-медицинскую академію совершенно не имѣли доступа „лица іудейскаго вѣроисповѣданія“... Словомъ, этотъ пунктъ съ самаго начала былъ поставленъ на твердую почву. И военное министерство не затруднилось осуществить его: новое „Положеніе“ запрещаетъ

принимать въ академію не только самихъ евреевъ, но и сыновей, даже „внуковъ лицъ, родившихся въ іудейскомъ законѣ“...

Какъ ни важна „еврейская опасность“, но она—лишь деталь. Гораздо важнѣе было обследовать академію съ точки зрѣнія общеполитической неблагонадежности. Академисты произвели и эту работу. Въ повседневной жизни они безъ труда открыли много такого, что обыкновенно ускользаетъ отъ поверхностнаго взгляда, но можетъ быть надлежаще истолковано... Такъ, напр., академисты довели до общаго свѣдѣнія, что въ студенческой столовой стоитъ бюстъ Л. Н. Толстого. Понимаете: въ трапезныхъ православныхъ монастырей стѣнные иконы, а въ столовой военно-медицинской академіи Толстой... Вотъ она какова преданность православію. И не только православію. Извѣстно, что писалъ Толстой, напр., въ своихъ „памяткахъ“ солдатамъ и офицерамъ. Вотъ каковы, стало быть, понятія студентовъ военно-медицинской академіи о военной службѣ... Доводили еще академисты до общаго свѣдѣнія, что въ читальнѣ имѣются только „лѣвыя“ газеты и нѣтъ ни одной „правой“. Доводили о многомъ другомъ. И все, что ни замѣтили они, сводилось къ подтвержденію нѣкоторой общей мысли:

— И это будущіе военные врачи, которымъ предстоитъ войти въ тѣснѣйшее, интимнѣйшее общеніе съ арміей... Ясное дѣло,—какія идеи они въ нее внесутъ. Ясное дѣло, что военно-медицинская академія есть одинъ изъ важнѣйшихъ очаговъ, откуда революціонная зараза расплзается по арміи...

Послѣ этихъ открытій можно бы не сомнѣваться, что дѣло „реформы“ поставлено на твердую почву. Сколько-нибудь значительныхъ внѣшнихъ поводовъ ломать медицинскую академію не было. Но нельзя же, въ самомъ дѣлѣ, терпѣть очагъ революціи, непосредственно угрожающій арміи. вмѣстѣ съ тѣмъ подкрѣплялось практическими мотивами общее желаніе охранителей замѣнить Вольтера фельдфебелемъ, — не просто замѣна, не изъ любви къ искусству, а ради настоятельной необходимости опять-таки спасти армію... Не ограничиваясь собираніемъ „фактовъ“, подтверждающихъ необходимость „реформы“, академисты детально разработали и самый планъ ея. Конечно, должны быть пересмотрѣны и переустроены науки. Съ одной стороны, ихъ надо приблизить къ военному духу, съ другой — изъ нихъ надо устранить многое вредное. Но всего неотложнѣе „реформа“ административной части: послѣ нея легко будетъ и съ науками справиться. Начинать надо, разумѣется, съ „головы“.

Начальникомъ академіи, по нашему мнѣнію, — писалъ, напр., г. Сопочко, — долженъ быть не столько заслуженный профессоръ и извѣстный ученый, сколько вѣрнопопдаанный, строго православный, твердый волей человекъ, военный по духу и воспитанію, — иначе сказать, строевой генераль типа Думбадзе или Толмачева. Вотъ какого начальника мы бы желали видѣть во главѣ академіи, иначе слѣдуетъ военную академію преобразовать

въ университетъ, чтобы штатскій духъ не прикрывался военною формою („Русское Знамя“, 21. X. 1910).

Вся учебно-ученая жизнь академіи должна быть проникнута „военнымъ духомъ“, перестроена на военныхъ началахъ и подчинена „строевому генералу“. Соотвѣтственному режиму необходимо подчинить и студентовъ. „Намъ, военнымъ медикамъ, — восклицалъ одинъ изъ академистовъ — военная дисциплина нужна, какъ воздухъ“¹⁾. У студентовъ академіи должно быть воспитываемо чувство „подчиненности и подвластности“. Они должны быть переведены на положеніе юнкеровъ, обучающихся медицинскимъ наукамъ, и „такъ подтянуты, чтобы глаза на лобъ вылезли“. Студенты должны вообще жить такъ, какъ юнкера, — ни одного шага безъ спроса, и все не иначе, какъ по приказанію и съ разрѣшенія; передъ каждымъ имѣющимъ болѣе высокой чинъ, — на вытяжку и подъ козырекъ. Пунктъ „о козыркѣ“ академисты разрабатывали въ „Русскомъ Знамени“ съ особеннымъ, почти маньяческимъ упорствомъ. Одинъ изъ нихъ весною 1910 г. печатно объявлялъ, что разъ законъ и начальство не радѣютъ о дисциплинѣ и не обязываютъ студентовъ выполнять необходимое, то онъ самъ по собственной инициативѣ обязываетъ себя „отдавать честь“ всѣмъ офицерамъ... Таковы главныя основанія „реформы“, предложенной „академистами“. Конечно, они разрабатывали при этомъ и многое второстепенное. Но значительная часть второстепенныхъ указаній воплощена въ жизнь безъ промедленія — тогда же, въ 1909—10 гг.

Съ чувствомъ истиннаго удовлетворенія — писалъ, напр., одинъ изъ академистовъ въ № „Русскаго Знамени“ отъ 13 апрѣля 1910 г. — могу сообщить, что рядъ моихъ статей оказалъ свое благотворное дѣйствіе. По приказу на чальника академіи, пресловутая студенческая читальня передана подъ наблюденіе штабъ-офицеровъ, — элемента безусловно черносотеннаго и потому для лѣвыхъ студентовъ ненавистнаго. Стѣдовательно, теперь пойдутъ въ читальнѣ новые порядки. (Курсивъ мой. — А. П.)

Когда академическое начальство пресѣкло попытку организовать студенческой кружокъ для изученія Евангелія (книга священная, но несогласная съ намѣреніями водворить среди врачей „военный духъ“), тотъ же академистъ писалъ (8. IV. 1910):

Глубоко удовлетворень... Значить, моя статья достигла цѣли, и „Русскому Знамени“ военно-медицинская академія должна быть обязана тѣмъ, что освобождена отъ „свободнаго“ изученія Евангелія въ ущербъ истинѣ и на соблазнъ юныхъ и неопытныхъ умовъ.

Какъ видите, второстепенныя указанія академистовъ принимались къ свѣдѣнію и руководству не только вообще военной бюрократіей, но и начальникомъ медицинской академіи. На второсте-

¹⁾ „Русское Знамя“, 24. IV. 1910. Курсивъ подлинника.

пенномъ, что могло быть исполнено безъ шума, „студента выдавали, не споря“. Основные указанія нельзя было выполнить безъ шума. Тѣмъ болѣе, что они щекотливы до крайности, — даже теперь, черезъ три года, само главное управленіе генеральнаго штаба не можетъ молчать по поводу слуховъ, приписывающихъ ему инициативу. Тогда, въ 1910 г. планы академистовъ были еще колючѣе... Г. Варлихъ, „спасавшій академію“, счелъ однако за благо подкрѣпить своимъ профессорскимъ авторитетомъ одно изъ важныхъ практическихъ предложеній студента-академиста Сопоцьки...

Характерны хронологическія даты... Втеченіе первой половины 1910 г. конференція академіи, по порученію военнаго министра, „перерабатывала дѣйствующее Положеніе“ и проектъ новаго Положенія строила на „нѣкоторыхъ началахъ автономіи“. 16 іюля 1910 г. какъ мы уже знаемъ, проф. Варлихъ, временно исполнявшій обязанности начальника академіи, рапортомъ просилъ, чтобы студентовъ обязали отдавать честь. А затѣмъ, какъ узнаемъ изъ справки, опубликованной „Русскимъ Инвалидомъ“, ровно черезъ 8 дней послѣ этого, 24 іюля 1910 г. начальникомъ академіи, т.-е. персонально тѣмъ же проф. Варлихомъ, былъ внесенъ въ военный совѣтъ выработанный конференціей проектъ реформы на автономныхъ началахъ... Повторяю, намъ неизвѣстны намѣренія и мотивы г. Варлиха. Но объективный смыслъ рапорта 16 іюля при данныхъ условіяхъ достаточно ясенъ. Думская коммиссія обороны настаивала на „реформѣ“ въ смыслѣ замѣны Вольтера фельдфебелемъ. Рапортъ проф. Варлиха свидѣтельствовалъ, что въ таковой замѣнѣ собственно нѣтъ надобности, ибо и рекомый Вольтеръ можетъ выполнить возлагаемое на фельдфебеля и даже имѣть къ тому желаніе. Рапортъ, дѣйствительно, какъ бы „спасалъ академію“ и даже подкрѣплялъ соображенія относительно профессорской автономіи; онъ былъ нагляднымъ подтвержденіемъ, что автономія вовсе не такъ опасна, какъ о ней думаютъ въ охранительномъ лагерѣ. Но послѣ этого рапорта трудно было возражать противъ милитаризаціи студенческаго быта. Да объ этомъ основномъ вопросѣ, повидимому и не думали. Отстаивали лишь права профессоровъ, желательныя конференціи начала автономіи. Но и этотъ вопросъ въ сущности предрѣшался тѣмъ положеніемъ, какое заняла ничтожная численно и морально кучка академистовъ, и тѣмъ значеніемъ, какое получили рецепты и домыслы „Русскаго Знамени“. Между отсутствіемъ должнаго отпора даже такимъ величинамъ и стремленіемъ къ автономіи было очевидное и непримиримое логическое противорѣчіе...

Такимъ образомъ уже въ 1910 г. „реформа“ была опредѣлена; были намѣчены конкретно мѣропріятія, долженствующія милитаризировать медицинскую академію. Но, конечно, сразу такія дѣла не дѣлаются. Академію исподволь подтягивали, подготавливали. И только въ концѣ 1912 года къ „реформѣ“ подошли вплотную. На первую

очередь были поставлены два простѣйшіе пункта программы „Русскаго Знамени“. Согласно процитированному выше предложенію г. Сопотки, въ начальники академіи былъ, наконецъ, назначенъ не „заслуженный профессор“ и не „извѣстный ученый“, а просто генералъ Макаввеевъ. Судя по газетнымъ свѣдѣніямъ о его дѣятельности, въ немъ есть и нѣкоторыя покушенія на „типъ Думбадзе“. Однако г. Макаввеевъ — не строевой, какъ требовалъ г. Сопотко, а санитарный генералъ. Это смягченіе, впрочемъ, компенсировано дополнительнымъ общимъ мѣропріятіемъ, въ силу коего медицинская академія подчинена главному санитарному инспектору и такимъ образомъ перестала быть отдѣльной самостоятельной частью, подчиненной непосредственно военному министру на особыхъ основаніяхъ. (Кстати,—думская коммиссія по запросамъ напомнила, что такая передача академіи подѣ началъ главного санитарнаго инспектора производилась уже дважды—въ 1856 и 1886 г.; и оба раза отъ этого возникла такая путаница, что распоряженіе приходилось быстро отмѣнять,—въ 1856 г. оно было отмѣнено черезъ 3 мѣс., въ 1886 г. черезъ 17 дней). Не долго до назначенія г. Макаввеева выполненъ былъ и другой пунктъ программы: объ отданіи чести. Генеральный штабъ, по его собственному признанію, предвидѣлъ, къ чему такая мѣра поведетъ. Кое-чего однако онъ, какъ можно думать, не предвидѣлъ, за что и удостоился получить урокъ отъ г. Меншикова. Послѣдній постарался разъяснить военному министерству, что „профессія“ студентовъ-медиковъ по самому существу своему „глубоко-штатская“: они „не могутъ, еслибы и хотѣли, быть хорошими военными“, такъ какъ у нихъ „вся душа и сердце устремлены въ сторону совсѣмъ другихъ интересовъ“; съ точки зрѣнія людей, ушедшихъ въ изученіе „цѣлыхъ десятковъ“ медицинскихъ дисциплинъ, „всѣ эти мундиры, погоны, епокарды, козырянье офицерамъ и солдатамъ—чистая бутафорія“¹⁾. Всему свое мѣсто. Для строевого человѣка „козырянье“—серьезное дѣло; но, когда это дѣло приказываютъ дѣлать врачамъ, то получается приблизительно то же, что должно получиться, еслибы офицерамъ велѣли, напр., заниматься каллиграфіей, а студентамъ духовныхъ академій—военной сигнализацией. Эти элементарныя истины не учтены главнымъ управленіемъ генеральнаго штаба. Не мудрено, что онѣ оказались непонятыми своевременно и нѣкоторою частью офицерской молодежи, — особенно пѣхотной, кавалерійской и гвардейской. Студенты отнеслись къ приказу объ отданіи чести именно такъ, какъ естественно и неизбѣжно людямъ извѣстныхъ настроеній и интересовъ. Часть офицерской молодежи истолковала это, какъ обидное и презрительное отношеніе къ одной изъ характерныхъ особенностей военнаго быта. Почувствовали себя задѣтыми и юнкера: они

¹⁾ „Новое Время“, 17, III.

отдаютъ честь офицерамъ, а студенты не хотятъ отдавать,—значить, дескать, считаютъ это унижительнымъ, значить, оскорбляютъ юнкеровъ... И чѣмъ больше выяснялось „штатское“, „ученное“ отношеніе студентовъ къ „честью“, тѣмъ, видимо, большую обиду чувствовала военная молодежь. Къ сожалѣнію, высшее военное начальство ровно ничего не сдѣлало, чтобы устранить это недоразумѣніе. И оно привело къ жуткому азарту. Въ газетахъ появились извѣстія, что нѣкоторые офицеры „дежурятъ“ на тѣхъ улицахъ, гдѣ наичаще ходятъ студенты-медики. Считающіе себя задѣтыми увлеклись своеобразной „охотой на студента“. Стали требовать не просто „kozyрянъ“, но и фронтовской выправки. Зарывались, насккивали по ошибкѣ на профессоровъ и врачей, требуя, чтобы и они „отдавали честь“. Поднялись и юнкера. Одинъ изъ студентовъ подвергся вооруженному нападенію со стороны подвыпившихъ учениковъ военной технической школы. Объ учебныхъ занятіяхъ при этихъ условіяхъ нечего было и думать. Посѣщеніе лекцій, конечно, прекратилось. Большинство студентовъ въ интересахъ безопасности рѣшило снять погоны и форменныя отличія. Съ своей стороны, и общество не могло не почувствовать тревоги. Къ „лѣвому отношенію“ на сей разъ склонилась и та часть общества, мнѣніе которой для самого правительства не безразлично: не надо забывать, что среди студентовъ академіи—много дѣтей и родственниковъ военныхъ, иногда занимающихъ видное служебное положеніе. Повторяю, министерство имѣло возможность свалить содѣянное на профессоровъ и съ честью выбраться изъ трясины. Но оно предпочло идти къ дальнѣйшему осуществленію намѣченныхъ плановъ. Закрывъ академію и уволивъ всѣхъ студентовъ, военное министерство въ своемъ официальномъ органѣ объявило закономъ новое „Положеніе объ академіи“, проведенное помимо законодательныхъ учрежденій,

Положеніе, дѣйствительно, „новое“ и въ немъ рѣзко подчеркивается разрывъ со старымъ. Въ закрытой академіи состояло 1007 студентовъ. По новому положенію „комплектъ“ учащихся опредѣленъ цифрою: 860 человекъ. Значить, 147 студентовъ во всякомъ случаѣ выбрасываются вонъ и при томъ въ серединѣ учебнаго года. Выбрасывается вонъ самое слово: студенты. Отнынѣ въ зданіяхъ, какія занимала медицинская академія, не должно быть студентовъ. Допускаются только „слушатели“ наукъ. И они должны быть не медиками, не людьми по самой природѣ вещей „глубокоштатскими“, а военно-служащими, подчиненными строевому порядку и военной юрисдикціи. „Слушатели“ первыхъ двухъ курсовъ признаются вольноопредѣляющимися, должны получать серьезную строевую подготовку и при переходѣ съ 1 курса на 2 отбываютъ, какъ нижніе воинскіе чины, четырехмѣсячный лагерный сборъ. Слушатель, перешедшій на 3-й курсъ, получаетъ званіе „заурядъ-врача“, можетъ жить на частной квартирѣ и въ отношеніи воин-

скихъ привѣтствій приравнивается къ офицерамъ; „заурядъ-врачамъ“ присваивается офицерская форма и шашка; имъ обязаны отдавать честь „слушатели“ первыхъ двухъ курсовъ...

Это еще не вся программа „Русскаго Знамени“: еще не приказано официально реформировать на военный ладъ самыя науки, преподаваемые въ академіи. Но отъ солидарности и съ тою частью программы, которая выполнена, не замедлили отречься многіе видные представители охранительнаго лагеря. Националистъ Синадино, напр., заявилъ газетнымъ сотрудникамъ:

Въ преобразованную такимъ образомъ академію пойдутъ только отбросы учащейся молодежи („Русскія Вѣдомости“, 17. III).

По отзыву фонъ-Анрепа, новое „Положеніе“ губить академію:

Вмѣсто студентовъ будутъ просто солдаты, которые будутъ заниматься своими строевыми обязанностями, а не изучать анатомію... Нигдѣ въ мірѣ ничего подобнаго нѣтъ. (Тамъ же).

Г. Меньшиковъ поспѣшилъ напомнить, что онъ еще въ 1910 году возражалъ печатно противъ предположеній, нынѣ объявленныхъ закономъ¹⁾. Не замедлилъ отречься отъ солидарности съ осуществленными планами „Русскаго Знамени“ и руководитель правительственнаго центра IV Думы г. Крупенскій²⁾. Не замедлили возникнуть и практическіе вопросы. Военная академія отнынѣ будетъ готовить хорошихъ строевиковъ и сомнительныхъ врачей. Въ случаѣ войны этотъ безпорядокъ будетъ до нѣкоторой степени восполненъ: мобилизуютъ врачей настоящихъ, штатскихъ. Но въ мирное время кто же будетъ подавать достаточно авторитетную врачебную помощь хотя бы только офицерамъ, ихъ семьямъ, женамъ, дѣтямъ? Октябристъ Годневъ выдвинулъ болѣе общее сомнѣніе.

Военно-медицинская академія—говоритъ онъ—перестаетъ быть ученымъ учрежденіемъ и становится школой для подготовки военныхъ медиковъ. Поэтому теперь долженъ быть поднятъ вопросъ, можетъ ли быть предоставлено военнымъ врачамъ новой формациі право частной практики. Можетъ быть, они будутъ хорошими полевыми врачами, но плохо будутъ поставлены, напр., акушерство, дѣтскія болѣзни и т. д. („Русскія Вѣдомости“, 17. III).

Возбуждаются и другіе вопросы,—въ томъ числѣ международные: насколько совмѣстима такая реформа съ извѣстными гарантіями, какія международное право и международный обычай предоставляютъ военнымъ врачамъ? Но все это пока преждевременно: надо еще реформировать учебную часть. Планъ этой реформы уже разработанъ въ №№ 1 и 3 за 1913 г. „Военнаго Сборника“, — официального органа военнаго министерства. Для слу-

¹⁾ „Новое Время“, 17. III.

²⁾ „Рѣчь“, 17. III

пателей первыхъ двухъ курсовъ предположительно намѣчены, между прочимъ, слѣдующія обязательныя науки и упражненія; тактика, военная исторія, артиллерія, военная топографія, строевое ученье, фехтованіе, стрѣльба въ цѣль изъ ружей и револьверовъ, военная гимнастика, верховая ѣзда... Собственно же „медицинскія науки“ преподаются „наряду“ съ чисто военными науками. По предположенію официального органа, изъ названія академіи исключается самое слово: „медицинская“. Ее надо разбить на два отдѣленія и переименовать. Младшее отдѣленіе, въ составѣ первыхъ двухъ курсовъ, предполагается назвать „военно-санитарнымъ училищемъ“, а старшее проектируется наименовать „военно-санитарной академіей“... Конечно, нѣкоторые изъ этихъ предположеній потребовали бы законодательной санкціи. Но многое можетъ быть выполнено въ порядкѣ простыхъ приказовъ, опредѣляющихъ чѣмъ должны заниматься *военно-служащіе*, называемые „слушателями“ и заурядъ-врачами“.

Въ критической оцѣнкѣ подобныя „реформы“ нуждаются, дѣйствительно, не больше, чѣмъ подвигъ Герострата. Но вопросъ, кому принадлежитъ геростратова слава, рѣшается, какъ видите, не совсемъ просто. Передъ нами исторія безъ героевъ, драма безъ главной роли. Трудились всѣ понемножку. Свою лепту внесла третьедумская коммиссія обороны (напомню, что въ нее не была допущена оппозиція). Но не коммиссіи принадлежитъ слава, ибо „нѣсть рабъ болѣй господина“: прислужники бюрократіи и дѣйствовали, яко прислужники. Значительнѣе роль бюрократіи, предводимой въ данномъ случаѣ г. Сухомлиновымъ. Но „не бываетъ ученикъ выше учителя“. А „учителями“ въ этомъ дѣлѣ были студенты-академисты, сотрудничающіе въ „Русскомъ Знамени“. Обременять же „лидера“ этихъ „учителей“ г. Сопотъку славой разрушителя академіи—смѣху подобно. Во-первыхъ, домыслы „Русскаго Знамени“, какъ и рѣчи на съѣздахъ объединеннаго дворянства, не принадлежатъ къ числу безусловныхъ объектовъ индивидуальнаго права. Тутъ нѣтъ оригинальнаго, но много мелкихъ, пошлыхъ, общедоступныхъ, какъ мелкая монета, реакціонныхъ мыслишекъ. Во-вторыхъ, эти мыслишки получили значеніе вовсе не потому, что ихъ изложилъ печатно тотъ или иной студентъ-академистъ. Онѣ поправились тамъ, въ сферахъ, чиновной и сановной знати, способной настоять на ихъ осуществленіи... „Неотвѣтственные вліянія“—вотъ кому, казалось бы, должна принадлежать слава Герострата. Но въ какой странѣ среди чиновной и сановной знати нѣтъ старичковъ и старушекъ, готовыхъ упразднить самую жизнь, потому что она имъ не нравится? Мало ли даже въ Англіи найдется именитыхъ охотниковъ уничтожать „вольный духъ“? Старичковъ и старушекъ не передѣлаешь. И не они виноваты, что ихъ слушаютъ, когда нужно сказать: руки прочь. Разумѣется, суть не въ старичкахъ, а въ той системѣ, при которой они получаютъ страшное для

всей страны значеніе. Но система — вещь обширная. „Геростратомъ сожженъ храмъ“. Этимъ словами опредѣляется индивидуальный случай, исключеніе изъ общаго правила: вообще храмы свято берегутся, хотя иногда ихъ не удается сберечь. Но если „система сожгла храмъ“, то ничего исключительнаго не произошло, а совершилось нѣчто соответственное общему правилу... Не берегутъ у насъ храмовъ, не дорожимъ ими, и вотъ... въ развалинахъ одесскій и московскій университеты, пропѣли вѣчную память медицинской академіи. А, сверхъ того, нынѣ „Русское Знамя“ и „Земщина“ добираются и до академіи наукъ.

II.

Бываютъ случайныя, но краснорѣчивыя совпаденія. Конецъ 1912 г. Внѣшнія тревоги. Военное вѣдомство принимаетъ въ виду ихъ извѣстныя мѣры. Недавно опубликованное соглашеніе съ Австро-Венгеріей о взаимной частичной демобилизаціи даетъ достаточное представленіе, какія это мѣры. Но въ то же время, въ концѣ 1912 г., относительно главнаго опорнаго пункта врачебной организаціи въ русской арміи отдаются распоряженія, которыя, по отзыву самого генеральнаго штаба, не могли не вызвать потрясеній и разстройствъ. Начало марта 1913 г. Военный министръ приступаетъ къ окончательнымъ реформамъ медицинской академіи. А въ близкой ему по долгу службы казачьей Донской области происходитъ съѣздъ врачей. Онъ былъ созванъ и разрѣшенъ, между прочимъ, „по случаю чумы“, а чума, какъ извѣстно, надвигаясь съ востока на западъ, заняла квартиры по Дону и перешагнула за Донъ. Не только, впрочемъ, чума должна бы беспокоить военнаго министра. По даннымъ, оглашеннымъ на съѣздѣ, въ Донской области до 1000 населенныхъ мѣстъ поражены дифтеритомъ,—за одинъ только 1912 г. зарегистрировано около 12.000 дифтеритныхъ больныхъ (а сколько не замѣчено регистраціей?). Еще болѣе страшныя цифры — до 50.000 зарегистрированныхъ больныхъ — даетъ малярія. Не менѣе потрясающихъ размѣровъ достигъ тифъ,—въ западныхъ районахъ области (по Донцу и донецкому углепромышленному бассейну) тифозныя заболѣванія мѣстами стали повальными. Прочное положеніе завоевала scarlatina и т. д. Словомъ, на съѣздѣ развернулась картина, которую по справедливости можно признать равноцѣнной, на примѣръ, географическому открытію первостепенной важности. И если въ Россіи такія открытія не кажутся страшными, то по очень простой причинѣ: „а гдѣ лучше?“ Вотъ только развѣ чумою Донъ похвастать можетъ, да и то не передъ Одессой. Тифъ сталъ всероссійскою болѣзнію. Дифтеритъ за послѣдніе годы сдѣлалъ такіе успѣхи, что мѣстами даже въ губернскихъ городахъ ъ—напр., въ Там-

боѣ¹⁾—больныхъ этою болѣзнью не могутъ вмѣстѣ ни заразные отдѣленія больницъ, ни специально открытые дифтеритные бараки. Минувшая зима во многихъ губерніяхъ была особенно неблагополучна по скарлатинѣ. Оспа прочно укрѣдилась какъ по сосѣдству съ Дономъ (напр., въ Славяносербскомъ уѣздѣ), такъ и въ мѣстахъ далекаго отъ донцовъ запада: назову хотя бы Островской уѣздъ Псковской губерніи, гдѣ, по газетнымъ свѣдѣніямъ, цѣлыя волости охвачены черной оспой²⁾... Нѣкоторыхъ причинъ этого санитарнаго неблагополучія не могъ не коснуться донской врачебной сѣздъ. Есть причины общія,—между прочимъ, перманентные неурожаи. Но много и частныхъ причинъ. Такъ, напримѣръ, сѣздъ обратилъ вниманіе

„на ужасающее антисанитарное состояніе рабочихъ казармъ, вѣрнѣе, землянокъ для рабочихъ на строящихся шлюзахъ по Донцу“ („Донская Жизнь“, 6. III).

... „Около 60.000 человекъ на угольныхъ копяхъ и десятки тысячъ въ экономіяхъ коннозаводчиковъ принуждены жить въ сырыхъ и грязныхъ жилищахъ. Отсюда повальные заболѣванія тифомъ“ („Русское Слово“, 6. III).

Два слова въ поясненіе: при организаціи работъ по шлюзованію Донца „русскіе“ рабочіе оказались неподходящими: „больно грамотны“; привезли „людей“ изъ Персіи, на вербовали татаръ; получились рабочіе „чрезвычайно нетребовательные“—какъ выразился одинъ изъ врачей на донскомъ сѣздѣ, но получилось также отравленіе рѣки и эпидемія вдоль побережья... И опять уместно сказать: „а гдѣ лучше?“. На Ленѣ? Въ центральной Россіи, гдѣ цѣлыя рѣчныя системы отравлены фабрично-заводскими и землевладѣльческими стоками и нечистотами? Конечно, и при отцахъ нашихъ такъ было. Разница лишь въ степеняхъ и оттѣнкахъ. Отцы не устраивали такихъ революцій, какъ ихъ дѣти. А для усмиренія революціи понадобилась „ставка на сильныхъ“. Практически она выразилась въ цѣломъ рядѣ центральныхъ ударовъ по слабымъ: подрывъ экономическій и, какъ одно изъ его послѣдствій, болѣе упорные, чѣмъ прежде, „недороды“, стремленіе упразднить продовольственную помощь и т. д. Съ своей стороны, „сильные“ не кладутъ охулки на руку и ради корысти отравляютъ воду, землю и воздухъ.

Повторяю, оттѣнками различается день нынѣшній отъ дня минувшаго. Вотъ какъ разъ только-что прошедшей зимою немало городовъ (назову для примѣра Елисаветградъ и Пятигорскъ) гласно указывало на тюрьмы, какъ источникъ эпидемій,—на сей разъ рѣчь шла не только о тифѣ; появились и другія болѣзни; между прочимъ, эпидемическая оспа, напр., въ Луганской тюрьмѣ („Утро“ (харьковское), 3. III). Значитъ ли это, что въ старые годы тюрьмы были въ санитарномъ отношеніи благополучны? Конечно, нѣтъ. Но

¹⁾ „Русское Слово“, 7. XII. 1912.

²⁾ „Русское Слово“, 19. II.

пришла революція и уходит не желаетъ. Для надобностей бороться съ нею (т. е. съ извѣстными требованіями социальныхъ и политическихъ реформъ) понадобилось почти утроить тюремное населеніе; подвергли его кстати контръ-революціонному режиму. И получилась густая сѣть учреждений, распространяющихъ эпидемическія болѣзни. Не только мѣры, прямо направленные противъ внутреннихъ враговъ, создаютъ такой эффектъ. Ради борьбы съ революціей и психологія понадобилась особая, и люди особеннаго, не евангельскаго, а, такъ сказать, огнестрѣльнаго отношенія къ ближнему. Вотъ военно-санитарной инспекціи поручено истреблять гидру революціи въ академіи. Какъ будто мало прямого дѣла!.. Какъ будто опрятность хотя бы только зданій военнаго вѣдомства и система ассенизаціи въ нихъ достигла идеальнаго совершенства! Вѣдь, если замыслы переименовать медицинскую академію въ санитарную имѣютъ нѣкоторую тѣнь основанія, то единственно потому, что эта часть не улучшается, а падаетъ. Но и переименованіемъ ничего не достигнуто: некогда думать о санитаріи,—надо революцію истреблять. И не одному военному вѣдомству, всѣмъ вѣдомствамъ некогда. Да и какая охота о санитаріи думать? И течетъ казенная нечистота, какъ и частновладѣльческая, въ питьевые источники; течетъ ради „экономіи“; течетъ и просто потому, что умъ служилаго человѣка приспособился къ особымъ взглядамъ на народное здравіе. Въ видѣ поясненія напомнимъ хотя бы описанную недавно газетами санитарную распорядительность въ Портѣ Александра III (пригородъ Либавы): въ казенной торговой банѣ какому-то „подрядчику“ предоставляется мыть (до 800 пудовъ единовременно) привезенное имъ изъ другихъ мѣстъ грязное, пропитанное нечистотами тряпье. Газеты подчеркнули, что такое неожиданное назначеніе получила общедоступная баня. Есть въ Портѣ Александра III другая баня, тоже казенная, но исключительно „для господъ“,— въ ней мыть привозное тряпье не разрѣшается ¹⁾. Выводъ ясенъ: созданы небывало благоприятныя условія для возникновенія и распространенія эпидеміи.

Одновременно подверглась небывало тяжкимъ ударамъ санитарная организація страны. Лучшее, что мы имѣемъ въ области общедоступной практической медицины, принадлежитъ по преимуществу земствамъ и городскимъ общественнымъ управленіямъ. И какъ разъ въ этой области пресса неустанно обличаетъ страшный шагъ назадъ. Въ началѣ нынѣшняго года въ печати между прочимъ отмѣчалось, что даже въ Москвѣ „гучковскимъ правленіемъ“ установлено очень ужъ упрощенное отношеніе къ санитаріи: заглянула, напр., специальная коммисія уѣзднаго земства на городскія свалки и обнаружила нарочито вырытыя канавы для стока

¹⁾ „Рѣчь“, 2. III.

нечистотъ въ рѣку Луву ¹⁾). Не бѣдна аналогичными фактами и современная земская практика. Вотъ одинъ изъ нихъ.

Въ Великихъ Лукахъ вдругъ сильно обострилась эпидемія тифа. Въ виду того, что улицы, на которыхъ были зарегистрированы массовыя заболѣванія, прилегаютъ къ земской больницѣ, имѣвшей тифозныхъ больныхъ, городская санитарная коммиссія произвела осмотръ больницы, причемъ оказалось, что больничный фильтръ, предназначенный для очистки грязной воды, спускаемой въ рѣку Ловатъ, находится въ неисправности, и такимъ образомъ зараженная въ больницѣ вода, неочищенная и недезинфицированная, непосредственно стекаетъ въ Ловатъ немного выше того мѣста, гдѣ обыватели берутъ воду („Утро Россіи“, 11. XII. 1912).

И много такихъ фактовъ можно бы привести на справку. Но, если покопаться въ прошломъ,—случалось это и раньше. Различіе опять-таки въ отѣнкахъ, въ степеняхъ. Случалось, да не совсѣмъ такъ и не въ такой мѣрѣ. Бывали, напримѣръ, конфликты между врачами и земскими управами, бывали массовыя уходы врачей, но какъ исключеніе, а не какъ „обычная исторія“. Бывалъ земскій сыскъ, шпіонажъ за врачами, но спорадически, кое-гдѣ, а не какъ общее явленіе, отъ котораго нынѣ свободны лишь нѣкоторые, наиболѣе счастливыя земства. То, что называютъ „разгромомъ земской медицины“, все-таки несомнѣнный фактъ. Общимъ ударомъ постарались удалить съ земской службы всѣхъ прежнихъ врачей, сомнительныхъ въ смыслѣ политической неблагонадежности. Новыхъ „сомнительныхъ“ по политикѣ, хотя бы и прекрасныхъ по медицинѣ, не допускаетъ администрація. Отъ допущенныхъ, но оказавшихся неблагонадежными, стараются очиститься. Последняя генеральная очистка произведена по случаю выборовъ въ IV Думу: удаляли могущихъ быть опасными въ качествѣ кандидатовъ и „агитаторовъ“ и не стѣснялись тѣмъ, что населеніе остается со многими эпидеміями, но безъ врачей. Мнѣ ужъ приходилось писать, чѣмъ закончилась попытка бывшаго министра внутреннихъ дѣлъ усилить численность земскихъ врачей-санитаровъ: и въ земскихъ, и въ провинціальныхъ административныхъ кругахъ эту мѣру признали опасной въ виду предстоявшей тогда (въ 1912 г.) избирательной кампаніи. Стало быть, мало сказать: разрушена, а мѣстами и прямо разгромлена даже та крайне несовершенная санитарная организація, какую государство имѣло. Установленъ принципъ, исключаящій возможность исправить содѣянное. И онъ уже получилъ большое значеніе, между прочимъ въ повседневной земской практикѣ. Недавно въ Харьковской губерніи установленъ (сверхъ многихъ другихъ санитарныхъ невзгодъ) достигшій потрясающихъ размѣровъ бытовой—распространяемый и внѣполовымъ путемъ—сифилисъ. Но „съ врачами горе“: „русскихъ“—разумѣется, политически бла-

¹⁾ „Русское Слово“, 6. I.

гонадежныхъ—кандидатовъ на свободныя вакансіи нѣтъ, а евреи, хотя бы и благонадежныя по формальнымъ полицейскимъ справкамъ, представляютъ несомнѣннѣйшую революціонную опасность. И населеніе оставляется на произволъ стихій... Совсѣмъ недавній курскій „случай“. Курская губернія — одна изъ наиболѣе тяжело пораженныхъ тифомъ. Даже „марковское“ земство рѣшило, наконецъ, пригласить хоть студентокъ-медичекъ. „Русскихъ“ кандидатовъ не нашлось. Нѣсколько евреекъ рискнули принять предложеніе, но были тотчасъ же „разсчитаны“, когда земская управа узнала, что онѣ—еврейки...

„Лучше совсѣмъ упразднить охрану народнаго здравія, чѣмъ допустить опасность усиленія освободительнаго движенія, имѣющаго цѣлью добиться перехода къ болѣе совершеннымъ формамъ государственной жизни“... Тамъ можно формулировать принципъ, принятый къ непремѣнному руководству, принятый сознательно, обдуманно и непостыдно. Постигшее медицинскую академію приходится признать всего лишь однимъ изъ частныхъ конкретныхъ выраженій этого общаго принципа...

И еще повторяю: нельзя отрипать, что охрана народнаго здравія, какъ одна изъ обязательнѣйшихъ и необходимѣйшихъ функцій современной намъ государственной власти у насъ и раньше была слаба... Безъ сомнѣнія, во времена уже Столыпина она пришла въ крайнее разстройство. Есть однако неувловимая грань между крайнимъ разстройствомъ и умираніемъ. И имѣются достаточныя основанія думать, что эта грань осталась позади. Одна изъ обязательнѣйшихъ функцій, видимо, отмираетъ. Не умерла еще, не вовсе исчезла. По поводу такихъ эпидемій, какъ, напр., холера и чума, которыя пугаютъ Западную Европу и поражаютъ разсчитанный балансъ, начальство беспокоится. Но это уже больше финансы, чѣмъ санитарія. Состояніе же собственно санитарной функціи не оставляетъ мѣста для надеждъ. Вотъ сейчасъ въ виду катастрофы, постигшей медицинскую академію, общество волнуется, беспокоится, какъ и чѣмъ смягчить ударъ, нанесенный подготовкѣ врачей. вмѣстѣ съ обществомъ волнуются и нѣкоторыя государственно-правовыя организаціи,—прежде всего петербургское городское управленіе. Но предсѣдатель совѣта министровъ и министръ внутреннихъ дѣлъ, къ которымъ спеціальная депутація петербургской городской думы обратилась съ представленіями по этому поводу и просьбой о содѣйствіи, сумѣли лишь выказать, по словамъ газетъ, холодность и спокойствіе: содѣйствія правительство оказывать не намѣрено; оно находитъ, что городская дума не въ правѣ заботиться о томъ, чтобы дѣло подготовки врачей не потерпѣло тяжкаго ущерба, не въ правѣ помогать бывшимъ студентамъ академіи окончить медицинское образованіе... Правительство вообще не беспокоится,—какъ будто народное здравіе нисколько его не интересуетъ.

Но санитарное ли только дѣло находится въ такомъ положеніи? Оставимъ современныя намъ очень высокія представленія о задачахъ государственной власти. Возьмемъ простенькое, обиходное, противъ чего и „черносотенцы“ не возражаютъ: даже въ отдаленныя отъ насъ времена на государствѣ лежала напр., безспорная обязанность охранять личную и имущественную безопасность. Въ какомъ состояніи эта функція?... Въ послѣднее время по разнымъ причинамъ появляются очень часто свѣдѣнія о современномъ административномъ бытѣ Екатеринославской губерніи. Губернія эта, конечно, ничѣмъ существеннымъ въ правовомъ смыслѣ не отличается отъ другихъ губерній и областей. И появляющіяся о ней свѣдѣнія не даютъ чего-либо неожиданнаго по сравненію съ тѣмъ, что уже давно раскрыто, напр., на процессахъ кіевскаго Асланова, московскаго Рейнбота, на саратовскомъ дѣлѣ, возникшемъ по настоянію г. Панчулидзева, и т. д. Въ общихъ и краткихъ чертахъ картина такая. Въ Екатеринославской губерніи нѣкоторые чины полиціи не только покровительствуютъ притонамъ разврата, но и являются ихъ фактическими владѣльцами; и въ качествѣ владѣльцевъ домовъ терпимости они властью, предоставляемой полиціи исключительными положеніями, пользуются, между прочимъ, для того, чтобы загонять насильственно невинныхъ и даже малолѣтнихъ дѣвушекъ въ свои притоны, подвергать ихъ тамъ растлѣнію и понуждать къ развратному промыслу. Нѣкоторые чины полиціи организуютъ шайки разбойниковъ, воровъ, конокрадовъ или получаютъ отъ „лихихъ“ людей систематическую мзду за содѣйствіе, укрывательство и попустительство. Властью, какую предоставляютъ исключительныя положенія, отдѣльные чины полиціи пользуются также для цѣлей вымогательства: страхомъ ареста, тяжкихъ истязаній и побоевъ вынуждаютъ обывателей платить дани; уклоняющихся отъ уплаты заранее назначенной суммы, дѣйствительно, забираютъ, безчеловѣчно истязаютъ, увѣчать. Истязательства, не соединяемые съ корыстными цѣлями, получили характеръ обыкновеннаго метода полицейскихъ дознаній. И, конечно, особо широко поставлены тѣ болѣе мирные способы мздоимства, лихоимства, вымогательства, которые входятъ въ систему обычнаго „кормленія“, — являются терпимымъ средствомъ усиливать слишкомъ скудное казенное жалованье или извлекать „доходы“, издавна признаваемые „безгрѣшными“. Общее же состояніе личной и имущественной безопасности въ тѣхъ случаяхъ, когда оно не сталкивается съ корыстными побужденіями, — достаточно характеризуется такимъ, напримѣръ, эпизодомъ. Чиновникъ Арапинъ въ губернскомъ городѣ Екатеринославѣ (значитъ, на виду у начальства) за слова, сказанныя полицейскому приставу Молчанову: „нельзя ли повѣжливѣе“, былъ немедленно арестованъ, объявленъ буйнымъ сумасшедшимъ, въ качествѣ такового избитъ и отправленъ въ домъ умалишенныхъ, гдѣ

и пробылъ (въ буйномъ отдѣленіи) трое сутокъ, пока врачи смогли официально признать психіатрическій діагнозъ полицейскаго пристава совершенно ни на чемъ не основаннымъ... Газетная корреспонденція объ этомъ содержитъ добавленія: прошло два года, пострадавшій Арапинъ все ждетъ обѣщаннаго суда, приставъ же Молчановъ „благополучно продолжаетъ служить“¹⁾).

Таковъ вкратцѣ „порядокъ“. Далѣе идетъ опять-таки давно знакомая картина попытокъ бороться съ нимъ. Губернія бойкая. „Порядокъ“ въ ней сталкивается не только съ мощнымъ землевладѣніемъ (какъ, напр., въ Саратовской губ.), но и съ мощной промышленностью. Идутъ, значитъ, безконечныя жалобы не отъ одного „просто народа“. Жалуются и люди, съ которыми губернскому начальству мудрено не считаться. И нельзя сказать, что оно бездѣйствуетъ. Но оно дѣйствуетъ порывами, вспышками и по преимуществу тогда, когда совершается что-либо ужъ очень рѣзкое, скандальное. Словно большой послѣ вспрыскиванія морфія, губернская власть вдругъ оживляется, проявляетъ буйную энергію, предастъ провинившихся полицейскихъ суду и слѣдствію, предастъ пачками, по 5, 10 и даже 20 человекъ одновременно. Но вслѣдъ за этими бурными вспышками наступаетъ разслабленность; начатія дѣла вылеживаются по 1½ — 2 года, преданные суду нерѣдко остаются на тѣхъ же мѣстахъ, продолжаютъ, какъ ни въ чемъ не бывало, служить и даже иногда получаютъ повышение.

Дѣло привычное, пока рѣчь идетъ объ административномъ нарушеніи 6 и 8 заповѣдей („не убій“ и „не укради“). Есть однако седьмая заповѣдь, продиктовавшая составителямъ „Устава о предупрежденіи и пресѣченіи“ спеціальную статью, воспрещающую промышленнѣе непотребствомъ. Но и имъ промышленнѣе. Процессъ Рейнбота раскрылъ цѣлую систему „промышленныхъ“ отношеній администраціи къ притонамъ разврата. Правда, въ этомъ пунктѣ отъ рейнботовщины отступились и естественные друзья ея. Даже самъ Рейнботъ не находилъ иного оправданія, кромѣ ссылокъ на добрыя намѣренія: дескать, доходъ съ непотребства былъ, но употреблялся только на благотворительныя цѣли. Странное однако явленіе: оправданій нѣтъ и, казалось бы, быть не можетъ. И государственная власть должна бы пресѣкать. И какъ будто пресѣкаетъ: самого Рейнбота все-таки сначала разоблачили и осудили, и лишь потомъ помиловали. А „промыслы“ не только не прекращаются, но и развиваются. И, между прочимъ, разоблаченія дѣятельности бахмутскаго исправника Неровни позволяютъ видѣть, какого цвѣтущаго состоянія достигла эта отрасль административной промышленности въ Екатеринославской губерніи. Если вѣрить даннымъ, напр., „Голоса Москвы“ (№ 286, 1912 г.), г. Неровня настолько тѣсно слилъ свою службу съ насажденіемъ домовъ

терпимости, что при одномъ изъ нихъ было учреждено отдѣленіе его служебной канцеляріи, и сюда, въ притонъ разврата, околоточные, пристава и другіе подчиненные чины были обязаны являться съ докладами и рапортами. Казалось бы, ужъ этого-то губернскаго начальство не потерпитъ. Однако попытки добиться вниманія и распоряженія успѣха не имѣли. Не разбудили губернскую власть и попытки обратить ея вниманіе на то, что въ Бахмутѣ малолѣтнія дѣвушки, насильственно согнаемыя въ дома терпимости, „разыгрываются въ лотерею“,—на малолѣтнюю выпускалось 200 лотерейныхъ билетовъ на общую сумму 50 р. (по 25 коп. за билетъ)... Наконецъ, вмѣшалась духовная власть. Началось какъ будто хорошо. Вмѣшательство со стороны духовенства оживило губернскую власть. Она вдругъ стала видѣть, слышать, понимать,—исправникъ Неровня былъ отстраненъ отъ должности, дѣло получило, благодаря печати, всероссийскую огласку. Затѣмъ, какъ водится, высшая власть опять впала въ разслабленное состояніе. А г. Неровня тѣмъ временемъ представилъ объясненія. Онъ, разумѣется, отрицаетъ нѣкоторые фактическія указанія: отдѣленія служебной канцеляріи при домѣ терпимости, по его словамъ, не было, малолѣтнихъ въ лотерею не разыгрывали и т. д. По основному же вопросу о содѣйствіи домамъ терпимости г. Неровня „подымаетъ перчатку“ и защищается по существу. Да, былъ близокъ и старался быть близкимъ, но не для корысти и не для благотворительности, а въ интересахъ государственной безопасности и общественнаго спокойствія. Онъ, г. Неровня, смотритъ на дома терпимости, какъ на „противоядіе растлѣвающему вліянію крамолы“; для населенія они сверхъ того являются „своего рода клубами“; ставъ въ близкія отношенія къ этимъ „клубамъ“, онъ, исправникъ Неровня, получилъ возможность „неослабно слѣдить за настроеніемъ рабочихъ массъ и добывать необходимыя для сыска свѣдѣнія“. Получивъ эти объясненія, мѣстная власть снова проявила энергію, но уже въ противоположномъ смыслѣ. „Губернское правленіе признало объясненія исправника Неровни заслуживающими довѣрія“... Вскорѣ онъ получилъ и матеріальное удовлетвореніе: назначенъ исправникомъ въ Славяносербскій уѣздъ (послѣдній считается „выгоднымъ“ не менѣе Бахмутскаго)...

Припомните, какъ у насъ достигнуть „истинно-государственный“ взглядъ на систему провокаторства. Общество разоблачало и старалось добиться прекращенія зла. Начальство старалось пресѣкать разговоры на эту тему, странно бездѣйствовало и отмалчивалось. А, когда разговоры о русскихъ провокаторахъ возникли во всѣхъ странахъ земного шара и стало невозможно молчать, тогда начальство приняло бой по существу и заявило: „сотрудники“ безусловно необходимы для борьбы противъ революціоннаго движенія. Припомните, далѣе, что случилось съ вопросомъ объ отдѣльныхъ фактахъ „причастности агентовъ государственной

власти къ шайкамъ разбойниковъ“. Факты не новость. Уличить разбойника, пропикшаго на государственную службу, всегда было трудно. Но, разъ улики найдены и представлены вниманію высшаго начальства, споровъ по существу не возникало. Съ наступленіемъ революціи факты участились. Но улики, даже несомнѣнныя, все меньше и меньше оказывались способными возбуждать энергію начальства. Общество добивалось и добилося, напр., извѣстныхъ объясненій по кievскимъ дѣламъ сначала Асланова, потомъ Богрова. Разбойничество слилось съ экспроприаціями и анархизмомъ. Последніе являются политической опасностью. А для борьбы съ нею нужны „сотрудники“ и въ этой средѣ. И вотъ теперь рѣдкій мѣсяцъ проходитъ безъ газетныхъ извѣстій о лицахъ, состоящихъ на полицейской службѣ и уличаемыхъ въ разбойничествѣ. Но, кажется, и сама полиція потеряла границы: гдѣ разбойники, гдѣ экспроприаторы, гдѣ тайные и явные агенты власти, кого карать, кого выгораживать,—не разберешь; все смѣшалось и перепуталось! То же случилось и съ участіемъ низшихъ чиновъ полиціи въ шайкахъ скотокрадовъ и конокрадовъ. И подъ это нынѣ подведена политическая база: на тѣснѣйшемъ соприкосновеніи съ преступными элементами сельскихъ мѣстностей зиждется такъ называемая „деревенская агентура“: конокрады, воры, скупщики краденаго, пристанодержатели нерѣдко исполняютъ также обязанности „тайныхъ агентовъ“ урядника, станового пристава, исправника. О томъ, что получается вслѣдствіе этого, нѣсколько мѣсяцевъ назадъ повѣдала обществу одна учительница Кіевской губерніи (кстати сказать, по убѣжденіямъ „правая“). Тайны „деревенскихъ агентовъ“ ей, разумѣется, не интересны. Но она видитъ результаты. Скотокрады обнаглѣли, а полиція не принимаетъ мѣръ. Крестьяне организуются, чтобы поймать „злодѣевъ“. Поймали. Но одни изъ пойманныхъ попали въ кордегардію и тамъ избиты, а другіе догадались, не мѣшкая, сбѣжать изъ родныхъ селъ. Кое-кто изъ мѣстной интеллигенціи сказалъ объ этомъ исправнику. Онъ отнесся участливо, обѣщалъ оказать содѣйствіе, но все содѣйствіе ограничилось требованіемъ объясненій отъ станового пристава. Обратились къ губернатору,—тотъ же результатъ: обѣщаніе немедленно разслѣдовать, запросъ исправнику, и затѣмъ никакихъ послѣдствій... Обращались и въ высшія инстанціи, указывали, что этотъ „порядокъ“ разоряетъ всего больше разрозненныхъ хуторянъ, ибо общинники отбаваются отъ него скопомъ. Добились разслѣдованія. Добились подтвержденія фактовъ. Не могли добиться лишь необходимыхъ практическихъ мѣръ.

Охрану личной и имущественной безопасности исподволь вытѣсняетъ и замѣняетъ „борьба съ революціей“, всемѣрное сосредоточеніе силъ только на томъ, чтобы не допустить извѣстныхъ реформъ. Конечный мыслимый результатъ этого паденія по наклон-

ной плоскости достаточно опредѣлился: совершенный отказъ отъ всѣхъ тѣхъ обязанностей, которыя лежатъ на государственной власти, и превращеніе ея только въ охранную политическую полицію. До этого конца еще не докатились. Но степень приближенія къ нему огромная: основная государственная функція—охрана безопасности—уже приведена въ глубокое расстройство...

Съ наименьшимъ правомъ можно спросить: гдѣ обязательная для власти охрана интересовъ производства? Подчеркну: не капиталистовъ, не спекулянтовъ, не акціонерныхъ дивидендовъ, а *производства*. У насъ начальство охотно смѣшиваетъ эти понятія, но это не мѣшаетъ имъ быть не только различными, но и во многихъ отношеніяхъ противорѣчивыми. Если предпринимателю угодно подавить забастовку, къ его услугамъ вся сила государственнаго оружія. Если онъ находитъ для себя опаснымъ существованіе профессиональных рабочихъ союзовъ,—они моментально закрываются. Если ему желательно, чтобы его сторожа были приравнены къ лицамъ, состоящимъ на полицейской службѣ, — пожалуйста. Но все это, конечно, не охрана интересовъ производства, а частный видъ борьбы противъ освободительнаго движенія. Если же дѣло касается именно производства и предпринимателю нужны, положимъ, чугуны или топливо, то тамъ, гдѣ должна быть государственная власть, оказывается пустота: какъ извѣстно, втеченіе послѣдняго полугодія цѣлый рядъ предпріятій долженъ былъ остановиться изъ-за отсутствія топлива и сырыхъ матеріаловъ,—даже желѣзнодорожное движеніе висѣло на волоскѣ и спасено только конфискаціей частныхъ угольныхъ грузовъ. Недавно „Нов. Вр.“ утверждало, что, если бы осенью 1912 г. дипломатическіе конфликты обострились до разрыва, то мобилизація катастрофически столкнулась бы съ отсутствіемъ топлива,—одно изъ послѣдствій столыпинскаго поощренія синдикатовъ, вошедшаго въ систему „ставки на сильныхъ“... Такова вкратцѣ охрана интересовъ производства. Подробно же говорить объ этомъ мнѣ пришлось въ февральской книжкѣ „Русскаго Богатства“.

До чего доведена обязательная для государственной власти охрана интересовъ потребителя? Вотъ, напр., одно изъ многочисленныхъ бытовыхъ отраженій отмѣченнаго мною въ февралѣ союза бюрократіи съ интернаціональной спекуляціей вообще и „Продуголемъ“ въ частности:

Воронежъ. Складъ угля. Утро. У воротъ до 70 человекъ съ салазками. Масса женщинъ. Ворота заперты. Жажущіе топлива бьютъ кулаками въ ворота, прося, чтобы хозяинъ отворилъ ихъ „ради Бога“.

— Что же, замерзать намъ съ дѣтьми?—кричатъ женщины.

У воротъ показывается хозяинъ склада—старичокъ.

— Нельзя, нельзя. Отпустилъ кое-кому по 2 пуда. Больше нельзя. Нѣту антрацита...

Толпа напираетъ.. Раздаются вопли отчаянія. Хозяинъ спѣшитъ затворить ворота. Его тѣснятъ.

- Что вы лѣзете къ одному ко мнѣ? Идите на другіе склады.
 - Нѣтъ нигдѣ топки!—реветъ толпа.
 - Боже мой, Боже мой... Что же намъ теперь дѣлать?
- Кое-кто изъ женщинъ плачетъ... („Голосъ Москвы“, 22. II).

Не знаю, были ли подобныя сцены въ Англіи во время послѣдней грандіозной забастовки углекоповъ. Но въ газетахъ описывалось, какія обширныя мѣры приняла государственная власть, чтобы ослабить на время забастовки ея послѣдствія для населенія; описывалось, какъ широко была поставлена работа частной инициативы въ тѣхъ же цѣляхъ; описывалось, сколько труда и заботъ, а въ отдѣльных случаяхъ и личныхъ средствъ прилагали англійскіе полицейскіе чины, чтобы достать хоть немного угля для тѣхъ англійскихъ обывателей, которые безъ него почему-либо не могли обойтись. У насъ такая охрана интересовъ потребителя кажется сказкой. А въ Англіи, навѣрное, покажутся сказками наши русскія сцены, тѣмъ болѣе, что онѣ происходятъ безъ всякихъ резонныхъ причинъ: углеконы не бастовали; залежи угля безконечно далеки отъ истощенія; цѣлые районы (напр., Юго-Западный край, включая и Одессу) поражены бѣдствіями безработицы, не менѣе 70 губерній постигнуты неурожаемъ,—значить, въ рабочихъ рукахъ недостатка не должно быть. Для Англіи тутъ фантазмагорія. Да и въ Россіи когда бывало, чтобы за свои деньги нельзя было достать топлива? Поскольку рѣчь идетъ объ углѣ, секреты сосредоточены въ интернаціональных комплотахъ, однимъ изъ официальныхъ представителей которыхъ является членъ Государственнаго Совѣта г. Авдаковъ. Но не одинъ уголь. Осенью 1912 г. въ нѣкоторыхъ ~~мѣстныхъ~~ мѣстностяхъ Орловской, Калужской и Смоленской губерній денежныя люди платили до 80 руб. за кубическую сажень дровъ, а не располагающіе такими деньгами предлагали по 7—8 руб. за крестьянскій базарный возъ (т. е. приблизительно 90—120 руб. за куб. саж.). Цѣна въ этихъ мѣстахъ неслыханная, небывалая; по сравненію съ 1911 годомъ (25 руб. кубическая сажень) скачокъ вверхъ сразу на 220%. Но и за эти деньги не всегда можно было достать дровъ... Ставку-то на сильныхъ устроили, синдикатами обзавелись; организація широкихъ массъ не допускается по охранно-полицейскимъ соображеніямъ. Обязанность же государственной власти охранять интересы потребленія стала „теоріей“, мало приложимой къ практикѣ.

Надо бы уповать на Думу, на совокупность учреждений, составляющихъ законодательную власть. Но, право, не знаю, есть ли у насъ теперь законодательная власть. Вотъ даже „Голосъ Москвы“ пишетъ:

Дѣйствительность превзошла самыя тяжелыя опасенія. Мы безъ Думы. Это надо сказать громко, не пряча, подобно страусу, голову въ песокъ (9. II).

А члены съѣзда объединенныхъ дворянъ публично заявили, что Государственный Совѣтъ поступаетъ согласно ихъ домогательствамъ. Конечно, и объединенные дворяне прихвастнули, и „Голосъ Москвы“ хватилъ черезъ край. Законодательная власть еще есть, не умерла. Вѣрно лишь то, что и эта важнѣйшая изъ государственныхъ функцій пришла уже въ глубокое разстройство. И не можетъ быть сомнѣній, что не отъ мѣстныхъ разстройствъ это зависитъ. Возьмите вышеннеложенныя хотя бы только объясненія исправника Нерони. Что это? Сознательная автокарриатура? Вульгарно-убѣздное полицейское подражаніе бесѣдѣ министра Маклакова съ сотрудникомъ „Temps“ или рѣчамъ на съѣздѣ объединеннаго дворянства? Дерзкій расчетъ на недогадливость начальствующихъ лицъ?.. Въ сущности совершенно невѣроятно, чтобы чиновникъ (какъ-ни-какъ—исправникъ) могъ предъявить подобные аргументы. И еще менѣе, казалось бы, вѣроятно, чтобы высшіе провинціальныя чины, засѣдающіе въ губернскомъ правленіи, признали эти аргументы достойными довѣрія. Да за одно такое объясненіе чиновника надо удалить и поручить компетенціи психіатровъ... Къ сожалѣнію, невѣроятное у насъ стало наиболѣе достовѣрнымъ. И, еслибы со всѣми лицами, принимающими шаржи Щедрина за правила государственной мудрости, поступать согласно съ требованіями благоразумія и человѣколюбія, то понадобилась бы слишкомъ большая работа. Что ужъ говорить о бахмутскомъ исправникѣ! Старецъ Распутинъ еще глубокомысленнѣе. Но у него, какъ увѣрялъ А. И. Гучковъ въ III Думѣ, поучались мудрости первѣйшіе сановники. Это уже высшіе мозговые центры. Они тоже приходятъ въ состояніе, необходимое для окончательнаго совпаденія обязанностей государства съ кругомъ вѣдѣнія политической полиціи.

Въ 1905 году съ числѣ разныхъ практическихъ лозунговъ былъ и такой: „захватъ власти на мѣстахъ“. Въ 1906—7 гг. былъ другой лозунгъ: „осада власти въ центрѣ“. Представители государственной власти убѣгали отъ этого „краснаго“ волка и попали въ пасть къ волку другому, „черному“: на мѣстахъ произошелъ захватъ власти дикой ордой черносотенцевъ, а въ центрѣ власть осаждена „объединеннымъ дворянствомъ“. Честнѣйшіе изъ „черныхъ“ малограмотны, представляютъ наиболѣе отсталую въ культурномъ смыслѣ часть населенія,—россійскую Вандею. А нечестные изъ Вандей, сверхъ того, просто „ташкентцы“, какъ опредѣлили ихъ покойникъ Щедринъ. Отъ захвата государственная власть все-таки не ушла.

Нынѣ часто приходится напоминать азбучныя истины: „государственная организація есть одно изъ величайшихъ изобрѣтеній культуры“, „функціи государственной власти отнюдь не выдуманы, но являются исторически опредѣленными необходимѣйшими задачами“ и т. д. Одна изъ такихъ азбучныхъ

истинѣ состоитъ въ слѣдующемъ: если какая-либо функція государственной власти исчезаетъ, то для населенія возникаетъ неотложная потребность заполнить пустое мѣсто. Заполнять приходится, конечно, „хоть чѣмъ-нибудь“, временнымъ сооруженіемъ, суррогатомъ. Еслибы функція государственной власти можно было вполне замѣнять частной инициативой и частной самодѣятельностью, то зачѣмъ понадобилась бы эта власть? Конечно, „за немѣнѣемъ гербовой пишутъ на простой“. Но пишутъ. Отмираетъ государственная охрана интересовъ потребленія, — и пустое мѣсто пытаются заполнить частныя общества и организаціи, кооперативы, земства организуютъ союзъ для болѣе широкой борьбы хотя бы съ нѣкоторыми наиболѣе зловердными синдикатами. Всякія земства, — ярко черносотенныя въ томъ числѣ. Тутъ нѣтъ „краснаго“ и „чернаго“; есть общая потребность восполнить какъ-нибудь то, чего нѣтъ, но что необходимо. По деревнямъ между общинниками и отрубщиками, „правыми“ и „лѣвыми“ мужиками идетъ „потасовка“, а мѣстами и поножовщина. Но, разъ исчезаетъ охрана личной и имущественной безопасности, то возникаетъ дѣло, равно для всѣхъ необходимое. Не для однихъ „мужиковъ“, — присоединяются, или, по крайней мѣрѣ, сочувствуютъ, и помѣщики, и священники. Самъ г. Марковъ II, если попадетъ въ передѣлку къ „деревенской агентурѣ“, присоединится... И въ жизни рядомъ съ государственнымъ отмираніемъ данной функціи замѣчается бытовое восполненіе ея. Населеніе заводитъ тайкомъ свою охрану безопасности, свои организаціи для борьбы съ „злодіями“, изобрѣтаетъ своимъ деревенскимъ умомъ страхование отъ конокрадства и т. д. То же наблюдается сейчасъ и въ сферѣ народнаго образованія. Государственная власть перестаетъ быть культурной силой, выполнять культурную миссію. Въ результатѣ дѣйствій гг. Кассо и Сухомлинова получается пустое мѣсто и его жизненно необходимо заполнить. Куда дѣлись накопленныя полуторавѣковымъ трудомъ многихъ поколѣній культурныя богатства московскаго университета послѣ „усовершенствованій“, произведенныхъ г-номъ Кассо? Не все вѣдь пропало. Кое-что осталось въ университетѣ, многое пріютили частныя организаціи и лица. Такимъ же порядкомъ дѣйствуетъ общество и по поводу „усовершенствованія“ медицинской академіи: хоть кое-что старается спасти; и Богъ дастъ, кое-что спасетъ. То же происходитъ и въ сферѣ средняго образованія: общество — и „правое“, и „лѣвое“ — всячески старается восполнить тотъ уронъ, какой наноситъ странѣ государственная власть, не выполняющая своихъ культурныхъ функцій, а нерѣдко дѣйствующая и въ разрѣзъ съ ними. Но восполнить весь уронъ, конечно, не удастся. И не только потому, что „полиція не позволяетъ“. Сколько ни старайся, а Путиловскаго или Обуховскаго завода кустарями не замѣнишь. Но и оставить безъ замѣны жизненно необходимое невозможно.

Во всё времена и во всёхъ странахъ, если старая власть почему-либо отказывалась или оказывалась неспособной выполнить свое назначеніе, на ея мѣстѣ возникала власть новая. Такъ было, такъ и будетъ. Таковъ законъ соціальной необходимости. Разъ власть сама оставляетъ принадлежащее ей по праву и необходимости мѣсто, оно будетъ занято.

III.

Состояніе группировокъ IV Думы достаточно опредѣлилось. Лѣвое крыло—фракціи соціаль-демократовъ и трудовиковъ—сохранили возможность независимой политики, свободной отъ длительныхъ соглашеній съ другими группами. Для принципиальной оппозиціи, которой трудно найти что-либо пріемлемое въ нынѣшнемъ курсѣ, такая независимость имѣетъ много положительнаго. И какъ ни малочисленно лѣвое крыло, оно могло бы сыграть крупную роль. Къ сожалѣнію, по условіямъ русскихъ—слишкомъ самобытныхъ—выборовъ, людямъ лѣваго лагеря, обладающимъ явно крупными политическими талантами, трудно пройти въ Думу сквозь всевозможныя разъясненія и устраненія. Больше можно надѣяться на счастливый случай: кандидатъ, ничѣмъ особеннымъ въ глазахъ начальства не выдающійся, проскользнетъ мимо загражденій, а въ Думѣ развернется, и выйдетъ хоть и не совсѣмъ Бебель, но въ томъ же родѣ. III Думѣ судьба такого счастья не послала. Не видно Бебелей и въ IV Думѣ. Положеніе соціаль-демократовъ IV Думы осложнилось еще внутрифракціонными треніями. Фракція расщепилась на двѣ приблизительно равныя (7 и 6 человекъ) подфракціи—меньшевиковъ и большевиковъ. И такимъ образомъ наиболѣе опредѣленное въ програмномъ смыслѣ, а слѣдовательно и наиболѣе способное къ инициативѣ, крыло крайней лѣвой обречено тратить черезчуръ много силъ на преодоленіе своихъ внутреннихъ треній.

Среди оппортунистической оппозиціи наиболѣе опредѣленной и наиболѣе способной къ инициативѣ остается, конечно, кадетская фракція. Въ IV Думѣ, какъ и въ III, кадеты богаче соціаль-демократовъ и числомъ, и знаніями, и талантами. Но они увязли „въ соглашеніи съ октябристами на Родзянкѣ“ и связали себя лозунгомъ: „беречь президіумъ“, — созданіе, не слишкомъ нѣжное, но очень хрупкое. Едва-ли кто сумѣетъ установить сколько - нибудь близкую связь между стремленіемъ къ „народной свободѣ“ и затратою силъ на то, чтобы „сберечь“, напр., націоналиста кн. Волконскаго на посту товарища предсѣдателя. Но кадетамъ приходится не только на это тратить силы. Приходится поддерживать или, по крайней мѣрѣ, оставлять безъ протеста и такіе шаги и предложенія президіума, которые совсѣмъ съ „народной свободой“ не вяжутся. Г. Родзянко заводитъ предварительную

цензуру для фракціонныхъ заявленій; президіумъ собственною властью пытается рѣшать, какіе запросы соотвѣтствуютъ основнымъ законамъ, какіе не соотвѣтствуютъ... „Фракція народной свободы“ между прочимъ еще разъ выдала головою Родичева: въ III Думѣ она выдала его на 15 засѣданій за „столыпинскій воротникъ“ ради неизвѣстныхъ причинъ, а въ IV Думѣ выдала на 5 засѣданій уже опредѣленно ради поддержанія президіума, за фразу, въ которой крайне придирчивые критики не нашли ничего преступнаго, хотя г. Родзянко и „запретилъ“ оглашать ее въ печати.

Связавъ себя излишней, по всѣмъ видимостямъ, обузой, кадетская фракція получила отъ конференціи опредѣленное задание, обязывающее усвоить принципиальную, деклараціонную тактику. Такимъ образомъ понадобилось одновременно „беречь“ кн. Волконскаго, поддерживать г. Родзянко и сохранять принципиальность. Не берусь рѣшать, насколько это лучше, чѣмъ 7 меньшевиковъ и 6 большевиковъ подъ одной крышей. Но, во всякомъ случаѣ, кадетская фракція не освободилась и въ IV Думѣ отъ своей фатальной привычки: ставить себѣ взаимно противорѣчивыя задания. И ее сызнова постигаетъ не менѣе фатальная незадачливость.

Вправо отъ оппортунистической оппозиціи идетъ уже „чернороссія“—съ ея наиболѣе активнымъ крыломъ,—крайней правой. Оно наиболѣе активно вообще, ибо состоитъ изъ людей донельзя упрощеннаго міросозерцанія:

— Да, мы—готтентоты, — но это значитъ — патриоты, — какъ сочла нужнымъ въ концѣ марта отрекомендоваться „Земщина“.

А, кромѣ того, рекомые готтентоты совершенно не заинтересованы въ охраненіи президіума. Наоборотъ, они не прочь въ любую минуту разбить это хрупкое созданіе дипломатическаго генія октябристовъ... Такимъ образомъ независимо отъ партійныхъ группировокъ сложились три своеобразныхъ тактическихъ сочетаній. Имѣется центръ, куда входятъ: правая часть оппозиціи и лѣвая „чернороссія“ (включая и часть націоналистовъ). Онъ объединенъ стремленіемъ беречь президіумъ. „Цацу нашли“ — какъ опредѣляетъ такія положенія крылатое народное слово. Думская крайняя лѣвая къ высокой цѣнности, объединяющей тактической центръ, довольно равнодушна. И, наконецъ, крайняя правая стремится упразднить эту цѣнность, въ которой одни видятъ наименьшее изъ золъ, а другіе—недоразумѣніе. Очевидно, крайняя правая сохраняетъ качество, присущее ей и въ III Думѣ,—наибольшую активность; это—самая инициативная группа. Разница лишь въ томъ, что въ III Думѣ она была связана, да и прикрыта соглашеніемъ съ октябристами и націоналистами, теперь же открыта, не связана, ведетъ „политику свободныхъ рукъ“ за собственный страхъ и рискъ. Надо однако замѣтить, что, если рискъ у нея не великъ (чѣмъ г. Пуришкевичъ рискуетъ?), то страху много. Характерно вскрыла это послѣднее качество исторія такъ называемаго

„праваго заговора“. Фракція внесла въ повѣстку своего засѣданія вопросъ о роспускѣ Думы и государственномъ переворотѣ (въ смыслѣ отміны манифеста 17 октября). Одновременно г. Пуришкевичъ пригрозилъ Думѣ роспускомъ публично, съ кафедры. Задумали, словомъ, потрясти всю Россію, подвергнуть громовому впечатлѣнію всю Европу, всю Америку, всѣ пять частей свѣта. Богатыри!.. На собраніи фракціи крестьяне, входящіе въ нее, выразили протестъ и пригрозили немедленнымъ выходомъ. Лидеры фракціи тотчасъ же заявили, что это—недоразумѣніе, что они не такъ поняты... И потомъ довольно долго по всякому поводу старались на общихъ собраніяхъ Думы увѣрять, что никакого „заговора“ не было, а повѣстка разослана по ошибкѣ. Со дня открытія IV Думы газеты не перестаютъ увѣрять, что гдѣ-то тамъ за ширмами за каждый неловкій скандалъ правымъ дѣлаются замѣчанія и выговоры. Послѣ этого они становятся на нѣкоторое время осторожнѣе—до новой неловкости и новаго нагоняя.. Иногда на виду у всѣхъ выскакиваетъ маленькая, но грозная фигурка: кричитъ, бранится, дебоширить, всѣхъ колотить, страшный такой, а всего только Петрушка. Дѣти думаютъ, что за ширмами, откуда онъ выскакиваетъ, стоитъ чародѣй; но обыкновенно и за ширмами прячется фигура скромная: мальчикъ-ярославецъ съ дудочкой, шутъ изъ цирка, „бѣдный сынъ благородныхъ родителей“... Инициативность политическаго Петрушки IV Думы больше видимая, чѣмъ реальная. Люди, стоящіе за ширмами, конечно, неизвѣстны. Но, кто бы они ни были, они ведутъ не только активную, но и вполне опредѣленную политику. Все, предпринятое до сихъ поръ крайней правѣй, имѣетъ въ виду три основныхъ задания: 1) свалить Коковцова, 2) свалить президіумъ, 3) внести боевую поту во внѣшнія отношенія или, по крайней мѣрѣ, свалить министра иностранныхъ дѣлъ Сазонова. Есть еще нѣкоторый остатокъ, который можно отнести въ рубрику „общегосударственныхъ заботъ“. Но этотъ заголовокъ къ рубрикѣ нужно все-таки снабдить вопросительнымъ знакомъ. Крупнѣйшее изъ дѣлъ, сюда относящихся,—запросъ о нефтяномъ синдикатѣ. Это было бы почтенное дѣло (по намѣреніямъ, а не по исполненію), еслибы не одна неловкость. Запросу предшествовали совѣщанія промышленниковъ и представителей правительства о кризисѣ вообще топлива. Послѣ тревогъ, пережитыхъ осенью 1912 года, когда острыя внѣшнія отношенія совпали съ отсутствіемъ угля, правительство пожелало имѣть легальное основаніе безошлинно ввозить въ случаѣ надобности уголь изъ-за границы для желѣзныхъ дорогъ (а онѣ въ Россіи — главный потребитель угля). Продуголю, естественно, не правится такое желаніе и онъ добился компенсаціи: во-первыхъ, представители вѣдомствъ согласились на то, чтобы право на безошлинный ввозъ примѣнялось въ случаяхъ именно „надобности“, а во-вторыхъ, правительство обѣщало содѣйствовать возможно болѣе обширному переходу

промышленныхъ предприятий съ нефтяного отопленія на угольное (впослѣдствіи министръ торговли развилъ эту „программу“ въ Думѣ). Компенсация дѣла нефтепромышленниковъ. Какъ разъ въ междоусобіе двухъ промышленныхъ группъ и врѣзались правые съ своимъ запросомъ о нефтяномъ синдикатѣ. За всѣхъ, конечно, не поручишься. Но лично я увѣренъ, что подавляющее большинство правой фракціи и въ мысляхъ не имѣло оказывать поддержку легальному Продуголю противъ секретной и отрицающей бытіе свое нефтяной „концентраціи“. Намѣренія были добрыя; не хватило лишь освѣдомленности и достаточныхъ представлений о сложности затронутого вопроса ¹⁾. Но я совсѣмъ не такъ склоненъ думать о людяхъ за ширмами. Они-то навѣрняка освѣдомлены. Темныя тамъ, за ширмами, деньги, темныя мысли и темныя дѣла. А Петрушка, даже сработанный изъ самаго доброкачественнаго матеріала, все-таки только Петрушка. Это и обязываетъ относиться къ рубрикѣ „общегосударственныхъ заботъ“ съ особой осторожностью.

Одна изъ такихъ „заботъ“ съ самаго начала оказалась орудіемъ закулисныхъ расчетовъ. У правыхъ вдругъ оказался готовый проектъ выкупа государствомъ частной Московско-Кіево-Воронежской желѣзной дороги. Почему именно этой дороги, — въ первое время оставалось неизвѣстнымъ. Часть даже к.-д. фракціи, видимо, не догадалась подумать объ этомъ и присоединилась къ проекту. Затѣмъ сами правые открыли секретъ: во главѣ названной дороги стоитъ братъ г. Коковцова...

За постановкой проекта о выкупѣ „коковцовой“ дороги послѣдовала довольно энергическая и ловкая газетная кампанія. Предсѣдателя совѣта министровъ обвиняли въ домогательствахъ компенсаций для „брата“, „обижаемаго“ выкупомъ; обвиняли въ Другихъ — не менѣе изумительныхъ — безтактностяхъ. За газетнымъ обстрѣломъ послѣдовали откровенныя выступленія въ Думѣ. Ораторы крайней правой стали направлять „стрѣлы своего краснорѣчія“ по адресу г. Коковцова безъ церемоніи. Къ концу марта появились имена кандидатовъ, долженствующихъ замѣнить г. Коковцова: „либо Дурново, либо Кривошеинъ“. Значить, видимая цѣль сводится къ еще болѣе агрессивной внутренней политикѣ. Если такъ, то за ширмами прячутся верхи дворянской реакціи. Возможны однако чисто личные счеты. Возможно многое другое. Даже вѣроятно, что въ стремленіи „позалить Коковцова“ есть много разныхъ цѣлей. Но жажда болѣе агрессивной внутренней политики все-таки есть. Практически она равносильна желанію катиться по наклонной плоскости еще быстрѣе. Не очень это страшно, — по крайности, скорѣе развязка. Но любопытно.

¹⁾ Къ сожалѣнію, и тутъ кадетскую фракцію постигла незадачливость. Вслѣдъ за правыми и к.-д. внесли вопросъ, въ которомъ сосредоточили вниманіе на нефтяномъ кризисѣ, а не на кризисѣ топлива вообще.

„Дѣла“, направленные къ тому, чтобы „свалить президіумъ“, также любопытны. „Дѣла“ эти лишь въ отдѣльных случаяхъ имѣютъ „парламентскій характеръ“, сводятся, напр., къ тому, чтобы улучшить минуту, когда оппозиція голосуетъ противъ предложенія предсѣдательствующаго: правые (въ союзѣ съ націоналистами), присоединившись къ оппозиціи, создаютъ большинство, проваливаютъ предложеніе,—ну, вотъ и кризисъ. Такіе случаи представляются не часто. И труды думскаго Петрушки въ этомъ направленіи состоятъ, главнымъ образомъ, въ учиненіи скандаловъ. Обратиться къ предсѣдателю на „ты“, обругать его неприличными словами, бросить ему возможно болѣе нахальнымъ тономъ задирающее замѣчаніе, въ знакъ чувствъ ярости побить десятокъ попитровъ по поводу того или иного выраженія съ ораторской трибуны,—таковы методы этой политики. Ближайшее практическое слѣдствіе предсѣдательскаго кризиса, если его удастся вызвать, очевидно: своеобразному тактическому центру IV Думы, тогда нечего „беречь“, не на чемъ объединиться, и онъ разсыплется на свои естественныя группировки. О намѣреніяхъ, болѣе отдаленныхъ и болѣе важныхъ, въ либеральной прессѣ давно уже высказаны догадки. IV Думѣ трудно составить большинство, необходимое для выбора президіума; и въ случаѣ „кризиса“ либо октябристы должны поправѣть, либо должна двинуться направо оппозиція, либо вообще выборы новаго президіума не могутъ состояться. Въ первомъ случаѣ составитъ такое же правительственное большинство, какъ и въ III Думѣ; во второмъ, менѣе вѣроятномъ,—болѣе фундаментальный разрывъ между либерализмомъ и лѣвымъ флангомъ освободительнаго движенія; и, наконецъ, въ третьемъ случаѣ—по догадкамъ либеральной прессы, наиболѣе желательномъ правымъ—IV Дума за скандальную неспособность выбрать предсѣдателя распускается и вмѣстѣ возникаетъ достаточное основаніе для государственнаго переворота. Поскольку есть опасеніе этого послѣдняго исхода, лозунгъ „берегите президіумъ“ является перифразомъ стараго—„берегите Думу“. А поскольку боятся исхода перваго,—составленія такого же правительственного большинства, какъ въ III Думѣ,—постольку новая задача: беречь президіумъ равносильна старой: толкать октябристовъ влѣво. Для крайняго праваго крыла, наоборотъ, стремленіе свалить президіумъ равносильно модернизированному, но также старому заданію: толкать октябристовъ вправо. Практически пока дѣло и сводится къ нѣкому политическому подобію футбола. Правые, скандала, руками и ногами подбрасываютъ мячъ на свою сторону. Оппозиція, „работая“ по преимуществу головой, поддерживая предизіумъ, „отражаетъ“ удары. Оба партнера по этой партіи футбола—„черные“ и „зеленые“—въ серединѣ марта были нѣсколько встревожены попыткой образовать болѣе прочное большинство (изъ части правыхъ, съ присоединеніемъ націоналистовъ и всѣхъ прочихъ, лѣвѣе сидящихъ, до прогрессистовъ включительно). Попытка,

разумѣется, не удалась. И игра благополучно продолжается. И она, каковы бы ни были намѣренія правой фракціи и людей, стоящихъ за ширмами, сама по себѣ достигаетъ практически важныхъ результатовъ. Сами берегущіе президіумъ, повторяю, иногда признають въ немъ наименьшее изъ возможныхъ золъ,—необходимое, по тактическимъ соображеніямъ, политическое недоразумѣніе. Такимъ образомъ значительная часть горизонтовъ Таврическаго дворца заслонена борьбой за недоразумѣніе... На эту „схватку боевую“ охранительный лагерь расходуетъ силы г. Пуришкевича, а страна, помимо своей воли,—силы П. Н. Милюкова... Чего домогаются люди за ширмами,—въ точности неизвѣстно, но дѣло это для нихъ выгодное.

Третье заданіе правой думской политики—„свалить Сазонова“, добиться агрессивной внѣшней политики едва-ли опирается на верхи дворянской реакціи. Часть послѣдней, судя по статьямъ „Русскаго Знамени“, наоборотъ, явно боится внѣшней агрессивности,—боится, что въ случаѣ войны произойдетъ новый натискъ революціи. Определенно стоять за агрессивность верхи военной реакціи. Довольно извѣстны ихъ попытки, напр., вести автономную внѣшнюю политику на Дальнемъ Востокѣ, „забрать“ Китай; однимъ изъ характерныхъ отраженій этой борьбы храбрыхъ воителей съ предѣдателемъ совѣта министровъ явился возникшій въ мартѣ „шумъ изъ-за генерала Мартынова“. „Военной партіи“ осторожность г. Коковцова и вялость г. Сазонова, несомнѣнно, мѣшаютъ. И есть достаточныя основанія полагать, что среди стоящихъ за ширмами есть представители и этой породы людей. Собственно въ Думѣ выпады противъ г. Сазонова могли бы довольно долго ограничиваться словесными вылазками. Но балканская война... Игра славянофильскихъ чувствъ у правыхъ либераловъ... А сверхъ того и „скука“,—думская „скука“, которую и скандалы разсѣять не могутъ. Да и какъ ее разсѣять? Весело развѣ воевать за недоразумѣніе? И вотъ, когда пришло извѣстіе о взятіи болгарами и сербами Адрианополя, въ Таврическомъ дворцѣ произошелъ бурный эффектъ: общее засѣданіе Думы превратилось въ политическую демонстрацію. „Ура“, „живо“, „гимнъ“, „Шуми Марица“... Возродилось вдругъ большинство III Думы. И самъ г. Родзянко сталъ регентомъ хора депутатовъ, распѣвавшихъ побѣдные гимны. Газеты говорятъ, что г. Коковцовъ очень былъ этимъ недоволенъ. Досада г. Коковцова не сдержала однако возрожденное на почвѣ „славянскихъ“ чувствъ старое думское большинство. Изъ Думы захотѣлось выйти на улицу. Первая „славянская“ демонстрація на улицахъ Петербурга началась безъ помѣхъ, а кончилась обычно—нагайками; пришлось испытать на себѣ силу этого оружія и нѣкоторымъ офицерамъ. Правые немедленно внесли въ Думу запросъ. Оппозиціи предстояло высказать свое принципиальное отношеніе: во-первыхъ, къ праву уличныхъ демонстрацій вообще, а, во-вторыхъ,—и при данныхъ условіяхъ это было особенно важно,—къ

покушенію столкнуть вѣѣшнюю политику Россіи на агрессивный путь. Первое удалось. Второе попытался сдѣлать г. Родичевъ. Правые придрались къ его фразѣ, устроили скандалъ, председательствующій въ удовлетвореніе ихъ назначилъ исключеніе на 5 засѣданій, кадеты устремились беречь президіумъ. За шумомъ выяснитъ какъ слѣдуетъ отношеніе къ вѣѣшной агрессивности не успѣли. Правые получили только поддержку слѣва, но сумѣли избавиться отъ лѣвыхъ одергиваній. Затѣмъ вторая демонстрація на улицахъ Петербурга уже болѣе грандіозная и безъ нагаекъ. Картины получились умилительныя. Школьники и тѣ кричали: „долой Сазонова“, „долой Австрію“. Вотъ онъ: гласъ народа — гласъ Божій. По описаніямъ газетъ, въ одномъ мѣстѣ конные городовые все-таки „наѣхали“ на демонстрантовъ. Какой-то офицеръ обнажилъ шашку и крикнулъ: „прочь австріяки“. Это „австріякамъ“ не денскіе рабочіе... Такимъ образомъ, если люди за ширмами и добились поддержки агрессивнымъ намѣреніямъ, то цѣною нагляднаго урока: „сами увидѣли“, что „народное воодушевленіе“ и на этой почвѣ сопряжено съ нѣкоторыми для нихъ неудобствами... Петербургскій градоначальникъ поспѣшилъ запретить какія бы то ни было демонстраціи. Одновременно военный министръ запретилъ участвовать въ какихъ бы то ни было „скопищахъ“ всѣмъ военнымъ, какъ состоящимъ на дѣйствительной службѣ, такъ равно и запаснымъ и „отставнымъ, имѣющимъ право носить мундиръ“. Такъ-то оно будетъ безопаснѣе. Сидящіе за ширмой могутъ до поры до времени управлять думскими маріонетками, но вовлекать въ свою игру улицу имъ не слѣдуетъ. Пожалуй, съ нею не справятся...

А. Петрищевъ.

НОВЫЯ КНИГИ.

Р. Григорьевъ. На ущербѣ. Романъ. СПб. 1913. Ц. 1 р. 50 к.

Только въ богатой литературѣ съ гибкимъ и разработаннымъ языкомъ, съ обиліемъ формъ и приемовъ, съ обширнымъ идеологическимъ и техническимъ капиталомъ — возможно такое явленіе, какъ созданіе значительнаго по замыслу и выполненію романа новичкомъ въ литературѣ. Произведеніе г. Григорьева не свободно отъ мелкихъ недостатковъ, и это характерно для авторской неопытности, но оно исполнено искренностью чувства и мысли, жизненностью авторскаго наблюденія, серьезностью общаго тона — и все это, чувствуется, не случайное и не отъ Божіей милости, а отъ русской литературы.

„На ущербѣ“ — *нужное* произведеніе, его не хватало въ нашей литературѣ. И въ нѣкоторомъ отношеніи романъ является художественнымъ починомъ, толкающимъ мысль по весьма естествен-

ному и важному направленію, которое однако въ силу многихъ причинъ, доселѣ игнорировалось.

Русской революціи, вообще говоря, мало повезло на изображеніе. Быть можетъ, она еще недостаточно отодвинулась въ перспективную, такъ сказать, „изображаемую“ даль, еще не отстоялась въ возбужденныхъ умахъ и сердцахъ ея наблюдателей; какъ бы тамъ ни было — художники ею мало занимались. А то, повидимому, обстоятельство, что она оказалась „разбита“, сообщило особенный, специфическій колоритъ и тѣмъ немногимъ картинамъ революціи, какія имѣются въ литературѣ: не то покаяніе, не то сомнѣніе и разочарованіе, не то отчаяніе или ото всего понемногу — вотъ что характеризуетъ революціонную среду у гг. Ропшина, Деренталя, Андреева и др.

А между тѣмъ вполнѣ естественъ вопросъ: русская революція въ конечномъ счетѣ была разбита; но вѣдь былъ моментъ и ея побѣды, и онъ не съ неба упалъ, а нарасталъ годами, и побѣду не случай обусловилъ, а рядъ могучихъ причинъ, и какая это должна была быть громадная сила, чтобы сломить хотя бы на короткій моментъ колоссальный правительственный механизмъ! Гдѣ же все это? Неужто вся революціонная стихія, а если не вся, то ея главная часть состояла изъ Андреевъ Болотовыхъ, Сашекъ Жегулевыхъ и имъ подобныхъ? Развѣ сомнѣніе и скептицизмъ одерживаютъ такія побѣды?

Конечно, были и Болотовы, и Жоржи, и Жегулевы (хотя, быть можетъ, и не совсѣмъ такіе, какими ихъ изображаютъ) и они нужны въ литературѣ, поучительны и интересны; но развѣ одни Гамлеты и спортсмены были въ революціи и развѣ одни они нужны и интересны? Односторонность изображенія была не въ томъ, что такихъ-де Болотовыхъ и Жоржей не бываетъ, а въ томъ, что не одни такіе бываютъ, а между тѣмъ изображали почти исключительно однихъ такихъ и эти сами по себѣ законныя слагаемыя давали „незаконную“ сумму

Г-нъ Григорьевъ своимъ романомъ, несомнѣнно, дополняетъ рисунокъ революціи нѣкоторыми нужными цвѣтами. Передъ читателемъ — галерея революціонныхъ портретовъ, мужскихъ и женскихъ, изображенныхъ въ моментъ упадка революціонной волны, когда, казалось бы, только и каяться. Не авторъ, нисколько не скрывая упадка энергіи, вѣры въ революцію и въ побѣду своихъ героевъ, вмѣстѣ съ тѣмъ не вымещаетъ на нихъ личныхъ своихъ разочарованій и не расплачивается за свои иллюзіи — покаяніями тѣхъ, кого онъ изображаетъ (самый обычный приѣмъ въ нашей послѣ-революціонной беллетристикѣ). Его портреты — разнообразны и многіе изъ нихъ типичны. Тутъ и авантюристы революціи, и фанатики, и педанты ея, и революціонеры отъ бездѣлья, и революціонеры отъ душевной усталости. Но надъ всѣми возвышается привлекательная фигурка: образъ, такъ сказать, „капитана Тушина ре-

волюціи“, скромной, не замѣчающей себя Мирры, торопливо, просто и въ мѣру силъ своихъ, такихъ крохотныхъ и такихъ неисчерпаемыхъ, исполняющей черную работу революціи. Это не та черная работа, которую мы встрѣчали, напримѣръ, у г. Олигера, гдѣ самъ дѣлатель видитъ ея малость и тяготится ею. Г. Григорьевъ съ надлежащимъ тактомъ сообщилъ отношенію Мирры къ своей будничной работѣ поэтической отгѣнокъ робкаго благоговѣнія, которое въ концѣ концовъ оказывается не только субъективно вѣрнымъ, но и объективно-оправданнымъ, ибо значеніе ея работы какъ разъ такое и того же тона, какъ и значеніе тихаго героизма капитана Тушина въ Шенграбенскомъ сраженіи. Готовясь говорить въ кружкѣ о социализмѣ, „она чувствовала, какой тонъ, какую мелодію должна имѣть ея рѣчь, но не могла подобрать выраженій. Лежала ночью, крѣпко зажмуривъ глаза, и старалась оформить въ себѣ то чувство, которое рождалось въ ней представленіемъ о социализмѣ. Вглядывалась въ себя и будто видѣла это чувство, свободно и ярко лежащее внутри, словно граненый, прозрачно-лучезарный кристалль. Но сказать объ этомъ словами нельзя было“.

Эта лирика социализма очень хороша въ романѣ. И въ лирическомъ духѣ онъ почти весь выдержанъ. Все кровавое — происходитъ за занавѣсомъ, но читатель воспринимаетъ его въ полномъ, порою потрясающемъ объемѣ, ибо оно лирически преобразовано и показано отраженнымъ въ душахъ героев романа. Мирру казаки избили до смерти, и объ этомъ только сказано, но стойкій, желѣзный рабочій Петровъ, самый дисциплинированный во всей группѣ, убиваетъ за эту расправу пристава — и сила его душевнаго потрясенія становится ясна. Его казнить, и объ этомъ тоже только упомянуто, но беззаботная хохотунья Агата мечется всю ночь съ револьверомъ возлѣ мѣста заключенія Петрова, а потомъ, безсильная спасти его, стрѣляется, — и читатель съ болью въ сердцѣ воспринимаетъ не только это самоубійство, но и отраженный въ немъ ужасъ казни Петрова.

Въ этомъ романѣ нѣтъ почти ничего лишняго, но, какъ въ картинѣ русской революціи, даже ея опредѣленнаго момента — въ немъ не хватаетъ многого и существеннаго. Не хватаетъ, прежде всего, эпическихъ „рядовыхъ“ революціи, безъ которыхъ никакое громадное движеніе неосуществимо. Здѣсь есть капитаны Тушины, но нѣтъ Платоновъ Каратаевыхъ революціи (они были въ дѣйствительности). Тѣ рабочіе, которые показаны, — насквозь лиричны и трагичны, не объективно только, но и субъективно. „Сережа, — обращается рабочій Кирюша къ Петрову — у меня скверныя мысли... Ну, вотъ ты скажи, какъ ты думаешь. Развѣ мы, вотъ такіе, какъ мы, развѣ сумѣемъ войти въ социализмъ, жить въ немъ, устроить его? — онъ говорилъ горестно и страстно... — Я чувствую, что все это не такъ. Все идетъ черезъ злобу и самолюбіе, черезъ мерзость. На этомъ строимъ, этимъ боремся. Я не вѣрю, что такими руками

мы воздвигнемъ свѣтлое. Ты вѣдь подумай, мы звѣриную злобу воспитываемъ. Не щадимъ дѣтей! Горло перерываемъ сами другъ другу". — „Ты все свое! — восклицаетъ Петровъ. — Я уже это слышалъ. Ты хотѣлъ бы мирными средствами. Чтобы они насъ сосали, а мы только учили ихъ, или прятались отъ нихъ... Не смѣй говорить мнѣ такъ! Или бороться, чувствовать, какъ мы ломимъ ихъ, душимъ, или... или все къ чорту, если мы не можемъ, все, все!..“.

Эта тихая или страстная скорбь и страстное негодованіе, толкающее къ отчаянію, если оно не побѣждаетъ — конечно, были въ пережитомъ движеніи, но самымъ рядовымъ явленіемъ, разумѣется, были спокойно дѣлавшіе свое дѣло, „органическіе“ революціонеры. „Еслибы можно было черезъ какую-нибудь муку — замѣчаетъ Кирюша — сразу, теперь же придти къ этому (т. е. социализму). Такъ, лечь всѣмъ народомъ на терзаніе и погибнуть въ боли и знать, что возстанутъ завтра изъ крови другіе, новые и достойные“... Это правдиво, но здѣсь нѣтъ того стихійнаго элемента, безъ котораго не совершаются стихійные процессы, а революція — въ громадной долѣ — стихійна. И литература, конечно, создастъ еще революціоннаго Каратаева.

Въ романѣ, посвященъ названіе „На ущербѣ“, явно не достаетъ также полноты изображенія ущерба. Отраженіе совершающагося ущерба — есть, есть констатированіе его, но нѣтъ психологіи и логики обусловившихъ его явленій и причинъ, нѣтъ зарожденія „ущерба“ въ умахъ и душахъ. Авторъ начинаетъ съ середины, и оттого, что нѣтъ начала, — нѣсколько неясна и середина. Затѣмъ психологически совершенно не заполнено зіяніе между эпилогомъ романа и предшествующимъ фазисомъ и, напримѣръ, эволюція художника Галимскаго — остается читателю непонятна и кажется неестественной. Былъ революціонеръ и вѣрилось въ его революціонность. Сталъ обыватель — и этого не видишь, а потому и не вѣрится. Стилистическихъ промаховъ въ романѣ немало („изъ твоячеголовой груди вырывается... слово...“), немало книжныхъ оборотовъ, прозаизмовъ и шаблонныхъ фразъ, но все это покрывается его искреннимъ лиризмомъ.

М. Д. Рывкинъ. Назѣтъ. Романъ изъ эпохи Александра I — Николая I. СПб. 1912. Стр. 279. Ц. 1 р. 25 к.

Сюжетомъ романа г. Рывкина послужило знаменитое велижское дѣло по обвиненію евреевъ въ ритуальныхъ убійствахъ. Авторъ недурно воспользовался обширнымъ историческимъ матеріаломъ и изложилъ въ популярной беллетристической формѣ многообразныя перипетіи сложнаго и мрачнаго процесса, тянувшагося двѣнадцать лѣтъ (1823 — 1835). Было бы неосновательно предъявлять къ роману повышенныя художественныя требованія; дѣйствующія лица его не выступаютъ предъ читателемъ, какъ жизненные об-

разы, колоритъ эпохи не чувствуется ни въ одномъ словѣ, а приемы, посредствомъ которыхъ авторъ переноситъ сообщенія историческихъ источниковъ въ беллетристическое повѣствованіе, довольно элементарны. Но самый сюжетъ такъ трагиченъ, что способенъ привлечь вниманіе читателя, болѣе требовательнаго къ искусству историческаго романа и однако совершенно не склоннаго погружаться въ документальную сухость историческихъ монографій. Романъ охватываетъ всю эпопею велижскаго мученичества отъ перваго доноса до окончательнаго оправданія невинно обвиненныхъ — многіе изъ нихъ не дожили до освобожденія — и распечатанія синагоги, которую николаевское правительство также сочло виновной. Всѣ дѣятели процесса — обвиняемые и обвинители, праведники и злодѣи, Николай I и нищенка Марья Терентьева, злой гений процесса Страховъ и доблестный защитникъ правды Мордвиновъ проходятъ чередой передъ читателемъ. И, хотя блѣдноваты ихъ фигуры, однако есть въ романѣ какая-то общая убѣдительность и, думается, тѣмъ, къ кому онъ обращается, онъ будетъ прочтенъ съ пользой. Ибо — какая же это исторія? — вѣдь это есть самая животрепещущая наша современность; такъ же, какъ сто лѣтъ тому назадъ, томится въ тюрьмѣ чловѣкъ, который не могъ совершить приписываемаго ему преступленія по той простой причинѣ, что не существуетъ самаго преступленія. Это ясно для всего культурнаго міра, это ясно для тѣхъ, кто пытается нынѣ обновить кровавую трагедію. Восемьдесятъ лѣтъ тому назадъ сенаторъ Мордвиновъ считалъ, что правосудное рѣшеніе по велижскому дѣлу должно „положить конецъ предубѣжденію, наносящему укоризну просвѣщенному вѣку“. Теперь мы знаемъ, что нѣтъ возможности положить конецъ отдѣльнымъ „предубѣжденіямъ“: слишкомъ они живучи, слишкомъ глубоко коренятся въ соответствующей почвѣ, слишкомъ выгодно поддерживать эти предубѣжденія для множества живущихъ ими лицъ. И, если книга г. Рывкина о кровавомъ навѣтѣ попадетъ въ руки тѣхъ темныхъ массъ, которымъ она способна разъяснить истину, она внесетъ свою маленькую долю въ дѣло освобожденія людей отъ позорнаго „предубѣжденія“.

В. Князевъ. Жизнь молодой деревни. Частушки-коротушки С.-Петербургской губерніи. Изд. М. Г. Корнфельда. СПБ. 1913. Стр. IX + 133. Ц. 1 р. 50 к.

Изъ своего собранія въ 30.000 частушекъ составитель выбралъ часть, относящуюся къ Петербургской губерніи (1621), и дѣлитъ съ читателями этими образцами современнаго народнаго творчества и своими мыслями о народной жизни, подсказанными этой новой лирикой. Г. Князевъ дѣлитъ частушки на категоріи, примѣняетъ къ коллекціи едва-ли умѣстные здѣсь приемы точнаго статистическаго подсчета, дѣлаетъ выводы, подчасъ спорные, но въ своемъ

многообразіи показывающіе богатство матеріала. Всю душевную жизнь молодой деревни—старикамъ чужда частушка—можно возстановить по этимъ четверостишіямъ, столь веселымъ по захватскому ритму и бодрой жизни, въ нихъ бьющей, и все же столь печальнымъ по общему впечатлѣнію, ими оставляемому. Печальна жизнь, въ нихъ отразившаяся, печальна эта новая форма народной поэзіи. Конечно, вопросъ объ эстетикѣ частушки болѣе сложенъ, чѣмъ это обычно представляется ея хулителямъ и ея защитникамъ. Конечно, въ этихъ „коротушкахъ“, бойкихъ, грубыхъ, часто непристойныхъ и рѣдко поэтическихъ, есть что-то непріятное; онѣ не вызываютъ ни тѣни того уваженія, которымъ обычно окружена въ нашемъ ощущеніи народно-поэтическая старина; нѣтъ въ нихъ ни той величавости, которую мы находимъ въ былинѣ, ни той задушевности, которою запечатлѣна народная пѣсня. Старое народное пѣснотворчество насквозь по-своему культурно; частушка говоритъ—вѣрнѣе, кричитъ—о культурѣ гармошки, пиджака и кабака. Надъ былинной вѣетъ духъ *своихъ* идеаловъ, исконныхъ, исторіей созданныхъ и глубоко вросшихъ въ сознание; въ частушкѣ желательнымъ, заманчивымъ представляется чужое, наносное, переходное, органически не сливающееся съ народной жизнью; деревенскій снобизмъ, столь же мелкій и пошлый, какъ и снобизмъ городской, даетъ стиль частушкѣ, блещущей бойкостью мысли и бойкостью слова, но рѣдко глубокой въ ощущеніи и выраженіи. Оттого такъ много враговъ у частушки—и поверхностный эстетизмъ, и казенный патріотизмъ сходятся въ отрицаніи ея съ настоящими пѣвцами красоты въ поэзіи и культуры въ жизни. Но надо быть справедливымъ къ частушкѣ. Прежде всего это поэзія переходнаго момента; она отражаетъ и въ содержаніи, и въ формѣ новыя, неустановившіяся формы быта и психики. Она вся еще въ движеніи, вся въ развитіи—а ее сопоставляютъ съ законченными созданіями многовѣковой работы. Частушка вноситъ въ народную лирику реальные мотивы—и часто грубость этихъ мотивовъ отталкиваетъ насъ раньше, чѣмъ мы способны вдуматься въ ея смыслъ и красоту. Нерѣдко частушка совсѣмъ не поэзія и не изъясляетъ притязаній быть поэзіей—это просто бойкое словечко, комическій афоризмъ, ядовитое наблюденіе; нельзя отъ эпиграммы требовать элегической задушевности. Мы привыкли къ безконечной трогательности, къ миеологической одухотворенности, къ поэтической многозначительности народной лирики.

Не ручей бѣжитъ, быстра рѣченька,
 Это я, бѣдна, слезами обливаюся,
 И не горькая осина разстоналася,
 Это зла моя кручина расходилася...

И вотъ на смѣну этой красотѣ приходитъ новая лирика:

Апрѣль. Отдѣлъ II.

Меня дома бьютъ обухомъ,
 Что гуляю съ молодухамъ;
 Хоть разбейте весь обухъ,
 Я не брошу молодухъ!

Или:

У меня милашка есть—
 Срамъ по улицъ провестъ:
 Уши длинны, ротъ большой,
 Слювы тянутся вожжой...

Естественно, что къ частушкѣ трудно быть справедливымъ. А между тѣмъ это необходимо: уже то, что въ „коротушкѣ“ отложилась такая масса народныхъ чувствъ и впечатлѣній, заставляетъ быть къ ней внимательнымъ. Есть множество частушекъ хулиганскихъ, противныхъ, грубыхъ; громадная масса ихъ просто похабна и никогда не станетъ достояніемъ широкихъ читательскихъ круговъ. Но есть среди нихъ и нѣжныя, и остроумныя, и задушевные. Конечно, ихъ кучая форма — ограниченное отъ сосѣднихъ четверостишіе — не даетъ простора развитію чувства и мысли, но и въ этихъ предѣлахъ народная молодежь достигаетъ поэтической выразительности.

Встану, встану на могилу,
 Разбужу родную мать:
 „Ты родима-родна мама,
 „Вставай-ка горе горевать“.

Или:

Дѣвушка не травушка—
 Не вырастетъ безъ славушки;
 Въ полѣ травка зацвѣтетъ,
 Про дѣвку славушка пойдетъ...

Надо еще помнить, что невозможно одѣлывать художественность частушки безъ отношенія къ ея напѣву. Музыка окрашиваетъ лирику частушки — и часто пропасть раздѣляетъ въ исполненіи двѣ частушки, съ виду довольно близкія на бумагѣ; понять частушку до конца можно, лишь слушая ее, а не читая.

И мы не знаемъ, хорошую ли услугу сослужилъ частушкамъ г. Князевъ, направивъ свое собраніе — подъ эгидой „Сатирикона“ — не къ немногимъ спеціалистамъ, а къ широкой читающей публикѣ. Возьметъ такой читатель — между „Синимъ Журналомъ“ и „Ключами счастья“ — книгу частушекъ, прочитаетъ:

Шура пьяненькой напился,
 Весь характеръ потерялъ:
 Посередь широкой улицы
 Калоши потерялъ.

Или:

Всѣ платочки проносила,
Остается одна шаль;
Всѣхъ ребятъ перелюбила,
Остается одна шваль.

Прочтаетъ и самодовольно скажетъ себѣ: вотъ она, народная поэзія; *моя* литература выше. А между тѣмъ его литература безконечно ниже уже потому, что она литература по преимуществу, что она тенденціозна и бумажна, а въ бѣдной, неуклюжей лакейской частушкѣ бьетъ ключемъ неподдѣльная жизнь и непосредственное чувство.

Александръ Амфитеатровъ. *Ау!* Сатиры, рѣмы, шутки, фельетоны и статьи. Кн-во „Энергія“. Сиб. 1913. Ц. 1 р. 25 к.

Кажется, нѣтъ ни одного литературнаго рода, въ которомъ не подвизался бы плодовитѣйшій г. Амфитеатровъ: сатира, фельетонъ, драма, романъ, публицистика, критика, стихи — ничто не минуло его. И въ каждой области, въ каждой формѣ онъ, повидимому, чувствуетъ себя одинаково свободно, всюду проявляетъ незаурядный темпераментъ и, судя по отчетамъ библиотекъ, въ настоящее время онъ является однимъ изъ самыхъ читаемыхъ писателей.

Гораздо меньше, чѣмъ читатели, г. Амфитеатрову удѣляютъ вниманіе писатели. И это несоотвѣтствіе, кажется, нѣсколько характеризуетъ его авторскій обликъ. Конечно, извѣстны примѣры когда молчаніе встрѣчало значительныя литературныя явленія, а шумъ — ничтожныя; но во времени это несоотвѣтствіе обыкновенно сглаживается. Г-нъ Амфитеатровъ пишетъ давно и много, пишетъ всегда на самыя злободневныя темы, его имя — популярно и это все позволяетъ думать, что не случай, а болѣе коренныя причины мѣшаютъ литературному морю всколыхнуться отъ часто кидаемыхъ въ него г. Амфитеатровымъ фельетонныхъ камней.

Не потому ли молчитъ литература о г. Амфитеатровѣ, что онъ мало говоритъ литературѣ? Онъ романистъ, драматургъ, критикъ, публицистъ, историкъ, сатирикъ, — но все-таки кто же онъ, наконецъ? Г-нъ Амфитеатровъ приводитъ въ своей книгѣ слова физика Лебедева о Суворинѣ: „Умнѣйшій старикъ, но... въ какомъ измѣреніи прикажете его понимать?“ — Такъ вотъ и г. Амфитеатровъ: несомнѣнно, одаренный человекъ, но... въ какомъ измѣреніи прикажете его понимать? Не въ смыслѣ политико-общественныхъ воззрѣній и даже не въ смыслѣ принадлежности къ публицистамъ, беллетристамъ или драматургамъ — Герценъ тоже былъ писатель безъ ампулы, — но вотъ: что же онъ *говоритъ*? Почему то, что онъ говоритъ, такъ слабо возбуждаетъ мысль, что съ нимъ не спорять и за нимъ не идутъ?

Сборникъ „Ау!“ даетъ пригодный матеріалъ для попытокъ эти

вопросы разрѣшить: здѣсь много разнообразія и есть изъ чего выбрать. Извѣстно, что и критика, и беллетристика г. Амфитеатрова имѣютъ, за рѣдкими исключеніями, сатирическую окраску; авторъ любитъ смѣхъ, цѣнитъ его и самъ служитъ ему. Въ лучшей (очень хорошей) статьѣ своего сборника, „Тэффинъ грѣхъ“, онъ даетъ прекрасную формулу смѣха: „Рыцарь смѣха прекрасенъ, когда онъ въ то же время рыцарь духа“. И эта формула не только можетъ, но и должна быть примѣнена къ сатирамъ самого г. Амфитеатрова.

Разбираемая книга открывается опытомъ примѣненія „Слова о полку Игоревѣ“ къ современности. Онъ забавенъ и невольно вызываетъ улыбку: „Баянъ бо вѣщій, аще кому хотяше пѣснь творити, то растекашеться статіями по печати: Сбренъкимъ по „Гражданину“, Баяномъ—по „Биржевцѣ“ и „Слову Русскому“, Рославлевымъ—по „С.-Петербургскимъ Вѣдомостямъ“. И еще оставайтесь на днѣ Колышко для комедійнаго иждивенія. Помняшеть бо гонораріи первыхъ временъ усобицы“ и т. д. Правда, на протяженіи 14 страницъ это нѣсколько утомляетъ и пародія становится скучноватой. Но это уже грѣхъ размѣра. Гораздо хуже обстоитъ дѣло въ тѣхъ многочисленныхъ случаяхъ, когда рыцарь смѣха и рыцарь духа становятся между собою въ прямое противорѣчіе или когда оба эти рыцаря—отсутствуютъ...

Вспоминая покойнаго артиста В. П. Далматова, г. Амфитеатровъ пишетъ, что „не было человѣка, болѣе миролюбиваго и спокойнаго, чѣмъ В. П.“. И вдругъ „разносится слухъ, будто Далматовъ побилъ одного весьма заносчиваго барина“.

... что побилъ,—разсказываетъ г. Амфитеатровъ—это, конечно, очень нехорошо,—ну, а не побить было мудрено; настолько вызываяще велъ себя побитый баринъ. Самъ Левъ Толстой позабылъ бы о непротивленіи и полѣзъ бы въ драку! Но побилъ Далматовъ барина не просто, а съ прехитрымъ вывертомъ. Въ моментъ ссоры между ними былъ столъ съ чернильницей. Далматовъ очень долго терпѣлъ надменные и злые приставанія своего врага. Наконецъ, когда тотъ перешелъ всѣ границы словесной дерзости, Далматовъ быстро встаетъ, нечаяннымъ, будто бы, жестомъ опрокидываетъ чернильницу на столъ, опирается правою пятернею въ лужу разлитыхъ чернилъ и, затѣмъ уже, эту же самую руку прикладываетъ къ ланитамъ оскорбителя...

— Это-то зачѣмъ, Вася?

— Другъ мой! Ты не знаешь, какой онъ неисправимый хвастунъ. Еслибы я его не припечаталъ, онъ уже въ сосѣдней комнатѣ разсказывалъ бы, какъ не Далматовъ его билъ, а онъ билъ Далматова. Ну, а такъ—кончено: тавро! Пусть хоть до умывальника-то дойдетъ не совравши“.

Допустимъ, что это очень смѣшно и умѣстно въ некрологическихъ мемуарахъ, но—гдѣ здѣсь „рыцарь духа“? Или вотъ: одинъ московскій купчикъ сказалъ ему (Далматову):

— Въ вашей Далмаціи только и есть хорошаго, что далматскій порошокъ отъ клоповъ.

— Вамъ бы имъ попудриться!—хладнокровно возразилъ Далматовъ*.

Неужели и здѣсь читатель обнаружитъ присутствіе обоихъ рыцарей? Какой же это будетъ читатель?.. Еще одинъ случай:

„Въ одно весьма бурное мое время правилась мнѣ нѣкоторая дѣвица, нравомъ веселая, поведеніемъ легкая. Имѣлъ я несчастье, или вѣрнѣе счастье, познакомиться съ Василиемъ Пантелеймоновичемъ, и „свистнулъ“ онъ у меня дѣвицу эту съ такою быстротою, что только и оставалось—руками развести, да языкомъ шелкнуть:

— Ну, и маэстро! Однако!

А онъ, разбойникъ, при встрѣчахъ, еще дразнить:

— А? Что? Запала въ душу Леля?“

Неужто г. Амфитеатровъ не замѣчаетъ, что все это—и тонъ, и форма, и самые факты—чистѣйшей воды обывательщина! Понятно, что на такую литературу есть много охотниковъ и понятно, что *литературъ* нечего дѣлать съ этими анекдотами, отдающими пріятельскимъ рестораннымъ балагурствомъ.

Скажутъ: въ сатирахъ, въ обличеніяхъ г. Амфитеатровъ серьезнѣе, чѣмъ въ воспоминаніяхъ о пріятелѣ-артистѣ. Ну, разумѣется. *Position oblige*. Но вѣдь тонъ дѣлаетъ музыку, а тонъ у писателя всегда одинъ—у каждого свой,—какъ бы ни различались факты, темы и формы его писаній. Отъ благодушнаго балагурства не свободны и политическія сатиры, и общественныя обличенія г. Амфитеатрова... Чеховъ писалъ по поводу смерти Щедрина: „Обличать умѣетъ каждый газетчикъ, издѣваться умѣетъ и Буренинъ, но открыто презирать умѣлъ одинъ только Салтыковъ. Двѣ трети читателей не любили его, но вѣрили ему всѣ“. Амфитеатрова, вѣроятно, очень многіе читатели „любятъ“, но вѣрить... Въ элементарномъ смыслѣ слова—вѣрятъ, но вѣрить въ томъ смыслѣ, чтобы проникнуться пафосомъ обличительнаго гнѣва, пережить и прочувствовать лирику его—едва-ли вѣрятъ г. Амфитеатрову: слишкомъ много внѣшняго, забавнаго, анекдотическаго балагурства въ его писаніяхъ. Онъ не сатирикъ. Онъ—талантливый человѣкъ неуловимаго „измѣренія“.

Максъ Нордау. Собраніе сочиненій. Т. I—II. Вырожденіе. Москва. 1913. Стр. 418+364. Ц. по 1 р. томъ.

Двадцать съ лишнимъ лѣтъ тому назадъ книга Нордау была событіемъ. То, что называется модернизмомъ, символизмомъ, декадентствомъ, только входило въ обиходъ въ Западной Европѣ, ошеломляя, раздражая и требуя освѣщенія и оцѣнки. Здѣсь уши раздражающая музыка, тамъ нелѣпыя картины, косноязычная поэзія, ошеломляющія теоріи морали—все это, разрозненное и крикливое, было мало извѣстно и еще менѣе понятно, а между тѣмъ манило широкую публику своей нарочитой новизной и преднамѣренной темнотой. Въ этихъ условіяхъ появилось „Вырожденіе“ Макса Нордау. Успѣхъ книги былъ громаденъ прежде всего потому, что она давала факты; это былъ какъ бы инвентарь послѣднихъ словъ

культуры; это была попытка обобщить тѣ новыя явленія литературной и художественной жизни, которыя поражали прежде всего своей экстравагантностью и однако — это было ясно для всѣхъ — опирались на какую-то общую почву. Книга Нордау читалась всѣми — немногими друзьями и многочисленными противниками новыхъ движеній — съ захватывающимъ интересомъ потому, что она говорила о всѣхъ интересующихъ фактахъ.

Другое дѣло — какъ и что она говорила. Старый профессиональ парадокса, почти всегда скрывавшій подъ наружной смѣлостью своихъ афоризмовъ довольно избитое содержаніе, пошелъ на этотъ разъ по линіи наименьшаго сопротивленія. Вмѣсто того, чтобы изучать, онъ принялся обличать; собравъ многообразную массу фактовъ, онъ объединилъ ихъ весьма сомнительнымъ принципомъ. Духовная дегенерация — вотъ что лежитъ въ основѣ европейскаго творчества послѣдней половины прошлаго вѣка; душевное вырожденіе — вотъ что объясняетъ намъ музыку Вагнера и поэзію Бодлера, драмы Ибсена и философію Ницше, картины прерафаэлитовъ и романы Зола. Это былъ обвинительный актъ не противъ тѣхъ или иныхъ группъ или направленій, но противъ всего европейскаго творчества послѣднихъ десятилѣтій. Не мудрено, что обвиненіе оказалось мыльнымъ пузыремъ. Чтобы говорить о художественномъ произведеніи, надо имѣть къ нему тягу, надо умѣть прежде всего оцѣнить его; никакого чутія, никакого непосредственнаго отношенія къ чужому творчеству не оказалось у Нордау; онъ просто не замѣтилъ громаднаго художественнаго капитала, накопленнаго тѣми, кого онъ обличалъ; и теперь, когда разоблаченные Максомъ Нордау поэты и художники вошли въ нашъ культурный обиходъ, просто комичной кажется его геростратовская попытка. Сегодня намъ просто дѣла пѣтъ до выкриковъ фельетониста, который двадцать лѣтъ тому назадъ предлагалъ смотрѣть на Толстого и Д. Г. Россетти, на Вагнера и Зола прежде всего какъ на вырожденцевъ и психопатовъ. И даже тамъ, гдѣ мы имѣемъ необходимость ввести въ нашу оцѣнку вопросы о душевномъ здоровьи — какъ, на примѣръ, въ случаяхъ съ Верленомъ, Ницше, Достоевскимъ и т. д. — и тамъ эти вопросы должны быть поставлены — да и были поставлены — неизмѣримо глубже и тоньше, чѣмъ это дѣлаетъ художественно безграмотный вандализмъ Макса Нордау.

Въ этихъ условіяхъ совершенно непонятно, кому изъ нынѣшнихъ русскихъ читателей могъ бы понадобиться критическій памфлетъ Нордау; время его прошло, бойкость его была терпима развѣ лишь на Западѣ, гдѣ онъ шелъ къ инымъ читательскимъ слоямъ. У насъ же и такъ слишкомъ много людей, склонныхъ къ сужденію съ кондачка о томъ, чего они не понимаютъ и что они могли бы понять, еслибы приучены были вдумываться въ явленія жизни. Труденъ Ибсенъ, труденъ Вагнеръ, труденъ Гольманъ Гентъ, — и тѣмъ болѣе зловѣщей является роль Нордау, который придетъ

къ задумавшемуся человѣку и скажетъ ему: не думай, не стойтъ, это все—дегенераты... Остается радоваться тому, что Нордау заврался и что книгу его просто бросить всякій русскій читатель, который дойдетъ до главы о Толстомъ и познакомится съ такими, напримѣръ, разсужденіями: „Что приводитъ въ особое умиленіе поклонниковъ Толстого, это, какъ извѣстно, его безграничная любовь къ ближнему. Я уже указалъ, что она въ своей сущности и проявленіяхъ перазумна; теперь я постараюсь доказать, что она тоже признакъ вырожденія“.

Переводчикъ и издатель благоразумно не назвали себя; они имѣютъ для этого всѣ основанія; переводъ—какъ и подобаетъ изданію, къ которому причастна фирма Саблина,—въ достаточной мѣрѣ плохъ; здѣсь Freiherr (баронъ) переводится Фрайгеръ, здѣсь говорится о графѣ Муффатѣ (Muffat), Гёрресъ называется Герре и т. п.

Максимиліанъ Волошинъ. О Рѣпинѣ. Изд. „Оле-Лукоіе“. Москва. 1913. Стр. 64. Ц. 50 коп.

Душевно-больной Балашовъ изрѣзалъ картину Рѣпина „Іоаннъ Грозный“. Газеты нашли въ этомъ матеріалѣ для шума. Самъ художникъ почему-то вообразилъ, что въ поступкѣ безумнаго виноваты „представители новаго искусства“. Причисляющій себя къ послѣднимъ г. Волошинъ счелъ долгомъ отвѣтить. Онъ защитилъ представителей новаго искусства въ статьѣ „О смыслѣ катастрофы, постигшей картину Рѣпина“ и въ напумѣвшей въ Москвѣ лекціи „О художественной цѣнности пострадавшей картины Рѣпина“. Въ дебатахъ, послѣдовавшихъ за лекціей, принялъ участіе самъ Рѣпинъ. Опять шумѣли газеты, кой-что переврали, кой-что преувеличили, и обиженный ими г. Волошинъ жалуется на ихъ несправедливость; онъ собралъ всѣ матеріалы—и ждетъ отъ сторонниковъ Рѣпина отвѣта по существу.

Едва-ли онъ дождется этого отвѣта, и по очень простой причинѣ: не стоитъ. Можно возмутиться г. Волошинымъ, можно равнодушно пройти мимо его „обвиненій“, но спорить съ нимъ не приходится. Бремя доказательства всегда лежитъ на обвинителѣ, а обвинительные аргументы г. Волошина отвергаютъ всякую возможность спора по существу. Такихъ, какъ онъ, не убѣдишь, а другихъ онъ не убѣдитъ. Вотъ, напримѣръ, образецъ его доводовъ: „Тѣ данныя, которыя газеты сообщаютъ объ Абрамѣ Балашовѣ, говорятъ о немъ очень краснорѣчиво. Онъ высокъ, мускулистъ, красивъ. Онъ былъ исключенъ изъ училища (значитъ, талантливъ). Онъ любитель старинныхъ иконъ и книгъ (значитъ, человѣкъ, обладающій настоящимъ художественнымъ вкусомъ). Онъ старообрядецъ (значитъ, человѣкъ культуры и цивилизаціи)“. О чемъ свидѣлствуютъ всѣ эти „значитъ“, какъ не о крайней нечестности мысли? Г. Волошинъ отлично знаетъ, что можно

быть исключеннымъ изъ училища и не быть талантливымъ, что можно любить старинныя иконы и не обладать настоящимъ художественнымъ вкусомъ, что не всякій старообрядецъ есть „человѣкъ культуры“. И однако изъ этихъ ничтожныхъ, двусмысленныхъ, непровѣренныхъ данныхъ онъ дѣлаетъ выводъ: „Все это даетъ образецъ человѣка талантливаго, художественно-культурнаго, но нервнаго и доведеннаго русской дѣйствительностью до пароксизма жалости“. Никакого желанія понять, узнать истину въ г. Волошинѣ не чувствуется; онъ не бросился добывать данныя—онъ удовлетворился тѣмъ немногимъ, что на слѣхъ сообщили репортеры. Ему этого довольно: чѣмъ меньше знаешь, тѣмъ легче сочинять. „Что онъ (Балашовъ) человѣкъ, обладающій художественнымъ вѣрнымъ чутьемъ, явствуетъ изъ того, что онъ передъ этимъ стоялъ въ Суриковской комнатѣ“. *Явствуетъ!* По-истинѣ не много нужно г. Волошину, чтобы для него что-нибудь „явствовало“. О „безусловно вредномъ“ впечатлѣніи, производимомъ картиной Рѣпина, „говорятъ и обмороки, и истерики ею вызываемые“. Вотъ еслибы г. Волошину была дорога истина о картинѣ Рѣпина, онъ обследовалъ бы—очевидно, многочисленные—случаи этихъ обмороковъ и истерикъ, документировалъ бы свои сообщенія—и, конечно, протокольный рассказъ о рядѣ такихъ случаевъ былъ бы много убѣдительнѣе эстетическихъ гипотезъ г. Волошина. Факты были бы важны еще потому, что самъ Рѣпинъ тотчасъ же послѣ лекціи говорилъ: „Обмороки и истерики передъ моей картиной—тенденціозный вздоръ“. Но г. Волошинъ предпочитаетъ обходиться теоріями. А между тѣмъ тамъ, гдѣ человѣкъ обвиняетъ тамъ, гдѣ онъ нападаетъ, непристойно ограничиваться прозрѣніями, хотя бы гениальными: мы обычно ждемъ отъ него доводовъ общезначимыхъ и общеобязательныхъ.

А обвиненія г. Волошина идутъ далеко, и мѣры, имъ требуемыя, въ порядкѣ предупрежденія и пресѣченія, суровы и отвѣтственны. Картина Рѣпина не только „вредна и опасна“. „Если она талантлива, тѣмъ хуже! Ей не мѣсто въ Національной картинной галлерей, на которой продолжаетъ воспитываться художественный вкусъ растущихъ поколѣній. Ея настоящее мѣсто въ какомъ-нибудь большомъ Европейскомъ Паноптикумѣ въ родѣ „Musée Grévin“. Этого мало—въ лицѣ Балашова „мы имѣемъ дѣло не съ преступникомъ, а съ жертвой Рѣпина. Безуміе его вызвано картиной Рѣпина“.

Чѣмъ же это доказывается? Прежде всего тѣмъ, что картина Рѣпина объявлена не реальной. Сдѣлано это очень просто: картина Рѣпина остается тамъ, гдѣ была, а реализмъ получаетъ новое опредѣленіе: реализмъ „при своемъ углубленіи приводитъ къ идеализму въ платоновскомъ смыслѣ—т. е. въ каждой переходящей случайной вещи ищетъ ея сущность, ея идею. Съ этой стороны онъ включаетъ въ себя и символизмъ“. Посему „живопись

Ванъ-Гога представляет логически неизбежное углубление научаго реализма импрессионистов“, картина же Рѣпина принадлежитъ искусству не реалистическому, а натуралистическому. А натурализмъ есть „простое копированіе природы внѣ всякаго обобщенія, съ одной мыслью усилить сходство“. Слѣдуютъ доказательства того, что картина Рѣпина „натуральна“: глаза Іоанна „нестественно расширены“, количество крови на картинѣ — „образецъ анатомической ошибки“, „гримъ Іоанна Грознаго скорѣе примѣнимъ для роли старика-еврея вродѣ Шейлока“, фигуры „одѣты въ условные оперные костюмы“, детали „физиологически невозможны“. Вотъ что называется у г. Волошина „простымъ копированіемъ природы съ одной мыслью усилить сходство“. При такомъ сумбурѣ понятій, очевидно, болѣе чѣмъ не трудно построить обвиненіе на тонкостяхъ терминологіи. Не удивительно, что г. Волошинъ и не пытается сойти съ этого пути. Онъ говоритъ объ ужасномъ въ искусствѣ, противопоставляетъ ужасное у Эдгара По и Достоевскаго ужасному у натуралистовъ, — въ музеѣ восковыхъ фигуръ и у Рѣпина. Но мы такъ и не узнаемъ, отчего картина Рѣпина не принадлежитъ къ „настоящимъ произведеніямъ искусства“. „Если художнику удастся изобразить несчастье съ такими подробностями и такъ похоже, что оно кажется со всѣмъ сходнымъ съ дѣйствительностью, тѣмъ хуже“. Но вѣдь Рѣпинъ, по вашему, изобразилъ *не похоже*; въ чемъ же его грѣхъ? Не въ тѣхъ ли нелѣпостяхъ, которыя онъ швырнулъ въ представителей новаго искусства? Но онъ на нихъ имѣлъ право — старый, большой художникъ, потрясенный мыслью о возможной гибели его созданія. Что же даетъ право г. Волошину на его нелѣпости? Не тотъ ли высокій тактъ, съ которымъ онъ, смѣшавъ критику съ публицистикой, счелъ умѣстнымъ втеченіе ряда лѣтъ молчать о вредѣ картины Рѣпина, не смотря на „обмороки и истерики, ею вызываемые“, и закричать о немъ черезъ нѣсколько дней послѣ того, какъ картину пропорола рука сумасшедшаго? Не та ли высота теоретической мысли, которая ставитъ перестановку терминовъ въ основу переоцѣнки художественнаго произведенія? Не та ли смѣлость, съ которой г. Волошинъ предлагаетъ „докончить дѣло, такъ наивно и такими неудачными средствами начатое Балашовымъ“?

Болѣе подходящимъ средствомъ г. Волошинъ считалъ бы перенесеніе картины Рѣпина въ балаганъ восковыхъ фигуръ. „Но такъ какъ это невозможно, то завѣдующіе Третьяковской галлереей обязаны, по крайней мѣрѣ, помѣстить эту картину въ отдѣльную комнату съ надписью: „Входъ только для взрослыхъ“. Проектъ неожиданный и — какъ все у г. Волошина — не вытекающій изъ его предыдущихъ разсужденій. Вѣдь Балашовъ не только взрослый, но и „талантливый, художественно-культурный человекъ“. Чему же поможетъ надпись, въ которую и самъ авторъ ея не вѣритъ? Нѣтъ, еслибы надписи помогали, то единственно естественной и

вполнѣ обусловленной обстоятельствами была бы другая: „Входъ дуракамъ воспрещается“. Но и она, конечно, не удержала бы ни Балашова, ни Балашовыхъ.

Мемуары г-жи де Ремюза. (1802—1808 г.), изданные съ предисловіемъ и замѣтками ея внукомъ П. Ремюза. Переводъ съ 24 французскаго изданія Ө. И. Руденко. Редакція и вступительная статья С. Ф. Фортунатова. Томъ первый. М. 1912. Стр. 272 + II. Ц. 2 р.

Столѣтній юбилей 1812 года послужилъ толчкомъ къ появленію въ русскомъ переводѣ ряда иностранныхъ мемуаровъ, относящихся къ Наполеоновской эпохѣ. Мемуары г-жи де-Ремюза могутъ по справедливости занять въ этомъ ряду одно изъ наиболѣе видныхъ мѣстъ. Клара де-Ремюза, въ дѣвичество Клара де-Верженнъ, по происхожденію своему принадлежала къ дворянскому роду, члены котораго служили главнымъ образомъ въ судебной магистратурѣ и въ гражданской администраціи. Въ ранней юности она потеряла отца, погибшаго на эшафотѣ въ послѣдніе дни Робеспьеровскаго режима, причемъ и имущество его было конфисковано. Два года спустя, 16-лѣтней дѣвушкой, она вышла замужъ за де-Ремюза, происходившаго изъ буржуазной фамиліи, путемъ службы въ судѣ поднявшейся до дворянства. Въ послѣдніе годы царствованія Людовика XVI Ремюза занималъ довольно видную судебную должность, но потерялъ ее во время революціи и благодаря этому послѣ брака очутился въ весьма стѣсненномъ матеріальномъ помѣщеніи. При такихъ условіяхъ онъ въ эпоху консульства воспользовался близостью, случайно создавшейся между его тещей и женой перваго консула, чтобы поискать возможности вновь вступить на государственную службу. Съ своей стороны Наполеонъ, который въ это время былъ озабоченъ стремленіемъ примирить съ собою дворянство и вмѣстѣ съ тѣмъ старался возстановить въ своемъ домашнемъ обиходѣ церемоніаль придворнаго быта, охотно пошелъ на встрѣчу желанію Ремюза и назначилъ его префектомъ своего двора, а г-жу Ремюза — придворной дамой своей жены, позднѣе императрицы Жозефины. Такимъ образомъ они вошли въ интимный кругъ приближенныхъ Наполеона и передъ г-жей Ремюза, умной и наблюдательной женщиной, открылась возможность близко присмотрѣться къ домашней жизни „маленькаго капрала“ и окружающихъ его лицъ. Она тогда же начала вести дневникъ, въ который заносила событія этой жизни и свои размышленія объ ней. Но вполнѣ, въ моментъ возвращенія Наполеона съ острова Эльбы, когда Ремюза, перешедшіе къ Бурбонамъ, могли опасаться его преслѣдованій, она сожгла этотъ дневникъ изъ боязни, что его обнаруженіе навлечетъ лишнія бѣды на нее и ея мужа. И лишь спустя еще четыре года, подъ влияніемъ толчка, даннаго ей опубликованіемъ „Размышленій о французской революціи“ г-жи Сталь,

г-жа Ремюза вновь взялась за перо, чтобы записать свои воспоминанія о пребываніи при дворѣ Наполеона въ бытность его первымъ консуломъ и императоромъ. Въ этихъ позднѣйшихъ воспоминаніяхъ, конечно, уже нѣтъ той свѣжести впечатлѣній, какая могла быть въ первоначальномъ дневникѣ. Съ другой стороны, въ эти воспоминанія авторомъ, несомнѣнно, въ известной мѣрѣ привнесены и такія мысли и чувства, какихъ не было у него въ болѣе раннее время, во время описываемыхъ въ мемуарахъ событий. Но при всемъ томъ въ мемуарахъ г-жи Ремюза много крупныхъ достоинствъ, дѣлающихъ ихъ любопытнымъ памятникомъ той эпохи, къ которой они относятся. Г-жа Ремюза умѣла наблюдать развертывавшуюся передъ нею жизнь, умѣла и передавать свои наблюденія въ живомъ и бойкомъ разсказѣ. Поэтому ея воспоминанія, не говоря уже о томъ, что въ нихъ вкраплено много тонкихъ и умныхъ характеристикъ, воспроизводятъ передъ читателемъ рядъ яркихъ картинъ интимной жизни Наполеона и его двора, картинъ, въ совокупности своей позволяющихъ ближе подойти къ пониманію Наполеоновской эпохи и ея дѣятелей. Въ выходѣ пока въ русскомъ переводѣ первомъ томѣ мемуаровъ изложеніе доводится до 1804 года. Къ сожалѣнію, языкъ перевода изобилуетъ шероховатостями и во многихъ отношеніяхъ оставляетъ желать лучшаго. Не свободна книга и отъ типографскихъ погрѣшностей въ видѣ большого количества опечатокъ. Нельзя не отмѣтить также, что цѣна книги—2 р. за 17 печатныхъ листовъ небольшого формата—чрезмѣрно высока.

Г. Роосъ. Съ Наполеономъ въ Россію. Записки врача великой арміи. Переводъ съ нѣмецкаго подъ ред. И. Н. Вороздина. Москва. 1913. Стр. IX+334. Ц. 2 р. 25 к.

Генрихъ Роосъ въ качествѣ полкового врача продѣлалъ весь походъ 1812 года и попалъ въ плѣнъ къ русскимъ въ самомъ концѣ бѣдственнаго отступленія. Вернувшись послѣ заключенія мира на родину, въ Германію, онъ принялся за составленіе записокъ о великой войнѣ, въ которой ему довелось участвовать. Эти записки теперь впервые появляются на русскомъ языкѣ (въ хорошемъ литературномъ переводѣ). Записки хороши тѣмъ, что написаны человекомъ наблюдательнымъ, который, не мудрствуя лукаво, передаетъ то, что больше всего его поразило и нѣсколько при этомъ не занявъ собственною особою. Любопытны слова развѣдчика, который ѣздилъ въ фуражировку при переходѣ великой арміи изъ Литвы въ собственно-русскія области: „здѣсь приходитъ конецъ такимъ мѣстамъ, гдѣ населеніе за насъ; дальше люди становятся другими. Всѣ противъ насъ; всѣ готовы либо защищаться, либо бѣжать; вездѣ меня встрѣчали непріязненно, съ упреками и бранью. Никто ничего не хотѣлъ давать; мнѣ приходилось брать самому, насильственно и съ рискомъ, меня отпускали съ угрозами и проклятіями“

Мужики вооружены пиками, многіе на коняхъ: бабы готовы къ бѣгству и ругали насъ такъ же, какъ и мужики“. Интересны впечатлѣнія еще въ побѣдоносный для Наполеона до-бородинскій періодъ войны: „на прекрасной дорогѣ и близъ нея видѣлись остатки сожженныхъ или брошенныхъ и на-чисто разграбленныхъ домовъ и деревень... Жителей тѣхъ мѣстъ мы не видѣли даже тогда, когда мы, ради корма лошадямъ и пропитанія себѣ, далеко отклонялись отъ большой дороги. И не только города и села, но и прилежавшіе къ дорогѣ лѣса носили на себѣ самые явные слѣды этой опустошительной войны“.

При Бородинѣ Роосъ работалъ съ утра до вечера въ день страшнаго побоища, перевязывая раны, ампутируя непрерывно приносимыхъ раненыхъ. „Французы въ общемъ обнаруживали спокойствіе и терпѣніе, и многіе умирали отъ тяжелыхъ пушечныхъ ранъ, прежде чѣмъ очередь перевязки доходила до нихъ. Наоборотъ, вестфалецъ, лишившійся правой руки, ругался и проклиналъ Наполеона, и жалѣлъ, что не можетъ отомстить“. Въ разгаръ боя мимо оврага, гдѣ работалъ докторъ, „проѣхалъ съ большой свитой Наполеонъ. Медленность его передвиженія, казалось намъ, означаетъ спокойствіе и внутреннюю удовлетворенность ходомъ битвы, вѣдь мы до сихъ поръ не научились разбираться въ выраженіи его серьезнаго лица, ибо всегда, въ счастіи и въ бѣдѣ, при всѣхъ обстоятельствахъ онъ являлъ намъ зрѣлище холоднаго спокойствія не знающаго мягкости“. Страшно въ простотѣ и безхитростности своей описаніе поля битвы *на другой день*: трупы и трупы, совсѣмъ застилающіе землю, срываемые наскоро окопы, которыми засыпали „мертвыхъ и полумертвыхъ“, — все это „въ тихое, ясное утро“ представляется еще ужаснѣе, чѣмъ при грохотѣ канонады въ самый день битвы. Москвы Роосъ не видѣлъ вблизи, его часть стояла вдали отъ столицы. Бѣдствія отступленія описаны не менѣе живо и жизненно. „Огромное количество труповъ... лежало вокругъ потухшихъ костровъ“, — вотъ постоянное впечатлѣніе, однообразный фонъ разсказа объ отступленіи. Есть и строки, живо напоминающія „замерзшую совѣсть“: „чувства справедливости, дружбы, порядка—притуплялись. Я, напр., особенно любилъ изъ всѣхъ офицеровъ полка ротмистра фонъ-Рейнгардта; уже пять лѣтъ мы жили по-братски, душа въ душу въ часы радости и печали, а въ эту войну постоянно дѣлились тѣмъ немногимъ, что было у насъ“. Здѣсь, въ Смоленскѣ, авторъ случайно получилъ кусокъ благаго хлѣба съ масломъ. „Рейнгардтъ издала примѣтилъ этотъ рѣдкій даръ и подошелъ ко мнѣ со словами: ну, вы поделитеесь сегодня со мною?—Нѣтъ, —отвѣчалъ я... Онъ удалился, а я одинъ съѣлъ свой даръ“ Доктора Рооса долго мучила потомъ совѣсть за это „нѣтъ“; въ запискахъ онъ рисуется человѣкомъ не только искреннимъ, но добрымъ и самоотверженнымъ...

Книга Рооса является интересным вкладомъ въ мемуарную литературу, посвященную эпопее 1812 года.

Русское изданіе снабжено превосходными бытовыми рисунками, взятыми изъ альбома участника похода Фаберж-ди-Фора („Листки изъ моего портфеля“). Эти „Листки“ имѣются во французскомъ и нѣмецкомъ изданіяхъ, но у насъ они мало извѣстны.

Государи изъ Дома Романовыхъ. 1613—1913. Жизнеописанія царствовавшихъ государей и очерки ихъ царствованій. Подъ редакціей доктора русской исторіи Н. Д. Чечулина. Томъ I. Стр. 407. Томъ II. Стр. 369+II. М. 1913. Изданіе Т-ва И. Д. Сытина. Цѣна не обозначена.

Съ внѣшней стороны настоящее изданіе обставлено очень хорошо: прекрасная бумага, четкій и красивый шрифтъ, большое количество хорошо выполненныхъ иллюстрацій—все это дѣлаетъ внѣшность изданія почти роскошной. Къ сожалѣнію, внутреннее содержаніе послѣдняго далеко не отвѣчаетъ его внѣшности. Правда, сами участники изданія и его редакторъ въ своемъ предисловіи заявляютъ, что составленная ими книга въ цѣломъ даетъ „связное и полное обзорѣніе исторіи Россіи за триста лѣтъ“. „Съ цѣлью—продолжаютъ они—выполнить давно ощущаемый въ русской исторической литературѣ пробѣлъ: отсутствіе труда, въ которомъ была бы съ надлежащею научностью и полнотою изображена жизнь русскихъ государей, въ предлагаемомъ изданіи на первый планъ выдвинута вездѣ личность каждаго государя, его дѣятельность, его участіе въ событіяхъ его царствованія. Но вмѣстѣ съ тѣмъ приложены были всѣ усилія, чтобы и жизнь народа, труды, имъ понесенные въ дѣлѣ устроенія государства и выполненія его важнѣйшихъ задачъ, были изображены со всею необходимою полнотою“. На дѣлѣ однако эти усилія далеко не увѣнчались успѣхомъ и въ очеркахъ, вошедшихъ въ составъ книги, элементъ исторической біографіи рѣшительно преобладаетъ надъ исторіей народа, отодвинутой на задній планъ и изложенной не только недостаточно полно, но подчасъ и прямо отрывочно. Вмѣстѣ съ тѣмъ и на самыхъ жизнеописаніяхъ государей—жизнеописаніяхъ, составляющихъ главную часть книги,—лежитъ печать нѣкоторой условности и офіціальности. Въ извѣстной мѣрѣ это приходится сказать даже о лучшихъ очеркахъ книги, принадлежащихъ перу проф. С. Θ. Платонова и пр.-доц. А. Е. Прѣснякова и посвященныхъ избранію на царство Михаила Ѳедоровича, времени его правленія и личности и царствованію Алексѣя Михайловича. Въ еще большей степени сказываются эти особенности въ другихъ очеркахъ, и притомъ тѣмъ сильнѣе, чѣмъ больше подвигается изложеніе къ современности. Вдобавокъ большинство помѣщенныхъ въ книгѣ очерковъ не блещетъ и особыми научными и литературными достоинствами. Два очерка проф. Богословскаго, посвященные Ѳедору Алексѣевичу и Петру I,

даютъ достаточно популярное, но сухое и далеко не полное изложение царствованій двухъ названныхъ государей, лишенное сколько-нибудь яркихъ красокъ. Екатеринѣ I, Петру II и имп. Аннѣ посвящены три очерка г. Вознесенскаго, не выходящіе въ общемъ за предѣлы шаблоннаго ученика и содержащіе въ себѣ немало довольно наивныхъ утверждений. Нѣсколько выше стоитъ статья г. Готье объ Елизаветѣ Петровнѣ, не заключающая въ себѣ однако ни оригинальной характеристики личности Елизаветы, ни достаточно полного изображенія ея времени. Затѣмъ идутъ три статьи редактора изданія, г. Чечулина, о Петрѣ III, Екатеринѣ II и Павлѣ Петровичѣ, опять-таки не выходящія далеко за предѣлы учебника и способныя привлечь къ себѣ особое вниманіе развѣ только нѣкоторыми чрезмѣрными наивностями автора. Болѣе серьезны, но вмѣстѣ съ тѣмъ очень сухи и односторонни два очерка г. Середонина, посвященные Александру I и Николаю I. Еще сильнѣе сказывается такая односторонность, переходящая порою въ прямое извращеніе фактовъ въ статьѣ г. Блинова объ Александрѣ II и въ краткой анонимной статьѣ объ имп. Александрѣ III. Имп. Николаю II въ книгѣ отведено лишь нѣсколько строкъ, въ которыхъ сообщены только самыя краткія біографическія свѣдѣнія о немъ, точнѣе говоря, даты его рожденія, восшествія на престолъ, вступленія въ бракъ и рожденія его дѣтей. Въ цѣломъ составленное такимъ образомъ изданіе врядъ-ли способно восполнить собою какой-либо крупный пробѣлъ въ существовавшей до него исторической литературѣ. И, если сами участники изданія заявляютъ, что „свой трудъ они стремились сдѣлать не только доступнымъ, но и интереснымъ для самаго широкаго круга читателей, и вмѣстѣ съ тѣмъ дать все то,—но и только то,—что критически провѣрено, твердо установлено и должно быть признаваемо за историческую истину“, то рецензенту ихъ труда приходится отмѣтить, что эти стремленія очень мало отразились на содержаніи послѣдняго.

Ари Бергсонъ. I) Психо - физиологическій паралогизмъ
II) Сновидѣніе. Перев. съ франц. В. А. Флеровой Спб. 1913. Стр. 60. Ц. 50 к.

Психо-физиологическимъ паралогизмомъ Бергсонъ называетъ ученіе о параллелизмѣ психическихъ состояній и физическихъ явленій въ мозгу. Это ученіе теперь весьма распространено среди психологовъ, его можно даже считать господствующимъ въ психологіи, хотя, по существу, оно является лишь *удобной* формулой, которая довольно удачно маскируетъ нашу метафизическую беспомощность; съ другой стороны, для психологіи оно имѣетъ до стоинство рабочей гипотезы.

Бергсонъ формулируетъ это ученіе слѣдующимъ образомъ: „Со-

знаніе не говоритъ ничего сверхъ того, что совершается въм озгу; оно выражаетъ то же самое, только на другомъ языкѣ" (стр. 5—6). Это ученіе, заявляетъ затѣмъ Бергсонъ, „заключаетъ фундаментальное противорѣчіе" (стр. 7). Далѣе онъ утверждаетъ, что тезисъ параллелизма можетъ быть терпимъ лишь при томъ условіи, что мы безсознательно переходимъ съ идеалистической точки зрѣнія на реалистическую и обратно, но всякая попытка изложить это ученіе въ строго-идеалистическомъ духѣ или въ духѣ послѣдовательнаго реализма,—всякая подобная попытка немедленно приводитъ къ противорѣчію.

Для реализма внѣшніе предметы суть *вещи*, для идеализма—*представленія*. Теперь, если мы станемъ на идеалистическую точку зрѣнія и въ духѣ послѣдовательнаго идеализма примемъ, что мозгъ есть лишь представленіе среди другихъ представленій, то мы сейчасъ же замѣтимъ, что ученіе о параллелизмѣ, въ сущности, утверждаетъ, „что маленький уголокъ представленія есть цѣлое представленіе" (стр. 12), или, что „часть есть цѣлое" (стр. 13). Отъ этого неизбежнаго вывода мы убѣгаемъ, лишь переходя „съ точки зрѣнія идеалистической на точку зрѣнія ложно-реалистическую" (стр. 13).

Но и реалистическая точка зрѣнія не можетъ быть выдержана до конца. Для реализма представленіе есть результатъ взаимодѣйствія между вещью и мозгомъ. Но „тезисъ параллелизма, выдѣляя мозговья состоянія и полагая, что они сами могутъ творить, обуславливать, или, по крайней мѣрѣ, выражать представленія предметовъ, не можетъ быть выраженнымъ, не разрушая самого себя. На языкѣ строго реалистическомъ его можно формулировать такимъ образомъ: *часть цѣлага, обязанная естѣмъ, что она есть, остальному отъ цѣлага, можетъ познаваться, какъ существующая, когда это остальное исчезаетъ*. Или еще проще: *Отношеніе между двумя членами соответствуетъ одному изъ нихъ*" (стр. 18—19), Бергсонъ утверждаетъ, что отъ этого вывода защитники параллелизма убѣгаютъ, переходя снова съ реалистической точки зрѣнія на точку зрѣнія идеализма, „согласно которой считается по праву возможнымъ къ изолированію все то, что изолировано въ представленіи" (стр. 18).

Мы думаемъ, что Бергсонъ въ своей критикѣ реалистической точки зрѣнія смѣшиваетъ два момента: моментъ взаимодѣйствія между „вещью" и „мозгомъ" и моментъ состоянія мозга, какъ слѣдствіе этого взаимодѣйствія. Эти моменты логически могутъ и должны быть различены другъ отъ друга, хотя бы фактически они и были неотдѣлимы одинъ отъ другого. А при такомъ (логическомъ) раздѣленіи нѣтъ никакого противорѣчія въ томъ, что одинъ изъ взаимодѣйствующихъ факторовъ, какъ бы представляетъ собою и отношеніе между обоими факторами.

Остроумный анализъ сновидѣній написанъ, конечно, въ духѣ общей философіи Бергсона, по ученію котораго, наше познаніе

есть лишь орудіе для дѣйствія. Все ученіе нашего автора о снѣ и сновидѣніяхъ можетъ быть резюмировано слѣдующимъ его афоризмомъ: „Спать, это потерять интересъ“ (стр. 54).

Мнѣніе, будто сонъ есть прекращеніе душевной дѣятельности, — ошибочно. „Когда мы спимъ нормальнымъ сномъ, не слѣдуетъ думать, какъ это иногда дѣлаютъ, что наши органы чувствъ закрыты для внѣшнихъ впечатлѣній: они продолжаютъ работать. Правда, что они работаютъ съ меньшей точностью; но за то они захватываютъ массу „субъективныхъ“ впечатлѣній; эти впечатлѣнія проходятъ незамѣченными во время бодрствованія, когда мы живемъ въ мірѣ воспріятій, общихъ всемъ людямъ, и вновь появляются во время сна, когда мы живемъ только для насъ самихъ“ (стр. 40). Не только органы нашихъ чувствъ работаютъ во время сна, но, сверхъ того, и „механизмъ сновидѣній тотъ же, въ главныхъ чертахъ, что и механизмъ нормального воспріятія“ (стр. 46).

Но, если работа нашего духа во время сна продолжается; если, затѣмъ, элементы, надъ которыми при этомъ работаетъ нашъ духъ, тѣ же, что и во время бодрствованія; если, далѣе, способъ обработки этихъ элементовъ въ обоихъ случаяхъ весьма сходенъ, — то, спрашивается, чѣмъ же воспріятіе отличается отъ сновидѣнія?

Сновидѣніе отличается отъ воспріятія не тѣмъ, что оно дѣлаетъ, а тѣмъ, чего оно не дѣлаетъ: оно просто-на-просто „ничего не дѣлаетъ“ (стр. 52). Бодрствование есть состояніе постоянного напряженія. Имѣя всегда практическую цѣль, подготавливая насъ къ дѣйствію, нормальное воспріятіе бодрствующаго человѣка есть трудная, напряженная работа выбора между многочисленными впечатлѣніями и обработки этихъ впечатлѣній въ виду строго опредѣленной цѣли. Сновидѣніе не знаетъ этого напряженія: оно ничего не желаетъ, ни къ чему не стремится и потому ничего не дѣлаетъ. Бергсонъ заставляетъ „грезящее я“ говорить „бодрствующему я“ слѣдующее: „Ты спрашиваешь меня, что я дѣлаю во время сновидѣнія. Я расскажу тебѣ, что дѣлаешь ты, когда ты бодрствуешь. Ты берешь меня, „я“ сновидѣній, меня, цѣлокупность твоего прошлаго, и ты доводишь меня, путемъ постепенныхъ сокращеній, до того, что заключаешь въ очень маленькій кругъ, очерченный тобой вокругъ твоего настоящаго дѣйствія. Это значитъ бодрствовать, это значитъ жить нормальной психологической жизнью, это значитъ бороться, это значитъ имѣть волю. Что же касается сновидѣнія, нуждаешься ли ты реальнымъ образомъ въ томъ, чтобы я объяснилъ тебѣ его? Это есть то состояніе, въ которомъ ты вновь оказываешься естественнымъ образомъ, какъ только ты распускаешься, какъ только ты не имѣешь болѣе силъ сосредоточиваться на одномъ пунктѣ, какъ только ты перестаешь *хотѣть*. Что скорѣе нуждается въ объясненіи, такъ это тотъ чудесный механизмъ, благодаря которому воля можетъ моментально, г. почти безсознательно, сконцентрировать все, что

ты несешь въ себѣ, на одномъ пунктѣ, на томъ, который тебя интересуетъ. Но объяснять это есть задача нормальной психологіи, психологіи бодрствованія, ибо *бодрствовать* и *хотѣть* одно и то же“ (стр. 54—5).

Этотъ прекрасный и тонкій анализъ явленій сновидѣнія, какъ намъ кажется, долженъ быть дополненъ энергическимъ указаніемъ на то, что во время сна гегемонія внѣшняго міра въ нашей духовной жизни низвергается. Ибо сводить все дѣло къ отсутствію хотѣнія и интереса во время сна едва-ли возможно. Что волевой элементъ нашего духа во время сна сильнѣйшимъ образомъ понижается, это безспорно, но, думаемъ, столь же безспорно и то, что онъ не падаетъ до нуля и что едва-ли можно безъ всякихъ оговорокъ признать, будто „*бодрствовать* и *хотѣть* одно и то-же“. Въ самомъ дѣлѣ, всякому извѣстно, что мы можемъ страдать во время сновидѣній и даже можемъ при этомъ сильно страдать; а развѣ чувство можетъ быть отдѣлено отъ воли? Съ нашей точки зрѣнія, и представленіе не можетъ быть отдѣлено отъ чувства и воли, но мы не будемъ на этомъ настаивать; но что страждущая душа не можетъ не имѣть желанія освободиться отъ страданія, этого мы не можемъ не подчеркнуть. Правда, это желаніе не переходитъ въ дѣйствіе, или, лучше сказать, при первой попыткѣ перейти къ дѣйствію мы просыпаемся, но это только лишній разъ иллюстрируетъ отмѣченный нами выше фактъ паденія гегемоніи внѣшняго міра въ духовной жизни спящаго, ибо наше „дѣйствіе“ тѣснѣйшимъ образомъ связано съ внѣшнимъ міромъ.

Борисъ Фрометтъ. Помощь школьнику — долгъ страны. Изд. Спб. Общества грамотности. Спб. 1913. Стр. VIII+104. 8 диаграммъ въ текста. Ц. 60 коп.

Заглавіе, слишкомъ широкое и мало выразительное, взято изъ резолюціи недавняго всероссійскаго съѣзда по семейному воспитанію. Рѣчь въ брошюрѣ идетъ не о неопредѣленной „помощи школьнику“, а о совершенно конкретномъ вопросѣ: о необходимости при нынѣшнихъ соціальныхъ условіяхъ не только учить, но и кормить неимущаго школьника. Теоретически эта мысль не возбуждаетъ споровъ: мало провозгласить принципъ всеобщаго обученія, мало обезпечить страну школами и учителями—необходимо, чтобы учащійся не былъ голоденъ. Практически для осуществленія этой банальности сдѣлано очень мало, не только у насъ, но и на Западѣ; достаточно напомнить слова одного американца о томъ, что въ Соединенныхъ Штатахъ нѣтъ никакой мелочи, забытой при оборудованіи великолѣпныхъ образовательныхъ учреждений,—„забыли только объ одномъ—о самомъ ребенкѣ“. Но въ Англіи добровольныя организации, а во многихъ французскихъ городахъ социалистическіе му-

ниципалитеты кормятъ дѣтей; кой-что дѣлается и въ другихъ странахъ. Нельзя сказать, что ничего не сдѣлано у насъ: рядъ земствъ даетъ средства на завтраки для школьниковъ, московское самоуправленіе даетъ на 50% учащихся по 6 рублей на ребенка на приварокъ; остальное пополняютъ родители и благотворители. Петербургъ кормитъ всего одну шестую часть школьниковъ. Конечно, возложить на себя бремя кормленія учащейся бѣдноты можетъ только государство. Но, по приблизительному подсчету составителя, на это требуется у насъ до 360 милліоновъ рублей въ годъ (пятакъ въ день на двадцать милліоновъ учащихся); ясно, что при нынѣшнихъ условіяхъ, при общей смѣтѣ министерства народнаго просвѣщенія въ полтораста милліоновъ рублей, о подобной ассигновкѣ мечтать не приходится. Поэтому авторъ брошюры вызываетъ къ частной инициативѣ; онъ сообщаетъ объ отдѣльныхъ попыткахъ, объ организаціяхъ при школахъ, объ обществахъ вспомошествованія, о санитарныхъ попечительствахъ. Но главное значеніе онъ придаетъ школьнымъ попечительствамъ: учрежденію, которое имѣло бы будущность, еслибы къ нему притекли живыя общественныя силы. Авторъ, конечно, правъ въ своихъ горячихъ призывахъ, но, думается, онъ придаетъ преувеличенное значеніе мелкой частной работѣ. „Сверху идеи,—говоритъ онъ—дѣло же на мѣстахъ“. Какое дѣло? „Не въ резолюціяхъ съѣздовъ, не въ Таврическомъ дворцѣ, а въ добромъ согласіи фельдшера, учителя, врача, двухъ-трехъ сельскихъ интеллигентовъ—мы видимъ залогъ успѣха для близкаго будущаго. Воздѣйствіе на земство, воздѣйствіе на государство возможны лишь тогда, когда у насъ создадутся и окрѣпнутъ общества вспомошествованія учащимся и школьныя попечительства“. Не маловато ли? Не показываетъ ли опытъ Запада, что въ этомъ дѣлѣ—какъ и въ другихъ—не обойтись безъ другихъ организацій, ставящихъ себѣ менѣе ограниченныя цѣли? „Сверху—идеи“, конечно, но и внизу идеи не должны вырождаться въ мелкія благотворительныя предпріятія. „Помощь школьнику—долгъ страны“, а не отдѣльныхъ добрыхъ людей. Нужно, конечно, согласіе фельдшера и учителя, но изъ ихъ согласія выйдетъ немного, если оно будетъ ограничено заботами о школьномъ приваркѣ.

Новыя книги, поступившія въ редакцію.

(Значащіяся въ этомъ списокѣ книги присылаются авторами и издателями въ редакцію въ одномъ экземплярѣ и въ конторѣ журнала не продаются. Равнымъ образомъ контора не принимаетъ на себя коммисіи по пріобрѣтенію этихъ книгъ въ книжныхъ магазинахъ).

Изд. „Посредникъ“. М. 913.—Произведенія Гю де-Мопассана, избранныя Л. Н. Толстымъ. Т. I. Жизнь женщины. Ц. 85 к. Т. II. На водѣ. Ц. 50 к. Т. III. Одиночество. Ц. 50 к. Т. IV. Монть Орюль. Ц. 85 к.—Крепелинъ, проф. Въ зеленомъ саду. Ц. 80 к.—Е. Чижевъ. Звѣздные вечера. Ц. 50 к.—Е. Ельмановъ. Наши комнатныя растенія. Ц. 11 к.—И. Горбуновъ-Посадовъ. Живая любовь. Ц. 12 к.—Л. Н. Толстой. О Шекспирѣ и о драмѣ. Ц. 15 к. Цвѣтникъ. Сборникъ разсказовъ. Ц. 15 к.

Изд. Т-во И. Д. Сытинъ. М. 913.—Н. Соколовъ. Арифметика. Ц. 50 к.—Д. К. Лаврентьевъ. Торговое право, вексельное и морское. Ц. 1 р. 50 к. А. Яблоновскій. Родныя картины. Т. III. Ц. 1 р. 25 к.—Натанъ Оппенгеймъ. Развитие ребенка, наслѣдственность и среда. Ц. 90 к.—Русскіе писатели для дѣтей и юношества. А. С. Пушкинъ. Ц. 1 р. 25 к.

Изд. „Шилловникъ“. СПб. 913.—Алекс. Бенуа. Исторія живописи всѣхъ временъ и народовъ. В. 6-я.—Георгій Чулковъ. Сочиненія. Т. VI. Ц. 1 р. 25 к.—Г. Флоберъ. Полн. собр. соч. Т. II. Саламбо. Ц. 1 р. 50 к. П. Е. Щеголевъ. Историческіе этюды. Ц. 3 р.

Кн-во „Просвѣщеніе“. СПб. 913.—Ек. Лѣткова. Разсказы. Ц. 1 р. 25 к.—Октавъ Мирбо. Собр. сочиненій. 21 день неврастеника. Ц. 1 р. 25 к.—Н. Олигеръ. Собр. соч. Т. III. Ц. 1 р. 25 к.—Марія Конопницкая. Собр. соч. Т. I. Ц. 1 р. 25 к.

Кн-во I. А. Маевского. М. 913.—Джекъ Лондонъ. Бѣлый клыкъ. Ц. 1 р.—Его же. Законъ жизни. Аляскинскіе разсказы. Изд. 2-е. Ц. 1 р.—Его же. Любовь къ жизни. Ц. 1 р.—Кн-во „Польза“. В. Антикъ и К^о. М. 913.—С. Пшибышевскій. Освобожденіе. Романъ. Ц. 75 к.—Г. Флоберъ. Саламбо. Ц. 40 к.—Майнъ-Ридъ. Ползуны по скаламъ. Ц. 30 к.

—Анатолий Франсъ. Подъ дорожнымъ вязомъ. Ц. 20 к.—Джекъ Лондонъ. Сила женщины. Ц. 10 к.—Послѣдняя борьба. Цѣна 10 коп. Л. Н. Толстой. Отецъ Сергій. Дьяволъ. Ц. 10 к.—Леонидъ Андреевъ. Разсказъ о семи повѣшенныхъ. Ц. 10 к.—Л. М. Гартманъ. Паденіе античнаго міра. Ц. 20 к.—Дж. Уотсонъ. Наслѣдственность. Ц. 10 к.

Изд. „Природа“. М. 913.—Е. Лехеръ, проф. Физическія картины міра. Ц. 50 к.—К. Гизенгагенъ. Оплодотвореніе и явленія наслѣдственности въ растительномъ царствѣ. Ц. 50 к.

Изд. Т-во А. С. Суворина. СПб. 913.—А. И. Боргманъ. Учебная книга по русской исторіи. Для старш. классовъ ср.-учебн. заведеній. Ч. II. Съ Петра Великаго. Ц. 75 к.—То же. Для средней школы и самообразованія. Ц. 2 р. 50 к.

В. Князевъ. Частушки-коротушки СПбургской губерніи. Изд. М. Г. Корифельда. СПб. 913. Ц. 1 р. 50 к.

Марина Цвѣтаева. Изъ двухъ книгъ. 913. Ц. 15 к.

Засахаре Кры. Эго-футуристы V.

Игорь Сѣверянинъ. Громкипашій кубокъ. Поэзы. М. 913. Ц. 1 р.

А. Райскій. Новые звуки. Кисловодскъ. 913. Ц. 50 к.

Юліанъ Анисимъ въ. Обитель. М. 913. Ц. 1 р.

Савватій. Тетрадь въ сафьянѣ. Хроника села Арсеньевки. СПб. 913. Ц. 1 р.

Вассерманъ Я. Романъ мужчины сорока лѣтъ. СПб. 913. Ц. 1 р.

П. Соловьева. Перекрестокъ. Повѣсть. СПб. 913. Ц. 50 к.

Евг. Барановъ. Легенда Кавказа. М. 913. Ц. 70 к.

С. Сергѣевъ-Ценскій. Собр. сочиненій. Т. VI. Ц. 1 р. 25 к.

Д. Абеляевъ. Тѣнь вѣка сего. Романъ въ 5 ч. М. 913. Ц. 3 р.

А. Мюрге. Богема. Романъ. Ц. 1 р. 25 к.

Николай Ключевъ. Сосенъ перзвонъ. Изд. 2-е. Ц. 60 к.—Его же. Лѣсныя были. Кн. 3-я. Ц. 60 к.

Д. Мережковскій, Александръ І. Романъ. 2 тома. СПб. 913. Ц. 2 р. 50 к.

А. Гурьевъ. Отъ скуки. Кн. 3-я. Ц. 1 р. 25 к.

М. Вакаринъ. Легенды. М. 913.

В. Фриче. Поезія кошмаровъ и ужаса. Изд-во „Сфинксъ“. М. 913. Ц. 3 р. 50 к.

Н. А. Шахматовъ. Что такое феминизмъ. М. 912. Ц. 15 к.

П. Милуковъ. Главныя теченія русской исторической мысли. СПб. Изд. 3-е. Ц. 1 р. 50 к.

Георгій Свѣтлый. „Екатерина Ивановна“. Легенда Андреева, какъ символъ. М. 913. Ц. 30 к.

Ив. Коноваловъ. Очерки современной деревни. СПб. 913. Ц. 1 р. 50 к.

Кн-во „Путь“. М. 913.—Евг. Трубецкой. Міросозерцаніе Вл. Соловьева. Т. І. Ц. 4 р. за 2 тома.—Кн. В. О. Одоевскій. Русскія ночи. Ц. 2 р.—Сочиненія и письма. П. Я. Чаадаева. П. ред. М. Гершензона. Т. І. Ц. за 2 тома 5 р.

Итоги науки въ теоріи и практикѣ. П. ред. проф. М. М. Ковалевскаго, проф. Н. И. Ланге, Н. Морозова и проф. О. М. Шимкевича. Кн. XX.

Н. Карѣевъ. Теорія историческаго знанія. СПб. 913. Ц. 1 р. 50 к.

М. Н. Гернетъ. Смертная казнь. М. 913. Ц. 4 р.

Шалландъ Л. А. проф. Иммуни-тетъ народныхъ представителей. Т. II. Часть догматическая. Юрьевъ. 913. Ц. 3 р.

Вигдорчикъ Н. А. Опасность промышленнаго труда. СПб. 913. Ц. 1 р.

Его же. Что долженъ знать каждый участникъ больничной кассы. СПб. 913. Ц. 10 к.

Исторія Западной Литературы (1800-1910). П. ред. О. Д. Батюшкова. Кн. 2-я. Изд. Т-ва „Міръ“. М. 913.

Историко-культурный атласъ по русской исторіи съ объяснительнымъ текстомъ составл. Н. Д. Полонскій п. ред. проф. М. В. Довнаръ - Запольскаго. Изд. В. Кульженко. В. І. Кіевъ. Ц. 2 р. 50 к.

Шестаковъ А. В. Причины смутныхъ дней. М. 913. Ц. 25 к.

Прокоповичъ С. Кооперативное движеніе въ Россіи, его теорія и практика. Ц. 2 р. 60 к.

Мошковъ В. А. Болгарія, ея дру-ги и недруги. Варшава. 913. Ц. 45 к.
Эльмановичъ С. Д. Законы Ма-ну. Пер. съ санскритскаго. СПб. 913. Ц. 2 р. 25 к.

Къ вопросу о торговомъ договорѣ съ Германіей. Сборникъ статей п. ред. проф. М. Н. Соболева. В. І. Харь-ковъ. 913.

Максимиліанъ Волошинъ. О Рѣпинѣ. М. 913. Ц. 50 к.

Ф. Тассаръ. Воспоминанія о Гюи де-Мопассанъ его слуги Франсуа. СПб. 913. Ц. 1 р. 50 к.

К. Островскихъ. Свѣтъ солнца. Единство солнечнаго міровоззрѣнія. СПб. 913. Ц. 1 р.

Москалевъ Н. А., д-ръ. Симуля-ція и ложное сознание предъ судомъ присяжныхъ. М. 913. Ц. 1 р.

Баллодъ Ф. В. Древній Египетъ, его живопись и скульптура.

Его же. Введеніе въ исторію боро-датыхъ карликообразныхъ божествъ въ Египтѣ. М. 913.

Сѣверова Н. Б. Райскіе завѣты. Статьи и замѣтки. 913.

Вагнеръ Влад. Біологическія основанія сравнительной психологіи. Т. II. Инстинктъ и разумъ. СПб. 913. Ц. 3 р.

Уединенный домикъ на Васильев-скомъ. Разсказъ А. С. Пушкина по записи В. П. Титова. Съ послѣсло-віемъ П. Е. Щеголева и Федора Сологуба. СПб. 913. Ц. 50 к.

Христина Даниловна Алчевская. По-лулѣвой юбилей. 1862—1962 гг.

Рѣковъ В. Безъ средней школы (Изъ жизни экстерна). СПб. 913. Ц. 1 р. 50 к.

Охитовичъ А. П. Геометрія кру-га. Казань. Ц. 1 р.

Дуговская, врачъ. Куда везти больныхъ дѣтей. СПб. 913. Ц. 80 к.

Кисель А. А. Очерки современ-наго состоянія русскихъ курортовъ. М. 913. Ц. 1 р.

Н. Кабановъ. О здоровомъ и больномъ челоѣкѣ. Н.-Новгородъ. 913. Ц. 35 к.

Медвѣдковъ А. П. Краткая исто-рія русской педагогики. СПб. 913. Ц. 80 к.

„Знаніе для всѣхъ“. Общедоступный журналъ. №№ 1, 2 и 3.

Уфимскій Земскій Календаръ на 1913 годъ. Уфа.

Кинешемскій Земскій Календаръ-Ежегодникъ. 1913 г. Ц. 15 к.

Изд. Московк. Г. З. Управы. 913.—Календаръ на 1913 г. Ц. 25 к.—Итоги урожая зерновыхъ хлѣбовъ, картофеля

и льна въ крестьянскомъ хозяйствѣ
Московск. губ. за 1912 г.

Труды Харьк. О-ва Сельскихъ хо-
зяйствъ. 911. В. В. Харьковъ. 912.

Отчетъ Харьк. порайоннаго комите-
та по регулированію массовыхъ пере-
возокъ грузовъ по ж. дор. за 1911 г.
Харьковъ. 912.

Изд. Ярославскаго Губ. Земства.
912.—Докладъ Земск. Упр. сессіи 1912 г.
по агрономич. отд. — Мелкій кредитъ
Яросл. губ.—Сельско-Хоз. О-во Яросл.
губ.—О-во потребителей Яросл. губ.—
И. Я. Неклепаевъ. Ближайшія за-
дачи Яросл. Г. Г. въ области опыт-
наго дѣла.

О Т Ч Е Т Ъ

конторы редакціи журнала «Русское Богатство».

П О С Т У П И Л О:

Въ комитетъ болгарской царицы Элеоноры для дѣтей славянъ: отъ слу-
жащихъ, рабочихъ и дѣтей, учащихся въ школахъ Чермозкаго звв., Перм-
ской губ.—180 р.

Въ пользу черногорскаго Краснаго Креста: отъ уч-ля Е. Каркага—
1 р. 65 к.

Съ благотворительной цѣлью: въ память студента А. А. Щепкина—
26 р.; отъ Львовой—2 р.; отъ Д. Голубятникова—3 р.

Итого. . . 31 р.

Въ распоряженіе В. Г. Короленко: изъ Полтавы—15 р.

Въ пользу бывш. студентовъ Военно-Медиц. Академіи: отъ в-ча В. С.
оссовича—10 р.

На б-ку имени Н. К. Михайловскаго: отъ В. А. Морозовой—200 р.

Въ пользу семьи умершаго депутата 2-ой Госуд. Думы Хвоста: отъ
нѣсколькихъ лицъ изъ Армавира—26 р.

Письмо въ редакцію.

Скончавшійся 20 января 1900 года извѣстный книгоиздатель
Флорентій Фёдоровичъ Павленковъ обязалъ своихъ душеприказчи-
ковъ, совместно съ продолженіемъ дѣла издательства въ неболь-
шихъ размѣрахъ, постепенно реализовать все свое имущество, въ
чемъ бы оно ни заключалось, въ денежный капиталъ, который, за
выдачею назначенныхъ имъ суммъ нѣкоторымъ учрежденіямъ и
лицамъ, обратить на устройство и дальнѣйшее расширеніе 2.000
народныхъ бесплатныхъ читаленъ въ наиболѣе бѣдныхъ мѣстахъ (де-
ревняхъ, поселкахъ и пр.), стоимостью каждая по 50 руб., а всего
на 100.000 руб.

Въ виду такого общественнаго значенія характера завѣщатель-
ныхъ распоряженій покойнаго, на его душеприказчикахъ лежитъ
обязанность поставить въ извѣстность общество, въ какой мѣрѣ ими
исполнена воля покойнаго и какіе достигнуты ими при этомъ ре-
зультаты.

Вслѣдствіе этого просимъ Васъ, Милостивый Государь, не от-

казать дать мѣсто въ редактируемомъ Вами журналѣ настоящему письму вмѣстѣ съ прилагаемыми при семъ предварительными свѣдѣніями къ общему своду документальныхъ данныхъ, относящихся къ отчетности душеприказчиковъ за время съ февраля 1900 г. по 1 января 1913.

Душеприказчики по завѣщанію Ф. Θ. Павленкова.

В. Д. Черкасовъ.

В. И. Яковенко.

Н. А. Розенталь.

Предварительныя свѣдѣнія къ общему своду документальныхъ данныхъ, относящихся къ отчетности душеприказчиковъ по завѣщанію Ф. Θ. Павленкова, за время съ февраля 1900 г. по 1 января 1913 г., за исключеніемъ оборотовъ по операціямъ книгоиздательства.

Составъ имущества Ф. Θ. Павленкова, поступившаго въ распоряженіе душеприказчиковъ, состоялъ къ 1 февраля 1900 г. въ слѣдующемъ:

1. По счету дебиторовъ (векселя) . . .	1.480 р. — к.
2. Членскій взносъ въ о-въ взаим. кредита . . .	300 „ — „
3. Членскій взносъ въ о-въ взаим. кр. Спб. земства	500 „ — „
4. На текущемъ счетѣ въ томъ же обществѣ	16.034 „ 69 „
5. По счету книжнаго имущества въ складѣ книжнаго магазина Луковникова, по номинальной стоимости книгъ, на 885.456 р. 12 к., а за скидкой обусловленной договоромъ 32% книгопродавческой уступки (283.345 р. 96 к.) на . . .	602.110 „ 16 „
6. Литературныя и издательскія права Павленкова, оцѣниваемая приблизительно	50.000 „ — „
7. Значительное количество клише рисунковъ для изданій, не поддающееся даже приблизительной оцѣнкѣ	— „ — „
Итого на 1 февраля 1900 года состояло . . .	670.424 р. 85 к.

Произведено расходовъ:

А. Особыя расходы.

1. Перевезеніе тѣла Ф. Θ. Павленкова изъ Ниццы въ Петербургъ, могила, погребеніе и пр.	1.493 р. 50 к.
2. Постановка памятника на могилѣ и пр.	2.950 „ 91 „
3. Утвержденіе завѣщанія и пошлины	1.816 „ 45 „
	<hr/>
	6.260 р. 86 к.

Б. По ликвидаціи обязательствъ Ф. Павленкова.

1. Упложено кн. маг. Луковникова по счету на 1 февр.	6.131 р. 07 к.	
2. Выплачено по векселямъ Ф. О. Павленкова	21.546 „ — „	27.677 „ 07 „

В. По исполненію завѣщанія

1. Упложено Союзу писателей	1.000 р. — к.	
„ Литературному Фонду	35.000 „ — „	
„ племянницѣ Флорентіи Ое- доровича	10.000 „ — „	
Пожизненныхъ и срочныхъ выдачъ 4-мъ лицамъ	23.156 „ — „	69.156 „ — „

II. По устройству 2,000 бесплатныхъ библіотекъ.

1. На первоначальное обзаведеніе 2.022 библіотекъ, открытыхъ при участіи земскихъ и разныхъ просвѣтительныхъ учреждений и лицъ отпущено книгъ изданія Ф. Павленкова по номинальной цѣнѣ на 61.880 р. 50 к., а за скидкой 32% на	42.078 р. 74 к.	
Куплено книгъ другихъ издателей и выслано	60.442 „ 50 „	
Изъ общаго числа всѣхъ 2.022 библиотекъ 267 библиотекъ взяло на себя устроить Кіевское о-во грамот., закрытое въ 1908 г. правительствомъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ было закрыто и большинство устроенныхъ имъ библіотекъ. Къ выясненію ихъ судьбы и восстановленію дѣятельности приняты мѣры, а равно восстанавливаются и 4 сторѣвшихъ библиотекъ.		
2. На пополненіе 1.383 библіотекъ, изъ числа остальныхъ 1.755 библиотекъ дополнительно послано книгъ изд. Ф. Павленкова по номинальной цѣнѣ на 68.859 р. 45 к., а за скидкой 32% (32.034 р. 32 к.) на	46.826 „ 13 „	
Израсходовано на покупку и разсылку въ тѣ же 1.383 библиотекъ книгъ другихъ издателей	109.602 „ 7 „	

Итого на устройство и расши-
реніе библіотекъ 258.950 р. 10 к.

А всего произведено расходовъ . 362.044 р. 03 к.

Наличный остатокъ имущества на 1 января
1913 года.

1. Долгъ П. П. Луковникова по договору 10 апрѣля	45.000 р. — к.	
2. Долгъ его же по счету магазина за де- кабрь	4.127 „ 89 „	
3. По счету дебиторовъ (векселя и пр.)	1.616 „ 53 „	
4. Въ кассѣ душеприказчиковъ	23 „ 17 „	
5. Членскій взносъ въ о-въ вз. кр. Спб. земства	500 „ — „	
6. На текущемъ счетѣ въ томъ же обще- ствѣ	308.719 „ 41 „	359.987 р. 00 к.
7. По счету книжнаго имущества на 1 ян- варя 1913 г. въ складахъ книжнаго магазина Луковникова, по номиналь- ной цѣнѣ на 493.488 р. 55 к., а за скидкою 32 ⁰ / ₁₀ (157.916 р. 34 к.) на		335.572 „ 21 „
8. Сверхъ того, имѣется большое коли- чество клише рисунковъ отъ преж- нихъ изданій, не представляющихъ особой цѣнности		
Итого въ остаткѣ на 1 января 1913 года		695.559 р. 21 к.
Душеприказчики по завѣщанію Ф. Ѳ. Павленкова		

*В. Д. Черкасовъ.
В. И. Яковенко.
Н. А. Розенталь.*

15 марта 1913 г.
Спб.

17438/c



для иногородних И. Ф. КОСЦОВА

С.-Петербургъ, Литейный просп. 28—2.

полнѣе всевозможныя библіотеки и читальни на выгодныхъ условіяхъ. Книжки и каталоги высылаются по первому требованію. Особо льготныя условія: для отцовъ, публичныхъ библіотекъ, учебныхъ заведеній, полковъ и проч. учреждений. **ИНТЕРЕСЫ КАЗАЧЬИХЪ СТРОГО СБЛЮДАЮТСЯ.** Исполненіе заказовъ быстрое и полное добросовѣстное. **УДЕШЕВЛЕННО ПРЕДЛАГАЮ СЛѢД. КНИГИ.** Цѣны безъ пересылки. Высылаются наложен. платежъ.

Сводъ законовъ Российской Имперіи. Всѣ 16 томъ, со всѣми относящимися къ нимъ продолженіями и дополненіями. Подъ ред. **Волкова и Ю. Филиппова.** Въ 2-хъ томахъ. Перепл. Изд. 4-е. 1904 г. Вм. 16 р. за 9 р.

Стенографическій отчетъ 2-ой Государственной Думы. Безъ выпускъ. 32 и 35-го. всего 46 заседаній. За 8 р.

Бердсолой. Очеркъ Н. Евреинкова. Изд. страрованная монографія. 50 стр. въ пер. 1 р. 25 к.

Репортъ. Критическій очеркъ Н. Евреинкова. Изд. страрованная моногр. 62 стр. въ пер. 3 р. 25 к.

Энциклопедическій словарь А. Чудинова. 2000 столбцъ. 1000 стр. въ отличн. перепл. 1000 стр. въ пер. 3а 2 р. 40 к.

Усовъ, И. Полный курсъ основаній бухгалтеріи для самообразованія. 75 стр. Вм. 8 р. за 1 р. 75 к.

Нитчъ. Ф. Сумерки идоловъ, или философія безбожества. Пер. съ англ. Н. Позникова. Вм. 1 р. за 50 к.

Ферель, А. Половой эволюціи. Естествознаніе, лѣтъ, гнѣзденіе, и социал. изслѣдованіе. Пред. проф. В. Черепанова. 2 тома. Вм. 1 р. 50 к. за 1 р.

Первоначальныя свѣдѣнія по акультизму. Соч. Паппаса. 297 стр. Вм. 3 р. 1 р. 25 к.

Его-же. Практическія магія. Черпачъ. 3 тома. Съ рис. 3 тома, 800 стр. Вм. 7 р. 50 к. за 3 р. 50 к.

Гено, А. и Томичъ. Павелъ 1-й. Собраніе отзывовъ, характеристикъ, указовъ, анекдотовъ и пр. Съ портр. 300 стр. Вм. 3 р. за 1 р.

Преступный міръ и его защитники. Изв. упол. прок. въ очеркахъ. 28 прок. съ 8 портр. изв. адвокатовъ, кратк. ихъ біогр. и сборники изв. рѣчей. 335 стр. Соч. Н. Никифорова. За 75 к.

Гааке, проф. Животный міръ. Его бытъ и среда. 3 тома, съ 120 табл. въ краск. 620 рис. на 1000 стр. Голланд. изд. Девриена въ роскош. перепл. 28 р. за 20 р.

Брэйтъ, А. Жизнь животныхъ. 3 тома. 560 стр. съ 30 рисунками, табл. и 1100 черт. рис. въ текстѣ. Изд. Т-ва Пресвѣщеніе. Въ роскош. перепл. 24 р. за 16 р.

Эростовъ, Г. Искусство чтенія. Практическій курсъ логическаго и выразительнаго чтенія. Для преподаванія и изученія. Съ предисл. пр. И. Т. В. Давыдова. 176 стр. За 60 к.

Волжскій. Изъ міра литературныхъ иснаній. Съ статей о В. Соловьевѣ, К. Короленкѣ, Р. Успенскомъ, А. Чеховѣ и др. 102 стр. Вм. 1 р. За 50 к.

Стори. Вл. 115 проектовъ домовъ, дачъ, садовъ, бесѣдокъ, оградъ, полисадниковъ, купаленъ и др. служебныхъ построекъ, съ указаніемъ, справочными табл. и смѣтами Изд. 1913 г. За 1 р. 80 к.

Стори. Вл. Дачная архитектура. 12 проектов и смѣтъ дешевыхъ построекъ. Изд. 1913 г. За 1 р. 25 к.

Полныя собр. соч. писателей:
Изд. А. Маркса и др. издателей.
Цѣны поставлены безъ пересылки.

Г. Ибсена. 18 т.—3 р. **А. Чехова.** 16 т.—6 р. 50 к. и 12 дополн. томъ.—3 р. 50 к. **Н. Гамсуна.** 18 т.—2 р. 75 к. **А. Писемскаго.** 38 т.—5 р. **Мельникова-Печерскаго.** 22 т.—4 р. **А. Толстого.** 12 т.—3 р. 50 к. **Д. Бусеиера.** 40 т.—5 р. 50 к. **Марка Твена.** 28 т.—5 р. **В. Гаршина.** 4 т.—1 р. **Н. Станюковича.** 40 т.—4 р. **Салтыкова-Щедрина.** 40 т.—5 р. **Г. Гейне.** 16 т. 1 р. 25 к. **Н. Лескова.** 36 т.—3 р. 50 к. **Г. Данилевскаго.** 24 т.—3 р. 50 к. **А. Пушкина.** въ 1 т. съ рис.—1 р. 35 к. **М. Лермонтова.** въ 1 т. съ рис.—90 к. **Михайлова-Меллера.** 50 т.—3 р. 50 к. **И. Горбунова.** 4 т.—80 к. **В. Соловьева.** 10 т.—7 р. 50 к. **Д. Григоревича.** 12 т.—6 р. **С. Надсона.** въ 1 т.—1 р. 90 к. **И. Гоголя.** 12 т.—7 р. **Л. Мей.** 8 т.—1 р. **В. Гоголя.** 12 т.—2 р. 50 к. **В. Жуковскаго.** 12 т.—1 р. 20 к. **Г. Гауптмана.** 10 т.—1 р. 25 к. **Монакъ-Дойла.** 20 т.—3 р. 50 к. **Л. Жаколю.** 18 т.—3 р. **В. Крестовскаго.** 8 т.—8 р. **Г. Успенскаго.** 28 т.—3 р. 50 к. **Ф. Шмидта.** 16 т. 6 р. 50 к. **В. Билибинскаго.** 4 т. 2 р. 90 к. **С. Смайльса.** 6 т. 4 р. 20 к. **Н. Г. Писемскаго.** 5 т. 1 р. **А. И. Куприна.** 21 т. 3 р. **Фета.** 6 т. 1 р. 50 к. **О. Уальда.** 8 т. 1 р. 50 к. **Капит. Марриета.** 24 т. 5 р.

Изд. Саблина въ колени золот. пер.
А. Франса. 12 т. Вм. 18 р. за 13 р. **Д. Аннуцио.** 12 т. Вм. 18 р. 50 к. за 13 р. 50 к. **Тетмайера.** 16 т. Вм. 15 р. за 11 р. **Г. Мирбо.** 12 т. Вм. 15 р. за 11 р. **Пшибышевскаго.** 10 т. Вм. 22 р. 50 к. за 16 р. **С. Лагерлефъ.** 12 т. Вм. 18 р. за 13 р. **Н. Фибихъ.** 9 т. Вм. 14 р. 50 к. за 11 р. **В. Шекспира.** 12 т. въ коленкор. перепл. пер. Каншина на велен. бум. 6.

Изд. Брокгауза и Ефрона въ роскош. полукож. пер. съ массой гравюръ и рис. въ отличныхъ видахъ.

Байрона. 3 тома, въ 10 т. 24 р. за 16 р. **Шекспира.** 5 т. вм. 40 р. за 23 р. **Шиллера.** 4 тома вм. 32 р. за 19 р. **А. С. Пушкина.** 5 т. вм. 40 р. за 30 р.

УДЕШЕВЛЕННО ПРОДАЕТСЯ

полное собраніе сочиненій ГЮИ-де-МОПАСАНА

5 томовъ, 4470 стр. въ переводахъ Е. Бартевой, А. И. Булгакова и другихъ, съ портр. Биографическ. изд. 1912 г. въ 10 т. 8 р. за 4 р. въ изящныхъ коленчатыхъ перепл. 6 р., съ перепл. въ пер. и. Россія на 1 р., а въ Америкѣ, владѣнія Россіи и Сибири на 1 р. 50 к. дорож. **Новый каталогъ книгъ высылаю бесплатно.**